



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

P Slow 620. 5 (1905)

G. N.

Hebrew Literature Society
310-312 Catharine Street
Philadelphia, Pa.

Language

Book

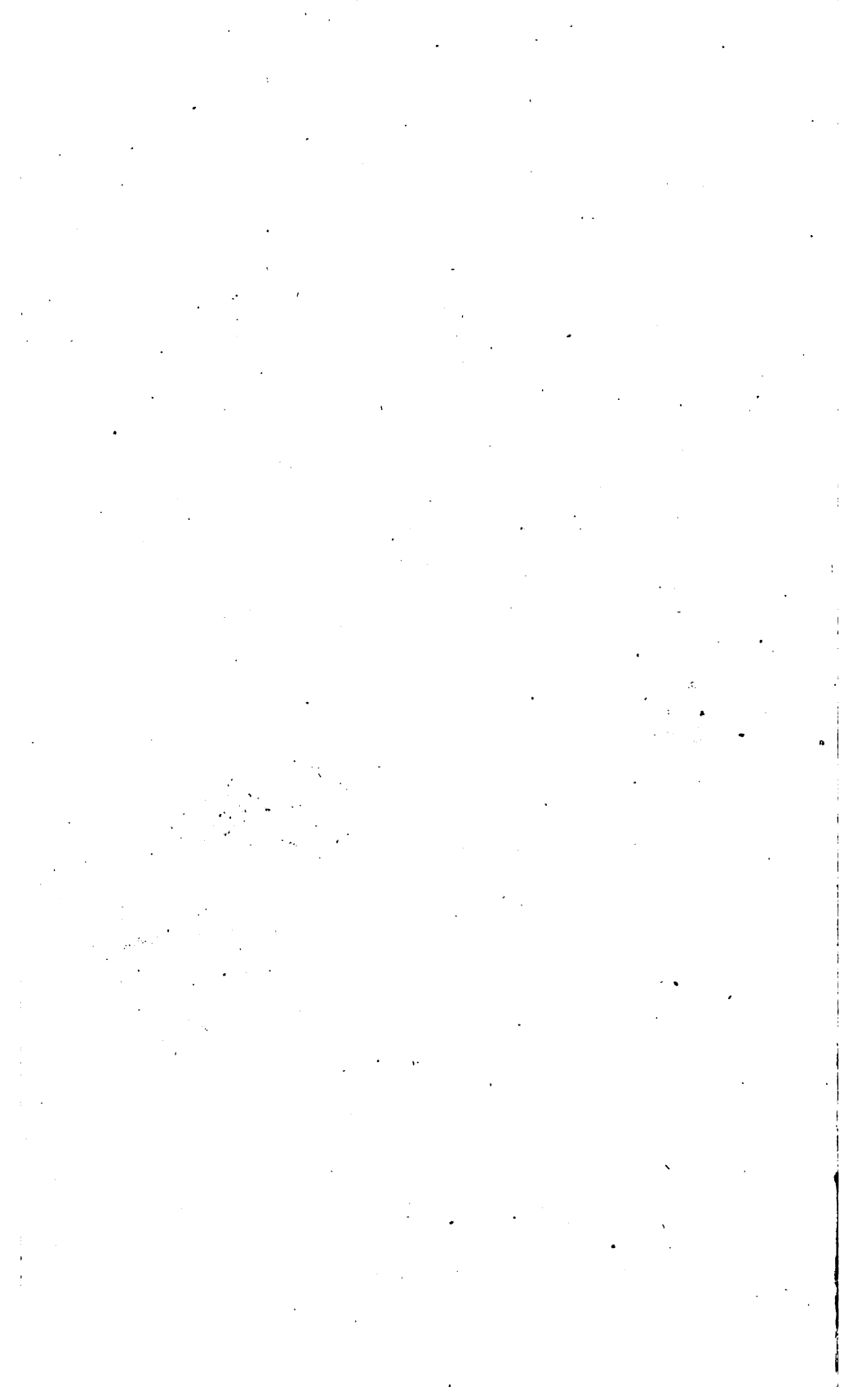
Accession No. 856

Bought with the income of
THE
SUSAN A. E. MORSE FUND
Established by
WILLIAM INGLIS MORSE
In Memory of his Wife



H brary

1905



697
ЯНВАРЬ.

1905.

РУССКОЕ БОГАТСТВО

ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛЪ.

№ 1.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. Н. Клобукова, Лиговская ул., д. 34.
1905.

1
Pslaw 620.5 ($\frac{1905}{1}$)



Morse 4



СОДЕРЖАНИЕ:

	СТРАН.
1. Враги. Разсказъ. <i>Д. Айзмана</i>	3— 21
2. «Задачи жизни» у Ибсена. <i>А. Е. Рядько</i>	22— 56
3. Про новое. Разсказъ. <i>С. Елпатьевского</i>	57— 86
4. Сонъ. Стихотвореніе <i>П. Я.</i>	86— 87
5. Литературно-художественная критика <i>Н. К. Михайловскаго. А. Красносельскаго</i>	88—132
6. Памяти <i>Н. К. Михайловскаго</i> :	
** Стихотвореніе <i>С. Синегуба</i>	133
** Стихотвореніе. <i>А. Гуковского</i>	133—134
7. <i>Н. К. Михайловскій</i> , какъ публицистъ-гражданинъ. <i>Н. Кудрина</i>	135—179
8. Аликаевъ камень. Разсказъ. <i>А. Погорьлова</i>	180—208
9. Терзанія совѣсти. Разсказъ. <i>А. Стриндберга</i> . Переводъ <i>S. W.</i>	209—239
10. ** Стихотвореніе. <i>Г. Галиной</i>	239
11. На старой дорогѣ. Стихотвореніе <i>В. Вашкина</i>	240
12. Труженики. Романъ <i>А. Килланда</i> . Переводъ <i>К. И. Саблиной</i> (Въ приложеніи).	1— 48
13. Галлерей современныхъ французскихъ знаменитостей. <i>Жюль Гэдъ. Н. Кудрина</i>	1— 42
14. Изъ Англіи. <i>Діонео</i>	43— 65
15. Вѣтъ закона. Къ исторіи цензуры въ Россіи. <i>Сергѣя Ефремова</i>	66—104
16. Брандмейстеръ <i>Осиповъ. А. Петрищева</i>	104—127
17. Случайныя замѣтки: Новая «Ковалевщина» въ Костромѣ. <i>Вл. Кор.</i> — <i>В. И. Ковалевскій</i> и семейное начало въ дворянскомъ банкѣ. <i>О. Б. А.</i> —Продолженіе дѣла ген. Ковалева и д-ра За-	

(См. на оборотѣ).

	бусова. <i>О. Б. А.</i> —Гомельская судебная драма. <i>Вл. Кор.</i>	127—141
18.	Новыя книги: Война и душа народа. Стихотворенія П. В. Борисенка.— Н. Н. Вильде. Катастрофа.—Генрикъ Ибсенъ. Полное со- браніе сочиненій. — К. Скальковский. За годъ. — Бруно Эмиль Кенигъ. Черные кабинеты въ Западной Европѣ.— Главные дѣятели и предшественники судебной реформы.— Д-ръ Хмѣлевскій. Патологическій элементъ въ личности и творчествѣ Фр. Ницше.—Геральдъ Геффдингъ. Фило- софскія проблемы.—Климатологія въ связи съ климатоте- рапіей и гигиеной. А. Класовскаго.—С. А. Котляревскій. Ламенэ и новѣйшій католицизмъ.—Сборникъ чтеній съ волшебнымъ фонаремъ въ школѣ и дома.—Новыя книги, поступившія въ редакція	142—165
19.	Хроника внутренней жизни. 9 января въ Петер- бургѣ. <i>Вл. Короленко.</i>	166—178
20.	Отчетъ конторы редакціи журнала «Русское Бо- гатство».	178—180
21.	Объявленія.	180—188

Издания редакціи журнала „РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

(С.-Петербургъ—контора редакціи, Васкова ул. 9; Москва—отдѣленіе конторы, Никитскія Ворота, д. Гагарина).

По независящимъ отъ редакціи обстоятельствамъ „Политика“ С. Н. Южакова не могла появиться въ этомъ № „Русскаго Богатства“.



— АНГЛИЙСКІЕ СИЛУЭТЫ. Ц. 1 р. 50 к.

Владиміръ Короленко. ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Книга I. Десятое изд. 1903 г.—403 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Въ дурномъ обществѣ. — Сонъ Макара. — Лѣсъ шумитъ. — Въ ночь подъ свѣтлый праздникъ. — Въ подсадебномъ отдѣленіи. — Старый лавочникъ. — Очерки сибирскаго туриста. — Соколинчикъ.

— ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Книга II. Шестое изд. — 411 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Рѣка играетъ. — На затмѣніи. — Агъ-Даванъ. — Черкекъ. — За иконой. — Ночью. — Тѣли (фантазія). — Судный день (омъ Кишуры). Малорусская сказка.

— ОЧЕРКИ и РАЗСКАЗЫ. Книга III. Третье изд. 1905 г.—349 стр. Ц. 1 р. 25 к.

Огоньки. — Сказаніе о Фаорѣ, Агриппѣ и Менахемѣ, смѣи Іегуды. — Парадоксъ. — „Государевы ямщики“. — Морозъ. — Послѣдній лучъ. — Марусина записка. — Мгновеніе. — Въ облачный день.

— ВЪ ГОЛОДНЫЙ ГОДЪ. Наблюденія, размышленія и замѣтки. Пятое изд.—379 стр. Ц. 1 р.

— СЛѢПОЙ МУЗЫКАНТЪ. Этюдъ. Десятое изд.—200 стр. Ц. 75 к.

— БЕЗЪ ЯЗЫКА. Разсказъ. Третье изд. 1904 г.—218 стр. Ц. 75 к.

Н. Мудринъ. ОЧЕРКИ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ. Второе изд. 1903 г.—612 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Отъ автора. — I. Народъ и его характеръ. Психологія Француза. Французское краснорѣчіе. Цезаризмъ и роль личности во Франціи XIX в. Ренегаты и герои убѣжденія. — II. Общественные классы. Французское крестьянство. Несчастный богачъ и счастливые бѣдняки. Безработные. Жизнь и идеалы четвертаго класса во Франціи. — III. Наука, литература и печать. Соціологія человѣка-звѣря. О марксизмѣ вообще, по поводу франц. марксизма въ частности. Натурализмъ на службѣ у утопіи. Французская пресса. — IV. Борьба реакціи и прогресса въ идейной и политической сферахъ. Современное „чертобысіе“. Шовинистская и клерикальная реакція. Дѣло Дрейфуса (Торжество военщины). Идеиное пробужденіе. Ренский процессъ и его міровой характеръ. Еврейскій вопросъ и антисемитизмъ во Франціи. Французскій парламентаризмъ и его критики. Эволюція политическихъ партій. Сто лѣтъ взаимныхъ отношеній буржуазіи и пролетариата.

Ек. Лѣткова. ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ. Томъ I. Второе изд. 1903 г.—311 стр. Ц. 1 р.

Мертвая зыбь. — Лушка. — Горе. — Счастье.

— **ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ. Томъ II. Второе изд.** 1903 г.—314 стр. Ц. 1 р.

Отдыхъ. — Чудачка. — Бабын слезы. — Праздники. — Лишняя.

— **ПОВѢСТИ И РАЗСКАЗЫ. Томъ III. Изд.** 1903 г.—316 стр. Ц. 1 р.

Рабъ. — Оборванная переписка. — На мельницѣ. — Облачко. — Безъ фамилии (Софья Петровна и Таня).

Л. Мельшинъ. ВЪ МІРѢ ОТВЕРЖЕННЫХЪ. Записки бывшаго ка-торжника. Томъ I. Третье изд. 1903 г.—386 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Въ преддверіи. — Шелаевскій рудникъ. — Ферганскій орленокъ. — Одиночество.

— **ВЪ МІРѢ ОТВЕРЖЕННЫХЪ. Томъ II. Второе изд.** 1902 г.—402 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Съ товарищами. — Кобылка въ пути. — Среди сопокъ. — Post-scriptum (отъ автора).

— **ПАСЫНКИ ЖИЗНИ. Разказы. Второе изд.** 1903 г.—367 стр. Ц. 1 р.

Юность (изъ воспоминаній неудачницы). — Пасынки жизни. — Чортъ яръ. — Любимцы каторги. — Искорка. — Не досказанная правда. — На китайской рѣкѣ. — Ганя.

— **ОЧЕРКИ РУССКОЙ ПОЭЗИИ. Изд.** 1904 г.—406 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Пѣвецъ гуманной красоты (Пушкинъ). — Муза мести и печали (Некрасовъ). — Чудеса „вседневнаго міра“ (Фетъ). — На высотѣ (Тютчевъ). — Пѣвецъ „тревоги юныхъ силъ“ (Надсонъ). — Современныя миниатюры (Гг. Минскій, Андреевскій, Фругъ, Льдовъ, Фофановъ, Коринфскій, Чюмина, Облеуховъ, Бальмонтъ, Брюсовъ, Танъ, Соловьевъ, Allegro, Ѳедоровъ, Бунинъ, Лохвицкая, Щепкина-Куперникъ, Галина). О старомъ и новомъ настроеніи.

Н. Н. Михайловскій. СОЧИНЕНІЯ. Шесть томовъ. Изд. 1896 г. Цѣна каждаго тома 2 р.

Томъ I. 1) Предисловіе. 2) Что такое прогрессъ? 3) Теорія Дарвина и общественная наука. 4) Аналогическій методъ въ общественной наукѣ. 5) Дарвинизмъ и оперетки Оффенбаха. 6) Борьба за индивидуальность. 7) Вольница и подвижники. 8) Изъ литературныхъ и журнальных замѣтокъ 1872 и 1873 гг.

Томъ II. 1) Преступленіе и наказаніе. 2) Герои и толпа. 3) Научныя письма. 4) Патологическая магія. 5) Еще о герояхъ. 6) Еще о толпѣ.

7) Из вѣнской всемирной выставки. 8) Изъ литературныхъ и журнальныхъ замѣтокъ 1874 г. 9) Изъ дневника и переписки Ивана Непомнящего.

Томъ III. 1) Философія исторіи Луи Блана. 2) Вико и его „новая наука“. 3) Новый историкъ еврейскаго народа. 4) Что такое счастье? 5) Утопія Ренана и теорія автономіи личности Дюринга. 6) Критика утилитаризма. 7) Записки Профана.

Томъ IV. 1) Жертва старой русской исторіи. 2) Идеализмъ, идеолопоклонство и реализмъ. 3) Суздальцы и суздальская критика. 4) О литературной дѣятельности Ю. Г. Жуковскаго. 5) Карлъ Марксъ передъ судомъ г. Ю. Жуковскаго. 6) Въ перемену. 7) Письма о правдѣ и неправдѣ. 8) Литературныя замѣтки 1878 г. 9) Письма къ ученымъ людямъ. 10) Житійскія и художественныя драмы. 11) Литературныя замѣтки 1879 г. 12) Литературныя замѣтки 1880 г.

Томъ V. 1) Жестокіи таланты. 2) Гл. И. Успенскій. 3) Щедринъ. 4) Герой безвременья. 5) Н. В. Шелгуновъ. 6) Записки современника: I. Независящія обстоятельства. II. О Писемскомъ и Достоевскомъ. III. Нѣчто о лиризмѣ. IV. О порнографіи. V. Мѣдные лбы и взрѣныя души. VI. Послушаемъ умныхъ людей. VII. Три мизантропа. VIII. Пѣсьи торжествующей любви и нѣсколько мелочей. IX. Журнальное обозрѣніе. X. Торжество г. Цюна, чреда образованности и проч. XI. О нѣкоторыхъ старыхъ и новыхъ недоразумѣніяхъ. XII. Все французскіе гадить. XIII. Смерть Дарвина. XIV. О доносахъ. XV. Забытая азбука. XVI. Гамлетизированные поросыта. 7) Письма посторонняго въ редакцію „Отечественныхъ Записокъ“.

Томъ VI. 1) Вольтеръ-человѣкъ и Вольтеръ-мыслитель. 2) Графъ Бисмаркъ. 3) Предисловіе къ книгѣ объ Иванѣ Грозномъ. 4) Иванъ Грозный въ русской литературѣ. 5) Палка о двухъ концахъ. 6) Романтическая исторія. 7) Политическая экономія и общественная наука. 8) Дневникъ читателя. 9) Случайныя замѣтки и письма о разныхъ разностяхъ.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ И СОВРЕМЕННАЯ СМУТА. Томъ I. Изданіе второе. 1905 г. — 504 стр. Ц. 2 р.

Мой первый литературный опытъ. „Разсвѣтъ“. „Книжный Вѣстникъ“. Братья Курочкины, Ножины, Благосавитловъ, Писаревъ, Деметръ, Минаевъ. — „Гласный судъ“. „Современ. обозрѣніе“. „Отеч. Записки“. — Некрасовъ. — Романъ „Борьба“ и статья „Что такое прогрессъ“. Салтыковъ, Елисеєвъ, Успенскій, Некрасовъ, какъ человѣкъ — Фетъ о Салтыковѣ. Изъ переписки и дневника Шелгунова. Шелгуновъ и Поздншевъ. „Исторія новѣйшей русской литературы“ А. М. Сабитовскаго. — П. Д. Боборыкинъ и его отношеніе къ „Отеч. Запискамъ“. — Въ одной изъ толстовскихъ колодъ. Изъ прошлаго и настоящаго Л. Н. Толстого. Полемика съ нимъ И. И. Мечникова. — Личныя воспоминанія о гр. Толстомъ. Толстой и г. Мечниковъ, какъ гигиенисты. О естественномъ и неестественномъ. О задачахъ науки. О будущемъ женщинъ и женскаго вопроса. Люди, владѣющіе перомъ и перомъ владѣемые. Двоякаго рода элигоны. Г. Сементковскій о нашемъ недавнемъ прошломъ. — „Книга о книгахъ“. Воспоминаніе объ одномъ маленькомъ человѣкѣ. Письмо К. Маркса. Кающіеся дворяне. Идеалы и идолы. Ошибки исторической перспективы. „Черезъ сто лѣтъ“ Беллами и „Крушеніе цивилизаціи“ Буажильбера. — О г. Розановѣ и его отказѣ отъ наслѣдства. О мозаичности культуры. Славянофилы. „Моск. Вѣдомости“. „Гражданинъ“ и благонаимѣнность. Изъ поѣздки по Волгѣ и изъ исторіи русской цензуры. — Г. Э. Елисеєвъ.

ЛИТЕРАТУРНЫЯ ВОСПОМИНАНІЯ И СОВРЕМЕННАЯ СМУТА. Томъ II. Изданіе 1900 г. — 496 стр. Ц. 2 р.

Оптимистическій и пессимистическій тонъ. Марксъ Нордау о вырожденіи. Декаденты, символисты, маги и проч. Русское отраженіе франц. символизма. О разныхъ типахъ празднословія. Объ исторической критикѣ. Отрывокъ изъ романа „Карьера Оладушкина“. Основы народничества г. Юзова. — Памяти Тургенева. О народничествѣ г. В. В. Братство народовъ. — О молодости. О гг. П. Ковалевскомъ и Сенинговѣ.

P Slow- 620. 5 (1905)
1

G. N.

Hebrew Literature Society
310-312 Catharine Street
Philadelphia, Pa.

Language

Book

Accession No. 856

Bought with the income of
THE
SUSAN A. E. MORSE FUND
Established by
WILLIAM INGLIS MORSE
In Memory of his Wife



H Library

1905

Къ свѣдѣнію гг. подписчиковъ.

1) Контора редакціи не отвѣчаетъ за аккуратную доставку журнала по адресамъ станцій желѣзныхъ дорогъ, гдѣ нѣтъ почтовыхъ учреждений.

2) Подписавшіеся на журналъ черезъ книжные магазины—съ своими жалобами на неисправность доставки, а также съ заявленіями о перемѣнѣ адреса благоволятъ обращаться непосредственно въ контору редакціи—*Петербургъ, уг. Спасской и Васковой ул., д. 1—9.*

Книжные магазины только передаютъ подписнымъ деньги въ контору редакціи и не принимаютъ никакого участія въ доставкѣ журнала.

3) Жалобы на неисправность доставки, согласно объявленію отъ Почтоваго Департамента, направляются въ контору редакціи не позже, какъ по полученіи слѣдующей книжки журнала.

4) При заявленіи о неполученіи книжки журнала, о перемѣнѣ адреса и при высылкѣ дополнительныхъ взносовъ по разсрочкѣ подписной платы, необходимо прилагать печатный адресъ, по которому высылается журналъ въ текущемъ году, или сообщать его №.

Не сообщающіе № своего печатнаго адреса затрудняютъ наведеніе нужныхъ справокъ и этимъ замедляютъ исполненіе своихъ просьбъ.

5) При каждомъ заявленіи о перемѣнѣ адреса въ предѣлахъ Петербурга и провинціи слѣдуетъ прилагать 25 коп. почтовыми марками.

6) При перемѣнѣ петербургскаго адреса на иногородный уплачивается 1 р.; при перемѣнѣ же иногороднаго на петербургскій—65 к.

7) Перемѣна адреса должна быть получена въ конторѣ не позже 15 числа каждаго мѣсяца, чтобы ближайшая книга журнала была направлена по новому адресу.

8) Лица, обращающіяся съ разными запросами въ контору редакціи или въ Московское отдѣленіе конторы, благоволятъ прилагать почтовые бланки или марки для отвѣтовъ.

Къ свѣдѣнію авторовъ статей.

1) На отвѣтъ редакціи по поводу присланной статьи, а также на случай возвращенія обратно рукописи должны быть приложены марки.

2) Непринятые рукописи, обратная пересылка которыхъ не была оплачена, возвращаются заказной бандеролью съ наложеннымъ платежомъ стоимости пересылки.

3) Рукописи, доставленныя въ редакцію до 1903 г. и не востребованныя обратно до 1-го декабря 1904 г., уничтожены.

4) По поводу принятыхъ стихотвореній редакція не ведетъ съ авторами никакой переписки, и такіа стихотворенія уничтожаются.



В Р А Г И.

Разсказъ.

I.

Въ концѣ февраля шестнадцатилѣтній маляръ Мотька бродилъ по окраинѣ городка, неподалеку отъ лѣсныхъ складовъ, и сумрачно думалъ о томъ, что сегодня надо работу найти во что бы то ни стало.

День былъ тусклый, гнилой и мертвый, и если бы художнику вздумалось изобразить разстилавшійся передъ Мотькой пейзажъ, ему пришлось бы употреблять одни только сѣрые да черные цвѣта. Уродливыя лачужки стояли въ безпорядкѣ, какъ попало, и стѣны ихъ, когда-то выбѣленные, немногимъ свѣтлѣе были полусгнившихъ, разоренныхъ крышъ. Жалкія строенія эти глядѣли какъ-то особенно хмуро и печально, и, казалось, они въ тупой дремотѣ грезятъ устало объ избавительницѣ-смерти, о порѣ, когда, наконецъ, они рухнутъ, разсыпятся и превратятся въ плотную мусорную кучу. Въ лачугахъ и подлѣ нихъ было тихо и мертво, какъ и на старомъ кладбищѣ, лежавшемъ по ту сторону огромной замерзшей лужи, какъ и въ сумрачномъ полѣ, разстилавшемся позади кладбищенской ограды.

И чѣмъ-то страннымъ и нелѣпымъ казался убѣгавшій вглубь поля строй телеграфныхъ столбовъ: кто въ этомъ несчастномъ, подавленномъ краѣ станетъ пользоваться телеграфомъ? А тамъ, въ тѣхъ сторонахъ, гдѣ людямъ живется свободно и хорошо, кто заинтересуется здѣшной тоской и умираемъ?..

Мотька безпокойно поглядывалъ впередъ, и тяжелыя думы—о заработкѣ, о хлѣбѣ—ни на минуту не оставляли его.

Отецъ Мотьки, музыкантъ Менахемъ, умеръ осенью, и молодой маляръ былъ теперь единственнымъ кормильцемъ ея, ея защитой и надеждой. Съ озабоченностью, съ угрюмостью стараго, много испытывающаго человѣка, добывалъ онъ

ей пропитаніе. Заработать что-нибудь малярнымъ дѣломъ въ тяжелую зиму этого памятнаго неурожайнаго года нельзя было,—никто въ городѣ не строился, никакого ремонта не производилось. И другую работу, сколько-нибудь вѣрную и продолжительную, также трудно было найти. Каждый заработокъ, какъ бы малъ онъ ни былъ, по недѣлямъ выслѣживался десятками нуждавшихся...

Въ эту мрачную зиму нищета въ городѣ была неслыханная, и она возрастала съ каждымъ днемъ. Люди съ измученными больными лицами, оборванные, почти босые, осаждали сѣни „богачей“, робко плакали и причитали, молили подобострастно и униженно, и иногда, выведенные изъ себя, въ остервенѣніи, разражались истерическими проклятіями и угрозами...

Богачи ходили смущенные, испуганные, теряли голову, не знали, что дѣлать. Больше тысячи бѣдняковъ надо было кормить ежедневно, а средствъ не хватало и для двухъ сотъ.

И Мотькина семья голодала тоже. Но время отъ времени молодой маляръ приносилъ двугривенный или полтинникъ, приносилъ хлѣбъ или кувшинъ молока, и тогда на окружающихъ его высохшихъ дѣтскихъ личикахъ появлялось выраженіе праздничное, радостное.

— Какъ-нибудь зиму промаемся, а ужъ весной, Богъ дастъ, дѣла пойдутъ лучше,—говорилъ Мотька своей матери Хасѣ. — Начнутся постройки, будетъ работа... Въ клубѣ ремонтъ, въ городской управѣ... Я рассчитываю Розѣ купить на выплату чулочно-вязальную машину... Это дѣло недурное! Бенюмена, пока что, отдамъ въ талмудъ-тору, а для Берчика возьму учителя, въ гимназію готовить...

— Что это ты, Господь съ тобой?—съ тайнымъ умиленіемъ восклицала Хася.

Гимназія для Берчика, шустраго, видимо очень способнаго десятилѣтняго мальчугана, была лучшей мечтой Хаси. И бѣдная женщина сладко замирала, когда, закрывая глаза, рисовала себѣ своего птенца въ синемъ мундирчикѣ... Отчего бы Берчику и не учиться? Онъ хуже другихъ, что ли? Не такъ уменъ, не такъ красивъ, какъ другіе? Одѣть его, какъ слѣдуетъ, обмыть хорошенько, подкормить съ мѣсяцъ, другой,—еще получше другихъ будетъ. Прямо—генеральское дитя!

— Непремѣнно въ гимназію! — задумчиво говорилъ Мотька. Пусть будетъ образованный. Учителя возьму, книги стану покупать, за все буду платить... На части разорвусь, носомъ землю пахать стану, а его въ люди выведу! — воспламеняясь, добавлялъ онъ.

Увы! свою преданность братишкѣ и готовность разорваться для него на части Мотыкѣ пришлось доказать еще задолго до пріисканія работы,—и совсѣмъ не покупкой книгъ и не приглашеніемъ учителей...

Берчикъ заболѣлъ скарлатиной: надо было его спасать.

Двѣ недѣли Мотыка не смыкалъ глазъ, бѣгая по докторамъ, по „благодѣтелямъ“, по благотворительнымъ учрежденіямъ... Откуда-то онъ приносилъ и чай, и ромъ, и лѣкарства, и топливо, и даже ванну гдѣ-то добылъ... На Хасю нашло тупое отчаяніе. Она ни во что не вмѣшивалась, ни въ чемъ не помогала сыну, сидѣла въ холодныхъ сѣняхъ и дико водила глазами. А Мотыка дѣйствовалъ такъ дѣловито, такъ энергично и неутомимо, что, не смотря на ужасныя условія, отстоялъ таки умиравшаго брата. И когда впослѣдствіи Хася очнулась нѣсколько и пришла въ себя, она смотрѣла на своего первенца съ тайной робостью, съ безконечнымъ почтеніемъ,—какъ на свышепосланнаго ей хранителя и защитника.

Да и въ собственныхъ своихъ глазахъ Мотыка сталъ съ тѣхъ поръ выше и важнѣе. Онъ понималъ еще яснѣе, какъ необходимъ онъ семьѣ...

II.

— Эге, маляръ, это ты?

Мотыка вадрогнулъ и обернулся.

Передъ нимъ стоялъ огромнаго роста человѣкъ въ длинной шубѣ и большой бобровой шапкѣ. Это былъ владѣлецъ пивовареннаго завода, чехъ Кубашъ. Въ прошломъ году, весной, Мотыка сумѣлъ такъ ему угодить, что получилъ приглашеніе заходить на пивоварню „каждый разъ“ и пить пива „сколько угодно“. Но потомъ случилось такъ, что Кубашъ заподозрилъ Мотыку въ кражѣ у дворника Анисима трехъ рублей и жестоко его избилъ. И оттого, завидѣвъ теперь обидчика, Мотыка затрепеталъ всѣмъ тѣломъ и въ ужасѣ сталъ пятиться назадъ.

— Слушай,—продолжалъ чехъ, стараясь изобразить на своемъ гладкомъ, бритомъ, съ короткими сѣдоватыми бачками лицѣ ласковую улыбку.—Ты, маляръ, тово... Обидѣлъ я тебя, понапрасну обидѣлъ... Деньги-то рыжій Митричъ укралъ, пыльщикъ... Потомъ все въ точности раскрылось...

— Ага! — издали вскричалъ Мотыка, и глаза его торжествующе засверкали.

— Анисимъ, дуракъ, зналъ, кто укралъ, да молчалъ... выдавать не хотѣлъ... А потомъ... когда... ну, вотъ когда съ

тобой это вышло, пришелъ и разсказалъ... Ну, ты ужъ тово... Ты маляръ хорошій, я знаю. Лѣтомъ буду строить флигель, непременно тебѣ работу дамъ, непременно.

— Я-жъ вамъ божился, что я не воръ!

— Ну, что ужъ... кто тебя зналъ... Дѣло прошлое, не вернешь... Жалѣю, а не вернешь... А теперь тебѣ работы не надо?

Мотыка молчалъ и хмуро поглядывалъ на чеха.

— У меня на пивоварнѣ ледники набиваютъ; ступай, если хочешь, на рѣчку ледъ колоть.

Мотыка продолжалъ молчать. Брать работу у обидчика было тяжело...

— Сорокъ копѣекъ въ день.

Кубашъ распахнулъ шубу, досталъ большіе стальные часы и, поглядѣвъ на нихъ, добавилъ:

— Теперь двѣнадцатый часъ; ну, это ничего, я тебѣ зачту за день... Работы на недѣлю хватить.

Мотыка стоялъ въ отдаленіи и нерѣшительно озирался.

— Да ужъ ступай, чего тамъ, — настаивалъ Кубашъ. — Знаешь, въ Лозахъ, позади мостковъ. Тамъ ужъ увидишь: люди работаютъ... Скажешь, я прислалъ... Ступай, ничего...

— Хорошо, я пойду, — хриплымъ голосомъ, черезъ силу, пробормоталъ Мотыка.

И, поклонившись Кубашу, онъ скорымъ шагомъ сталъ перерѣзывать поле.

Вѣтеръ дулъ съ юга, сырой и рѣзкій. Морозъ упалъ совсѣмъ, верхушки кочекъ слегка оттаяли, и идти было трудно: нога скользила и то и дѣло попадала въ рытвины. Мотыка шагалъ межой и смотрѣлъ впередъ себя, гдѣ, верстахъ въ двухъ, за буроватой полосой сухого и мертваго камыша, прятались кривыя извивы широкой рѣки. По черной и крутой дорогѣ, подлѣ телеграфныхъ столбовъ, медленно тащились нагруженные льдомъ подводы. Лошади были измученныя, жалкія, и карабкались онѣ съ великимъ трудомъ, вытягивая впередъ свои несчастныя головы, уродливо выгибая спины и выдыхая цѣлыя тучи сѣраго, мутнаго пара. Временами, окончательно выбившись изъ силъ, онѣ останавливались, и тогда извозчики принимались ихъ бить ногами и кнутовищемъ, въ животъ и по головѣ, и оглашали угрюмую пустоту дикимъ и мучительнымъ крикомъ...

— Ничего не подѣлаешь, — думалъ Мотыка, приближаясь къ камышамъ. — Надо смириться, работать на Кубаша. Онъ все-таки хорошій человекъ. Другой обидитъ и никогда не признается, что сдѣлалъ это понапрасну. Вотъ, напримѣръ, мусю Цыпоркестъ: этотъ еще пожаловался бы въ часть и кричалъ бы по всему городу, что я его обокралъ. А Кубашъ

вотъ сегодня за цѣлый день заплатить... сорокъ копѣекъ... Ну, и славу Богу! Работы, говорить, на недѣлю будетъ. Что-жъ, это деньги: заплачу за квартиру и еще полъ-мѣшка картошки куплю... Дѣти совсѣмъ изголодались... Таки спасибо Кубашу, ей-Богу, спасибо...

И, насвистывая отъ удовольствія, Мотька сталъ спускаться къ камышамъ.

Рѣка, сажень полтора ста въ ширину, вся сплошь затянута была бѣлесоватой ледяной корой. Только въ самой серединѣ тянулось большое прямоугольное темное пятно. Въ этомъ мѣстѣ ледъ былъ уже сколотъ, и вода, сдавленная съ четырехъ сторонъ, ходила въ полыньѣ мелкой рябью, сумрачная и сердитая. Она упорно билась о свою крѣпкую раму и неустанно рокотала, зловѣще и многозначительно... Ближе къ противоположному берегу, покату и заросшему чахлымъ лознякомъ, стоялъ рядъ черныхъ, ветхихъ баржъ, а нѣсколько влѣво отъ лозняка тянулись огороды, и среди нихъ острымъ горбомъ чернѣла одинокая землянка. Все въ этомъ мѣстѣ было уныло, бѣдно и пусто, и на много верстъ вокругъ не видно было живого существа. Только посреди рѣки, неподалеку отъ темной проруби, стояли три человѣка и вяло постукивали ломомъ объ ледъ.

Одного изъ нихъ Мотька узналъ еще издали. Это былъ дворникъ Анисимъ, необыкновенно смирное, безсловесное созданіе,—тотъ самый дворникъ Анисимъ, у котораго украденъ былъ кисетъ съ тремя рублями. Теперь на Анисимѣ были бурья валенки и облѣзанная баранья шапка съ наушниками. Двухъ товарищей его Мотька тоже, какъ будто, встрѣчалъ. У одного была густая желтая борода и такіе же желтые всклокоченные волосы. Онъ былъ невысокъ ростомъ, но широко въ плечахъ, кряжистъ и, видимо, очень силенъ. Но лицо было одутловатое, желто-сѣрое, какъ у челоука съ очень большой печенью. Одѣтъ онъ былъ въ какую-то женскую клѣтчатую фуфайку, перехваченную въ поясъ синимъ платкомъ, и въ свѣтло-сѣрый котелокъ съ обломанными полями. Лѣтъ ему можно было дать около сорока. Въ челоука въ этомъ Мотька скоро узналъ „рыжаго Митрича“,—того самаго, который укралъ у Анисима деньги, и за проступокъ котораго молодой маляръ такъ жестоко поплатился.

Подлѣ Митрича толкомъ щедущій, сѣденькій старичокъ, въ безмѣрно широкомъ, рваномъ армякѣ и въ лантяхъ.

Ты, Ягоръ, ты Ягоръ, ты Ягорушка,
Золотая, золотая ты головушка...—

весело и быстро пѣлъ онъ, приплясывая и постукивая себя небольшими кулачками по сѣдой головѣ...

— Богъ въ помощь, землячки!—крикнулъ Мотька, приближаясь.

— Здорово!—Егорушка пересталъ плясать и дружелюбно устоялся на Мотьку.—Здравствуй, малецъ!.. Прогуляться вышелъ? По бульвару пройтись?

— Пособлять пришелъ... Меня къ вамъ Кубашъ въ товарищи прислалъ.

— Вотъ лиходѣй!

Егорушка хлопнулъ себя по бедрамъ и радостно взвизгнулъ.

— Въ товарищи? Вотъ это, братуха, въ аккуратъ выходить, подь кадфель... Насъ тутъ всего трое, танцовать-то и неспособно... Бери, братуха, ломъ, да и становись сюды... Митричъ, слыхалъ? — обратился онъ къ желтобородому: — вотъ кумпаньонъ къ намъ пришелъ.

Митричъ медленно отвелъ въ сторону ломъ и сумрачно посмотрѣлъ на Мотьку.

— Канпаньонъ?—тусклымъ, простуженнымъ басомъ прохрипѣлъ онъ.—Какой онъ мнѣ канпаньонъ, иродово сѣмя?

Брови у Егорушки вдругъ вздернулись вверхъ, глаза расширились и округлились. Съ наивнымъ непониманіемъ оглядѣлъ онъ Митрича, потомъ Мотьку, потомъ снова Митрича...

— Ты чего это такъ? — не то съ любопытствомъ, не то съ безпокойствомъ воскликнулъ онъ.—Ну, чего ты, га? Ну, зачѣмъ?

— А вотъ зачѣмъ,—отрубилъ Митричъ.—„Канпаньонъ“!.. Пархъ, а не канпаньонъ.

Въ голосъ его слышалась глубокая ненависть и презрѣніе, а по выраженію глазъ и по движенію фигуры было видно, что онъ не прочь бы дать новому компаньону по затылку. Мотька растерянно посмотрѣлъ на этого крѣпкаго, сильнаго человѣка—и поспѣшно отошелъ къ Егорушкѣ...

— Экій ты, Митричъ, га! — съ веселой и вмѣстѣ тревожной ласковостью заговорилъ старикъ. — Лиходѣй вѣдь ты, га?.. Эй, право, лиходѣй!.. Ну, чего серчаешь? Чего къ мальчонкѣ присталъ?

— Сволочь онъ!—зарычалъ Митричъ, и глаза его злобно сверкнули подъ нависшими желтыми бровями. — Зачѣмъ сюда прилѣзъ, жидюга проклятый?

— Я къ вамъ не лѣзу... я васъ не трогаю,—заговорилъ изъ-за спины Егорушки Мотька. И голосъ его, вообще тонкій и слабый, звучалъ теперь, какъ у десятилѣтняго мальчика.—Я вамъ не мѣшаю... Меня прислалъ господинъ Кубашъ.

— Ну, вотъ что,—торопливо подхватилъ Егорушка, и маленькое, бурое лицо его озарилось дѣтски-радостной улыб.

кой.—Прислали тебя работать—ты и работай. Работай себя, знай, и не разговаривай. Экій ты какой!.. Не понимаешь дѣла... Когда тебя прислали, такъ ты, стало быть, исполняй... А ты разговаривать. Тутъ, братъ, разговору не надо, тутъ серьезно надо...

Личико Егорушки сдѣлалось вдругъ дѣловитымъ и важнымъ.

— Потому ледъ это... Его колоть надо. Ну и... и все... Ступай, братуха, на тотъ берегъ, къ огороднику, бери ломъ и валяй... Нечего тутъ...

— Ахъ ты, египетскій! — съ сердцемъ проворчалъ Митричъ, принимаясь снова за работу. — Приползъ, нечистая сила! Онъ тебѣ всюду вползетъ!

— Вползетъ, это правильно,—примирительно согласился Егорушка.

— Сейчасъ тутъ рѣка, поле, стена — чисто, свободно... А приперъ вотъ этакій—Симъ, Хамъ и Яфетъ, все сразу и прокоптитъ!

— „Прокоптитъ“!—подхватилъ Егорушка и отъ удовольствія топнулъ лаптемъ. — Это вѣрно, что прокоптитъ. Ей право! Вишь сказалъ! А? Прокоптитъ! Ахъ, лиходѣй!

— Племя нечистое.

— О? Нечистое?

— Хуже нечистаго: Иуды, кровососы анаѳемскіе...

Егорушка посмотрѣлъ на Мотьку.

— Эхъ, мальчонка,—сочувственно прокряхтѣлъ онъ,—видишь ты! Вотъ дѣла-то... Дѣла-то, говорю, вотъ какія. А ты ступай, пока что, за ломомъ, ступай, братуха, нечего тутъ.

Мотька обвелъ испуганнымъ взглядомъ и своего врага, и своего защитника, и сохранявшаго все время полное безмолвіе Анисима, и потомъ тихонько, осторожно ступая, полпелся по льду на другой берегъ, гдѣ въ круглой землянкѣ хранились нужныя для колки льда принадлежности.

— И чего отъ меня хочеть этотъ разбойникъ,—думалъ онъ,—что я ему сдѣлалъ? Такая ужъ наша еврейская доля.

И Мотька сталъ думать о томъ, что его преслѣдовали всю жизнь. Вотъ на эту самую рѣку прибѣгалъ онъ купаться въ дѣтствѣ, и русскіе мальчишки жестоко били его и не впускали въ воду... Когда онъ, выкупавшись, выходилъ изъ воды, они швыряли въ него пескомъ и грязью, и онъ вынужденъ бывалъ снова лѣзть въ рѣку. Мальчишки швыряли опять и опять, въ теченіе получаса и больше, и онъ весь синѣлъ отъ холода, коченѣлъ и трясся; а мальчишки издѣвались надъ нимъ и хохотали, завязывали въ тугіе „сухари“ рукава его рубахи и смачивали ихъ въ рѣкѣ, чтобы сдѣлать еще болѣе труднымъ распутываніе узловъ...

Плавать Мотька неумѣло. Онъ безпорядочно и неловко ударялъ по водѣ сжатыми кулаками, и товарищи говорили, что онъ „мѣситъ булки“. И этимъ неумѣньемъ его русскіе мальчишки тоже пользовались и часто „топили“ его, пригибая къ рѣчному дну... Постоянныя преслѣдованія, постоянная мука!.. Когда, четыре мѣсяца назадъ, отца Мотьки на черныхъ носилкахъ несли на кладбище, какой-то извозчикъ кричалъ во всю глотку: „Жидъ сдохъ, Хайка осталась. Ступай, Хайка, въ казарму, солдатъ вкуснѣе жидѣ“... А прохожіе поощрительно смѣялись...

III.

Мотька вернулся къ мѣсту, гдѣ кололи ледъ, и, устроившись подлѣ Егорушки, принялся за работу.

— Геппъ, геппъ, геппъ! — передразнивалъ его Митричъ, суетливо и неуклюже раскачиваясь всѣмъ тѣломъ. — Геппъ...дохлая морда...

— Ты, мальчонка, не такъ,—училъ Мотьку Егорушка:—гляди-ко сюда, сюда гляди! Ты вотъ какъ: прямо ломъ подымай, да внизъ яво и бухай!.. Да ты не спѣши, не спѣши... Гляди-ко суды, вотъ: рассей!.. рассей!..

— Ахъ, вей!—кричалъ Митричъ, хватаясь за воображаемые пейсы.—А ловко тебя Кубашъ отколотилъ, да, видно, мало. Небось, опять деньги станешь красть... Жиды на это дѣло мастера здоровы!

При этихъ словахъ, сосредоточенный Анисимъ прервалъ работу и вытаращилъ глаза. Минуты двѣ смотрѣлъ онъ на Митрича пристально, напряженно, словно соображая что-то... Потомъ, не проронивъ ни слова, слегка отвернулся и опять сталъ дѣйствовать ломомъ.

— Кербеле, копекесь,—продолжалъ Митричъ,—три рубля у человѣка уперъ, а потомъ—„зачиво нападеніе“!..

Мотька молчалъ и дѣлалъ видъ, будто ничего не слышитъ. Егорушка добродушно балагурилъ и всячески старался отвести вниманіе и краснорѣчіе Митрича къ другимъ предметамъ. Дѣлалъ онъ это, однако же, съ большой осторожностью, видимо побаиваясь своего желтобородаго товарища и заискивая въ немъ. Онъ громко смѣялся его островамъ, иногда и повторялъ ихъ, съ восхищеніемъ, не всегда, впрочемъ, свободнымъ отъ притворства, причмокивалъ губами и притопывалъ лаптемъ.

— Жидовская нація — самая подлющая!—докладывалъ Митричъ.

И мысль эту онъ развивалъ подробно и обстоятельно.

Онъ былъ, видно, грамотенъ; тупыя человѣко-ненавистническія фразы изъ уличныхъ газетокъ перемѣшивались съ темнымъ бредомъ невѣжественнаго, одичалаго человѣка, и получалось что-то такое безсмысленно-злое, гнетущее и тревожное, что наивная душа Егорушки и смущалась, и хмурилась... Егорушка любилъ веселье, любилъ побалагурить, пошутиться и попить, а Митричъ преподносилъ ему мрачныя разсужденія о зловредности и гнусности жидовъ. И Егорушкѣ было неспокойно, тяжело и непріятно, онъ жалѣлъ „страдающаго изъ-за жидовъ“ православнаго человѣка, и ему хотѣлось бы его отъ жидовъ оборонить и за него отомстить, но въ то же время ему какъ-то жаль было и жидовъ, тѣмъ болѣе жаль, что въ длинныхъ разсужденіяхъ Митрича бѣдной головѣ его смутно чуялось что-то нескладное, неправильное и „неподходящее“...

— Э-и-эхъ!—какъ-то неопредѣленно, со странной печалью, кричѣлъ онъ, когда Митричъ толковалъ ему объ употребленіи евреями христіанской крови. Онъ косился на Мотьку, бросалъ недовольные, но робкіе взгляды на Митрича и какъ-то особенно гулко и часто стучалъ своимъ ломомъ объ ледь. Печаль и досада переполняли его сердце...

Но когда Митричъ переходилъ къ передразниванію евреевъ, къ куплетамъ вродѣ

А жа ними вбокъ
Молодой жидокъ,—

онъ вдругъ веселѣлъ и прояснялся. Онъ даже принимался подтягивать Митричу и, бросая время отъ времени дружеское и ободряющее слово безмолвно работавшему Мотькѣ, кричалъ радостно и весело, какъ утка, въ знойный день попавшая въ ручей.

Мотька ни единымъ словомъ не отзывался на всѣ эти глумленія.

Сердце его ныло и дрожало, злоба закипала въ немъ. Крѣпко стискивались зубы, и минутами душила потребность броситься на обидчика и избить его... Но Мотька былъ такъ тщедушенъ и слабъ... и съ утра ничего не ѣлъ... и дома его заработка ожидали голодныя дѣти...

— Онъ, кажется, никогда не перестанетъ,—въ тоскѣ говорилъ себѣ Мотька.

А Митричъ, дѣйствительно, не выказывалъ намѣренія перестать.

Пріѣхали извозчики, стали нагружать на телѣги ледъ, и произошелъ короткій перерывъ. Но вотъ телѣги, скрипя и раскачиваясь, уѣхали, и Митричъ опять принялся за свое... Его, видимо, бѣсило, что Мотька отмалчивается, и онъ ста-

новился все болѣе и болѣе злымъ. Уже онъ не передразнивалъ евреевъ и не пѣлъ обидныхъ куплетовъ, — обидныхъ, но все же, большей частью, добродушныхъ, — а свирѣпо ругался и временами угрожалъ...

— Ну, что дѣлать, что дѣлать? — мысленно стоналъ Мотыка. — Когда Богъ уже благословилъ и работа нашлась, такъ вотъ тебѣ, такой извергъ случился... И завтра опять это же самое будетъ, и послѣ завтра то же...

— А чтобъ онъ пропалъ! — отъ всего сердца взмолился онъ.

— Австріякъ, тотъ, братцы мои, самымъ лучшимъ манеромъ съ жидами со своими справился, — объявилъ Митричъ. — Взялъ да всѣхъ на мерзлый островъ въ Ледовитый океанъ и посадилъ.

— Ахъ, лиходѣи! — одобрилъ Егорушка. И, желая перемѣнить тему разговора, политично спросилъ: — А какая у австріяка форма? Амуниция, значить, какая у яво будетъ, амуниция?

— Не хотимъ, говорить, жидовскаго духа — и шабашъ. Ступай на ледяной островъ... Ни солнца тамъ, ни дерева, ни травки, ни огня, — ничего не видать! Ледъ да бѣлые медвѣди. Молись себѣ своему жидовскому Богу!

— Богъ-то одинъ, — задумчиво произнесъ Егорушка.

— Богъ одинъ, да вѣра разная.

Егорушка помолчалъ.

— Ну, а тово... а уѣхать отсюда, съ острова, развѣ нельзя? — заинтересовался вдругъ Анисимъ.

— У-у-уѣхать?... Хо-хо-хо... Онъ те уѣдетъ!

Выцвѣтшіе глаза Митрича злорадно забѣгали.

— А миноноски на что? Кругъ острова шестнадцать штукъ миноносокъ стоитъ, караулять, чуть кто съ мѣста тронулся — сейчасъ стопъ! Тутъ ему и крышка... Половина жидовъ на острову уже передохла... а доктора рассчитали, что черезъ семь годовъ ни слуху, ни духу отъ нихъ не останется.

Вѣтеръ дулъ теперь сильнѣе, мѣнялъ направленіе и становился суше. Онъ обжигалъ Мотыкѣ лицо, упорно разворачивалъ полы его куртки и билъ его по тонкимъ, одѣтымъ въ парусиновые штаны, подогнувшимся ногамъ. Даже усиленные дѣйствія ломомъ не могли побѣдить холода и не въ состояніи были сообщить гибкость коченѣвшему тѣлу. Мотыка весь дрожалъ. Жестокія слова Митрича мучили его, — точно въ уши и въ сердце ему заколачивали длинные гвозди... Онъ бросалъ косые взгляды на Митрича, на его толстый, мокрый растрепанными, желтыми волосами затылокъ и крѣпко стискивалъ зубы. Онъ дрожалъ уже не отъ одного

холода: негодованіе и ненависть вызывали въ немъ частое и мучительное трепетаніе.

— И плодущіе же, сволочи!—продолжалъ Митричъ.—Нѣ надо и сусликовъ. Вотъ, примѣрно, этотъ самый пархъ, что сюда приперъ: ты думаешь, онъ у своего батьки одинъ? Чорта съ два! Сходи-ка къ нему домой, — небось, тамъ ихъ дюжина цѣлая. А то и двѣ...

— Это какъ Господь,—сумрачно нахмурившись, пояснилъ Егорушка.—Господу народъ надобенъ...

— „Надобенъ“... Понимаешь ты!.. А вотъ кабы я надъ жидами главный командиръ былъ, выпустилъ бы я такой указъ, чтобы маленькихъ жиденятъ за ноги да объ стѣнку. Хопъ—и нѣту! Хопъ—и нѣту!.. Вотъ и къ этому бы халдею заглянулъ,—счетъ бы имъ тамъ подвелъ правильный...

„Извергъ, каты!“—тихо шепталъ Мотыка. И при этомъ самъ становился злымъ и жестокимъ. Онъ представлялъ себѣ, съ какимъ удовольствіемъ онъ ударилъ бы изо всей силы Митрича по лицу... Разъ ударилъ бы, и два раза, и три раза... Билъ бы, пока не хлынула бы кровь, пока не окончилъ бы этотъ мерзкій и злой языкъ...

И уже не было радости въ его душѣ, не было въ ней и безцѣльной жалобы, а все выше и выше поднималась жажда мести и крѣпла потребность расплаты. Ноздри у Мотыки яростно раздувались, глаза горѣли, и щеки дергались въ мелкой и непрестанной судорогѣ...

Митричъ, сосредоточенно возясь, шагахъ въ сорока, съ огромной льдиной, прервалъ на время свои приставанія къ Мотыкѣ и всѣ ругательства адресовалъ къ непокорявшейся тяжелой глыбѣ. И Мотыкѣ это было непріятно. Теперь ему издѣвательства Митрича были нужны. Они были ему нужны для того, чтобы довершить происходившую въ немъ работу, чтобы довести злобу до ярости, до безумства и швырнуть его—тщедушного, голодного, измученнаго мальчика—на этого тяжелого, костистаго и грязнаго здоровяка... Все въ немъ кипѣло и бурлило, хотя и не въ такой еще степени, чтобы расправу начать сейчасъ же. Нужно было новое раздраженіе, необходима была еще новая, послѣдняя обида, чтобы голось разума и подлаго расчета замеръ окончательно, чтобы сердце загорѣлось со всѣхъ сторонъ.

Митричъ побѣдилъ, наконецъ, свою льдину. Послѣднимъ усиліемъ онъ приподнялъ ея край, подсунулъ подъ него ломъ и выпихнулъ тяжелую глыбу наверхъ.

— Тьфу, бей тебя сила Божія!—проворчалъ онъ, отставивъ прочь ломъ и ту же стягивая служившій ему поясомъ синій вязанный платокъ.—Заморился, прямо бѣда!.. А ты, послушай-ка, какъ тебя тамъ, свиное ухо? Дай-ка табачку!..

Въ глазахъ Мотьки молніей сверкнула какая-то дикая улыбка. Ломъ выпалъ изъ его рукъ, весь онъ мгновенно выпрямился.

— Холеру я тебѣ дамъ, прохвость!

Слова эти прозвучали рѣзко, отчетливо и звонко,—точно тяжелымъ молотомъ ударили въ тонкую серебряную доску.

Митричъ удивленно поднималъ голову.

— Чего?

— Прохвость!.. Мучитель!.. Извергъ!..—истерически кричалъ Мотька:—За что ты меня мучишь?.. Да я тебббья, кро-
вопійцу... убббью!

И, поднявъ кверху длинныя, худыя руки, онъ ринулся впередъ.

На одно мгновеніе, всѣхъ — и Митрича, и Анисима, и Егорушку—охватило полное оцѣпенѣніе.

То, что происходило передъ ними, было такъ странно, такъ неожиданно и невѣроятно, что они не могли вѣрить глазамъ. Ошеломленные, они не проронили ни звука. И тяжелой, сумрачную тишину, царившую надъ скованной рѣзкой, надъ мертвымъ слоемъ камышей и надъ пустыннымъ, мерзлымъ берегомъ, раздиралъ лишь пронзительный, дикій вопль Мотьки. Словъ Мотька не произносилъ никакихъ, и то, что вылетало изъ его груди, было лишь бессмысленнымъ, ровнымъ и рѣжущимъ ревомъ раненаго на смерть, уже изнемогающаго, истекающаго кровью, но сильнаго яростью и бѣшенствомъ животнаго. Животное это несло въпередъ, къ тому, кто его ранилъ, несло затѣмъ, чтобы быть раненымъ вторично, еще ужаснѣе,—но и затѣмъ также, чтобы отомстить и въ послѣднемъ предсмертномъ усилии уничтожить растерзать убійцу-врага!

— Лиходѣй!.. Ахъ, лиходѣй!.. — завизжалъ вдругъ Егорушка. И, подбѣжавъ къ Митричу, онъ обхватилъ его руками. Широкимъ армякомъ своимъ онъ прикрылъ Митрича всего — и этимъ, повидимому, рассчитывалъ оградить его отъ нападенія Мотьки и предотвратить бѣду.

Однако же, катастрофу предупредилъ не онъ, а Анисимъ.

Безмолвный дворникъ проворно подскочилъ къ Мотькѣ, схватилъ его за шиворотъ, приподнял на полъ-аршина надолдомъ и, не проронивъ ни слова, какъ котенка, понесъ въ сторону.

— Пусти!—захлебываясь, рычалъ Мотька:—Пусти, сволочь!

Онъ бился и извивался всѣмъ тѣломъ и стучалъ кулаками и ногами по Анисиму, куда попало. Но дворникъ держалъ его крѣпко. Онъ какъ-то такъ ловко обнялъ своего плѣнника, что сковалъ ему и руки, и ноги, и тотъ могъ теперь вздрагивать и колыхаться однимъ только туловищемъ.

Оттащивъ Мотьку сажень на двадцать, онъ опустилъ его на ледъ и, ставъ впереди, какъ пугало на огородѣ, горизонтально раздвинулъ руки.

— Стой тутъ!..— вяло проговорилъ онъ. — Стой... стой, а то буду бить...

Мотька мутными, непонимающими глазами глядѣлъ на Анисима, на стоявшихъ впереди Митрича и Егорушку... Куртка его разстегнулась; лѣвая пола, въ борьбѣ съ Анисимомъ, распоролась до самаго рукава, и вѣтеръ рвалъ ее и трепалъ, какъ флагъ. Анисимъ, продолжая держать правую руку въ горизонтальномъ положеніи, лѣвой добылъ изъ кармана трубку. Устроивъ трубку во рту, онъ опустилъ и другую руку и, орудуя уже обѣими, сталъ застегивать Мотькину куртку. Мотька безучастно смотрѣлъ на дѣйствія дворника и вертѣлъ головой то вправо, то влево. Онъ точно не сознавалъ того, что случилось, и точно искалъ чего-то...

— Скажешь мамкѣ, — бормоталъ Анисимъ, подергивая оторванную полу, — мамка зашьетъ...

И вдругъ Мотька вадрогнулъ, какъ-то странно ахнулъ, и слезы обильно полились по его озябшимъ щекамъ.

А Егорушка, между тѣмъ, схватилъ за обѣ руки Митрича, подпрыгивалъ, семенилъ ногами и, взволнованно заглядывая пріятелю въ лицо, таинственно и внушительно шепталъ:

— Не обижай, не обижай, Митричъ, мальчонку!.. Что будешь дѣлать?.. Жиденокъ онъ, жидъ... а нельзя... нельзя обижать...

Онъ хлопалъ себя руками по бедрамъ, вздрагивалъ плечиками и удивленно озирался.

— Вишь, дѣла какія, а?.. Вѣдь лиходѣи вы, а? Ей-право, лиходѣи, ей-право... А обижать нельзя... не надо...

Митричъ молчалъ.

Отвернувшись отъ того мѣста, гдѣ находились Анисимъ и Мотька, онъ сурово смотрѣлъ себѣ подъ ноги и дышалъ часто и тяжело. Онъ стоялъ неподвижно, какъ и его воткнутый между двумя льдинами ломъ, и лицо его было желто, а глаза тусклы и прищурены. Что происходило въ этомъ челоуѣкѣ? Все ли еще сковывало его огромное изумленіе? Или его душило оскорбленное самолюбіе? Или зашевелилась въ немъ совѣсть — онъ созналъ свою вину, и ему было стыдно этого горестно трепетавшаго надъ мерзлой равниной, безпомощнаго дѣтскаго плача?..

Митричъ молчалъ. Ротъ его перекосился, желтые усы и борода тихо вздрагивали.

И то, что преобладало въ этой темной, огрубѣлой душѣ, вылилось, наконецъ, въ хрипломъ, полномъ желѣзной увѣренности возгласѣ:

— Постой, Иуда! Я еще съ тобою расправлюсь... Не я буду—не утоплю!..

IV.

Минуть черезъ десять все надъ рѣкой затихло и примолкло, и всѣ четверо опять взялись за работу. Работали шумно, нехотя, не думая о дѣлѣ. Мысли были о другомъ,— о томъ, что только что произошло, о томъ, чѣмъ случившееся должно завершиться, и настроеніе у всѣхъ было темное, тревожное, выжидающее.

Больной и тусклый день, между тѣмъ, кончался. Холодные, грязно-свинцовые тона сгущались, заполняли унылую глубину и какъ бы надвигали ее на берега. И глубина эта не была плотной и непроницаемой, какъ въ позднія сумерки, а дрожала полупрозрачная и легкая, и напряженный глазъ могъ еще различать въ ней какія-то неясныя очертанія. Неясность и смутность, вмѣстѣ съ царившимъ вокругъ нѣмымъ безмолвіемъ, заключали въ себѣ что-то жуткое, что-то безпокойное и злое, и томило неотступное желаніе, чтобы поспѣе уже спустилась ночная чернота и похоронила всѣ эти вѣроломныя и мрачныя тѣни.

Митричъ стоялъ спиной къ Мотькѣ, туло глядя на собственннй ломъ, и размышлялъ. Онъ далъ торжественное обѣщаніе, взявъ на себя обязательство, а легкое ли дѣло его выполнить? Тоже вѣдь и за жиденка, будь онъ трижды проклять, отвѣтъ давать надо...

Митричъ злобно плюнулъ.

— А и конфуза отъ парха принять нельзя тоже, — продолжалъ онъ свои размышленія. — „Кровопійца... я тебя убью...“ ахъ, идолъ!.. Ну, что ты ему скажешь!.. Кабы гдѣ мелкое мѣсто, можно бы его, чорта, столкнуть. Пусть свое жидовское пузо пополощетъ... Да вотъ нѣту такого, вездѣ примерзло... А въ полынью бухнуть—глубоко очень, потонетъ. Что тогда будешь дѣлать?..

— Ты Ягоръ, ты Ягоръ, ты Ягорушка, — вполголоса началъ было Егорушка. Но Анисимъ, вынувъ изо рта трубку, молча подержалъ ее въ рукѣ и снова вложилъ межъ зубами. И Егорушка мгновенно прервалъ свое пѣніе, тяжело завздохалъ и сталъ оттаскивать въ сторону льдины...

А у Мотьки къ этому времени все его возбужденіе прошло. Не было и тѣни безстрашія въ душѣ, не было и намека на отвагу. Онъ чувствовалъ себя въ опасности, чувствовалъ себя пришибленнымъ, несчастнымъ, безпомощнымъ. Что будетъ? Вѣдь этотъ ужасный человѣкъ не проститъ. Вѣдь благополучно дѣло не кончится. Если бы не было такой великой

нужды въ заработкѣ, Мотыка бросилъ бы работу и ушелъ. Но теперь какъ же ее бросить? Другой вѣдь не найдется. А тутъ работы на цѣлую недѣлю... И потомъ, вѣдь отъ этого разъяреннаго, жестокаго человѣка, все равно, не спрячешься: не адѣсь—въ другомъ мѣстѣ, а ужъ онъ отомститъ!

Длинный прямоугольникъ, освобожденный отъ ледяной коры, чернѣлъ, какъ огромная могила, и вода въ немъ, встревоженная вѣтромъ, подкатывалась къ самымъ ногамъ Мотыки съ глухимъ, угрожающимъ рокотомъ... И Мотыкѣ страшно было смотрѣть на эту живую, грозную черноту, а еще страшнѣе было оглянуться назадъ, гдѣ стоялъ Митричъ. Ему все чудилось, что ужасный человѣкъ этотъ крадется къ нему... Вотъ онъ подошелъ... совсѣмъ близко... Слышно шлепанье его ногъ, слышно звяканье объ ледъ лома... Онъ злобно и сипло рычитъ, бьетъ Мотыку ломомъ прямо по головѣ, и сталкиваетъ въ воду, и топить его...

Что будетъ? Что будетъ? Какъ оставаться въ сосѣдствѣ съ этимъ лютымъ человѣкомъ? О, если бы съ нимъ что-нибудь случилось! Если бы онъ вдругъ заболѣлъ... умеръ... Что-жъ, вѣдь бываетъ иногда, что человѣкъ умираетъ вдругъ, сразу... Или если бы его убило... Вотъ, когда нагружали подводу, большая льдина сползла съ самаго верха и ушибла Анисиму ногу. Если бы льдина упала не на Анисима, а на Митрича, и упала бы не на ногу, а на голову, смерть была бы вѣрная... О, если бы его убило...

Мотыка въ этотъ день не ѣлъ съ утра; отъ непривычной и непосильной работы ломило ему всѣ кости; холодъ сковывалъ члены. И страданія физическія, соединяясь съ мукой душевной, доводили его до полубезсознательнаго состоянія; въ темномъ, коченѣвшемъ мозгу мысль тускнѣла и замирала, и только временами вспыхивала все одна и та же неизмѣнная мольба: „о, если бы его убило!..“

V.

Ночь приближалась. Пустынная даль исчезала въ тяжеломъ сумракѣ, и уже трудно было отличить, гдѣ кончается ледъ рѣки и начинается берегъ, а черная землянка огородника почти совсѣмъ слилась съ темнымъ фономъ покатыхъ баштановъ. Далеко-далеко, у длинныхъ и уже незамѣтныхъ мостковъ, гдѣ зимовалъ потерпѣвшій осенью крушеніе пароходикъ, зажегся фонарь, и отъ этой желтой лучистой точки здѣсь на льду, гдѣ работали иззябшіе, голодные, усталые люди, все вдругъ сдѣлалось еще болѣе тоскливымъ, еще болѣе недружелюбнымъ и несчастнымъ.

— Ребятушки, милые, пора кончать! — закричал Егорушка. — Ай не пора? Пора! Ей-право, пора! Тащи струментъ къ огороднику, волоки!..

Ты Ягоръ, ты Ягоръ, ты Ягорушка,
Золотая, золотая ты головушка! —

запѣлъ онъ, вскидывая на плечо ломъ.

— Пойдемъ, братцы, къ огороднику, выпьемъ по косушкѣ, по косушечкѣ, по подружечкѣ... Пойдемъ, лиходѣи, пойдемъ... Эхъ, дѣла! Назябся я, страхъ какъ, во какъ назябся я, ей-право!..

Мотька стоялъ въ сторонѣ, а вѣтеръ билъ его и рвалъ, и снѣгъ, который началъ идти, садился къ нему на голову и на сгорбленную спину.

Слова Егорушки до него не долетѣли, и онъ не зналъ, что можно уже кончать, что надо отнести инструментъ къ огороднику. Онъ стоялъ, не двигаясь, глядя впередъ и ни о чемъ не думая, въ какомъ-то забытьи...

Очнулся онъ только тогда, когда впереди, шагахъ въ пятидесяти, показалась вдругъ широкая, плотная фигура Митрича.

Желтобородый человѣкъ шелъ прямо на Мотьку, шелъ спокойно, не торопясь, заложивъ одну руку за синій платокъ, а въ другой держа на перевѣсъ тяжелый, длинный ломъ...

— Ой!.. Это онъ ко мнѣ... убивать... топить... — огненными языками промчалось въ мозгъ Мотьки. И быстро пролетѣла у него мысль о матери, о дѣтяхъ.

— Люди!.. Анисимъ!.. Егорушка!..

Но вопля его никто не слыхалъ... Ибо вопля никакого и не было: окоченѣвшія уста Мотьки были плотно сомкнуты, а кричало одно только охваченное ужасомъ сердце...

Анисимъ съ Егорушкой, ничего не подозрѣвая, неторопливо шли по берегу, подымаясь къ землянкѣ огородника. И къ той же землянкѣ направлялся Митричъ, но вмѣсто того, чтобы огигать узкую, длинную, примыкавшую къ черной проруби полосу недавно образовавшагося тонкаго и непрочнаго льда, онъ, для сокращенія пути, шелъ прямо черезъ эту полосу... И стоявшему у темной и глубокой проруби на смерть испуганному, оцѣпенѣвшему Мотькѣ показалось, что врагъ его идетъ къ нему...

Мотька весь скрючился, согнулся, лѣвой рукой стянулъ на груди куртку, правую поднималъ вверхъ, какъ бы для защиты.

Прошло мгновеніе, другое...

И вдругъ случилось нѣчто странное, что-то такое, чего Мотька не сумѣлъ сразу понять.

Того, кто на него шелъ, отъ котораго онъ ждалъ муки и смерти,—вдругъ не стало.

Раздался рѣзкій, сухой трескъ, затѣмъ — какое-то странное хлюпанье... и хриплый крикъ, и стонъ, и опять хлюпанье...

И цѣлая вереница необычайныхъ, непонятныхъ и страшныхъ звуковъ забила и затрепетала надъ безмолвной равниной: валетали вверхъ фонтаны брызгъ и мелкихъ кусковъ льда, и межъ ними странно и быстро ворочалось что-то широкое, черное...

Поднятая кверху рука Мотьки упала, застывшее лицо дрогнуло.

— Провалился!.. Тонетъ!..

Точно кто-то ударилъ его сзади, по темени и по затылку.

— Тонетъ!.. Спасите!..

И вдругъ Мотька рванулся и побѣжалъ.

Окоченѣлыми, неразгибающимися ногами мчался онъ впередъ, противъ вѣтра, скользя и шатаясь... Вотъ уже несется онъ по длинной полосѣ темнаго, неокрѣпшаго, всего два дня назадъ образовавшагося льда. Ледъ этотъ трещалъ и гнулся, какъ тонкая пароходная сходя, и вода подъ нимъ хлюпала и билась, и мѣстами, сквозь трещины, проступала на верхъ и тихо разливалась широкими, темными пятнами...

— Держись, держись!—какимъ-то страннымъ, не своимъ, а совершенно новымъ, смѣлымъ, звонкимъ голосомъ кричалъ Мотька, напряженно глядя впередъ, на то мѣсто, гдѣ барахтался Митричъ.—Я помогу!.. Держись!..

Но тонкая ледяная скатерть вдругъ злобно заскрежетала подъ нимъ, и лѣвая нога его провалилась. Онъ сильно дернулъ ногой. Сапогъ, задержанный льдомъ, остался въ водѣ, и Мотька, босой, помчался дальше.

А впереди фонтаны брызгъ уже не вадымались, и не летѣли больше кверху обломки льда. Мелькалъ только среди черной воды и сѣрыхъ льдинъ широкій синій поясъ утопавшаго, и чуть свѣтлѣла его крупная, обросшая желтыми волосами голова. Слышно было тяжелое плесканіе, и, не сливаясь съ нимъ, со страшной отчетливостью бился прерывистый, молящій стонъ:—Православные... голубчики... спасите...

— Держись, не бойся! — кричалъ Мотька, подбѣгая къ самому краю льда.—На!.. Хватай... держись крѣпко!..

Онъ быстро сорвалъ съ себя куртку, ухватилъ ее за рукавъ и, взмахнувъ высоко надъ головой, швырнулъ на воду, къ Митричу.

— Хватайся за куртку... я поташу...

Митричъ какъ-то странно закружился и вытянулся. До куртки, мутнымъ, бѣлесоватымъ пятномъ распластавшейся на черной водѣ, оставалось аршина два разстоянія... Ми-

тричь забарахтался, стараясь подплыть, но силы покидали его: падая, онъ остріемъ лома поранилъ себѣ шею. Теперь кровь обильно лилась изъ раны, окрашивая воду темнымъ багрянцемъ.

— Родненькій... голубчикъ...—прошепталъ Митричь, узнавая Мотьку:—прости, Христа ради!..

— Держись, хватайся!.. Ну, хватайся же!..

Мотька выдернулъ изъ воды куртку и опять плюхнулъ ее на воду. Теперь она была отъ утопавшаго всего на аршинъ. Митричь протянулъ къ ней руки, но водой ее отосило въ сторону. Тогда Мотька сталъ на колѣни, отвелъ лѣвую руку назадъ и, машинально ища пальцами, за что бы ухватиться, всѣмъ корпусомъ перегнулся къ Митричу и въ третій разъ бросилъ ему куртку. Отъ сильныхъ движеній Мотьки ледъ подъ нимъ поддался и затрещалъ, и на него хлынула вода...

Мотька вскочилъ и сдѣлалъ шагъ назадъ. Но въ эту минуту желтое пятно на водѣ судорожно сверкнуло и погрузилось... И Мотька весь затрепеталъ. Онъ высоко поднялъ обѣ руки и съ размаху бросился въ воду.

Крѣпко и со злобной радостью охватила вода его тощее, хилое тѣло, съ силой ударила по худому лицу. Мотька отвѣтилъ ударами,—яростными, дикими. Онъ билъ воду руками, ногами, дробилъ плававшія по ней сѣрыя льдины и рѣзалъ ее своею узкою грудью. Онъ плавалъ теперь такъ же плохо и неумѣло, какъ и въ дѣтствѣ, когда прибѣгалъ на эту же рѣчку купаться и когда „мѣсилъ булки“. Но физическая усталость дѣлала теперь его работу еще болѣе трудной... Онъ билъ воду руками, растрачивая безъ надобности незначительные остатки своихъ небольшихъ силъ, и дѣлалъ какіе-то сложные, удлинявшіе путь зигзаги. Вскорѣ онъ все же добрался до широкаго, черно-багроваго пятна, среди котораго тусклымъ кругомъ свѣтлѣла вновь вынырнувшая голова Митрича.

— Не бойся!.. Не бойся!.. Не утонешь...

Мотька протянулъ впередъ лѣвую руку, схватился за синій платокъ, которымъ былъ опоясанъ Митричь, и, дѣйствуя одной правой рукой и ногами, поплылъ. Багровое пятно около головы Митрича разорвалось и вытянулось въ узкую полосу.

— Доплывемъ... Не бойся!..

Оба подвинулись шага на два. Но синій платокъ на Митричѣ вдругъ развязался, тихо скользнулъ, и Митричь, отъ потери крови впавшій въ обморочное состояніе, сталъ быстро погружаться. Мотька успѣлъ, однако же, схватить его за фуфайку, и отчаянное барахтанье началось снова...

Брызги подымались бѣлой тучей, падали на Мотьку, на

его лицо, ослѣпляли его, кололи, жгли. Снизу была въ лицо черная вода, и она вливалась въ ротъ, и Мотька захлебывался и давился. Намокшая одежда облѣпляла тѣло, увеличивала его тяжесть и затрудняла движенія. Грузное тѣло Митрича, безмолвное и окаменѣвшее, тянуло назадъ, внизъ... Мотька цѣпко, тонкими пальцами держалъ полу его фуфайки и плылъ. Но плылъ онъ не въ одномъ какомъ-нибудь опредѣленномъ направленіи—къ краю проруби, къ сплошной массѣ крѣпкаго и прочнаго льда,—а кружился и барахтался, какъ попало, и почти не двигался съ мѣста. Силы его падали. Правое плечо стало ломить и жечь, какъ если бы его насквозь проткнули раскаленнымъ желѣзомъ. Мотька дѣйствовалъ теперь почти однѣми только ногами. Но и ноги ослабѣли, и ихъ стала сводить судорога. Онъ не могъ уже бороться, замеръ — и погрузился... Новый послѣдній запасъ силы пролился, однако, въ его мышцы — и онъ выплылъ, извлекая на поверхность и Митрича. Большая трехугольная льдина тихо качалась передъ его лицомъ. Онъ ухватился за ея край и навалился на нее грудью. Нѣсколько мгновеній льдина поддерживала его. Но потомъ стала медленно пригибаться и вдавливаться въ воду. Грудь Мотьки соскользнула, и льдина, освобожденная, отошла въ сторону, приняла опять горизонтальное положеніе и спокойно оставилась. Мотька потянулся къ ней, опять сталъ бить ногами, но въ лѣвомъ колѣнѣ пробѣжала вдругъ невыносимо-острая боль, — точно сразу выдернули изъ него всѣ кости—и нога осталась скрюченной. Глаза Мотьки уже ничего не различали, вода свободно входила къ нему въ ноздри и въ ротъ. Митричъ, какъ гранитная глыба, тянулъ внизъ. И оба они опять погрузились...

Вверху по-прежнему грозно рокотала черно-багровая вода, а большая, сѣрая льдина безучастно дремала въ сторонѣ...

Д. Айзманъ.

„Задача жизни“ у Ибсена.

(Объ Ибсенъ и о „хмурыхъ людяхъ“ Чехова).

„Жизненная задача“. — Эти два слова формулируютъ суть жизни для избранныхъ художественнаго творчества Ибсена.

Ярль Скуле („Претенденты на корону“), провозгласившій себя королемъ Норвегіи XIII столѣтія, предлагаетъ своему другу-соратнику Ятгейру отказаться отъ своего призванія скальда и жить только для его, короля Скуле, жизненной задачи: овладѣть Норвегіей, отнявъ ее изъ рукъ признаннаго уже народомъ законнаго короля Гакона: „Будь мнѣ сыномъ! Ты получишь отъ меня въ наслѣдіе корону Норвегіи, получишь всю страну, если согласишься быть мнѣ сыномъ, жить ради моей жизненной задачи и вѣрить въ меня“.

Скальдъ отвѣчаетъ отказомъ. Онъ говоритъ, что не можетъ пожертвовать своими „несложными еще пѣснями“, которыя для скальда „всегда самыя сладкія“. — Скуле находитъ противорѣчіе между этимъ отказомъ и той готовностью „охотно пасть первымъ“ за мятежнаго короля, которую скальдъ только что обнаружилъ при извѣстіи объ опасности. Скальдъ отвѣчаетъ: „Человѣкъ можетъ пасть изъ-за жизненной задачи другого; но, если онъ остается живъ, онъ долженъ жить ради своей собственной“.

Смерть скальда въ первомъ же сраженіи разрѣшила по своему вопросу о „несложившихся пѣсняхъ“, но всетаки отказаться отъ нихъ, этихъ „самыхъ сладкихъ“ пѣсенъ, скальдъ Ибсена не хотѣлъ и не могъ... Жить можно только для своей собственной и при томъ свободно избранной „жизненной задачи“. Это — основной мотивъ въ творествѣ Ибсена.

Для Шекспира „задача жизни“ составляла только частную тему, разработанную въ „Гамлетѣ“. Для Ибсена это — универсальная тема. Изъ „задачи жизни“ онъ сдѣлалъ солнце, вокругъ котораго, какъ центра психологическаго притяженія, вращается человѣческая жизнь... Только безъ астрономическаго равновѣсія. Его замѣняетъ очень часто тяжелая борьба съ другими властными велѣніями человѣческой души. Должны быть удовлетворены и

совѣсть, которая перестала быть „коренастою“, какъ у древнихъ викинговъ, которые грабили, жгли, убивали, а затѣмъ „веселились какъ дѣти“; и чувство справедливости, которое у современнаго культурнаго человѣка можетъ превращаться порой въ „двунурительную лихорадку справедливости“, и чувство невольной ответственности за грѣхи предковъ; и, наконецъ, должны быть удовлетворены тѣ темные факторы, которые заложены въ человѣкѣ самой природой и фатально сказываются въ его наследственной организаціи, физической и духовной... Ибсеновское солнце жизни—центръ притяженія, но не центръ равновѣсія. Зачастую около него, для героевъ Ибсена, концентрируются тяжкія муки неустрашимаго душевнаго разлада съ самимъ собой. — И всетаки они ищутъ своей „задачи жизни“, и, когда она на лицо, находятъ возможнымъ жить.

Иногда они идутъ къ своей задачѣ съ веселой, молодой бодростью, напѣвая, подобно Фальку („Союзъ молодежи“):

Пусть мой челнъ
Станетъ добычей бушующихъ волнъ...
Не дрогну я, люблю мнѣ мчаться!

Иногда они вправѣ сказать, подобно нѣмецкому поэту:

Назвавши тягчайшія скорби,
Тебѣ назовутъ и мою...

потому что задача жизни, ради которой они живутъ, подобно Бранду, требуетъ отъ нихъ тяжелыхъ и мучительныхъ жертвъ. Иногда найденная задача жизни осуждаетъ ихъ на непрестанную борьбу съ своей собственной совѣстью, потому что ихъ „задача“ требуетъ отъ нихъ, какъ отъ Сольнесса, жертвъ не своимъ только, а и чужимъ счастьемъ... Но всетаки они и при этихъ условіяхъ находятъ возможнымъ жить: лишь бы была для нихъ ясной ихъ „задача жизни“... Кризисъ для героевъ Ибсена начинается только тогда, когда оказывается, что ихъ задача жизни или психологическій самообманъ, или непосильная тяжелая ноша, или, наконецъ, по тѣмъ или инымъ причинамъ, невозможная и неосуществимая идея. Жизнь становится въ этомъ случаѣ ненужною, лишнею, и неудачники Ибсена быстро сводятъ съ нею окончательные расчеты.

При такихъ условіяхъ естественно, что для героевъ Ибсена ихъ „жизненная задача“ является своего рода абсолютомъ, не отчуждаемой и не подлежащей размыну пѣнностью.

Но понятно и другое. Понятно, что для героевъ Ибсена — въ частности для героевъ современныхъ пьесъ Ибсена — „задача жизни“ слишкомъ нерѣдко осложняется элементомъ трагедіи.

II.

Въ судьбѣ Гакона, норвежскаго короля XIII столѣтія, о которомъ упоминалось выше, трагическій элементъ совершенно отсутствуетъ: о немъ не можетъ быть и рѣчи.—Въ исторической дали семи вѣковъ Ибсену посчастливилось найти правдоподобную сказку дѣйствительности—человѣка, который совершенно не знаетъ, что значить чувствовать себя раздвоеннымъ и у котораго наличность огромной задачи жизни, требующей тяжелыхъ жертвъ, сказывается только въ исключительномъ подъемѣ душевныхъ силъ.

Сущность драмы („Претенденты на корону“) такова.—Королевская власть въ рукахъ Гакона, который, однако, владѣть ею по волѣ не всей Норвегіи. Власть оспариваютъ у него нѣсколько претендентовъ, которые подвергаютъ сомнѣнію, между прочимъ, королевское происхожденіе Гакона.

Гаконъ—король „будущей“ Норвегіи. Въ Норвегіи XIII столѣтія, только что спаянной изъ отдѣльных, чуждыхъ и взаимно-враждебныхъ государствъ, онъ долженъ создать единый *норвежскій народъ*, сплотить въ одно цѣлое и „трондцевъ“, и ихъ исконныхъ враговъ „викенцевъ“.

Гаконъ вѣритъ въ себя и въ то, что за нимъ помощь Божья. Поэтому, чтобы избавить Норвегію отъ страданій междоусобной войны, онъ предоставляетъ вопросъ о коронѣ, которую носить, рѣшенію „Божьяго суда“ и народнаго голосованія. И то и другое кончается въ его пользу. „Божій судъ“—испытаніе раскаленнымъ желѣзомъ, которому добровольно подвергается вдова предпоследняго короля и мать Гакона,—устанавливаетъ, въ глазахъ народа, королевское происхожденіе Гакона, и народное собраніе вновь признаетъ его королемъ единой Норвегіи.—Счастье продолжаетъ благоприятствовать Гакону, и всѣ его соперники одинъ за другимъ гибнутъ и исчезаютъ, кромѣ одного самаго сильнаго—ярла Скуле, бывшаго опекуна Гакона... Скуле храбръ и даровитъ, властолюбивъ, но честенъ. Скрѣпя сердце, онъ призналъ бы, быть можетъ, власть Гакона, если бы у послѣдняго не было еще одного затаеннаго и умнаго врага. Это—епископъ Николай. Судьба сыграла съ нимъ злую шутку: вложила въ него жажду власти, дала способности государственнаго человѣка и правителя, но не дала способностей солдата. Всѣ сраженія, въ которыхъ онъ принималъ участіе, не оставляли мѣста сомнѣнію, что Николай Арнессонъ (имя епископа)—не воинъ, что онъ—„трусъ“. Но—не солдатъ, значить—и не король, какъ это ни нелѣпо кажется „трусѣ“, чувствующему себя созданнымъ для роли короля—гражданскаго правителя. Въ результатѣ онъ пре-

вращается въ епископа, который безсильно грезить до самой смерти о коронѣ и ненавидитъ Гакона, какъ человѣка, которому дарована физическая возможность сдѣлать то, что подсказываетъ внутренній голосъ и призваніе. Но именно поэтому Гаконъ не долженъ имѣть конечнаго успѣха, поскольку это во власти епископа.—Съ этой цѣлью послѣдній внушаетъ Скуле, что судъ Божій ничего не доказалъ въ вопросѣ о происхожденіи Гакона, кромѣ факта добросовѣстнаго убѣжденія со стороны его родной матери, которая могла не подозрѣвать подмѣны ея ребенка, а между тѣмъ этотъ подмѣнъ *возможенъ и открытенъ* по условіямъ первыхъ лѣтъ жизни Гакона. Это епископъ *доказываетъ* Скуле за нѣсколько минутъ до своей смерти... Возможенъ, но не несомнѣненъ. Честолюбивый, но честный Скуле не можетъ ни отказаться отъ короны, составляющей его „задачу жизни“, ни рѣшиться взять ее силой *по праву*... Наконецъ, рѣшается, но отсутствіе твердой вѣры въ себя и въ свое право приводитъ къ поражению: онъ никогда не можетъ „сжечь всѣ мосты кромѣ, одного“, какъ это дѣлаетъ уравнившійся Гаконъ,—не можетъ, въ силу этого, воспользоваться самой благопріятной комбинаціей, когда обстоятельства дѣлаютъ удачу возможной... Душевный разладъ норвежскаго Гамлета—полководца разрѣшается смертью... Не найдя въ себѣ силы жить ради своей „задачи“, измученный Скуле рѣшаетъ умереть ради торжества объединительной идеи Гакона, которую онъ самъ признаетъ „истинно-королевскою“. „Нельзя жить, повторяетъ онъ слова своего друга-скальда, ради жизненной задачи другого, но можно за нее пасть“.

Драма изобилуетъ художественными подробностями. Фигуры „пасынковъ Божьихъ“—Скуле (такъ называетъ его Гаконъ) и епископа—превосходно отгѣняютъ „счастливейшаго человѣка“—короля Гакона, которому судьба и природа дали все то, что раздѣлили у пасынковъ. Онъ жivetъ въ неизмѣнномъ сіяніи своей истинно-королевской идеи. Онъ нашелъ въ ней одновременно и *жизненный стимулъ*, и *верховный критерій поведенія*. Вопросъ о жертвахъ, разъ рѣчь идетъ объ его „задачахъ“, не содержитъ въ себѣ никакихъ мучительныхъ привнесеній ни для Гакона, ни для окружающихъ; даже для тѣхъ, счастьемъ которыхъ ему приходится жертвовать, его поведеніе просто и понятно. Онъ удаляетъ правителемъ на далекую окраину своего ближайшаго друга, отсылаетъ въ почетное изгнаніе свою родную мать, только что выдержавшую „испытаніе желѣзомъ“ для подтвержденія его правъ на корону... Потому что, говоритъ онъ, около короля (такого, какъ онъ) не должно быть никого, кто *слишкомъ* ему дорогъ.—Даже та, которую онъ взялъ въ королевѣ Норвегіи, для него только мудрая совѣтница и дочь побѣжденнаго соперника, которую *нужно* было взять въ жены. Что она любитъ его, что въ ея глазахъ неудачи отца—не неудачи *отца*, а торжество ея *мужа*,—

все это онъ видитъ, но ничего не замѣчаетъ: все это слишкомъ далеко отъ него и скользить по душѣ, не оставляя прочнаго слѣда.

По началу пьесы Гаконъ, въ изображеніи Ибсена, настолько жестоко и прямолинеенъ въ своихъ дѣйствіяхъ, что читатель не можетъ освободиться отъ впечатлѣнія, что дѣло здѣсь не только въ сіяющей задачѣ, а и въ изрядной черствости души... Только когда читатель убѣждается, при дальнѣйшемъ ходѣ событій, что Гакону *жаль* своего могучаго и опаснаго соперника, что ему тяжело осудить его на смерть и онъ *колеблется* это сдѣлать, пока тотъ самъ не кладетъ конецъ колебаніямъ, отдавши свирѣпое приказаніе убить сына Гакона—младенца: „убить гдѣ бы онъ ни встрѣтился — убить на тронѣ, убить передъ алтаремъ, убить на груди у матери“, только тогда, когда читатель вмѣстѣ съ Гаконѣмъ переживаетъ его радость, что осужденный на смерть Скуле все-таки имѣетъ возможность спастись — эту возможность оставляетъ самъ Гаконъ — образъ Гакона становится человѣчески—привлекательнымъ, и читателю дѣлается яснымъ, что не душевная черствость создаетъ видимую прямолинейность Гакона, а только исключительный характеръ и исключительные размѣры его „жизненной задачи“. Онъ прямолинеенъ потому, что убѣжденъ, что онъ „избранникъ Божій“; прямолинеенъ потому, что не знаетъ коллизіи между внутреннимъ призваніемъ и голосомъ совѣсти... Все, что могли ему дать природа и счастье, онъ получилъ. И все, что получилъ, все сосредоточилъ на одномъ помыслѣ... И совѣсть спокойна даже тогда, когда онъ переступаетъ, „во имя Божіе“—на порогъ церкви—черезъ трупъ Скуле, соперника, жаждавшего власти не ради Норвегіи, а для самого себя—хотя и по праву.

Какъ видитъ читатель, Ибсену понадобились полу-сказочныя условія, чтобы помирить душевное равновѣсіе и преслѣдованіе напроломъ поставленной себѣ „задачи жизни“. Понадобились жизненныя условія Норвегіи XIII-го столѣтія. Но и при этихъ условіяхъ художественная задача Ибсена оказалась, какъ мы видѣли, достаточно трудной и сложной. Чтобы сдѣлать своего одноплеменника-короля психологически возможнымъ и понятнымъ для читателя, Ибсенъ долженъ былъ прибѣгнуть, такъ сказать, къ отрицательной макерѣ письма. Онъ выдвинулъ на первый планъ Скуле и епископа и сравнительно на второмъ планѣ оставилъ центральное по смыслу пьесы лицо—Гакона. Съ особой силой и рѣзкостью подчеркивая душевную драму у „пасынковъ Божьихъ“, Ибсенъ заставляетъ читателя руководиться чувствомъ контраста и угадывать то душевное равновѣсіе и покой, которые составляютъ силу и счастье Гакона. Для васъ ясно, что Гаконъ не можетъ быть—по отсутствію причинъ—ни измученнымъ Скуле, ни озабоченнымъ епископомъ. Его портретный контуръ—образъ Гакона

не больше, какъ контуръ — становится для васъ заполненнымъ, значительнымъ и правдивымъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ для васъ ощутительно ясно, какъ, въ сущности, онъ мало возможенъ (не „мало вѣроятенъ“) и отъ какой путаницы условій зависить то, что называется спокойнымъ человѣческимъ счастьемъ, даже и при наличности „истинно-королевской идеи“.

Аналогичный образъ увѣреннаго обладателя жизненной задачи Ибсенъ создалъ и при современныхъ условіяхъ. Это — Джонъ Габріэль Бореманъ, бывшій директоръ банка, разорившій вкладчиковъ незаконнымъ расходованиемъ средствъ банка, ради торжества своихъ идей „освободить милліоны“ изъ нѣдръ рудниковъ и „облагодѣтельствовать десятки, сотни тысячъ людей“. Судебный приговоръ, осудившій его на пять лѣтъ тюрьмы, не измѣнилъ его глубокаго убѣжденія, что онъ *имѣлъ право* такъ поступить, какъ поступилъ, слушаясь своего „непобѣдимаго призванія“, и онъ все ждетъ, что къ нему вернутся, стануть „ползать“ передъ нимъ и „умолять“ взять снова банкъ въ свои руки...

Въ изображеніи Ибсена получился, однако, виновный банковый дѣлецъ, а не привлекательный Гаконъ въ обстановкѣ XIX столѣтія. — Оно и понятно: чтобы шестіе напроломъ въ преслѣдованіи своего „непобѣдимаго призванія“ не имѣло отталкивающаго характера, нужна „истинно-королевская“ идея, — нужно, чтобы „задача жизни“, подобно задачѣ норвежскаго короля XIII столѣтія, имѣла исключительно высокую моральную цѣнность, ясную для непосредственнаго чувства читателя. Иначе читатель будетъ реагировать на причиненіе страданій другому только какъ на неоправдываемый моральнымъ чувствомъ проступокъ.

Съ своимъ Гаконемъ Ибсенъ могъ обратиться къ непосредственному чувству читателя. Освободить родную страну отъ братоубійственныхъ междоусобицъ и создать изъ нея одно общее отечество для вчерашнихъ враговъ — идеи, внутренняя цѣнность которыхъ ясна и безспорна для всякаго, и читатель отвѣчаетъ на художественный образъ опредѣленной, исторически сложившейся эмоціей положительнаго характера... Не то съ Бореманомъ. „Освободить милліоны“, спрятанные въ землѣ въ видѣ рудъ; на освобожденные милліоны понастроить фабрики, которыя будутъ работать „и днемъ, и ночью“; захватить въ свою власть „всѣ копи, водопады, каменоломни, дороги и пароходныя линіи по всему міру“... Все это очень красиво и интересно, какъ техническій замыселъ (конечно, фантастическій), но все это не безспорная „истинно-гражданская“ идея; не та всеобъемлющая идея, которая способна захватить читателя, безъ теоретическихъ разъясненій и умственныхъ усилій; не та ясная, безспорная и чарующая идея, ради которой простительны всякія жертвы. И потому читатель

не въ состояніи отозваться на грезы Боркмана относительно работающих днемъ и ночью фабрикъ сочувственной эмоціей радостнаго характера, которая могла бы покрыть собою естественную отрицательную реакцію на тѣ жертвы чужимъ благополучіемъ, которыя разрѣшаетъ себѣ, безъ всякихъ колебаній, Боркманъ... Вѣрно, скорѣе, обратное: непосредственное чувство все, что отывается такъ называемымъ „дѣломъ“, окрашиваетъ, по традиціи, въ невыгодную для „дѣльца“ сторону прежде даже, чѣмъ выяснятся социальныя качества красиво задуманнаго „предпріятія“... Вотъ почему, повинувшись своему непосредственному чувству (а къ нему только и можетъ обращаться художникъ), читатель *не можетъ* разрѣшить Боркману требовать отъ другихъ жертвы, подобно тому, какъ онъ способенъ это сдѣлать относительно Гакона, и для него (читателя) Боркманъ остается только банковымъ дѣльцомъ, виновнымъ въ нарушеніи довѣрія вкладчиковъ, а отнюдь не героемъ своей жизненной задачи, переживающимъ трагическую коллизію между нею и объективными условіями жизни.

III.

Для героевъ современныхъ пьесъ Ибсена жизненная задача, какъ было замѣчено, очень нерѣдко связана съ тяжелой внутренней драмой. Это, однако, не измѣняетъ отношенія къ ней ни Ибсена, ни его героевъ. „Красота и счастье находятся гдѣ-то внѣ жизни“, говоритъ въ одномъ мѣстѣ Чеховъ. Ибсенъ кореннымъ образомъ расходится въ этомъ отношеніи съ нашимъ писателемъ. Правда, счастье—хрупкая и рѣдкая вещь: съ этимъ и онъ вполне согласенъ. Но красота—красота не изгнана изъ жизни; она возможна даже въ мелочахъ жизни. Вмѣстѣ съ энергіей жить она создается наличностью „жизненной задачи“, хотя бы по размѣрамъ эта задача была очень далекой отъ „истинно-королевской“... Но создается вмѣстѣ съ тѣмъ—зачастую—и внутренняя драма. У современныхъ героевъ Ибсена не только нѣтъ односторонности и внутреннего равновѣсія короля Гакона, но, очевидно, и не можетъ быть. Слишкомъ сложною стала жизнь, а совѣсть, которая еще у Гакона была достаточно „коренастою“, стала „слишкомъ мягкой“. Современному культурному—въ настоящемъ смыслѣ этого слова—человѣку нужно удовлетворить слишкомъ многимъ требованіямъ, выдвинутымъ эволюціей чело-вѣческаго духа. Вѣдь очень часто удовлетворить *своей* жизненной задачѣ—значить растоптать, какъ это дѣлаетъ „во имя Божіе“ Гаконъ, жизненную задачу другого, такую же законную, такую же субъективно цѣнную, какъ моя. Въ этомъ отношеніи все преимуще-ство на сторонѣ древнихъ викинговъ: они, какъ простую воду, пили медъ и крѣпкое вино, но и какъ простую воду—

лили человеческую кровь. Эти представители пережитого прошлого могли съ легкимъ сердцемъ идти напроломъ, относясь къ окровавленнымъ трупамъ и враговъ, и друзей, какъ къ простой законной подробности жизни.

Но время „коренастой“ совѣсти прошло, и жизнь пошла по другому руслу.

Вся исторія сложилась въ сторону развитія моральнаго чувства, повышенія цѣнности жизни и счастья одного въ глазахъ другого и, слѣдовательно, въ сторону „мягкой“ совѣсти.

Современному герою Ибсена нужно удовлетворить не только голосу призванія и голосу чести, какъ старымъ викингамъ, но и болѣзненному чувству ответственности за себя (Сольнесъ), за своихъ предковъ (Росмеръ) и даже за особо благоприятныя условия, въ которыхъ проходитъ его личная жизнь (Фьельдбо въ „Союзъ молодежи“).

Каково отношеніе къ этому процессу смягченія „коренастой“ совѣсти со стороны самого Ибсена? Для многихъ онъ пѣвецъ „коренастой“ совѣсти и обличитель „мягкой“: онъ не прочь былъ бы видѣть возрожденіе первой и исчезновеніе—ради счастья личности—второй... Это несомнѣнное недоразумѣніе. Въ пьесахъ Ибсена есть обладатели такой здоровой совѣсти, есть жаждующіе такой здоровой совѣсти, но въ конечномъ результатѣ вопросъ о ней разрѣшается далеко не такъ просто—въ смыслѣ устройства совмѣстнаго существованія на началахъ звѣринныхъ.

Въ этомъ отношеніи представляетъ особый интересъ „Росмергольмъ“. Напомнимъ содержаніе этой драмы.

Росмеръ — потомокъ стариннаго рода; бывшій пасторъ. Его предки—все „корректные и честные люди“—представители такъ называемыхъ патриархальныхъ воззрѣній, считали нужнымъ держать окружающее населеніе въ подчиненіи и моральной приниженности. Подъ вліяніемъ переменившагося міросозерцанія, Росмеръ дѣлаетъ себѣ задачу жизни изъ искупленія исторической вины своихъ предковъ. Всѣмъ своимъ вліяніемъ — и личнымъ, и какъ потомка Росмеровъ—онъ долженъ воспользоваться для духовнаго освобожденія приниженныхъ его предками людей. Въ его мечтахъ они живутъ уже „радостными аристократами духа“ въ противоположность мрачнымъ аристократамъ духа его предкамъ. Этотъ переворотъ въ душѣ консерватора-пастора совершился подъ вліяніемъ одаренной дѣвушки Ревекки Вестъ. Духовная эмансипація населенія—это собственно ея мысль. Она задумала провести ее въ жизнь руками Росмера (это одна изъ обычныхъ формъ, въ которыхъ отливаются „задача жизни“ у женщинъ Ибсена) и нашла возможность укрѣпиться въ его домѣ, его семьѣ (Росмеръ женатъ)... Скоро отношенія осложняются страстнымъ чувствомъ Ревекки къ Росмеру. Жена Росмера — хорошій, но консервативный по складу ума человекъ — стоитъ, очевидно, на

дорогѣ Ревекки: Ревекки-борца и еще больше Ревекки-женщины.

Въ результатѣ Ревекка, которая сознательно культивируетъ въ себѣ то, что называетъ „безстрашною волей“, рѣшаетъ сдѣлать „выборъ между двумя жизнями“ (Росмера и его жены) и доводитъ жену Росмера до сознанія, что для мужа она тяжелая номяха. Какъ преданный и любящій человекъ, та находитъ выходъ въ самоубійствѣ.

Дорога къ счастью личному и къ выполнению двойной „задачи психи“ открывается, но вмѣстѣ съ тѣмъ и закрывается. Росмеръ узнаетъ разными путями, что его жена покончила съ собой не въ припадкѣ безумія, какъ онъ полагалъ, а сознательно жертвуя собой; узнаетъ и тѣмъ самымъ теряетъ и вѣру въ свою способность „перерождать“ людей, и состояніе „безвинности“, въ которомъ онъ находилъ до сихъ поръ необходимую ему бодрость духа... Но это отнюдь не вызываетъ бурного протеста со стороны виновницы всего—Ревекки. Она сама уже не прежняя, не „безстрашная“. Подъ влияніемъ совместной жизни съ Росмеромъ, гипнозъ безстрашія утратилъ силу (вмѣстѣ съ чувствомъ бурной страсти). Она невольно поддалась очарованію утонченной душевной организации своего друга (онъ остался для нея только другомъ: это высшее, что цѣнить въ ихъ отношеніяхъ Росмеръ). Она признается въ своей винѣ относительно его покойной жены и признается, что она не въ силахъ была взять счастье для нихъ обоихъ, которое она такъ „безстрашно“ завоевала, потому что у нея исчезла, по ея словамъ, „прежняя, безстрашная воля, которая хотѣла освободиться... у нея теперь нѣтъ больше силы — нѣтъ положительной силы“.

Росмеръ. Какъ объясняешь ты, что съ тобой произошло?

Ревекка. Мировоззрѣніе Росмеровъ или, вѣрнѣе, твое мировоззрѣніе—заразило мою волю.

Росмеръ. Заразило?

Ревекка. И сдѣлало ее больной. Поработило ее законамъ, которые прежде не имѣли для меня значенія. Ты и жизнь съ тобой облагородили мою душу.

Нравственный кризисъ, осложненный утратой вѣры въ свѣтлившую обоимъ задачу жизни, разрѣшился новымъ двойнымъ самоубійствомъ Ревекки и Росмера.

Такимъ образомъ „хилая“ совѣсть въ глазахъ Ревекки является результатомъ привнесенія въ человѣческую жизнь какого-то высшего начала, которое „заражаетъ“ совѣсть, дѣлаетъ ее „больной“, но вмѣстѣ съ тѣмъ является чѣмъ-то безспорнымъ и *облагораживающимъ* душу. Перенесеніе морали старыхъ викинговъ въ современную жизнь невозможно не только по объективнымъ, но и по субъективнымъ причинамъ. Хилый совѣстью и обреченный на бездѣйствіе Росмеръ вамъ всетаки — повидимому, и

Ибсену — ближе, чѣмъ даже Гаконъ съ своей коренастой совѣстью и „истинно-королевской идеей“. Быть можетъ, виновать въ этомъ присущій современному человѣчеству культъ человѣческаго страданія. Давно уже вся коллективная жизнь живетъ насчетъ страданія *лучшихъ*. Въ концѣ концовъ, это страданіе лучшихъ для разума стало не только прочнымъ залогомъ возможности общаго счастья, но и почти синонимомъ этого счастья. Получилось странное противорѣчіе въ душевномъ укладѣ, въ силу котораго современный челоѣкъ, жаждущій покоя и счастья, мало понимаетъ спокойную красоту Венеры или, если угодно, понимаетъ ее съ какимъ-то мучительнымъ чувствомъ укора; но понимаетъ Мадонну, которая знаетъ, что Сынъ ея будетъ распятъ на крестѣ... Этотъ культъ страданія, какъ страданія, отмѣтилъ, кажется, Гейне. По его словамъ, умирающей собакѣ страданія придаютъ сходство съ челоѣкомъ.

Но мы отклонились въ сторону. Какъ бы ни объяснять исчезновеніе коренастой совѣсти, фактъ тотъ, что ея у современныхъ людей нѣтъ; она замѣнилась до странности болѣе цѣнной — „хилою“ совѣстью. А эта „хилая“ совѣсть очень часто стоитъ на дорогѣ, когда челоѣкъ пытается идти напроломъ къ своей жизненной задачѣ... *). И не только, когда онъ виновенъ — какъ Ревекка и до извѣстной степени Росмеръ — въ *юридическомъ* смыслѣ этого слова, но и тогда, когда никакой вины по существу нѣтъ и челоѣкъ только „безъ вины виноватъ“ въ своихъ собственныхъ глазахъ.

IV.

Едва ли не самымъ обездоленнымъ въ этомъ отношеніи является „Строитель Сольнесъ“. У него есть задача жизни, по своимъ размѣрамъ не уступающая задачѣ Гакона.

Символическій „строитель“ въ области челоѣческаго духа, онъ въ началѣ своей дѣятельности, по традиціи (онъ — бывшій крестьянинъ), строилъ въ качествѣ высшаго, на что онъ способенъ, церкви и колоколни **). Но церкви и колоколни безсильны дать

*) Крупное значеніе вопросовъ о больной совѣсти и чести въ драмахъ Ибсена отмѣтилъ еще покойный Н. К. Михайловскій. Насъ интересуютъ эти элементы только въ отношеніи ихъ къ основной задачѣ — разъясненію вопроса о „жизненной задачѣ“ и ея роли.

**) Въ первый періодъ духовнаго строительства Сольнесъ опирается на базу религіозныхъ вѣрованій (постройка церковей и колоколенъ); во второй — перестраиваетъ жизнь, внося въ нее благополучіе, но не выходя изъ сферы прямыхъ и *конкретныхъ* нуждъ людей (постройка уютныхъ домовъ и очаговъ); въ третій — перестраиваетъ повседневную жизнь, внося въ нее *идеальный* элементъ (постройка домовъ съ башнями); въ четвертый — превращаетъ идеалъ въ самостоятельную цѣль жизни (воздушные замки на камен-

человѣку то, что ему больше всего нужно, — красоту человѣческаго счастья; они только приближающа для человѣческаго несчастья. „Строитель“ рѣшается измѣнить традиціонному строительству. Отнынѣ онъ будетъ строить только свѣтлыя, уютныя жилища для людей, красивыя и веселыя гнѣзда „для дѣтвора, ихъ матерей и отцовъ“. Съ увѣреннымъ вызовомъ „строитель“ обращается къ Богу, которому служилъ „съ такимъ честнымъ и теплымъ чувствомъ“: — „Слушай, Всемогушій! Съ этихъ поръ и я хочу быть свободнымъ строителемъ. Въ своей области. Какъ Ты въ своей. Я никогда не буду больше строить церквей. Только жилища для людей“. И такъ же, какъ раньше, когда онъ строилъ церкви и колокольни, его строительная дѣятельность сопровождается успѣхомъ; дальше больше: его почти „преслѣдуетъ“ успѣхъ, какъ другихъ преслѣдуютъ несчастье и горе... Но этотъ неизмѣнный успѣхъ не приноситъ ни покоя, ни счастья. „Строитель“ вѣчно помнитъ о тѣхъ жертвахъ, которыя связаны — не для него, къ сожалѣнію — съ пережвѣной въ его строительной дѣятельности. Въ однихъ жертвахъ онъ не повиненъ, какъ не повиненъ, по существу, въ болѣзни и бездѣтности своей жены. Память, однако, не перестаетъ связывать эти несчастья близкаго человѣка съ его первымъ успѣхомъ. Его женѣ такъ легко и привычно жилось въ старомъ домѣ отцовскихъ возрѣвій. Домъ былъ снаружи похожъ на „большой мрачный и безобразный ящикъ“, но внутри было „очень хорошо и уютно“.

Сольнессу страстно хотѣлось, чтобы этотъ домъ сгорѣлъ и далъ ему случай построить первый настоящий домъ. И домъ дѣйствительно сгорѣлъ, сгорѣлъ по чистой случайности, — не въ силу его попустительства. На его мѣстѣ Сольнессъ выстроилъ то, что хотѣлъ, и на желанной постройкѣ создалъ себѣ славу лучшаго „строителя“. А для его жены послѣдствіемъ пожара была болѣзнь, смерть близнецовъ ея, которыхъ она сама кормила и потеря навсегда надежды быть матерью. Сгорѣло ея міросоверпаніе: сгорѣли „кружева“ *) жизни, передававшіяся изъ поколѣнія въ поколѣніе, сгорѣли „куклы“ *) ея дѣтскихъ воспоминаній и традиціонныхъ вѣрованій. Алина (жена Сольнесса) признается, что,

номъ фундаментѣ). Вліяя на міроразуміе окружающихъ и жены, онъ создаетъ въ ихъ душѣ „пожары“ и гибель всего, съ чѣмъ они сроднились, чѣмъ жили и были счастливы. Новое міроразуміе не даетъ (многимъ) того покоя и счастья, которое давали старыя религіозныя возрѣнія. — Вотъ общій смыслъ символовъ въ пьесѣ (Какъ извѣстно, Ибсенъ вложилъ въ пьесу много подробностей о себѣ, какъ писателѣ).

Само собой разумѣется, что драма Ибсена имѣетъ характеръ общаго символа, и въ лицѣ Сольнесса мы вправѣ видѣть всякаго новатора, всякаго реформатора, „задача“ котораго требуетъ жертвъ во имя идеала.

*) Мы уясняемъ символы. (Въ подлинникѣ — дѣйствительныя „кружева“ и „куклы“).

когда около нея не было мужа, она никогда не разставалась съ этими старыми „куклами“, и ихъ она оплакиваетъ такъ же неотутѣшно, какъ своихъ двухъ малютокъ...

„Пожары“ очень часто предшествуютъ „строительству“ и, нужно думать, „строитель“ видѣлъ не одинъ такой, какой изуродовалъ жизнь его жены. Но тутъ послѣдствія пожара слишкомъ на глазахъ. Слишкомъ близкій человѣкъ (припомните выраженіе Гаконъ: „около короля не должно быть никого, кто слишкомъ ему дорогъ“) утратилъ навсегда то, чѣмъ живъ самъ Сольнессъ, и жена его за-живо стала „мертвою“, по его выраженію. Когда юная энтузіастка Гильда, во время бесѣды внезапно спрашиваетъ: „Теперь вы думаете о ней“ (объ Алинѣ)? Онъ отвѣчаетъ: „Да. Больше всего объ Алинѣ. Потому что у Алины... у нея тоже было свое жизненное призваніе. *Совершенно такъ же, какъ у меня...* Но ея призваніе должно было быть разбито, уничтожено, отгѣснено, для того, чтобы мое повело къ своего рода великой побѣдѣ“, и на недоумѣвающіе вопросы Гильды, „волнуйся и нѣжно“— по авторской ремаркѣ—разясняетъ сущность „задачи жизни“, какъ она представлялась его женѣ: „Ростить дѣтскія души, Гильда! Воздвигать ихъ такъ, чтобы онѣ могли расти въ уравновѣшенности и благородныхъ, прекрасныхъ формахъ. Чтобы изъ нихъ вышли прямые взрослые души. Вотъ къ чему у Алины было призваніе... и все это *пропало безъ употребленія... навѣки...* Точь въ точь какъ пчелъ послѣ пожара“.

Во всемъ этомъ онъ, конечно, не виноватъ, если пользоваться терминологіей юристовъ, но для себя самого онъ виноватъ—виноватъ уже потому, что *хотѣлъ* этого символическаго пожара.

Къ этому присоединяются (у Ибсена драма всегда сложная) еще и сомнѣнія, возникшія у Сольнесса относительно внутренней цѣнности его задачи жизни. — Гаконъ чувствовалъ себя избранникомъ божьимъ; Сольнессъ чувствуетъ себя бунтовщикомъ, взявшимъ на себя всю отвѣтственность за успѣхъ. И вотъ люди, слѣдуя его совѣтамъ, строятъ дома, но не хотятъ имѣть на этихъ домахъ ничего, что уходило бы въ высь къ небу *), подобно старымъ колокольнямъ и церквямъ. Въ концѣ концовъ, оказывается, что, если не давали счастья эти старыя прибожища людей, то не больше дали и его символическіе дома безъ башенъ. Онъ чувствуетъ, что все дѣло можно поправить надстройкой этихъ башенъ, но жизненная усталость сказывается и его надорванныхъ силъ уже недостаточно. Съ другой стороны, его „задача жизни“ обошлась ему слишкомъ дорого (по его выраженію), чтобы онъ могъ добровольно уступать ее другому, который отгѣснить стараго „строителя“, оставивъ въ его жизни только одну перенесенную муку. Онъ готовъ—на этотъ разъ уже сознательно—растоптать чужое

*) Символь идеальнаго элемента въ повседневной жизни.

призваніе, лишь бы не приобрести въ лицѣ Рагнара (его помощника) возможнаго замѣстителя — талантливаго замѣстителя — въ „строительство“. Противорѣчіе между поведеніемъ, основной идеей его строительства и его „задачей жизни“ *) онъ сознаетъ, конечно, когда говоритъ (по ремаркѣ Ибсена, „подавленнымъ голосомъ и съ внутреннимъ волненіемъ“):

„Слушайте внимательно, что я вамъ скажу, Гильда. Все, что мнѣ дано создавать, строить, воздвигать, все прекрасное, уютное, свѣтлое... возвышенное (домаетъ руки)... все это я долженъ испытать. Платить за это. Не деньгами, а человѣческимъ счастьемъ. И не только своимъ, но и чужимъ... И каждый Божій день я долженъ видѣть, какъ плата все наново вносится. Все вновь, все вновь... вѣчно вновь!“ Но практическое послѣдствіе этого — только усиленіе душевнаго разлада. Когда при немъ говорятъ объ его счастьѣ, онъ слушаетъ это „съ мрачной улыбкой“, по ремаркѣ Ибсена, и разъясняетъ это „счастье“ Гильдѣ: „...люди называютъ это счастьемъ! Но я вамъ скажу, какъ ощущается это счастье! *Я ощущаю его, какъ больное мѣсто на груди, лишенной кожи.* И вотъ являются помощники и слуги и снимаютъ куски кожи у другихъ людей, чтобы закрыть мою рану! *Но раны этой не зажить.* Никогда... никогда! О, если бы знали, какъ иногда это жжетъ и рѣжетъ!“

Устранить душевный разладъ, парализующій „строительство“ Сольнеса беретъ на себя Гильда. — Въ принципѣ она представитель „коренастой“ совѣсти, какъ и Ревекка. Если она и заставляетъ Сольнеса сдѣлать все, что хочетъ для себя Рагнаръ, то только потому, что поступить иначе недостойно ея строителя; потому что — въ принципѣ — она не хочетъ считаться ни съ чьимъ горемъ, разъ дѣло идетъ о „строителѣ“ и его „задачѣ“. „У васъ слишкомъ мягкая совѣсть“, говоритъ она Сольнесу, „такъ сказать, нѣжная. Не выносить ударовъ, не можетъ ни поднять, ни нести ничего тяжелаго“. И на вопросъ Сольнеса: „Какою же должна быть совѣсть, если можно спросить?“ отвѣчаетъ: „У васъ мнѣ бы лучше всего хотѣлось, чтобы совѣсть была... ну... очень крѣпкая“.

Она настаиваетъ на томъ, чтобы Сольнесъ закончилъ все, что задумалъ 10 лѣтъ тому назадъ. Онъ долженъ побороть свои сомнѣнія, принижающія его силы, долженъ чувствовать себя, какъ встарь, долженъ подняться на „головокружительную высоту“, а затѣмъ онъ долженъ, вмѣстѣ съ нею, приняться за осуществленіе его идеи: за постройку единственнаго, въ чемъ *можетъ* жить человѣческое счастье — „воздушные замки“ человѣческихъ идеаловъ „на каменномъ фундаментѣ“ **) дѣйствительныхъ нуждъ, ни съ кѣмъ и ни съ чѣмъ (въ своемъ прошломъ) не считаясь.

*) Неуловимый переходъ между тѣмъ, что называется „проступкомъ“ и тѣмъ, что составляетъ „подвигъ“, вообще близкая для Ибсена тема.

**) Отнынѣ идеаль не „пристройка“ къ жизни, а самостоятельная цѣль.

Попытку подняться на „головокружительную“ высоту требованій юной дѣвушки ободренный Сольнессъ дѣлаетъ: счастливо поднимается, вѣнчаетъ вѣнкомъ свой символическій домъ съ высокой башней, „уходящей въ небо“, но силъ удержаться у него не хватаетъ; онъ падаетъ и разбивается на смерть.

Н. К. Михайловскій называлъ Сольнесса „извѣденнымъ совѣстью человекомъ“. Это совершенно точное опредѣленіе его душевнаго состоянія. И причина, какъ мы видимъ, въ томъ, что ему съ самаго начала не свѣтило его „истинно-строительская“ идея—такъ же, какъ Гакону свѣтила его „истинно-королевская“, когда онъ посылалъ свою мать въ почетное изгнаніе. Для Гакона его „истинно-королевская“ идея была одновременно и стимуломъ, и верховнымъ оправданіемъ. Не было никакой другой задачи, которая могла бы сравниться съ его задачей и всякая должна была уступить „во имя Божіе“. У Сольнесса такого объективнаго масштаба нѣтъ. Онъ умѣетъ цѣнить задачи только съ объективной точки зрѣнія. „У нея *тоже* было свое жизненное призваніе. *Совершенно такъ же, какъ и у меня,*“ говоритъ онъ о женѣ.—Между тѣмъ задача Сольнесса обладаетъ несомнѣнной объективной цѣнностью. Ею же живетъ Гильда и изъ моральнаго содѣйствія Сольнессу дѣлаетъ свою собственную „задачу жизни“.

Что касается Гильды, въ принципѣ—какъ мы видѣли—она готова ничѣмъ не стѣсняться: дебатировавъ вопросъ о крѣпкой и нѣжной совѣсти, она говоритъ Сольнессу: „...Да почему мнѣ и не быть хищной птицей! Почему и мнѣ не выходить на добычу? Захватить ту добычу, которая мнѣ нравится? Разъ я могу запустить въ нее свои когти? И удержать ее?“ Но лишь только приходится столкнуться съ живымъ человѣческимъ горемъ, какъ дѣломъ ея рукъ, и она превращается въ „хилаго человѣка“, не чувствуя, напр., въ себѣ способности добыть злополучную жену Сольнесса, отнявъ у нея Сольнесса, хотя бы и въ интересахъ будущихъ „воздушныхъ замковъ“... „Я не могу поступить нехорошо съ человекомъ, котораго я знаю“, признается она Сольнессу. „Не могу отнять... чегонибудь“...

Таковы взаимныя отношенія между „задачей жизни“ и совѣстью у современныхъ героев Ибсена. Имъ не достаетъ того, что было въ пору полу-звѣринныхъ отношеній между людьми и что безвозвратно исчезло въ силу „облагороженія“ человѣческой природы. Они уже не способны идти напроломъ къ намѣченной цѣли—спокойные, ясные и уравновѣшенные, не смущаясь чужимъ страданіемъ, подобно старымъ викингамъ. Задача жизни можетъ порою превратить ихъ жизнь въ тяжелое испытаніе. Но все же они будутъ жить, будутъ знать, для чего живутъ и для чего страдаютъ,—пока имъ сіяетъ ихъ задача жизни... Пока она сіяетъ, они не „лишніе“ люди. Они только мучащіеся люди.

V.

Мы переходимъ къ анализу душевной драмы у *лишнихъ* людей Ибсена.

„Лишніе“ люди—это, конечно, „не приспособленные“ къ жизни или „не приспособившіеся“. Обыкновенно въ словѣ „лишній“ слышится извѣстный укоръ по отношенію къ тѣмъ, которые *не сумѣли* приспособиться. Объ Ибсенѣ вѣрнѣе было бы сказать обратное.

Какъ психологъ, онъ считаетъ счастье крупнымъ факторомъ не только дѣйствительнаго, но и моральнаго характера: по Ибсену „радость облагораживаетъ“ (Росмеръ), а „горе дѣлаетъ человѣка злымъ и суровымъ“ (Альмеръ въ „Маленькомъ Эйольфѣ“). Тѣмъ не менѣе авторскія симпатіи его всего меньше принадлежать людямъ, которые спокойны и счастливы въ силу присущей имъ нетребовательности, и ни къ кому онъ такъ жестко и пренебрежительно не относится, какъ къ приспособившимся и приспособляющимся—при всякихъ условіяхъ жизни. „Онъ никогда не хочетъ большаго, чѣмъ можетъ“, иронически отзывается объ одномъ изъ своихъ единомышленниковъ неудачникъ Брендель въ „Росмергольдѣ“, и симпатіи Ибсена явно на сторонѣ этого неудачника, въ итогѣ всей своей жизни нашедшаго только „тоску по великому Ничто“, какъ онъ шутитъ на свой счетъ передъ смертью. Въ глазахъ Ибсена люди, которые никогда не хотятъ того, чего не могутъ, никогда, конечно, не могутъ быть бесполезными; но за то не въ нихъ и источникъ творческихъ силъ, создающихъ будущее; не въ нихъ *залогъ* этого будущаго и не въ нихъ причина неизбежности роста человѣческаго духа и пересозданія жизни на новыхъ началахъ.

Для этого нужны его неуравновѣшенные люди съ безпокойною душой, которые должны неустанно искать и найти... Изъ нихъ вербуются „Строители“, если свою чудотворную жизненную задачу имъ посчастливится найти. Но изъ нихъ же пополняются и ряды лишнихъ людей, если имъ это не удастся... Кто-то скажетъ, что всякій человѣкъ въ чемъ нибудь гениаленъ, только онъ случайно не попалъ на то дѣло, которое обнаружило бы его гениальность.

Героевъ Ибсена то же невѣдѣніе держитъ вдали отъ ихъ „жизненной задачи“, на которую они полностью могли бы отдать свои силы и на которой они могли бы развернуться въ дѣйствительную свою величину. Узелъ ихъ личной драмы всегда въ этомъ удаленіи. У однихъ это удаленіе имѣетъ хроническій характеръ непрерывнаго состоянія; у другихъ результатъ болѣе или менѣе случайной комбинаціи внѣшнихъ условій, разрушившихъ

жизненную „задачу“, которая была или—иногда—казалось, что она была. Психологическая особенность и тѣхъ и другихъ—въ изображеніи Ибсена—это, что они отчетливо сознаютъ свое положеніе и степень его безысходности, отчетливо сознаютъ, чего имъ не хватаетъ и что дѣлаетъ ихъ „лишними“ *въ ихъ собственныхъ глазахъ...* Не въ глазахъ читателя, для котораго они остаются и въ томъ и другомъ случаѣ психологически цѣннымъ матеріаломъ, не реализованнымъ жизнью, какъ она, по тѣмъ или инымъ причинамъ, сложилась. Для читателя они не лишніе, а желанные, но для самихъ себя они несомнѣнно лишніе: „тринадцатые за столомъ“, по выраженію Грегерса въ „Дикой уткѣ“.

Принять жизнь, какъ простой фактъ существованія въ роли „тринадцатаго“, они не могутъ, даже пытаясь это сдѣлать, какъ пыталась Гедда Габлеръ. Остается выходъ, съ которымъ нельзя примириться, но который логически понятенъ и для нихъ, и для читателя: „добровольно“ уйти и перестать быть „тринадцатымъ“... Такъ они и дѣлаютъ. Такъ развязываютъ свою внутреннюю драму Росмеръ и Брендель въ „Росмергольмѣ“; такъ исправляетъ ошибочное рѣшеніе своей „задачи“ злополучный Грегерсъ въ „Дикой уткѣ“, такъ разрѣшаетъ вопросъ о себѣ блестящая неудачница Гедда Габлеръ.

Эта послѣдняя является типичнымъ лишнимъ человекомъ—„хроникомъ“, который всю свою короткую жизнь прожилъ безъ задачи жизни, по личнымъ условіямъ не могъ ея имѣть и напрасно пытался заполнить душевную пустоту эстетическими суррогатами жизненной задачи—внѣшнимъ блескомъ жизни и красотой ея отдѣльныхъ подробностей и мелочей. Жажда настоящаго и крупнаго не покидаетъ ея (по настоящему живетъ она развѣ только нѣсколько часовъ, когда ждетъ духовнаго возрожденія любимаго человека) до момента „красиваго“ выстрѣла въ високъ—непремѣнно въ високъ. Подчеркивая эту ультра-эстетичность Гедды вплоть до способа, какимъ надо покончить съ собой, Ибсенъ отнюдь не дѣлаетъ изъ нея прозелитку эстетизма ради самого эстетизма.

Образъ тоскующей и произвольно жестокой Гедды Габлеръ далъ бы намъ очень цѣнный матеріалъ для анализа драмы у лишнихъ людей Ибсена, но онъ очень сложенъ и вдобавокъ въ немъ слишкомъ много спорныхъ подробностей (напримѣръ, элементъ несомнѣнной „преступности“*) въ поведеніи Гедды Габлеръ), которыхъ нельзя устранить въ нѣсколькихъ словахъ, сказанныхъ мимоходомъ. Разсчитывая вернуться къ „Геддѣ Габлеръ“ въ отдѣльномъ очеркѣ, пока ограничимся о ней сказаннымъ и перейдемъ къ другимъ „тринадцатымъ“.

*) „Преступность“ въ пьесахъ Ибсена подвергается очень своеобразному толкованію, поскольку рѣчь идетъ о богато одаренныхъ людяхъ.

VI.

Съ фактической стороны душевнаго кризиса у владѣльца Росмергольма мы уже знакомы. Пока драма развернулася передъ нимъ только въ половину и для него остается неизвѣстною роль Ревекки въ самоубійствѣ жены, жить для Росмера тяжело: — потеряно „состояніе радостной безвинности“, которое усиливало его работоспособность, но тяжесть была еще въ мѣру силъ. Умная и любящая Ревекка знаетъ это и неизмѣнно напоминаетъ Росмеру, что у него *есть* для чего жить. „О, не думай ни о чемъ, кромѣ твоей прекрасной задачи“. Она знаетъ, что въ этихъ словахъ онъ найдетъ достаточную точку опоры для жизни, хотя бы и не „радостной“. Но положеніе рѣзко мѣняется, когда Росмеръ узнаетъ изъ устъ самой Ревекки, что самоубійство его жены въ дѣйствительности не самоубійство; что цѣной ея жизни самый близкій ему человѣкъ хотѣлъ обезпечить успѣхъ ихъ общей „задачи жизни“ и ихъ собственное счастье. Тогда кризисъ у Росмера приобретаетъ рѣшительный характеръ. Росмеръ потерялъ послѣднее, что у него оставалось: вѣру въ свою способность перевоспитывать и передѣлывать людей, т. е. въ свою „задачу жизни“. Если Ревекка, съ которой онъ цѣлые годы прожилъ, дѣля лучшія, заветныя мечты, не поддавалась влиянію, то какъ самъ можетъ разсчитывать подчинить своему влиянію другихъ — чужихъ ему людей? заставить ихъ силою своего авторитета и моральнаго воздѣйствія *) передѣлать свою жизнь, приниженную мрачными Росмерами, на новыхъ началахъ, достойныхъ человѣка? Онъ перестаетъ вѣрить въ это, и сторонникамъ сохраненія въ неприкосновенности добраго стараго времени, нетрудно вырвать у него согласіе — оставить жизнь въ покоѣ, какъ она есть. Задача его жизни, въ которую онъ вложилъ свое лучшее я, больше не существуетъ и *тѣмъ самымъ* для него безповоротно

О жизни поконченъ вопросъ...

Вотъ діалогъ между нимъ и Ревеккой (Ревекка собирается уѣхать изъ дома Росмера, и онъ считаетъ нужнымъ предупредить ее, что возможныя случайности имъ „уже давно“ предусмотрены и Ревекка отъ нихъ въ матеріальномъ отношеніи обезпечена“. Ревекка возражаетъ, что это лишнее).

Ревекка. Ахъ, Росмеръ, ты проживешь дольше, чѣмъ я.

Росмеръ. Предоставь ужъ мнѣ распорядиться моею жалкою жизнью.

*. Какъ мы видѣли, это — одно изъ существенныхъ (по замыслу Ибсена) орудіи при осуществленіи задачи Росмера.

Ревекка. Что это значить? Не думаешь же ты о томъ...

Росмеръ. Нашла бы ты это страннымъ? Послѣ печальнаго жалкаго пораженія, которое я потерпѣлъ! Я, который хотѣлъ осуществить задачу своей жизни... и вотъ сдѣлался перебѣжчикомъ раньше даже, чѣмъ началась битва!

Ревекка. Возобнови борьбу, Росмеръ! Ты увидишь, что победишь,—если ты попытаешься. Ты облагородишь сотни, тысячи душъ. Только попробуйся.

Росмеръ. О, Ревекка! Я не вѣрю уже больше въ задачу моей жизни.

Росмеръ оказался неправъ: въ дѣйствительности Ревекка, какъ мы видѣли, „переродилась“ подъ его влияніемъ, и отъ *могъ* вѣрить въ свою „задачу жизни“... Но ему нужно было *чувствовать* это, нужно было несомнѣнное доказательство, которое было бы сильнѣе совершеннаго Ревеккой преступленія. Такое доказательство Ревекка могла дать только въ моментъ ихъ двойнаго самоубійства.

Въ томъ же „Росмергольмъ“ есть еще неудачникъ — бывший учитель Росмера, Брендель. Эта вводная фигура, мало обрисованная и недостаточно ясная, повидимому, должна отгнать, что въ роковомъ исходѣ душевной драмы Росмера не слѣдуетъ ничего относить насчетъ его темперамента. Хотя Росмеръ, какъ и всѣ его предки, „никогда не смѣется“,—а Брендель, наоборотъ, всегда смѣется:—даже свою „тоску по великомъ Ничто“ онъ мотивируетъ только въ шуточной формѣ, прося Росмера одолжить ему „парочку отжившихъ идеаловъ“, которыхъ ему не достаетъ,—но результатъ утраты „парочки идеаловъ“ тотъ же, что и у Росмера.

Впервые съ Бренделемъ мы встрѣчаемся въ домѣ Росмера. По ремаркѣ Ибсена, Брендель одѣтъ, какъ „обыкновенный бродяга“.

Какъ всегда, небрежный въ передачѣ конкретныхъ подробностей положенія, Ибсенъ останавливаетъ свое вниманіе только на психологической обрисовкѣ. Въ этомъ отношеніи для читателя выясняется, что Брендель стоитъ на поворотѣ своей жизни: ему кажется (не совсѣмъ такъ или—вѣрнѣе—совсѣмъ нѣтъ такъ, какъ это кажется Росмеру), что наступило уже „бурное время“ и для сѣдого бойца мысли и слова пришла пора настоящаго дѣла... Но практическій дѣятель—тотъ самый Моргенсгордъ (онъ—редакторъ мѣстной газеты), который „никогда не хочетъ большаго, чѣмъ можетъ“, скоро вернулъ сѣдого идеалиста на землю, уяснивъ ему малую рыночную цѣну его „отжившихъ идеаловъ“ — именно здѣсь, на родинѣ его юношескихъ мечтаній... И Брендель, которому легко было занять у стараго ученика, при первомъ же свиданіи послѣ многолѣтней разлуки, „крахмальную сорочку“ и

скюртукъ и „пару порядочныхъ сапогъ“, не хочетъ пережить необходимость занимать „парочку отжившихъ идеаловъ“. Вспоминая по контрасту свое первое появленіе у Росмера съ наружной внѣшностью „обыкновеннаго бродяги“, онъ резюмируетъ разницу между тѣмъ, что было, и тѣмъ, что есть, въ слѣдующихъ словахъ: „Когда я вступилъ въ этотъ залъ послѣдній разъ, я стоялъ передъ тобой (Росмеромъ), какъ достаточный человѣкъ и похлопывалъ себя по карману“... А теперь онъ — „банкротъ“, „голь, какъ соколъ“ и представляетъ „свергнутаго короля на грудь пепла своего сгорѣвшаго дворца“.

Такимъ образомъ и этотъ сѣдой неудачникъ, какъ только сгорѣлъ его дворецъ, не хочетъ больше выносить жизнь, обезцѣненную крушеніемъ его личной „задачи жизни“, и „добровольно“ уходитъ изъ нея, какъ и всѣ неудачники Ибсена.

VII.

Мы остановимся еще на одномъ вариантѣ о лишнемъ человѣкѣ. Это — Грегерсъ въ „Дикой уткѣ“, такъ ненужно изувѣченной символизмомъ. Попутно мы получимъ отвѣтъ на одинъ вопросъ, который самъ собой останавливаетъ читателя *) Ибсена: какъ, въ концѣ концовъ, относится къ *правдѣ* этотъ углубленный въ человѣка писатель, если въ одной своей вещи („Столпы общества“) онъ провозглашаетъ устами Лоны: „свобода и правда — вотъ столпы общества!“ а въ другой („Дикая утка“) устами скептика врача — совершенно обратное: „стимулирующій принципъ — *ложь* жизни“.

Мы легко убѣдимся, что въ дѣйствительности противорѣчія нѣтъ. Для самого Ибсена и для избранниковъ его творчества *правда* — верховный критерій жизни. Они жаждутъ этой правды — истины и правды-справедливости, почти какъ страстотерпцы. „Врагъ народа“ Штокманъ, не задумываясь, отвѣчаетъ на упрекъ, что своимъ разоблаченіемъ истины онъ можетъ подорвать благосостояніе родного города: „я такъ люблю свой родной городъ, что желалъ бы лучше видѣть его разореннымъ, чѣмъ процвѣтающимъ на почвѣ лжи“. Для Штокмана правда выше всего. Но вѣдь та же самая правда не можетъ позволить Ибсену, какъ психологу, скрыть, что это *не для всѣхъ* такъ, что иногда „правда“ налагаетъ на человѣка такую тяжелую ношу, что при малыхъ душевныхъ силахъ съ ней не справиться: она не подниметъ, а придавитъ. — Такимъ образомъ философія „Дикой утки“ не противорѣчіе съ общей идеей Ибсена о „правдѣ“, а дополненіе. Н. К. Михайловскій отмѣтилъ, какъ особенность писательской

*) У насъ этотъ вопросъ былъ, въ извѣстной мѣрѣ, вопросомъ дня, когда ставилась „Дикая утка“ на сценѣ Московскаго Художественнаго театра.

манеры Ибсена, что онъ часто беретъ „одни и тѣ же движенія человеческой души (прибавимъ: важнѣйшія), только въ различныхъ комбинаціяхъ“. Для этого онъ прибѣгаетъ къ „симметричнымъ“ положеніямъ, которыя должны подчеркнуть и рѣзче выдвинуть все существенное. Эта „симметричность“ построеній часто вредитъ художественности впечатлѣнія, — когда она рѣзко и неотступно преслѣдуетъ—такъ сказать—читателя (напримѣръ, въ „Сѣверныхъ богатыряхъ“). Для художественнаго разъясненія вопроса о „правдѣ“ въ жизни, Ибсенъ прибѣгнулъ къ тому же приему „симметричныхъ“ построеній, но обѣ пары симметричныхъ фигуръ: Лона и Грегерса, Берника и Гіальмара онъ размѣстилъ въ двухъ разныхъ пьесахъ: въ „Столпахъ общества“ и въ „Дикой уткѣ“. Благодаря этому, выиграла художественность впечатлѣнія: аналогія не навязывается, а естественно раскрывается мысли читателя, но за то является возможное просматривать ее, какъ это мы и видѣли на фактѣ мнимыхъ противорѣчій у Ибсена.

И Лона („Столпы общества“) и Грегерсъ („Дикая утка“) задаются одной и той же цѣлью: имъ нужно, чтобы окружающая жизнь была цѣликомъ основана на „правдѣ“. У близкихъ имъ обонмъ лицъ жизнь основана какъ разъ обратно — на кривдѣ. Они и становятся прежде всего объектомъ для ихъ нравственнаго воздѣйствія. Оба добиваются желаннаго устраненія внѣшнихъ проявленій кривды. Но результатъ совершенно различный въ зависимости отъ того, *къ кому* они адресовались со своими требованіями устранить кривду. Лона имѣла дѣло съ человѣкомъ крупнаго масштаба (Берникъ); Грегерсъ имѣлъ дѣло съ жалкимъ человѣкомъ (Гіальмаръ). Поэтому первая, въ концѣ концовъ, провозноситъ знаменитую побѣдную фразу: „свобода и правда — вотъ столпы общества!“ а второй долженъ молчать, когда при немъ говорятъ, что скрасить жизнь Гіальмаровъ можетъ только одна „ложь“ (иллюзія).

Такъ какъ драма въ душѣ „лишняго“ человѣка—Грегерса—станетъ рельефнѣе отъ сопоставленія съ торжествующей Лоной, то мы и станемъ разсматривать ихъ параллельно.

VIII.

Богатый судостроитель, дѣлецъ и общественный дѣятель—консулъ Берникъ когда-то былъ на пути къ разоренію. Больше, чѣмъ когда-либо, онъ нуждался въ довѣріи согражданъ, потому что въ переводѣ на языкъ денежныхъ отношеній „довѣріе“ значитъ „кредитъ“: пусть припомнитъ читатель, какъ Гейне-школьникъ изводилъ своего учителя, упорно переводя слово „вѣра“ французскимъ словомъ — „le credit“. И въ это самое время съ Берни-

комъ приключается любовная исторія въ жанрѣ того же Гайне. Если откроется, что герой ея Берникъ, это подорветъ его солидную репутацію въ глазахъ дѣлового и ханжескаго общества (Ибсенъ очень нерѣдко изображаетъ въ такихъ краскахъ „культурное“ общество своей родины). Спасаетъ его другъ Іоганнъ, который бремя „скандала“ принимаетъ на себя и на свое имя. Онъ уѣзжаетъ на неопредѣленное время въ Америку вмѣстѣ съ Лоной, бывшей (тайно) невѣстой Берника: послѣдній предпочелъ ей—ради спасенія своей промышленной фирмы, пережившей три столѣтія—нелюбимую дѣвушку, но съ крупнымъ состояніемъ. Отъѣздъ обоихъ освободилъ Берника отъ всякихъ тревогъ и далъ ему возможность встать на ноги. Свѣдѣнія о затрудненныхъ финансовыхъ обстоятельствахъ старинной фирмы, хотя и сдѣлались достояніемъ молвы, но нашли себѣ легкое объясненіе въ слухѣ, что скрывшійся Іоганнъ обокралъ кассу своего друга. Берникъ слуха не поддерживаетъ, но и не отвергаетъ, пользуясь выгодами такого положенія.

Къ началу пьесы Ибсена, и Лона, и Іоганнъ возвращаются изъ Америки и встрѣчаютъ въ Берникѣ даровитаго дѣльца и уважаемаго общественнаго дѣятеля... Своей Лонѣ Ибсенъ придалъ много чертъ, напоминающихъ ея современницу — русскую нигилистку шестидесятыхъ годовъ. Та же небрежность въ костюмѣ, то же отсутствіе заботы о вѣншей привлекательности, такая же рѣзкость языка вплоть до возраженій: „къ чорту эту глупую исторію“ и та же фанатичная преданность правдѣ. Угловатая рѣзкость въ поведеніи Лоны переплетается у Ибсена въ своеобразное гармоничное цѣлое съ обычными особенностями его женщинъ: съ чувствомъ требовательнаго поклоненія любимому человѣку и высокой оцѣнкой нравственнаго элемента въ любви мужчинъ и женщины. По пьесѣ оказывается, что за 15 лѣтъ разлуки старая любовь Лоны къ Бернику не „заржавѣла“, говоря словами пословицы. И внѣ родины, и послѣ разрыва онъ остался для нея тѣмъ, чѣмъ былъ—„героемъ ея юности“, заслоненнымъ и затемненнымъ главою „дома Берниковъ“, который долженъ по необходимости ежедневно и ежечасно притворяться, молчать и скрывать *).

Естественно, что „задача жизни“ для нея прежде всего отлилась въ заботу о нравственномъ освобожденіи любимаго человѣка. Еще въ Америкѣ, когда она узнала отъ Іоганна, что Берникъ малодушно согласился взвалить на своего друга послѣдствія „скандала“, она „покаялась себѣ“ освободить его отъ безчестящихъ воспоминаній. „Я покаялась себѣ,—говоритъ она въ послѣдствіи, — герой моей юности долженъ свободно и правдиво

*) По пьесѣ Лона права: позорныя для Іоганна обвиненія не забыты, и память о нихъ заботливо культивируется сплетниками мѣстнаго общества.

стоять передъ всѣми"! Ганнибалова клятва не могла, конечно, утратить силу отъ того, что Лона, по своему возвращеніи, узнаетъ, что „герой ея юности“ ради себя и „дома Берника“ 15 лѣтъ не мѣшалъ клеветнической молвѣ называть своего великодушнаго друга *воромъ*. Подъ вліяніемъ общаго положенія вещей, Лона рѣшительно становится на сторону „героя ея юности“ въ борьбѣ противъ главы уважаемой торговой фирмы.

„Все твое величіе поконится на выбомахъ болотъ—и ты вмѣстѣ съ нимъ“,—говоритъ Бернику Лона.—„Я задумала помочь тебѣ приобрести твердую почву подъ ногами“. Она требуетъ отъ Берника, чтобы онъ открыто признался въ своихъ проступкахъ, очистилъ имя Іоганна отъ клеветы и тѣмъ самымъ приобрѣлъ „твердую почву подъ ногами“, т. е. правду. Берникъ отказывается. У него и Лоны разное пониманіе „правды“. Для первой сознаніе своей правоты нужно, какъ гарантія внутренней свободы и чувства обезпеченности отъ возможныхъ случайностей; для второго все дѣло разрѣшается тѣмъ, что онъ чувствуетъ за собой *право* на все, чѣмъ онъ фактически пользуется. „Какъ, чтобы я добровольно пожертвовалъ своимъ семейнымъ счастьемъ и своимъ положеніемъ въ обществѣ!“ — восклицаетъ онъ. А на вопросъ послѣдней: имѣетъ ли онъ *право* на это счастье, отвѣчаетъ, что *имѣетъ*, такъ какъ „въ теченіи пятнадцати лѣтъ (разлуки) ежедневно зарабатывалъ себѣ частицу этого права правильной жизнью и той пользой, какую приносилъ“. Однако, рядъ событій выясняетъ Бернику, какъ онъ не „свободенъ“ въ дѣйствительности и до какой степени онъ можетъ пасть *въ своихъ собственныхъ глазахъ* при защитѣ своего „величія“... И когда ему уже ничто, по внѣшности, не угрожало: Лона намеренно вернула ему всѣ компрометировавшіе его документы, — онъ рѣшается исполнить то, чего требовала Лона. Въ моментъ общественнаго чествованія его, какъ заслуженнаго и безукоризненнаго человѣка, онъ разъясняетъ истинную роль Іоганна въ его жизни и свою вину передъ нимъ... Лона торжествуетъ.

Ея „задача жизни“ завершилась успѣхомъ. Ложь изгнана. Герой ея юности стоитъ передъ всѣми „свободно и правдиво“.

Мы значительно отклонились въ сторону отъ лишнихъ людей Ибсена и слишкомъ надолго, быть можетъ, вернулись, къ—не „лишнимъ“ людямъ. Но мы считаемъ, что пока вопросъ о правдѣ въ міроразуміи Ибсена не будетъ достаточно выясненъ, до тѣхъ поръ „Дикая утка“ не освободится отъ неясности, а въ такомъ случаѣ драма въ душѣ послѣдняго лишняго человѣка, которымъ мы займемся, не станетъ отчетливой и доступной анализу.

Въ „Дикой уткѣ“ Грегерсъ такой же фанатикъ „правды во всемъ“, какъ и Лона, но имѣетъ онъ дѣло не съ крупномасштабнымъ Берникомъ, а съ ничтожнымъ говоруномъ Гіальмаромъ. И это одно опредѣляетъ неудачный исходъ задачи жизни Грегерса.

IX.

Фактическая основа драмы въ „Дикой уткѣ“ слѣдующая.

Заводчикъ Верле знаетъ, что планъ, по которому его компаньонъ совершаетъ вырубку купленного лѣса, невѣренъ, но не мѣшалъ операци, которая могла быть очень выгодной. Когда, наконецъ, вмѣшался въ дѣло судъ, оказался виновнымъ одинъ только компаньонъ Верле, лейтенантъ Экдадь. Только онъ и пострадалъ, разоренный и обезчещенный приговоромъ суда. Верле оказался совершенно въ сторонѣ отъ рискованной операци: въ глазахъ общества, даже въ глазахъ семьи обвиненнаго Экдадя, онъ является не виновнымъ, а пострадавшимъ лицомъ: его доброе имя, по чужой винѣ, чуть было не подверглось судебному опороченію. Отношеній къ семьѣ Экдадя Верле не прервалъ, но придавъ отношеніямъ характеръ покровительства. Это дало ему возможность использовать нищету и позоръ Экдадей какъ нельзя удобнѣе, когда обстоятельства сдѣлали для Верле неизбѣжнымъ удаленіе изъ дому его экономки, чтобы „прикрыть грѣхъ“. Въ качествѣ необходимаго мужа онъ намѣтилъ сына своего бывшего компаньона Гіальмара и безъ труда добился, что послѣдній на Гинѣ (имя экономки) женился, не догадываясь объ ея прошломъ и очень довольный свадебнымъ подаркомъ Верле—денежной помощью на устройство фотографіи. Относя это, также какъ платную переписку, которую контора Верле обезпечила бывшему лейтенанту, за счетъ доброты сердца заводчика, недалекій Гіальмаръ чувствуетъ къ нему искреннюю признательность.

„Счастье“ улыбнулось ему и съ другой стороны. У него есть „прекрасная задача“. Въ дѣйствительности онъ ни на какую задачу жизни не способенъ, но ему создалъ иллюзію такой задачи нѣкто Реллингъ, благожелательный скептикъ и врачъ по профессіи. По его глубокому убѣжденію, чтобы переносить жизнь, ее надо скрасить „ложью“, и въ качествѣ такой лжи онъ внушаетъ Гіальмару вѣру въ его творческія способности, въ будущее изобрѣтеніе въ дѣлѣ фотографіи, которое онъ непремѣнно сдѣлаетъ, вернувъ имъ своей семьѣ прежній почетъ и уваженіе. И Гіальмаръ, простодушный болтунъ, искренно счастливъ настоящимъ человѣческимъ счастьемъ. Онъ говоритъ товарищу своего дѣтства Грегерсу, сыну Верле: „Передо мной днемъ и ночью стоитъ моя задача жизни“.

Грегерсъ—идейный антагонистъ Реллинга. Если для этого между „ложью жизни“ и человѣческими „идеалами“ такая же разница, какъ „между тифомъ и гнилой горячкой“, то для Грегерса, какъ и для Лоны, не понятна самая возможность существованія

безъ „твердой почвы подъ ногами“—правды въ человѣческихъ отношеніяхъ.

„Если бы я могъ выбирать, то я лучше всего хотѣлъ бы быть быстроногой собакой... Да необыкновенно проворной собакой, такой, которая ныряетъ за дикими утками *), когда они идутъ внизъ и зарываются въ траву и тину!“ Это говоритъ о себѣ самъ Грегерсъ, слушая разсказъ бывшаго лейтенанта, страстнаго охотника, о дикихъ уткахъ, которыя, когда ранены, всегда „идутъ ко дну, глубоко, какъ могутъ... зарываются крѣпко въ траву—и во всю эту чертовщину, которая лежитъ тамъ, и никогда уже не показываются назадъ“.

Такъ же, какъ и для Лоны, для Грегерса характерно общее стремленіе быть спасающей „быстроногой собакой“. Въ этомъ его общая задача жизни, и содержаніе „Дикой утки“ только частный случай изъ жизни Грегерса, приобрѣвшій особое значеніе, благодаря нѣкоторымъ обстоятельствамъ.

Дѣло въ томъ, что Грегерсъ чувствуетъ себя непоправимо виновнымъ передъ Гіальмаромъ: и за отца, и за себя. Въ свое время онъ „предчувствовалъ“ исходъ сотрудничества Верле и Эдаля, но предупредить у него не хватило смѣлости. Когда катастрофа разразилась, Грегерсу остается реагировать на нее только упреками совѣсти. „Тебя я долженъ благодарить за то, что изнываю отъ терзаній нечистой совѣсти“, говоритъ онъ своему отцу... И вотъ Грегерсу улыбается возможность загладить, хоть отчасти, и вину отца, и свое малодушіе. Онъ узнаетъ обстоятельства, при которыхъ женился обманутый его отцомъ Гіальмаръ, и приходитъ въ ужасъ за друга своего дѣтства, вѣрнѣе, за тотъ привлекательный образъ, который жилъ въ его виноватой памяти съ тѣхъ поръ, какъ они разстались (16—17 лѣтъ назадъ). Въ сценѣ съ отцомъ, упрекая послѣдняго во всемъ, что тотъ сдѣлалъ, Грегерсъ восклицаетъ: „И онъ (Гіальмаръ) сидитъ теперь съ великой довѣрчивой дѣтской душой, живетъ подъ одной кровлей съ такой женщиной и не знаетъ, что то, что онъ называетъ своей семьей, основано на жи!“ Не менѣе удручаетъ Грегерса та вылость, съ которой его другъ реагируетъ на удары жизни. И вотъ онъ задумываетъ возродить Гіальмара, какъ это

*) Значеніе символа въ пьесѣ.—Грегерсъ полагаетъ, что Гіальмаръ является какъ разъ такою дикою уткой, которая пошла ко дну, завязла въ тинѣ (несчастныхъ обстоятельствъ жизни) и рвется изъ нея, но не въ силахъ вырваться безъ чужой помощи (собаки). Грегерсъ и долженъ быть такой „собакой“ для всѣхъ гибнущихъ „утокъ“. Въ этомъ его задача жизни.—По отношенію къ Гіальмару онъ, однако, впалъ въ ошибку. Гіальмаръ—дикая утка другого типа, давно забывшая, что такое „настоящая дикая жизнь“ (на началахъ правды и достоинства), способная жить въ неволѣ, вполне удовлетворяющаяся корзиной, въ которую посажена, и способная даже „жирѣть“ на готовыхъ кормахъ. (Такая „дикая утка“ фигурируетъ въ пьесѣ Ибсена въ качествѣ „дѣйствующаго лица“).. Корень драмы въ этой ошибкѣ Грегерса.

удалось Лонѣ относительно Берника. Никакой вѣстной помѣхи своему намѣренію онъ не видитъ. Жена Гіальмара, какъ убѣдился потомъ Грегерсъ, оказалась простой, но по своему хорошей, любящей женщиной, преданной Гіальмару и стойко выносящей всѣ печали жизни впроголодь. Правда, Грегерсу уже не разъ приходилось убѣждаться, что его „идеальныя требованія“, какъ выражается Реллингъ, не встрѣчаютъ сочувствія со стороны придавленныхъ жизнью людей, но ему такъ хочется видѣть себя хоть разъ торжествующимъ въ своей задачѣ жизни и такъ хочется загладить вину, такъ хочется считать Гіальмара способнымъ перенести кризисъ и выйти изъ него съ удесатеренными силами, нужными для перестройки жизни,—что онъ и дѣйствительно видитъ въ Гіальмарѣ то, что хочетъ видѣть: человѣка съ „великою, дѣтской душой“, а не празднаго болтуна и никчемнаго человѣка.

Для человѣка, утомленнаго жизнью, какимъ является въ пьесѣ Грегерсъ, созданный имъ самимъ міражъ принялъ формы реальной задачи жизни. Онъ *будетъ* правъ,—жизнь, наконецъ, свела его съ человѣкомъ, которому правда и подвигъ окажутся нужными—больше всего... „Я ужъ постараюсь вытянуть тебя на поверхность,—ободряетъ онъ своего друга,—потому что я тоже нашелъ себя задачу жизни“.—Вытянуть на поверхность—значитъ пробудить въ немъ дремлющія силы; вызвать въ душѣ спасительный кризисъ. Вызвать—полнымъ раскрытіемъ правды, дать возможность пережить чувство совершеннаго „подвига“ и затѣмъ фактически помочь Гіальмару перестроить свою жизнь на хорошихъ, честныхъ началахъ труда и любви къ виноватой... Вотъ „задача“, которая на нѣсколько дней освѣтила усталую и сумеречную жизнь Грегерса... „Вѣдь въ мірѣ нѣтъ другого столь же высокаго подвига, какъ простить согрѣшившему и любовью поднять его до себя“, неизмѣнно убѣждаетъ Гіальмара Грегерсъ.

Положеніе вещей обострилось еще однимъ контрастомъ... Среди окружающихъ, съ которыми долженъ былъ прожить свою жизнь Грегерсъ, нашелся, наконецъ, одинъ, который по собственному почину, устранилъ „ложь“. Это—его собственный отецъ, безчестный, но умный человѣкъ. Ему „правда“ оказалась нужною. Онъ овдовѣлъ, освободился отъ Гины и теперь женится на женщинѣ тоже съ „прошлымъ“. Чтобы обезпечить себя и свое счастье отъ всякаго страха въ будущемъ, они сразу раскрываютъ свое „прошлое“ одинъ относительно другого. И это только укрѣпляетъ ихъ будущій союзъ.

Грегерсъ не можетъ допустить и мысли, что его другъ мелочнѣе и въ духовномъ отношеніи ниже его *отца*. Но онъ *оказался* ниже.

Перерожденіе оказалось міражемъ. И „подвигъ“ тоже—со всѣмъ подъемомъ нравственныхъ силъ, на который рассчитывалъ Грегерсъ. Когда прошлое жены открылось, его другъ остановился

мыслью не на искупающихъ вину обстоятельствахъ (т. е. совмѣстной жизни, тяжесть которой лежала на Гинѣ), а *только* на самой винѣ. Униженіе въ прошломъ стало явнымъ, но не смѣнилось— для Гяльмара—надеждой на иное будущее.

Не оказалось ни силъ, ни энергій, о которыхъ мечталъ Грегерсъ... Итакъ, вмѣсто торжества, новое крушеніе задачи жизни Грегерса... И больная совѣсть не излѣчена, и задача жизни разбита: „Если вы правы, а я ошибаюсь,—говорить Грегерсъ Реллингу,—тогда не стоитъ и жить на этомъ свѣтѣ.“

Реллингъ. О, жизнь на этомъ свѣтѣ можетъ быть и недурной, если только насъ оставить въ покоѣ господа, вторгающіеся къ намъ съ идеальными требованіями.

Грегерсъ (смотря передъ собой). Въ такомъ случаѣ я радъ, что мое назначеніе таково, какъ оно есть.

Реллингъ. Смѣю спросить—каково ваше назначеніе.

Грегерсъ (собираясь уходить). Быть 13-мъ за столомъ.

Реллингъ. Чортъ вамъ повѣритъ!..

Но Ибсенъ несомнѣнно „повѣритъ“ своему лишнему человѣку. Повѣритъ, что „тринадцатымъ“ онъ не станетъ жить.

Какъ видитъ читатель, никакого диссонанса въ отношеніи Ибсена къ „правдѣ“ человѣческихъ отношеній нѣтъ. Для его *сильныхъ*, одаренныхъ людей, правда признается высшимъ благомъ и на страницахъ „Дикой утки“, какъ и во всѣхъ произведеніяхъ... И правда, и „задача жизни“.

X.

Но что же представляетъ собою эта всеобъемлющая „задача жизни“ въ толкованіи Ибсена? Каково ея конкретное содержаніе?

Ибсенъ не связываетъ этого содержанія съ какой-нибудь опредѣленной категоріей душевныхъ движеній человѣка. Для него задача жизни такой же „постоянный законъ съ непостояннымъ содержаніемъ“, какъ и вообще всѣ повелительные нравственные законы, направляющіе жизнь человѣчества при перемѣнныхъ условіяхъ времени и мѣста. Содержаніемъ „задачи жизни“ можетъ быть истинно-королевская идея Гакона; можетъ быть освободительное строительство Сольнесса; можетъ быть проповѣдь суроваго, опредѣленнаго, но не спокойнаго душой Бранда. Но содержаніе можетъ не выходить и за предѣлы обыденной жизни. Если у жены Сольнесса, какъ мы видѣли, жизненной задачей было вырастить въ своихъ дѣтяхъ „прямыхъ взрослыхъ души“, вырастить ихъ „въ уравновѣшенности и въ благородныхъ, прекрасныхъ формахъ“, то для Марты *), сестры Бер-

*) „Столпы общества“.

ника, вся жизненная задача исчерпывалась сначала исправленіемъ проступка въ тайнѣ любимого человѣка: воспитаніемъ брошенной дѣвочки, въ которой она видѣла вмѣстѣ съ молвой—дочь Иоганна отъ „скандальной исторіи, а потомъ, когда эта цѣль была достигнута, вообще въ заботахъ о безпризорныхъ дѣтяхъ. Для Эллиды („Женщина съ моря“) задача еще обыденнѣе: будучи мачихой, замѣнить мать для дѣтей своего мужа.

Но есть одна непреложная особенность въ „задачѣ жизни“ по Ибсену. Она должна быть свободной: свободно избранной—на свою собственную ответственность. Она должна быть взята на себя совершенно добровольно. Иначе это будетъ уже не „задача жизни“, а урочная работа, опредѣленная тюремнымъ уставомъ. Сообразно съ этимъ, то, что вавалили на плечи человѣка внѣшнія условія и личная ошибка, никогда не можетъ стать задачей жизни, какъ ее понимаетъ Ибсенъ. Но не по *внѣшнимъ* признакамъ этой обузы, а только по *внутреннимъ*—по отсутствію во взятой на себя обузѣ признаковъ нравственной свободы. Тѣ же самыя обязанности, которыя такъ тяготятъ, когда онѣ невольно взяты, могутъ быть легко носимы, когда онѣ взяты вольно. Иллюстраціей этого основного свойства Ибсеновской „задачи жизни“ служить „Женщина съ моря“.

Совмѣстная жизнь супруговъ Вангель готова рухнуть: ею тяготится Эллида, вторая жена доктора Вангеля. Не потому, что ее не любятъ въ новой семьѣ или она сама не любитъ мужа и его дѣтей—двухъ дѣвушекъ на возрастѣ... Женщины у Ибсена часто томятся сознаніемъ, что бракъ для нихъ былъ не свободнымъ союзомъ свободныхъ людей, а *самопродажей*, въ качествѣ женщины, за заботы о нихъ мужа. Такое сознаніе тяготитъ и Эллиду, хотя фактической правды въ ея терзаніяхъ нѣтъ... Но самое тяжелое для нея, это—мысль, что она несвободна во всемъ, что она *должна* дѣлать. Такъ какъ „Женщина съ моря“, съ нашей точки зрѣнія, представляетъ особый интересъ, то мы позволимъ себѣ привести цѣликомъ слѣдующій діалогъ между Эллидой и Вангелемъ:

Эллида. Слушай же, Вангель... намъ нельзя долѣе обманывать себя самихъ... и другъ друга.

Вангель. Развѣ мы это дѣлаемъ? Мы обманываемъ себя!

Эллида. Да. Или во всякомъ случаѣ, мы скрываемъ истину. Потому что вѣдь истина... настоящая, прямая истина... состоитъ въ томъ... что ты явился и купилъ меня.

Вангель. Купилъ!.. Ты говоришь... купилъ!

Эллида. Ахъ, вѣдь я была ничѣмъ не лучше тебя. Я согласилась на торгъ. Я продала себя тебѣ.

Вангель (болѣзненно взглянувъ на нее). Эллида... и у тебя хватаетъ сердца называть это такъ?

Эллида. Но развѣ же можно называть это иначе! Ты не могъ

болѣ выносить пустоты въ твоёмъ домѣ. Ты сталъ искать себя жены.

Вангелъ. И матери для дѣтей, Эллида!

Эллида. Можетъ быть, и это—между прочимъ. Хотя... ты не зналъ вѣдь, гоужь ли я къ этому. Вѣдь ты только видѣлъ меня... и раза два разговаривалъ со мною. Я стала тебѣ нравиться и...

Вангелъ. Назови это, какъ думаешь!

Эллида. А я!.. Вѣдь я была такъ безпомощна и такъ одинока. Что же тутъ удивительнаго, что я согласилась на сдѣлку, когда ты предложилъ взять на себя заботу обо мнѣ!

Вангелъ. Увѣряю тебя, дорогая Эллида, что я вовсе не такъ смотрѣлъ на это. Я честно спросилъ тебя, согласна ли ты дѣлать со мною и съ дѣтьми, то небольшое, что у меня было.

Эллида. Да, ты правъ. Но я все же не должна была принимать этого! Ни за какія блага въ мірѣ не должна я была принимать этого. Не должна была продавать себя! Лучше самая тяжелая работа... лучше нищета при свободѣ и по собственному выбору!

Вангелъ. Значить, тѣ 5—6 лѣтъ, которыя мы провели вмѣстѣ, ничего не стоятъ въ твоихъ глазахъ?

Эллида. О, вовсе нѣтъ, Вангелъ! Мнѣ было у тебя такъ хорошо, какъ только можно желать. Но я не свободно вступила въ твой домъ. Вотъ въ чемъ дѣло!

„Не свободно“ вступила. Въ устахъ Эллиды это значить, что между ея душевнымъ строемъ и ея поведеніемъ нѣтъ внутренней свободной и самоопредѣлившейся связи.

Въ одной фантастической сценѣ Перъ Гинтъ оказывается среди троллей, которые его поучаютъ различію между человѣкомъ и троллемъ: для послѣднихъ правило: „будь доволенъ собой“, а для перваго законъ: „будь самимъ собой“. „Быть довольнымъ собой“ значить принимать жизнь, какъ она есть. „Быть самимъ собой“ значить создавать свою жизнь по собственному „усмотрѣнію“ (слова Росмера).

Душевный разладъ Эллиды и опредѣляется невозможностью, въ силу допущенной ошибки, „быть самой собой“, т. е. вступить въ жизнь, повинаясь только своему собственному внутреннему влеченію. Вся ея жизнь опредѣлилась фактомъ замужества, и она навсегда утратила возможность *выбрать* себя „задачу жизни“. Задачу жизни для нея должно замѣнить то, къ чему принудили ее случай и ошибка. Эллида не можетъ освободиться ни отъ чувства тяжелой вины передъ собой, ни отъ чувства какой-то невозвратной потери—потери „несложившихся пѣсенъ“, которыя, по словамъ Ятгейра, всегда бываютъ „самыми сладкими“. То обстоятельство, что ея мужъ, какъ она не сомнѣвается, связанъ съ ней искреннимъ и честнымъ чувствомъ; тотъ фактъ, что отъ нея

ждутъ заботы и ласки дочери этого хорошаго человѣка,—все это только усиливаетъ боль въ душѣ, не заглушая самой тоски по утраченномъ „возможномъ“ счастьѣ. „Быть можетъ, вотъ гдѣ задача“ (фактическое содержаніе задачи),—говоритъ она, когда узнаетъ, съ какой скрытой нѣжностью относится къ ней ея падчерица Гильда (будущая Гильда въ „Строителѣ Сольнессѣ“), но все же не можетъ заглушить щемящее чувство „утраченного“. „О, не думай,—говоритъ она мужу,—что не бываетъ минутъ, когда я вижу миръ и спасеніе въ томъ, чтобы бѣжать душой къ тебѣ... И бороться со всѣми притягивающими и пугающими меня силами. Но я не могу этого. Нѣтъ,—я не могу.“

Власть неизвѣстнаго—того, что могло бы быть, если бы ошибка не лишила свободы—Ибсенъ символизировалъ въ лицѣ „неизвѣстнаго“, который является въ пьесѣ—таинственнымъ, неяснымъ, но реальнымъ лицомъ и доводитъ терзанія Эллиды до высшей степени напряженія. Наконецъ, она не въ силахъ бороться съ собой и проситъ Вангеля возвратитъ ей свободу („Отдай мнѣ назадъ всю мою свободу“), чтобы она могла идти, не считаясь больше съ принудительной властью „случайныхъ“ обязательствъ. Душевный кризисъ, символизируемый въ появленіи на сценѣ неизвѣстнаго, заставляетъ ее добиваться расторженія тягостной „сдѣлки“, *пока еще не поздно*. „Теперь онъ (неизвѣстный—символъ невынужденной жизни) является и предлагаетъ мнѣ... единственный и послѣдній разъ начать жизнь сначала... жить моей собственной истинной жизнью... жизнью, которая пугаетъ и влечетъ... и отъ которой я не могу отказаться. Не могу добровольно!“

Честный и любящій Вангель считаетъ съ своей стороны преступленіемъ „расторгнуть сдѣлку“, обреки Эллиду всѣмъ случайностямъ неизвѣстнаго. Онъ готовъ прибѣгнуть, хотя бы къ силѣ, лишь бы удержать ее... Все это „ты можешь“... возражаетъ Эллида. „Для этого у тебя есть и власть, и средства!.. Но души моей... всѣхъ моихъ мыслей... всѣхъ моихъ влеченій и стремленій... ты не можешь сдержать! Они будутъ стремиться и мчаться... къ неизвѣстному... которое ты *закрѣлъ* для меня!“—говоритъ Эллида.

Безысходность положенія становится очевидной и для Вангеля. Души и мыслей, дѣйствительно, нельзя удержать. И какъ врачъ, и какъ любящій человѣкъ, Вангель рѣшается на неизбежное...

Съ расторженіемъ Вангелемъ „сдѣлки“ въ состояніи Эллиды происходитъ немедленный переломъ въ благоприятную сторону. Кризисъ обострился увѣренностью, что Вангель не возвратитъ свободу женѣ. Когда Вангель съ тяжелымъ усиленіемъ, но все же рѣшается сказать: „И потому... потому я теперь же... уничтожаю сдѣлку... Можешь выбирать свой путь въ полной... полной сво-

бодѣ“,—Эллида, по ремаркѣ Ибсена, „съ минуту смотреть на Вангеля, широко раскрывъ глаза, не произнося ни слова“... Она уже свободна. Ея прежняя жизнь въ семьѣ Вангеля стала объектомъ свободного выбора; она больше не фактъ, который нужно принять не споря. Ничто не затемняетъ больше въ сознаниі дѣйствительной цѣнности тѣхъ людей, съ которыми ее связала „ошибка“. Оставить ихъ оказывается для Эллиды невозможнымъ, и она остается съ ними, но уже „по собственному выбору и подѣ своей отвѣтственности“.

Счастливый Вангель задаетъ ей вопросъ: „А неизвѣстное... не влечетъ тебя болѣе?“ Эллида отвѣчаетъ отрицательно: „Не влечетъ и не пугаетъ. Я получила возможность взглянуть на него... пойти къ нему... если бы захотѣла. Теперь я могла избрать его. Теперь я могла *отказаться* отъ него“. Отвѣчаетъ она отрицательно и на вопросъ, что собственно опредѣляло ея тоскливую неуравновѣшенность. „Не знаю“, говоритъ она и утверждаетъ только фактъ, что Вангель примѣнилъ *единственное* средство, которое могло помочь ей: „Да, дорогой мой, вѣрный Вангель, теперь я возвращаюсь къ тебѣ. Теперь я могу сдѣлать это. Теперь я иду къ тебѣ *свободно*... добровольно и подѣ своей отвѣтственности“.

„Задача жизни“ стоитъ теперь передъ Эллидой во всей очевидности—та самая, которую она раньше не „замѣчала“, выражаясь словами Эллиды. Когда Вангель начинаетъ вслухъ мечтать, какъ въ дальнѣйшемъ сложится ихъ совмѣстная жизнь—жизнь *вдвоемъ*, Эллида вноситъ поправку. Вотъ этотъ діалогъ:

Эллида. И для нашихъ дѣтей, Вангель.

Вангель. *Нашихъ! *)*.

Эллида. Тѣхъ, которые еще не принадлежатъ мнѣ... но которыхъ я *сумѣю* сдѣлать моими“.

Докторъ Вангель оказался хорошимъ врачомъ: благодаря его проницательности на свѣтѣ стало одной счастливой жизнью больше, однимъ лишнимъ человекомъ—меньше.

Мы остановились на „Женщинѣ съ моря“ съ особой подробностью, такъ какъ находимъ въ ней глубокое и тонкое освѣщеніе такой стороны въ человѣкѣ, которая меньше всего бросается въ глаза и которая, быть можетъ, больше всего раскрываетъ, почему счастьемъ ведется счетъ на дни и на часы даже и тѣмъ, у которыхъ въ жизни есть „счетъ счастья“... Если бы не символизмъ, который мѣшаетъ читателю и заставляетъ видѣть символъ даже тамъ, гдѣ Ибсенъ говоритъ безъ всякихъ иносказаній, и если бы не экскурсія въ область научной психологіи и миро-

*) Курсивъ Ибсена.

выхъ „тайнъ“,—„Женщина съ моря“ была бы по-истинѣ художественнымъ откровеніемъ *). Не говоря уже о насъ, „русскихъ“, создавшихъ крылатыя слова объ „ежовыхъ рукавицахъ“.

Итакъ вотъ-что по Ибсену нужно человѣку, чтобы чувствовать себя человѣкомъ. Нужна задача жизни, центрирующая его душевныя силы. Нужна задача жизни свободно избранная,—избранная подъ своей личной отвѣтственности. Въ этихъ условіяхъ жизнь можно только переносить,—кто можетъ переносить.

XI.

Нашей непосредственной задачей было изслѣдованіе одного изъ основныхъ мотивовъ творчества Ибсена.

Но русскому читателю невозможно остановиться на этой чисто литературной сторонѣ вопроса. Передъ нимъ встаетъ естественно, хотя, быть можетъ, неожиданно, нашъ собственный вопросъ о лишнихъ людяхъ. Вездѣ возможны лишніе люди, и Ибсенъ думаетъ, что они никогда не исчезнутъ: объ этомъ позаботится усердный поставщикъ драмъ — жизнь, какъ она сложилась, слѣдую своимъ противорѣчивымъ законамъ.

Но мы, русскіе — какъ цѣлое, сумѣли сдѣлать „лишнихъ“ людей привычными для глаза и обезпечили себѣ первое мѣсто по проценту „лишнихъ“, какъ обезпечили его по проценту слѣпыхъ и умирающихъ.

Трудно представить себѣ двухъ писателей болѣе разныхъ, чѣмъ Ибсенъ и нашъ Чеховъ. Одинъ говорить о родныхъ ему людяхъ и другой тоже говорить — съ такой искренностью и такой душевной болью — о близкихъ ему людяхъ! Но одного — въ родины слушаютъ, какъ *своего* писателя; другого слушаютъ

*) Чтобы избѣгнуть упрека въ произвольномъ толкованіи роли „Неизвѣстнаго“ въ пьесѣ Ибсена, оговоримся, что есть и иное толкованіе, не совпадающее съ нашимъ. Именно, по Швейцеру, Ибсенъ въ своей драмѣ „присутствуетъ присущую человѣку чувственность, заглушающую въ его душѣ голосъ божественныхъ велѣній, въ видѣ своего рода морского чудовища, въ лицѣ чужеземца, влияние котораго на героиню драмы тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе ее отдаляетъ отъ него гнетъ обстоятельствъ“. („Скандинавское творчество новѣйшаго времени“; этюдъ, приложенный къ „Исторіи скандинавской литературы“ Горна. Стр. 337). Но это явное недоразумѣніе, такъ какъ *самъ Ибсенъ*, устами Вангеля, даетъ разъясненіе того, что именно онъ символизировалъ въ „Неизвѣстномъ“... Пытаясь разъяснить душевный процессъ у Эллиды, создавшей почву для драмы, Вангель, въ концѣ пьесы, говоритъ Эллидѣ: „твое влеченіе къ нему... къ этому иностранцу... все это было лишь выраженіемъ пробудившагося въ тебѣ и выросшаго *стремленія къ свободѣ*. Вотъ и все“.

Очевидно, что никакой рѣчи о „чувственности“ не можетъ быть. Ибсенъ самъ далъ то толкованіе, которое мы положили въ основу анализа душевной драмы у Эллиды.

съ отъѣнкомъ недоумѣнія (чтобы не сказать больше), какъ слушаютъ доклады путешественниковъ въ географическихъ обществѣхъ, когда не вполне вѣрятъ точности сдѣланныхъ наблюдений. — У одного чувствуются люди, ведущіе упорную борьбу за свою жизнь; у другого чувствуется только настроеніе неудачной борьбы: чувствуется побѣдительница—жизнь, а сами побѣжденные съ ихъ душевными ранами остаются какъ-то недоступными для точнаго изслѣдованія... Одинъ—по манеру скульпторъ въ старомъ стилѣ, хотя и новаторъ по стремленіямъ: его фигуры отчетливы и рѣзки зачастую; у другого—только намеки на рельефъ и контуры расплывчаты, какъ у Родена. — Одинъ стремителенъ въ своемъ творчествѣ: его драмы цѣлый „водоворотъ“; другой ровненъ, какъ русскія степныя рѣки. — Одинъ все передумалъ, другой все перечувствовалъ, но перечувствовалъ въ какихъ-то тискахъ мысли и сердца.

Быть можетъ, впрочемъ, это-то и заставляетъ думать о нихъ вмѣстѣ. По началу контраста. Заставляетъ вслѣдъ за энергичными строителями жизни Ибсена и не менѣе энергичными его „лишними людьми“ вспомнить о „хмурыхъ людяхъ“ русскихъ „сумерекъ“.

„Каждый человѣкъ созданъ для своего дѣла и цѣль его жизни—это рай его. Онъ неуклонно долженъ къ ней идти, хотя бы между нимъ и ею лежалъ широкій океанъ“ („Брандъ“).

Русскихъ людей отъ ихъ задачи жизни, мало-мальски крупной, всегда отдѣлялъ широкій океанъ, въ родѣ того, о которомъ говоритъ Брандъ. Но всегда находились смѣлые люди, которыхъ океанъ не пугалъ; они уходили изъ нормальной жизни, жили напроломъ—подъ своей собственной отвѣтственностью и погибали... Даже среди героевъ Чехова есть „неизвѣстный человѣкъ“, которому символъ вѣры Бранда понятенъ.

Но вѣдь это все то, что называется „подвигомъ“ и чему нѣтъ мѣста въ обыденной жизни и для силъ средняго человѣка. Что же они должны были дѣлать — средніе люди, если имъ случилось хотѣть больше, чѣмъ они могутъ? Если имъ нужно была, какъ Эдлидъ, хотя и маленькая, но свободно избранная, подъ своей отвѣтственностью, задача жизни?..

...Они пополняли ряды „хмурыхъ людей“ Чехова... Объ этихъ злополучныхъ людяхъ сложилось представленіе, какъ о „пустозвонныхъ говорунахъ“, нытикахъ и „неврастеникахъ“, ни къ чему органически не пригодныхъ. Это, однако, справедливо только въ томъ случаѣ, если справедливо и относительно лишнихъ людей Ибсена.

Что нужно хмурымъ людямъ русскаго писателя? — „Я вѣрю, слѣдующимъ поколѣніямъ будетъ легче и виднѣе, къ ихъ услугамъ будетъ нашъ опытъ. Но вѣдь хочется жить независимо отъ будущихъ поколѣній и не только для нихъ. Жизнь дается одинъ разъ, и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется

играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется дѣлать исторію, чтобы тѣ же поколѣнія не имѣли права сказать про каждаго изъ насъ: то было ничтожество, или еще хуже того. Я вѣрю въ цѣлесообразность и въ необходимость того, что происходитъ вокругъ, но какое мнѣ дѣло до этой необходимости, зачѣмъ пропадать моему „я“?

Подобно Норѣ Ибсена жаждетъ этотъ „неизвѣстный чело-
вѣкъ“ чуда, огромнаго чуда: „Что если бы чудомъ настоящее оказалось сномъ, страшнымъ кошмаромъ, и мы проснулись бы обновленные, чистые, сильные, гордые своей правдой?.. Сладкія мечты жгутъ меня и я едва дышу отъ волненія. Мнѣ страстно хочется жить, хочется, чтобы наша жизнь была *свята, высока и торжественна, какъ сводъ небесный*“ („Разсказъ неизвѣстнаго чело-
вѣка“). Иногда мечта о невозможномъ чудѣ приобретаетъ характеръ вѣры въ возможное чудо. „Знаете, я съ каждымъ днемъ все болѣе убѣждаюсь, что мы живемъ наканунѣ величайшаго торжества, и мнѣ хотѣлось бы дожить, *самому участвовать*“. („Три года“—Ярцевъ). Но участвовать хмурымъ людямъ приходится совсѣмъ въ другомъ, и ихъ тяготитъ ложь и безобразіе жизни—не въ отдѣльныхъ проявленіяхъ, а какъ общій неустрашимый признакъ коллективной жизни, въ которой они должны участвовать. „Я чело-
вѣкъ отъ природы неглубокій,—говоритъ о себѣ герой разсказа „Страхъ“,—и мало интересуюсь вопросами, какъ загробный міръ, судьбы чело-
вѣчества, и вообще рѣдко уношусь въ высь поднебесную. Мнѣ страшна, главнымъ образомъ, обыденщина, отъ которой никто изъ насъ не можетъ спрятаться. Я неспособенъ различить, что въ моихъ поступкахъ правда и что ложь, и они тревожатъ меня, я сознаю, что условія жизни и воспитаніе заключили меня въ тѣсный кругъ лжи, что вся моя жизнь есть не что иное, какъ ежедневная забота о томъ, чтобы обманывать себя и людей и не замѣчать этого, и мнѣ страшно отъ мысли, что я до самой смерти не выберусь изъ этой лжи“. Изъ безобразной, ничѣмъ *неприкрашенной* лжи... У Чехова есть маленькій символическій разсказъ: „Знакъ восклицательный“. Маленькій чиновникъ неожиданно убѣждается, что на свѣтѣ существуетъ восклицательный знакъ; наводитъ у своей жены, которая „недаромъ 7 лѣтъ въ пансіонѣ была“, справку о смыслѣ этихъ невѣдомыхъ знаковъ. Оказывается, что смыслъ грамматическій есть: жена еще не забыла, что „этотъ знакъ ставится при обращеніяхъ, восклицаніяхъ и при выраженіяхъ восторга, негодованія, радости, гнѣва и прочихъ чувствъ“. Открытіе оказалось ошеломляющимъ. „Сорокъ лѣтъ писалъ онъ (чиновникъ) бумаги, написалъ онъ ихъ тысячу, десятки тысячъ, но не помнить ни одной строки, которая выражала бы восторгъ, негодованіе или что нибудь въ этомъ родѣ“. И маленькаго чиновника мучаетъ до

галлюцинацій этотъ „восклицательный знакъ“, безъ котораго и жизнь, и онъ сдѣлались „пишущей машиной“.

Развѣ все это не то же, чего жаждутъ энергичные герои Ибсена?

Въ противность Ибсену, который всегда является въ роли часовщика: разыскивающимъ, какое именно колесико перестало правильно работать въ душѣ его неудачниковъ: чувство „безвинности“, чувство „ответственности“, чувство „долга“, чувство правды, переходящее въ „изнурительную лихорадку справедливости“, жажды и внутренней свободы и самоопредѣленія и т. д.,—Чеховъ передаетъ только фактъ и созданное имъ настроеніе, отказываясь отъ анализа, какой именно психологическій факторъ сдѣлалъ его хмурыхъ людей хмурыми, и *что* именно должно измѣниться въ ихъ личной жизни—какое колесико нужно переимѣнить въ ихъ душевномъ строѣ, чтобы они перестали себя чувствовать хмурыми и лишними. Самое большое, что онъ говорить о нихъ, это—что они не виноваты, хотя чувствуютъ себя виноватыми, чувствуютъ себя той травой въ „Степи“, сожженной солнцемъ, „странную пѣсню“ которой слушалъ Егорушка. „Въ своей пѣснѣ она, полумертвая, уже погибшая, безъ словъ, но жалобно и искренно убѣждала кого-то, что она ни въ чемъ не виновата, что солнце выжгло ее понапрасну; она увѣряла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы не зной и не засуха; вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощенія и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя“.

Пѣсня травы—пѣсня хмурыхъ людей Чехова. Имъ тоже (сравните „Разсказъ неизвѣстнаго человѣка“: почти тождественныя *) выраженія) хочется быть „красивыми“, имъ хочется прожить жизнь „бодро, осмысленно, красиво“, хочется „дѣлать исторію“, но какое-то солнце „выжгло ихъ понапрасну“, и имъ, какъ и травѣ, „невыносимо больно, грустно и жалко себя“.

Что же выжгла жизнь въ этихъ близкихъ Чехову людяхъ? Отвѣтъ — конечно, не исчерпывающій — мы находимъ у Ибсена. Сравнивая его лишнихъ людей и хмурыхъ людей Чехова, мы убѣждаемся, что наши ненужные люди только варианты на общечеловѣческую тему о людяхъ, лишенныхъ задачи жизни,—но вариантъ въ самобытной формѣ. Въ самомъ дѣлѣ, если человѣку для бодрой и сильной жизни нужна, какъ абсолютное условіе, задача жизни свободная, свободно избранная, избранная подъ своей ответственностью,—то, очевидно, что у насъ *не можетъ не быть* лишнихъ людей, не можетъ не быть *массоваго* произ-

*) Мы подчеркиваемъ это совпаденіе, въ виду сдѣланныхъ уже попытокъ истолковать Чехова, какъ художника, для котораго символъ вѣры исчерпывается словами: люди дурны, потому что дурны, и никто въ этомъ не виноватъ, кромѣ нихъ самихъ.

водства лишних людей.—Может ли быть рѣчь о „свободномъ выборѣ“ задачи жизни для тѣхъ, кто хотѣлъ бы—хоть немножко хотѣлъ бы,—чтобы жизнь была „свята, высока и торжественна, какъ сводъ небесный“? Задача жизни свободно избираема только для тѣхъ, кто равнодушенъ къ такимъ вещамъ. Но тогда неудивительно, что мы фабрикуемъ лишнихъ людей сотнями, что русская жизнь создала такого исключительнаго художника, какъ Чеховъ, и обезпечила его художественнымъ матеріаломъ на всю жизнь!

Единственное, что самобытно въ этихъ десяткахъ незамѣтныхъ драмъ, въ нѣсколькихъ словахъ, рассказанныхъ Чеховымъ, это—что хмурые люди не знаютъ, отъ чего они страдаютъ и не могутъ указать „единственнаго средства“, подобно Эллидѣ, которое могло бы имъ помочь.

Представители „умѣренности“ не разъ указывали, что русскіе хмурые люди не „занимаются дѣломъ“^{*)}. Указывали на примѣръ „здоровыхъ людей“ за рубежомъ, которые занимаются тѣми же мелкими дѣлами, которыя невозбранны и для хмурыхъ русскихъ людей; занимаются, потому что они здоровые, а не дряблые... Въ этомъ будто бы вся суть нашей хмурости—въ томъ, что мы не способны *здорово* относиться къ жизни... Вопросъ, однако, въ томъ, что люди, ставимые въ примѣръ „хмурымъ“, все, что дѣлаютъ,—дѣлаютъ свободно, *не подъ давленіемъ*. Надъ ними не виситъ сознаніе подневольнаго выбора, не виситъ „притягивающая“ власть того, что нужно и что невозможно. Что это не наша *самобытная* болѣзнь, *не наследственная* болѣзнь русской души,—порукой въ этомъ *общечеловѣческія* драмы Ибсена. И мы выльчимся отъ этой болѣзни такъ же внезапно, какъ выльчилась Эллида. И хмурые люди такъ же точно возьмутъ на себя черную работу, которой тяготились, когда она была для нихъ обузой факта... Для этого нужно то „единственное средство“, которое примѣнилъ Вангель: нужно, чтобы свобода нравственнаго выбора и самоопредѣленія перестала быть достояніемъ только тѣхъ героев русской жизни, которые осмѣливались уходить въ „широкій океанъ“ и тамъ погибали; она должна стать достояніемъ массовой *нормальной* жизни, въ которой гибнущіе теперь герои займутъ мѣсто „строителей“ домовъ съ башнями, „уходящими въ небо“, и „воздушныхъ замковъ на каменномъ фундаментѣ“, въ которыхъ только и можетъ, по Ибсену, жить „настоящее чело-вѣческое счастье“.

А. Е. Рѣдно.

^{*)} Напомнимъ, что Эллида тоже не „занимается дѣломъ“ у Ибсена.

Про новое *).

Разсказъ.

Изъ дневника стараго нотариуса.

Да, я хочу писать про скуку, такъ какъ скука была главнымъ настроеніемъ моей жизни, взрослой жизни. Вотъ полгода я сижу прикованный къ креслу, мои ноги не ходятъ и—доктора говорятъ—никогда не будутъ ходить,—я хотѣлъ воспользоваться своимъ большимъ свободнымъ временемъ, чтобы написать, не мудрствуя лукаво, о моей жизни и о той жизни, которая шла рядомъ со мной,—написать про скуку русской жизни, откуда она „пошла и стала есть“...

И вотъ прошло три мѣсяца, и только теперь я рѣшился, наконецъ, писать. Когда я оглянулся назадъ и сталъ подводить итоги, оказалось, что жизни-то и не было. Были дни, были отдѣльные факты, были, такъ сказать, случаи изъ жизни, а жизни не было. Не было жизни, какъ чего-то связаннаго, послѣдовательнаго, гдѣ прошлое есть вчерашній день настоящаго, а сегодняшній—завтра будущаго. И не только въ моей личной жизни. Ну что же!—сложилась она не очень складно и связано, быть можетъ, по моей винѣ,—но и въ той жизни, которая шла мимо меня, вообще въ жизни. И что мнѣ писать о себѣ? Довѣренности, запродажныя записи, купчія крѣпости, духовныя завѣщанія, опять довѣренности, опять купчія... Понедѣльникъ, вторникъ, среда, пять лѣтъ, десять лѣтъ, цѣлыхъ тридцать лѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ я сѣлъ за столъ нотариуса, въ тотъ самый день, когда Генрихъ Осиповичъ прибывалъ рядомъ со мной вывѣску надъ своей аптекой.. Да, тридцать лѣтъ!.. И выговариваю я это не съ испугомъ, а съ удивленіемъ, недоумѣніемъ: куда они ушли? Мнѣ хочется вспомнить. Довѣренности, крѣпостные акты, ду-

*) Было другое заглавіе: „Про скуку“. Оно было зачеркнуто и болѣе свѣжими чернилами написано: Про новое.

ховныя завѣщанія, клубъ, именины, похороны, кто-то приходилъ, кто-то уходилъ. Вѣдь мы же сходились и видѣлись, разговаривали, спорили... А о чемъ мы говорили, про что спорили,—не помню. Я напряженно всматриваюсь въ прошлое, вслушиваюсь въ тѣ забытые голоса и вспоминаю одно—анекдотъ. И когда я вспоминаю кого-нибудь, съ кѣмъ я десять, пятнадцать лѣтъ игралъ въ винтъ, когда вспоминаю тѣхъ людей, съ которыми встрѣчался на именинахъ и свадьбахъ, я вспоминаю анекдотъ, анекдоты, которые тѣ люди любили разсказывать. Я теперь вижу, что и разговоры наши имѣли форму анекдотовъ,—связанные разговоры такъ быстро утомляли насъ,—и если, бывало, вбѣгалъ кто-нибудь съ оживленнымъ лицомъ въ наше скучающее общество, мы всѣ знали, что онъ принесъ новый анекдотъ—и оживлялись, и нетерпѣливо спрашивали:

— Ну что?—И любили мы въ газетахъ „смѣсь“ и „разныя разности“, и мы смѣялись надъ мужиками, когда они отмѣчали періоды своей исторіи:—„это было еще до первой холеры“...—и сами не замѣчая того, такъ же отмѣчали наше лѣтосчисленіе:—„это было еще при полиціймейстерѣ Храповѣ“...

Да, да я теперь вспоминаю—были только анекдоты. И то, что писалось и пропагандировалось въ газетахъ, представляется мнѣ теперь въ формѣ анекдотовъ, жалкихъ, вульгарныхъ анекдотовъ. Помню анекдотъ про несгораемая крыши для мужицкихъ избъ... Какъ насъ, хмурыхъ людей, оживлялъ принесенный кѣмъ-нибудь новый анекдотъ, такъ, въ это хмурое время, оживились газеты. Изъ газеты въ газету перекатывалась несгораемая крыша, и была въ ней государственная миссія и основывались или предполагалось основать учебныя заведенія для преподаванія несгораемыхъ крышъ... А потомъ, какъ и въ нашемъ обществѣ, анекдотъ сдѣлался старымъ и скучнымъ, появился новый анекдотъ—древонасажденіе. И это уже старый анекдотъ. А потомъ борьба съ дѣтской смертностью... И не то, что не было исторіи, все горѣли крестьянскія крыши и вырубались лѣса и вымирала дѣтская Россія,—это была настоящая, подлинная исторія, совершенно связанная и послѣдовательная, но преломлялась она въ зеркалѣ русской жизни только въ формѣ анекдотовъ. И сколько такихъ анекдотовъ можно вспомнить за тридцать лѣтъ моей жизни!

Быть можетъ, тамъ, въ центрахъ, въ то время, какъ я сидѣлъ въ своей конторѣ нотаріуса, шла жизнь, дѣлалась исторія, развивалось дурное или хорошее, но нѣчто связанное, послѣдовательное... Быть можетъ... но пока она доходила къ намъ, въ нашъ городъ, она разрывалась по дорогѣ на клочки

и приходила къ намъ въ разорванномъ видѣ только въ формѣ анекдотовъ, помню,—довольно однообразныхъ, однотонныхъ анекдотовъ.

— А вы знаете, онъ укралъ?—привозилъ возвращавшійся изъ Петербурга обыватель новый анекдотъ и говорилъ, кто „онъ“ и что укралъ, и сколько...

— Били...—И опять пріѣхавшій обыватель рассказываетъ, гдѣ били, кого били и сколько народу избили.

Иногда анекдотъ выросталъ до скандала кричащаго, жестокаго, и люди какъ будто пробуждались и начинали кричать и шумѣть, но такъ скоро шумъ кончался и скандалъ становился обыкновеннымъ старымъ анекдотомъ. И вотъ, я стараюсь вспомнить эти анекдоты за тридцать лѣтъ и только вспоминаю, что кто-то воровалъ, кого-то били... И, быть можетъ, только одна эта однотонность анекдотовъ и даетъ нѣчто связанное и послѣдовательное, какой-то своеобразный видъ исторіи.

Даже литература...

Я кладу перо и думаю, долго, мучительно думаю. Знаютъ ли въ Петербургѣ, какъ любимъ литературу мы, одинокіе люди, въ нашихъ одинокихъ, заброшенныхъ углахъ? Не я одинъ, я знаю,—вездѣ есть такіе любители, и какъ онъ глубоко неправъ, Щедринъ, когда писалъ: „Читатель почитываетъ“... Знаютъ ли они, съ какой жадностью раскрывается только что полученная книжка любимаго журнала? Я нюхаю ее,—да, нюхаю. Я разрѣзываю въ срединѣ книжку и втягиваю въ себя этотъ странный, непровинціальныи запахъ, еще не исчезнувшій запахъ типографіи, печатнаго дѣла. И клубъ отмѣняется въ тотъ день, и читается „книга“, и мы пріобщаемся къ культурѣ. Да, да, и это совсѣмъ не смѣшно, это такъ и есть, такъ какъ для насъ, провинціальныхъ любителей литературы, она—вся радость русской жизни, вся надежда, въ ней концентрируется, въ ней развивается единственно связанное, послѣдовательное теченіе русской жизни,—будущее ея.

И вотъ книжка только что разрѣзаннаго журнала лежитъ на моихъ колѣняхъ, и я все думаю, думаю. Мнѣ тяжело думать одному, и я начинаю спрашивать себя—ужъ было ли то, что было 30 лѣтъ тому назадъ? И я ѣду съ своимъ кресломъ въ столовую, къ моей сестрѣ и говорю ей:

— Ты не помнишь, что они тогда пѣли?

Она все помнитъ, потому что пѣли наши младшіе братья и сестры, которымъ она замѣнила мать, и поднимаетъ очки на лобъ и говоритъ мнѣ:

— Развѣ ты забылъ? — Саша любилъ „Полоса-ль ты,

моя, полоса"...—Суровое лицо моей сестры становится добрее, и она говорит:

— Ася все пѣла: „Укажи мнѣ такую обитель“...

Значить это было, я тоже помню. И мы говоримъ про Сашу, который тогда рѣшилъ, что докторскій дипломъ отдаляетъ отъ народа, а фельдшерскій приближаетъ, и потому съ пятого курса бросилъ медико-хирургическую академію и поступилъ фельдшеромъ въ глухой уѣздъ на востокъ Россіи и тамъ долго работалъ, пока не умеръ отъ тифа. И суровое лицо сестры совсѣмъ доброе, и слезы блестятъ на суровомъ лицѣ.

Да, это все было. Я уѣзжаю въ свою комнату и все вспоминаю и Сашу, и Асю, и ту молодежь, которая собиралась у нихъ, у меня же въ домѣ, и тѣ журналы, которые они читали, и тѣ споры, которые велись при мнѣ.

Да, превыше всего община, а въ переднемъ углу мужикъ сидѣлъ. За тѣмъ же столомъ фабричный человѣкъ сидѣлъ, и полна была горница трудящагося люда... И были долгъ, совѣсть, жалѣющая любовь и покаяніе. И перестройка всего міра, чтобы людямъ жилось просторно въ мірѣ, и борьба на всѣ фронты за достиженіе самаго высокаго, самаго полного счастья для всѣхъ людей, на всѣ вкусы... А потомъ оказалось, что у насъ, въ Россіи, слишкомъ много большихъ дѣлъ и въ этомъ зло, и нужно забыть про большія дѣла, а дѣлать маленькія и крыть Россію маленькими несгораемыми крышами.

А потомъ стали говорить, что не нужно ничего перестраивать,—все само перестроится, и не нужно биться ни на какіе фронты, а нужно перестраивать только самихъ себя и удаляться отъ зла. А потомъ община оказалась самымъ страшнымъ зломъ, и мужика изъ горницы выгнали, а посадили туда фабричнаго рабочаго, и въ томъ, что писалось, чувствовались и злоба, и презрѣніе, и ненависть къ мужику за то, что онъ мужикъ и не дѣлается фабричнымъ рабочимъ. А потомъ и такъ случилось, что о долгѣ передъ народомъ, о совѣсти и любви стало не совсѣмъ приличнымъ говорить въ передовомъ обществѣ, и слово „жалость“ сдѣлалось зазорнымъ словомъ. И все это называлось переоцѣнкой всѣхъ цѣнностей.

Удивительнѣе всего, что все это были люди безродные и, когда имъ говорили, что у нихъ есть отцы и родня, Саши и Аси, они обижались и говорили, что они отказываются отъ всякаго родства, отъ всякаго наслѣдства, и говорили со злобой и негодованіемъ люди внутренней перестройки, „фабричные люди противъ народныхъ людей“.

И безродные люди приходили и уходили, и все отказы-

вались отъ наслѣдства, все переоцѣнивали всѣ цѣнности. И забывались тѣ двѣ великія главы новѣйшей русской исторіи, 60-е и 70-е года, и то первое и самое важное, что написано было въ тѣхъ главахъ.

Мы, любители русской литературы, знали и слѣдили за тѣмъ связнымъ и послѣдовательнымъ теченіемъ, которое отиравалось отъ прошлаго и шло въ будущее и неуклонно стремилось къ тому, чтобы не умирали русскія дѣти, какъ мухи, и чтобы всѣмъ было просторно и свѣтло жить въ Россіи. Но такъ часто эта связанная и послѣдовательная исторія прерывалась безродными анекдотами.

Случайно, но всетаки мнѣ приходилось встрѣчать за тридцать лѣтъ и въ нашемъ городѣ представителей всѣхъ этихъ анекдотическихъ теченій, и, къ удивленію, всѣ они оказывались незлобными людьми, все это были чудеснѣйшіе, превосходнѣйшіе люди, и, къ удивленію, въ нихъ были всѣ тѣ же цѣнности и долгъ, и совѣсть, и жалость. Только они—русскіе люди, дѣти несвязной русской исторіи, только думали они анекдотами, чувствовали анекдотически. Должно быть, это особенность русской жизни, безродной русской исторіи. Было неизвѣстно, что день грядущій намъ готовить, и то, что онъ готовилъ, было неожиданностью для дня настоящаго.

Я вспоминаю: вѣдь было же земство, городское самоуправленіе, вспоминаю судъ, народное образованіе... Да, именно вспоминаю. Вспоминаю, какъ они явились, какими были, когда были молоды, когда все это—и судъ, и земство, и народное образованіе, все это отливало въ одну форму и вставало изъ русской жизни цѣльнымъ, одухотвореннымъ, какъ статуя изъ бѣлаго мрамора,—она такъ выпрямила тогда русскихъ людей... Да, вспоминаю—какъ низкіе, грязные негодяи сорокъ лѣтъ ломали руки и тѣло прекрасной статуи, какъ плевали въ бѣломраморное лицо и какъ постепенно та статуя, которая выпрямляла когда-то насъ, обломанная, изуродованная постепенно возвращалась къ той глубѣ безформеннаго камня, изъ котораго она вышла.

Однажды я испугался, и тогда начался мой ретроспективный взглядъ. То было, когда появилась книга—это недавно было, кажется называлась она „О вредѣ тѣлесныхъ наказаній“. Говорятъ,—я увѣренъ въ этомъ—написали ее, толстую книгу, умные люди, чудеснѣйшіе, превосходнѣйшіе люди съ прекраснѣйшими намѣреніями, а я испугался. И сейчасъ помню, какъ приносили ее мнѣ, и я не могъ развернуть ее. Думалъ, — вдругъ я прочитаю, что тѣлесное наказаніе вредно, что пороть людей противно совѣсти, что порка розгами человѣка по обнаженному тѣлу унижаетъ его

человѣческое достоинство,—вдругъ тамъ окажется статистика, свидѣтельства отъ разума, историческія справки? Такъ и не развернулъ... Вѣдь сорокъ лѣтъ прошло съ той весны, съ того освобожденія, а черезъ сорокъ лѣтъ появилась книга о вредѣ тѣлеснаго наказанія... Да. И вотъ тогда-то мнѣ и стало страшно. Тогда показалось мнѣ, что никакихъ нѣтъ статуй и мрамора, а въ результатъ сорока лѣтъ опять то же старое, вонючее, растрескавшееся пушкинское корыто, предъ которымъ сидитъ старуха, вызывавшая золотую рыбку, а на днѣ корыта, какъ свидѣтельство о корытѣ, толстая книга о вредѣ тѣлесныхъ наказаній для русскихъ людей.

19... года.

Я возвратился къ старинѣ, къ эпосу. Я читаю Гомера, жизнеописанія Плутарха, полюбилъ и перечитываю библію,—то, что я такъ давно не развертывалъ. Мнѣ нравится то связанное и послѣдовательное, не анекдотичное, что есть въ старыхъ сказаніяхъ, гдѣ все такъ ясно, такъ невозмутимо просто, всѣ и все имѣютъ свои опредѣленные мѣста, нравится эпическій тонъ, съ которымъ разсказывается и жестокое, и трогательное, что происходитъ въ жизни. Міръ ушелъ отъ меня съ своей сутолокой и своими анекдотами, для меня осталось мое кресло и четыре комнаты моего домика на окраинѣ города и окно моей спальни, изъ котораго видна изгородь переулка, и за переулкомъ, такъ близко, домикъ Скрипки, стараго сибирскаго исправника, съ которымъ я когда-то учился въ гимназій, и люди—немного людей, которые толкуются около меня. И газета не такъ жадно развертывается и не всегда прочитывается. Я возвратился къ эпосу.

Ко мнѣ приходитъ Федоръ, мой дворникъ, самый близкій теперь ко мнѣ челоуѣкъ,—онъ одѣваетъ меня, раздѣваетъ, поднимаетъ на своихъ сильныхъ рукахъ мое грузное тѣло и, когда онъ въ добромъ расположеніи духа, то вывозитъ меня въ креслѣ въ садикъ—„прогуляться“, какъ выражается онъ. Глазъ у него подбитъ, лѣвая половина лица распухла, онъ говоритъ, что его зовутъ въ полицію.

— Что это такое у васъ?—спрашиваю я про его глазъ.

— То жъ ночью... Парубки пришли изъ-за рѣчки, ну, мы ихъ били.

И на мое недоумѣніе разъясняетъ, что пришли парубки изъ-за рѣчки къ дѣвушкамъ нашей слободки, и потому надо было ихъ бить.

— Тожъ наши дивчата... — убѣжденно говоритъ Федоръ.

Я напоминаю ему, что мѣсяцъ назадъ онъ ночевалъ въ полиціи послѣ того, какъ забрался къ дивчатамъ другой слободки—къ чужимъ дивчатамъ.

Федоръ пріятно улыбается и говоритъ:

— Мы и тогда ихъ били. Вонь дурные.

Я смотрю на него и восхищаюсь нетронутымъ эпосомъ, которымъ вѣсть отъ него, какъ отъ дикаря, который находилъ, что хорошо все то, что онъ взялъ, и дурно то, что у него взяли. На немъ сапоги, мои почти новые охотничьи сапоги, и я говорю:

— Хорошіе у васъ сапоги, Федоръ!

— Эге, сапоги добри...—И любезно показываетъ мнѣ ярко вычищенные голенища и новыя подметки,—лицо его эпически ясно, и никакъ не укладывается въ моей головѣ слово „воръ“. — Если я напоминаю Федору, что далъ ему пять рублей на покупки и что нужно получить съ него два рубля сдачи, онъ любезно шаритъ въ своихъ карманахъ, бѣжитъ въ дворницкую и приноситъ мнѣ два рубля,—если я скоро вспоминаю. Если же проходитъ недѣльная или десятидневная давность, онъ уже считаетъ себя обиженнымъ и возмущается, и я конфужусь за мое требованіе сдачи.

— Вы зачѣмъ взяли доху у Скрипки?—вспоминаю я вчерашній инцидентъ. Вчера былъ сосѣдъ мой Скрипка и жаловался, что у него пропала доха, и нашелъ онъ ее черезъ мѣсяцъ въ моей дворницкой, на кровати Федора, гдѣ она изображала матрацъ. Лицо Федора полно негодованія, онъ сыплеть яркими колоритными ругательствами по адресу скаженаго Скрипки и объясняетъ, что доха лежала—думаю, съ основанія города единственная въ немъ — на нашемъ дворѣ, у забора, и что онъ пыталъ у разныхъ свѣдущихъ людей, откуда явилась доха, и никакъ не могъ найти хозяйина, а потому и спалъ на ней.

— Та нехай винъ тричи подавится!

Негодующій, онъ уходитъ въ полицію судиться по поводу набѣга парубковъ на дивчачъ нашей слободки, которыхъ онъ считаетъ своею собственностью, а я думаю о Федоровой душѣ.

Онъ принципиальный человѣкъ, и у него есть идея. Онъ „позывается“ и, кажется, для того и пришолъ въ городъ, чтобы добыть деньги, чтобы было на что позываться. Онъ только недѣлю назадъ возвратился изъ деревни, куда ѣздилъ позываться съ своимъ дядькомъ и предъ отъѣздомъ взялъ зажитые пятьдесятъ рублей, а когда я спросилъ, зачѣмъ ему такъ много денегъ, онъ подробно объяснилъ, что ему будетъ стоить нанять пару воловъ и нагрузить на нихъ свидѣтелей, сколько могутъ поднять волы, и отвезти ихъ въ городъ на судъ и кормить, и поить ихъ. Онъ и раньше бралъ у меня двадцать пять рублей на то же позыванье и теперь опять проигралъ дѣло, такъ какъ дядько нанялъ двѣ

нары воловъ и привезъ на судъ вдвое больше свидѣтелей. И когда я узналъ, что споръ идетъ изъ-за кусочка земли, который стоилъ много-много пятьдесятъ-сто рублей, и началъ доказывать Федору, что они съ дядькомъ уже истра- или въ нѣсколько разъ больше, чѣмъ стоитъ спорная земля, онъ упрямо повторялъ:

— Винъ мини голову морочить. Винъ мене не оду- рить!

Я увѣренъ, что онъ поѣдетъ въ третій, въ четвертый разъ и истратитъ еще пятьдесятъ и сто рублей, такъ какъ онъ принципиальный человѣкъ, и главная его честь заклю- чается въ томъ, чтобы онъ дурилъ другихъ людей и моро- чилъ имъ голову, а не они ему. Я люблюсь на его могучія руки, лихо закрученные черные усы, его эпически непоко- лебимую, круглую, какъ арбузъ, голову и съ завистью слу- шаю, какъ онъ цѣлыя ночи напролетъ гуляетъ съ при- надлежащими ему дивчатами тамъ у рѣчки, такъ недалеко отъ моего окна, и съ полнымъ воодушевленіемъ поетъ про Сагайдачнаго-необачнаго:

„Продавъ свою жинку за тютюнъ та люльку, не- обачный“...

19... года.

Днемъ заходитъ Скрипка,—какъ всегда выпивши, на- стоящій хитроумный Одиссей, переплывшій тоже много мо- рей. Онъ огромный, съ сѣдыми усами, и на головѣ сѣрый пухъ вмѣсто волосъ. Когда-то мы росли вмѣстѣ,—онъ изъ мелкопомѣстныхъ дворянъ нашего же уѣзда,—изъ тѣхъ, кого въ Малороссіи называютъ „панокъ поганенькій“—онъ недолго учился въ гимназіи и больше 30 лѣтъ прослу- жили въ Сибири. Приходитъ, какъ всегда, выпивши, и какъ всегда рассказываетъ одну и ту же безконечную, какъ до- рога въ Сибирь, исторію своихъ служебныхъ подвиговъ; рассказываетъ возмутительныя дѣла невозмутимымъ эпиче- скимъ тономъ,—какъ онъ ѣздилъ въ глухія, пограничныя съ тунгусами и якутами волости, какъ собиралъ тамъ дани, какъ міръ выставялъ ему угощеніе и посылалъ пооче- реди на ночь дѣвушекъ и женщинъ,—все тотъ же старый русскій анекдотъ,—какъ онъ воровалъ и какъ билъ... И у меня вырывается восклицаніе:

— Какъ же васъ, Сильвестръ Федоровичъ, въ каторгу не послали?

Онъ отвѣчаетъ, какъ Федоръ:

— Эге! Меня не одурятъ... Ревизоръ пріѣхалъ изъ Пи- тера—такій маленькій.—„Слѣдствіе!“ „Подъ судъ!“ Такіи сердитый!

Скрипка смѣется.

— Вся Сибирь знаетъ!—съ гордостью говорить онъ,—на пяти подводахъ дѣло везли въ губернію... Разыскивали... Такъ и печатали въ губернскихъ вѣдомостяхъ: „разыскивается коллежскій ассессоръ Скрипка...“ Разъ изъ канцеляріи генераль-губернатора бумага пришла: „по свѣдѣніямъ“ и прочее, „такой-то Скрипка проживаетъ въ городѣ...“ А я въ губернскомъ правленіи въ это время служилъ,—ну, само собой, по вольному найму—черезъ меня бумага шла; я и подмахнулъ: „по справкѣ коллежскаго ассессора Скрипки на жительствѣ въ городѣ не оказалось...“

Онъ кашляетъ, огромный животъ дрожить отъ смѣха, и лицо наливается кровью.

— Полиціеймейстеръ подписываетъ, говоритъ:—„Ты хоть бы самъ-то не писалъ своей рукой,—чего озоруешь? Айда въ Токмаковку!..“ Деревня была, черезъ рѣку,—станъ, значить... Ну, сейчасъ въ Токмаковку съ засѣдателемъ на козъ охотиться. А полиціеймейстеръ въ станъ бумагу: „по свѣдѣніямъ проживаетъ...“ а засѣдатель:—„по справкѣ на жительствѣ не оказалось...“ Значить, опять въ городъ, въ губернское правленіе. Такъ и ѣздилъ черезъ рѣку,—шесть лѣтъ ѣздилъ...—улыбается Скрипка.—А тамъ пожаръ случился въ губернскомъ правленіи,—и пожаръ-то маленькій, снова улыбается Скрипка,—а что было лишнее,—сгорѣло! И дѣло мое кончилось...

И все тутъ связанное и послѣдовательное, и такимъ эпосомъ вѣсть на меня отъ одиссеи Скрипки...

— Чего же вы не остались тамъ, Сильвестръ Федоровичъ?—снова вырывается у меня.—Вотъ вамъ какъ хорошо въ Сибири жилось... И полную пенсію получили... И пріятелей сколько...

Онъ молчитъ, и на лицѣ его недоумѣніе. Онъ долго смотритъ на меня тусклыми оловянными глазами и медленно говорить:

— Тамъ птица молчить. Не спиваетъ...

Онъ все смотритъ на меня, и что-то бродитъ на его обрюзгшемъ лицѣ, и онъ повторяетъ:

— Не спиваетъ...

Онъ ходитъ по комнатѣ большими грузными шагами, отъ которыхъ гнутся половицы пола и медленно выговариваетъ:

— Сіжу тамъ и слышу, какъ у насъ... Помните, въ гимназій учились—вотъ тутъ, за рѣчкой, удодъ кричалъ: „худо тутъ, худо тутъ“, а мы ему, бывало, говорили: „лети дальше...“ А то еще птица кричала,—у насъ на хуторѣ, въ

Гаю, за шинкомъ Берки: „риба-риба,—ракъ-ракъ-ракъ, тирикъ-тирикъ,—дракъ дракъ-дракъ...“ А тамъ молчать.

И онъ прѣхалъ послушать, какъ птица поетъ въ Мало-россиі,—онъ, у котораго перемерли всѣ родные, и знакомыхъ. кажется, осталось только я, да старикъ Берко.

Вчера вернулась Елена. Она подошла ко мнѣ и сказала:
— Здравствуйте, баринъ!
Я очень радъ.

190.. года.

Я очень радъ. Она удивительная — эта кухарка Елена. Который разъ поступаетъ она къ намъ на службу,—я ужъ не помню. Она является всегда неожиданно и въ своемъ обычномъ полномъ вооруженіи—съ большимъ томомъ жизнеописанія Петра Великаго, съ Наполеономъ и револьверомъ, который она называетъ „пистолетъ“. Зачѣмъ ей нуженъ былъ пистолетъ, я не знаю, но онъ всегда при ней и, ложась спать, она непременно кладетъ его подъ подушку. Елена читаетъ всякія книги, но время отъ времени возвращается къ Петру Великому и Наполеону и, когда начитается ими въ полной мѣрѣ,—идетъ къ сестрѣ и говоритъ ей:

— Вотъ люди были, барыня! Вотъ жили, вотъ дѣла дѣлали! А теперь что?

И глаза блестятъ у ней, и восторгъ и негодование слышатся въ голосѣ. Тогда на нѣкоторое время она проявляетъ въ кухнѣ кипучую дѣятельность, у ней несомнѣнный подъемъ духа, и фантазія работаетъ въ повышенномъ темпѣ,—тогда она угощаетъ насъ своими удивительными экзотическими обѣдами.

— Я завтра, барыня, приготовлю греческій обѣдъ.

И она готовитъ греческій обѣдъ, армянскій, еврейскій, французскій. И весь тотъ кулинарный опытъ, который добыла она въ своихъ вѣчныхъ скитаніяхъ, она претворяла своимъ художественнымъ творчествомъ,—сестра называла ее Наполеономъ кухни—и въ городѣ знали, когда у меня служить Елена, и напрашивались на обѣдъ. А потомъ ей вдругъ дѣлалось скучно, глаза становились скучные и злые, она начинала придирается къ намъ и, если я плохо ѣлъ за обѣдомъ,—оскорблялась, являлась въ столовую и говорила:

— Если я барину угодить не могу,—разсчитайте меня. Ни у кого на шеѣ висѣть не хочу...

Я долженъ былъ ѣсть, чтобы не оскорблять Елену. Если сестра спрашивала—почему за рыбу заплачено 25 коп., а не

20 за фунтъ,—тогда Елена подходила вплотную и впивалась своими сѣрыми глазами въ лицо сестры и говорила злымъ голосомъ:

— Вы, барыня, скажите просто,—украли я? Да? Воровка? А то 25 копѣекъ!

Въ такихъ случаяхъ сестра, питавшая слабость къ Еленѣ—поднимала по своей привычкѣ очки на лобъ, всматривалась въ злое лицо Елены и, улыбаясь, говорила:

— Опять ноги зудятъ, Елена? Надоѣло,—бѣжать хочется?

Тогда злость сбѣгала съ лица Елены, и она интимно и таинственно сообщала:

— Родные зовутъ, барыня... Все пишутъ, пишутъ—пріѣзжай, Елена—почему не ѣдешь? Я васъ люблю барыня, только никакъ нельзя,—родные, сами знаютъ!..

И уходила, и приходила всегда таинственно, и неизвѣстно было, куда уходила и откуда приходила. Все ее звали, все гдѣ-то ждали.

— Такъ ужъ, барыня, отъ васъ уходить не хочется, а нельзя...—объясняла она другой разъ.—Братъ женится, въ Сумахъ. Дворянку беретъ—потомственную... 50 десятинъ собственныхъ, хуторъ—все обзаведеніе, домъ въ городѣ двухъэтажный. Ну, и пишетъ братъ,—одна я у него сестра,—чтобы пріѣзжала,—невѣста познакомиться хочетъ...

Какъ-то разъ она выпросила у сестры рекомендательное письмо къ нашимъ роднымъ, жившимъ на Кавказѣ. Мы скоро получили извѣстіе, что Елена за что-то разсердилась и ушла отъ нихъ, и три года не было объ ней никакихъ вѣстей, а потомъ она снова явилась и, какъ всегда, неожиданно.

Все у нея было таинственно, и все на свой ладъ. Она не признавала модъ, управлявшихъ костюмами городскихъ кухарокъ и горничныхъ, и создала свой собственный стиль,—всегда черное платье и, когда шла въ городъ, надѣвала черную мантилью, и черная кружевная косынка окутывала голову и лицо, такъ что видны были только сдвинутыя брови и угрюмо смотрѣвшіе сѣрые глаза. Когда просилась у сестры въ городъ, говорила повелительно:

— Я, можетъ быть, поздно возвращусь, барыня,—ключъ съ собой возьму. Дѣло у меня, ждутъ тамъ...

И она была только смѣшна мнѣ съ своимъ пистолетомъ, съ своимъ увлеченіемъ Петромъ Великимъ и Наполеономъ, съ своей мрачностью и таинственностью. Раньше она не обращала на меня вниманія, а теперь она подошла ко мнѣ и, облокотившись рукой о мое кресло, близко наклонилась и сказала:

— Здравствуйте, баринъ! — глаза ея были влажные и

блаженные и полны жалости; одѣта она была въ голубую кофточку, и вся она была словно омытая и осіянная тихимъ сіяніемъ,—я тутъ только разсмотрѣлъ, какая она тонкая и худенькая и насколько она моложе своихъ 30 лѣтъ, и какое у ней странное, ни на кого не похожее блѣдное лицо съ сѣрыми глазами. И было что-то новое въ ея голосъ, отъ чего у меня сдѣлалось горячо въ груди, и я сказалъ:

— Здравствуйте, Елена! Я радъ, что вы пріѣхали...

19.... г.

Она была голубая, омытая, озаренная—эта новая Елена. Она носится по квартирѣ, безшумными шагами, кроткая и умиротворенная, и счастливая, блаженная улыбка не сходитъ съ ея лица. Она часто забѣгаетъ ко мнѣ съ какимъ-нибудь вопросомъ.

— Какъ вамъ, баринъ, рыба больше нравится, — можетъ потушить да проложить щавелемъ?.. тотъ соусъ, знаете, въ родѣ, какъ по-гречески? Или лучше, какъ евреи любятъ, — съ фаршемъ?

Сегодня она забѣжала ко мнѣ предъ обѣдомъ, улыбка у ней особенно радостная и блаженная.

— Что я вамъ скажу, баринъ! жила я у помѣщиковъ въ Золотоношскомъ уѣздѣ. Случай былъ... Тоже вотъ барынинъ отецъ два года на кровати лежалъ,—и въ кресло посадить нельзя было,—и что бы вы думали?—всталъ и—кабы сама не видѣла, не повѣрила бы—и на токъ, и въ поле... А полѣстницъ—двухъэтажный у нихъ домъ—черезъ ступеньку...

Она смѣется, и я все смотрю въ ея лицо и вслушиваюсь въ ея странный смѣхъ, надорванный, дрожащій смѣхъ. Вечеромъ опять пришла съ сложнымъ и необыкновеннымъ меню завтрашняго дня, а я сталъ писать мой дневникъ, и все недоумѣваю, что случилось съ Еленой.

Въ спальнѣ у сестры голоса, и опять этотъ странный, надорванный, волнующій меня смѣхъ...

На слѣдующій день.

Дверь въ спальню была полуоткрыта, и безъ шума подкатилъ свое кресло, и мнѣ видно было: сестра на кровати, въ ночномъ чепчикѣ, а предъ нею Елена, трепещущая и говорить, волнуясь, спѣша и смѣясь:

— Барыня милая! Все я время вамъ, всю жизнь вралъ, всѣхъ обманывала, а больше всего себя обманывала, себѣ вралъ... Безродная, вѣдь, я, подкидышъ, чужіе люди подобрали меня, какъ щенка выкормили, какъ собаку шпыняли. Въ Сумахъ... помните,—про брата вралъ въ Сумахъ? Нѣтъ ни

брата у меня, ни сестры, ни матери, и никто не звалъ меня, никто, родной, не ждалъ меня,—все-то сочиняла я, для себя сочиняла. Вѣдь думала, прїѣду въ Сумы, и вдругъ братъ найдется,—все про брата думала—и вѣрите ли, барыня, по улицамъ ходила, гдѣ господа гуляютъ, въ лица глядѣла, думаю, узнаю брата, по лицу узнаю, сердце скажетъ. Не нашла. Смѣяться будете, барыня,—она засмѣялась надорваннымъ, рыдающимъ смѣхомъ,—думала часто: благороднаго я рода, можетъ графская дочь, потеряли, дескать, меня и все ищутъ, все ищутъ... Глупая я, все фантазія, все обмануть себя хотѣла. А жизнь-то скучная... скучно жить на свѣтѣ, барыня!

Елена стояла, какъ всегда, вся подавшия къ сестрѣ, и въ свѣтѣ лампы словно тѣни бродили по ея лицу.

— Честная я была, барыня,—вѣрьте слову! А люди-то не честные и не хотятъ, чтобы промежду нихъ честная жила, и непереносно имъ, чтобы человѣкъ на свой строй, самъ по себѣ, не какъ всѣ жилъ... Въ кухарки, помню, къ старому генералу поступила,—соберутся на базарѣ другія кухарки и начинаютъ:—„Ты какіе счета ставишь? До тебя Марья жила,—лавочку на базарѣ открыла—а послѣ тебя какъ служить?“—Такъ выходило, что противъ своихъ товаровъ не хорошо поступаю... Въ больницѣ разъ поступила, въ сидѣлки. Такъ полюбилось, кажется, и не ушла бы! И кто труднѣе болѣетъ, тотъ мнѣ и любѣе; вечеръ придетъ, книжки имъ читаю разныя,—всѣ рады. Тоже сидѣлки говорить стали:

— „Ты, говорятъ, намъ жить не даешь! Больные какую манеру завели, чтобы мы по ночамъ не спали, этакъ и служить нельзя!“ Прямо говорятъ:—„Ты уходи... какъ ни-какъ изведемъ тебя, подъ статью подведемъ, казенное бѣлье въ сундукъ къ тебѣ подкинемъ“.

— Металась я, металась, гдѣ-гдѣ не была—и бураки рыла, и на табачныхъ фабрикахъ работала, на пароходахъ по Черному морю судомойкой ѣздила,—все скучно, барыня, нѣтъ моей душѣ радости! И на мѣста становилась,—стала выбирать, чтобы не къ своимъ, не къ русскимъ поступать,—у кого, у кого не жила!—и у армянъ, и у грековъ, и у французовъ,—все мнѣ хотѣлось узнать, какъ другіе, не наши люди живутъ, какой законъ у нихъ, какая вѣра... У Гольдберговъ, евреевъ, вотъ какъ у васъ же, нѣсколько разъ служила; какъ тамъ любили меня—особенно ребятишки! Вотъ, барыня, гдѣ дѣтей-то любятъ!—То свѣтлыя, то темныя тѣни мѣнялись на лицѣ Елены.—А не хотѣла, какъ другія жить. Интересу не было: деньги, напимѣръ, или, скажемъ, одежда, или, напимѣръ, хвастаются другія: у меня такой, у меня вотъ какой. Скучно мнѣ... И мечту имѣла... Чтобы что-

нибудь почуднѣе, барыня, — засмѣялась она — понеобыкновеннѣе, ни на кого не похоже... Вотъ на Кавказъ, помните, уѣхала, думала ни вѣсть что. Какой со мной случай былъ! Вѣрите ли—глухимъ шопотомъ заговорила она,—отъ вашихъ тогда ушла, — въ аулъ жила, съ кабардинцемъ съ Сентъ-Магометомъ, все потому, что джигить онъ былъ, конь вороной, съ винтовкой за плечами по ночамъ выѣзжалъ, думала—на темное дѣло, на страшное дѣло, голову сложить... Все себя обманывала. А онъ просто баранту корочилъ.

И опять засіяло лицо ея, и блаженная улыбка задрожала на губахъ, и зазвенѣлъ голосъ. Говорить она:

— Барыня! Барыня! Въ Одессѣ... нашли меня братья, изъ грязи подняли, пріютили меня сирую, одинокую, согрѣли мою душу холодную, свѣтомъ просвѣтили заблудшую, грѣшную... Пришла къ нимъ на собраніе, гимны пѣли, словно про меня пѣли:

Малый свѣточъ пусть ясный
Свѣтъ на море жизни льетъ!
Можетъ быть, изъ тьмы опасной
Онъ кого-нибудь спасетъ.

Стою и слушаю, сама не своя, и слезы во мнѣ, а плакать не могу, никогда не плакала. Посмотрю кругомъ: всѣ - то праведные, всѣ-то добрые.—Барыня, милая барыня!—И восторгомъ и невыплаканными слезами звенѣлъ и рыдалъ голосъ:

— Нашла я свой родъ, племя свое! Есть у меня братья родные, сестры милыя! Домой пришла, подъ кровъ родимый. Я безшумно откатился съ своимъ кресломъ къ себѣ въ спальню.

Да, я проглядѣлъ Елену.

190... г.

— Съ добрымъ утромъ, баринъ!

Она приходитъ всякое утро поздравлять меня, и я люблю слушать, какъ она поздравляетъ. Что-то кроткое, ласковое и радостное наполняетъ домъ, и мнѣ не такъ скучно и одиноко жить. Случается, когда я читаю Гомера и Плутарха,—гимнъ доносится изъ кухни,—любимый гимнъ Елены:

Есть для плачущихъ земли
Мѣсто у Креста!
Братъ мой страждущій, займи
Мѣсто у Креста.

Вѣчная любовь зоветъ
Всѣхъ насъ со Креста,
И для каждого найдеть
Мѣсто у Креста...

Тогда я оставляю Гомера и начинаю перелистывать книжку со стихами и гимнами, принесенную мнѣ Еленой, перечитываю наивные, складные и нескладные, но всегда трогательные стихи и съ удивленіемъ встрѣчаю среди новыхъ незнакомыхъ гимновъ—стихи Козлова и Тютчева и старыхъ русскихъ поэтовъ. И начинаю думать не о старомъ эпосѣ, а о новой лирикѣ, идущей въ русскую жизнь...

Въ моемъ домѣ происходятъ удивительныя дѣла. Въ кухнѣ клубъ и всегда люди. Мнѣ видно изъ столовой въ открытую дверь,—тамъ нѣтъ черныхъ и рыжихъ усачей, какіе бывали у Елены раньше,—приходятъ какіе-то новые люди, бородатые, съ медлительными движеніями, съ задумчивыми лицами. Тутъ и кухарки, и прачки, и дивчата изъ нашей слободки, которыя распѣвали съ Федоромъ по ночамъ: „продавъ свою жинку за тютюнъ та люльку“, и землекопы, работающіе надъ прокладкой водопроводныхъ трубъ... Разъ видѣлъ лавочника, у котораго нѣсколько лѣтъ покупалъ табакъ, и моего бывшего посыльнаго изъ конторы, и старшаго садовника изъ городского сада. А вечеромъ тихій говоръ идетъ въ моемъ садикѣ. Иногда зазвонитъ гимнъ въ вечерней тишинѣ, и я слышу, какъ робко и неуверенно присоединяются одинъ за другимъ мужскіе и женскіе голоса.

На дняхъ у сестры вышло недоразумѣніе съ Еленой. Позвонилъ полковникъ, котораго сестра не любитъ—горничной дома не было.—Сестра приказала Еленѣ сказать, что ея дома нѣтъ, а братъ спитъ.

— Я не могу. Вы же барыня дома, и баринъ книжку читаетъ...—И на великое изумленіе сестры Елена пояснила:

— Мнѣ нельзя неправду говорить...—Но ей очевидно не хотѣлось огорчать барыню, и она предложила:

— Я могу доложить, что вы приказали сказать, что васъ дома нѣтъ, а баринъ книжку читаетъ.

Сестра не признала комбинацію удачной, и ей пришлось принять полковника. Повидимому инцидентъ не испортилъ ихъ отношеній, и разговоры по ночамъ въ спальней все продолжаютъ.

А Федоръ сумрачный, съ нимъ что-то дѣлается, и усы у него повисли, ходитъ онъ медленно, все въ землю смотреть и о чемъ-то думать. И не слышу я больше пѣсенъ за рѣчкой, по ночамъ Федоръ дома и большую книгу читаетъ.

19... года.

Все новое кругомъ меня, удивительное. Я начинаю думать, что я проглядѣлъ жизнь, и должно быть нужно было, чтобы у меня отнялись ноги, чтобы я пристальнѣе взглядѣлся въ то, что происходитъ кругомъ меня,—чтобы я разглядѣлъ жизнь. И еще болѣе удивительная вещь,—я начинаю думать, что то время, которое я сижу въ моемъ креслѣ,—въ собенности тѣ два мѣсяца, которые прошли съ пріѣзда Елены—полнѣе, разностороннѣе, богаче впечатлѣніями, чѣмъ многіе годы, которые я ходилъ мимо жизни.

Какъ-то на дняхъ я поздно проснулся, и долго звенѣлъ въ моихъ ушахъ знакомый, давно забытый мотивъ и даже, когда проснулся, я долго лежалъ въ постели и старался вспомнить, гдѣ я слышалъ то, что неслоь ко мнѣ изъ дома Скрипки, гдѣ со вчерашняго дня работаютъ маляры.

Я разобралъ наконецъ слова:

Укажи мнѣ такую обитель...

Да, это то самое, что я слышалъ тридцать лѣтъ назадъ, когда у меня гостили Саша и Ася, и я съ удивленіемъ вслушиваюсь: та-же интонація, та-же манера пѣть и такъ-же, какъ тогда, женскій голосъ врывается въ сильные мужскіе голоса. Я сидѣлъ у окна и съ страннымъ, необыкновенно радостнымъ чувствомъ слушалъ то, что неслоь изъ оконъ Скрипки. А потомъ пробило двѣнадцать часовъ, и вышли они, маляры, семь человекъ и съ ними дѣвушка, я узналъ ее—какъ-то разъ она мыла у насъ полы. Были они въ темныхъ шляпахъ съ широкими полями, въ сѣрыхъ и темныхъ пиджакахъ—и слѣды краски придавали имъ артистическій видъ—и были всѣ они молодые и веселые, какъ тѣ студенты, что собирались тридцать лѣтъ назадъ. И лица такія же—тонкія, худыя, интеллигентныя.

Эти дни я сижу у окна въ своей спальнѣ и слушаю—иногда доносятся цѣлыя фразы,—что дѣлается въ домѣ Скрипки.

— Вы, милостивый государь, мажете, какъ теленокъ хвостомъ...—Здоровенный хохотъ доносится до меня. Я знаю,—это говорить старшой, въ этой артели въ семь человекъ,—такой же молодой, какъ всѣ остальные, съ темной бородкой эспаньолкой, съ веселыми, насмѣшливыми глазами, въ самой широкополой шляпѣ.

Въ двѣнадцать часовъ „милостивые государи“ уходятъ обѣдать всѣ вмѣстѣ—артисты, джентльмены съ джентльменскими лицами. Въ два часа они собираются на работу и должно быть не всѣ вмѣстѣ живутъ,—не сразу приходятъ. Случается, дожидаются опоздавшихъ, стоятъ въ переулочкѣ

противъ моего окна. И должно быть всегда у нихъ есть новости, — они разворачиваютъ газеты, кто-нибудь читаетъ вслухъ и, изъ за хмѣля, окутывающаго изгородь, мнѣ видно, какъ разворачиваются бѣленькіе листочки. Иногда къ изгороди подходятъ Федоръ и Елена, здороваются съ малярами за руку и долго слушаютъ, что написано въ газетахъ, въ бѣленькихъ листочкахъ.

А потомъ маляры уходятъ въ домъ Скрипки, и несутся оттуда въ мое окно старыя, давно неслышанныя пѣсни.

Бываетъ такъ, что въ то же время несутся гимны изъ кухни и слова и мотивъ сливаются, перебиваютъ другъ друга, и странное, никогда не испытанное ощущеніе въ моей душѣ. Иногда у изгороди появляется Скрипка. Онъ въ недоумѣніи и, когда онъ въ недоумѣніи, онъ похожъ на большую ночную птицу, спугнутую ночью, растерянную и безтолково мучющуюся.

— Що се таке вони спивають?

Я смѣюсь и говорю, что это новыя птицы прилетѣли въ Малороссію и поютъ новыя пѣсни. Должно быть, онъ не понимаетъ, онъ трезвъ и потому у него трясется голова — онъ долго слушаетъ и медленно выговариваетъ:

— Не чувъ...

Я тоже не чуваль.

190... г. Май.

Вотъ и весны давно такъ не чувствовалъ, — тоже, должно быть, некогда было разглядѣть. Хмѣль, — буйный и зеленый, и сухая, темная, шершавая изгородь стоитъ пышная и нѣжно зеленая; подъ окномъ сирень, — вся лиловая, и запахъ ея льется въ мое окно, густой и сладкій, какъ сиропъ. Я начинаю разбираться въ этомъ сложномъ ароматѣ: вотъ сирень, жасминъ, кажется и бѣлая акація... Закаты улыбающіеся, вечера тихіе, томные, ночи кроткія. Люди приходятъ и уходятъ въ тихій вечеръ, въ безмолвный вечеръ, въ потухающій свѣтъ, и голоса ихъ осторожны и тихи, и слова у нихъ кротки и застѣчивы. Старая яблонь облита бѣло-розовымъ цвѣтомъ, какъ невѣста покрываломъ. Она волнуетъ и умиляетъ меня, — она старая и не цвѣла уже нѣсколько лѣтъ, и мнѣ думается, цвѣтеть послѣдній разъ, и послѣдній разъ слышу я ея тонкій трогательный ароматъ...

Подъ яблоней столъ, вынесенный изъ кухни, покрытый бѣлой скатертью, маленькая жестяная лампочка привѣшена къ стволу старой яблони, на столѣ большая книга, — старая книга въ толстомъ переплетѣ, а за столомъ Елена въ голубой кфточкѣ съ непокрытыми волосами и Федоръ въ бѣлой

рубашкѣ, въ чистой, недавно вымытой, рубашкѣ. Она читаетъ развернутую толстую книгу—я слышу, какъ тихо шелестятъ листы и радость въ голосѣ Елены—каждое слово толстой книги—счастье для нея,—а онъ сидитъ большой, нескладный, поникшій... И когда она перестала читать, онъ вздохнулъ медленно и глубоко и тихо выговорилъ:

— Трудно мнѣ это, Елена! трудно...

Изъ-за зеленой изгороди слышится веселый голосъ:

— Добрый вечеръ!—въ калитку входитъ тотъ старшой съ эспаньолкой, въ широкополой шляпѣ.

— Добрый вечеръ!.. — говоритъ Елена и освобождаетъ мѣсто на скамейкѣ.

— Садитесь!..

И опять идетъ тихій говоръ. И мнѣ видно, какъ листъ за листомъ тяжело и медленно переворачиваются, большіе листы толстой книги, и быстро переворачиваются звонкіе бѣленькіе листочки въ рукахъ человѣка въ широкополой шляпѣ. Я не слышу словъ, но я вижу, я чувствую,—старая большая книга побѣдила новенькіе бѣленькіе листочки.

— Добрый вечеръ!

— Добрый вечеръ!

Онъ уходитъ, человѣкъ съ темной эспаньолкой, и снова возвращается, стоитъ у стола и, улыбаясь, говоритъ веселымъ, увѣреннымъ голосомъ:

— Къ намъ придете!.. У насъ свѣтлѣе...

Тогда отъ книги поднимается бѣлокурая голова и говоритъ съ ласковой, счастливой улыбкой:

— Мы пришли... Нужно и вамъ придти... Миръ съ вами...

И они остаются опять двое, и радостный голосъ медленно выговариваетъ радостныя слова изъ старой книги. А небо бездонное, широкозвѣздное и безмолвное, и льется волнами густой и сладкій ароматъ, и нѣжные лепестки бѣленькихъ цвѣточковъ падаютъ съ старой яблони на раскрытую старую книгу, на бѣлокурую голову, на поникшаго человѣка. Я вижу, какъ она, голубая и свѣтлая, подъ бѣлой яблоней цѣлуетъ его темнаго и поникшаго и говоритъ:

— Будь ты братомъ мнѣ роднымъ, милымъ братомъ...

И уходитъ. А онъ остается одинъ, большой, сильный и нескладный, и шевелитъ губами, и тяжело вздыхаетъ. Я вижу, какъ онъ трудно, неслушающими руками разстегиваетъ воротъ своей рубашки, медленно снимаетъ крестъ съ своей шеи, бережно кладетъ его на листы раскрытой книги и прислоняется къ стволу старой яблони, и поднимаетъ къ небу широкооткрытыя, молящіяся глаза. И лепестки бѣленькихъ цвѣточковъ старой яблони, какъ бѣлыя бабочки, медленно и

безшумно падаютъ на листы старой книги, на темноволосую голову, на бѣлое тѣло раскрытой груди.

А молящіяся глаза все смотрятъ въ небо, я слышу глу-
бокій, тяжкій вздохъ, и глухой голосъ говоритъ:

— Трудно мнѣ, Господи! Трудно...

190 . . . г. май.

Теперь я часто „гуляю“. Какъ только погода хорошая, Федоръ самъ является ко мнѣ и говорить:

— Поѣдемте, баринъ, гулять.

И мы ѣдемъ и, когда переѣзжаемъ порогъ выходной двери, черезъ который раньше такъ бурно перескакивало мое кресло, мы перебираемся мягко и осторожно. И „гуляемъ“ не только въ садикѣ, а выѣзжаемъ за ворота и спускаемся къ рѣчкѣ, и любуемся на зеленый лѣсокъ...

— Правда, Федоръ—какъ-то разъ спрашиваю я его:—вамъ нельзя ужъ пѣсни спивать?

— Ни... Молитвы можно, гимны.

— И табакъ бросили?

— Кинувъ.

— Трудно вамъ, Федоръ?

Онъ нѣкоторое время молчить.

— Трудно...—и добавляетъ:—было...

Я оборачиваю назадъ голову и убѣждаюсь, что—было. У него нѣтъ того восторженно счастливаго выраженія Олѣны, лицо у него задумчивое, но ясное, спокойное. И что-то новое въ немъ, неуловимо новое, нѣтъ той старой лихости, той ежечасной готовности къ бою,—было новое тонкое, интеллигентное.

Нѣтъ моего старого Федора. Онъ до крайности щепетиленъ въ нашихъ финансовыхъ отношеніяхъ, у него новыя манеры, сдержанныя и корректныя, онъ иначе причесывается, иначе носить усы, надѣлъ широкополую шляпу и, когда вынимаетъ меня изъ кресла и кладетъ въ постель, я чувствую, что другія руки берутъ меня, — тѣ же сильныя, но осторожныя и ласковыя. И новый голосъ, сильный баритонъ, поетъ гимны въ моемъ домѣ.

Продолженіе.

Федоръ любить, и драма—любовь его. Оксану подобрала Олена, какъ подбираютъ бездомныхъ собакъ, плачущую, въ базарной толпѣ, босоногую, полуголую и привела къ намъ. Былъ у нея мужъ, и была у нея сестра, старшая сестра, овдовѣвшая казачка, и стали они, мужъ и сестра, жить, какъ мужъ

и жена, и ночью выгнали ее, босоногую, полуголую, какъ пришла она къ намъ. И должно быть жизнь испугала ее, и ужасъ жизни все стоялъ въ ея черныхъ, какъ маслины, глазахъ и, когда сестра,—она добрая, но у ней громкій голосъ,—спрашивала Оксану: почему она не вытерла окна, полуребенка, полуженщина съ блѣднымъ смуглымъ лицомъ Миньоны прижимала крѣпко свои маленькія руки къ груди и говорила:

— Барыня, не говорите со мной крѣпко, не могу я... Сердце дрожить у меня... Я всю ночь буду работать, только не говорите со мной крѣпко.—И испуганные, черные, какъ маслины, глаза полны слезами, и молящій голосъ повторяетъ:

— Не могу я, сердце дрожить у меня!..

Такъ скоро запѣла она:

Есть у плачущихъ земли мѣсто у креста...

Не было счастья и радости въ ея голосѣ и, когда она начинала пѣть, сестра приходила ко мнѣ въ спальню, садилась у меня на постель и плакала, и сѣдая голова качалась, и говорила сестра:

— Не могу ее слушать, не могу...

И „плачущая земли“—говорила мнѣ объ Осѣ, такъ рано и такъ далеко погибшей.

Я вижу, какъ неотступно провожаетъ ее глазами Федоръ и, когда она несетъ отъ колодца ведро воды, онъ осторожно беретъ его изъ ея рукъ и бережно несетъ въ кухню, какъ хрустальный сосудъ. А вчера подъ той же отцвѣтшей бѣлой яблоней онъ сказалъ ей тихимъ, глухимъ голосомъ:

— Чего вы журитесь, Оксана?

Она отвѣтила, и испугъ послышался въ ея голосѣ:

— Важко минн... Недужная я.

Ничего не выйдетъ у Федора.

19 . . . года.

У насъ новая горничная. Сестра не могла больше слушать, какъ поетъ-плачетъ степная Миньона, и устроила ее няней къ своимъ знакомымъ въ деревню. Новую звать Горпина. Она совѣтъ удивительная, и я все думаю, откуда приходятъ эти новые люди, которыхъ я не зналъ раньше. Кажется, она малограмотная, книгъ и газетъ не читаетъ, и должно быть въ городѣ нѣтъ у нея родныхъ и знакомыхъ,—никто къ ней не ходитъ, и она ни къ кому. Я смотрю на ея лицо и никакъ не могу рѣшить, очень ли она глупая, или очень умная. Она некрасивая, у ней упрямые малороссійскіе глаза и странно изогнутыя губы, словно она хочетъ расхохотаться и съ трудомъ удерживается.

— Что вы за человекъ, Горпина?—какъ-то вырвалось у меня.

— Перевертень...

И не смѣется. И на мои дальнѣйшіе вопросы объясняетъ, что отецъ у нея былъ кацапъ, а мать хорольская и что жили они сначала въ Хоролѣ, а когда мать умерла, перебрались въ Орловскую губернію, и такъ какъ она не можетъ рѣшить—кацапка она или малороссіянка, то и думаетъ, что она „перевертень“. Я опять всматриваюсь въ ея лицо и все не могу рѣшить, умная ли она, или глупая.

Сестра скоро прозвала ее нигилисткой за ея полное равнодушіе къ тѣмъ вопросамъ, которые волновали мою кухню, и за ту непоколебимо отрицательную, ко всему отрицательную позицію, которую она заняла среди волнующихся людей. Разъ до меня донеслись отрывки разговора въ кухнѣ. У Горпины, очевидно, сократовская манера ставить вопросы.

— А вы его бачили?—спрашиваетъ она и сама отвѣчаетъ: Ни... И я не бачила.—А вы купуете?—И опять сама отвѣчаетъ:—Купуете.—Продаете?—Продаете... Ну и разговаривать нечего.

Послышались голоса Олены и Федора, горячіе, повышенные голоса, но голоса Горпины больше не было слышно.

Но что-то было въ ней, въ ея манерахъ, въ ея странныхъ вопросахъ. Разъ Олена и Федоръ ушли въ городъ, у насъ были гости, и сестра распорядилась зарѣзать цыплятъ. Горпина рѣшительно отказалась рѣзать и пояснила:

— Живые они, душа у нихъ есть...

— Да вѣдь вы же сами ѣдите цыплятъ?

— Такъ мнѣ что! Они мертвые,—не я ихъ рѣзала. Меня бы вотъ мертвую съѣли, да сколько угодно!

И опять ея странные вопросы:

— А можетъ моя душа раньше въ цыпленкѣ была?

Это было такъ неожиданно, что сестра и про гостей забыла и спрашиваетъ:

— Что такое вы говорите?

— А то и говорю... Вы, барыня, знаете,—гдѣ мы съ вами были, когда не родились?

— Что же по вашему? — недоумѣваетъ сестра,—и у дерева душа есть?

— А вы знаете, что нѣтъ?—опять вопросомъ отвѣчаетъ странная женщина. Такъ и остались цыплята въ тотъ вечеръ не зарѣзанными.

И опять у меня вопросъ: откуда она пришла,—эта нигилистка и отрицательница съ вѣрой въ переселеніе душъ?

Продолженіе.

Откуда она пришла? Откуда оно приходит?—Все то оно, новое, удивительное, что вошло въ жизнь нашего города, гдѣ нѣтъ ни „узловъ, ни портовъ, ни фабрикъ ни заводовъ“,—ничего подвижного, мѣняющагося, быстро живущаго, гдѣ все та же вѣковѣчная степь, тѣ же волю, та же скифскаго типа упряжка, гдѣ, казалось мнѣ, все такъ же неподвижно, какъ въ глубокихъ геологическихъ пластахъ? Откуда? кое-что рисуется мнѣ... Тамъ, на горѣ, высоко и далеко, дождь выпалъ, и вода просочилась въ землю и долго пробиралась въ подземной тѣмѣ между геологическими пластами, и вышла далеко - далеко источникомъ живой воды... И другое „оно“... Я знаю, вода идетъ въ землю не только изъ тучи, ее даютъ осѣдающіе на землю гнилые туманы, и изъ вонючихъ клоакъ, вонючая жидкость просачивается тоже въ землю и тоже идетъ неизвѣстными подземными путями и заражаетъ воздухъ далеко отъ мѣста клоакъ. Да, я знаю, откуда пришла пѣсня: „Укажи мнѣ такую обитель“...—Благодаря неотступному наблюденію надъ кухнями, узнаю и многое другое, чего я не зналъ раньше такъ близко, такъ непосредственно реально...

Сегодня утромъ въ кухнѣ Скрипки поднялся шумъ,—обычный тамъ шумъ не галантнаго Опанаса и требующей культурнаго обращенія кухарки. Въ этотъ разъ онъ шелъ въ повышенномъ темпѣ,—по переулку бѣжала съ ревомъ и крикомъ кухарка, съ подбитымъ глазомъ, а за ней Опанасъ съ круглыми и глупыми глазами, какіе дѣлались у него во время гнѣва. Убѣжище кухарка нашла въ нашемъ садикѣ, у моего окна. Оказалось, что она назвала дворника „ферліанецъ“. Я достаточно изучилъ преломленіе культурныхъ терминовъ въ народной средѣ и былъ увѣренъ, что она назвала дворника „вольтерьянецъ“. Оказалось, дѣло стояло еще сложнее. Когда Опанасъ былъ водворенъ Федоромъ въ его мѣстожительство, я сказалъ кухаркѣ:

— Какъ это вы нехорошо ругаетесь, Настасья! Вдругъ ферліанецъ...

— Ферліанецъ и есть...—настойчиво повторяла Настасья, и морда-то у него ферліанская...

— Какая такая ферліанская?

— Какъ же баринъ! Небось читаете газеты? Народъ такой есть,—самый пакостный,—ферліанцы... Вотъ я у ротмистра служила, садовникъ у него былъ, мать-то у него природная ферліанка... тоже видѣла... И на базарѣ сказывали, что про нихъ пишутъ,—все противъ насъ бунтуютъ...

Я стараюсь вспомнить хоть одного „природнаго“ фин-

ляндца „съ отцомъ и съ матерью“—въ нашемъ городѣ и не могу вспомнить.

— А просочилось... Пахнетъ.

190... г. іюнь.

Боже мой! Боже мой! Опять „жидъ“, опять погромъ носитъ въ воздухѣ!.. Я не могу, совсѣмъ не могу переносить этого. Мнѣ нужно бѣжать на улицы, въ дома, къ людямъ, взывать къ нимъ, умолять, а я долженъ сидѣть и ждать, сидѣть и смотрѣть. Все, все, война, грабежъ въ темномъ лѣсу, только не это,—не погромъ, не избіеніе гражданами гражданъ, вчера еще дружившихъ,—только потому, что одни хрістіане—хрістіане!—а другіе евреи. У меня еще стоятъ передъ глазами кровавыя пятна отъ того погрома, который я видѣлъ—сколько?—двадцать, двадцать пять лѣтъ назадъ. Четверть вѣка!.. Я былъ увѣренъ, что все это прошло, такъ мирно жили бокъ о бокъ портные, переплетчики, слесаря, доктора, купцы,—былъ увѣренъ, что все это забылось, стерлось, устранено изъ жизни, какъ отжившее, чуждое, невозможное. И въ газетахъ, и въ жизни продолжали встрѣчаться антисемиты, но я думалъ, что это не серьезно, что все это мелкіе негодяи, не стоящіе серьезнаго вниманія. Я не вѣрилъ, что найдутся негодяи—уже потому негодяи, что осмѣливаются называться хрістіанами,—которые отъ словъ перейдутъ къ дѣлу и со столбцовъ газетъ выйдутъ на улицу.

Негодяи... Вотъ я провѣряю себя, стараюсь вспомнить всѣхъ зараженныхъ антисемизмомъ людей, какихъ я встрѣчалъ въ обществѣ, и не могу припомнить, чтобы я встрѣтилъ хоть разъ вполне порядочнаго, добраго и умнаго человѣка антисемита. Все это были или умные негодяи, или добрые дураки,—другихъ не припомню. Были средніе—люди недомыслия, люди съ зарубками, съ шорами, люди, „умѣющіе считать только до тысячи“. Были и глупые негодяи, и злые дураки, но вполне порядочнаго, умнаго и добраго человѣка между ними не встрѣчалъ. И всѣ они зараженные, вотъ какъ бываетъ чесотка на рукахъ, трахома, дурная болѣзнь, и не всѣ, конечно, виноваты, что заразились.

А оно опять идетъ. Я уже читалъ о начавшихся погромахъ и волновался, но всетаки думалъ, что это далеко отъ насъ, вотъ какъ холера, гдѣ-то тамъ, на границѣ, и думалъ, что до насъ не дойдетъ. А оно дошло, оно просочилось.

Первый принесъ вѣсть Опанасъ. Идетъ съ базара и улыбається.

— Жидовъ будутъ бить, баринъ! — здороваются онъ со мной.

— Какъ жидовъ бить? Скоро?

— Тамъ скажутъ...—бросилъ онъ мнѣ и пошелъ дальше. Пришелъ старикъ Берка, блѣдный, дрожить, глаза у него расширены и остановившіеся, какъ у лунатика, и должно быть онъ ничего не видитъ. И дрожить его глосось.

— Вы слышали, господинъ нотариусъ? Вы знаете? Вы вѣруете въ Бога, господинъ нотариусъ? Въ вашего Бога?

Онъ изъ тѣхъ же Балокъ, гдѣ я родился, и прожилъ тамъ, какъ и я, свое дѣтство, торговалъ въ отцовскомъ шинкѣ, въ отцовской лавкѣ, и былъ пріятелемъ всѣхъ жителей Балокъ. А потомъ, 20 лѣтъ назадъ, пришла къ нему громада и сказала, что приказано жидовъ бить, а они не хотятъ его бить по дружбѣ, потому что не видали обиды отъ него, и отвезуть его въ городъ. И нагрузили на мірскія подводы его семью и имущество и, какъ ни протестовалъ онъ, отвезли его въ городъ. А въ городѣ били и, быть можетъ, убили бы, если бы не заступились тѣ же люди изъ Балокъ—они не желали возвращаться изъ города съ пустыми телѣгами. Тогда сошла съ ума его жена и умерла въ сумасшедшемъ домѣ, и сынъ, когда подросъ, не пожелалъ жить въ Россіи, а уѣхалъ въ Америку, и должно быть умеръ тамъ. И мнѣ кажется, что одинокій Берка все забылъ—и жену, и сына и помнить только тотъ ужасъ, и должно быть такъ же тогда расширенные глаза были полны ужаса. Кажется, онъ не слышитъ, что я ему говорю, и шепчетъ про себя свои неслышныя слова,—должно быть мольбы къ своему Богу, въ Котораго онъ вѣрить.

Мимо окна идетъ,—онъ утромъ уходитъ въ городъ—Скрипка, видитъ Берку и заходитъ ко мнѣ.

— Будутъ васъ бить, Берка,—это вѣрно... Завтра будутъ на 15 іюня.

Онъ тоже съ дѣтства знаетъ Берку и расположенно говорить ему:

— Ты, Берка, ко мнѣ приходи съ утра... У меня не тронуть. Я мундиръ надѣну, регалии...

Онъ веселъ и благодушенъ, и нѣтъ недоумѣнія на лицѣ его. Онъ знаетъ старую исторію Берки, но желаетъ снова слушать и смѣется, гдѣ ему кажется смѣшно въ разсказѣ Берки.

— Такъ и говоритъ громада, — хохочетъ и переспрашиваетъ Скрипка:—казали бить?

— Казали бить...—какъ эхо отвѣчаетъ Берка.

— Да кто казалъ? Они дурные...

Очевидно Берка не знаетъ, кто „казалъ“, и, какъ эхо, повторяетъ:

— Казали бить...

— Да, будутъ бить, — успокоительно говорить Скрипка, — это вѣрно. Ничего не подѣлаешь... Ты приходи...

И не было недоумѣнія въ лицѣ Скрипки, — эпически ясно было его лицо и эпически просты были его слова, какъ „казали бить“, — которыя такъ упорно повторялъ Берко...

А потомъ ночь пришла, — та же сладко-пахнущая, кроткая, бездонно-глубокая, многозвѣздная ночь, которую люди любятъ, ночь, въ которую люди молятся... А въ открытыя окна неся шумъ изъ города, тревожный, настороженный. За воемъ собакъ, за умиравшимъ шумомъ экипажей вставали звуки, пугающіе, смутные, какъ шорохъ ночью въ лѣсу, — словно крадется кто-то жестокий, злобный, ненавидящій...

Въ переулкѣ показались люди. Темныя, безмолвныя тѣни вырывались изъ густой тьмы ночи, смутными силуэтами вставали въ свѣтъ моего окна и снова погружались въ густую плотную тьму. Одинъ, еще одинъ, трое, опять одинъ, огромный и темный съ медлительными тяжелыми шагами. Все идутъ, какъ много идетъ ихъ туда въ настороженную тьму! Чиркнула спичка, и желтой точкой мелькнула закуренная папироска, кто-то что-то сказалъ, и мнѣ на мгновенье показалось, что я узналъ голосъ маляра съ эспаньолкой. А потомъ опять стало тихо и безмолвно. Отцвѣли жасминъ и сирень, облетѣли бѣленькіе цвѣточки со старой яблони, и осталась одна акація, и изъ городского сада, съ площадей и бульваровъ, и садовъ неся однотонный, тяжелый и душный запахъ бѣлой акаціи. А съ темнаго неба смотрѣли звѣзды, далекія, чуждыя, безучастныя... Мнѣ показалось, — прошло ужасно долго, когда снова показались люди. Они шли назадъ по моему переулку быстрыми, рѣшительными шагами и слышенъ былъ смутный говоръ въ толпѣ...

На слѣдующій день.

Я почти не спалъ ночью и проснулся поздно. На крыльцѣ своего дома стоялъ Скрипка въ отрепанной тужуркѣ съ жогонами, съ разстегнутой волосатой грудью и говорилъ ухивившимъ завтракать малярамъ:

— Ну что, хлопцы, скоро будете жидовъ бить?

Они остановились, всѣ семь человѣкъ, и молчали и только одинъ старшій съ темной эспаньолкой сказалъ — и смѣхъ дрожалъ въ его голосѣ:

— Скоро... Тѣхъ, кто будетъ жидовъ бить...

Скрипка долго стоялъ на крыльцѣ, недоумѣлый, съ растопыренными руками и опять былъ похожъ на большую ночную птицу, спугнутую огнемъ... А маляры смѣялись и шли

веселой толпой, съ сдвинутыми на затылокъ черными шляпами.

Пришла Елена съ базара.

— Ну, баринъ, ничего не будетъ...

Она стоитъ передо мной съ той радостной, счастливой улыбкой, которая не сходитъ съ ея лица, и рассказываетъ базарныя новости. Она говоритъ, что подрядчикъ Федоръ Ивановичъ, у котораго больше ста человѣкъ рабочихъ, два дня поилъ ихъ и 1-го іюня обѣщалъ отпустить на два дня, безъ вычета жалованья,—евреевъ бить, и ночью у нихъ сходка была за старымъ кладбищемъ.

— Только маленечко прошиблись...—улыбаясь, говоритъ Елена,—думали: землекопы съ ними заодно будутъ—вотъ что трубы прокладываютъ,—вѣдь ихъ сколько!—а тамъ нашихъ братьевъ много, а наши несогласны.

— И они—Елена указала глазами на домъ Скрипки,—этотъ Калужный тоже сходку собиралъ ночью за нами, за рѣчкой, въ лѣсу,—много народу было,—Федоръ былъ, сказывалъ. Порѣшили,—городъ на участки раздѣлить промежду себя, и къ еврейскимъ домамъ сторожу поставить и—въ случаѣ, будутъ громить—громилъ бить...

Будьте благословенны—старая большая книга и тонкіе, звенящіе листочки, и „братья“, и маляры, и студенты!..

Черезъ полгода.

Шесть мѣсяцевъ я умиралъ. Доктора говорятъ, что мой артритъ распространился на руки и шейные позвонки, что немножко „шалить“ сердце, и сидятъ во мнѣ какіе-то цилиндры. Скрюченная рука не держитъ перо, не могъ уже я сидѣть въ креслѣ и не видѣлъ моего окна, изъ котораго открывался такой широкій міръ, и я думалъ, что навсегда закрывается окно моей жизни. Доктора отдумали и разрѣшили мнѣ еще поглядѣть на Божій міръ, и старый пріятель докторъ Черкесовъ на мой вопросъ отвѣтилъ:

— Въ вашемъ обвинительномъ актѣ, милостивый государь, значится, что въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ вы разрушите вашъ существующій строй. Имѣются и вещественныя доказательства—цилиндры. Есть остроумные доктора и остроумныя изобрѣтенія человѣческаго разума! И за то спасибо,—я снова могу писать.

Зима. Все бѣлое кругомъ, спокойное и задумчивое. Мягкій бѣлый саванъ покрылъ и жасмины, и акаціи, и старую яблонь. Елена все у насъ и была трогательно ласкова за время бо-
лѣзни, но опять суровая морщина легла на лобъ, и сбѣжала

съ губъ блаженная улыбка. Какъ быстро облетаютъ цвѣты, какъ скоро проходятъ медовые мѣсяцы!

Праздникъ кончился, начались будни, и Елена—будничная, озабоченная, нетерпимая. Я слышу гнѣвный голосъ въ кухнѣ, властный, укоряющій. Сестра приходитъ ко мнѣ и, улыбаясь, рассказываетъ, что дивчата нашей слободки совершили великое преступленіе,—была чья-то свадьба, и дивчата сивали свои старыя пѣсни и даже танцовали „метелицу“—и гнѣвная Елена теперь отчитываетъ грѣшныхъ дивчатъ. И второй мѣсяцъ въ нашемъ околodкѣ—драма. Сестра Федора полюбила одного изъ веселыхъ маляровъ и хочетъ непременно выйти за него замужъ. Елена и Федоръ негодуютъ, что она полюбила „чужого“, а сестра Федора плачетъ,—она не хочетъ уходить отъ „своихъ“ и не можетъ уйти отъ возлюбленнаго. Медовый мѣсяцъ кончился, Елена „пришла въ свой домъ“ и отгораживаетъ себя стѣнами отъ чужихъ домовъ и кроетъ его крышей, и укутываетъ его. Она—домостроительница и домоправительница. У насъ образовалось что-то въ родѣ справочной конторы, и сестра моя во главѣ ея. Она пишетъ по просьбѣ Елены безчисленные письма и въ городъ, и въ уѣздъ, и ѣздитъ хлопотать лично,—все рекомендуетъ тѣхъ, кого нужно устроить Еленѣ,—и садовниковъ, и дворниковъ, и управляющихъ, и кухарокъ. И у Елены становится суровое лицо, когда она узнаетъ, что мѣсто занято другими—случается, знакомыми тѣхъ же маляровъ.

А Федоръ „позывается“. Онъ ушелъ отъ меня—и именно потому, что со мной много было возни, и у него не было времени позываться.

О отношенія у насъ остались прежнія дружескія, и изрѣдка онъ заходитъ ко мнѣ. Лицо Федора вытянулось и обострилось, говорить онъ торопливо и напряженно, весь онъ точно сбивается бѣжать, и старая вызывающая готовность къ бою на его лицѣ. Онъ позывается не съ дядькомъ,—съ тѣми же малярами, со всѣми, кто пребываетъ въ заблужденіи, участвуетъ во всякихъ собраніяхъ и вездѣ вступаетъ въ пренія. И очевидно много читаетъ,—запасается капиталомъ, чтобы было чѣмъ позываться,—у него появились другія слова и другіе обороты,—обороты литературной рѣчи. Нѣтъ стараго Федора, нѣтъ и недавняго Федора.

Только маляры по прежнему веселы и жизнерадостны и даже, кажется, стали веселѣе, чѣмъ были раньше. У насъ завязалось знакомство и Калюжный, тотъ старшой съ эспаньолкой, бываетъ у меня. Онъ говоритъ, что кругъ знакомыхъ у него сталъ шире и больше друзей, и что имъ вообще веселѣе жить на свѣтѣ. Онъ приходитъ утромъ по воскресеньямъ и копается въ моихъ книгахъ,—въ старыхъ книгахъ,

которыми я зачитывался во времена моей юности. Прошлый разъ онъ пояснилъ мнѣ, что у нихъ былъ споръ и что для рѣшенія спора ему нужно просмотрѣть „Отечественныя Записки“ за 70-й годъ. Это трогаетъ меня и волнуетъ. Онъ беретъ у меня новые журналы, артель выписываетъ въ складчину двѣ газеты и толстый журналъ—мой любимый журналъ—имѣеть два абонемента въ городской библиотекѣ,—но Калюжный горюетъ, что новые журналы доставать трудно—такъ много развелось желающихъ читать новые журналы. И все въ немъ трогаетъ меня и волнуетъ,—и то, что онъ здѣшній—и отецъ его былъ маляръ—окончилъ только городское училище и никуда не выѣзжалъ изъ нашего города—мѣщанскаго города, и что онъ пилъ воду изъ того же источника, изъ котораго пилъ и я, что онъ пришелъ къ тѣмъ же журналамъ и газетамъ и къ тѣмъ же мыслямъ и что вотъ рядомъ со мной проходила невѣдомая мнѣ духовная жизнь, такая чистая и свѣтлая, развертывалась исторія—совершенно связанная и послѣдовательная.

И весь онъ—омытый, чистый и радостный, и у меня становится горячо въ груди и свѣтлѣе дѣлается въ комнатѣ, когда онъ уходитъ отъ меня, и я остаюсь одинъ съ своими новыми мыслями, съ новымъ ретроспективнымъ взглядомъ.

Въ послѣднее время онъ приходитъ чаще и рассказываетъ мнѣ разныя исторіи про другіе города,—удивительныя и все радостныя исторіи, которыхъ я не зналъ, и говорить онъ такъ увѣренно о будущемъ,—менѣе отдаленномъ будущемъ.

Иногда заходитъ Скрипка,—недоумѣніе сдѣлалось постояннымъ выраженіемъ его лица—и спрашиваетъ:

— Что се такъ пишутъ?

Я снова говорю ему, и мнѣ весело говорить, что новыя птицы прилетѣли въ Украину и поютъ новыя пѣсни. И когда я остаюсь одинъ и читаю новыя газеты и вспоминаю веселыя исторіи, рассказанныя Калюжнымъ, я говорю себѣ: неужели?..

Мой артритъ становится мнѣ легче, и мнѣ веселѣе жить. Я никогда не принадлежалъ къ людямъ, которымъ обидно и непереносно, что послѣ нихъ и безъ нихъ будетъ „равнодушная природа краскою вѣчною сіять“, всегда казалось мнѣ это плоско и низменно—и трогала, и волновала другая строчка:

„И пусть у гробового входа
Младая будетъ жизнь играть“.

Пусть не для меня будетъ менѣе отдаленное будущее, но я безмѣрно счастливъ той молодой жизнью, которая развер-

тывается предо мной. Я безмѣрно счастливъ, яко видѣста
очи мои...

19. . . . г. декабрь.

Да, у меня другой ретроспективный взглядъ... Я не по-
нялъ жизни, не такъ истолковалъ ее,—проглядѣлъ жизнь.
Вотъ теперь предо мной ярко вспыхнула давняя-давняя кар-
тина. Мнѣ было девять-десять лѣтъ, я ѣхалъ степью къ тетѣ
Лизѣ. Помню, кругомъ была черная вспаханная земля, ров-
ная, какъ полъ, и синее небо, и не было начала и конца чер-
ной землѣ и синему небу. Было пусто и безмолвно. Подни-
мались суслики изъ своихъ норъ и становились по краямъ
дороги и, сложивши лапки, удивленно смотрѣли на меня.
Тамъ, изъ-за края земли, гдѣ сходятся черный пологъ и си-
нее небо, и за которымъ уже ничего нѣтъ, кто-то медленно
поднимается надъ землей, темный, безмолвный и смотреть
въ черную степь и снова опускается за край земли и снова
летаетъ... Все звенѣлъ печальный колокольчикъ, ровной
рысью бѣжали лошади, я спалъ и просыпался, — ничто не
приходило, ничто не уходило,—синее небо, черная земля,
кругомъ все было также пусто и безмолвно, стояли съ сло-
женными лапками все тѣ же удивленные суслики, все также
что-то темное крыло медленно поднималось тамъ, вдали, надъ
землей, словно кто-то хотѣлъ подняться изъ-за края земли,
и не было у него силъ, и снова опускался онъ за край
земли... А потомъ была усадьба, старая дворянская усадьба
и тетя Лиза,—та Лиза изъ дворянскаго гнѣзда—съ клави-
кордами и романсами. Давно умерла старая усадьба, и ка-
закъ Порубай распахали землю, гдѣ стоялъ Екатерининскій
домъ, умерла тетя Лиза, и прахъ ея давно покоится въ сти-
хахъ Пушкина, въ эпопеѣ Тургенева, въ музыкѣ Чайков-
скаго, а степь все стояла предо мной также эпически без-
молвная и недвижная, эпически грустная старая степь. От-
туда приходили люди—это объекты обложенья, объекты по-
печенья, пресѣченья и... тѣлесныхъ наказаній — Федоры,
Горпины и Елены, я жилъ съ ними бокъ о бокъ, я видѣлъ
ихъ въ моей кухнѣ, въ дворницкой, но я думалъ, что они
все тѣ же эпическіе люди, недвижимые, какъ геологическіе
пласты, залегающіе въ степи. Въ мою нотаріальную контору
являлись новые люди, осѣдавшіе въ степи,—великороссы,
болгаре, нѣмцы; они дѣлили старыя усадьбы, мѣрили и рѣ-
зали степь, а я думалъ, что измѣняется только поверхность,
а геологическіе пласты неподвижны. Кругомъ меня билась
городская, обывательская, мѣщанская жизнь, и я думалъ,
что она такая же мѣщанская, какъ была тридцать лѣтъ на-

задъ, и что все такъ же неподвижны обывательскіе геологическіе пласты. Я думалъ, что русская жизнь анекдотъ,—собраніе анекдотовъ...

Я проглядѣлъ жизнь, я не сумѣлъ разглядѣть, что рядомъ со мной, бокъ о бокъ, шла жизнь связанная и послѣдовательная, отправлявшаяся отъ прошлаго къ настоящему и съ такой логической ясностью предопредѣляющая будущее, что за тридцать лѣтъ совершалась исторія, настоящая, огромная исторія, и Елена, и Федоръ, и маляры—новыя главы этой исторіи,—я не разглядѣлъ, что геологическіе пласты сдвинулись.

Вотъ я взглянулъ въ лицо жизни и, оглядываясь на прошлое и на этотъ послѣдній прожитый въ креслѣ годъ жизни, я вижу, что анекдотическая часть русской исторіи кончилась, и началась настоящая исторія, что кончился эпосъ русской жизни и начались другіе роды литературы. Я не знаю, что войдетъ въ жизнь,—лирика, драма, быть можетъ, трагедія, но я безмѣрно счастливъ. Видѣста очи мои.

С. Елпатьевскій.

С О Н Ъ.

Въ небѣ странно-высокомъ, зловѣще-нѣмомъ
 Гасъ кровавый вечерній закатъ.
 Умиралъ я отъ ранъ,—въ гаолянѣ густомъ
 Позабитый своими солдатъ.
 Какъ ребенокъ, затерянный въ чащѣ лѣсной,
 Я кричалъ, я отчаянно звалъ—
 И на помощь ни свой не пришелъ, ни чужой,
 Гаолянъ только глухо шуршалъ!
 Да орелъ цѣлый день надъ горою парилъ,—
 Хищный клѣкотъ носился кругомъ...
 Все на сѣверъ, въ безвѣстную даль уходилъ
 Затихающихъ выстрѣловъ громъ.
 И скользилъ угасающій взоръ мой, въ тоскѣ,
 По мѣнявшимъ нарядъ облакамъ:
 Чтѣ тамъ парусомъ бѣлымъ стоитъ вдаль—
 Не села ли родимаго храмъ?

Вонъ старуха съ клюкой... Не моя-ль это мать
„По кусочки“ съ сумой побрела?

Горегорькая! Сына тебѣ не дождать—

Ты на муку его родила!

Злобно лязгаютъ цѣпи... Въ дыму и въ огнѣ,

Будто стая всполошенныхъ птицъ,

Вьется лента вагоновъ,—и въ каждомъ окнѣ

Сколько блѣдныхъ, измученныхъ лицъ!

Безконеченъ вашъ путь, и тяжелъ, и суровъ:

Мертвой степи пустынная гладь,

Выси грозныя горъ, темень дикихъ лѣсовъ...

Васъ въ чужбину везутъ умирать!..

Умиралъ я отъ ранъ на чужой сторонѣ...

Такъ хотѣлось мучительно жить,—

О проклятой, безумно-кровавой войнѣ,

Какъ о грѣзѣ больной позабыть!

Ночь сошла. Или смерть? Сѣть тумановъ сырыхъ

Поползла надъ ущельями горъ;

Въ черномъ небѣ невиданно-яркихъ, большихъ,

Станныхъ звѣздъ засвѣтился узоръ.

И въ зловѣщей тиши, мнѣ казалось, не я—

Кто-то чуждый безсильно стоналъ...

И отъ жалости въ сердцѣ больномъ у меня

Слезъ кипучихъ родникъ клокотал!

П. Я.

Литературно-художественная критика Н. К. Михайловскаго.

Черезъ литературно-художественную критику Михайловскаго проходить идея въ основѣ своей чрезвычайно простая, которая, однако, получила у него очень оригинальное развитіе. Идея эта обвиняетъ собой, съ одной стороны, отношенія художника къ тому, что онъ изображаетъ, т. е. его способность изображать дѣйствительность правдиво; а съ другой стороны — его способность вліять на насъ, „заражать“ насъ своими впечатлѣніями.

Въ самомъ общемъ видѣ идея эта сводится къ тому, что „необходимо извѣстное соотвѣтствіе между наблюдателемъ и наблюдаемымъ явленіемъ“. Элементарно это можно себѣ представить, напримѣръ, такъ. Наблюдатель, страдающій дальтонизмомъ, краснаго цвѣта не увидитъ. Глухой можетъ превосходно наблюдать, какъ разбиваются рты и шевелятся языки поющихъ, но пѣсни не услышитъ. Въ этомъ элементарномъ видѣ вполне ясно, что въ подобныхъ условіяхъ наблюдатель получаетъ впечатлѣнія неправильныя. Это впечатлѣнія, извращающія дѣйствительность, и при томъ извращающія въ совершенно опредѣленномъ смыслѣ: они въ сравненіи съ дѣйствительностью упрощены. Они умаляютъ сложность ея состава, представляютъ ее въ поблекломъ и плоскомъ видѣ.

При болѣе сложныхъ обстоятельствахъ это же самое не такъ бросается въ глаза, но тѣмъ не менѣе положеніе остается по существу такое же.

Когда романистъ, какъ это было у натуралистовъ, изображаетъ любовныя отношенія между мужчиной и женщиной въ видѣ чего-то по преимуществу скотскаго, то онъ не имѣетъ права называть свое изображеніе правдой. Это — не правда, говоритъ Михайловскій, а „свинство“. Это одностороннее, упрощенное и огрубѣлое представленіе о дѣйствительности, а не „правда“.

Возможно, однако, задаться вопросомъ, слѣдуетъ ли дѣйствительно считать такое представленіе одностороннимъ? Если Тур-

геневъ (которому одинъ изъ натуралистовъ посвятилъ томъ своихъ твореній съ восклицаніемъ *salve, frater!*) любилъ изображать женщину въ хорошіе, чистые моменты ея жизни, доводя эту чистоту до особенной возвышенности и благородства, то не имѣетъ ли такое же основаніе Зола изображать въ женщинѣ моменты ея паденія, чисто животной низости и извращеннаго разврата? Вѣдь въ жизни существуютъ какъ чистыя, возвышенныя полосы, такъ и грязныя и низменныя. И какъ тѣ, такъ и другія заслуживаютъ правдиваго изображенія. И то, и другое правда. Даже бываютъ эпохи, когда одно болѣе правда, чѣмъ другое. А во всякомъ случаѣ можно сказать, что и Тургеневъ правъ, и Зола правъ. „Нѣтъ,—говоритъ Михайловскій,—правъ кто-нибудь изъ нихъ“. Они оба художники и у обоихъ процессъ творчества въ своихъ главныхъ и общихъ чертахъ одинъ и тотъ же, но только до извѣстной степени. Въ отношеніи Зола къ своей героинѣ Нана не достаетъ элементовъ, которые имѣются у Тургенева по отношенію къ Еленѣ и которые прибавляютъ къ ея образу нѣчто очень цѣнное и существенное. Тургеневъ любитъ Елену, любитъ ея и насъ заставляетъ любоваться. А Зола равнодушенъ къ своей Нанѣ и даже возводитъ свое равнодушіе въ принципъ. Онъ „натуралистъ“, „химикъ“, и поэтому долженъ быть безучастенъ. Конечно, онъ не можетъ любить свою Нану; но онъ могъ бы ее презирать, чувствовать отвращеніе, питать хоть жалость, какъ къ „человѣкообразному всетаки существу, обезчеловѣченному какими-то темными общественными или природными силами“. И тогда его собственныя впечатлѣнія отъ Наны обогатились бы добавочными элементами, они „окрасились бы и расцвѣтились комбинаціями чувствъ и впечатлѣній, отсутствіе которыхъ сообщаетъ образамъ его такую угрюмость и холодность“. Изображенная такъ безучастно дѣйствительность, въ лицѣ Наны, теряетъ часть своей сложности — совершенно такъ же, какъ если бы картина была изображена художникомъ, который страдаетъ дальтонизмомъ. И при томъ, это очень существенная часть,—это тѣ ея элементы, которые заставляютъ насъ принимать въ человѣкѣ наиболѣе живое участіе—негодованіемъ, жалостью, симпатіей, презрѣніемъ и т. п.

Это обдѣиженіе и эта упрощенность дѣйствительности не есть просто извѣстный минусъ. Сокращеніе поля зрѣнія сопровождается тутъ ненормальной гипертрофіей тѣхъ частей дѣйствительности, которыя остались въ полѣ зрѣнія художника. Эти части подчеркиваются и это даетъ извращенное представленіе объ ней: въ цѣломъ оно грубѣе, элементарнѣе, а въ излюбленныхъ художникомъ частяхъ, подвергшихся гипертрофіи, — чрезмѣрно загромождено излишними тонкостями. И то, и другое даетъ представленію о дѣйствительности отпечатокъ грубости, рѣзкости, нарушаетъ нормальную, дѣйствительную мѣру вещей и тѣмъ самымъ

нарушаетъ правдивость изображенія. Это — результатъ того, что Михайловскій любитъ называть „поглощеніемъ тучныхъ коровъ тощими“ — сложнаго цѣлаго его частью.

Существуетъ взглядъ, что такое сокращеніе и упрощеніе дѣйствительности необходимо для чистоты эстетическаго впечатлѣнія. Для того, чтобы мы могли, по выраженію Фета, „благоговѣть богомольно передъ святыней красоты“, изъ искусства должны быть устранены всѣ цѣли, которыя способны осложнить наслажденіе красотой, — все, что не относится къ красивымъ формамъ, къ тонкости и изяществу исполненія. Но можетъ ли, при подобныхъ условіяхъ, быть рѣчь о „святынь“ искусства, можно ли тутъ говорить о правдѣ художественной?

Въ той степени, въ какой возможно сколько нибудь приблизиться къ такого рода художественнымъ задачамъ, получается вотъ что.

На одной изъ академическихъ выставокъ Михайловскій отмѣчаетъ бронзовую группу подъ названіемъ „Бѣдствіе“ *). На какомъ-то фантастическомъ звѣрѣ, составленномъ на манеръ химеры, только еще посложнѣе, изъ частей разныхъ звѣрей, скачетъ традиціонная смерть, въ видѣ скелета, прикрытаго мантией, съ традиціонной же косою въ рукахъ; рядомъ бѣжитъ другой, тоже фантастическій составной звѣрь, ростомъ поменьше. — „Глядя на эту группу, — говоритъ Михайловскій, — поневолѣ думается: не очень-то „бѣдствіе“ страшно! И это объясняется тѣмъ, что олицетворить нынѣ бѣдствіе въ области какой нибудь химерической фантазіи довольно мудро: у насъ и водосточныя трубы дѣлаются нынѣ, съ цѣлью украшенія, въ видѣ разныхъ страшныхъ составныхъ звѣрей — крылатыхъ змѣй съ пѣтушиными грѣбнями и т. п.; на каминныхъ, этажеркахъ, письменныхъ столахъ стоятъ многоголовые идолы, разжалованные изъ своего божескаго достоинства на степень украшенія и проч. Не страшно это даже для дѣтей. Цѣль якобы страшной драконьей морды, которою оканчивается водосточная труба, совсѣмъ не передача или внушеніе впечатлѣнія ужаса, а просто украшеніе. Таково же и положеніе группы „Бѣдствіе“, которая съ успѣхомъ займетъ мѣсто гдѣ-нибудь въ салонѣ, подъ тропическими растеніями; столь же мало возбуждая представленіе о бѣдствіи, какъ и это тропическое растеніе“.

Художникъ въ этомъ случаѣ задался мыслью „изобразить не ту или другую опредѣленную бѣду, а бѣдствіе вообще, бѣдствіе абстрактное, бѣдствіе an sich. Поэтому онъ вынужденъ былъ прибѣгнуть къ квази-мнеологическимъ комбинаціямъ страшныхъ звѣрей и къ традиціонному образу смерти съ косою. Онъ выбиралъ для своего вымысла все, что ему казалось наиболѣе страшнымъ,

*) Лит. восп. II, 327.

наиболѣе приближающимся къ впечатлѣнію бѣдствія. Но изъ набранныхъ имъ элементовъ страшное давно выдохлось. Они были страшны въ своей комбинаціи впечатлѣній, которыя ихъ сопровождали и осложняли когда-то въ воображеніи людей. Они были страшны и захватывали всей суммой сопровождавшихъ ихъ чувствъ и страстей. А лишённые всего этого, упрощённые образы—уже больше не захватываютъ и годны только для роли комнатныхъ „украшеній“. Или „любуются“, не чувствуя въ нихъ ни правдивости сложной дѣйствительности, ни ея способности увлечь и волновать. Сложное впечатлѣніе сократилось и сложное отношеніе къ нему выдохлось, обратившись въ любованіе украшеніемъ. Искусство тутъ есть, но это низшій родъ искусства.

Такое же отношеніе къ себѣ вызвало у Михайловскаго „пано“ художника К. Маковскаго, помѣщенное на одной выставкѣ въ центрѣ его остальныхъ картинъ *). На этомъ пано былъ изображёнъ великолѣпный павлинъ съ распущеннымъ радужнымъ хвостомъ. Михайловскому очень понравилась мысль помѣстить это пано въ самомъ центрѣ группы картинъ Маковскаго. Павлинъ хвостъ, какъ украшеніе—можетъ служить эмблемой всей художественной дѣятельности Маковскаго. Маковскій рисовалъ ширмы, носилки вродѣ паланкина, расписанныя амурами и букетами. Все это украшения — простыя безхитростныя украшения. Но къ искусству, когда оно исполняетъ эту роль, никто не предъявляетъ требованій художественной правды, никто не ожидаетъ, чтобы оно захватывало. Оно обратилось въ невинное украшеніе—украшеніе площади, комнаты, мебели.

Однако, противники всего, что осложняетъ эстетическія впечатлѣнія всякими элементами идейными, нравственными и общественными, поднимаются нѣсколько выше. Искусство, по ихъ мнѣнію, должно быть украшеніемъ, если не прямо площади, комнаты, мебели, то — украшеніемъ жизни. Но осуществленіе этой программы встрѣчаетъ непреодолимые затрудненія. Какъ украшать жизнь, устранивъ изъ „украшенія“ все, что входитъ въ содержаніе интересовъ жизни, то-есть все, что задѣваетъ за живое, волнуетъ, радуетъ, влечетъ къ себѣ?

Есть, однако, одна область живыхъ интересовъ, для которой въ этомъ отношеніи допускается, какъ замѣчаетъ Михайловскій, „странное исключеніе“. Это — область любви. Когда Маковскій изображаетъ на своихъ картинахъ наядъ, русалокъ, вакханокъ и прочихъ раздѣтыхъ и neodѣтыхъ дамъ, то это, говоритъ Михайловскій, украшеніе уже осложненное, о которомъ можно сказать словами школьника въ „Фаустѣ“: *das sieht schon besser aus! man sieht doch wo und wie!* „И я васъ спрашиваю—восклицаетъ Михайловскій:—если пьяная нѣга вакханки съ глазами, отуманенными

*) Лит. восп II 324.

жаждой любви, не выходить изъ предѣловъ компетенціи „чистаго“ искусства, то почему, напримѣръ, голодъ нищаго или, съ другой стороны, юношеская жажда подвига, или хоть та же молодая женщина, но не раздѣтая и жаждущая не любви, а, положимъ, знанія, могутъ стать предметомъ только не чистаго „искусства?“

Съ своей точки зрѣнія Михайловскій признаетъ за любовнымъ чувствомъ и тѣми впечатлѣніями красоты, которыя связаны съ нимъ, право на наше вниманіе, — хотя, на его взглядъ, могущество этого чувства какъ въ грубѣйшихъ, такъ и въ тончайшихъ его проявленіяхъ, едва ли достаточно для оправданія того множества произведеній всѣхъ отраслей искусства, которыя ему посвящены. Но, главное, вотъ что. Когда это чувство и связанныя съ нимъ представленія красиваго обращаются въ предметъ „украшенія“ жизни, въ объектъ для любованія, тогда получается очень странный результатъ: изъ состава даннаго чувства (и это относится не только къ нему) исчезаютъ существенныя составныя части, дѣлающія его живымъ цѣлымъ, согрѣтымъ внутренней жизнью. И остается специальное—холодное, отчасти „жестокое“—удовольствіе, особенно излюбленное „художественными натурами“ своеобразнаго склада. Это — художественныя натуры, про которыя нельзя сказать, что между ними и тѣмъ, чѣмъ они любятъ, есть „соотвѣтствіе“. Напротивъ, соотвѣтствія этого очень мало.

Къ этого рода „художественнымъ“ натурамъ принадлежалъ Неронъ, который въ этомъ смыслѣ былъ чистый художникъ. Рассказываютъ, что, разсматривая тѣло убитой по его приказанію Агриппины, онъ любовался ея красивымъ тѣлословеніемъ. „Агриппина,—говоритъ Михайловскій,—была, съ его чисто художественной точки зрѣнія, не мать его, не убитая имъ женщина, а только красивое женское тѣло“. Сложное, полное драматическаго содержанія впечатлѣніе въ его художественномъ воображеніи сокращалось до красивыхъ формъ женскаго тѣла. Въ такомъ же родѣ внезапно прославившійся декадентъ Лоранъ Тальядъ видѣлъ въ картинѣ динамитнаго взрыва не смерть, не раны и страданія, не страшную смѣсь жестокости и самопожертвованія, а только красивый жестъ человѣка, бросившаго бомбу. Такого же рода чувства свойственны были Іоанну Грозному. Михайловскій *) приводитъ изъ замѣчательной въ этомъ отношеніи характеристики Іоанна, сдѣланной Константиномъ Аксаковымъ, между прочимъ, слѣдующее: „Іоаннъ IV былъ природа художественная, художественная въ жизни. Образы являлись ему и увлекали его своею вышнею красою; онъ художественно понималъ добро, красоту его, понималъ красоту раскаянія, красоту доблести и, наконецъ, самыя ужасы влекли его къ себѣ своею страшною картинностью“.

*) V, 835; VI, 747.

„Онъ любилъ красоту,—говоритъ Михайловскій *),—картинность во всемъ—въ добрѣ и злѣ, не различая добра и зла. Въ его воображеніи постоянно носились разныя картины, которыя онъ стремился немедленно осуществлять. То ему представлялась площадь, полная присланныхъ всей землей представителей, и онъ, царь, стоитъ въ средоточіи этой толпы и въ торжественной обстановкѣ говорить рѣчь. То та же площадь рисовалась, установленная орудіями пытки и казни, и опять же—царь, но гнѣвный и страшный въ своемъ всемогущемъ гнѣвѣ. И ту, и другую картину Грозный торопится осуществить въ жизни. А то ему представляется монастырь, черныя одежды, покаянныя молитвы, земные поклоны, и, увлеченный этою картиной, онъ обращаетъ себя и опричниковъ въ монаховъ“.

Такое же отношеніе къ своимъ образамъ, впечатлѣніямъ и представленіямъ бываетъ и у настоящихъ художниковъ слова, живописцевъ и другихъ, если у нихъ ослаблена естественная здоровая связь ощущеній. Примѣромъ можетъ служить картина Новекольцова, которую Михайловскій подробно разбираетъ **). Картина эта изображаетъ опричниковъ, хозяйничающихъ въ домѣ опальнаго боярина. Въ центрѣ огромнаго холста лежитъ нагая дѣвушка. Это—обезцвѣченная боярышня. Слѣва сидитъ самъ бояринъ, привязанный къ стулу; немного дальше лежитъ, въ полуоборотъ къ зрителямъ, его жена, тоже связанная. Справа на заднемъ планѣ два опричника: одинъ, сидя, допиваетъ вино, другой куда-то зоветъ или тащитъ его. Михайловскаго „особенно поразили двѣ фигуры въ этой картинѣ: голая дѣвушка и одинъ изъ опричниковъ. Дѣвушка лежитъ въ безчувственномъ состояніи, надъ нею только что совершенно гнусное насиліе, но она такъ спокойно и условно красиво лежитъ, такъ полно отсутствіе какихъ бы то ни было знаменъ насилія или сопротивленія на ея красивомъ бѣломъ тѣлѣ, — ни царапинки, ни синячка, — что точь въ точь наядя или русалка г. Маковского. А опричникъ, такой красивый и симпатичный молодецъ съ весело сверкающими глазами и зубами, въ такомъ чистенькомъ, новенькомъ съ иголочки щегольскомъ кафтанѣ, безъ капли крови и безъ единой сторванной пуговицы, что хоть сейчасъ его въ маскарадъ отправляй, веселыя любезности дамамъ говорить. Этому соответствуетъ и чисто, такъ сказать, бутафорскій безпорядокъ обстановки: мебель и утварь разбросаны съ такою аккуратностью, что ни малѣйше не напоминаютъ о разгромѣ, происходившемъ тутъ сію минуту. Все дѣло, очевидно, въ красивомъ голомъ женскомъ тѣлѣ и въ красивомъ нарядномъ молодцѣ“. Красотой можно любоваться,—говоритъ Михайловскій,—но когда васъ заставляютъ любоваться кра-

*) VI, 167.

**) Лит. восп. II. 327.

сотой подъ фирмой страшной драмы вторженія злодѣевъ въ мирный домъ, всяческихъ насилій и оскорбленій, совершаемыхъ негодяями надъ беззащитными людьми, то изъ сложной, захватывающей драмы выбрасывается все ея живое содержаніе. Любуясь красотой такого сюжета, художникъ „сдѣлалъ изъ крови и слезъ конфетку“. И въ результатъ — сложная, содержательная драма, обращенная въ предметъ „украшенія“ или хотя бы „красоты“ — не даетъ ни художественной правды, ни силы захвата, на которую она способна.

Вообще, когда художникъ склоненъ относиться къ своимъ образамъ, какъ къ предметамъ одной только красоты, то для Михайловскаго не было сомнѣнія, что это стремленіе къ неосуществимой задачѣ **). Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ той степени, въ какой задача эта осуществима, она является покушеніемъ на сложность жизни и на ея цѣльность: въ ней кроется склонность низвести жизнь до уровня комбинацій однихъ низшихъ ощущеній. Низшими же Михайловскій ихъ называетъ не произвольно, не изъ аскетическаго презрѣнія къ физической природѣ человѣка. Они низшія въ томъ смыслѣ, что, предоставленные самимъ себѣ, сокращаютъ объемъ жизни и ослабляютъ ея цѣльность.

Въ этомъ отношеніи типичное явленіе представляютъ французскіе символисты *). Ихъ признанный теоретикъ, Шарль Морисъ, въ своей книгѣ *La littérature de tout à l'heure*, говоритъ: „въ глубинѣ души молодыхъ поэтовъ лежитъ жажда *всего* (онъ это слово подчеркиваетъ); эстетическій синтезъ — вотъ чего они ищутъ... Современная литература синтетична; она мечтаетъ *воздѣйствовать на всего человѣка всѣмъ искусствомъ*“ (курсивъ Мориса). Въ этомъ же смыслѣ г. Мережковский говоритъ о литературѣ символистовъ, что она „расширила художественную впечатлительность“. Но это расширение, это стремленіе къ цѣльной гармонической жизни всѣмъ существомъ, всѣми доступными человѣку сторонами жизни — осуществляется у нихъ въ специальной и при томъ ограниченной области. Сентъ Поль Ру заявляетъ, что „поэзія, синтезъ различныхъ искусствъ, есть одновременно вкусъ, запахъ, звуки, свѣтъ, форма. Поэтическое произведеніе есть пятигранная призма — *sapide—odorante—sonore—visible—tangible*. И именно въ этомъ и состоитъ ихъ „синтезъ“, въ этомъ и заключается воздѣйствіе „всего“ искусства на „всего“ человѣка. Для нихъ весь человѣкъ — это существо слышащее, видящее, обоняющее, осязающее и вкушающее; въ соединеніе этихъ пяти чувствъ они хотятъ воплотить безъ остатка всего человѣка. А между тѣмъ

*) Къ этой темѣ Михайловскій возвращался много разъ. См., между прочимъ, Соч. I, 122 и д., 839; II, 529—532, 609—612, 639; V, 530—6; 719—23, 733; VI, 386—7, 452—3; Литер. восп. I, 158, II, 92, 323—330; Отклики II, 302—3.

**) См. Лит. восп. II, гл. 1, 2 и 3.

весь человѣкъ, дѣйствительно весь, — Михайловскій настойчиво это напоминаетъ,—есть существо мыслящее, чувствующее и дѣйствующее. Но символисты всѣмъ своимъ душевнымъ строемъ далеки отъ пониманія этой нормальной комбинаціи элементовъ. Они — продукты совсѣмъ особенной и очень печальной эпохи въ исторіи Франціи. „Безпримѣрные несчастія, — говоритъ Михайловскій, — одно за другимъ обрушившіяся на эту страну, начиная съ кровавой декабрьской ночи 1851 г., наконецъ, придавили ее. Ея лучшіе, наиболѣе энергическіе слуги цѣлыми горстами выбрасывались за бортъ, то наполеоновскимъ режимомъ, то войной, то внутренними кровавыми расправами. Остальныхъ несчастія ошеломили до растерянности и безучастія. Цѣль и смыслъ жизни затерялись въ этомъ калейдоскопѣ разгромовъ. На что надѣяться? во что вѣрить? чего желать? къ чему стремиться? Все разбито, раздавлено... „О, поле, поле, кто тебя усыпалъ мертвыми костями?“ *) Въ такія эпохи,—говоритъ онъ,—„вслѣдствіе отсутствія равновѣсія, жизнь утрачиваетъ смыслъ, когда цѣлымъ обществомъ овладѣваетъ атмосфера безцѣльности существованія. Для такого удрученнаго положенія нѣтъ надобности, чтобы всѣ и каждый ясно сознавали, въ чемъ состоитъ бѣда; бѣда въ воздухѣ носится, какъ невидимая зараза, и минуетъ лишь тѣхъ, конечно, очень многочисленныхъ, кто живетъ изо дня въ день исключительно животною жизнью. Всѣми же остальными либо неисходная, хотя бы и совершенно безпредметная, тоска овладѣваетъ, либо жажда, хотя бы бессознательная, исхода“ **).

Среди искавшихъ такого исхода была въ семидесятыхъ годахъ кучка молодыхъ поэтовъ, собиравшихся въ кабачкахъ Латинскаго квартала. Дѣти эпохи, въ которой были разбиты всѣ одушевлявшія общество высшія идейныя задачи, они интересовались только художественной и, именно, стихотворной формой. И она должна была дать имъ все—„всего человѣка“. Что же давала она имъ на самомъ дѣлѣ?

Стремленіе найти въ формѣ все, но при томъ помимо содѣйствія идейныхъ элементовъ, наталкивало символистовъ на непреодолимые затрудненія художественной техники. Это выразилось въ обилии вычурныхъ, вымученныхъ выраженій, въ сопоставленіяхъ, въ которыхъ чувствуется стремленіе выразить какіе-то образы и настроенія, видимо не поддающіеся выраженію данными приѣмами. Вотъ стихотвореніе Метерлинка „Скука“: „Беззаботные павлины, бѣдные павлины улетѣли отъ скуки пробужденія; я вижу бѣлыхъ павлиновъ, сегодняшнихъ павлиновъ, павлиновъ, улетѣвшихъ во время сна, беззаботныхъ павлиновъ, сегодняшнихъ павлиновъ, безпечно улетѣвшихъ до пруда безъ солнца, я слышу бѣлыхъ павлиновъ,

*) VI, 684.

**) Лит. восп. II, 88.

павлиновъ скуки, безпечно ожидающихъ времени безъ солнца". При этомъ, французскій оригиналъ этого стихотворенія отличается обиліемъ носовыхъ звуковъ, сообщающихъ ему еще болѣе скудно-монотонный характеръ. Самъ по себѣ этотъ приѣмъ не представляетъ ничего особеннаго. Имъ пользовались всѣ поэты. Но здѣсь, кромѣ звуковыхъ эффектовъ, художникъ видимо тянется возложить на словесную форму какую-то особую задачу. Какія-то сложные и деликатные оттѣнки чувствъ и настроеній онъ старается уловить при помощи болѣе чѣмъ загадочныхъ „сегодняшнихъ павлиновъ“, „беззаботныхъ павлиновъ“, летающихъ во время сна, и тому подобныхъ бессмысленныхъ сопоставленій. Тутъ явное безсиліе формы совладать съ содержаніемъ настроеній, которыя она должна выразить. И безсиліе это усугубляется пристрастіемъ къ сопоставленіямъ образовъ внѣ всякой логической нити, внѣ реальной связи вещей. Нордау въ своемъ „Вырожденіи“ отмѣчаетъ въ этомъ отношеніи болѣзненную настойчивость, съ какой у Метерлинка повторяются, помимо логической связи, нѣкоторые образы: „каналы“, „корабли“, больницы“, „стада“, „овцы“, „прицессы“. Въ общемъ это создаетъ очень узкій кругозоръ. То же самое значеніе имѣетъ отмѣчаемая Михайловскимъ другая любопытная черта стихотвореній Метерлинка — характеристика предметовъ, чувствъ и идей различными цвѣтовыми ощущеніями. У него попадаются: „бѣлая бездѣтельность“, „лиловые сны“, „голубая скука“, „голубыя мечты“, „голубые мечи сладострастія въ красномъ тѣлѣ гордости“, „фіолетовыя змѣи мечтаній“, „красные стебли ненависти среди зеленаго траура любви“, „бѣлая молитва“, „голубой духъ“, „зеленый покой“, „голубые бичи воспоминаній“, „желтыя стрѣлы сожалѣній“, „желтыя собаки моихъ грѣховъ“ и т. п. Рядомъ съ этимъ у символистовъ замѣчается пристрастіе къ воплощенію сложныхъ душевныхъ настроеній „музыкой“, вообще звуками. Рене Гиль пишетъ: „Для выраженія извѣстнаго состоянія духа нужно заботиться не о точномъ лишь значеніи слова, о чемъ до сихъ поръ только и думали: эти слова должны выражаться съ точки зрѣнія ихъ звучности, такъ, чтобы ихъ цѣлесообразное, рассчитанное сочетаніе давало математическій эквивалентъ того музыкальнаго инструмента, который былъ бы пущенъ въ ходъ въ оркестрѣ для выраженія даннаго состоянія духа“. Третій символистъ, Рембо, придаетъ особое значеніе связи между звукомъ и цвѣтомъ. Онъ написалъ сонетъ подъ заглавіемъ *Voyle-Jes* (гласныя), гдѣ излагается, что звукъ А вызываетъ ощущеніе чернаго цвѣта, Е—бѣлаго, І—краснаго, U—зеленаго, О—голубого. И на эту тему у символистовъ было не мало разговоровъ.

Все это, независимо отъ преувеличеній, явленія не безызвѣстныя въ поэзіи вообще. Всѣ мы говоримъ „черная неблагодарность“, „рововыя надежды“, „зеленая молодость“. У гр. Л. Н. Толстого въ „Войнѣ и Мирѣ“ Наташа Ростова говорить, что Борисъ Дру-

бецкой узкій, сѣрый, свѣтлый, а Безуховъ—синій, темно-синій съ краснымъ и четверугольный. Некрасовъ говоритъ: „Идетъ, гудеть зеленый шумъ, зеленый шумъ, весенній шумъ“. Но во всѣхъ этихъ случаяхъ подобные оригинальные эпитеты обогащаютъ общее представленіе, прибавляя нѣчто добавочное къ суммѣ прочихъ признаковъ, потому что они связываются логически и реально съ остальнымъ. Некрасовъ даже считаетъ нужнымъ въ приведенномъ случаѣ, во избѣжаніе недоразумѣній, сдѣлать поясненіе—„такъ народъ называетъ пробужденіе природы весной“. Символисты же, въ увлеченіи культомъ формы, т.-е. технической стороны искусства, стремятся выдѣлить комбинаціи ощущеній цвѣтныхъ и слуховыхъ изъ всего прочаго—изъ комбинацій реальныхъ, логическихъ, идейныхъ. Волѣдствіе этого онѣ оказываются въ какой-то духовной пустынѣ. При такихъ условіяхъ дѣйствительность отражается въ ихъ образахъ не въ ея полнотѣ и цѣльности, а въ укороченномъ видѣ и разорванная. Разорвана она потому, что комбинаціи звуковыя или цвѣтныя разрываютъ связь логическую и реальную. Когда у Метерлинка „беззаботные павлины, бѣлые павлины, улетѣли отъ скуки пробужденія“, то логическая и реальная связь вещей тутъ порвана. Произошло это очень просто. Метерлинкъ искалъ такихъ звуковъ (даже не словъ) и такого ихъ расположенія въ ритмическихъ строчкахъ чтобъ они внушали читателю настроеніе скуки, и достигъ этого однообразіемъ носовыхъ звуковъ. Стихотвореніе это непереводимо на иностранные языки, потому что въ результатъ такого перевода останется только бессмыслица содержанія, а комбинація носовыхъ звуковъ, свойственныхъ французскому языку, пропадетъ. Мало того, стихотвореніе это не только непереводимо, но и не нуждается въ переводѣ, потому что и для французовъ входящій въ его составъ слова не имѣютъ самостоятельнаго значенія. „Прудъ безъ солнца“ (*l'étang sans soleil*) и „времена безъ солнца“ (*les temps sans soleil*) не имѣютъ смысла ни по-русски, ни по-французски. Они только звучатъ по-французски совершенно одинаково. Точно также, когда авторъ „слышитъ“, какъ чего-то ожидаютъ бѣлые павлины, то въ этомъ нѣтъ смысла. Слышать ожиданіе нельзя; можно видѣть ожидающихъ. Но если сказать *je vois*, вмѣсто *j'entends*, то пропадетъ два носовыхъ звука, которые ему нужны. Благодаря этому приему, съ одной стороны, ограничивается кругъ вѣдѣнія стихотворенія на публику: оно говоритъ только французскому уху и имѣетъ, такъ сказать, исключительно мѣстное значеніе. „Если бы великіе поэты такъ писали, говоритъ Михайловскій, то Шекспиръ, Гете, Байронъ и проч. не были бы всемірнымъ достояніемъ“. А съ другой стороны, еще вопросъ, дѣйствительно ли оно внушаетъ и французскому уху идею или настроеніе скуки. Врядъ ли возможно достигъ полного соответствія съ такой сложной вещью, какъ настроеніе скуки, однимъ

звуками, да еще въ поэзии, въ которой міръ звуковъ ограниченъ. Это задача, въ концѣ концовъ, того же порядка, какъ изобразить красочную картину, не имѣя въ своемъ распоряженіи всей гаммы красокъ, все равно какъ и страдающему дальтонизмомъ представить себѣ хотя бы радугу. Вообще, комбинаціямъ зрительныхъ впечатлѣній, излюбленнымъ поэтами-символистами, безъ содѣйствія комбинацій идей и чувствъ, доступна только очень ограниченная часть дѣйствительности, или, вѣрнѣе, часть дѣйствительности, искусственно ограниченная въ своемъ объемѣ. Въ примѣненіи къ сколько-нибудь сложнымъ явленіямъ онѣ даютъ образы представляющія дѣйствительность въ обуженномъ и поэтому извращенномъ видѣ. Говоря о цвѣтномъ слухѣ, который такъ интересовалъ символистовъ, Михайловскій замѣчаетъ:

„Цвѣтной слухъ, равно какъ и другія комбинаціи и трансферты нашихъ внѣшнихъ чувствъ, несомнѣнно существуютъ, какъ психо-физиологическій фактъ, и, въ извѣстныхъ предѣлахъ, поэзія всегда пользовалась имъ, какъ дополнительнымъ техническимъ средствомъ. Можно думать о расширеніи этихъ предѣловъ, но никоимъ образомъ нельзя согласиться на пожраніе тучныхъ коровъ тощими, на поглощеніе мысли поэтического произведенія звуками, красками, запахами, вкусами. Если же мы присутствуемъ при такомъ поглощеніи въ твореніяхъ символистовъ, то это не потому, чтобы въ самомъ дѣлѣ „расширилась художественная впечатлительность“, а потому, что оскудѣла область высшихъ комбинацій—область мысли, чувства, воли. Ощущенія, даваемые органами зрѣнія, слуха, осязанія, обонянія и вкуса, это вѣдь низшія ступени душевной жизни, находящіяся на границѣ физиологіи и психологіи, и уже одно то характерно, что символисты такъ упорно засиживаются на этихъ низшихъ ступеняхъ“.

Въ этомъ отношеніи характерной иллюстраціей служить ихъ отношеніе къ общему, свойственному французамъ—какъ въ литературѣ, такъ и въ живописи—культу женскаго тѣла. Михайловскій отмѣчаетъ ту любопытную черту, что нынѣшніе французскіе поэты часто употребляютъ слово „chair“ въ тѣхъ случаяхъ, когда старый поэтъ сказалъ бы *coûr*. Даже слова эти, пожалуй, однозначущи, но *chair* гораздо грубѣе, оно собственно значитъ „мясо“; оно соответствуетъ не столько зрительному впечатлѣнію формы, сколько впечатлѣніямъ осязательнымъ и обонятельнымъ.

Михайловскій въ данномъ случаѣ смотритъ не съ какой-нибудь спиритуалистической точки зрѣнія, побуждающей относиться съ презрѣніемъ къ низшимъ чувствамъ. Они для него низшіе только до тѣхъ поръ, пока они не разрѣшились въ сколько-нибудь опредѣленные чувства, настроенія, мысли. Пока этого нѣтъ, они даютъ очень мало связующаго между художникомъ и остальнымъ міромъ. Когда Некрасовъ говоритъ о „зеленомъ шумѣ“, то

это понятно вездѣ, гдѣ есть весна и лѣсъ. И при томъ, понятно не только организациямъ, обладающимъ цѣльнымъ слухомъ, а всѣмъ, кто способенъ получать ощущенія зеленого цвѣта и лѣсного шума. А что такое бѣлый павлинъ по прикосновенности къ скукѣ? Это тайна Метерлинка, для котораго, вслѣдствіе какихъ-то неизвѣстныхъ намъ личныхъ, случайныхъ обстоятельствъ, эти два представленія ассоціировались, а намъ, читателямъ, образъ бѣлаго павлина рѣшительно ничего не говоритъ о скукѣ. Точно также для Рене Гия азбука имѣетъ не тѣ цвѣта, что для Рембо, Метерлинку скука кажется бѣлой, а иному желтой и т. д. Слово, что во что гораздъ.

Мало того, даже въ предѣлахъ одной личности „низшимъ“ ощущеніямъ не хватаетъ связующей силы, способной дать душевному строю отпечатокъ цѣльности—цѣльной простоты и ясности. Они по самой природѣ своей слишкомъ отрывочны, чтобы позволить душевнымъ силамъ отдохнуть на нихъ и чтобы дать достаточно матеріала для здоровой—разносторонней и связанной душевной работы. Усиленное сосредоточеніе на нихъ, нарушая связность и притупляетъ нервы, и жестоко терзаетъ ихъ, отнимая у ощущеній ихъ непосредственность, правдивость и вообще цѣльность. Въ связи съ этимъ мы видимъ у поэтовъ-символистовъ „утомительную вымученность языка, приписываніе рѣдкихъ, старинныхъ или вновь сочиненныхъ выраженій, непонятные обороты рѣчи, эквилибристику версификаціи“. Въ „пустынѣ“ низшихъ ощущеній душевнымъ силамъ негдѣ разойтись и, внѣ поддержки определенныхъ чувствъ и мыслей, онѣ теряютъ въ правдивости, искренности и непосредственности. Это отражается особенно на ослабленіи чувства мѣры. Недостатокъ же его лишаетъ образы художника какъ отпечатки правдивости, такъ и силы убѣдительности. Чувства мѣры, вообще можно сказать, не хватаетъ художнику во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда большой кругъ жизни онъ мѣритъ маленькимъ аршиномъ элементарныхъ ощущеній и когда элементарнымъ ощущеніямъ не соответствуетъ достаточно широкий кругъ определенныхъ чувствъ, идей и настроеній. Въ то же положеніе попадаетъ иногда и большой художникъ, когда его идеи, задачи и настроенія, хотя бы случайно или временно, слишкомъ узки по отношенію къ трактуемымъ сюжетамъ.

II.

Изъ художниковъ, у которыхъ недостатокъ чувства мѣры даетъ себя знать, съ особенной силой Михайловскій отмѣтилъ двухъ болѣе крупныхъ—Лѣскова и Григоровича. Остановимся на Лѣсковѣ *).

*) См. Отклики, II, 100—120, также сочин. IV 796 и д.

Лѣскова Михайловскій опредѣляетъ вообще какъ писателя, у котораго „безмѣрность“ составляетъ наиболѣе выдающуюся черту. Михайловскій иллюстрируетъ эту особенность Лѣскова многими примѣрами. У него былъ колоритный и оригинальный языкъ. Но и то, и другое качество были испорчены отсутствіемъ чувства мѣры. Цѣлые рассказы у него сплошь написаны „выдѣланнымъ, искусственнымъ, утрированнымъ простонароднымъ говоромъ“. Вообще, „онъ точно избѣгалъ обыкновенной живой русской рѣчи и при всякомъ удобномъ и неудобномъ случаѣ подмѣнялъ ее или утрированно-простонародною, или смѣсю обыкновеннаго разговорнаго языка съ церковно-славянскимъ“. Съ другой стороны, онъ выработалъ себѣ совѣтъ особенный, ни на что не похожій языкъ, которымъ тоже злоупотреблялъ сверхъ всякой мѣры. Затѣмъ, у него была страсть ко всевозможнымъ смѣшнымъ словамъ, въ которыхъ онъ былъ мастеромъ, значительно превзошедшимъ Лейкина. И этими смѣшными словами онъ надѣлялъ безъ мѣры массу лицъ, часто не разбирая, соответствуетъ ли это природѣ даннаго лица, или нѣтъ. У него было неисчерпаемое богатство фабулы. Но „богатство фабулы, замѣчаетъ Михайловскій, требуетъ еще многихъ прибавокъ для того, чтобы получилось истинно-художественное произведение, и прежде всего требуетъ отсутствія пестроты или ея незамѣтности“. Но здѣсь ему опять поперекъ дороги его безмѣрность стала, недостатокъ пропорціональности, соответствія между частями и сконцентрированности. По богатству фабулы самое замѣчательное изъ его произведеній—это „Очарованный странникъ“. „Но въ немъ же, говоритъ Михайловскій, особенно бросается въ глаза отсутствіе какого бы то ни было центра, такъ что и фабулы въ немъ, собственно говоря, нѣтъ, а есть цѣлый рядъ фабулъ, нанизанныхъ, какъ бусы, на нитку; и каждая бусина сама по себѣ и можетъ быть очень удобно вынута и замѣнена другою, а можно и еще сколько угодно бусинъ нанизать на ту же нитку“.

То же отсутствіе чувства мѣры сказывается и въ пристрастіи Лѣскова къ изображенію, съ одной стороны, „праведниковъ“ (онъ ихъ иногда такъ и называетъ), а съ другой—злодѣевъ, превосходящихъ всякое вѣроятіе. „Вообще, заключаетъ Михайловскій, въ какомъ бы направленіи или отношеніи мы ни изслѣдовали этого ялововитаго писателя,—въ отношеніи ли языка, или характера дѣйствующихъ лицъ, или архитектуры фабулы,—мы вездѣ встрѣтимся съ однимъ и тѣмъ же его кореннымъ свойствомъ: безмѣрностью, отсутствіемъ чувства мѣры“ (Отелики II, 120).

И эта безмѣрность связана была у него съ отсутствіемъ элементовъ, способныхъ поднять его образы выше значенія анекдота. Лѣсковъ былъ по преимуществу рассказчикъ анекдотовъ. „Даже его большія произведенія представляютъ собою, собственно го-

вора, цѣпь анекдотовъ, болѣе или менѣе прямолинейную, какъ въ „Очарованномъ странникѣ“, „Запечатлѣнномъ Ангелѣ“, „Полунощникахъ“, „Смѣхъ и горѣ“, „Печерскихъ антикахъ“, и проч., или же чрезвычайно запутанную, какъ въ „Соборянахъ“, „Захудаломъ родѣ“, „Некуда“, „На ножахъ“. Анекдотъ же, какъ нѣчто отрывочное и случайное, серьезно самостоятельнаго значенія не имѣетъ. Въ лучшемъ случаѣ онъ призванъ не характеризовать извѣстное лицо или положеніе, а лишь дополнять или иллюстрировать характеристику. Въ большинствѣ же случаевъ анекдотъ цѣнится ради его мимолетной занимательности: анекдотъ выслушавъ, произвелъ извѣстное впечатлѣніе, трогательное или комическое, и съ вась этого довольно, вы не очень задумываетесь надъ тѣмъ, сколько въ немъ были и сколько небылицы“.

Отрывочность „анекдота“ дѣлаетъ изъ каждаго явленія, котораго онъ касается, мелкій фактъ безъ перспективы, отнимаетъ у явленія, входящаго въ составъ сложныхъ совокупностей, окружающую его перспективу вещей. И въ результатѣ—мелочь и мелкое преходящее впечатлѣніе заслоняетъ собой сложное и интересное содержаніе жизни. Пользуясь выраженіемъ одного лица въ одномъ изъ разсказовъ Лѣскова, Михайловскій говоритъ, что девизомъ или художественной программой Лѣскова служитъ формула: „сейчасъ смѣшно и сейчасъ жалобно“. Онъ то смѣшитъ читателя якими „пупонами“, „инпузоріями“, „монументальными фотографіями“, „блеярдными шарами“ и т. п., то разжалобливаетъ его. Но хотя смѣшное столь же законно въ искусствѣ, какъ и жалобное, законны и смѣшныя слова, но не тогда, когда они заслоняютъ собою и смѣшное, и жалобное въ жизни. Михайловскій приводитъ, между прочимъ, такой примѣръ. Есть разсказъ о томъ, что будто бы на Никейскомъ соборѣ Николай Чудотворецъ, пылая релігиознымъ рвеніемъ, ударилъ еретика Арія. Въ разсказѣ „Полунощники“ добродушный, но безпутный купецъ Селезневъ узнаетъ, что никогда этого не было, что Николай Чудотворецъ не только не давалъ пощечины Арію, но и на соборѣ не присутствовалъ. Степеневъ осведомляется объ этомъ у „профессора“ и потомъ, нѣжный, рассказываетъ: „Представьте, я вчера съ профессоромъ на блейрдѣ игралъ и сдѣлалъ ему постановъ вопроса объ Аріи, а онъ дѣйствительно подтверждаетъ, что наша ученая правду говорить—угодника на этомъ соборѣ, дѣйствительно, совсѣмъ не было. Мнѣ это большая непріятность, со мной чрезъ это страшный переломъ религіи долженъ выйти, потому что я этотъ фактъ больше всего обожалъ и такъ этого забыть не могу. А вчера профессору блейрдный шаръ въ лобъ пустил; теперь или онъ на меня жалобу подастъ, и я долженъ въ тюрьмѣ сидѣть, или надо ѣхать къ нему прощады просить“.

„Въ такомъ видѣ,—говоритъ Михайловскій,—хотя и подѣрашенное блейрдными шарами и прощадами, но всетаки выдѣленное изъ

всей массы инпузорій, пупоновъ, костюмовъ „а-ла морда“ и животовъ „а-ла пузе“—въ такомъ видѣ огорченіе Степенева представляетъ собою благодарнѣйшій мотивъ для настоящаго комизма,—того комизма, къ которому всегда примѣшивается извѣстная доля горечи. Вглядитесь въ самый дѣлъ въ эту достойную всякаго вниманія фигуру. Человѣкъ „больше всего обожалъ тотъ фактъ, что Св. Угодникъ прибилъ еретика, и когда узналъ, что этого факта не было, то почувствовалъ, что съ нимъ „долженъ выйти страшный переломъ религіи“. Какая глубоко комическая и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко жалостная психологія. Разработка ея, замѣчаетъ Михайловскій, могла бы сдѣлать большую честь г. Лѣскову, но онъ предпочелъ, какъ снѣгомъ въ полѣ, засыпать ее пупонами, такъ что изъ подъ нихъ не видны очертанія засыпаннаго“.

И всесторонняя безмѣрность Лѣскова всегда сводилась къ тому, что, такъ или иначе, сложная совокупность явленій заслоняется у него отрывочнымъ, случайнымъ фактомъ, пригоднымъ для анекдота, но непригоднымъ для освѣщенія совокупности и связи вещей; „смѣшное“ и „жалостное“ настроенія, способныя освѣтить жизненныя положенія, заслоняются смѣшными и жалкими словами. Когда связь между вещами мала или ничтожна, охватывая только небольшой ея кругъ, въ такомъ случаѣ мелкое, отрывочное и незначительное поневолѣ выдвигается впередъ. Въ этомъ и выражается всегда всякій недостатокъ чувства мѣры

III.

Обратимся теперь къ тому, какое освѣщеніе съ этой же точки зрѣнія внесено Михайловскимъ въ пониманіе такихъ крупныхъ писателей-художниковъ, какъ Чеховъ и Тургеневъ.

Нѣкоторые почитатели Чехова утверждали, что Михайловскій неправильно цѣнилъ Чехова, предъявляя ему—этому художнику по преимуществу—требованіе идейности и опредѣленнаго направленія. На самомъ же дѣлѣ для отношенія Михайловскаго къ Чехову характерно одно обстоятельство, рисующее его приемы вообще, а въ частности—его неспособность, такъ сказать, навязывать писателю что-нибудь чуждое ему, предъявлять ему чуждые ему требованія отъ себя. Любопытно именно, что требованія опредѣленности направленія, какія Михайловскій предъявлялъ Чехову, онъ бралъ цѣликомъ у него же самого, изъ его собственныхъ произведеній. Онъ ихъ искалъ въ произведеніяхъ молодого художника, любовно останавливаясь на задаткахъ, которые считалъ благоприятными для достиженія полноты художественнаго впечатлѣнія и для того, чтобы талантъ Чехова могъ развернуться во всю мѣру своей силы.

Въ произведеніяхъ Чехова въ первую половину его дѣятельности Михайловскій останавливался съ чувствомъ скорби предъ фактомъ неразборчивой растраты большого таланта. Его удивляло „то безразличіе и безучастіе, съ которымъ Чеховъ направлялъ свой превосходный художественный аппаратъ на ласточку и самоубійцу, на муху и слона, на слезы и на воду“. Часть поклонниковъ Чехова видѣла именно въ этомъ новое откровеніе, называя его „реабилитаціей дѣйствительности“ и „пантеизмомъ“. „Все въ природѣ равноцѣнно,—говорили они,—все одинаково достойно художественнаго воспроизведенія, все можетъ дать одинаковое художественное наслажденіе, а сортировку сюжетовъ съ точки зрѣнія какихъ бы то ни было принциповъ надо бросить, что и дѣлаетъ Чеховъ“.

Михайловскій, съ своей стороны, высоко цѣня большой талантъ Чехова, думалъ, что, если бы Чехову удалось измѣнить этому приему, то „русская литература имѣла бы въ его лицѣ не только большой талантъ, а и большого писателя“. И его большой талантъ давно уже подсказывалъ ему это. А именно, когда онъ вложилъ въ „Скучной исторіи“ Николаю Степановичу слѣдующія слова: „Каждая мысль и каждое чувство живутъ во мнѣ особнякомъ, и во всѣхъ картинахъ, которыя рисуетъ мое воображеніе, даже самый искусный аналитикъ не найдетъ того, что называется общей идеей или богомъ живого человѣка; а коли нѣтъ этого, то, значитъ, нѣтъ и ничего“.

Въ картинѣ, въ которой все равноцѣнно, не можетъ быть художественной цѣльности, и впечатлѣнія разбрасываются и слабѣютъ. Иллюстрацію того, чего собственно хотѣлъ Михайловскій отъ Чехова, онъ далъ по поводу кое-какихъ картинокъ въ „Мужикахъ“. Разбирая эту повѣсть, онъ дѣлаетъ изъ нея большую выписку съ описаніемъ пожара и подчеркиваетъ въ ней слѣдующія фразы... „Старыя бабы стояли съ образами... Вороной жеребецъ, котораго не пускали въ таборъ, такъ какъ онъ лягалъ и ранилъ лошадей, теперь, пущенный на волю, топоча, со ржаньемъ пробѣжалъ по деревнѣ разъ и другой и вдругъ остановился около телеги и сталъ бить ее задними ногами“. Затѣмъ идетъ рядъ образовъ, въ которыхъ Михайловскій подчеркиваетъ фразу—„на лысинѣ его (старика) отсвѣчивалъ огонь“.

Картина вышла яркая, но Михайловскій вспоминаетъ по ея поводу картину, бывшую на одной передвижной выставкѣ. На ней изображена была освѣщенная близкимъ пламенемъ пожара часть избы, у дверей которой стоитъ старая баба съ иконой въ рукахъ. „Ничего больше, никакихъ другихъ подробностей. Но въ фізіономію бабы,—вспоминаетъ Михайловскій,—художникъ вложилъ столько спокойной увѣренности, что икона оградитъ избу отъ огня, который, однако, вотъ-вотъ отгонитъ бабу,— что передъ вами раскрывается цѣлая сложная сторона мужицкой жизни. Въ

картинъ Чехова старыя бабы съ образами—мелкая деталь, занимающая ровно столько же мѣста, сколько отраженіе огня на лысинѣ старика. При томъ же записана эта деталь такъ небрежно, что не всякій и пойметъ, въ чемъ тутъ дѣло: можетъ быть бабы просто спасали образа. За то мы узнаемъ не только какъ велъ себя на пожарѣ вороной жеребецъ, но и какой у него вообще дурной характеръ“.

При такой „равноцѣнности“ впечатлѣній, образы Чехова въ первый періодъ его творчества въ большинствѣ случаевъ производили впечатлѣніе ряда прекрасно ограниченныхъ бусъ, механически нанизанныхъ на нитку, а не цѣльнаго самородка. Это произведенія очень талантливаго и наблюдательнаго художника. Но такъ какъ авторъ безпрестанно переноситъ свое художественное вниманіе съ одного предмета на другой, то въ результатѣ получились отрывочныя наблюденія. Они, при всей своей мѣткости, заставили французскаго критика Мельхиора де Вогюэ сравнить Чехова съ тѣмъ офицеромъ-любителемъ фотографіи, который въ „Трехъ Сестрахъ“ постоянно носитъ съ собой и постоянно пускаетъ въ ходъ аппаратъ для моментальныхъ фотографическихъ снимковъ. Михайловскій отмѣчаетъ въ этомъ отношеніи еще слѣдующее любопытное впечатлѣніе.

„Во всемъ, что я слышалъ и читалъ о „Мужикахъ“, — говоритъ онъ, — меня поразило то, что, восхищаясь талантливостью этого произведенія, талантомъ Чехова вообще, никто не попытался вспомнить хоть одно какое-нибудь изъ прежнихъ произведеній Чехова. А вѣдь это такъ естественно, когда рѣчь идетъ о произведеніи талантливаго писателя, имѣющаго болѣе или менѣе долгое литературное прошлое. Читая, напримѣръ, не то что такую грандіозную работу, какъ „Война и миръ“, а даже такой незначительный рассказъ, какъ „Хозяинъ и работникъ“, вы невольно вспоминаете рядъ образовъ и картинъ изъ другихъ произведеній Толстого, ищите въ нихъ дополненій, разъясненій, параллелей, контрастовъ; вамъ открываются такія или иныя перспективы въ творческій міръ Толстого вообще. Возьмите любого другого беллетриста, привлекающаго къ себѣ вниманіе публики: Тургенева, Салтыкова, Успенскаго, Достоевскаго; вездѣ вы получите то же самое: столь тѣсную связь между если не всѣми, то большинствомъ ихъ произведеній, что даже при желаніи изолировать какое-нибудь одно изъ нихъ, сдѣлать это трудно. Это, напротивъ, очень легко относительно Чехова. Трудно, напротивъ, найти какую-нибудь связь между „Мужиками“ и „Ивановымъ“, „Степью“, „Палатой № 6“, „Чернымъ монахомъ“, водевилями вроде „Медвѣдя“, многочисленными мелкими рассказами“ (Отклики II, 125—6).

Но въ 1902-мъ году Михайловскій отмѣчаетъ въ этомъ отношеніи крутую перемѣну въ Чеховѣ. „Трудно сказать,—оговари-

вается онъ,—когда эта перемѣна произошла, да она во всякомъ случай не вдругъ совершилась. Но, несомнѣнно, въ его настроеніи произошелъ переломъ или, вѣрнѣе, онъ „нажилъ себѣ определенное настроеніе“. И благодаря этому, между ранними и позднѣйшими его произведеніями получилась огромная разница. Это сказалось даже во внѣшней формѣ его произведеній — въ переходѣ отъ маленькихъ картинокъ къ большимъ произведеніямъ. Тутъ оказалась та же потребность обобщить, объединить случайные осколки жизни, которая выразилась у стараго профессора „Скудной исторіи“ тоской по „общей идеѣ“. Въ то же время у него сложился и извѣстный общій взглядъ на изображаемую имъ дѣйствительность. Попытку сформулировать его Михайловскій дѣлаетъ, видоизмѣняя мысль Вогуе по поводу „Дяди Вани“. Вогуе представляется смыслъ этой комедіи такъ. „Жили были люди мирно, тихо, спокойно, но въ среду ихъ вторгнулись выдающіеся умъ въ лицѣ профессора и выдающаяся красота въ лицѣ его жены. Это вторженіе ума и красоты произвело трагическій кавардакъ, благополучно окончившійся, какъ только профессоръ и его жена удалились“. Съ этой точки зрѣнія „лучи ума и красоты не освѣщаютъ жизни, по крайней мѣрѣ, русской жизни, а лишь безнужно возбуждаютъ ее“. Признавая все остроуміе этого объясненія, Михайловскій видитъ его ошибку въ томъ, что профессоръ въ „Дядѣ Ванѣ“ въ дѣйствительности не лучъ свѣта, не представитель ума, а надутый и самодовольный педантъ. „Но въ мысли Вогуе,—говоритъ онъ,—есть косвенный намекъ на истину. Съ точки зрѣнія Чехова, въ изображаемой имъ дѣйствительности нѣтъ мѣста героямъ,—ихъ неизбежно захлестнетъ грязная волна пошлости. Нужна какая-то рѣзкая перемѣна декорацій, чтобы эти отношенія измѣнились. И Чеховъ проводитъ ее въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ“. Это выражено въ заключительныхъ словахъ въ „Дуэли“ и съ большею увѣренностью въ словахъ героини комедій „Дядя Ваня“ и „Три сестры“.

Благодаря присутствію этой „идеи“ и этого общаго настроенія, талантливый рассказчикъ анекдотически интересныхъ картинокъ обратился въ „большого русскаго писателя“, у котораго мелкія пошлости и вообще мелочи жизни становятся знаменательнымъ отраженіемъ значительныхъ явленій русской дѣйствительности.

Если мы, однако, примемъ во вниманіе, что Михайловскій, по его собственному свидѣтельству, „всегда любовался талантомъ Чехова“, стало быть, и тогда, когда Чеховъ еще не успѣлъ нажать себѣ определенное настроеніе, то является такой вопросъ: что же означало его огорченіе относительно того, какъ этотъ талантъ прикинулся? Имѣло ли оно какое-нибудь отношеніе къ художественнымъ достоинствамъ произведеній Чехова? Или же это было просто сожалѣніе о томъ, что такой художественный талантъ не

служить идеямъ и интересамъ жизни, которымъ Михайловскій сочувствовалъ и которые его занимали?

Въ отвѣтъ на эти вопросы заключается основное воззрѣніе Михайловскаго на искусство. Пока большой талантъ Чехова дѣйствовалъ безъ содѣйствія опредѣленныхъ настроеній, онъ схватывалъ въ жизни только случайные осколки, объединялъ ея мелочи въ маленькія отрывочныя картинки. Вѣрнѣе, и тогда у него были опредѣленныя настроенія, — но ихъ хватало только на мелочи. Душевный міръ художника при такихъ условіяхъ соответствуетъ не дѣйствительности въ ея большомъ объемѣ, а только маленькимъ кругамъ этой дѣйствительности. И поэтому она получается у него какъ бы схваченная фотографическимъ аппаратомъ, улавливающимъ отрывочныя ея части, плохо связанныя другъ съ другомъ. Широкою же связью между этими частями дѣйствительности можетъ дать не безстрастное отраженіе ея, не простое художественное созерцаніе ея, не элементарныя нервныя ощущенія, ею возбуждаемыя, а живое участіе въ ней мыслью и настроеніями. При этомъ художникъ не просто смотритъ и слушаетъ, а реагируетъ на впечатлѣнія высшими проявленіями духовной жизни. И такое отношеніе дѣлаетъ изъ художественнаго созерцанія и воспроизведенія — художественное толкованіе дѣйствительности. Оно представляетъ особую цѣну не только въ виду интересовъ, лежащихъ внѣ задачъ искусства. И въ смыслъ художественнаго удовлетворенія оно даетъ нѣчто болѣе значительное и болѣе цѣнное во всѣхъ отношеніяхъ. Прекрасную картину и формулировку такого отношенія къ дѣйствительности Михайловскій нашелъ у самого Чехова. Въ „Палатѣ № 6“ докторъ Андрей Ефимычъ уговариваетъ больного: „При всякой обстановкѣ вы можете находить успокоеніе въ самомъ себѣ. Свободное и глубокое мышленіе, которое стремится къ уразумѣнію жизни, и полное презрѣніе къ глупой суетѣ міра, — вотъ два блага, выше которыхъ никогда не зналъ человѣкъ. И вы можете обладать ими, хотя бы вы жили за тремя рѣшетками“. На это сумасшедшій Иванъ Дмитрічъ рипостируетъ доктору такъ: „Я знаю только, что Богъ создалъ меня изъ теплой крови и нервовъ, да-съ. А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздраженіе. И я реагирую. На боль я отвѣчаю крикомъ и слезами, на подлость — негодованіемъ, на мерзость — отвращеніемъ. По-моему, это собственно и называется жизнью. Чѣмъ ниже организмъ, тѣмъ онъ менѣе чувствителенъ и тѣмъ слабѣе отвѣчаетъ на раздраженіе, и чѣмъ выше, тѣмъ онъ воспримчивѣе и энергичнѣе реагируетъ на дѣйствительность“.

Приведя эти слова, Михайловскій восклицаетъ: „А то выдумали на все сущее отвѣчать однимъ художественнымъ созерцаніемъ и воспроизведеніемъ“.

И именно съ этой точки зрѣнія онъ радовался, когда художникъ Чеховъ, не переставая быть художникомъ, реагировалъ

на действительность не просто созерцаніемъ и воспроизведеніемъ, а и опредѣленнымъ настроеніемъ. Тѣмъ самымъ онъ раздвигалъ кругъ своихъ впечатлѣній, расширялъ ихъ смыслъ и содержаніе, приобщая ихъ къ болѣе широкому и болѣе человѣчному кругу действительности. И въ искусствѣ это „называется жизнью“, когда художникъ „болѣе воспримчивъ и энергичнѣе реагируетъ на действительность“. И въ искусствѣ это „называется жизнью“, когда маленькое явленіе становится отраженіемъ и представителемъ большихъ совокупностей действительности. Тогда образъ не только даетъ непосредственное удовольствіе, не только раздражаетъ нервы и возбуждаетъ душу, но служитъ проводникомъ мыслей и чувствъ.

У художника съ действительнымъ даромъ проникновенія, даже тогда, когда нѣтъ опредѣленныхъ широкихъ идей и настроеній, есть что-то другое, что по-своему распредѣляетъ, связываетъ и по-своему истолковываетъ явленія. Но до тѣхъ поръ, пока къ этимъ приемамъ распредѣленія не присоединились опредѣлившіяся мысли и чувства и сложившіяся настроенія, до тѣхъ поръ между наблюдателемъ и наблюдаемымъ не можетъ быть действительнаго соответствія. Это все равно, какъ если впечатлительный человѣкъ, но при этомъ нервно развинченный и съ неустойчивымъ душевнымъ строемъ, при видѣ сильныхъ страданій приходитъ въ такое возбужденіе, что начинаетъ подражать страдающему. Тутъ „соответствіе“ хотя и есть, но оно настолько капризно, что мало чего стоитъ. Такъ, напримѣръ, извѣстные случаи, что, при видѣ казни, зритель иногда чувствуетъ потребность подражать преступнику, а иногда—палачу. Здѣсь можно сказать, что соответствіе между видомъ смертной казни и душевнымъ настроеніемъ зрителя есть:—зритель обнаруживаетъ склонность уподобляться действительности,—но какой части действительности? какой ея сторонѣ? какому ея объему?—это ужъ дѣло случая. Если подражаніе палачу есть душевное соответствіе съ палачомъ, то по отношенію къ преступнику это ужъ не соответствіе, а отчужденность. Точно такъ же и въ искусствѣ. Когда художникъ реагируетъ на впечатлѣніе действительности только низшими ощущеніями и неопредѣленнымъ трепетаніемъ нервовъ, тогда въ его „созерцаніи“ нѣтъ живого осмысленнаго участія. И этотъ характеръ отношенія передается зрителю и вообще публикѣ. Когда художникъ только зрительный и слушающій аппаратъ, когда онъ только воспринимаетъ впечатлѣнія, то и въ его воспріятіяхъ маленькіе, узенькіе составные уголки жизни способны заслонять собой сложныя и обширныя стороны действительности, тѣмъ самымъ нарушая правду. Художникъ-наблюдатель при этихъ условіяхъ видитъ тѣ или другія группы фактовъ, но не оцѣниваетъ ихъ значенія въ общей совокупности явленій, потому что не улавливаетъ связи ихъ между собой и съ этой совокупностью. Его впе-

чатлѣнія выходятъ отъ этого элементарнѣе, проще, и если не всегда грубѣе, то болѣе сѣрыми и болѣе плоскими, чѣмъ дѣйствительность. Это тѣмъ больше даетъ себя знать, чѣмъ крупнѣе по своему объему кругъ захватываемыхъ изображеніемъ явленій. Потому что тѣмъ сильнѣе даетъ себя чувствовать безсвязность, чѣмъ больше кругъ явленій, на которыя она распространяется.

Интересно въ этомъ отношеніи впечатлѣніе Михайловскаго по новоду перваго сборника вещей Чехова. Онъ говоритъ, что, читая этотъ сборникъ, намѣренно откладывалъ подъ конецъ самый большой рассказъ „Скучная исторія“. И откладывалъ потому, что боялся того непріятнаго впечатлѣнія, которое рассчитывалъ получить. Въ мелкихъ рассказахъ ему бросились въ глаза поэтическія милыя штришки, въ родѣ, напримѣръ, такой картинки: „Два облачка уже отошли отъ луны и стояли поодаль съ такимъ видомъ, какъ будто шептались о чемъ-то такомъ, чего не должна знать луна. Легкій вѣтерокъ пробѣжалъ по степи, неся глухой шумъ ушедшаго поѣзда“. Или въ рассказѣ „Почта“: „Колокольчикъ что-то проговаривалъ бубенчикамъ, бубенчики ласково отвѣтили ему. Тарантасъ взвизгнулъ, тронулся, колокольчикъ заплакалъ, бубенчики засмѣялись“. И такихъ милыхъ штриховъ, — говоритъ Михайловскій, — всегда много разбросано въ рассказахъ Чехова. Все у него живетъ: облака тайкомъ отъ луны шепчутся, колокольчики плачутъ, бубенчики смѣются. Эта своего рода пантеистическая черта очень способствуетъ красотѣ рассказа и свидѣтельствуетъ о поэтическомъ настроеніи автора. Но „этотъ странный переплетъ хорошенекъ колокольчиковъ съ убійцами (въ рассказѣ „Спать хочется“) и людей съ быками, — говоритъ Михайловскій, — не особенно утомляетъ, когда онъ разбитъ на маленькіе, оборванные клочки. А въ „Степи“, первой большой вещи Чехова, самая талантливость этого переплета является уже источникомъ непріятнаго утомленія: идешь по этой степи, и, кажется, конца ей нѣтъ“. Именно поэтому Михайловскаго пугала „Скучная исторія“. Къ счастью, этотъ рассказъ, напротивъ, оказался лучшимъ и значительнѣйшимъ изъ всего написаннаго Чеховымъ до того времени. Въ немъ Михайловскій нашелъ вышеприведенную фразу объ отсутствіи „общей идеи“, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, на основаніи этого рассказа онъ счелъ возможнымъ высказать насчетъ Чехова такое пожеланіе: „Пусть онъ (Чеховъ) будетъ хоть поэтомъ тоски по общей идеѣ и мучительнаго сознанія ея необходимости“. „Въ этомъ случаѣ, говоритъ Михайловскій, онъ проживетъ даромъ и оставитъ свой слѣдъ въ литературѣ. А то, что хорошаго: читатель, подобно Катѣ (въ „Скучной исторіи“), ждетъ отклика на свои боли, а ему говорятъ: „пойдемъ завтракать“. Или даже еще того хуже: вонъ быковъ ведутъ, вонъ почта ѣдетъ, колокольчики съ бубенчиками пересмѣиваются, вотъ человѣка задушили, вотъ шампанское пьютъ“.

Безысходность каких бы то ни было впечатлѣній и ощущений представлялась Михайловскому чѣмъ-то мучительнымъ вообще. Ощущеніе безысходности естественно тамъ, гдѣ объемъ воспринимаемыхъ впечатлѣній ненормально суженъ и гдѣ односторонне укороченъ нормальный кругъ тѣхъ душевныхъ силъ, которыми личность реагируетъ на внѣшнія впечатлѣнія. Этотъ нормальный кругъ образуется изъ комбинаціи основныхъ элементовъ личности—чувства, мысли и воли (или практической дѣятельности). А когда человѣкъ отвѣчаетъ на впечатлѣнія однимъ созерцаніемъ, одними только чувствами, однимъ мышленіемъ, тогда этого нормальнаго круга нѣтъ. И какъ въ жизни, такъ и въ мысли и въ искусствѣ—это положеніе даетъ ощущеніе чего-то мучительно безысходнаго. Борясь противъ этого пріема во всѣхъ сферахъ, въ искусствѣ Михайловскій считалъ, что онъ не даетъ ни художественной правды, т. е. соответствія съ дѣйствительностью, ни внутренней правдивости, ни силы воздѣйствія, т. е. „соответствія“ съ людьми. И элементы художественнаго воздѣйствія—наблюдательность, впечатлительность, чувство, юморъ, талантъ—только тогда являются источникомъ художественной правды и художественной силы, когда они примыкаютъ къ законченному кругу жизни. Для этого они должны охватить сумму основныхъ элементовъ нормальнаго душевнаго строя—мысль, чувство и волю. А на такую всеохватывающую роль способны только высшія душевныя комбинаціи; только онѣ заключаютъ въ себѣ достаточно связующей силы. Въ той связи, которую онѣ даютъ, требованія художественной правды нарушаются. Они искажаются по отношенію къ тому, что заключаетъ въ себѣ жизнь въ ея здоровомъ соответствіи частей: искажаются во всякомъ случаѣ въ смыслъ большей обрывочности впечатлѣній и „упрощенности“ ихъ. Это выражается то чрезмѣрной блѣдностью и сѣростью образовъ, то ихъ грубостью.

При извѣстныхъ комбинаціяхъ грубость осложняется элементами мучительства жестокости *). Это мучительно жестоко, когда въ дѣйствительной жизни лучи ума и красоты—какъ предположилъ Вогюэ о русской жизни,—только безнужно возбуждаютъ ее. И когда художникъ такъ поступаетъ съ жизнью, то его образы безцѣльно жестоко терзаютъ нервы и мучаютъ душу. Это утомительно и безотрадно, когда жизнь состоитъ изъ скучнаго набора случайныхъ впечатлѣній: она грубѣетъ и тускнѣетъ, когда въ ней нѣтъ широкихъ перспективъ. И то же самое впечатлѣніе производить

*) Въ своей характеристикѣ Аракчеева (Соч., III, глава 12-ая) Михайловскій рисуетъ любопытную картину душевнаго строя „упрощеннаго“ и—именно вслѣдствіе упрощенности—грубаго и жестокаго. Точно также онъ обращаетъ вниманіе на грубость и жестокость Базарова и аналогичныхъ съ нимъ натуръ Тургенева, въ тѣсной связи съ прозаической скудостью и безцѣлностью ихъ натуръ. Въ представленіи Михайловскаго скудость душевнаго строя чрезвычайно характерно связывалась съ грубостью, жесткостью и жестокостью. Именно такимъ онъ представлялъ себѣ также всякій аскетизмъ.

образы искусства, когда они выхватываютъ отдѣльные явленія, но не даютъ имъ ни ширины, ни глубины перспективны. Ихъ можетъ дать воображеніе художника только тогда, когда онъ участвуетъ въ своихъ образахъ полной, законченной жизнью. Художникъ теряетъ эту способность, когда онъ, по выраженію Михайловскаго, — „такъ себѣ, гуляетъ мимо жизни и, гуляючи, ухватить то одно, то другое. Почему именно это, а не то? почему то, а не другое?“ (VI, 777).

IV.

Формы и степень участія художника въ томъ, что онъ изображаетъ, могутъ быть очень разнообразны. И дѣло критики (въ томъ числѣ и публики, способной отдавать себѣ сознательный отчетъ въ своихъ впечатлѣніяхъ)—въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ разбраться въ этомъ. Дѣло критическаго разбора выяснить, насколько внутренній строй художника позволяетъ ему мысленно принимать участіе въ изображаемой имъ дѣйствительности,—участвовать въ ней полной, законченной жизнью. Задача критики—не простой анализъ, а оцѣнка. Она имѣетъ оцѣнить, въ чемъ выразилось отношеніе художника къ дѣйствительности,—какую онъ создаетъ перспективу жизни, въ которую онъ вставляетъ свои впечатлѣнія, и чего эта перспектива стоитъ. Для сужденія объ этомъ у критика должна быть своя перспектива. У Михайловскаго она сводилась къ мысли о томъ, какимъ образомъ явленія жизни располагаются по отношенію къ личности и ея человѣческому достоинству. Другими словами, она заключалась въ вопросѣ: какъ поставлена личность по отношенію къ тѣмъ стихійнымъ процессамъ, которые стремятся изломать, поработить и изуродовать ее, ослабить ея способность отстаивать себя. Отношеніе художника къ этой перспективѣ было въ глазахъ Михайловскаго тѣмъ пунктомъ, исходя изъ котораго онъ оцѣнивалъ художника въ его цѣломъ. Отсюда онъ заключалъ о его приѣмахъ располагать явленія и распределять на нихъ свѣтъ и тѣни.

Въ этомъ отношеніи въ творчествѣ Тургенева онъ подчеркиваетъ, въ качествѣ замѣчательнаго обстоятельства, глубокое различіе въ его отношеніи къ двумъ психологическимъ типамъ. Оно бросаетъ характерный свѣтъ на все содержаніе его творчества.

Одинъ изъ этихъ типовъ—это типъ дѣятельный, рѣшительный, смѣло берущій на себя отвѣтственность (какъ Донъ-Кихотъ); а другой—колеблющійся, рефлектирующій, несмѣющій сдѣлать то, что по совѣсти обязанъ сдѣлать (каковъ Гамлетъ). Первому изъ нихъ Тургеневъ былъ меньше всего родственъ, но люди этого типа занимали его. И поэтому, рисуя ихъ, онъ поневолѣ отра-

жалъ въ рисунокъ свою имъ чуждость. „Конечно,—говорить Михайловскій,—онъ былъ слишкомъ уменъ и чутокъ къ художественной правдѣ, чтобы дѣлать изъ этихъ антипатичныхъ ему фигуръ сплошныхъ злодѣевъ, изверговъ рода человѣческаго или дураковъ, точно такъ же, какъ и любимцевъ своихъ онъ не обращалъ въ рыцарей безъ пятна и порока. Напротивъ, онъ ставилъ иногда ихъ въ унизительнѣйшія положенія, а чужимъ, непріятнымъ людямъ предоставлялъ даже истинный героизмъ. Но истинныя отношенія автора къ своимъ созданіямъ всетаки чувствуются, и не просто чувствуются, а могутъ быть указаны и анализированы“ (V, 813—4).

Такъ, напримѣръ, Инсаровъ, обладающій опредѣленной жизненной задачей и вѣрой въ нее—узокъ, сухъ, жестокъ, даже тупъ. Между тѣмъ онъ вовсе не необходимо долженъ быть такимъ. Онъ могъ бы быть „пламеннымъ, экспансивнымъ энтузіастомъ, съ глубокимъ поэтическимъ чутьемъ, съ широкими политическими планами, краснорѣчивымъ ораторомъ, какъ колоколъ, будящимъ своихъ поработенныхъ единоплеменниковъ и т. п. Но Тургеневъ пожелалъ лишить болгарскаго агитатора всѣхъ яркихъ красокъ, не далъ ему ни одного цвѣтка жизни изъ своего богатаго поэтическаго букета“. И Инсаровъ далеко не одинокъ въ этомъ отношеніи. Базаровъ—человѣкъ того же душевнаго типа. Онъ—„человѣкъ, идущій напроломъ, безъ малѣйшихъ сомнѣній и колебаній, смѣло, даже дерзко берущій на себя отвѣтственность за презрѣніе ко многому, по мнѣнію окружающихъ, срятому и неприкосновенному“. И опять-таки „онъ жестокъ, сухъ, черствъ, узокъ, хотя и уменъ. Онъ лишенъ самонадѣявшейся искры поэтическаго чувства. Словомъ, говоритъ Михайловскій, ни одной яркой краски, ни одного жизненнаго цвѣтка въ этой сильной, но скудной и пустынной натурѣ. Онъ вольный или невольный аскетъ“. И Михайловскій указываетъ у Тургенева на цѣлый рядъ фигуръ того же типа—Маркелова, Остроумова и прочую „безыменную Русь“ въ „Нови“, Лучинова въ „Трехъ портретахъ“, Лучкова въ „Бреттерѣ“ и на другихъ еще. Не въ томъ дѣло, чтобы Тургеневу, какъ человѣку извѣстнаго образа мыслей, были симпатичны одни жизненные цѣли и антипатичны другія. Нѣтъ, ему былъ чуждъ и антипатиченъ самый типъ, самая душевная механика этихъ людей, все равно, какія цѣли они бы ни преслѣдовали. Михайловскому это кажется страннымъ. Ему представлялось, что художнику, какъ художнику, должно бы быть очень соблазнительно расцвѣтить возможно ярко человѣка не колеблющагося, твердаго умомъ, чувствомъ и волей. Эта задача должна бы предоставить писателю цѣлый рядъ совершенно особыхъ художественныхъ эффектовъ. Но Тургеневу точно представлялось, что „вообще, скудость, сухость, обдѣленность дарами природы

необходимые спутники или даже условія непреклонной личной силы“.

Еще явственнѣе это становится, если обратить вниманіе, какъ онъ разрабатывалъ противоположный типъ—мягкаго, колеблющагося, не смѣющаго человѣка. Здѣсь у него богатая коллекція—всякіе Гамлеты, лишніе люди и имъ подобные. Этихъ людей, при всѣхъ ихъ слабостяхъ онъ надѣлялъ такимъ поэтическимъ ореоломъ, которымъ вполне нскупалъ эти слабости. Рудинъ обладает многими непривлекательными свойствами, но, не смотря на это, что это за блестящій образъ! По поводу его дара слова Михайловскій замѣчаетъ: „если бы этотъ роскошный даръ природы въ другія руки, напримѣръ, Инсарову или Базарову, такъ они не такія дѣла обдѣляли бы. Но нашъ художникъ позаботился, какъ гласитъ нѣмецкое изреченіе, чтобы деревья не доросли до неба. Сильнымъ людямъ онъ не далъ талантовъ и вообще блеску, а слабому далъ и таланты, и поэтический ореолъ“ (V, 818—9).

Смерть Рудина прибавляетъ къ этому ореолу новые лучи, и, кромѣ смерти,—скорбный разсказъ старому пріятелю о томъ, не какими онъ дорогамъ мыкался, и какія бываютъ дороги грязныя. Много мягкости душевной и теплоты, говоритъ Михайловскій, внесъ сюда нашъ знаменитый романистъ, и именно по такимъ страницамъ надо цѣнить глубокую гуманность его натуры. Но замѣчательно, что эта душевная теплота проявлялась во всей своей полнотѣ только при обрисовкѣ слабыхъ характеровъ“. То же самое и въ изображеніи женщинъ. Здѣсь его больше всего привлекалъ одинъ мотивъ—моментъ возникновенія сердечнаго романа дѣвушки при томъ моментъ, облагороженный совершенно особеннымъ, чисто тургеневскимъ способомъ. У него эта любовь не кладетъ на дѣвушку печати чего-нибудь узко эгоистическаго, какъ это часто бываетъ въ дѣйствительности. Напротивъ, она какъ бы расширяетъ ея душу, открываетъ ей далекія перспективы. „И при этомъ замѣчательно,—говоритъ Михайловскій,—что необходимымъ условіемъ этой влюбленности была неопредѣленная свѣтозарность или свѣтозарная неопредѣленность идеаловъ женщины“ (V, 824). Но какъ только женщина выбираетъ опредѣленный путь, такъ она переставала интересоваться Тургенева, или становилась ему непріятной, и онъ изображалъ Кукшиныхъ и Машуриныхъ. Въ женщинахъ, не тронутыхъ опредѣленными, ясными идеями, онъ выбиралъ исключительно свѣтлыя и возвышенныя полосы жизни, а у задѣтыхъ чѣмъ нибудь опредѣленнымъ,—напротивъ, исключительно темныя и низменныя. Михайловскій при этомъ не предъявляетъ художнику требованій, которыя не лежатъ въ его натурѣ и во всемъ его строѣ. Тургеневъ, на его взглядъ, „не могъ творить иначе, и его такъ же мало можно судить за это, какъ большого дальтонизмомъ за то, что онъ не умѣетъ различать красный и зеленый цвѣтъ“. Но, говоритъ онъ, „отъ него можно было

только требовать, чтобы, сознавъ особенный характеръ своего творчества, онъ не брался за задачи, при выполнении которыхъ упомянутая ассоціація можетъ привести къ тяжелымъ и непріятнымъ общественнымъ послѣдствіямъ. Все равно, какъ отъ больного дальтонизмомъ можно требовать, чтобы онъ не служилъ на желѣзной дорогѣ, гдѣ смѣшеніе зеленого и краснаго сигналовъ ведетъ къ гибели многихъ жизней*. И въ примѣненіи этого соображенія къ Тургеневу Михайловскій видѣлъ наиболее вѣрный путь къ надлежащей оцѣнкѣ его творчества, — тотъ приѣмъ, который даетъ возможность поставить совокупность его образовъ въ соотвѣтственную перспективу. Исходя изъ этого и высоко цѣня художественный талантъ Тургенева, Михайловскій считалъ совершенно ошибочнымъ ходячіе взгляды на Тургенева. Его считали, во-первыхъ, ловцомъ моментовъ русскаго общественнаго развитія, изобразителемъ новыхъ людей. А, во-вторыхъ, специалистомъ по изображенію русской женщины. На основаніи вышеприведеннаго Михайловскій считалъ и то, и другое совершенно невѣрнымъ. Странно навязывать художнику, какъ бы ни были велики его художественныя силы, изображеніе новыхъ людей и роль ловца момента, когда онъ душевно близокъ типу людей колеблющихся, рефлектирующихъ. Это неправильная оцѣнка его творчества и невѣрное освѣщеніе изображаемой имъ дѣйствительности. Точно также и въ томъ же смыслѣ странно приписывать ему значеніе спеціальнаго изобразителя русской женщины.

Изъ основныхъ элементовъ, составляющихъ полный кругъ жизни личности, — мысли, чувства и воли — послѣдній былъ душевно чуждъ Тургеневу по свойствамъ его природы. Поэтому весь запасъ своего душевнаго участія и всѣ краски своей поэзіи онъ отдавалъ людямъ безвольнымъ, стремленіямъ, неопредѣленно возвышеннымъ. Его идеалы были неопредѣленные, но свѣтлые идеалы свободы и просвѣщенія. Въ этомъ смыслѣ Михайловскій называетъ „несравненный“ талантъ Тургенева (независимо отъ другихъ его свойствъ) музыкальнымъ: „музыка, какъ извѣстно, вызываетъ неопредѣленные, но хорошія, пріятныя, свѣтлыя волненія“. Тѣ явленія жизни, которыя соотвѣтствовали этому основному свойству таланта Тургенева, нашли въ немъ превосходнаго изобразителя, достойнаго славы не только русской, а и европейской; въ этой области онъ — „краса и гордость русской литературы“. Но то, что лежало внѣ этого круга, было ему далекимъ и чуждымъ.

V.

Для сколько нибудь знакомых съ литературной дѣятельностью Михайловскаго „литературно-художественная критика“—терминъ слишкомъ затертый и безцвѣтный для обозначенія того, что вкладывалъ Михайловскій въ это дѣло. Когда онъ говорилъ, что Тургеневъ, какъ человѣкъ и художникъ, былъ чуждъ „новымъ людямъ“ и потому не могъ ихъ изображать, для Михайловскаго это былъ не просто литературно-художественный фактъ. У него съ этимъ связывалось живое представленіе о новыхъ общественныхъ силахъ, выступившихъ на арену жизни и требовавшихъ вниманія къ себѣ. Въ сферѣ реальной дѣятельности они тоже предъявляли свои особые требованія—во имя элементарныхъ практическихъ нуждъ и интересовъ, во имя практическихъ общественныхъ задачъ. Но Михайловскому была дорога мысль, что люди, врывавшіеся на арену исторіи съ прозаически скучными требованіями справедливости и участія въ благахъ жизни, были не просто представителями грубой и тупой силы. Ему была дорога мысль, что та сила, которой не было раньше на аренѣ—разночинецъ и народъ—несетъ съ собою свою красоту и свою поэзію. И эта красота и эта поэзія требуютъ вниманія къ себѣ и заслуживаютъ его въ высокой степени, такъ какъ имъ суждено смѣнить собою или, по крайней мѣрѣ, обновить прежнія формы красоты. Онъ не говорилъ, что старыя формы ничего не стоятъ, онъ не говорилъ о разрушеніи старой эстетики. Нѣтъ, старыя формы красоты онъ считалъ заслуживающими полного уваженія въ той мѣрѣ, въ какой онъ опирались на вѣру во что-то высшее, вѣру во всю ту общественную и жизненную обстановку, въ которой возникли и существовали эти формы, и которая ихъ освящала. Шестидесятые и семидесятые года были эпохой, когда вся жизненная обстановка подвергалась существеннымъ кореннымъ измѣненіямъ и когда на смѣну прежнихъ шатающихся вѣрованій появились новыя. Какъ они должны были повліять на представленія о прекрасномъ, этой темѣ Михайловскій посвятилъ нѣкоторую часть своихъ полубеллетристическихъ очерковъ „Въ перемежку“. Въ нихъ онъ, и въ формѣ разсужденій, и въ образахъ предъявилъ русскому читателю тѣ измѣненія, которыя должны бы внести въ формы поэзіи и красоты новыя комбинаціи жизни. Разсказавъ кое-что изъ жизни нѣкоего Бухарцева (въ дѣйствительности онъ назывался Ножинымъ, о чемъ см. Лит. восп. I, 17), Михайловскій говоритъ: „Вы, пожалуй, удивитесь, что ничего не слыхали о такомъ замѣчательномъ человѣкѣ. Да мало ли вѣдь вы чего не слыхали? Вѣрно только то, что благонамѣренные творцы „новыхъ людей“

пробѣвали много любопытнѣйшихъ типовъ и что, хоть тема эта и надобѣдала порядочно, но вовсе не потому, что она исчерпана. Нетронутой красоты тутъ вдоволь“ *).

„Вы, вѣроятно, и о Далматовѣ ничего не слыхали“,—прибавляетъ онъ, и затѣмъ приведя краткія свѣдѣнія объ этой замѣчательной личности заключаетъ **):

„Вотъ фигура. Конечно, это еще не фигура, а только остовъ, скелетъ, формулярный списокъ. Пусть художникъ одѣнетъ его плотью, пусть онъ реставрируетъ его жилы и погонитъ по нимъ горячую алую кровь, пусть разгадаетъ его душу и расскажетъ, какъ и что двигало Далматова; пусть художникъ одѣлаетъ все это—и вы должны будете преклониться предъ красотою этого образа“.

Остановившись затѣмъ на вопросѣ, почему беллетристика не умѣетъ изображать положительные типы, Михайловскій приходитъ къ заключенію, что самая распространенная, если не самая важная тому причина заключается въ существованіи шаблоновъ красоты. Эти заѣзженные образцы, „откровенно говоря, надобѣли хуже горькой рѣдьки. Надобѣли даже самими писателями, которые ихъ эксплуатируютъ. Какъ хотите, говорить онъ, а я не могу повѣрить, чтобы Тургеневъ свои „Вѣшнія воды“, напримѣръ, или Левъ Толстой добрыя семь восьмыхъ „Анны Карениной“ писалъ съ удовольствіемъ. Скучно имъ было“. И, какъ на выходѣ изъ этого, Михайловскій указываетъ на необходимость „искать новыхъ образцовъ тамъ, гдѣ ихъ до сихъ поръ совсѣмъ не искали или

*) IV, 272.

**) „Приведемъ ихъ здѣсь вкратцѣ. Далматовъ родился въ 1842 г. въ Пермской губерніи. Служилъ въ военной службѣ, гдѣ отличался гуманностью и добрымъ отношеніемъ къ солдатамъ и заслужилъ ихъ искреннюю любовь, не смотря на то, что былъ строгъ. Онъ вышелъ въ отставку въ чинѣ подпоручика. Въ 1859 г. онъ получилъ, по духовному завѣщанію матери, 1,000 десятинъ земли съ крестьянами. Не заключая никакихъ условій, онъ далъ крестьянамъ волю и всю землю, не оставивъ себѣ ничего, за что получилъ высочайшую благодарность. Затѣмъ онъ поступилъ въ Петровско-разумовскую академію, служилъ контролеромъ на заводѣ въ сѣверо-западномъ краѣ, служилъ на Маріинской системѣ, былъ на ковровскихъ заводахъ, откуда, услыхавъ, что готовится болгарское возстаніе (въ концѣ 60-хъ годовъ), отправился черезъ Одессу въ Болгарію. Въ Одессу онъ уже прибылъ безъ копѣйки. Кое-какъ удалось ему поступить матросомъ на купеческое судно и такимъ образомъ достигнуть цѣли путешествія. Прибывъ на мѣсто, онъ получилъ было командованіе надъ однимъ изъ сформировавшихся отрядовъ; но возстаніе не состоялось, и ему пришлось искать работы. Онъ поступилъ рабочимъ на казенный пушечный и патронный заводъ въ Бѣлгородѣ, гдѣ пробылъ около двухъ лѣтъ. Потомъ вернулся въ Россію, переходилъ въ разныхъ должностяхъ (больше въ качествѣ рабочаго) съ одного мѣста на другое. Попалъ рабочимъ на механическій заводъ, потомъ слесаремъ въ канаточную мастерскую. Здѣсь его застало герцеговинское возстаніе. Онъ немедленно поѣхалъ туда и въ сраженіи подъ Карагуевацомъ, 8 января 1877 года, былъ убитъ.“

искали очень мало“. Онъ указываетъ на образцы этихъ поисковъ у Щедрина, Златовратскаго и Успенскаго, и, между прочимъ, приводитъ изъ Успенскаго фигуру дѣда Пармена, ходока, который ужъ побывалъ и въ острогѣ, и въ Сибири, и еще разъ рѣшилъ: „коли такъ, такъ, стало, Божья воля мнѣ потерпѣть еще на старости лѣтъ!.. Видно ужъ Господь-батюшка, Никола милостивый такъ осудилъ меня вѣнцомъ—иду!“—И старый дѣдъ, съ котомкой за плечами, съ длинной палкой въ сухой рукѣ, неровной поступью худыхъ тонкихъ ногъ, обутыхъ на мірской счетъ въ новые лапти, пошелъ воевать за свое дѣло“ *).

Во всѣхъ фигурахъ этого рода главная черта ихъ душевнаго склада и вмѣстѣ съ тѣмъ источникъ ихъ душевнаго величія — есть простота. „Эта-то простота, говоритъ Михайловскій, и есть, я думаю, камень, на которомъ должно построиться зданіе новой красоты“. Въ чемъ же, спрашивается, состоитъ эта простота?

Для Пармена мірское дѣло есть его личное дѣло, срослось съ нимъ; онъ никого не благодѣтельствуетъ, никому не приноситъ жертвы. Если смотрѣть со стороны, то онъ, конечно, совершаетъ подвигъ. Но для него это просто защита своего собственного дѣла. То же самое и Бухарцевъ. „Если бы,—говоритъ Михайловскій,—я осмѣлился, въ художественномъ смыслѣ, поднять руку на дорогую мнѣ память Бухарцева, я, конечно, не скрылъ бы истинно героическихъ его чертъ. Но онъ самъ не подозрѣвалъ бы даже этого; онъ дѣлалъ бы свое дѣло“. Михайловскій считалъ Бухарцева личностью гениальной, способнымъ, если бы онъ захотѣлъ и если бы онъ не умеръ совсѣмъ въ молодые годы, быть ученою знаменитостью на всю Европу. Но „у самого Бухарцева никогда, ни въ серьезнѣйшихъ интимныхъ разговорахъ, ни среди самой необузданной шутливости, не прорывалось тяготѣнія къ этой перспективѣ... Онъ любилъ свою спеціальность и былъ полонъ жажды знанія вообще, и даже говаривалъ, что охотно поселился бы навсегда на берегу моря или въ тропическихъ лѣсахъ, единственно для того, чтобы отдаться жаднѣ знанія, если бы... если бы не чувствовалъ обязанности, „повинности“ жить въ обществѣ и направлять свою эрудицію извѣстнымъ образомъ. Но съ этой обязанностью онъ также сросся, какъ дѣдъ Парменъ охотно лежалъ бы на печи и грѣлъ свои старыя кости, если бы мірское дѣло не было его собственнымъ дѣломъ. Оттого и Бухарцевъ, говоритъ Михайловскій, былъ такъ простъ. Самая его дерзость (рѣчь идетъ объ эпизодѣ на ученомъ диспутѣ, описанномъ раньше) была не что иное, какъ простота. Говоря свою рѣчь на диспутѣ, онъ былъ прекрасенъ именно своей простотой, именно тѣмъ, что онъ дѣлалъ собственное свое дѣло, собственную свою душу

*) IV, 275.

выкладывалъ, предлагая ученому ареопагу связать „генезисъ въ типѣ пальмовидныхъ водорослей“ (что-то въ этомъ родѣ составляло тему диссертациі) съ разрѣшеніемъ общественныхъ вопросовъ; самъ постоянно работая мыслью въ этомъ направленіи, онъ вовсе не думалъ предлагать или совершать что-нибудь достойное благодарности. Нѣтъ, онъ исполнялъ только свою обязанность и при томъ такую, которая облегчала его личное существованіе“ (IV, 276).

Въ томъ же смыслѣ Михайловскій предполагалъ, что художникъ долженъ бы изобразить въ Далматовѣ. Слѣдуя старымъ образцамъ, его бы изобразили героемъ, сознательно приносящимъ жертвы, благодѣтельствующимъ, освобождающимъ и т. п. Но можно бы его изобразить иначе. „Можно представить дѣло такъ, говорить Михайловскій (какъ оно навѣрное и было въ дѣйствительности), что онъ никого не благодѣтельствуетъ, никакихъ жертвъ не приносить. Пусть воочію развертывается и облекается плотью и кровью весь прекрасный формулярный списокъ Далматова, пусть всѣмъ читателямъ будетъ ясенъ его героизмъ, но пусть самъ онъ дѣлаетъ свое личное дѣло. Повидимому, тутъ всего одну маленькую передвижечку въ старомъ шаблонѣ красоты надо сдѣлать. Но сдѣлайте ее — и весь обдастъ ароматомъ совершенно новой красоты“ (IV, 277).

Михайловскому представлялось, что художникъ долженъ быть особенно чутокъ къ обаянію этой „простоты“. Ему должно быть особенно свойственно сочувствовать способности съ непринужденной естественностью переживать, въ видѣ своего собственного личнаго дѣла, общіе интересы и задачи.

Въ одной своей старой статьѣ (въ 1874 г. по поводу Щербины) Михайловскій предлагаетъ такое опредѣленіе поэта или художника: это — „человѣкъ, умѣющий поворотить и за себя, и за другого“. Пройдитесь,—говоритъ онъ,—по заламъ любой художественной выставки, и вы убѣдитесь, что предлагаемая мною простая мѣрка вполне приложима и здѣсь, что здѣсь есть люди, умѣющие и не умѣющие говорить красками и образами за другихъ, за молящагося, негодующаго, ненавидящаго, страдающаго, радующагося человѣка. Относительно жанра, исторической живописи, портретовъ — въ этомъ, кажется, не можетъ быть сомнѣній, но та же мѣрка приложима и къ ландшафтной живописи и къ музыкѣ. Поэзія, и лирика, и эпосъ, и драма, несомнѣнно, вся построена на умѣніи говорить за другихъ. Въ этомъ,—говоритъ Михайловскій,—заключается и неотразимая сила поэзіи въ принципѣ, и ея великое социальное значеніе“ (II, 601).

Съ этой точки зрѣнія неотразимая сила поэзіи и искусства коренится въ способности говорить одновременно и за себя, и за другихъ. Между „другими“ и собственной личностью тутъ становится соотвѣтствіе и своеобразное проникновеніе. И

именно поэтому художественному чувству должны быть близки красота и поэзия той душевной простоты, той цельной убежденности, на которую указывал Михайловский, как на характерную особенность больших людей шестидесятых и семидесятых годов. Сила и красота их духа зависела от того, что одушевлявшие их нравственные побуждения были не отвлеченным участием в общих интересах и делах при помощи идей. Личность у них служила не чему-то вне ее лежащему. Она проникалась участием к этому внешнему все равно, как к своему личному, и при том всей совокупностью душевного строя. Вследствие этого, душевные побуждения, которые при этом руководили личностью, были так просты, так непринужденны, что с точки зрения Михайловского ими можно любоваться не только со стороны их нравственного обаяния. Они заслуживают этого со стороны душевной красоты вообще—красоты личного достоинства. Если это звучит, пожалуй, несколько отвлеченно, то достаточно прочесть литературные характеристики, посвященные Михайловским Гаршину, Успенскому и Щедрину, чтобы это впечатленье исчезло.

Имѣя въ виду именно эту его точку зрѣнія, мы говорили выше о томъ, что „литературно-художественная критика“ слишкомъ шаблонное выраженіе для идей Михайловскаго въ этой сферѣ. Его идеи въ этомъ направленіи были настолько широки, что выходили далеко за предѣлы обыденныхъ представленій о „красотѣ“. Однако въ нихъ въ то же время не было ничего, претендующаго на что нибудь исключительное. Михайловскій не „разрушалъ эстетику“; онъ не думалъ отрицать полнаго права художника „воспѣвать звѣздочки и цвѣточки, ландыши и кудри, пурпурный закатъ и столь же пурпурный восходъ“. Пусть художникъ „говорить“ за всѣ эти прекрасные предметы и за тѣхъ, кого они радуютъ. Но Михайловскій всѣмъ своимъ существомъ протестовалъ противъ возможности, чтобы человѣкъ способенъ былъ весь уйти въ цвѣточки и звѣздочки. Какъ выражается Михайловскій, ростъ поэта опредѣляется не только его умѣньемъ говорить за другихъ, но и количественнымъ и качественнымъ значеніемъ этихъ другихъ (II, 602). И онъ достигаетъ наивысшаго даже въ смыслѣ красоты; когда говоритъ за красоту душевную,—за требованія человѣческаго достоинства. Дѣло не непременно въ тѣхъ или другихъ частныхъ идеяхъ и убѣжденіяхъ, не въ какихъ-нибудь специальныхъ общественныхъ, нравственныхъ, политическихъ задачахъ даннаго историческаго момента, а въ общихъ требованіяхъ человѣческаго достоинства. Когда поэтъ „говорить“ именно за нихъ—за эти требованія—онъ говоритъ за такія сферы жизни, которыя охватываютъ собой все остальное, и съ человѣческой точки зрѣнія все остальное подчинено этому верховному мотиву жизни.

Рядъ литературныхъ характеристикъ, которыя Михайловскій посвятилъ такимъ выдающимся писателямъ, какъ Гаршинъ, Щедринъ, Успенскій, Островскій, Ибсенъ, Горькій, иллюстрируетъ эту точку зрѣнія и обнаруживаетъ ту перспективу интересовъ и то обширное содержаніе жизни, которое открываетъ именно это возвращеніе. Мы остановимся на Гаршинѣ и Успенскомъ.

VI.

Въ своемъ разборѣ произведеній Гаршина Михайловскій поставилъ себѣ цѣлью выяснитъ, какія полосы жизни его занимали по преимуществу, что онъ въ нихъ выбиралъ для поэтического воспроизведенія, а главное—что во всемъ характерѣ творчества Гаршина привлекло къ себѣ усиленный интересъ читателя и сдѣлало его любимцемъ читающей публики.

Въ одномъ изъ рассказовъ Гаршина изъ военной жизни онъ говоритъ отъ имени своего героя, отправившагося на войну: „огромному, невѣдомому тебѣ организму, котораго ты составляешь ничтожную часть, захотѣлось отрѣзать тебя и бросить. И что можешь сдѣлать противъ такого желанія ты... ты палецъ отъ ноги“? (VI, 313). Въ другомъ рассказѣ, тоже изъ военной жизни, эта же идея варьируется такъ: „Насъ влекла невидимая тайная сила: нѣтъ силы большей въ человѣческой жизни. Каждый отдѣльно ушелъ бы домой, но вся масса шла, повинаясь не дисциплинѣ, не сознанію правоты дѣла, не чувству ненависти къ неизвѣстному врагу, не страху наказанія, а тому невидимому и безсознательному, что долго еще будетъ водить человечество“. Тотъ же мотивъ встрѣчается и въ другихъ его произведеніяхъ.

Эта мысль о безвольномъ орудіи нѣкотораго огромнаго сложнаго и чуждаго цѣлаго преслѣдуетъ Гаршина вездѣ, постоянно являясь источникомъ пессимизма и грусти, проникающихъ все его произведенія. И грусть у него не безпредметная. Это не грусть настроенія; она проникнута опредѣленными запросами и требованіями отъ жизни. Человѣкъ у него страдаетъ особенно отъ того, что онъ одинокъ. По словамъ Михайловскаго, „не вообще страданіями занятъ нашъ авторъ; съ его точки зрѣнія отчего бы и не пострадать, но на людяхъ и съ людьми, а не въ одиночку“. А одиноки его люди совсѣмъ по особому. Его „одинокіе люди окружены толпой и всетаки они одиноки, потому что узлы, связывающіе ихъ съ людьми, насильственны, лживы, и они вполне сознаютъ эту лживость и оттого мучатся. Они ищутъ выхода, то есть такихъ формъ общенія съ людьми, которыя не налагали бы на нихъ ненавистнаго ярма, не дѣлали бы ихъ „пальцами отъ ноги“, „клапанами“, „безвольными орудіями сложнаго цѣлаго“. Есть у Гаршина и такіе, которыхъ это положеніе не

смущается, они къ нему приспособились. Таковъ Дѣдовъ въ „Художникахъ“, или инженеръ Кудряшевъ во „Встрѣчѣ“. Но другіе понимаютъ и страдаютъ отъ сознанія, въ какую пропасть ихъ влечетъ стихійный процессъ. И они либо „безпомощно бьются въ той клѣткѣ, въ которую они загнаны, бессильно топорщатся, когда огромная машина зубцами и колесами втягиваетъ ихъ въ свою пасть и перемалываетъ“. Или—видать исходъ и рвутся къ иной жизни.

Въ этой точкѣ зрѣнія, въ качествѣ центра всѣхъ образовъ Гаршина, Михайловскій видѣлъ объясненіе его особой симпатичности и его особаго права на наше вниманіе. „Такъ неотступно преслѣдующій его вопросъ—кто побѣдитъ: человеческое достоинство или стихійный процессъ, превращающій человѣка въ клапанъ,—это,—говоритъ Михайловскій,—всѣмъ вопросамъ вопросъ. Всѣ наши маленькія житейскія драмы, а, пожалуй, и водевили, всѣ крупнѣйшія историческія событія укладываются въ рамки этого огромнаго и роковаго вопроса“ (VI, 332).

Можетъ быть, Гаршину эта основная идея не была такъ ясна, какъ ее сформулировалъ Михайловскій. Но этой формулировкой Михайловскій только имѣлъ въ виду помочь молодому писателю и въ то же время помогать читателю разобраться въ образахъ художника. Пусть читатель возьметъ на себя трудъ перечитать произведенія Гаршина, имѣя въ виду приведенную перспективу, и онъ ясно убѣдится, какая это широкая перспектива и сколько цѣннаго она даетъ. „Вездѣ или почти вездѣ,—говоритъ Михайловскій,—вы найдете, можетъ быть, не такъ ясно подчеркнутое, но все одно и то же: лучи все той же скорби о томъ специальномъ и высшемъ оскорбленіи, которое наносится человѣческому достоинству превращеніемъ человѣка въ тѣ или другіе клапаны, въ „пальцы отъ ноги“ (VI, 327).

Это освѣщеніе идеи человѣческаго достоинства открываетъ перспективы на общественную сторону дѣла, — на тотъ общій строй, который обращаетъ личность въ маленькое колесо механизма, который не только вдвигаетъ ее въ огромный чуждый ей потокъ и даетъ ей сосѣда справа и слѣва, но даже навязываетъ ей самыя цѣли жизни. Къ этому примыкаетъ художественно-психологическая сторона дѣла,—то, всестороннее оскудѣніе жизни, та обезцвѣченность ея и та разорванность ея, которыя въ этомъ положеніи поражаютъ личность и все ея существованіе.

Самого художника творца этотъ процессъ обращаетъ въ болѣе или менѣе обезличеннаго исполнителя „чужихъ заказовъ“, о цѣли и смыслѣ которыхъ ему не полагается заботиться. Ему полагается создавать красивыя комбинаціи красокъ и линій, красиво и интересно выражать мысли и образы, которые должны развлекать и улаживать публику. Онъ только художникъ и больше ничего,—такой же „палецъ отъ ноги“, такой же „клапанъ“, какъ

и всё остальные. Поэтому ему, как и всем прочим, полагается участвовать в общей, совокупной жизни плёла не всей душой без остатка, с сохранением всего человеческого достоинства, а одной только специальной стороной безразличного, т. е. обезличенного художественного творчества. Онъ художественное орудіе, инструментъ. Противъ такой роли возмущается въ рассказѣ Гаршина „Художники“ живописецъ Рябининъ, чувствующій себя „одинокимъ въ толпѣ“ и протестующій противъ жестокаго обязательства вѣчно и неизмѣнно писать ходкія на рынкѣ картины на „невинные сюжеты“: „полдни“, „закаты“, „дѣвочка съ кошкой“ и проч. (см. VI, 325 — 6). Въ подобномъ положеніи художникъ, какъ и всегда, „говоритъ за другихъ“. Но эти „другіе“ отражаются не въ душѣ личности, чувствующей себя человѣкомъ, а въ „пальцѣ отъ ноги“, въ „клапанѣ“. Они отражаются въ обезличенномъ механизмѣ, отправляющемъ свои маленькія функціи, по-своему, можетъ быть, исправно, но въ цѣломъ не соответствующимъ дѣйствительному содержанию и объему жизни. Возставая противъ этого отношения художника къ дѣйствительности съ общественной точки зрѣнія, Гаршинъ въ качествѣ тонкаго и чуткаго художника ощущалъ въ оскорбленіи человѣческаго достоинства также нарушеніе и требованій художественнаго чувства. Онъ чувствовалъ всю недостойность и гибельность положенія художника, находящагося въ положеніи „ничтожной“ части невѣдомаго ему огромнаго механизма, отъ котораго онъ всецѣмъ зависитъ. Въ подобномъ положеніи художникъ обреченъ на одно изъ двухъ. Либо на творчество по трафаретамъ; такого рода творчества придерживаются, напримѣръ, живописцы — исполнители „невинныхъ сюжетовъ“. На немъ всегда лежитъ отпечатокъ грубости и плоскости, всегда принижающихъ смыслъ и содержаніе жизни. Или же, если такой художникъ творитъ болѣе или менѣе искренно, кругъ его образовъ замыкается въ очень узкіе предѣлы; онъ не выходитъ изъ области тоже „невиннаго“ подражанія дѣйствительности въ ея мелочахъ, изъ области забавнаго анекдота и т. п. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ — между художникомъ и дѣйствительностью нѣтъ истиннаго соответствія, и въ результатѣ нѣтъ истиннаго искусства.

VII.

Относительно манеры Успенскаго писать, Михайловскій говоритъ *): „Едва ли найдется много писателей, которые расходовали бы столько крови сердца, какъ Успенскій. Онъ не пишетъ, не „сочиняетъ“, а живетъ съ перомъ въ рукахъ. Читатель

*) См. Соч. V, 77—137.

воочию видеть, какъ писатель ищетъ чего-то—сегодня въ русскомъ мужикѣ, завтра въ Венерѣ Милосской, сегодня въ Сербіи, завтра въ Новгородской, въ Самарской губерніи, въ Парижѣ, въ Лондонѣ, въ Сибири, сегодня въ только что прочитанной книгѣ, завтра въ крестьянской свадьбѣ—ищетъ, надѣется, разочаровывается, опять поднимается, опять ищетъ, тутъ же дѣлится съ вами тѣми житейскими впечатлѣніями, подъ которыми сложились его образы“ (V, 74). И чрезъ всю эту чисто субъективную душевную работу проходитъ одно теченіе, одинъ порывъ—не только субъективный, но и общій по своему направленію. Основной характеръ этого порыва выразился, довольно неожиданно для иного читателя Успенскаго, въ его извѣстныхъ восторженныхъ страницахъ, посвященныхъ не болѣе и не менѣе, какъ статуѣ Венеры Милосской въ Луврѣ. Казалось бы, Успенскій, этотъ народникъ, толковавшій все объ мужикѣ, да о болѣзни совѣсти, и Венера Милосская... Что тутъ общаго? А между тѣмъ, „и тутъ Успенскій остается все тѣмъ же Успенскимъ и ни на волосъ не измѣняетъ своему всегдашнему задумчивому“. При этомъ оказывается, что Успенскій замѣтилъ у Венеры Милосской „право, сказать совѣстно, почти мужицкіе завитки волосъ по угламъ лба“. Въ отличіе отъ другихъ Венеръ, она не есть олицетвореніе „женскихъ прелестей“. Напротивъ, художникъ для созданія этой „каменной загадки“ бралъ то, что для него было нужно, и въ мужской красотѣ, и въ женской, не думая о полѣ, а, пожалуй, и о возрастѣ. Вообще, для Успенскаго Венера Милосская есть „человѣкъ“, идеалъ человѣческой личности въ смыслѣ цѣлостнаго сочетанія отдѣльных человѣческихъ чертъ, разбросанныхъ нынѣ какъ попало и куда попало. Художникъ, создавшій Венеру, хотѣлъ познакомить человѣка „съ ощущеніемъ счастья быть человѣкомъ, показать всѣмъ намъ и обрадовать насъ видимой для всѣхъ возможностью быть прекрасными“. При этомъ замѣчательно, что въ памяти Тяпушкина, которому Успенскій приписалъ такое воспоминаніе о Венерѣ Милосской, образъ ея возникъ не сразу. Ему предшествуютъ два какъ бы подготовительныя воспоминанія. Во-первыхъ, ему вспомнилась деревенская баба, которую онъ когда-то видѣлъ во время сѣнокоса. Баба была самая обыкновенная. Но—„вся она, вся ея фигура съ подобранной юбкой, голыми ногами, краснымъ повойникомъ на маковкѣ, съ этими граблями въ рукахъ, которыми она перебрасывала сухое сѣно справа налѣво, была такъ легка, изящна, такъ жила, а не работала, жила въ полной гармоніи съ природой, съ солнцемъ, съ вѣтеркомъ, съ этимъ сѣномъ, со всѣмъ ландшафтомъ, съ которымъ были слиты и ея тѣло, и ея душа (какъ я думалъ), что я долго-долго смотрѣлъ на нее, думалъ и чувствовалъ только одно: „какъ хорошо!“

Затѣмъ, Тяпушкину вспомнилась другая фигура—„фигура дѣвушки строгаго, почти монашескаго типа“.

„Глубокая печаль, печаль о не своемъ горѣ, которая была начертана на этомъ лицѣ, на каждомъ ея малѣйшемъ движеніи, была такъ гармонически слита съ ея личною, собственною ея печалью, до такой степени эти двѣ печали, сливаясь, дѣлали ее одну, не давая ни малѣйшей возможности проникнуть въ ея душу, въ ея сердце, въ ея мысль, даже въ сонъ ея чему-нибудь такому, что могло бы не „подойти“, нарушить гармонію самопожертвованія, которую она олицетворяла, что, при одномъ взглядѣ на нее, всякое „страданіе“ теряло свои пугающія формы, дѣлалось простымъ, легкимъ, успокаивающимъ и вмѣсто словъ „какъ страшно!“ заставляло сказать: „какъ хорошо! какъ славно!“

Во всѣхъ этихъ образахъ представленіе о красотѣ является составной частью чего-то болѣе обширнаго—ощущенія счастья быть человекомъ, ощущенія „простоты“, „легкости“ — вообще какой-то гармонической цѣльности, которая даже на страданія проливаетъ что-то успокаивающее, заставляющее воскликнуть: „какъ хорошо! какъ славно!“

И въ это ощущеніе на первомъ планѣ входитъ гармоническое соотвѣтствіе между личнымъ и прочимъ міромъ—между работницей и природой, солнцемъ, вѣтеркомъ, сѣномъ и прочимъ, между личной печалью и „не своимъ“ горемъ. Это соотвѣтствіе такого рода, при которомъ личность участвуетъ въ томъ мірѣ, съ которымъ она соприкасается,—цѣликомъ, всей совокупностью своей личности.

Самъ Успенскій, какъ художникъ, въ этомъ отношеніи представлялъ типичный примѣръ именно такого душевнаго склада. Михайловскій очень тонко характеризуетъ съ этой стороны комизмъ Успенскаго. Не говоря о томъ, что у него нѣтъ безпредметнаго зубоскальства, это,—говоритъ онъ,—и не рѣзкіе удары сатирическаго бича, и не капризные кокетливо истерическія арабески изъ грусти и веселья, слезъ и смѣха, какія бываютъ у чисто художественныхъ натуръ типа Гейне“ (V, 98). Смѣхъ Успенскаго органически просто и естественно сочетается съ глубоко искреннимъ, вдумчивымъ участіемъ къ тому, надъ чѣмъ онъ смѣется. Его смѣхъ постоянно переходитъ въ драму, или въ грустное раздумье. Это постоянный приемъ его творчества. „Вы видите рядъ комическихъ подробностей пиро- и гидро-техника съ „чревоуѣщаніями“, „обезглавленіями головы и прочихъ частей тѣла“, „индійскими эскамотированіями“ и проч., потомъ другія подобныя смѣшныя мелочи. Но, — говоритъ Михайловскій, — по мѣрѣ того, какъ эти комическія черты скопляются въ достаточномъ количествѣ, вы чувствуете, что вступаете въ кругъ вещей, совсѣмъ не смѣшныхъ и не мелкихъ. Вамъ становится жутко, вы ощущаете въ себѣ какой-то сложный и все болѣе усложняющійся процессъ“. И этотъ процессъ вездѣ ведетъ васъ отъ смѣшного къ грустному раздумью, заставляющему васъ съ глубокою пе-

частью переживать драму и трагедию. Личное предрасположение автора схватывать комическія мелочи жизни не замыкается въ себя, не отрѣзываетъ художника отъ того, надъ чѣмъ онъ смѣется (у Гейне художникъ-юмористъ постоянно даже на самого себя смотреть со стороны и, по выраженію Михайловскаго, „кокетливо истерически“ смѣется надъ самимъ собой). Это у Успенскаго чисто субъективная душевная складка—его пріемъ подходит ко всему непременно со стороны смѣшныхъ мелочей. Но, въ комбинаціи съ столь же субъективной склонностью къ грусти, у него неизмѣнно получается нѣчто очень многозначительное въ смыслѣ общей интересности. И тотъ, и другой мотивъ захватывали всю его личность настолько всесторонне и глубоко, что не давали ему отвлечься какъ-нибудь въ сторону, не позволяли увлечься обаяніемъ художественнаго творчества ради комическихъ или драматическихъ коллизій и эффектовъ, которые сколько-нибудь позволили бы трактовать дѣйствительность со стороны. Успенскому была чужда самая манера любоваться чѣмъ-нибудь безъ полного интимнаго участія. Въ этомъ смыслѣ онъ какъ-то, со свойственнымъ ему юморомъ, посмѣивается надъ стихотвореніемъ Лермонтова „Когда волнуется желтѣющая нива“. Ему кажется, что поэтъ является въ немъ „случайнымъ знакомцемъ природы, съ которой у него нѣтъ кровной связи“. „Онъ оскорбленъ той изысканностью, съ которой въ стихотвореніи собраны и размѣщены лучшіе дары природы, и считаетъ себя въ правѣ заподозрить искренность поэта: если бы поэтъ, приходя въ общеніе съ природой, дѣйствительно „въ небесахъ видѣлъ Бога“ и „постигалъ что такое счастье“, то онъ не сталъ бы искать въ природѣ непременно „отборныхъ фруктовъ“ въ родѣ „малиновыхъ сливъ“ и т. п., а удовольствовался бы болѣе простымъ, не сочиненнымъ пейзажемъ. Успенскій противопоставляетъ въ этомъ отношеніи Лермонтову Кольцова, у котораго „и природа, и міросозерцаніе человѣка, стоящаго къ ней лицомъ къ лицу, до поразительной прелести неразрывно слиты въ одно поэтическое цѣлое“. Пейзажъ, самъ по себѣ отдѣльно взятый, какъ бы онъ ни былъ красивъ, не имѣетъ цѣны для Успенскаго; въ него должна быть вложена душа художника, его подлинное „міросозерцаніе“, то, что его дѣйствительно въ данную минуту занимаетъ вообще и въ житейскихъ дѣлахъ въ частности“.

Не понимая иного отношенія художника къ дѣйствительности, Успенскій въ самой дѣйствительности съ особенной, усиленной чуткостью относился ко всему, что нарушаетъ соотвѣтствіе между личностью и остальной жизнью, ко всему, что заставляетъ личность участвовать въ жизни какъ нибудь односторонне. Все, нарушающее гармонію именно этого рода соотвѣтствія, оскорбляло его далеко не съ одной только точки зрѣнія нравственно чуткаго человѣка, болѣющаго нравственными и общественными противорѣчіями жизни. Зрѣлище нарушенной гармоніи обижало его глазъ худож-

ника. Оно обижало въ немъ чувство художника-человѣка, которому тяжело всякое несоотвѣтствіе между личностью и стихійнымъ ходомъ вещей. Такъ, напримѣръ, въ одномъ очеркѣ. Успенскаго поражаетъ общая фязіономія современнаго губернскаго города вотъ съ какой стороны: „Нѣчто неуклюжее, разношерстное, какая-то куча, свалка явленій, не имѣющихъ другъ съ другомъ никакой связи и, не смотря на это, дѣлающихъ безплодные усилія ужиться вмѣстѣ“. Прежде „гармонія была во всемъ полная: тряпье, дикость, невѣжество, хрюканье и прочее—все это было пригнано и прилажено все къ тому же невѣчеству, тряпью, хрюканью и дикости и стало быть не могло не только поражать вашъ глазъ, но даже ни на волосъ не обижало его. Теперь не то. Гармонія подлиннаго тряпья нарушена пришествіемъ рѣшительно несовмѣстныхъ съ нимъ явленій. Изъ превосходнаго вагона желѣзной дороги пассажиръ вылѣзаетъ прямо въ лужу грязи, грязи непроходимой, изъ которой никто не придетъ васъ вынуть, потому что машина прошла въ такомъ мѣстѣ, гдѣ отъ роду не было ни народу, ни дороги“.

Михайловскому кажется особенно примѣчательнымъ, что Успенскій не могъ не видѣть, что „гармонія невѣчества, тряпья и дикости слагается всетаки изъ дикости, тряпья и невѣчества, а слѣдовательно не привлекательна и не желательна“. И всетаки эта гармонія его влекла къ себѣ. Еще рѣзче это выражено въ слѣдующемъ. Въ „Запискахъ маленькаго человѣка“ авторъ, приведя нѣсколько разговоровъ, случайно услышанныхъ имъ на пароходѣ, тоскливо замѣчаетъ: „Все это надоѣло мнѣ до такой степени, что я Богъ знаетъ что-бы далъ въ эту минуту, если бы мнѣ пришлось увидѣть что нибудь настоящее, безъ подкраски и безъ фяглярства—какого нибудь стариннаго становаго, вѣрнаго искреннему призванію своему бросаться и обдирать каналій, какого нибудь подлиннаго шарлатана, полагающаго, что съ дураковъ слѣдуетъ хватать рубли за заговоръ отъ червей, словомъ, какое нибудь подлинное невѣжество—лишь бы оно считало себя справедливымъ“.

Этимъ, на первый взглядъ страннымъ разсужденіемъ, особенно для Успенскаго, Михайловскій даетъ объясненіе такое *). У Успенскаго было „условное почтеніе ко всякой гармоніи и безусловное отвращеніе ко всякой расколотости“. „Онъ, говоритъ Михайловскій, постоянно метался по всей Россіи и за-границей съ цѣлью найти отдыхъ глазу отъ терзавшихъ его обнаженные нервы впечатлѣній двоедушія, двоевѣрія, лицемерія, сознательной и безсознательной лжи“. Всякая такая расколотость раздражала и возмущала его всегда и во всякомъ случаѣ. А гармонія, даваемая убѣжденностью въ своихъ поступкахъ, соотвѣтствіемъ

*) См. „Рус. Бог.“ 1900, декабрь.

мысли и дѣйствій, каковы бы они ни были, привлекала его, но условно. Относительно самого Михайловскаго характерно то, что при сочувствіи въ данномъ случаѣ Успенскому, его глубоко возмущало восхищеніе, съ которымъ, напримѣръ, Лѣсковъ изображалъ по-своему гармоническую среду рабскихъ чувствъ и основанную на нихъ гармонию отношеній. Подобныя картинки Лѣскова коробили Михайловскаго тѣмъ, что въ нихъ онъ видѣлъ безраздѣльный восторгъ предъ мерзостью, въ которой тонетъ все человѣческое. У Успенскаго же его своеобразное „почтеніе“ предъ „подлиннымъ невѣжествомъ“ или предъ стариннымъ становымъ было явно условнымъ. Это „почтеніе“ заключало въ себѣ зародышъ другого чувства—основаннаго на сознаніи, что, съ измѣненіемъ данныхъ условий, человѣческое достоинство, столь явно попираемое гармоніей невѣжества, произвола и дикости, одержитъ верхъ, лишь бы только не было этой безысходной расколотости, лишь бы избавиться отъ двоедушія и двоевѣрія, отъ которыхъ разлагается все человѣческое. Убѣжденность въ своихъ поступкахъ это только первый шагъ къ тому, чего требуетъ человѣческое достоинство. Но первый шагъ имѣетъ смыслъ только тогда, когда на немъ не останавливаются. Поэтому, когда Успенскій во „Власти земли“ восхищался въ мужикѣ той правдой, которою освѣщена въ его жизни самая ничтожнѣйшая жизненная подробность, то Михайловскій спрашиваетъ: „Можетъ ли глазъ, оскорбленный дисгармоническими явленіями и жаждущій видѣть хоть какую нибудь гармонію, успокоиться на этой, какъ говоритъ самъ Успенскій, „зоологической“, „лѣсной“, „звѣриной“ „правдѣ“? Она вѣдь представляетъ полную уравновѣшенность понятій и поступковъ, въ ней нѣтъ мѣста „больной совѣсти“ и другимъ болѣзненнымъ продуктамъ нарушенной гармоніи“? — И отвѣчаетъ на это Михайловскій такъ: „Отдохнуть глазъ можетъ, но успокоиться—нѣтъ. Такъ какъ этотъ трудъ весь въ зависимости отъ законовъ природы, то и жизнь мужика гармонична и полна, но безъ всякаго съ его стороны усилія, безъ всякой своей мысли. Вынуть изъ этой гармонической, но подчиняющейся жизни хоть капельку, хоть песчинку, и уже образуется пустота, которую надо замѣнить своей человѣческой волей, своимъ человѣческимъ умомъ, а вѣдь это какъ трудно! какъ мучительно!“

Отсутствіе въ этой гармоніи „своей“ мысли, своего личнаго—есть то, чего ей не хватаетъ. По этой же причинѣ и для батрака-земледѣльца, который нанятъ за деньги, совершенно такъ же, какъ нанята швея, кормилица, ходатай по дѣламъ и т. п., земледѣльческій трудъ вовсе не такое ужъ гармоническое существованіе. „Всѣ они, говоритъ Михайловскій, живутъ своимъ трудомъ, но всѣ дѣлаютъ чужое, лично имъ не нужное дѣло, въ которое они поэтому не могутъ вложить душу свою, не могутъ связать

съ нимъ свое духовное существованіе въ одно гармоническое цѣлое“.

Въ дальнѣйшія детали этой темы намъ здѣсь не мѣсто входить. Но приведеннаго достаточно, чтобы видѣть, что, съ точки зрѣнія Михайловскаго, въ творествѣ Успенскаго художественныя требованія гармонической цѣльности получаютъ смыслъ только въ качествѣ составной части цѣлаго міросозерцанія. Тутъ цѣлая перспектива жизни, въ которой освѣщаются отношенія человѣческой личности къ тому, что нарушаетъ гармонію ея существованія. Человѣческое достоинство личности требуетъ прежде всего „гармоніи“—устраненія двоедушія, двоевѣрія и всякой вообще расколотости. Но это только первая переходная ступень. На слѣдующей ступени человѣческое достоинство требуетъ, чтобы гармонія достигалась не цѣною подчиненія личности внѣшнему строю. Оно требуетъ, чтобы соотвѣтствіе между личностью и ея образомъ дѣйствій, между ею и внѣшнимъ строемъ жизни основывалось на участіи ея въ стихійномъ ходѣ вещей силой личнаго сознанія и личной воли. Только участвуя въ жизни такой цѣлостной личностью, человѣкъ достигаетъ высшаго соотвѣтствія съ дѣйствительностью и тѣмъ самымъ высшей гармоніи существованія.

Точно также и въ искусствѣ. Одно дѣло — соотвѣтствіе съ дѣйствительностью, при которомъ художникъ рабски подражаетъ тому или другому уголку этой дѣйствительности или столь же рабски угождаетъ шаблоннымъ вкусамъ грубой толпы. И другое дѣло—то соотвѣтствіе, когда дѣйствительность находитъ откликъ въ душевномъ строѣ художника, который, даже подражая ей, сохраняетъ свою живую личность,—и, по выраженію Чехова, „реагирует“ на впечатлѣнія: „на боль отвѣчаетъ крикомъ и слезами, на подлость—негодованіемъ, на мерзость—отвращеніемъ“. Такой художникъ не только созерцаетъ и наблюдаетъ, а дѣйствительно участвуетъ своею жизнью въ своихъ образахъ, всеми сторонами своего существа, всей своей душой. Для него гармонія и красота его образовъ основаны на высшемъ соотвѣтствіи съ дѣйствительностью—на умѣннѣ принимать въ ней участіе всеми строемъ своей личности. И въ этомъ параллелизмѣ художественныхъ побужденій съ требованіями цѣльной человѣческой личности и ея достоинства заключается объясненіе того, какимъ образомъ художественнымъ впечатлѣніямъ дано открывать такія широкія перспективы на общія задачи жизни.

Успенскій какъ-то выразилъ свои впечатлѣнія отъ Венеры Милосской слѣдующимъ образомъ: „Я стоялъ передъ ней, смотрѣлъ за нее и непрестанно спрашивалъ самого себя: что такое со мною случилось?—Что-то, чего я понять не могъ, дунуло въ глубину моего скомканнаго, искалѣченнаго, измученнаго существа и вырвало меня, мурашками оживающаго тѣла пробѣжало тамъ,

гдѣ уже, казалось, не было чувствительности, заставило всего „хрустнуть“ именно такъ, какъ человѣкъ растетъ, заставило такъ же бодро проснуться, не ощущая даже признаковъ недавняго сна, и наполнило расширившуюся грудь, весь выросшій организмъ свѣжестью и свѣтомъ“.—Михайловскому то же самое представляется нѣсколько иначе и при томъ точнѣе и опредѣленнѣе.

Въ его глазахъ, художественное впечатлѣніе даетъ ощущение цѣльности существованія и опредѣляется тѣмъ, что въ стихійныя комбинаціи вещей вступаетъ наивысшее изъ всего, что заключаетъ въ себѣ жизнь—личный элементъ. Вступаютъ требованія человеческой личности, во всей своей совокупности—со всей присущей ей „многогранностью и многоцвѣтностью“, со всей своей удивительной способностью объединять всѣ элементы дѣйствительности въ одно совокупное цѣлое. Подъ вліяніемъ инстинктивной потребности въ цѣлостномъ существованіи, личность борется противъ стремленія стихійныхъ элементовъ разбить ея существованіе на оторванные другъ отъ друга элементы, на обособленные частицы жизни, суженной въ своемъ объемѣ, поблеклой въ своей одноцвѣтности. При этомъ въ практической дѣйствительности личности приходится больше всего бороться противъ теченій, обращающихъ ее въ бессознательную и безвольную дробь посторонняго ей цѣлага. Въ художественной сферѣ на ея долю выпадаетъ борьба противъ впечатлѣній, стремящихся нарушить „многогранность“ и „многоцвѣтность“ жизни, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, противъ всего, что способно низвести ее на степень органа, только созерцающаго и только испытывающаго пріятныя, яркія и сильныя ощущенія. Смѣна ощущеній, освѣжающихъ впечатлительность, красивые пятна, ритмъ, пестрота и яркость впечатлѣній—все это входитъ въ составъ искусства, но какъ элементъ чего-то болѣе значительнаго и широкаго. Это болѣе значительное есть перспектива совокупности жизненныхъ мотивовъ, доступныхъ человѣку, перспектива всей лѣстницы душевныхъ силъ, присущихъ личности. Здѣсь могутъ быть и пріятныя ощущенія красоты, и не всегда пріятныя ощущенія всякихъ страданій, драматическихъ коллизій и т. п. Но вся сила ихъ въ томъ, что въ данной перспективѣ они открываютъ личности выходъ на всю ширь жизни, доступной человѣку, на все содержаніе человеческого существованія въ его цѣломъ.

Въ своемъ разборѣ романовъ Муравлина (кн. Голицына), Михайловскій, отмѣтивъ ихъ жизненность и правдивость, называетъ Муравлина художникомъ погребной психологіи: „Произвожу погребной,—говоритъ онъ,—отъ погреба, отъ того мрачнаго, запертого, непроницаемаго помѣщенія, куда не проникаютъ ни солнечныя лучи, ни струи свѣжаго воздуха, гдѣ полъ, потолокъ, стѣны, углы покрыты плѣсенью и затянута паутиной, гдѣ во всѣхъ направленіяхъ ползаютъ, добываютъ себѣ пищу, посягаютъ, плодятся и

множатся разные безобразныя твари съ атрофированными зрительными и дыхательными органами". Въ качествѣ специалиста погребной психологіи, авторъ, на взглядъ Михайловскаго, отличается одной слабостью. Она состоитъ „въ томъ страстномъ отношеніи къ своему спеціальному предмету, которое заставляетъ его смотрѣть на весь Божій міръ подъ угломъ зрѣнія своей спеціальности, и въ стремленіи расширить ея компетенцію далеко за законные предѣлы". Въ связи съ этимъ, Михайловскій, въ отвѣтъ на слова нѣкоей Саши (героини романа „Мракъ"): „глупо быть честной одной, среди нечестныхъ людей"—обращается къ ней съ рѣчью, которую кончаетъ такъ: „Пожалуйте на вольный воздухъ себя показать и людей посмотреть. Не только свѣта, что въ окошкѣ, есть солнце на небѣ. Заинтересуйтесь хоть чѣмъ-нибудь, кругомъ люди живутъ,—живутъ и думаютъ, и чувствуютъ, и страдаютъ, и умираютъ, и любятъ, и радуются" (VI, 345). И эту же примѣрную тираду, говоритъ онъ, не мѣшало бы принять къ свѣдѣнію и самому автору.

Съ этимъ свѣтлымъ по настроенію и яснымъ по смыслу призывомъ Михайловскій постоянно обращался къ художникамъ.

Это приглашеніе выйти „на вольный воздухъ" и убѣдиться въ томъ, что есть „солнце на небѣ", сводилось къ предложенію взглянуть на дѣйствительность съ такой точки зрѣнія, чтобы человѣкъ въ его цѣломъ и весь Божій міръ не заслонялись отъ взора какой-нибудь спеціальной, узкой полосой дѣйствительности, тѣсно отгороженной отъ остального міра. Онъ считалъ, что искусство тогда только въ самомъ дѣлѣ отражаетъ жизнь и является вѣрнымъ ея представителемъ, когда оно примыкаетъ къ наиболѣе широкой совокупности интересовъ жизни. Для этого оно должно говорить и за личность въ ея цѣломъ—во всемъ объемѣ того, что доступно природѣ человѣка,—и за общество въ его цѣломъ, во всей ширинѣ того, что свойственно всѣмъ его классамъ, взятымъ вмѣстѣ. Когда оно этого не дѣлаетъ, оно впадаетъ въ односторонность и мелочность изображенія, въ поверхностность и грубость образовъ.

Иллюстраціей односторонняго отлученія эстетическихъ интересовъ отъ остальныхъ интересовъ жизни можетъ служить дѣнди, когда онъ наслаждается видомъ египетскаго саркофага, который онъ ставитъ въ видѣ пресспалье на свой письменный столъ, или дама, которая восхищается французской поддѣлкой подъ турецкую шаль. „Мы смѣемся надъ дикарями,—говоритъ Михайловскій,—которые съ гордостью носятъ европейскій мундиръ на голомъ тѣлѣ или цилиндрическую шляпу при костюмѣ Адама". Но эти европейскія вещи говорятъ дикарямъ о величіи, могуществѣ европейцевъ, о необходимости усвоить себѣ ихъ преимущества и т. п. И мундиръ, и цилиндрическая шляпа для нихъ представляютъ нѣкоторые символы. Мы же окружаемъ себя вещами, имѣющими для

насть исключительно эстетическое значеніе“ (II, 529—30). И въ этихъ случаяхъ наши эстетическіе интересы и искусство, которое стремится имъ служить, запечатлѣны характеромъ поверхностности. При первомъ же соприкосновеніи съ дѣйствительными духовными интересами человѣка, созданія такого искусства получаютъ принадлежащее имъ болѣе чѣмъ скромное мѣсто. Къ этой же категоріи, хотя всетаки не въ такой степени, Михайловскій относитъ и такія разновидности эстетическихъ наслажденій, какъ впечатлѣнія отъ красоты женскаго тѣла, изящнаго или богатаго наряда, а отчасти даже и отъ пейзажа *).

Однако эстетическіе интересы могутъ даже тогда, когда они довольно полно отвѣчаютъ суммѣ интересовъ личности, всетаки быть узкими и не соответствовать высшимъ требованіямъ эстетическаго вкуса. То, что было такъ широко для древней Греціи, говоритъ Михайловскій по поводу „греческихъ“ стихотвореній Щербини, было слишкомъ узко для второй половины XIX вѣка, и талантливый, чуткій человѣкъ не могъ навѣки погрязнуть въ красотахъ древне-греческой поэзіи. И въ поясненіе этого Михайловскій приводитъ слѣдующія соображенія.

„Древній грекъ, художникъ по преимуществу, преклонялся предъ красотою Фидіева созданія, преклонялся не передъ одной красотой, и дрожала въ немъ не только эстетическая струнка. Онъ преклонялся въ статуѣ, въ картинѣ, въ поэтическомъ произведеніи передъ всѣмъ строемъ античной жизни. Онъ чуялъ въ нихъ и отблескъ своей гражданской и политической свободы, и рабства ⁴/₅ населенія всей Греціи. Да, въ статуѣ Фидіи и въ картинѣ Апеллеса отразилось это рабство, ибо оно составляло одно изъ условій ихъ созданія. Отсюда слѣдуетъ, что Фидій и Апеллесъ умѣли говорить за другихъ, но эти другіе составляли лишь одну пятую долю ихъ соотечественниковъ. Мысли, чувства и, главное, интересы только этой дроби формулировали они въ своихъ прекрасныхъ образахъ. Рабъ ихъ не понималъ, не могъ понимать, не хотѣлъ, да и они не хотѣли, чтобы онъ ихъ хоть когда-нибудь понялъ, потому что, пойми онъ ихъ, греческой культурѣ конецъ. Пойми онъ, какое оскорбленіе, какая несправедливость въ нему кроется въ каждомъ изгибѣ тѣла прекрасной статуи,—эту статую постигла бы участь Вандомской колонны. Божественный ликъ Сикстинской Мадонны вонючій и развратный рабъ изрѣжетъ ножомъ,—съ негодованіемъ говоритъ одинъ изъ героевъ „Бѣсовъ“ Достоевскаго. „Я понимаю—говоритъ Михайловскій—это негодованіе, но понимаю и раба, хоть, конечно, не этимъ путемъ достигнется его нравственная и физическая чистота.

*) Относительно пейзажа у Михайловскаго былъ, однако, особенный взглядъ. Онъ видѣлъ въ немъ „символь и одно изъ условій одиночества“. См. Соч. VI, 942.

Но всетаки его движениѣ такъ понятны. Ламартинъ еще въ сороковыхъ, помнится, годахъ предсказывалъ разрушеніе, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, Вандомской колонны. А вѣдь не Богъ знаетъ какой пророкъ былъ. А Прудонъ по этому поводу спойнойно замѣтилъ: да, вотъ тоже ваши произведенія будутъ изорваны" (II, 610).

Какъ видитъ читатель, передвиженіе и расширеніе общественнаго круга, въ которомъ отражается творчество художника, является коррективомъ—иногда, можетъ быть, своеобразнымъ по формѣ, но далеко не лишеннымъ значенія, — въ оцѣнѣ эстетическихъ вкусовъ и тенденцій. Положительное значеніе этого корректива заключается въ расширеніи круга, за который и къ которому говорить художникъ. И именно съ этой точки зрѣнія Михайловскаго такъ настойчиво интересовали въ художественномъ творествѣ мотивы „чести“ и „совѣсти“, „отвѣтственности“ и человѣческаго достоинства. Къ нимъ его влекла не точка зрѣнія моралиста, котораго мало трогаетъ все прочее въ жизни. Имъ руководила точка зрѣнія чловѣка, который выше всего цѣнитъ полноту и цѣлостность чловѣческаго существованія. А требованія чловѣческаго достоинства являются силами, которыми свойственно раздвигать предѣлы сочувственнаго опыта и тѣмъ самымъ объемъ личнаго существованія. Они дѣлаютъ личную жизнь полнѣе, ярче, богаче, многостороннѣе. Они одновременно и судятъ, и освѣщаютъ личное существованіе при содѣйствіи перспективъ общественныхъ интересовъ. И въ этомъ заключается ихъ значеніе для искусства.

Любопытная въ этомъ смыслѣ формула дана Михайловскимъ въ очеркахъ „Въ Перемежку“. „Искусство, говоритъ онъ здѣсь, есть своего рода гласный нравственный судъ“ (IV 277). Къ этой формулировкѣ въ ея общемъ видѣ онъ вернулся черезъ двадцать лѣтъ, найдя себѣ поддержку у Ибсена. Ибсенъ въ одномъ стихотвореніи говоритъ: „творить—значить совершать судъ надъ собой“. И объясненіемъ этой мысли является слѣдующее его заявленіе въ рѣчи къ норвежскимъ студентамъ: „частью мое творчество направлялось тѣмъ, что шевелилось во мнѣ лишь минутаи и въ лучшіе мои часы, какъ нѣчто великое и прекрасное. И влагалъ въ свое творчество то, что, такъ сказать, стояло выше моего обыденнаго „я“, и я прибѣгалъ къ этому для того, чтобы лучше сохранить его внѣ себя и въ себѣ самомъ. Но въ свое творчество я вкладывалъ и какъ разъ противоположное, то, что при углубленіи въ себя самого представляется намъ отбросами и подонками соботвенной души. Въ этомъ случаѣ я смотрѣлъ на творчество, какъ на омовеніе, коелъ котораго чувствовалъ себя чище, здоровѣе и свободнѣе“. (Отклики, II, 34).

Михайловскій, сопоставляя эти слова Ибсена съ нѣкоторыми фактами русской литературы, съ своей стороны выражаетъ ту же

мысль такъ: „художникъ сознательно или безсознательно отмѣчаетъ высшіе и низшіе моменты своей собственной души, отмѣняя ими обыденную жизнь, отдыхая на высшихъ и казнясь на низшихъ“.

Въ этомъ освѣщеніи художественнаго творчества получается интересное переплетеніе нравственныхъ мотивовъ съ художественными, сопоставленіе мотивовъ личной психики на фонѣ требованій и запросовъ общественной жизни. Съ этой точки зрѣнія, въ искусствѣ общія условія жизни освѣщаются и отмѣняются интимными, живыми ощущеніями личности. А личность, въ свою очередь, стремится провѣрить себя общими условіями жизни, подвергаетъ себя ихъ суду. И комбинація этихъ двухъ стремленій обладаетъ способностью дѣлать содержаніе жизни „чище, здоровѣе и свободнѣе“.

Именно это ощущеніе въ полной мѣрѣ испытываетъ каждый, кто ближе ознакомится съ совокупностью литературныхъ и художественно-критическихъ работъ Михайловскаго, или хотя бы съ такими крупными критическими статьями, какъ статьи объ Успенскомъ или Щедринѣ. Къ нимъ примыкаютъ въ этомъ отношеніи высоко-интересныя воспоминанія и характеристики, посвященныя такимъ лицамъ, какъ Успенскій же и Салтыковъ, Елисеевъ, Некрасовъ, Шелгуновъ, Ярошенко, Манассеинъ, и другія. Съ ними же близко соприкасается по своему общему смыслу рядъ замѣчательныхъ образовъ въ очеркахъ подъ заглавіемъ „Въ Перемежку“. Во всѣхъ этихъ фигурахъ примѣчательно то, что въ нихъ рисуется душевная красота, какъ нѣчто очень высокое, оригинально-личное, и въ то же время — очень простое и естественное, настолько непринужденное, что кажется чѣмъ-то само собой понятнымъ. Это ощущеніе есть то самое впечатлѣніе „простоты“ и „легкости“, о которомъ, какъ приведено выше, — говорилъ Успенскій. И въ это ощущеніе, въ качествѣ глубоко оригинальной и въ то же время естественной составной части, входитъ гармоническое соотвѣтствіе между личнымъ міромъ и остальной дѣйствительностью, тѣсное переплетеніе и проникновеніе между „своимъ“ и „не своимъ“.

А. Красносельскій.

Памяти Н. К. Михайловскаго.

I.

Безумная надежда въ грудь стучится,
Что ты опять появишься средь насъ...
Съ тяжелой думою, что ты навѣкъ угасть,
Не хочетъ сердце помириться!

На мигъ хоть ласковой мечтою
Больное сердце обмануть,
Что ты, измученный борьбою,
Прилежъ на время отдохнуть.

Я напрягаю слухъ болѣзненно и страстно,
Я жду съ мучительной тоской—
Не прозвучитъ ли вдругъ, какъ прежде, смѣло, ясно
Вновь вдохновенный голосъ твой!
Въ святой борьбѣ за счастье отчизны
Съ могучимъ гнетомъ злобныхъ силъ
Тебя не слышу я, учитель свѣтлый жизни,—
И жду, и жду, родной, чтобъ ты заговорилъ!..

С. Синегубъ.

II.

Мгла и ненастье... Равнина безъ края..
—Пахарь и сѣятель мысли свободной!
Не отдыхая, прошелъ ты свой путь,
Грудью больной на соху налегая.
Отъ каменистой пустыни холодной
Много толчковъ приняла твоя грудь!

Рано ты вышелъ и долгіе годы
Шелъ все впередъ. И давно уже иней
Посеребрилъ твои кудри... И вотъ —
Радостный видъ! — изобильные всходы
Зашелестѣли надъ мертвой пустыней...
Съ свѣтлой улыбкой пошелъ ты впередъ.

Чудилось — близко ужъ... Прибыло силы...
Съ трепетныхъ устъ „отпускаеши нынѣ“
Было готово сорваться... Увы!
Мигъ — и покрылъ тебя сумракъ могилы...
Поздно! Великая вѣсть благостыни
Не приподыметъ твоей головы!

Вновь небеса потемнѣли надъ нивой,
Туча ее облегла грозовая...
Холодомъ вѣетъ и градомъ грозить...
Мрачно и жутко... О, Боже правдивый!
Пусть непогода развѣется злая,
Всходы живые пускай пощадить!

А. Гуновскій...

Н. К. Михайловскій, какъ публицистъ-гражданинъ.

Прошелъ уже годъ, какъ смерть сломала перо одного изъ величайшихъ сыновъ пореформенной Россіи. Теперь мы отошли на достаточное разстояніе отъ свѣжей могилы Михайловскаго, чтобы оцѣнить надлежащимъ образомъ значеніе покойнаго и, стало быть, тяжесть потери, понесенной русскою литературою и русскою общественною жизнью. Какъ чувствуется отсутствіе этого удивительно сильнаго писателя, чувствуется особенно въ послѣдніе мѣсяцы, когда нашей печати стало возможнымъ хоть отъ времени до времени издавать, не скажу вполне, но, по крайней мѣрѣ, полу-членораздѣльные звуки. Михайловскому было бы что сказать, а русской публикѣ было бы что послушать. Мысленно представляешь себѣ, какія сверкающія энергіей ума и чувства статьи вылились бы изъ подъ пера Михайловскаго теперь, когда Россія переживаетъ безпримѣрные по историческому значенію дни, напоминающіе крымскую войну и Севастополь, когда „молчаніе твари на воѣхъ языкахъ“ становится невозможнымъ даже въ нашей жалкой подневольной прессѣ...

Чѣмъ больше я вдумываюсь въ личность такъ не ко времени исчезнушаго писателя, тѣмъ сильнѣе она поражаетъ меня своею многосторонностью и вмѣстѣ единствомъ, дѣлающимъ изъ нея великолѣпный образчикъ человѣка въ лучшемъ смыслѣ этого слова, какъ понималъ его хотя бы великій Шекспиръ:

His life was gentle; and the elements
So mix'd in him, that Nature might stand up,
And say to all the world—This was a man!

Да, „прекрасна была жизнь“ Михайловскаго въ его вѣрномъ и неустанномъ служеніи идеѣ! И „въ немъ элементы были такъ гармонично смѣшаны“, что „природа“, создавшая эту разностороннюю и въ то же время цѣльную личность, „могла бы“ съ гордостью „подняться и сказать всему свѣту: то былъ человѣкъ!“ Этотъ писатель наложилъ яркую печать своей индивидуальности

на всѣ сферы своей литературной дѣятельности: философскую, научную, критическую, публицистическую. И всѣ эти области были у него связаны одною идеею: культомъ человеческой личности, всесторонне развивающейся внутри солидарнаго общества. Однако само раннообразіе писательской дѣятельности покойнаго заставляетъ меня въ этой статьѣ остановиться лишь на одной изъ такихъ сферъ. Я разсматриваю здѣсь Михайловскаго исключительно какъ „публициста-гражданина“, т. е. оцѣниваю его значеніе для общественно-политической жизни страны.

Два соображенія побудили меня взяться за тему статьи. Во-первыхъ, самая важная вещь для общества людей это жить, т. е. вырабатывать возможно совершенныя формы коллективнаго союза между членами, а затѣмъ уже философствовать, заниматься наукой, предаваться эстетическому творчеству, — словомъ, *primus vivere, deinde philosophari*. Во-вторыхъ, на общественно-политической сторонѣ литературной дѣятельности Н. К. Михайловскаго останавливались, какъ мнѣ кажется, очень мало; а между тѣмъ часто ли встрѣчаются писатели, которыхъ бы болѣе проникало горячее трепетаніе жизни даже въ самыхъ отвлеченныхъ и философскихъ вопросахъ?

Задача моя, будетъ выполнена, если читатель, кончивъ эту статью, раздѣлитъ мое чувство идейнаго энтузіазма къ человѣку, который, не выходя изъ предѣловъ литературы, сумѣлъ всю свою жизнь служить высшимъ цѣлямъ своей родной страны и всего человечества.

Лично я обязанъ очень многимъ Н. К. Михайловскому: на его сочиненія я пробуждался къ сознательной жизни; и онъ былъ, на ряду съ Чернышевскимъ, Лавровымъ, Лассалемъ, Марксомъ, однимъ изъ немногихъ „добрыхъ учителей“, которые оставили наиболѣе прочный слѣдъ на моемъ мировоззрѣніи въ періодъ его выработки. Немудрено, что и позже, когда подробности этого мировоззрѣнія выяснялись путемъ болѣе обширнаго чтенія и прямого наблюденія надъ жизнью, я много разъ возвращался мыслію къ человѣку, бывшему однимъ изъ моихъ духовныхъ отцовъ. Въ особенности часто меня занималъ при этомъ вопросъ: что было бы съ Михайловскимъ и чѣмъ былъ бы онъ, если бы родился и дѣйствовалъ не въ Россіи, а въ Западной Европѣ? Всегда, конечно, есть много гипотетическаго въ варіаціяхъ на тему:

„Онъ въ Римѣ былъ бы Брутъ, въ Афинахъ Периклесь“...—

Но одно можно предположить съ значительною вѣроятностью: въ противоположность поговоркѣ о безрыбѣ и безлюдѣ, настоящій свой ростъ и освѣщеніе фигура Михайловскаго получила бы лишь при болѣе развитыхъ условіяхъ общественности, лишь тамъ, гдѣ пульсъ коллективной жизни бьется скорѣе и полнѣе, гдѣ больше личностей участвуютъ въ сознательномъ процессѣ

соціального творчества. Человѣкъ, въ которомъ такъ тѣсно и оригинально сплелись интересы отвлеченной мысли и интересы непосредственной жизни, произвелъ бы неизмѣримо большее дѣйствіе на общечеловѣческій прогрессъ, живи онъ среди такой дѣйствительности, которая позволила бы ему вполне удовлетворять двумъ основнымъ потребностямъ своей натуры. Помните могучія и благородныя слова литературной исповѣди, къ которой Михайловскій былъ вынужденъ прибѣгнуть въ отвѣтъ на нападенія одного сердитаго, но слабосильнаго критика:

Разно меня называютъ, но меня самого никогда не интересовало, къ какому я вѣдомству причисленъ. Тѣ небольшія достоинства, которыя признаетъ за мной критикъ, конечно, позволили бы мнѣ... успокоиться на области теоретической мысли. Къ этому, признаться, и тянуло меня часто; потребность теоретическаго творчества требовала себѣ удовлетворенія, и въ результатъ являлось философское обобщеніе или социологическая теорема. Но тутъ же, иногда среди самого процесса этой теоретической работы, привлекала меня къ себѣ своею ярко и шумною пестротой, всею своею плотью и кровью житейская практика сегодняшняго дня, и я бросалъ высоты теоріи, чтобы черезъ нѣсколько времени опять къ нимъ вернуться и опять бросить. Но все это росло изъ одного и того же корня, все это связалось такъ жизненно тѣсно въ одно, можетъ быть, странное и неуклюжее цѣлое, что вотъ я не могу исполнить желаніе критика: „распредѣлить матеріалъ по предметамъ и исключить все лишнее“.. Отсюда же и вся моя неумѣренность и неаккуратность... *)

Я думаю, трудно срисовать съ самого себя болѣе вѣрный психологическій портретъ. Дѣйствительно, что оскорбляетъ, возмущаетъ, сбиваетъ съ толку умѣренныхъ и аккуратныхъ критиковъ Н. К. Михайловскаго, это сильный, какъ стихія, но и какъ стихія же непокорный потокъ мысли, въ которомъ борются, временно соединяются и снова вступаютъ въ борьбу за преобладаніе два одинаково могучія теченія: ясный океанъ теоретической мысли, заключающій въ своей безбрежной поверхности отраженіе всѣхъ явленій жизни и идей, и бурливо вливающаяся въ него исполинская рѣка дѣйствительности, которая прорывааетъ въ своемъ бѣгѣ все разнообразіе, всю толщу житейскихъ вопросовъ, задачъ и коллизій и катитъ свои волны, замутненные кровью, грязью, слезами, потомъ живыхъ людей, но и скрашенные цѣлыми островами, цѣлыми оазисами цвѣтовъ поэзіи и идеала. И вотъ, только что усядется въ бумажномъ кораблѣкъ умѣренное и аккуратное существо и вооружится различными инструментами для опредѣленія цвѣта воды, глубины, содержанія соли въ океанѣ — вдругъ трахъ! — своевольный потокъ дѣйствительности ворвался, шумя, сверкая и гнѣвно пѣнясь, въ еще столь недавно спокойное море. И — смотришь — къ чорту кораблѣкъ, ко дну инструменты, а самъ изслѣдователь барахтается въ

*) См. стр. VI предисловія къ первому тому „Сочиненій“ (изд. „Русскаго Богатства“).

волнахъ, проклиная ихъ капризный, неразмѣренный, — однимъ словомъ, „ненаучный“ бѣгъ...

Впрочемъ, надо разсуждать по человѣчеству: если умѣренные и аккуратные критики грѣшатъ противъ основного требованія литературной оцѣнки, отказываясь прежде всего войти, проникнуть въ характеръ разбираемаго ума, то мы-то, наоборотъ, можемъ понять ихъ затрудненія и даже принять болѣе или менѣе близко къ сердцу ихъ горести, стараясь перенестись въ ихъ душу и понять ихъ психологію. Дѣйствительно, заключивъ себя въ рамки этого узкаго, но строго опредѣленнаго горизонта, мы можемъ признать, что литературная дѣятельность Михайловскаго носила бы болѣе законченный, болѣе стройный характеръ, если бы этотъ авторъ могъ отказаться отъ свойственной ему манеры обрабатывать одновременно, „въ перемежку“ и въ переплетъ, двѣ стороны „правды“, правду-истину и правду-справедливость... *) Да, но какъ „мочь“, когда, по волѣ богини Необходимости, Н. К. Михайловскому суждено было жить и дѣйствовать среди русскихъ общественныхъ условій, которыя фатально способствуютъ развитію у всякаго писателя-человѣка публицистической стороны и примѣшиванію ея къ самымъ, казалось бы, отвлеченнымъ вопросамъ мысли и требованіямъ эстетическаго творчества.

У Анатоля Леруа-Больё, рядомъ со многими поверхностными, плоско-либеральными и неумными замѣчаніями о Россіи, встрѣчаются, однако, вѣрныя мысли, подсказываемыя наблюдателю самымъ контрастомъ русской жизни и западно-европейской. Въ числѣ этихъ замѣчаній находится объясненіе публицистическаго, „политическаго“ элемента, встрѣчаемаго столь часто въ русской беллетристикѣ: по мнѣнію Леруа-Больё иначе и быть не можетъ при нашихъ условіяхъ дѣйствительности, мѣшающихъ писателю проводить свои идеалы непосредственно въ жизнь. Но желаніе видѣть свои стремленія осуществленными въ процессѣ общественнаго творчества есть одно изъ законнѣйшихъ желаній всякаго живого человѣка:

Гони природу въ дверь, она влетитъ въ окно,

и русскій писатель, часто даже безсознательно, — не говоря уже о сознательномъ планѣ, — гораздо охотнѣе, чѣмъ западно-европеецъ, превращаетъ своихъ героевъ и героинь (или, если то мыслитель, свои общія идеи) въ носителей своихъ политическихъ идеаловъ.

*) Я замѣтилъ какъ-то въ одномъ изъ писемъ къ Николаю Константиновичу, что близкое родство истины и справедливости схвачено уже въ античномъ мірѣ Присцианомъ, который прямо говоритъ, что римляне часто употребляютъ *justum* и *verum* одно вмѣсто другого, какъ греческіе аттики *δίκαιον* и *ἀληθές*. Въ отвѣтъ мнѣ Михайловскій обѣщалъ коснуться при случаѣ этого любопытнаго, по его мнѣнію, сближенія въ приемахъ античнаго и русскаго мышленія. Но, если не ошибаюсь, не привелъ въ исполненіе этого намѣренія.

Какъ же могло быть иначе съ Михайловскимъ, у котораго работа мысли направлена по преимуществу въ сторону общественно-философскихъ построений? Тутъ-то будетъ какъ нельзя болѣе кстати нарисовать гипотетическій образъ нашего автора, родившагося и дѣйствующаго среди западно-европейскихъ условий. Настоящая сознательная жизнь Н. К. Михайловскаго начинается, судя по его литературнымъ воспоминаніямъ, съ первой половины шестидесятихъ годовъ, къ концу которыхъ онъ вырабатываетъ въ общихъ чертахъ все свое мировоззрѣніе, отличающееся уже въ этотъ моментъ такою опредѣленностью, что дальнѣйшая умственная дѣятельность пойдетъ лишь на выясненіе второстепенныхъ частности. Но этотъ періодъ характеризуется въ экономической жизни западной Европы небывалымъ расцвѣтомъ капиталистическаго производства, лихорадочной спекуляціей господствующихъ классовъ, которая была прервана лишь на время хлопчатобумажнымъ кризисомъ; а въ политической и идейной, — послѣ реакціи начала 50-хъ годовъ, — отмѣчается выработкой ищанскаго міросозерцанія на основѣ успѣховъ естествознанія и перенесенія теоріи борьбы за существованіе изъ міра зоологій въ міръ социологій, равно какъ половинчатой борьбой противъ клерикализма и цезаризма со стороны третьяго сословія, которое боится слишкомъ далеко зайти въ этой либеральной кампаніи, безпокойно вглядываясь въ смѣлые аллюры слѣдующаго за нимъ сословія. Между тѣмъ этотъ послѣдній классъ вноситъ больше сознанія въ свое мировоззрѣніе, заполняя болѣе реальнымъ пониманіемъ экономическихъ и политическихъ условий развитія въ общемъ вѣрныя, но чересчуръ абстрактныя формулы социализма 40-хъ годовъ; а въ практической жизни впервые создаетъ организацію всемірнаго труда, не обращающаго вниманія на цвѣтъ пограничныхъ столбовъ и языкъ людей...

Какую крупную роль могъ бы сыграть при этихъ условіяхъ молодой Михайловскій, направляя могучій потокъ своей мысли по двумъ сообщающимся, но различнымъ каналамъ, т. е. и работая на поприщѣ абстрактной науки, и плѣсообразно тратя свой общественный пылъ, свой гражданскій энтузіазмъ на аренѣ политической борьбы! Въ самомъ дѣлѣ, возьмите сферу отвѣченной науки: въ то время, какъ буржуазная интеллигенція, — въ лицѣ г-жъ Ройе, Густавовъ Іегеровъ, Геккелей, Спенсеровъ, — то съ каинимъ-то свирѣпымъ кокетствомъ исповѣдуетъ евангеліе зоологической грызни между людьми, то, сыто улыбаясь, развиваетъ теорію объективнаго прогресса на основаніи безконечной „эволюціи“ и „перехода отъ простаго къ сложному“, теоретическіе выразители четвертаго сословія разрабатываютъ почти исключительно экономическіе и социальнo-политическіе вопросы и за малыми исключеніями неохотно и лишь мимоходомъ ступаютъ на почву естественныхъ наукъ. Но именно здѣсь-то, — здѣсь, говорю я, — Михай-

ловскій поднялъ бы брошенную буржуазіей перчатку мнимой научности и въ рядѣ строго научныхъ, цѣльныхъ, исполненныхъ фактами и оригинальными идеями трудовъ развилъ бы то, что лишь обозначено глубоко прорѣзанными, но прерывающимися контурами въ его этюдахъ „Что такое прогрессъ“, „Теорія Дарвина и общественная наука“, „Борьба за индивидуальность“ и т. д.,—этюдахъ, испещренныхъ всевозможными жизненными отступленіями, экскурсіями, зигзагами нетерпѣливой, столь же теоретизирующей, сколько практически-воинствующей мысли. Такимъ образомъ, уже въ шестидесятыхъ годахъ четвертое сословіе Европы знало бы, что именно строгое естествознаніе осуждаетъ всѣ эти „эволюціи“ и „прогрессы“, увѣковѣчивающіе современное раздѣленіе труда между индивидуумами и классами, низводящіе живого человѣка на степень простой безсмысленной гайки въ сложной машинѣ общественного организма. Вмѣстѣ съ тѣмъ оно знало бы, что выставленная его истолкователемъ объективная формула общественного прогресса—цѣлостность личности, орудующей всѣми своими органами, и солидарность общества, сводящаго до минимума раздѣленіе труда между своими членами—есть вмѣстѣ съ тѣмъ субъективная истина даннаго періода, „господствующая идея“ четвертаго сословія, являющагося центромъ и фокусомъ современной жизни. Безсовѣстнымъ дарвинятамъ и „спенсеровымъ дѣтямъ“, кокетничающимъ звѣриной борьбой между людьми и яко бы необходимой кристаллизацией занятій въ обществѣ, былъ бы зажатъ ротъ социальнымъ авгуровъ и выщипаны крылья лже-науки именно въ той области, которую они избрали ареной своихъ буржуазныхъ подвиговъ. И центромъ жизненной философіи явилась бы современная человѣческая „индивидуальность“, борющаяся въ союзъ съ подобными себѣ за идеалы справедливѣйшаго общежитія и знающая, что въ концѣ концовъ ея нормальныя личныя стремленія найдутъ удовлетвореніе на объективной основѣ развитія технологіи, которая именно и дастъ возможность осуществиться „прогрессу“, этому,—согласно формулѣ Михайловскаго,—„постепенному приближенію къ цѣлостности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми“. Я, конечно, отказываюсь продолжать въ деталяхъ это гипотетическое построеніе научной дѣятельности Михайловскаго въ Европѣ; не могу, однако, не указать, какимъ цѣннымъ вкладомъ въ общественную психологію была бы хотя теорія „героевъ и толпы“, лишь одинъ обломъ которой—„подражаніе“—доставилъ такую извѣстность Тарду, какъ социологу...

Но выработка научныхъ теорій, критически связывающихъ естественныя и общественныя науки, заняла бы лишь одну часть жизни Михайловскаго. Другая—и, вѣроятно, не меньшая—доля его существованія прошла бы въ кипучей политической дѣятельности,

среди разнообразныхъ комбинацій которой онъ могъ бы удовлетворить всевозможнымъ велѣніямъ того демона или, если хотите, того генія общественности, что своимъ властнымъ голосомъ заставлялъ писавшаго въ Россіи Михайловскаго прерывать строго-научную статью или изукрашать ее причудливыми арабесками гнѣва, любви, проклятій, благословеній, трактуя съ тѣмъ же идейнымъ пафосомъ о малѣйшемъ жизненномъ фактѣ, какъ и о носящемся въ воображеніи мыслителя грандіозномъ научномъ обобщеніи.

Перомъ и словомъ Михайловскій служилъ бы доблестно и неустанно той политической партіи, которую бы онъ сознательно избралъ во имя своего теоретическаго мировоззрѣнія и общественныхъ идеаловъ и въ рядахъ которой онъ занималъ бы исключительное мѣсто. Дѣло шло бы о приложеніи къ практикѣ тѣхъ могучихъ теоретическихъ идей, которыя въ строго научной формѣ мыслитель развилъ бы въ своихъ многочисленныхъ трудахъ, ибо много—увы!—„ненаписанныхъ книгъ“ было бы тогда написано. Дѣло шло бы о томъ, чтобы ежедневно, ежечасно откликаться на запросы дѣйствительности и активно вмѣшиваться въ ея ходъ, защищать друга, нападать на врага, проводить политическую партію цѣлою, невредимою и все усиливающеюся среди подводныхъ камней, враждебныхъ теченій, обманныхъ знаковъ пиратовъ. Тотъ неподражаемый талантъ полемиста, который испытали на своихъ доспѣхахъ, а то и просто бокахъ, безчисленные теоретическіе и жизненные противники Михайловскаго, получилъ бы надлежащее приложеніе и развернулся бы во всей полнотѣ на широкой аренѣ политической дѣятельности, которая только и позволяетъ большому кораблю большое плаваніе. А то извольте воевать съ гг. Бурениными, Марковыми и Аверкіевыми, и при этомъ воевать не въ открытомъ бою, а гдѣ-то въ закоулкѣ, въ глухую осеннюю ночь, когда какой нибудь бдительный стражъ, вмѣсто виѣспартійнаго бовпристрастія, самъ отъ времени до времени подаетъ своей алембардой знакъ къ нападенію на васъ же разныхъ „средиземныхъ эскадръ“ и одомашненныхъ жучекъ съ ошейниками или добровольно свирѣпствующихъ псовъ.

И, однако, воздадимъ благодарность богинѣ Необходимости, заставившей Михайловскаго родиться, жить и дѣйствовать не въ западной Европѣ, а въ Россіи: тѣмъ хуже было для него, но тѣмъ лучше для насъ! Пусть тѣсно становилось этому крупному чело-вѣку въ дѣтскихъ латахъ, которыя подавали поводъ умѣреннымъ и аккуратнымъ критикамъ совѣтовать задыхавшемуся порою борцу за правду обрубить все, что не вмѣщалось въ доспѣхахъ ребенка. Намъ долго еще будутъ нужны большіе люди, страдающіе за насъ и поучающіе насъ... Посмотримъ же, чему училъ насъ не гнѣотическій западно-европейскій, а живой русскій Михайловскій въ теченіе чуть не сорока пяти лѣтъ, т. е. трижды того великаго въ жизни чело-вѣка промежутка времени—*grande mortalis aevi spa-*

тиш, — о которомъ говоритъ Тацитъ. Какова была роль Михайловскаго, какъ публициста-гражданина?

Для удобства изложенія я сейчасъ же отвѣчу на этотъ вопросъ, а затѣмъ лишь перейду къ подробностямъ. Н. К. Михайловскій являлся все время чуткимъ выразителемъ и философскимъ обоснователемъ общественныхъ стремленій наиболее передовой части русской интеллигенціи, активно вліяющей на ходъ прогресса. При этомъ онъ смотрѣлъ настолько шире и дальше всей этой группы, взятой въ ея цѣломъ, что въ данный моментъ та или другая фракція ея — иногда меньшая, иногда большая — считала своимъ долгомъ быть несогласной съ Михайловскимъ, ополчалась, по недоразумѣнію, противъ мыслителя-публициста и той группы, которую онъ ближе выражалъ; а потомъ, послѣ нѣсколькихъ эпизодовъ этой братоубійственной „вражды войны“, оказывалась присоединившейся къ авангарду прогрессивной арміи, уже подвергающейся новымъ „разногласіямъ“. Я говорю это не съ чужого голоса, а по собственному опыту и личнымъ воспоминаніямъ: и мнѣ казалось, что въ тѣ или другія времена Михайловскій не выражалъ вполнѣ моихъ желаній и идеаловъ; это же, хотя пріурочивая къ инымъ временамъ, скажутъ другіе русскіе люди, принимавшіе живое участіе въ общественной жизни.

Не надо только забывать, что, если мыслитель-публицистъ выражалъ и философски обосновывалъ стремленія людей прогресса, то первоначальный толчокъ къ этой руководительной дѣятельности онъ получалъ именно отъ общаго настроенія слѣдующаго за нимъ авангарда. Н. К. Михайловскій былъ человѣкомъ, какъ и всѣ мы, и какъ таковой не творилъ изъ ничего; но, словно увеличительное стекло, онъ концентрировалъ разсѣянные въ обществѣ лучи сознанія и, словно увеличительное же стекло, зажигалъ... Хотя литература являлась, по русскимъ политическимъ условіямъ, исключительною и любимую цѣлью существованія Михайловскаго, силу и идейный огонь энтузіазма этотъ писатель бралъ у всѣхъ насъ, у меня, у васъ, дорогой читатель и единомышленникъ, у всякаго, кто стремится сознательно участвовать въ исторической жизни страны, а не метаться изъ стороны въ сторону и не вертѣться, какъ флюгеръ, по волѣ капризныхъ вѣтровъ Сѣвера, навѣвающихъ оттепели за мятелями и мятели за оттепелями. Корни литературы Михайловскаго лежатъ въ „жизни“, или, употребляя извѣстную формулу, его „сознаніе“ вытекаетъ изъ нашего „бытія“. Поэтому я попрошу читателя, когда я буду говорить о той или другой полосѣ литературной дѣятельности публициста-гражданина, постоянно держать въ умѣ, передъ своими духовными очами, картину соотвѣтствующаго общественнаго движенія, и не только картину вообще, а и ея детали, въ которыя я, къ сожалѣнію, не

могу входить здѣсь. Пусть читатель и для своего собственнаго поученія обращаетъ вниманіе на эпоху написанія той или другой статьи Михайловскаго и мысленно заглядываетъ при этомъ въ мартирологъ русской общественной жизни. Говорю „мартирологъ“ потому, что человѣческая исторія вообще есть до сихъ поръ повѣсть о страданіяхъ безсмертной Идеи общественной солидарности, ищущей все болѣе и болѣе подходящихъ формъ и носителей для своего окончательнаго выраженія и торжества. А мы, русскіе, не только не составляемъ исключенія изъ этого общаго правила, какъ бы ни лгали на этотъ счетъ наши націоналисты, самобытники и торгаши „потребителескимъ“ дурманомъ, но истязаемъ Идею скорпіонами тамъ, гдѣ другіе истязали ее лишь бичами...

Мы во второй половинѣ 60-хъ годовъ... Тяжелая пора! „Аннибалова клятва“ освобожденія крестьянъ перестала служить объединяющимъ знаменемъ для лучшихъ русскихъ людей, которые всего нѣсколько времени тому назадъ забывали изъ за этого великаго общаго дѣла разъединявшіе ихъ сѣрые, розовые, красные оттѣнки общественно-политическихъ идеаловъ. Рабство пало, — слишкомъ поздно, по мнѣнію однихъ, слишкомъ рано, по мнѣнію другихъ. Связь съ рухнувшимъ крѣпостничествомъ была порвана, — не достаточно рѣзко, по мнѣнію первыхъ, черезчуръ радикально, по мнѣнію вторыхъ. Народная жизнь была переставлена съ фундамента подневольнаго труда на фундаментъ труда свободнаго. Но увы! какъ сильно была сужена при этомъ экономическая поверхность этого фундамента: идеаль передовыхъ людей — „освобожденіе крестьянъ съ землей“ — перешелъ въ дѣйствительность съ такими урѣзками и искаженіями, что сейчасъ же началась борьба между правымъ и лѣвымъ крыльями освободительной арміи за наилучшее устройство жизни освобожденнаго народа. вмѣстѣ съ тѣмъ знамена различныхъ фракцій развернулись и стали враждебно другъ противъ друга, а оттѣнки общаго міровоззрѣнія каждой фракціи приобрѣли болѣе яркій и опредѣленный колоритъ: сѣрые такъ посѣрѣли, что ихъ знамя трудно было отличить отъ грязнаго знамени мракобѣсцевъ и крѣпостниковъ; розовые или перешли въ сѣрые, или приблизились къ краснымъ; красные вызвали своимъ рѣзкимъ цвѣтомъ бѣшенство защитниковъ стараго строя, и изъ устъ тѣхъ борцовъ лѣваго крыла, что были послабѣе, вырывалось нѣчто чрезвычайно похожее на прицѣвъ баллады:

Enfants, voici les boenfs qui passent,
Cachez vos rouges tabliers!..

И поколебалось передовое знамя, и было сломано лѣвое крыло... Какъ только еще столь недавно цѣльная оппозиція распа-

лась на враждовавшія части, сторонники павшаго режима подняли голову. Изъ экономически-соціальной посылки раскрѣпощенія народа и превращенія всего населенія въ людей не были сдѣланы обще-политическіе выводы. На новомъ гражданскомъ фундаментѣ стѣлы были выведены едва до половины, а отсутствіе крыши, этого „увѣичанія зданія“, дѣлало тѣмъ чувствительнѣе переходы отъ еле-еле пригрѣвающихся лучей высокаго, далекаго—и, охъ! какого своевольнаго солнца сѣвера къ сѣвернымъ же свирѣпымъ бурямъ и ливнямъ. Къ тому же историческая Немецка сдова снова бросила въ кровавый семейный споръ близкихъ родственниковъ, „кичливаго Ляха“ и „вѣрнаго Росса“, и дала поводъ общественной реакціи перейти отъ окраинъ къ центру; а вскорѣ пронесся и по всей Россіи мрачный ураганъ взаимнаго недоувѣрія, подозрѣній, обвиненій, срывая „невѣрные звуки“ даже со струнъ глубоко-демократической лиры Некрасова. То было время, когда передовая интеллигенція, лишенная „общенароднаго дѣла“, шла въ розсыпь и въ разбросъ, уныло дотягивая оставшуюся ей отъ блестящаго періода дѣятельности Писарева пѣсню о „личномъ совершенствованіи молодыхъ русскихъ людей обоаго пола“ *), между тѣмъ, какъ самъ вождь „мыслящаго пролетаріата“ и „трезвыхъ реалистовъ“ уже переживалъ новый нравственный кризисъ и, какъ кажется, задумывался надъ бесплодностью проповѣди того, если можно такъ выразиться, буржуазно-индивидуалистическаго радикализма, не имѣющаго широкихъ соціальныхъ цѣлей, который характеризуетъ „писаревщину“. Мнѣ, по крайней мѣрѣ, пришлось слышать отъ одного изъ старыхъ знакомыхъ Писарева расказъ о попыткѣ знаменитаго популяризатора изложить въ полубеллетристической формѣ содержаніе только что вышедшаго въ то время перваго тома „Капитала“. И мой собесѣдникъ передавалъ съ волненіемъ чарующее впечатлѣніе, которое производила на него теорія Маркса, неподражаемо переданная Писаревымъ въ „Разговорахъ въ зеленой комнатѣ“,—такъ назывался этотъ этюдъ, недоконченный и, повидимому, уничтоженный самимъ авторомъ въ припадкѣ меланхоліи...

Какъ бы то ни было, активная часть интеллигенціи переживала въ то время тяжелые дни, стараясь выработать соотвѣствующее общественнымъ задачамъ эпохи мировоззрѣніе, которое бы соединяло въ одно цѣлое мысль и жизнь, требованія строгой науки и проснувшуюся снова безмѣрную жажду жить и умереть за нравственно-соціальныи идеалъ. Для выполненія этой задачи надо было связать тогдашнюю работу мысли съ лучшими традиціями „Современника“, продѣлать операцію возвращенія къ дѣятельности Чернышевскаго и Добролюбова, но на основаніи увеличившейся и расширившейся потребности къ фактическому

*) Я беру нѣкоторыя выраженія у Михайловскаго (т. I, стр. 817—818).

знанію, особенно въ области естественныхъ наукъ, которыя были тогда въ такомъ почетѣ среди „мыслящихъ реалистовъ“. Эту задачу блистательно разрѣшилъ Н. К. Михайловскій, явившись въ 1869 г. передъ читателями съ совершенно опредѣленной и оригинальной фізіономіей писателя, столь же знакомаго съ выводами естествознанія, сколько и съ результатами современныхъ общественныхъ наукъ, столь же жадно стремившагося къ познанію истины, сколько и къ воплощенію справедливости,—словомъ, удачно сочетавшаго требованія развитія личности и служенія общественной солидарности.

Къ этому-то періоду и можно отнести возникновеніе своеобразной и очень замѣчательной „русской соціологической школы“, школы субъективизма, которая начинаетъ возбуждать теперь интересъ и на Западѣ, и къ которой тяготеютъ — правда, на половину безсознательно—выдающіеся ученые въ родѣ (нынѣ покойнаго) юриста Іеринга и историка Майера. Михайловскій раздѣляетъ заслугу и честь быть творцомъ ея наравнѣ съ другимъ русскимъ мыслителемъ Лавровымъ, авторомъ „Теоріи личности“, „Историческихъ писемъ“ и „Опыта исторіи мысли“. Такъ смотрѣлъ, по крайней мѣрѣ, и самъ этотъ мыслитель, съ которымъ судьба поставила меня въ близкія отношенія, продолжавшіяся болѣе пятнадцати лѣтъ до самой смерти Лаврова, и который неоднократно говорилъ мнѣ, что онъ считаетъ Н. К. Михайловскаго хотя и очень родственнымъ по мировоззрѣнію писателемъ, но формулировавшимъ основанія соціологическаго субъективизма съ другой стороны и совершенно независимо отъ него.

Какъ бы то ни было, мировоззрѣніе Михайловскаго не только разрѣшало въ теоретической области проклятую, мучительную антиномію, надъ которой и у насъ, и на Западѣ „билось въ слезахъ столько головъ“, антиномію между категоріей необходимаго и категоріей нравственнаго, между естественнымъ ходомъ вещей и идеаломъ. Оно, какъ нельзя болѣе, соответствовало и удовлетворяло настроенію и жаждѣ дѣятельности двухъ группъ тогдашней интеллигенціи, составившихъ прогрессивную армію эпохи: „кающихся дворянъ“ (великолѣпный терминъ, изобрѣтенный Н. К. Михайловскимъ), вскормленныхъ крѣпостными хлѣбами или остатками продавшихся выкупныхъ свидѣтельствъ; и „разночинцевъ“, составлявшихъ переходъ отъ имущихъ, — если не правящихъ — еословій къ великой массѣ трудящихся. До какой степени перодовой отрядъ интеллигенціи переживалъ именно такое настроеніе, можно заключить изъ поразительнаго успѣха, который выналь приблизительно въ это же время на долю одного небольшого, но замѣчательнаго сочиненія, принадлежащаго перу уже упомянутого нами родственнаго по духу съ Михайловскимъ автора, а именно—„Историческихъ писемъ“, гдѣ говорилось о безконечной „цѣнѣ“ прогресса“, стоявшаго столько труда, слезъ и

лишений массамъ, которыя поддерживаютъ зданіе современной цивилизаціи, и о неоплатномъ долгѣ „критически мыслящей личности“ передъ этими массами, передъ народомъ, которому можно хоть нѣсколько помочь, лишь перерабатывая въ его интересахъ данныя формы „культуры“...

Послѣ двухъ-трехъ лѣтъ броженія, тяжелаго нравственнаго кризиса и строжайшаго пересмотра своего умственнаго и нравственнаго багажа, активная часть интеллигенціи поняла свою историческую роль: къ началу 70-хъ годовъ относится возникновеніе того могучаго движенія, которое лишь во второй половинѣ этого десятилѣтія получить названіе „народничества“,—названіе, увѣ! вскорѣ захватанное столькими нечистыми руками и сдѣлавшееся въ слѣдующемъ десятилѣтіи знаменемъ реакціонной демагогіи, а еще позже, въ устахъ „Неистовыхъ орландовъ“ нашего марксиста 90-хъ годовъ, общей презрительной кличкой для всѣхъ тѣхъ, кто не раздѣлялъ всѣхъ членовъ ихъ символа вѣры. Но начало 70-хъ годовъ было героическимъ періодомъ упомянутого идейнаго теченія; и кто былъ самодѣйнейшей частицей въ его молодыхъ, веселыхъ и брызжущихъ жизнью волнахъ, надъ которыми горѣла яркая радуга идеала, тотъ, навѣрное, скажетъ, что оно являлось наиболѣе реальнымъ и насущнымъ движеніемъ тогдашней русской дѣйствительности. Интересы народа и борьба во имя ихъ съ врагами трудящихся массъ стали общимъ лозунгомъ передовой интеллигенціи. Къ тому времени уже выяснилось, что экономическое положеніе освобожденнаго народа далеко не соответствуетъ оптимистической картинѣ, которую развѣтывали передъ своей аудиторіей борзописцы и говоруны умѣренно-либеральнаго лагеря. Надъ сѣрымъ мужицкимъ царствомъ, кромѣ тяготѣвшихъ наслѣдій прошлаго гнета, стали нависать силы новой крѣпи, новой экономической эксплуатаціи. То былъ медовый мѣсяцъ нашего капиталистическаго „первоначальнаго накопленія“, устройствія нашей капиталистической храмины съ верховъ, со средствъ перемѣщенія и обмѣна скудно производимыхъ, а то и просто гипотетическихъ продуктовъ. Проводились желѣзныя дороги, по большей части не такъ и не такъ, какъ слѣдуетъ, не къ выщей выгодѣ концессионеровъ. Устраивались банки и кредитныя общества, и ходко циркулировали дутыя бумаги разныхъ учреждений, взывавшихъ къ правительству о воспособленіяхъ. Между старымъ и новымъ міромъ народной эксплуатаціи выросла, какъ посредствующее звено, цѣлая туча облѣпившихъ народъ кулаковъ и міроѣдовъ, роль которыхъ заключалась въ накопленіи, путемъ ростовщичества, первыхъ капиталовъ и подготовленіи ихъ къ будущему производству, а пока въ питаніи ими ажіотажа и спекуляціи. То было время, когда даже пресловутые сорокъ-сороковъ славянофильства явственно и оживленно выговаривали: жарь-грабь, жарь-грабь; когда тароватые ораторы вос-

ивали на нескончаемыхъ обѣдахъ доблести Поляковыхъ и Губонинныхъ; когда сіяніе „мѣднаго таза либерализма“ (выраженіе Михайловскаго) лишь отражало сіяніе серебрянаго цѣлковика; когда негодующая муза Некрасова иронически зывала къ художнику:

Будешь въ славѣ равнѣ Фидію,
Антокольскій! изваяя
„Гарантію“ и „Субсидію“...

Передъ мыслящею частію русскаго общества возставалъ грозный вопросъ: должна ли Россія среди этого опьяненія буржуазнымъ либерализмомъ упустить единственный въ своемъ родѣ моментъ для того, чтобы рѣшительно сойти съ торнаго пути капиталистической эксплуатаціи, на которомъ она стояла уже одной ногой, и вступить на трудную, но все еще исторически возможную для нея дорогу народнаго производства? И, въ дополненіе къ этому „матеріальному“ вопросу, возникалъ вопросъ „идеологическій“: какую цѣну въ этотъ моментъ для насъ могли имѣть требованія свободы и гражданственности, которыя столь часто повертывались на капиталистическомъ Западѣ противъ трудящагося большинства и на пользу привилегированныхъ классовъ?

Я не берусь здѣсь за разсмотрѣніе того, въ какой степени заднимъ числомъ и на разстояніи тридцати лѣтъ можно отыскать нѣзаны въ этихъ вопросахъ. Такъ во всякомъ случаѣ они формулировались въ сознаніи тогдашнихъ дѣятелей прогресса, дѣлая величайшую честь самостоятельности, — не употребляю пошлаго слова „самобытности“, — ихъ мышленія и энергіи ихъ практической дѣятельности.

А теперь разверните статьи Михайловскаго, относящіяся къ началу 70-хъ годовъ, и вы увидите, что онъ являлся именно выразителемъ и обоснователемъ историческихъ идеаловъ тогдашней интеллигенціи; но опять таки съ нѣкоторыми поправками и ограниченіями, указывающими на то, что лично онъ смотрѣлъ шире и дальше, хотя, подъ давленіемъ общаго энтузіазма прогрессивнаго авангарда, и не считалъ удобнымъ, что называется, бить всегда по забралу своихъ же единомышленниковъ, уже завязавшихъ на всемъ фронтѣ борьбу во имя интересовъ народа.

Въ виду того, что изъ лагеря русскихъ марксистовъ раздавались нѣсколько лѣтъ тому назадъ упреки по адресу Михайловскаго, какъ фантазера-идеалиста, не понимающаго значенія матеріальныхъ потребностей, я начну съ слѣдующей цитаты, въ которой мыслитель-публицистъ не только борется противъ близорукихъ идеалистовъ, но даетъ одновременно, можно сказать, философію и поэзію матеріальныхъ потребностей, дѣлая ихъ отправнымъ пунктомъ для крупнаго общественнаго переустройства. Итакъ, слушайте, читатель (дѣло идетъ о Ренанѣ и его русскомъ сумбурномъ комментаторѣ, Н. Страховѣ):

Ренанъ самъ не знаетъ, съ чѣмъ онъ борется. Въ числѣ атрибутовъ политическаго матеріализма онъ желаетъ видѣть стремленіе надѣлять всѣхъ и каждаго матеріальнымъ благосостояніемъ. Онъ полагаетъ, и г. Страховъ съ нимъ соглашается, что здѣсь играетъ главную роль *зависть*. Не говоря уже о томъ, что всѣ желающіе равномѣрнаго распредѣленія матеріальнаго благосостоянія желаютъ и равномѣрнаго распредѣленія духовныхъ благъ и наслажденій; не говоря о томъ, что странно называть завистью желаніе снабдить сосѣда тѣмъ, чего у него нѣтъ; не говоря обо всемъ этомъ, — развѣ желаніе надѣлить всѣхъ и каждаго матеріальнымъ благосостояніемъ не способно составить идеалъ, вызвать высокія чувства, великія мысли? Развѣ, наконецъ, мы не видимъ этого и въ дѣйствительности, хотя бы и въ слабомъ размѣрѣ? *).

Мало того, неоднократно Михайловскій развиваетъ и ту мысль, что извѣстная форма удовлетворенія матеріальныхъ потребностей, опредѣляющая общественное положеніе человѣка, его принадлежность къ той или другой социальной группѣ, классу, сословію, отражается на его воззрѣніяхъ, его умѣ, его характерѣ. А вѣдь это, согласитесь сами, та самая идея, которую — съ каррикатурными перѣдко преувеличеніями — развиваютъ сторонники экономическаго матеріализма. Опять таки, послушайте:

...Если для изслѣдователя есть хотя бы малѣйшая выгода въ существованіи того или другого факта, то приемы естествознанія (замѣьте, читатель, даже естествознанія, а что ужъ говорить объ общественныхъ наукахъ! Н. К.) всегда готовы къ его услугамъ. Нѣтъ даже надобности, чтобы выгода эта преслѣдовалась совершенно сознательно. Общественное положеніе человѣка всегда подсказываетъ ему рѣшеніе, выгодное если не прямо для него лично, то для той социальной группы, которой онъ состоитъ членомъ **).

Или еще воть:

...Когда извѣстная доктрина, извѣстный строй мысли преломляются въ общественной средѣ извѣстнымъ образомъ, то это фактъ социологическій... Возьмемъ, напр., Геккеля или Спенсера. Это ученѣйшіе люди, вдобавокъ люди, которые въ частностяхъ не прочь щегольнуть демократизмомъ. Но они отстаиваютъ презрѣнную и при томъ ошибочную социальную доктрину, и ученость ихъ въ этомъ направленіи служить только ко вреду общества. Почему они это дѣлаютъ? Потому, что ихъ положеніе въ обществѣ и ихъ обычныя занятія не даютъ имъ нужнаго въ такомъ дѣлѣ нравственнаго чувства. Чѣмъ ученѣе они, тѣмъ хуже, развѣ остальные условія остаются нетронутыми ***).

Совѣтую также читателю просмотрѣть поистинѣ замѣчательную и по мысли, и по разнообразію содержанія, и по формѣ статью Михайловскаго, появившуюся въ февралѣ 1874 г. и заключающую въ себѣ, между прочимъ, социальное объясненіе типовъ людей сороковыхъ годовъ и пришедшаго затѣмъ въ литературу разночинца ****).

*) Соч., т. I, стр. 731—732 (статья напечатана въ сентябрѣ 1872 г.).

**) Ibid., стр. 796 (изъ статьи, появившейся въ декабрѣ 1872 г.).

***) Ibid., стр. 805.

****) Т. II, особенно стр. 628—639 (нѣсколько раньше на стр. 617 авторъ

Вообще же можно сказать, что большинство текущихъ статей нашего публициста-гражданина въ этотъ періодъ посвящено одному жгучему вопросу тогдашней дѣйствительности, вопросу экономическому. Не разъ и не два, но постоянно, но придираясь къ каждому предлогу, но прибѣгая къ общественно-научной полемикѣ, къ беллетристической критикѣ, Михайловскій развиваетъ и положительно и отрицательно „идею труда“. Вооруженный этимъ критеріемъ, онъ безстрашно обнажаетъ противорѣчивый характеръ цивилизаціи, неустанно указываетъ на противоположность „націи“ и „народа“, богатства первой и нищеты второго, пронзая острой иглой критики гордо надутые пустотой пузыри грошового либерализма и стяжательнаго славянофильства, пѣвшихъ гимны „національному преуспѣянію отечества“. Неоднократно же онъ ставитъ въ различныхъ — одна другой рельефнѣе, одна другой ярче — формахъ проклятый вопросъ о возможности для Россіи сознательно выбирать между двумя путями прогресса, капиталистическимъ и народнымъ. Помните, читатель, хотя бы объясненіе безсилія тогдашней либеральной печати изъ самаго характера ея идеаловъ:

Колесо національнаго богатства только-что начинаетъ вертѣться въ Россіи и при томъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Во-первыхъ, огромная часть производительныхъ силъ страны находится въ рукахъ народа, т. е. трудящихся классовъ. Значитъ, для созданія національнаго богатства по программѣ отечественной журналистики надо отодрать громаду народа отъ земли и орудій производства. Во-вторыхъ, отодраніе это надо производить сознательно, потому что прислушиваемся же мы къ тому, что дѣлается и дѣлалось въ Европѣ; знаемъ же мы, что національное богатство есть нищета народа. Въ третьихъ, отодраніе это должно быть произведено въ пользу лицъ и интересовъ еще не существующихъ, а только имѣющихъ образоваться самымъ процессомъ отодранія. Сознательное, но безцѣльное преступленіе — вотъ что приходится дѣлать современной журналистикѣ при нынѣшнемъ ея направленіи. Что можетъ быть ужаснѣе такой задачи, такого положенія? И мудрено ли, что эти люди ходятъ и пишутъ, какъ тѣни, что грозный приговоръ потомства, подсказываемый имъ по временамъ совѣстью, связываетъ имъ языкъ и руки, отгоняетъ образы отъ воображенія, мысли отъ разума *).

Но интересно, что, если не прямо, то косвенно, а порою и довольно опредѣленно, Н. К. Михайловскій вводилъ уже въ это время элементъ „политики“ въ наше міровоззрѣніе, черезчуръ исключительно пропитанное вѣрой въ народную „экономику“.

говорить о коренной причинѣ перемѣны мнѣній людьми: „подобнаго коренного факта, коренной причины я всегда склоненъ искать въ социальныхъ отношеніяхъ“. Я умышленно оставляю здѣсь въ сторонѣ научные этюды Михайловскаго въ родѣ „Что такое прогрессъ“, гдѣ настойчиво проводится мысль, что форма общественныхъ отношеній и, прежде всего, лежащая въ основѣ ихъ такая или иная форма коопераціи членовъ общества опредѣляютъ характеръ міровоззрѣнія данной эпохи. О Михайловскомъ, какъ о социологѣ, надо говорить особо и вполнѣ.

*) Т. I, стр. 837 (изъ статьи отъ января 1873 г.).

естественная игра которой въ нѣдрахъ трудящихся массъ, благодаря—самое большее — уясняющему или подталкивающему процессу съ нашей стороны, должна была, по нашему мнѣнію, вывести Россію на путь заправскаго народнаго производства. Такъ, въ одномъ мѣстѣ, рисуя двѣ перспективы историческихъ возможностей, раскрывавшихся въ то время передъ Россіей, авторъ говорить о „преніяхъ“, о борьбѣ между „двумя діаметрально противоположными политическими программами“ *). Въ другомъ мѣстѣ онъ ставитъ передъ „публицистами“, т. е., значить, вообще передъ людьми, желающими сознательно участвовать въ исторической жизни страны, требованіе цѣлесообразно организованной дѣятельности въ пользу народа, дѣятельности, которая не ограничивается одной вѣрой въ народную экономику, но пытается создать благопріятное послѣдней теченіе въ сферѣ государственной политики:

...Представимъ себѣ, что публицисты наши завтра измѣняютъ свою точку зрѣнія и объявятъ себя служителями непосредственно народа, только народа. Представимъ себѣ, что они не только не провоцируютъ учрежденія акціонерныхъ компаній, развитія отечественной промышленности, кредита и пр., но постоянно обращаютъ вниманіе общества на оборотную сторону этихъ явлений. Представимъ себѣ далѣе, что публицисты вырабатываютъ широкую систему специально-народнаго кредита; что вмѣсто всевозможныхъ субсидій, гарантій и привилегій частнымъ предпринимателямъ и обществамъ они требуютъ государственной помощи для сохраненія въ народѣ имѣющихся уже у него орудій производства и пріобрѣтенія новыхъ; что нормальнымъ сочетаніемъ экономическихъ силъ они признаютъ не акціонерныя компаніи, а производительныя артели; что успѣховъ земледѣлія они не отдѣляютъ отъ условій благопріятнаго положенія земледѣльца, свободы труда—отъ самостоятельности рабочаго и проч., и проч. Что будетъ, если всѣ эти домогательства публицистовъ осуществятся или приблизятся къ осуществленію? **).

Авторъ отвѣчаетъ въ томъ смыслѣ, что тогда, молъ, будутъ развиваться и производство, и потребление, но не въ ущербъ, а благодаря благосостоянію народа. И, однако, въ данномъ случаѣ интересенъ не самъ этотъ отвѣтъ, а тотъ фактъ, что публицисты-гражданинъ видѣлъ въ „государственной помощи“, въ организованной дѣятельности на пользу народа надлежащій путь для осуществленія народныхъ идеаловъ въ то время, какъ мы во имя этихъ идеаловъ были, если можно такъ выразиться, рѣшительными „аполитиками“. Я не хочу, впрочемъ, перелицовывать Михайловскаго начала 70-хъ годовъ въ прямолинейнаго выразителя взглядовъ, къ которымъ лучшая часть русской интеллигенціи придетъ лишь въ самомъ концѣ десятилѣтія. Онъ былъ бы не челоуѣкомъ, а ангеломъ или звѣремъ, — простите подвернувшееся мнѣ подъ перо выраженіе Паскаля,—если бы не раздѣлялъ тогда хотя отчасти нашихъ молодыхъ народническихъ иллюзій. Наобо-

*) Т. I, стр. 807 (статья отъ декабря 1872 г.).

**) Ibid., стр. 834 (январь 1873 г.).

ротъ, оцѣнивая съ точки зрѣнія „идеи труда“ различныя драгоценныя вещи въ родѣ науки, свободы, Михайловскій, подобно всѣмъ намъ, опасался, какъ бы достиженіе этихъ благъ цивилизаціи лишь привилегированными классами и даже пропитанной любовью къ народу интеллигенціей не усилило классового характера цивилизаціи, не увеличило разстоянія между нами и трудящимися массами, не легло лишнимъ гнетомъ на плечи мужика. Яркая фраза „пусть сѣкутъ, мужика сѣкутъ же“,—фраза, которою въ началѣ 80-хъ годовъ Михайловскій характеризуетъ крайнее настроеніе интеллигенціи 70-хъ годовъ и надъ которой начнутъ точить зубы разные пошляки,—эта фраза въ той или иной формѣ являлась однимъ изъ опредѣляющихъ элементовъ нашей дѣятельности въ то, казалось бы, и недавнее, и далекое время. Но у самого истолкователя нашихъ думъ и стремленій колючесть этой фразы, жгучесть этого жертвеннаго настроенія заворачивалась въ ограниченія, условія и смягченія, которыя рѣшительно дѣлають честь политическому чутью писавшаго. Я позволю себѣ процитировать одно изъ наиболѣе характерныхъ мѣстъ его полемики противъ Достоевскаго по поводу „Бѣсовъ“ и „Дневника писателя“:

...Мы поняли, что сознаніе общечеловѣческой правды и общечеловѣческихъ идеаловъ далось намъ только благодаря вѣковымъ страданіямъ народа. Мы не виноваты въ этихъ страданіяхъ, не виноваты и въ томъ, что воспитались на ихъ счетъ, какъ не виноваты яркій и ароматный цвѣтокъ въ томъ, что онъ поглощаетъ лучшіе соки растенія. Но, принимая эту роль цвѣтка изъ прошедшаго, какъ нѣчто фатальное, мы не хотимъ ея въ будущемъ... Мы пришли къ мысли, что мы—должники народа. Можетъ быть, такого параграфа и нѣтъ въ народной правдѣ, даже навѣрное нѣтъ, но мы его ставимъ во главу угла нашей жизни и дѣятельности, хоть, можетъ быть, не всегда сознательно. Мы можемъ спорить о размѣрахъ долга, о способахъ его погашенія, но долгъ лежитъ на нашей совѣсти, и мы его отдать желаемъ. Вы смѣетесь надъ нелѣпымъ Шигалевымъ и несчастнымъ Виргинскимъ за ихъ мысли о предпочтительности социальныхъ реформъ передъ политическими. Это характерная для насъ мысль, и знаете ли, что она значить? Для „общечеловѣка“, для citizen'a, для человѣка, вкусившаго плодовъ общечеловѣческаго древа познанія добра и зла, не можетъ быть ничего соблазнительнѣе свободы политической, свободы совѣсти, слова устнаго и печатнаго, свободы обмѣна мыслей (политическихъ сходовъ) и проч. И мы желаемъ этого, конечно. Но если всѣ связанныя съ этою свободой права должны только протянуть для насъ роль яркаго и ароматнаго цвѣтка,—мы не хотимъ этихъ правъ и этой свободы! Да будутъ они прокляты, если они не только не дадутъ намъ возможности расчитаться съ долгами, но еще увеличатъ ихъ! А, г. Достоевскій, вы сами citizen, вы знаете, что свобода вещь хорошая, очень хорошая, что соблазнительно даже мечтать объ ней, соблазнительно желать ея во что бы то ни стало для нея самой и для себя самого. Вы, значитъ, анаете, что гнать отъ себя эти мечты, воздерживаться отъ прямыхъ и, слѣдовательно, болѣе или менѣе легкихъ шаговъ къ ней—есть нѣкоторый подвигъ искупительнаго страданія... *).

Итакъ, наше презрѣніе къ общественной „политикѣ“ во имя

*) Т. I, стр. 868—869 (статья отъ февраля 1873 г.).

народной „экономики“ смягчается у Н. К. Михайловскаго всякій разъ ограниченіемъ, выношеніемъ задачъ момента, вздохомъ искренняго сожалѣнія. Станетъ ли онъ опредѣлять условія, способствующія у насъ развитію стремленій къ рѣшенію „соціального вопроса“, и въ числѣ ихъ онъ не забудетъ указать на то обстоятельство, что

широкая и заманчивая область собственно политическихъ, конституціонныхъ вопросовъ, поглощающая столько литературныхъ силъ въ Европѣ, для насъ заперта на замокъ, ключъ отъ котораго заброшенъ чуть не за тридцать земель, въ тридцатое царство *).

Придется ли ему констатировать, что

самая видная сторона нынѣшней общественной жизни есть несомнѣнно экономическая. Сюда устремлены все помышленія и аппетиты. Поэтому отношеніе литературы къ экономическимъ вопросамъ уже опредѣляетъ до известной степени общую фیزیономію литературы **),

онъ тутъ же ставитъ зависимость преобладающей „струны“ въ литературѣ „отъ разныхъ обстоятельствъ, опредѣляемыхъ самой жизнью“, и не исключаетъ изъ своего разсужденія той гипотезы, что

такую струною въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ могутъ стать политическіе вопросы ***).

Противопоставить ли онъ, по поводу извѣстной иронической параллели Успенскаго (въ „Большой совѣсти“) между западомъ и Россіей, наши „зародышевыя“, безсознательныя добродѣтели яркимъ общественнымъ проявленіямъ добра и зла въ Европѣ, нашу бюрократическую цензуру плутократической европейской, нашего солдата Кудинича, который машинально перебилъ на своемъ вѣку много народу, лично очень ему симпатичнаго, версальскому судѣ, который сознательно пригибаетъ право, чтобы раздавить своего общественного врага, коммунара, — и это противопоставленіе нисколько не мѣшаетъ ясной логикѣ и общественному чутью публициста-гражданина вскрыть недоразумѣніе и предостеречь читателя противъ идеализаціи домашнихъ неалобивыхъ, но и невѣжественныхъ потемокъ:

Дѣло въ томъ, что и Прудонъ, и Вильмесанъ, и фигурирующіе въ „Запискахъ“ Успенскаго версальскій неправедный судія и свирѣпый берлинскій побѣдитель, — все эти люди живутъ по совѣсти и шибко живутъ: каково бы ни было дѣло, которому они отдались, но они ему отдались цѣликомъ, совѣстью не болѣютъ, ненавидятъ сильно и сильно любятъ, смѣло заявляютъ, чего они хотятъ, и дѣлаютъ только то, во что вѣрятъ, что хотятъ дѣлать. Въ Европѣ дѣйствуютъ и величіе и подлость, и скромность и наглость, и само-

*) Ibid., стр. 753 (октябрь 1872 г.).

**) Ibid., стр. 838 (январь 1873 г.).

***) Ibid., нѣсколько выше.

отверженіе и эгоизмъ, и продажность и неподкупность, но каждый шагъ тамъ во всякомъ случаѣ сознательнъ. А у насъ?.. Хорошо, конечно, что Кудиничъ добрый, и не хорошо, что версальскій несправедливый судья—злой. Но хорошо ли, что Кудиничъ перебилъ ни въ чемъ неповиннаго, съ его, Кудинича, точки зрѣнія, черкеса? И такъ ли ужъ дурно то, что версальскій судья бьетъ коммунара, который есть въ его глазахъ дикій звѣрь и врагъ человѣческаго рода? Вообще, что лучше, или пожалуй, что хуже,—врага-ли человѣческаго рода бить, или чудеснѣйшаго человѣка, какого другого не сыщешь? *).

Вдумайтесь въ эти разсужденія, въ эту полушутливую, полу-трагическую дилемму, и вы подивитесь той смѣлости, съ какою Михайловскій сводилъ на очную ставку западную классовую цивилизацію и нашу зародышевую, и чуть-чуть не отдавалъ преимущества первой, отдавалъ, по крайней мѣрѣ, въ смыслѣ свѣта, опредѣленности и познанія добра и зла, въ то самое время, какъ большинство изъ насъ, въ пику буржуазности запада, червотуръ поделашивало и подкрашивало социальную сторону народныхъ русскихъ инстинктовъ.

Но особенно въ срединѣ 70-хъ годовъ Н. К. Михайловскій сослужилъ замѣчательную службу общественному движенію, взявъ надлежащую среднюю ноту между двумя враждебными теченіями, выработавшимися среди народничества. Собственно говоря, эти два теченія существовали и въ періодъ первоначальнаго молодого энтузіазма, направленнаго въ сторону народа; но на этомъ идейномъ пиру ихъ разнища не особенно замѣчалась и по большей части могла объясняться различіемъ въ темпераментахъ. А когда за пиромъ наступило похмѣлье, пора подведенія итоговъ, подсчитыванія успѣховъ и неудачъ, — словомъ, критическій періодъ, слѣдующій, какъ полагается по штату, за органическимъ, — о, тогда большія или меньшія различія въ тактикѣ и самая психологія темпераментовъ вылились въ два особые міровоззрѣнія, объединенныя между собою лишь не всякавшею струею любви къ народу. Одна часть активной интеллигенціи дѣйствовала во имя „интересовъ“ народа, но къ значительной части его „мнѣній“ *)—можетъ быть, за исключеніемъ нѣкоторыхъ экономическихъ традицій, какъ-то общины, артели и т. п.—относилась отрицательно. Она старалась распространять свои, основанные на „знаніи“, идеалы среди трудящихся массъ и постепенно замѣнить ими мнѣнія этой среды. Катясь по наклонной плоскости постепеновскаго распространенія этихъ идеаловъ, она скоро изъ группы общественныхъ дѣятелей превратилась въ группу, такъ сказать, социальныхъ педагоговъ; перестала удовлетворять жаждѣ дѣятельности наиболѣе живыхъ сторонниковъ, оскудѣла, всягла

*) Т. I, стр. 895—897, passim (мартъ 1873 г.).

*) Герминологія эпохи, слѣдъ которой остался въ тогдашней печати, и которая встрѣчается и въ сочиненіяхъ Михайловскаго.

и выродилась въ неподвижное доктринерство, съ которымъ долженъ былъ, наконецъ, порвать какъ разъ одинъ изъ главнѣйшихъ инициаторовъ этого направленія.

Другая часть активной интеллигенціи ставила своей программой дѣятельность не только во имя „интересовъ“, но и во имя „мнѣній“ народа, беря и тѣ, и другія исходной точкой своего участія въ общественномъ прогрессѣ. Но такъ какъ значительная доля мнѣній, воззрѣній, стремленій народа поражала ее своею неосмысленностью, а порою чудовищностью, то эта горячая и нетерпѣливая интеллигенція принуждена была, для поддержанія своего энтузіазма къ народу въ его цѣломъ, усиленно предаваться процессу идеализаціи народнаго міровоззрѣнія, стараясь, насколько возможно, приблизить его по содержанію и по цвѣту къ своимъ сознательнымъ идеаламъ. Не умышленно, конечно, производилась эта операція растагиванія, расширенія или, наоборотъ, обрубанія и вообще подкрашиванія. Но въ результатъ пылая интеллигенція добилась таки совпаденія — въ своей, разумѣется, горячей головѣ и нетерпѣливомъ сердцѣ — своихъ собственныхъ идеаловъ съ мнѣніями народа, и не только въ сферѣ экономической, но и въ сферахъ философской, общественной и т. п. И чего-чего только мы не идеализировали въ то время: деревенскіе сходы, на которыхъ, молъ, нѣтъ ни подавляющаго большинства, ни подавляемаго меньшинства, а царитъ трогательное единодушіе, до котораго, какъ до звѣзды небесной, далеко всякимъ буржуазнымъ парламентаризмамъ; вольные казацкіе круги, которые въ нашемъ воображеніи охватывали истинно-демократическіе принципы прошедшаго, настоящаго и будущаго и затыкали за поясъ даже „анархію“ Прудона; русскій расколъ, приверженцевъ котораго мы цѣликомъ перекрашивали въ нашихъ братьевъ по рационализму и свободной критикѣ, насчитывая 13 милліоновъ, — такъ и говорилось: три-на-дцать милліоновъ! — независимыхъ мыслителей; „трудовое начало“, которое, молъ, проникаетъ всю психологію народа. Словомъ, всѣ явленія народной жизни были для насъ предметомъ упорной фантазмагоріи, заволакивавшей своимъ радужнымъ туманомъ различія между нашими идеалами и народными идолами. Для насъ народъ былъ настоящимъ геніемъ по части соціальнаго творчества; а извѣстно, что

Геній, не учась,

Учень, коль придетъ въ восхищеніе!..

Не учить, значить, должны мы были народъ, а приводить его въ состояніе „восхищенія“, за которымъ должно было естественно послѣдовать и дѣйствіе. И тутъ былъ единственный пунктъ, гдѣ грубая и жесткая дѣйствительность разрывала нашу золотую фантазмагорію и заставляла насъ дѣлать уступки реальному міру. Народъ не приходилъ въ состояніе восхищенія: ему

недоставало, — думали мы, — для этого именно лишь инициативы, „активности“. Мы должны были, значить, развить въ немъ это чувство активности, помогая ему постоянно „упражняться“ въ немъ, создавая предлоги для такого упражненія и вызывая въ немъ сознаніе постоянно растущей собственной силы. И мы торжественно ссылались на такую-то страницу сочиненій Спенсера, страницу, на которой находили слѣдующую не особенно мудреную мысль: „мускулы отъ упражненія дѣлаются сильнѣе, и въ мышечномъ ощущеніи элементъ усталости играетъ все меньшую и меньшую роль“, или что-то въ родѣ этого. Народъ, привыкшій упражнять свою психологію по Спенсеру, сдѣлается, наконецъ, активнымъ дѣятелемъ прогресса и разомъ, однимъ могучимъ напоромъ на несправедливый строй, осуществить то „обобществленіе труда“, которое на западѣ будетъ вызвано лишь діалектическимъ процессомъ капитализма, — и опять цитата изъ заграничной книги, на сей разъ „Капитала“ Маркса...

Пусть читатель не подумаетъ, что я умышленно занимаюсь карриатурами на прошлое и предаюсь осмѣянію такъ называемыхъ „увлеченій молодости“. Во-первыхъ, съ этимъ прошлымъ я связанъ кровными узами глубокой и непоколебимой вѣры въ торжество общечеловѣческой солидарности, и сомнѣнію для меня могутъ подлежать лишь приемы, лишь тактика дѣятельности, ведущей къ этому торжеству. Во-вторыхъ, не злорадный смѣхъ вызываютъ во мнѣ эти „увлеченія“, а — немножко стыдно признаться — неудержимо набѣгающія слезы идейнаго энтузіазма. Когда я вспоминаю, какое мужественное сердце билось въ юношеской, почти дѣтской груди моихъ сверстниковъ. Какъ бы то ни было, наши „ученныя“ цитаты въ спорахъ о программѣ были, можно сказать, единственною умственною роскошью, которую мы позволяли себѣ въ дѣятельности во имя „интересовъ“ и „мнѣній“ народа. Въ пику группѣ, названной мною социальными педагогами, мы очень недоувѣрчиво относились къ „наукѣ“ и главную роль въ общественномъ прогрессѣ приписывали не „уму“, а „чувству“ активности. Педантичное и бесталанное эхо этого настроенія, — этой — какъ бы сказать? — социологической вѣры, читатель можетъ найти въ тогдашнихъ статьяхъ (въ „Недѣль“) Юзова-Каблица, который, благодаря своему преклонному — какъ казалось намъ тогда — возрасту (ему было, кажется, въ то время лѣтъ около 35) и терпѣливому, чисто начетчицкому корытѣ надъ русскими переводами Спенсера, Милля, Бэна, а также трудолюбивому выписыванію цитатъ изъ отечественныхъ сочиненій по расколу, народнымъ движеніемъ и т. п., игралъ среди насъ роль авторитетнаго старшаго брата, совѣтника, руководителя, а главное, печатнаго выразителя нашихъ воззрѣній.

И вотъ между этими-то двумя группами передовой интеллигенціи — сторонниками пропаганды знаній и развивателями чуж-

ства активности—и сталъ во второй половинѣ 70-хъ годовъ Михайловскій, сталъ, вооруженный настоящею „наукою“ и въ то же время понимающій общественное значеніе „чувства“, и попытался примирить односторонности обоихъ направленій, призывая обѣ группы къ болѣе трезвому истолкованію тогдашнихъ задачъ. Въ какой степени была важна эта полоса литературной дѣятельности Михайловскаго, видно изъ самой судьбы, постигшей не малую долю приверженцевъ того и другого прогрессивнаго міровоззрѣнія. Большинство руководителей первой группы—за исключеніемъ наиболѣе сильнаго теоретика ея—превратилось въ скоромъ времени въ самыхъ заурядныхъ небокопителей и въ погонѣ за общественнымъ положеніемъ и „жирными кусками“ побросали свой прежній умственный и нравственный багажъ. Да и въ средѣ сторонниковъ „активности“ неудачи въ области упражненія чувства вызывали порою очень сильное разочарованіе, особенно у слабыхъ душой. Я помню, какъ, послѣ одной такой очень ужъ наглядной и обидной неудачи, одинъ изъ наиболѣе пылкихъ партизановъ „чувства“—изящная, артистическая, но кисельная натура—изобразилъ свое настроеніе въ красномъ, но крайне уныломъ и по существу фальшивомъ стихотвореніи:

Были дни у насъ шумные, бурные,
Звуки чудные всюду неслись,—
Колыхаясь, знамена мишурныя
Надъ ребячьей толпою взвились...
И много не слышалось голоса,
И другихъ не кричалось словъ:
„Въ Днѣпръ Перуна, Стрибога и Волоса,
Въ воду старыхъ отжившихъ боговъ!..

Но на мѣсто разбитаго идола
Не пришелъ воскрешающій Богъ...

Съ другой стороны, я попрошу читателя припомнить, что тотъ самый Юзовъ-Каблицъ, который во второй половинѣ 70-хъ годовъ вырабатывалъ свое мозаичное, но очень бунтарское социологическое міровоззрѣніе, скоро передвинулся съ своей идеализаціей народа такъ далеко вправо, что въ 80-хъ годахъ, самъ того не замѣчая, очутился среди народничающей демагогии. Вотъ каміе подводные камни лежали, и не особенно глубоко, въ руслѣ того теченія, которое сливалось въ одно „интересы“ и „мнѣнія“ народа, и во имя яко бы безошибочнаго социальнаго инстинкта, во имя „упражненія чувства“, пренебрегало „умомъ“ и „критическою мыслию“.

Въ русской печати едва-ли не первымъ явственнымъ выраженіемъ идеализаціи народа, выраженіемъ, которое было бы несправедливо смѣшивать съ простымъ славянофильствомъ,—явилась въ то время „Недѣля“ и именно въ статьяхъ П. Ч. во второй половинѣ 1875 г. Самъ П. Ч.,—тогда, если не ошибаюсь, очень

печенный земецъ изъ молодыхъ, — былъ чуждъ воинственныхъ элементовъ мировоззрѣнія той интеллигенціи, которая шла въ сторону упражненія чувства и уже стала вырабатывать въ эту пору соответствующую доктрину. Но съ П. Ч. упомянутую интеллигенцію сближали принятіе къ свѣдѣнію и исполненію не только интересовъ, но и мнѣній народа и рѣшительное предпочтеніе деревни городу. И, однако, именно противъ этой огульной идеализаціи, горѣвшей яркимъ пламенемъ въ душѣ наиболѣе передовой интеллигенціи того времени, не побоялся возстать Михайловскій, обращаясь черезъ голову П. Ч. къ молодой, энергичной и страстной, но увлеченной на скользкій путь аудиторіи. Вспомните горячія строки, съ которыми къ намъ обращался публицистъ-гражданинъ и которыя въ извѣстной части авангарда движенія вызвали временно не только разочарованіе въ любимомъ писателѣ, но прямой гнѣвъ, чуть не идейную ненависть къ предостерегавшему:

Можетъ быть, г. П. Ч., основательно изучивъ „русскую жизнь со всѣми ея бытовыми особенностями“, убѣдился, что она не выражаетъ ничего иного, какъ принципъ солидарности и нравственной связи? Въ такомъ случаѣ ему жаль просто, и я ему глубоко завидую, какъ вообще ученымъ людямъ. Я — профанъ и тутъ. У меня на столѣ стоитъ бюстъ Бѣлинскаго, который мнѣ очень дорогъ, вотъ шкафъ съ книгами, за которыми я провелъ много ночей. Если въ мою комнату вломится русская жизнь со всѣми ея бытовыми особенностями и разобьетъ бюстъ Бѣлинскаго и сожжетъ мои книги, я не покорюсь и людямъ деревни; я буду драться, если у меня, разумѣется, не будутъ связаны руки. И если бы даже меня ослѣпилъ духъ величайшей кротости и самоотверженія, я все таки сказалъ бы, по малой мѣрѣ: прости имъ Боже истину и справедливость, они не знаютъ, что творятъ! Я все таки, значить, протестовалъ бы. Я и самъ сумѣю разбить бюстъ Бѣлинскаго и сжечь книги, если когда-нибудь дойду до мысли, что ихъ надо бить и жечь, но, пока они мнѣ дороги, я ни для кого ими не поступлюсь. И не только не поступлюсь, а всю душу свою положу на то, чтобы дорогое для меня стало и другимъ дорогое, вопреки, если случится, ихъ бытовымъ особенностямъ *).

Припомните также ту многозначительную программу, которую Михайловскій противопоставлялъ нашему крайнему народничеству:

Безспорно, что у мужика есть чему поучиться, но есть и намъ что ему передать. И только изъ взаимодѣйствія его и нашего и можетъ возникнуть вожделѣнный новый періодъ русской исторіи. Голосъ деревни слишкомъ часто противорѣчитъ ея собственнымъ интересамъ, и задача состоитъ въ томъ, чтобы искренно и честно, признавъ интересы народа своею цѣлью, сохранить въ деревнѣ, какъ она есть, только то, что дѣйствительно этимъ интересамъ соответствуетъ. Дѣло идетъ объ обмѣнѣ между нами и народомъ, обмѣнѣ честномъ, безъ шулерства и заднихъ мыслей, въ результатъ котораго получается равенство обмѣненныхъ цѣнностей. О, если-бы я могъ утонуть, расплыться въ этой сѣрой, грубой массѣ народа, утонуть безповоротно, но сохранивъ тотъ свѣточъ истины и идеала, какой мнѣ удалось добыть насчетъ того же

*) Т. III, стр. 692 („Записки профана“, декабрь, 1875 г.).

народа! О, если бы и вы всё, читатели, пришли къ такому же рѣшенію, особенно у кого свѣточъ горить ярче моего и вообще свѣтло и безъ копоти.. Какая бы это вышла иллюминація и какой великій историческій праздникъ она отмѣтила бы собою! Нѣтъ равнаго ему въ исторіи *)...

Минуя рядъ статей, въ которыхъ въ теченіе цѣлаго 1876 г. Михайловскій боролся съ идеализаціей деревни и „провинціи“, нравственного элемента и социальнаго „чувства“, доставшагося яко бы на долю чуть не одного только мужика, я перехожу къ той группѣ статей 1877—1878 гг., которая была направлена противъ односторонности мировоззрѣнія, основаннаго исключительно на упражненіи активности и которая возбудила опять таки рѣзкое неудовольствіе, какъ среди крайнихъ выразителей этого теченія, такъ и среди умиравшей уже фракціи социальныхъ педагоговъ, — тамъ и здѣсь по совершенно противоположнымъ, конечно, причинамъ. Скромное и слегка маниловствующее „чувство“ П. Ч. превратилось въ бунтарское „чувство“ Юзова и противопоставило себя „уму“ не только какъ тактический пріемъ, но и какъ исключительный источникъ общественнаго мировоззрѣнія. И вотъ, когда Михайловскій рѣшилъ поднять противъ этой односторонности знамя цѣльнаго двуединаго человѣка, вооруженнаго нравственнымъ стремленіемъ къ добру, но и критической оцѣнкой этого добра, съ крайнихъ крыльевъ передовой интеллигенціи на него посыпались упреки противоположнаго характера: сторонники активности негодовали за то, что онъ недостаточно сокрушилъ „умъ“ во славу „чувства“; социальные педагоги укоряли, наоборотъ, мыслителя за то, что онъ призналъ правомѣрность чувства на ряду съ умомъ.

Я разумѣю, во-первыхъ, его страстно читавшіяся „Письма о правдѣ и неправдѣ“, гдѣ онъ призывалъ насъ къ одновременному служенію правдѣ-истинѣ и правдѣ-справедливости, и гдѣ онъ ставилъ верховнымъ критеріемъ идейной жизни и дѣятельности очень важный для того историческаго момента принципъ „личности“. Помните его очень смѣлыя по тому времени строки, въ которыхъ онъ, вмѣсто того, чтобы строить себѣ народническаго идола изъ общины, — а вѣдь его въ 90-хъ годахъ упрекали въ этомъ марксисты, вылупившіеся изъ запаматовавшихъ народниковъ, — вмѣсто того, говорю я, чтобы растекаться вмѣстѣ съ нами въ безусловномъ умиленіи передъ общиной, онъ развивалъ слѣдующую мысль:

Сторонники общины, по крайней мѣрѣ благоразумные, не дѣлали себѣ, однако, изъ нея фетиша, передъ которымъ надо лбы разбивать. Они не говорили, что община дорога, потому что она — община. Они видѣли въ ней лишь надежное убѣжище для крестьянской личности отъ грядущихъ бѣдъ капиталистическаго порядка. Правда была на ихъ сторонѣ, потому что съ

*) Т. III, стр. 707.

распушеніемъ общины, если не явится какой нибудь противовѣсъ со стороны, у насъ долженъ повториться процессъ европейскаго экономическаго развитія *).

Но въ особенности я обращаю вниманіе читателя на полемику Н. К. Михайловскаго противъ уже упомянутыхъ крайностей направленія сторонниковъ активности и въ частности противъ статей Юзова „Умъ и чувство, какъ факторы прогресса“ и т. п. Теперь весь этотъ споръ можетъ показаться академическимъ; но тогда Юзовъ выговаривалъ суконнымъ языкомъ лишь то, что кипѣло и бурлило въ нашемъ молодомъ сердцѣ, во имя чего мы хотѣли жить и ради чего готовы были сложить голову. Какое намъ дѣло было до того, что нашъ адвокатъ не блисталъ талантомъ и завертывалъ въ безконечныя, до комичности точныя цитаты наше міровоззрѣніе, разъ онъ провозглашалъ главный членъ нашего тогдашняго символа вѣры, неизмѣримое преимущество „дѣла“ и „примѣра“ надъ „словами“ и „книжкой“! „Не распространеніе идей о независимости, а только поступки, внушаемые чувствомъ независимости, развиваютъ и усиливаютъ это чувство“—выговаривалъ суконный языкъ Юзова; и мы готовы были прижать къ сердцу нашего истолкователя, который проводитъ въ печати наше практическое міровоззрѣніе. Можете себѣ представить, какимъ негодованіемъ пылали наши сердца на любимаго—да, все-таки на любимаго писателя (о, тайна юношескаго энтузіазма, сотканнаго изъ противорѣчій!), на писателя, говорю я, который обливалъ насъ ушатомъ холодной воды и обидно-презрительно отзывался объ упражненіяхъ Юзова, стараясь въ то же время присоединить къ нашимъ парусамъ „чувства“ и необходимый грузъ „ума“:

Читатель можетъ сказать, что статья „Умъ и чувство, какъ факторы прогресса“ совсѣмъ не требовала столь длиннаго объ ней разговора. Это отчасти—правда, но только отчасти. Не въ самой статьѣ тутъ дѣло, а въ читателяхъ, въ тѣхъ особенностяхъ нашего темперамента, о которыхъ рѣчь шла выше. Если авторъ перегибаетъ лукъ въ извѣстную сторону, то читатели, при извѣстныхъ условіяхъ, перегибаютъ его еще сильнѣе. Хорошій поступокъ прекрасенъ и желателенъ, хорошее чувство тоже прекрасно и желательно, но предавать изъ-за этого всеожженію мысль, знаніе, логику, „голову“, „книжку“—отнюдь не приходится. Это совсѣмъ не такіе предметы, которые не могутъ ужиться рядомъ. Тяжба между умомъ и чувствомъ безобразна и не имѣетъ рѣшительно никакого *raison d'être* **).

Я лишь мимоходомъ упомяну, что конецъ этой статьи былъ посвященъ защитѣ Иванова (Успенскаго), который усмотрѣлъ изъяны въ нашемъ идолѣ-мужикѣ, при чемъ Н. К. Михайловскій доказывалъ, что тутъ дѣло не въ самомъ „мужикѣ“, а въ „пагубныхъ условіяхъ“... Это я къ слову и въ назиданіе читателямъ,

*) Т. IV, стр. 452 (январь 1878 г.).

**) Т. IV, стр. 545—546 (апрѣль 1878 г.).

которые нѣсколько лѣтъ тому назадъ могли присутствовать и перелицовываніи нашего автора противниками въ типичнаго якобы народника.

И снова, скрипя и лязгая, развертывается желѣзная цѣпь исторической необходимости. И новыя звенья ея проходятъ передъ глазами, приковывая вниманіе и сердце участниковъ въ русскомъ прогрессѣ. На рубежѣ 70-хъ и 80-хъ годовъ, въ это и трагически-печальное, и хорошее время, все общество какъ будто просыпается, и было отчего: герцеговинское возстаніе, а затѣмъ освободительная война, стоившая столькихъ жертвъ, приведенная къ болѣе или менѣе благополучному концу лишь цѣною очень значительныхъ усилій и оставившая по себѣ глубокое недовольство въ обществѣ; безстыдная эпопея хищенія, продѣланная нашими рыцарями первоначальнаго накопленія и тепличнаго производства, такъ сказать, въ самомъ пылу борьбы, по пятамъ, а то и внутри арміи, служившей экспериментомъ для грандіозныхъ продѣлокъ подрядчиковъ, поставщиковъ, интендантовъ, желѣзнодорожниковъ; явные признаки истощенія платежныхъ силъ народа, въ особенности въ связи съ введеніемъ новыхъ, вызванныхъ войною налоговъ; рядъ политическихъ процессовъ,—все это создавало нервную, насыщенную электричествомъ атмосферу, въ которой барометръ общественной жизни, отражая вліяніе надвигавшихся и удалявшихся грозъ, неистово прыгало, то внизъ, то вверхъ, и разные авгуры въ бюрократіи, обществѣ и печати старались тщетно предугадать завтрашнюю погоду...

Всѣхъ чутче отражала на себѣ, по обыкновенію, задачи современности передовая интеллигенція, которая принуждена была подъ давленіемъ обстоятельствъ значительно видоизмѣнить и расширить свое міровоззрѣніе. Ея идеализація народа сильно колебалась. Присматриваясь къ деревенской дѣйствительности, она видѣла, что усердно насаждавшійся послѣ крестьянской реформы капитализмъ уже дѣлалъ свое дѣло. Перелистывая нѣмныя и горячія статьи этой эпохи, читатель встрѣтитъ въ нѣмыхъ изъ нихъ довольно интересную амальгаму народничества и марксизма, — констатированіе разложенія общины и одновременное приглашеніе бороться „противъ капитализма“ во имя интересовъ народа, опираясь отчасти и на зарождающагося пролетарія. Такова одна изъ статей исчезнувшего съ тѣхъ поръ изъ литературы сотрудника „Дѣла“, Н. Русанова, писавшаго „противъ экономическаго оптимизма“ г. В. В. и обронившаго фразу насчетъ того, что если не всякой общинѣ, то русской придется, вѣроятно, „пойти на выучку къ капитализму“, — фразу, которая 15 лѣтъ спустя подхвачена марксистами и выставлена уже чуть не какъ лозунгъ партійной дѣятельности.

Съ другой стороны. наиболѣе активная часть интеллигенціи,

сознательно обрекавшая себя въ теченіе 70-хъ годовъ на жертву народной „экономикѣ“, не могла, наконецъ, не убѣдиться, что даже во имя этой экономикѣ она должна была внести въ свою программу и одновременное преслѣдованіе задачъ гражданственности или, выражаясь возвышенно, „политики“, какъ общественныхъ условій или какъ общей арены, въ широкихъ барьерахъ которой могли бы заявлять о своей правомѣрности не только земельные идеалы народа, но и всяческія проявленія народной души, энергіи, чувства, народной воли... Въ самомъ дѣлѣ, мы все готовы были и въ эту пору раствориться въ народѣ съ „свѣточемъ истины и идеала“ въ рукахъ; но что было дѣлать, когда бури и ливни гасили этотъ свѣточъ. Поневолю вопросъ становился не только народнымъ, а и общественнымъ, можно сказать, общечеловѣческимъ вопросомъ русскихъ людей. Центръ тяжести переносился изъ деревни въ городъ; и авангарду интеллигенціи приходилось брать на себя не только роль искренняго защитника народа, но и ускорителя, упредителя естественнаго развитія русской цивилизаціи. Снова, со времени отміны крѣпостного права, передъ всѣми хорошими русскими людьми ставился общенародный великій вопросъ, на почвѣ котораго могли въ данный моментъ сойтись люди различныхъ направленій, за исключеніемъ, конечно, прямыхъ наслѣдниковъ крѣпостническаго міровоззрѣнія. И въ первыхъ рядахъ новой освободительной арміи естественно должна была очутиться та часть интеллигенціи, которая всегда отличалась способностью приносить историческія жертвы и которая цѣлое десятилѣтіе подавляла свои естественныя стремленія къ широкой гражданственности во имя сѣраго, трудомъ и лишениями жившаго, но кровно дорогаго ей народа... Какимъ блестящимъ выраженіемъ и объясненіемъ перелома въ нашемъ міровоззрѣніи были огнемъ писанныя въ то время статьи Н. К. Михайловскаго! Перечитайте хоть нѣкоторые отрывки ихъ: неизмѣримо лучше, чѣмъ могу это сдѣлать я, они передаютъ и обосновываютъ новую историческую программу, выводя ее изъ недостатковъ прошлой:

Скептически настроенные по отношенію къ принципу свободы, мы готовы были не домогаться никакихъ правъ для себя... Пусть сѣкутъ, мужика сѣкутъ же" — вотъ какъ, примѣрно, можно выразить это настроеніе въ его крайнемъ проявленіи. И все это ради одной возможности, въ которую мы всю душу клали; именно возможность непосредственнаго перехода къ лучшему, высшему порядку, минуя среднюю стадію европейскаго развитія, стадію буржуазнаго государства. Мы вѣрили, что Россія можетъ проложить себѣ новый историческій путь... Предполагалось, что нѣкоторые элементы наличныхъ порядковъ, сильныя либо властью, либо своею многочисленностью, возьмутъ на себя починъ продолженія этого пути. Это была возможность. Теоретическою возможностью она остается въ нашихъ глазахъ и до сихъ поръ. Но она убываетъ, можно сказать, съ каждымъ днемъ. Практика урѣзываетъ ее безпощадно, сообразно чему наша программа осложняется, оставаясь при той же конечной цѣли, но вырабатывая новыя средства... Та теоретическая возможность, въ кото-

рую мы всю душу свою клали, только на этихъ элементахъ... и могла быть построена... Но если между этими элементами протискивается всемогущій братскій союзъ мѣстнаго кулака съ мѣстнымъ администраторомъ, то наша теоретическая возможность обращается въ простую иллюзію, а вмѣстѣ съ тѣмъ отреченіе отъ элементарныхъ параграфовъ естественнаго права теряетъ всякій смыслъ. Очевидно, никому отъ этого отреченія ни тепло, ни холодно, кромѣ отрекающихся, которымъ холодно, и всемогущаго братскаго союза, которому тепло. Да, ему тепло, и въ этомъ корень вещей. Оказывается, что если европейскія учрежденія не гарантируютъ народу его куска хлѣба, и есть тамъ „милліоны голодныхъ ртовъ отверженныхъ пролетаріевъ“ (выраженіе Достоевскаго, съ которымъ здѣсь, между прочимъ, полемизируетъ Михайловскій, Н. К.), рядомъ съ тысячами жирныхъ буржуа, то наши наличные порядки фактически тоже ничего не гарантируютъ, кромѣ акриды и дикаго меду для желающихъ и не желающихъ ими питаться. Грубѣе, разумѣется, у насъ все это выходитъ, наглѣе, безформеннѣе, но, спрашивается, какого добраго почина не задавить всемогущій братскій союзъ, пока мы только себя въ себѣ искать будемъ? Пусть-ка г. Достоевскій попробуетъ, ну хоть въ сельскіе учителя поступить, да тамъ поговорить, напр., о томъ, что, дескать, „не можетъ одна малая часть челоѣчества владѣть всѣмъ челоѣчествомъ, какъ рабомъ“. Пусть попробуетъ въ этомъ направленіи поработать на родной нивѣ, а мы посмотримъ, въ какомъ видѣ онъ оттуда выскочитъ. Вотъ о себѣ, въ себѣ, надъ собой, это точно что вездѣ и всегда можно, на виду у всякаго союза, потому что это союзу на руку... Въ отношеніи аппетита, наглости и фактическаго могущества, нашъ союзъ никакимъ европейскимъ буржуа не уступить. И какъ же, значить, запоздалъ г. Достоевскій и комп. съ своимъ хихиканьемъ надъ западомъ! Вотъ, если бы онъ протестовалъ тогда, когда нашъ союзъ только еще слагался — то другое дѣло, а онъ хладнокровно присутствовалъ при снятіи головы и теперь плачетъ по волосамъ... Ахъ, господи, дѣло, въ сущности, очень просто. Если мы, въ самомъ дѣлѣ, находимся наканунѣ новой эры, то нуженъ прежде всего свѣтъ, а свѣтъ есть безусловная свобода мысли и слова, а безусловная свобода мысли и слова невозможна безъ личной неприкосновенности, а личная неприкосновенность требуетъ гарантій. Какія это будутъ гарантіи — европейскія, африканскія, „что Литва, что Русь ли“ — не все ли равно, лишь бы онѣ были гарантіями? Надо только помнить, что новая эра очень скоро обветшаетъ, если народу отъ нея не будетъ ни тепло, ни холодно *).

Такъ само историческое развитіе Россіи сближало разорванныя половинны одного великаго цѣлаго, „экономику“ и „политику“, соединявшіяся въ живое и могучее тѣло общественнаго прогресса. И въ печати роль главнаго объединителя родственниковъ, но враждовавшихъ стремленій принадлежала Н. К. Михайловскому...

Событіе 1-го марта 1881 г. легло трагическою гранью между начавшимся было здоровымъ общерусскимъ движеніемъ и рефлексивными, чаще всего попятными, а въ лучшемъ случаѣ односторонними попытками двухъ послѣдующихъ десятилѣтій. Прежде всего надъ страной пронесся ураганъ общественной реакціи: общество и печать, потерявъ въ моментъ бури и компасъ, и грузъ

*) Т. IV, стр. 952, 957—958, passim („Литературныя замѣтки“ отъ сентября 1880 г.).

общерусскаго дѣла, и чувство самообладанія, побросавъ въ одинъ мѣшокъ и больныя, и здоровыя головы, самообвиняли, самозаушали, самоуничтожали себя, приготовляя для самихъ же себя власнищцу и неудобноносимыя вериги. Въ ночи, наступившей за потерей яснаго сознанія въ обществѣ, царили безраздѣльно фантазмагоріи, ходили призраки болѣзненнаго воображенія и чудовищныя созданія страха и ненависти. А скоро, на почвѣ, подготовленной галлюцинаціями, появились и настоящіе выходцы съ того свѣта. Тѣ самые злые колдуны и вампиры, которыхъ само общество всего нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ похоронило, казалось, безвозвратно, выходили изъ своихъ гробовъ, съ необсохшей еще исторической кровью на губахъ и требовали свѣжей горячей крови и новыхъ жизней. Проснулись въ развалинахъ дореформенныхъ храминъ сычи и нетопыри, тяжело ширя крыльями. Пришелъ и пресловутый страшный „Вій“ изъ „Московскихъ Вѣдомостей“ (этимъ выраженіемъ Михайловскій заклеилъ Каткова), пришелъ и показал своимъ желѣзнымъ пальцемъ на всю Россію. И произошло то, что читаешь съ замирающимъ сердцемъ у Гоголя. Мы такъ и не дождались освободительнаго пѣнія пѣтуха...

Въ эту-то тяжелую ночь Н. К. Михайловскій стоялъ, какъ отважный левъ, на „славномъ посту“ цивилизаціи, защищая грудью общество и нашу печать противъ шакаловъ, псовъ и ядовитыхъ амбій,—стоялъ, презирая и волчьи пасти, и обезьяньи гримасы, и ослиныя копыта. Нельзя читать безъ волненія эти то негодующія, то саркастическія, то исполненныя глубокой печали статьи, въ которыхъ свѣтлая мысль и гражданское мужество философа-публициста боролись противъ хаотическаго смѣшенія понятій и возмутительнѣйшей исторической подтасовки, продѣлываемой общественными шулерами на спинѣ народа, но яко бы во имя интересовъ его. То была, дѣйствительно, пора разцвѣта народнической демагогіи, которая, карикатурно исказивъ наслѣдіе 70-хъ годовъ, „высаживала днище“ у цивилизаціи во имя будто бы истинныхъ идеаловъ мужика. Я напомню лишь ожесточенную полемику, завязавшуюся въ литературѣ по поводу опредѣленія слова „интеллигенція“ и имѣвшую, вопреки своему на первый взглядъ схоластическому характеру, глубоко жизненный, историческій и, если хотите, трагическій смыслъ. Шулерамъ-демагогамъ надо было, дѣйствительно, во что бы то ни стало, выдать передовую часть интеллигенціи за злѣйшаго врага русскаго народа и, раздавивъ ее во имя этого народа, расправиться затѣмъ съ послѣднимъ уже по своему, не смущаясь отнынѣ предостереженіями и негодующими криками авангарда прогрессивной арміи.

Споръ о значеніи слова „интеллигенція“ былъ, такимъ образомъ, въ сущности, отраженіемъ въ литературѣ жизненной борьбы между истинными друзьями народа и рядившимися въ маску народолобівъ господами его и эксплуататорами. Слишкомъ извѣстны

перипетии этой полемики и слишком памятна роль въ ней Михайловскаго, чтобы я могъ подробно остановиться на этомъ эпизодѣ литературной дѣятельности нашего автора. Я напомню лишь кой-какія мысли одной изъ самыхъ многозначительныхъ статей его:

...Мы можемъ съ чистою совѣстью сказать: мы—интеллигенція, потому что мы многое знаемъ, обо многомъ размышляли, по профессіи занимаемся наукой, искусствомъ, публицистикой: слѣпымъ историческимъ процессомъ мы оторваны отъ народа, мы—чужіе ему, какъ и всѣ такъ называемые цивилизованные люди, но мы не враги его, ибо сердце и разумъ нашъ съ нимъ... Русской интеллигенціи стыдно и должно быть стыдно идти ного въ ногу съ буржуазіей, потому что ей, этой интеллигенціи, извѣстно то, что не было въ свое время извѣстно европейской... Мы не можемъ призвать къ себѣ буржуазію не то что съ энтузіазмомъ, а даже просто безъ угрызеній совѣсти, ибо знаемъ, что торжество ея равносильно отобранію у народа его хозяйственной самостоятельности... Въ противность той дружбѣ интересовъ, какая существовала одно время въ Европѣ между интеллигенціей и буржуазіей, наша интеллигенція съ буржуазіей дружить не можетъ. Но можетъ ли въ свою очередь *наша* буржуазія дружить съ интеллигенціей? Тоже нѣтъ. Интеллигенція, по самой ея сущности, нужна свобода мысли и слова... А между тѣмъ буржуазія нашей совершенно не нужны ни эти прекрасныя вещи, ни сопредѣльныя съ ними... Нашъ капитализмъ въ настоящую минуту нуждается не въ свободѣ, а напротивъ, въ привилегіи, покровительствѣ, регламентации, правительственныхъ гарантіяхъ, субсидіяхъ. А, не нуждаясь въ свободѣ вообще, онъ всего менѣе нуждается въ свободѣ мысли и слова *).

Возвращаясь еще разъ къ жгучему вопросу тогдашней дѣятельности, Н. К. Михайловскій ставитъ такъ дилемму внутренней „политики“:

Русская интеллигенція и русская буржуазія не одно и то же и до извѣстной степени даже враждебны и должны быть враждебны другъ другу; предоставьте русской интеллигенціи свободу слова и мысли—и, можетъ быть, русская буржуазія не съѣстъ русскаго народа; наложите на уста интеллигенціи печать молчанія—и народъ будетъ навѣрное съѣденъ **).

Читатель схватитъ сейчасъ же центръ аргументации этихъ по необходимости отрывочныхъ мыслей, заключенныхъ въ отрывочныхъ цитатахъ, если не упуститъ изъ вниманія, что, въ сущности, подъ интеллигенціей здѣсь разумѣется не группа ученыхъ мандариновъ, измѣряющихъ свою умственную количествомъ полученныхъ дипломовъ, и даже не просто такъ называемые культурные люди, могущіе членораздѣльно выражать аппетиты различныхъ привилегированныхъ классовъ, но то, все растущее по мѣрѣ прогресса, ядро служителей убѣжденія, значеніе котораго постоянно увеличивается среди современнаго общества. Въ тотъ моментъ, когда Михайловскій писалъ упомянутыя строки, этимъ ядромъ являлся авангардъ русскою прогрессивной арміи, прочно

*) Т. V, стр. 538 — 544, passim („Записки современника“ отъ декабря 1881 г.).

**) Ibid., стр. 566 (январь 1882 г.).

объединившій въ своемъ міровоззрѣніи народную „экономіку“ и общерусскую „политику“...

И потянулись надъ русскимъ обществомъ сѣрые, нескончаемые дни прозябанія, дни

Безъ божества, безъ вдохновенія,
Безъ слезъ, безъ жизни, безъ любви...

Приходилось вооружиться героизмомъ терпѣнія и, когда бо-
лотные огоньки мнимо-народной политики завели пятившуюся на-
задъ страну въ трясины возобновлявшагося крѣпостничества, вести
скучную, но необходимую борьбу за каждый маленькій клочекъ
оставшейся еще подъ ногами твердой почвы, отстаивать по
самомалѣйшему поводу интересы мысли и развитія, снова и снова
возвращаться къ запамätованнымъ рѣшеніямъ общественныхъ за-
дачъ, снова и снова повторять „забытые слова“. Такова была въ
80-хъ годахъ роль Н. К. Михайловскаго, которому пришлось
перемѣнить тяжелую палицу на простую азбучную указку и по-
вторять зады короткопалатымъ ученикамъ. Послѣ одной изъ
попытокъ практическаго напominанія „забытыхъ словъ“—на этотъ
разъ „совѣсти“ и „чести“,—публицистъ-гражданинъ превращается
въ „Посторонняго“, письма котораго свидѣлствуютъ, не смотря
на забавно контрастирующій съ ними характеръ литературнаго
исевдонама, о живѣйшемъ, о кровномъ интересѣ писавшаго ко
всѣмъ задачамъ тогдашней современности.

Обычная чуткость и обычная дальновидность Михайловскаго
ставятъ порою и на этотъ разъ его взгляды не то что въ прямое
противорѣчіе, а въ самостоятельную позицію по отношенію къ
господствующимъ воззрѣніямъ передовой интеллигенціи. Я разумѣю
хотя бы очень интересную оцѣнку Михайловскимъ выводовъ, за-
ключенныхъ въ извѣстной книгѣ г. В. В. Большинство изъ насъ
слишкомъ безусловно принимало всѣ заключенія этого умнаго,
но односторонняго писателя. Дѣйствительно, автору „Судебъ ка-
питализма въ Россіи“ принадлежитъ честь чуть ли не наиболѣе
самостоятельной попытки рѣшить вопросъ объ экономической бу-
дущности Россіи, исходя изъ анализа экономическихъ же условій
ей. Но иронія исторіи было угодно, чтобы въ тотъ самый моментъ,
когда его взгляды пользовались среди насъ наибольшою популяр-
ностью, факты и цифры, заключенные въ его книгѣ и послѣдую-
щихъ статьяхъ и по необходимости передававшіе положеніе ве-
щей, бывшее нѣсколько лѣтъ назадъ, стали отставать отъ дѣй-
ствительности, которая именно въ эту пору начала обнаруживать,
наконецъ, могущественное вліяніе „политики“ на „экономіку“. Субсидіи и гарантіи произвели, наконецъ, свое дѣйствіе; и теп-
личное растеніе капитализма, поливаемое въ оградѣ покровитель-

ественныхъ тарифовъ золотымъ дождемъ всяческихъ воспособленій, отнынѣ могло быть пересажено на болѣе или менѣе вольный воздухъ, подъ болѣе или менѣе открытое небо и здѣсь расцвѣсти и войти въ силу, хотя бы лишь въ извѣстныхъ отрасляхъ промышленности.

Какъ бы то ни было, забывая именно тѣсное взаимодействіе между политикой и экономикой и могущественное вліяніе первой на вторую въ эту эпоху, мы черезчуръ вѣрили въ невозможность развитія русскаго капитализма. Но посмотрите, какія ограниченія уже въ первой половинѣ 80-хъ годовъ вносилъ Михайловскій въ эту абсолютную теорію и съ какимъ мастерствомъ онъ изъ самыхъ выводовъ г. В. В. извлекалъ дополняющія ихъ возраженія. Я не могу, къ сожалѣнію, входить въ подробности и отсылаю читателя къ самой статьѣ Михайловскаго, изъ которой я позволю себѣ сдѣлать лишь слѣдующія, по необходимости отрывочныя выдержки:

...Вотъ, значить, въ чемъ дѣло. У насъ, значить, возможно въ обширныхъ размѣрахъ и уже практикуется: во-первыхъ, отлученіе производителей отъ силъ природы и орудій производства, каковое отлученіе есть неизбѣжный спутникъ и даже фундаментъ капиталистическаго строя; возможно то, что сейчасъ казалось невозможнымъ—законченныя формы капитализма; только онѣ безсильны охватить все производство страны. Этого онѣ не могутъ. Ну, а въ Европѣ могутъ? До сихъ поръ, по крайней мѣрѣ, тоже не могли... Для истиннаго пониманія его (г. В. В.) оригинальнаго тезиса о невозможности у насъ капиталистическаго строя, въ противоположность Европѣ, гдѣ онъ имѣетъ свой *raison d'être*; для правильнаго пониманія этого тезиса надо имѣть съ виду, что капиталистическій строй въ Европѣ не такъ ужъ господствуетъ, а у насъ не такъ ужъ отсутствуетъ, чтобы даже для отдаленнаго будущаго можно было противопоставлять наши экономическіе порядки европейскимъ. Безъ сомнѣнія, нашъ капитализмъ находится еще въ зачаточномъ состояніи, и въ данный историческій моментъ мы можемъ съ сравнительно большимъ удобствомъ выбирать характеры своей экономической политики. Но положеніе о невозможности, химеричности нашего капитализма надо понимать съ тѣми ограниченіями, которыя я сейчасъ заимствовалъ у самого г. В. В.: эта невозможность далеко не абсолютная, и, можетъ быть, даже не совсѣмъ правильно называть ее невозможностью *).

Послѣдующіе годы показали провицательность и дальновидность этихъ дополняющихъ и ограничивающихъ возраженій: именно въ то самое время, какъ шулера народничающей демагогіи старались отводить глаза публики криками и изліяніями вѣжныхъ чувствъ къ народу, къ нему, доброму, вѣрному, любимому и въ свою очередь „любящему“, наподобіе карасей, быть подаваемымъ на столъ господамъ подъ соусомъ изъ сметаны,—именно въ это самое время практиковалась система самаго послѣдовательнаго водворенія капитализма. Интересы фабрикантовъ и заводчиковъ становились центромъ національнаго производства. Все выше и выше подни-

*) Т. V, стр. 781—782 (іюль 1883 г.).

маленькі стѣны охранительныхъ, „раціональных“—о, иронія названія!—тарифовъ. Изъ „зачаточнаго состоянія“ капиталъ быстро переходилъ въ состояніе жизнеспособнаго, жаднаго, прожорливаго чудовища, которое и адѣсь, и тамъ впустило свои цѣпкіе присоски въ тѣло труда и принялось его „организовать“ по-своему, вознаграждая интенсивностью выкачиванія прибавочной стоимости спорадичность этого процесса.

Но эти годы „здравой, бодрой и истинно-русской“ политики... капиталистовъ были вмѣстѣ съ тѣмъ—и отчасти по тому самому—годами отсутствія всякой настоящей политики, если разумѣть подъ этимъ словомъ то, что разумѣлъ подъ нимъ старикъ Аристотель, а именно—общеніе людей, имѣющее цѣлью удовлетвореніе коллективной потребности „жить и хорошо жить“ (τὸ ζῆν καὶ τὸ εὖ ζῆν). Общественная реакція, обнаруживая поразительную слабость положительной мысли, занималась жалкимъ подогрѣваніемъ остатковъ и отбросовъ крѣпостнической кухни. Съ количественнымъ, а главное качественнымъ ослабленіемъ переводой интеллигенціи, мѣсто здоровыхъ социальныхъ стремленій заняли болѣзненные личные идеалы не связанныхъ ничѣмъ между собою людей, уныло или комично-самоувѣренно бредшихъ куда попало. Ренегаты, измѣнившіе своему прошлому ради пироговъ, спокойной жизни и дѣтешекъ, нуждавшихся въ молочишкѣ, не ограничивались ролью Ивановъ, не помнящихъ родства, но еще требовали себѣ почета, уваженія и прочихъ „вещественныхъ знаковъ невещественныхъ отношеній“, требовали какъ разъ за это самое запечаткованіе и за каждый плевокъ въ своихъ бывшихъ, живыхъ и мертвыхъ товарищей. Порядочные слабые люди и просто непорядочная шушера занялись различными операціями „надъ собою, о себѣ, въ себѣ“, какъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ Михайловскій охарактеризовалъ дѣятельность Достоевскаго. Г. Минскій хоронилъ „при свѣтѣ совѣсти“ свой недавно еще свѣжій, гуманный и симпатичный талантъ и, въ потугахъ полуторавершковатаго титанизма, гримасничалъ и мѣнилъ Богъ знаетъ что. Г. Волинскій, стоя передъ зеркаломъ своего самолюбія, усердно трепанировалъ собственную голову и безъ всякой жалости—къ читателямъ—„обнажалъ“ тамъ „новыя мозговыя линіи“ и „новыя душевныя складки“. Гг. Дистерле и Единицы—мели Емеля, твоя „Недѣля“—взяли на себя подрядъ поставлять „новыя слова“. Добросовѣстные, но измельчавшіе, выродившіеся „народники“ 80-хъ годовъ приставали къ Михайловскому съ микроскопическими недоумѣніями и вопросиками, какъ же, наконецъ, имъ быть „съ интересами“ и „мнѣніями“ народа. Гг. Ясинскіе, не довольствуясь своими беллетристическими лаврами, въ значительной мѣрѣ подтибранными у французскихъ натуралистовъ, закладывали основаніе той претенціозной эстетической галиматіи, которая должна была расцвѣсти и принести свой плодъ въ 90-хъ годахъ...

И соловей

Ужъ пѣлъ въ безмолвіи ночей,—

ну, соловей, не соловей, а цѣлый хоръ поэтиковъ и виршеплетовъ, пѣвшихъ, впрочемъ, хуже не только Щербины, но и обыкновеннаго соловья...

И на всю эту пустопорожнюю, самоувѣренную, лишенную настоящихъ идей и просто здраваго смысла дребедень долженъ былъ критически откликаться Н. К. Михайловскій, пытаясь сохранить душу живу у своихъ читателей и довести ихъ людьми среди тяжелаго путешествія сквозь бурю и мракъ реакціонной ночи въ направленіи къ солнцу общечеловѣческаго идеала. И если невольная гордость охватываетъ душу единомышленниковъ Михайловскаго, когда они оглядываются на героическую кампанію, веденную имъ противъ могущественныхъ и безстыдныхъ враговъ съ конца 60-хъ и до половины 80-хъ годовъ, то горячая идейная любовь къ публицисту-гражданину загорается въ сердцахъ этихъ людей, когда они ясно отдають себѣ отчетъ, какую бездну терпѣнія и самоотверженной преданности правдѣ обнаружилъ Михайловскій во второй, трижды ненавистной половинѣ 80-хъ годовъ, когда крупная идейная борьба должна была по необходимости разлѣбиться на рядъ безконечныхъ мелкихъ стычекъ, съ безчисленными мелкими, зачастую даже не вѣдающими что творять противниками.

Вотъ, ужъ можно сказать, было время, когда другой, даже менѣе крупный, но болѣе эгоистичный, чѣмъ Михайловскій, писатель ушелъ бы въ область чисто теоретическаго мышленія и внѣшней чисто литературной обработки своего міровоззрѣнія. Заманчива была эта задача и легкою былъ этотъ трудъ: роль мыслителя ограничивалась лишь чисто формальнымъ сведеніемъ воедино его столь цѣльнаго и такъ давно выработаннаго въ общихъ чертахъ міросозерцанія. Въ эту никчемную пору Н. К. Михайловскій могъ бы, несомнѣнно, „заново написать книгу“, о которой онъ говоритъ въ уже цитированномъ мною отвѣтѣ сердитому, но слабосильному критику; и лично его научная репутація ужасно выиграла бы. Говорю это, обращая вниманіе читателей на то обстоятельство, что очень многіе изъ насъ до сихъ поръ чересчуръ увлекаются внѣшнимъ, порою лишь голо формальнымъ и педантическимъ распредѣленіемъ элементовъ данной системы по томамъ, книгамъ, главамъ, параграфамъ, подпараграфамъ и разсыпающимся въ пылъ микроскопическимъ рубрикамъ. Однако, и на этотъ разъ, Михайловскій устоялъ передъ эгоистическимъ искушеніемъ составить себѣ репутацію записного ученаго у многочисленныхъ, если не читателей, то писателей объемистыхъ и симметрично расчлененныхъ трудовъ. Дѣло въ томъ, что въ это время дѣйствительность подтверждала все болѣе и болѣе опасеніе, выраженное Михайловскимъ еще въ самомъ началѣ обще-

ственной реакціи: „вша заѣсть“ русскую жизнь. Вотъ противъ этой-то „вши“, этихъ-то „безконечно-малыхъ“, но опасныхъ своею многочисленностью враговъ общественнаго организма и направилъ свою уничтожающую и оздоровляющую дѣятельность Михайловскій. И эту печально-героическую, но необходимую роль надо не упускать ни на мигъ изъ вниманія, когда подводишь итоги этой колосѣ жизни писателя.

Лишь одинъ разъ за это время судьба ставитъ публициста-гражданина лицомъ къ лицу съ достойнымъ его противникомъ: я разумѣю блистательную атаку Михайловскаго противъ Л. Н. Толстого, который, благодаря самой силѣ, искренности и энергіи своей выходящей изъ ряду личности, явился выразителемъ, а въ значительной мѣрѣ и создателемъ одной изъ опаснѣйшихъ формъ общественной реакціи. Смѣлость отрицательной критики Толстого, его оригинальный „аполитизмъ“, который заставляетъ иныхъ непроницательныхъ анархистовъ на Западѣ считать его своимъ, его могучее стремленіе связать въ одно цѣлое сферу своей мысли и сферу своей личной жизни, слово и дѣло, ученіе и примѣръ,—все это мѣшало усталой, разочарованной, обесиленной русской интеллигенціи понять противообщественный характеръ проповѣди новаго апостола. Въ сущности, еще разъ дѣло общерусскаго и, если хотите, въ извѣстномъ смыслѣ общечеловѣческаго прогресса, торжествующаго перенесеніемъ центра тяжести съ социальной почвы преобразования условій на узко-индивидуальную почву личнаго усовершенствованія. Личность снова стала занимать немѣрно большое мѣсто въ мировоззрѣніи интеллигенціи,—не та живая, активная, глубоко общественная личность, о которой говорилъ намъ Н. К. Михайловскій въ концѣ 70-хъ годовъ и которая потому только и „разсѣивала вокругъ себя лучи Правды“ *), что предварительно концентрировала въ себѣ лучшія стремленія всего общества; но та пассивная, созерцательная, копающаяся въ себѣ, рассматривающая въ микроскопъ свои грѣхи и грѣшки личность, которая, словно паукъ, тянула изъ себя нескончаемую моральную нить-канитель и думала на этой тонкой-претонкой нити вытащить погрязшій въ сквернѣ міръ...

Снова операція „надъ собой, въ себѣ, о себѣ“ замѣняла воздѣйствіе на вѣшнюю среду. Возрождалась новая писаревщина съ узко-личными задачами индивидуума и ближайшихъ единомышленниковъ-сектантовъ, и писаревщина съ тѣмъ усугубленіемъ, что мѣсто чересчуръ наивнаго восхищенія „наукою“ заняло еще болѣе наивное отрицаніе науки, а „борьба противъ авторитетовъ“ смѣнилась „непротивленіемъ злу“. Ахъ, это непротивленіе! Какою горькою ироніею надъ русскою жизнью была проповѣдь его, когда и безъ того тогдашняя интеллигенція не могла даже отвѣчать

*) Т. IV, стр. 460 (январь 1878 г.).

простыми рефлексами на дальнѣйшіе удары судьбы! Какой манной небесной и дѣкарствомъ противъ внутренняго стыда была толстовщина для тѣхъ людей, у которыхъ „совѣсть“ такъ же не знала, куда дѣлась ея сестра—„честь“, какъ Кайнъ игнорировалъ судьбу брата Авеля! А вѣдь это были еще лучшіе люди! Что же сказать о большинствѣ другихъ?..

Въ это то тяжелое время философія и поэзія борьбы нашли яркое выраженіе въ пламенныхъ статьяхъ Михайловскаго противъ Толстого. Никому, какъ выражался самъ публицистъ-гражданинъ, никому онъ не уступалъ въ уваженіи къ талантамъ, къ геніальности Толстого. Онъ давно изучалъ эту могучую индивидуальность и внимательно слѣдилъ за различными переживаниями ея. Онъ защищалъ, между прочимъ, автора оригинальныхъ статей о народной педагогикѣ еще въ срединѣ 70-хъ годовъ противъ воинственнаго грома и блеска „мѣднаго таза либерализма“. Онъ цѣнилъ въ немъ перваго, „великаго художника земли русской“ (выраженіе Тургенева). Но уже тогда онъ ясно видѣлъ и отмѣтилъ одновременное существованіе у Толстого „десницы“ и „шуйцы“, смѣлаго, безстрашнаго полета мысли, глядящей орлинымъ окомъ прямо на солнце Правды, и вдругъ наступающаго затмѣнъ робкаго переминая на мѣстѣ, чуть не ползавшаго передъ обычными формами культуры, и т. п. А когда эта „шуйца“ указала русскому обществу на фальшивый путь безплоднаго морализирования и стала заводить интеллигенцію все дальше и дальше въ пески и болота, Михайловскій всталъ во весь ростъ на защиту лучшихъ идеаловъ и здоровыхъ традицій, и изъ подъ пера его вылились, какъ лава, горячія строки. Помните эту глубоко правдивую и вмѣстѣ негодующую оцѣнку психологіи Толстого:

Онъ такъ занятъ происходящимъ въ немъ самымъ душевнымъ процессомъ, такъ прислушивается къ шуму въ своихъ собственныхъ ушахъ, что внѣшніе предметы теряютъ для него свое самостоятельное, живое значеніе... Завидна участь гр. Толстого. Завидны это спокойствіе сердца, приставшаго къ странѣ, гдѣ рѣки въ кисельныхъ берегахъ молокомъ текутъ; эта чистота совѣсти передъ любовной и радостной дѣятельностью; эта ясность разума, который говоритъ: я все понимаю! Да, это завидно. Но мы, мятущіеся, мы, ищущіе, мы, не сумѣвшие выскочить изъ водоворота жизни ни на кисельный берегъ молочной рѣки, ни на облака, вѣнчающія вершины Олимпа, мы не вѣримъ гр. Толстому! Онъ, конечно, говоритъ правду: онъ спокоенъ, счастливъ, онъ достигъ того душевнаго состоянія, которое даже не всѣмъ угодникамъ усваиваютъ житія святыхъ. Но это только потому, что графъ прислушивается къ шуму въ собственныхъ ушахъ. Отверзи онъ ихъ на минуту для воспріятія живыхъ внѣшнихъ впечатлѣній, и онъ долженъ ужаснуться того страннаго, противорѣчиваго положенія, въ которомъ онъ находится *).

Или хотя бы эта великолѣпная отповѣдь, брошенная въ лицо теоріи „непротівленія злу“:

*) Т. VI, стр. 369—370 (изъ „Дневника читателя“ отъ мая 1886 г.).

...Какая, однако, все это удивительная путаница! Какое возмутительное презрѣніе къ жизни, къ самымъ элементарнымъ и неизбѣжнымъ движеніямъ человѣческой души! Какое холодное, резонерское отношеніе къ людскимъ чувствамъ и поступкамъ! И этому съ сочувствіемъ внимають, говорятъ, молодые люди, у которыхъ естественно „кровь кипитъ“ и „сила избытокъ“... Я не понимаю этого. Это какое-то колоссальное недоразумѣніе, возможное только въ такія мрачныя, тускныя времена, какія переживаемъ мы. Пусть лопатятся къ вамъ въ домъ, пусть бьютъ отцовъ и дѣтей вашихъ,—такъ надо, убійцы спасаютъ вашихъ близкихъ и кровныхъ отъ вѣшшихъ грѣховъ; но горе вамъ, если вы сами пальцемъ коснетесь убійцы! Увы, гр. Толстой является въ этомъ случаѣ даже не учителемъ, онъ съ улицы поднимъ свое поученіе, ибо вся улица поступаетъ именно такъ, какъ желательно гр. Толстому. Но зачѣмъ же онъ иронизируетъ надъ „философіей духа“, „по которой выходило, что все, что существуетъ, то разумно, что нѣтъ ни зла, ни добра, и что бороться со зломъ человѣку не нужно“. Зачѣмъ издѣвается онъ надъ Спенсеромъ, который, въ другихъ только терминахъ, тоже требуетъ невмѣшательства и непротивленія злу и въ „Соціальной статикѣ“ рекомендуетъ отнюдь не критиковать божій міръ „съ точки зрѣнія своего кусочка мозга“, ибо, дескать, вы думаете поправить зло, а выходитъ еще хуже *).

И, можно сказать, Михайловскій ни на минуту не перестаетъ слѣдить за литературно-общественной дѣятельностью Толстого, вѣрно вглядываясь въ малѣйшія перипетіи ея, съ радостью останавливаясь на здоровыхъ проявленіяхъ художественнаго творчества этого гениальнаго писателя, со скорбью констатируя противно-общественные подвиги его „шуйцы“, предостерегая читателей не увлекаться силою и передливками этой обаятельной, но порою увы! столь опасной для слабыхъ людей личности. Въ отрезвленіи русскаго общества отъ наркотическаго дѣйствія толстовщины одно изъ важнѣйшихъ мѣстъ принадлежитъ Михайловскому, который и въ 90-ые годы переноситъ свою проницательную и неліцеприятную критику Толстого, прибѣгая къ собственнымъ „литературнымъ воспоминаніямъ“, объясняющимъ нѣкоторыя стороны толстовскаго міровоззрѣнія, или же стараясь внести свѣтъ мысли и сознанія въ „современную смуту“. Я отоылаю читателя къ статьямъ, появившимся, въ числѣ прочихъ, въ двухъ томахъ „Литературныхъ воспоминаній и современной смуты“.

Привдвигаясь къ изображенію литературной дѣятельности Михайловскаго за послѣднее десятилѣтіе, я испытываю немалое затрудненіе: мы всѣ еще стоимъ въ потокѣ движущейся, дѣлающей исторіи; у насъ нѣтъ еще окончательно пройденнаго твердаго пункта, стоя на которомъ, мы могли бы съ достаточнымъ для общаго взгляда удаленіемъ окинуть историческую перспективу послѣднихъ лѣтъ. Какъ же оцѣнить руководящую дѣятельность человѣка, который плылъ вмѣстѣ съ нами въ общемъ историческомъ потокѣ и старался пока лишь ориентировать наше движеніе въ наиболѣе благопріятномъ для прогресса направленіи? Заднимъ числомъ оглядываясь уже на пройденный, отмѣченный неизгла-

*) Ibid., стр. 398 (статья отъ іюня 1886 г.).

димыми вѣхами путь, мы могли съ достаточной точностью опредѣлить, взвѣсить общественныя заслуги Михайловскаго въ концѣ 60-хъ годовъ, въ 70-хъ, на рубежѣ 70-хъ и 80-хъ, въ теченіе 80-хъ, въ первой половинѣ 90-хъ. Но что касается дальнѣйшаго времени, то можно ли съ такою же опредѣленностью установить роль публициста-гражданина за послѣднее десятилѣтіе исторической жизни, когда мы лишь наканунѣ подведенія крупнѣйшихъ общественно-политическихъ итоговъ ея?

Я попытаюсь, однако, указать на двѣ три черты въ литературной дѣятельности Михайловскаго за этотъ періодъ времени, черты, которыя свидѣлствуютъ, что и тогда, какъ раньше, общественная роль этого писателя состоитъ въ обоснованіи и выясненіи стремленій лучшей части интеллигенціи. Такъ, рядомъ съ борьбою противъ толстовщины, противъ нанесеннаго изъ Западной Европы пустопорожняго декадентства и ничшеанства, противъ російскаго не то изувѣрства, не то религіознаго паясничества гг. Розановыхъ и комп., противъ узкаго народничества г. В. В. и Юзова (совсѣмъ присмирѣвшаго въ послѣдніе годы своей жизни), Михайловскій велъ борьбу противъ односторонностей русскаго марксизма. И по всѣмъ этимъ пунктамъ, насколько настоящее позволяетъ судить о будущемъ, публицистъ-гражданинъ съ честью и успѣхомъ отстаивалъ интересы нормальнаго общественнаго развитія.

Толстовщина отмираетъ, если не совсѣмъ умерла, и наиболѣе энергичные ученики Толстого самою логикою дѣйствительности толкаются съ пути непротівленія злу на путь противленія. Кому не извѣстны громкіе примѣры этого душевнаго превращенія именно въ самые послѣдніе годы? Ребяческая золотуха декадентства, обезобразившая одно время своею сыпью часть молодежи и перезрѣлыхъ юношей лѣтъ этакъ сорока пяти съ хвостикомъ, шелушится и исчезаетъ: гг. декадентовъ и ничшеанцевъ, по собственному ихъ признанію, теперь человѣкъ семь въ рендантѣ къ семи мудрецамъ Греціи; и что бы они тамъ ни бальмонствовали, этого достаточно для образованія общества взаимнаго обожанія, но чрезчуръ мало для общественно-литературнаго теченія. Религіозное паясничество школы г. Розанова, хотя и выражаетъ претензію держаться на неистребимомъ будто бы порывѣ духа купаться въ глубокомъ океанѣ замоскворѣцкой лампадки, на самомъ-то дѣлѣ держится на регламентахъ управы благочинія и исчезнетъ безповоротно, какъ только скромная „вѣтка Палестины“ перестанетъ играть передъ „символомъ святымъ“ обидную для самихъ искренно вѣрующихъ роль властной лозы. Кстати сказать, самъ основатель школы теперь, нѣкогда „отказавшійся отъ наслѣдства 70-хъ годовъ“, отказался въ значительной степени и отъ наслѣдства катковцевъ, возбуждая даже въ нихъ обычную страсть къ доносителству—на сей разъ на новаго „еретика“.

Такъ что розановщина или умираетъ и окончательно умереть, или превратится въ нѣчто, совсѣмъ непохожее на взгляды г. Розанова первой половины 90-хъ годовъ. Преувеличенія узкаго народничества тоже, кажется, навсегда отходятъ въ область исторiи; и вдунуть духъ жизни и активности въ эту полинялую и выдохшуюся формулу не способны, не смотря на свой оригинальный умъ, и самъ г. В. В., единственно крупный человѣкъ этого направленiя, при томъ, повидимому, начинающій уходить все дальше отъ злополучныхъ идей „Нашихъ направленiй“.

Что касается до марксизма, то онъ заслуживаетъ, чтобы на немъ остановиться нѣсколько дольше, и заслуживаетъ именно потому, что, не смотря на свои преувеличенiя, явился единственнымъ здоровымъ общественнымъ теченiемъ среди перечисленныхъ нами выше элементовъ „современной смуты“.

Приступая къ изображенiю роли Михайловскаго въ борьбѣ съ тѣмъ направленiемъ, которое рѣзко прокинулось на русской почвѣ въ срединѣ 90-хъ годовъ подъ общимъ наименованiемъ „марксизма“, я долженъ сдѣлать надъ собою нѣкоторое усилiе, чтобы отнестись къ этой задачѣ, если не съ невозможнымъ для живого человѣка безпристрастiемъ, то, по крайней мѣрѣ, съ достаточной объективностью. Въ борьбѣ съ „русскими учениками“ Михайловскому принадлежало одно изъ самыхъ выдающихся мѣстъ; но въ ней, этой борьбѣ, участвовали люди гораздо меньшаго значенiя, зачастую простые рядовые той армiи, духовнымъ вождемъ которой былъ Михайловскiй. Самъ пишущiй эти строки счелъ нужнымъ, въ предѣлахъ своихъ силъ и пониманiя, представить нѣсколько критическихъ замѣчанiй на произведшую въ самой срединѣ 90-хъ годовъ большую сенсацію книгу г. Бельтова (см. мой этюдъ „На высотахъ объективной истины“, въ майской книжкѣ „Русскаго Богатства“ за 1895 г.). А двумя годами позже, въ самомъ концѣ 1897 г., авторъ же настоящей статьи повторилъ критическую попытку коснуться марксизма вообще, придравшись къ нѣкоторымъ литературнымъ явленiямъ французскаго марксизма. Эта моя статья предназначалась также для „Русскаго Богатства“. И такъ какъ въ тому времени „Новое Слово“ было закрыто, то Михайловскiй направилъ мое письмо изъ Францiи: „О марксизмѣ вообще по поводу французскаго марксизма въ частности“) въ корректурѣ г. Струве съ предложенiемъ отвѣтить на него на столбцахъ же „Русскаго Богатства“.

Не могу ясно представить себѣ, по какимъ мотивамъ г. Струве, — какъ мнѣ писалъ о томъ Михайловскiй, — отказался отъ этого предложенiя, дававшего ему возможность противопоставить моему тезису свой антитезисъ въ органѣ честнаго идейнаго противника, который для этого спеціальнаго вопроса открывалъ ему двери своего дома, въ то время, какъ капризный Аллахъ разрушалъ

до основанія идейный очагъ г. Струве и его единомышленниковъ...

Я упомянулъ объ этомъ эпизодѣ изъ исторіи нашей идейной борьбы, во-первыхъ, потому, что онъ рисуетъ намъ Михайловскаго послѣдовательнымъ защитникомъ свободы печати, который не на словахъ только, а на дѣлѣ вѣритъ въ великое значеніе откровенной борьбы мнѣній и, не смотря на цѣльность своего мировоззрѣнія, соглашается въ извѣстныхъ случаяхъ сдѣлать изъ своего органа свободную трибуну, лишь бы не была удушена грубой силой мысль противника. Во-вторыхъ, я счелъ нужнымъ совершить это небольшое отступленіе въ сферу личныхъ воспоминаній вовсе не затѣмъ, чтобы занимать своей персоной публику, когда дѣло идетъ о такомъ первоклассномъ писателѣ, какимъ былъ Михайловскій, но съ цѣлью напомнить читателю, что оговорки, которыя мнѣ придется сдѣлать сейчасъ по поводу полемики Михайловскаго противъ русскихъ марксистовъ, цѣликомъ касаются и всѣхъ насъ, его учениковъ или его идейныхъ товарищей. Пишущій эти строки, напримѣръ, желая указать на нѣкоторые пробѣлы или даже, пожалуй, на нѣкоторыя чисто тактическія ошибки, допущенныя Михайловскимъ въ его борьбѣ съ отечественнымъ марксизмомъ, не только не думаетъ выгораживать себя самого отъ критики, основанной на такихъ соображеніяхъ, но готовъ признать себя сугубо виноватымъ въ этой ошибочной тактикѣ по отношенію къ противникамъ. Только откровеннымъ признаніемъ нѣкоторыхъ тактическихъ заблужденій въ прошломъ,—читатель сейчасъ увидитъ, какихъ — авторъ предлагаемаго этюда можетъ найти въ себѣ достаточно свободы мысли, чтобы оцѣнить ту сторону литературной дѣятельности знаменитаго писателя публициста, о которой теперь пойдетъ рѣчь и большая часть которой выражается въ статьяхъ, перепечатанныхъ, вмѣстѣ съ другими этюдами 1895—1898 г., въ двухъ томахъ недавно вышедшихъ „Откликовъ“.

Общая ошибка Михайловскаго и его идейныхъ друзей и учениковъ заключалась, по моему личному глубокому убѣжденію, въ томъ, что наше направленіе недостаточно серьезно отнеслось къ марксизму, какъ къ новой соціологической гипотезѣ; и, раздраженное доходящими до странностей преувеличеніями „русскихъ учениковъ“, вступило въ борьбу почти исключительно съ этими странностями, ведшимъ въ общественно-политическомъ отношеніи, дѣйствительно, къ заключеніямъ, отъ которыхъ должны были рано или поздно отшатнуться наиболѣе здоровые элементы марксизма. Этотъ процессъ очищенія марксистскаго мировоззрѣнія отъ шлаковъ и изгари, внесенныхъ въ него большинствомъ совершенно несамостоятельныхъ учениковъ, еще далеко не кончился. Но онъ уже во второй половинѣ 90-хъ годовъ произвелъ ту разслоюку струй внутри этого идейнаго теченія, которая превратила лагерь марк-

систовъ въ раздираемый несогласіями лагерь короля Аграманта. И какую искреннюю жалость приходится испытывать заднимъ числомъ, что неподражаемый философъ - публицистъ, который въ лицѣ Михайловскаго господствовалъ въ русской литературѣ не одинъ десятокъ лѣтъ, не пожелалъ сыграть въ разрѣшеніи идейнаго кризиса послѣдняго времени всей приличествующей ему роли! О марксизмѣ и противъ марксизма этотъ умнѣйшій человѣкъ пореформенной Россіи писалъ или слишкомъ много, или слишкомъ мало. Слишкомъ много, если вспомнить тѣ полемическія статьи, въ которыхъ онъ безжалостно высмѣивалъ явныя несообразности и преувеличенія „русскихъ учениковъ“, ибо одніе странности идейнаго увлеченія взаимно покрывались и нейтрализовались другими странностями, выходившими изъ того же лагеря, и драгоцѣнный полемическій талантъ тратился нерѣдко по мелочамъ. Слишкомъ мало, если сообразить, что Михайловскій ни разу не пожелалъ вплотную приложить свою рѣдкую силу критическаго анализа къ здоровому ядру марксовскаго ученія, ибо тогда оказалось бы, что суть этой доктрины не такъ далека, какъ то могло представляться въ пылу полемики, отъ центральнаго пункта социологическаго міросозерцанія автора „Что такое прогрессъ“ и „Борьба за индивидуальность“.

Въ самомъ дѣлѣ, если въ чемъ нужно искать основного ядра ученія Маркса, такъ это въ преобладающемъ значеніи развитія производительныхъ силъ общества, т. е. социальной технологіи, для психической эволюціи людей, т. е. ихъ коллективной психологіи, на которой опираются или, лучше сказать, частными выраженіями которой являются социально-экономическія, правовыя, политическія, религіозныя, философскія, эстетическія представленія членовъ даннаго обществѣ. Но спрашивается, такъ ли далеко отъ этого основного пункта марксизма отстоятъ существенныя идеи того мыслителя, который, — какъ въ порывѣ временной справедливости признавали иногда сами „русскіе ученики“, — объяснялъ характеръ міровоззрѣнія даннаго общества характеромъ господствующей въ немъ формы „кооперациі“; который центральнымъ элементомъ человѣческой личности считаетъ „трудъ“ и который, въ частности, устанавливаетъ зависимость между субъективными взглядами извѣстнаго человѣка и его „принадлежностью къ социальной группѣ“?

Кстати сказать, этотъ вопросъ такъ сильно тревожилъ меня, что совсѣмъ незадолго до смерти Михайловскаго я обратился къ нему за разъясненіемъ, не считаетъ ли онъ возможнымъ установить свою, столь всѣмъ извѣстную, но вызвавшую столько недоразумѣній и неумныхъ возраженій „формулу прогресса“ на основѣ ученія о значеніи постоянно развивающейся человѣческой технологіи. Ибо, продолжалъ я, лишь высоко развитый машинный способъ производства переложить бремя раздѣленія труда съ че-

ловѣка на искусственные органы его, „проектирующіеся во внѣшнемъ мірѣ“, т. е. на орудія и инструменты труда, и дать возможность человѣку синтетически работать, переходя при помощи усовершенствованныхъ машинъ ко всевозможнымъ занятіямъ и оставаясь цѣльнымъ существомъ, упражняющимъ наибольшее число своихъ физическихъ и умственныхъ способностей. Тогда какъ общество, взятое въ его цѣломъ, будетъ наиболѣе однородно, такъ какъ будетъ слагаться изъ индивидуумовъ, отличающихся общимъ гармоничнымъ развитіемъ мускульной и нервно-мозговой системы. Въ отвѣтъ я получилъ письмо отъ Михайловскаго, — увѣдѣнное, которое было мнѣ написано имъ, — и въ немъ заключались, между прочимъ, слѣдующія многозначительныя строки: „вполнѣ согласенъ съ вашимъ мнѣніемъ. Обѣими руками подписываюсь подъ вашимъ истолкованіемъ“. На это письмо я смотрю, какъ на завѣщаніе Михайловскаго, какъ на задачу, которую мнѣ указывалъ славный русскій мыслитель. И такому оближенію точки зрѣнія Михайловскаго и центрального пункта марксистской доктрины будутъ отчасти посвящены уже довольно давно задуманные мною „Соціологическіе очерки“. Но я счелъ долгомъ еще ранѣе выполненія своего плана упомянуть объ этомъ письмѣ. Ибо оно показывало, что, примись Михайловскій за обстоятельную критику ученія Маркса, отвлекись онъ отъ полемики съ „русскими учениками“, или удѣли онъ ей въ вопросѣ лишь совершенно подчиненное значеніе, и сама мощь его ума была бы порукой, что онъ окажетъ существенную помощь нашей интеллигенціи въ выработкѣ мировоззрѣнія, выщелушивъ здоровое зерно изъ хаотической оболочки русскаго марксизма и устранивъ тѣмъ самымъ самую возможность возникновенія тѣхъ странностей, которые пропагандировались адептами доктрины на русской почвѣ въ пору наибольшаго увлеченія ею...

Сдѣлавъ эту оговорку, касающуюся Михайловскаго скорѣе, какъ философа и соціолога, я перехожу къ его гражданско-публицистической дѣятельности въ эпоху не-критическаго господства марксизма въ Россіи. Разъ мы допустили, что, въ силу тѣхъ или иныхъ условій момента, напр., излишняго догматизма и запальчивой односторонности „учениковъ“, Михайловскій уклонился отъ оцѣнки по существу самой доктрины и вступилъ въ борьбу съ ея русскими проповѣдниками и комментаторами, то придется признать, что эту задачу онъ выполнилъ съ своею обычною силою и успѣшностью. Перечитайте, дѣйствительно, статьи Михайловскаго, направленные противъ нашего марксизма, и вы убѣдитесь, что въ нихъ отмѣчены тѣ самыя болѣзненные мѣста этого направленія, отъ которыхъ оно все болѣе и болѣе отдѣляется, — но далеко еще не окончательно отдѣлалось, — путемъ разслойки, внутреннего броженія, а нѣкоторые говорятъ, прямого „разложенія“. „Разложеніе марксизма“ — таково, дѣйствительно, названіе одной

изъ статей послѣдней книжки „Новаго пути“, выходящаго подъ новой редакціей, въ которой играютъ выдающуюся роль такіе ех-эпигоны марксизма, какъ гг. Булгаковъ, Бердяевъ и К^о...

Такъ Михайловскій полемизировалъ противъ ненаучнаго объясненія всѣхъ жизненныхъ явленій „экономическимъ факторомъ“, въ особенности если разумѣть подъ послѣднимъ такъ называемый вопросъ желудка. И уже тогда же изъ среды русскихъ учениковъ раздался рѣзкій обличеніи этой теоріи „факторовъ“, и была сдѣлана попытка разсматривать общественный организмъ, какъ цѣлое, но, къ сожалѣнію, попытка на словахъ. Ибо возставшіе противъ выдѣленія „факторовъ“, послѣ нѣсколькихъ словесныхъ кунштштюковъ, успокаивались все на той же экономікѣ, только растворяя воѣ общественныя явленія въ ея „діалектическомъ“ потокѣ. А нынѣ не только русскіе, но и заграничные марксисты различными оговорками, допущеніями и истолкованіями такъ распространили первоначальный смыслъ ученія, что эта доктрина поистинѣ превратилась въ теорію „всего во всемъ“.

Эти столкновенія между „экономическимъ матеріализмомъ“ и „діалектическимъ матеріализмомъ“ вызываютъ въ памяти другую антимарксистскую кампанію Михайловскаго, а именно по поводу развитія всѣхъ явленій жизни и мысли гегельянскимъ методомъ противорѣчій.

Михайловскій съ блистательнымъ остроуміемъ показалъ, что пресловутое діалектическое развитіе есть лишь пустая формула, *façon de parler*, приемъ изложенія; и что оно, какъ объективный законъ дѣйствительности, не существуетъ, а какъ чисто логическій способъ мышленія вовсе не связано необходимо съ теоріей Маркса. Современное состояніе марксизма показываетъ, въ какой степени это было вѣрно. И, не говоря уже о нашихъ прямыхъ нео-метафизикахъ, выдупившихся изъ русскаго марксизма, даже „правовѣрные“ ученики прицѣпливаются нынѣ ко всевозможнымъ философскимъ системамъ, и въ частности „эмпирию критицизмъ“ Авенариуса начинаютъ, повидимому, брать рѣшительный перевѣсъ надъ гегельянскою діалектикой, хотя и „переставленной съ ногъ на голову“.

Но насъ ждуть такіе вопросы, гдѣ общее міровоззрѣніе тѣсно связывается съ жгучими злобами дня, и гдѣ Михайловскій своей полемикой противъ странностей русскаго марксизма сыгралъ въ высокой степени оздоровляющую роль. Вы помните, съ какой помпой марксисты 90-хъ годовъ провозглашали неизбѣжность положенія „политика слѣдуетъ за экономикой“, „намъ всего важнѣе объективное, фатальное, стихійное развитіе массъ“; съ какой рѣзкостью они возставали противъ значенія „личности“ и организаціи личностей; какъ высокоумно они третировали „сознаніе“, третировали „интеллигенцію“, заколачивая ее, словно тяжело преступнаго каторжника, въ кандалы язвительныхъ кавычекъ. По всѣмъ этимъ

вопросамъ Михайловскій велъ безпощадную полемику противъ „русскихъ учениковъ“. И онъ могъ еще при жизни наблюдать, съ какой энергіей наиболѣе активные марксисты стали отказываться отъ прежнихъ странностей, въ особенности, когда они увидѣли воочию, къ чему ведутъ на практикѣ эти мнимыя „новыя слова“, и когда передъ ними сталъ дѣйствительно грозный вопросъ „что дѣлать“?

„Экономизмъ“ въ связи съ постепеновской „теоріей стадій“ подверглись жесточайшему нападенію активныхъ марксистовъ, которые объявились теперь ревностными политиками. Въ „приниженіи инициативы и энергіи сознательныхъ дѣателей“ было усмотрѣно не практическое заключеніе изъ прежней претенціозной фразы „въ социологіи личность ничто“, но—„клевета на марксизмъ“, злостная карикатура, сочиненная на марксистовъ „народниками“. Организациа личностей, и не просто организациа, а „могучая, концентрирующая въ своихъ рукахъ всѣ нити дѣятельности“ организациа ставилась нынѣ основной жизненной задачей активныхъ личностей. Реабилитирована была и закованная дотолѣ въ кандалы кавычекъ интеллигенція, которая была не только освобождена отъ такого *duri carceris*, не только освобождена отъ суда и слѣдствія, но и признана невинною въ взводившихся на нее „субъективныхъ“ преступленіяхъ, мало того, восстановлена въ своихъ прежнихъ правахъ и даже удостоилась настоящаго триумфа. Ибо, при пособіи кстати вспомнанныхъ разсужденій Каутскаго насчетъ того, что „социалистическое сознаніе есть нѣчто извнѣ внесенное въ классовую борьбу пролетаріата, а не нѣчто первоначально изъ нея выросшее“, и что это нѣчто есть результатъ „науки“, которая „возникла въ головахъ отдѣльныхъ членовъ буржуазной интеллигенціи“, а только затѣмъ уже могла быть „сообщена выдающимся по умственному развитію пролетаріямъ“,—при пособіи, говоря, такихъ „ортодоксальныхъ“ мыслей Каутскаго, на русскую интеллигенцію была возложена миссія совлечь трудящіяся массы съ пути стихійной экономической борьбы на путь сознательной политической дѣятельности. Правда, противъ этихъ ортодоксальныхъ марксистовъ выступили еще болѣе ортодоксальные марксисты; и въ результатъ борьбы этихъ друго-вражескихъ элементовъ, носящихъ почти клиническія названія „твердыхъ“ и „мягкихъ“, обнаружилась снова нѣкоторая реакція противъ „организациа“ въ пользу „стихійности“ и противъ „интеллигенціи“ въ пользу „массъ“. Но можно надѣяться, что односторонности и преувеличенія русскаго марксизма 90-хъ годовъ, противъ которыхъ была направлена полемика Михайловскаго, въ общемъ перешли въ область исторіи, и что здоровая общественная дѣятельность произведетъ тотъ необходимый синтезъ активныхъ фракцій не только право-вѣрно-марксистскаго, но и социально-дѣйствительнаго направленія,

который составлялъ идеалъ великаго публициста-гражданина во все время его литературной дѣятельности.

Надъ свѣжей могилой Михайловскаго раздалось годъ тому назадъ изъ рядовъ марксистовъ нѣсколько искреннихъ оцѣнокъ крупнѣйшаго писателя. И партійная страсть все меньше и меньше рѣшается отрицать общественную роль славнаго борца за идею.

Въ одинъ изъ наиболѣе тяжелыхъ моментовъ реакціи, накатившій общественнаго пробужденія на рубежѣ XX-го столѣтія, у Михайловскаго вырвалось въ одномъ изъ писемъ ко мнѣ горькое восклицаніе: старое старится, молодое не растетъ! Съ тѣхъ поръ дѣло пошло иначе. И, доживи великій русскій человѣкъ до нашего времени, онъ увидѣлъ бы, какъ гнѣтъ и рушится все старое, и какъ молодая жизнь бьетъ повсюду неудержимымъ ключомъ. Михайловскій, какъ Моисей, умеръ у порога обѣтованной земли. Вдохновленные благороднымъ образомъ нашего вождя, мы вступаемъ въ нее, не боясь предстоящихъ битвъ съ филистимлянами и твердо вѣруя, что побѣда наша... Слава же тому, кто сорокъ лѣтъ велъ русскую общественность по пустыни и не зналъ ни колебаній, ни отступленій отъ свѣтившаго ему идеала. Слава—и вѣчная память въ сердцахъ всехъ истинно свободныхъ людей...

Н. Е. Кудринъ.

АЛИКАЕВЪ КАМЕНЬ.

Разсказъ.

I.

Солнце садилось за горы. Послѣдніе багряные лучи его медленно угасали на крестѣ видѣвшейся изъ-за лѣса колокольни. Надъ прудомъ поднимался тонкій и прозрачный, какъ дымка, туманъ. Лучи потемнѣли. Сосновый боръ, не задолго передъ тѣмъ сверкавшій яркими красками, потухъ, потускнѣлъ, сталъ какъ будто меньше и ниже, казался нахмуреннымъ и печальнымъ.

Павель Петровичъ Агатовъ, отставной заводскій лѣсничій и мѣстный историкъ, собиратель старинныхъ грамотъ и рукописей, сидѣлъ за письменнымъ столомъ на своей „заимкѣ“ и черезъ раскрытое окно наблюдалъ, какъ постепенно мѣнялись краски въ саду, и все тускнѣло кругомъ. Съ дальняго конца сада доносились веселые дѣтскіе голоса. Со двора слышалось мелодическое треньканье балалайки. Изъ-за цвѣточной клумбы видѣлась красивая русая головка,—это взрослая племянница Павла Петровича, Катя, дочь его покойной сестры, лежа въ травѣ, читала книгу.

Агатовъ только что окончилъ докладную записку о нуждахъ уральской горной промышленности, составленную имъ по порученію управляющаго Бардымскими заводами Конюхова, и, чрезвычайно довольный своей работой, улыбался и весело потиралъ руки.

„Тонко подведено“, размышлялъ онъ, вглядываясь въ порозовѣвшее небо: „стройно, логично,—комаръ носа не подточитъ... Историческое освѣщеніе даетъ широту, перспективу... И анекдотцы-то ктати пришлись... Концы съ концами сведены, одно само собой вытекаетъ изъ другого... И тонъ благородный... главное, благородный тонъ... Да-съ, старикъ Агатовъ еще постоитъ за себя, не совсѣмъ еще вышелъ въ тиражъ погашенія... Въ немъ заискиваютъ, да-съ... самъ

управляющий прїѣзжалъ—это что нибудь значить!.. Самолично просилъ, даже выражалъ комплименты: „у васъ, говорить, имя, опытность, знаніе мѣстныхъ условій и литературный навѣкъ“... Вотъ какъ!.. а то фу-ты, ну-ты! полное невниманіе, точно передъ пустымъ мѣстомъ... мертвый, де, отжившій человѣкъ... Ха, ха! а на повѣрку выходитъ, что еще живъ курилка... Да-съ!“...

— Катя!—закричалъ онъ въ окно:—Конецъ и Богу слава! Поставилъ послѣднюю точку.

Катя подняла голову, обнаруживъ тонкое, красивое лицо съ большими черными глазами.

— Не хочешь ли, прочту, а?

— Нѣтъ,—отвѣчала Катя, съ дѣтской суровостью сдвигая брови:—я не одобряю вашихъ намѣреній, поэтому и слушать не хочу.

— Ну, ну!.. еще бы!.. Вѣдь вы—народники, или какъ васъ тамъ... Матушка моя! я самъ за народъ, только съ другой точки зрѣнія... Вы-то ужъ Богъ знаетъ куда заноситесь... неосуществимо-съ.

— То есть, кто мы?

— Ну, вообще, современная молодежь... народники тамъ и прочее...

— Вы ошибаетесь, дядя: мы не народники.

— Господь васъ разберетъ!.. Если хочешь, душа моя, я тоже народникъ и даже сортомъ повыше... Изъ народа вышелъ, изъ крѣпостныхъ! и знаю, что ему нужно... А нужна ему прежде всего хорошая палка, ежовыя рукавицы... вотъ!.. Повѣрь, что онъ самъ это отлично понимаетъ,—поговори-ка съ нимъ!.. и жаждетъ палки, которую отъ него отняли, жаждетъ!.. Такъ то, мать, моя.

— Перестаньте, дядя!.. Хоть вы и шутите, а все-таки неприятно... А ужъ эта записка ваша... я не знаю... не могу понять, не могу вообразить...

— Чего, собственно, душа моя?

— Какъ могли вы на себя такое порученіе, и при томъ добровольно, изъ любви къ искусству!.. Эдакую... извините... я не знаю... эдакую подлость!..

— Милая моя, я старый человѣкъ.

— Что жъ, дядя... я серьезно говорю. Сочинить завѣдомо фальшивую, облыжную записку! И для кого? Для заводовладельцевъ! Для чего? Чтобъ обездолить и безъ того обездоленныхъ! Чтобъ выудить изъ казны въ пользу хищничества еще нѣсколько миллионныхъ подачекъ!.. И вѣдь все это изъ народныхъ средствъ—не забывайте!..

— Вадоръ, вадоръ!.. вадоръ городишь!.. Экъ тебя подмываетъ!..

— Нѣтъ, не вздоръ. И безъ тебя все къ ихъ услугамъ, сверху до низу... А кто мужикамъ записку напишетъ? Ахъ, дядя, дядя! вотъ если бы ты помогъ мужикамъ!..

— Матушка моя! я старый служака, я тридцать пять лѣтъ его сіятельству прослужилъ, понимаешь ты это или нѣтъ? Отъ него жить пошелъ,—какъ же мнѣ идти противъ его сіятельства?.. Вздоръ, вздоръ!.. да и вообще вздоръ!.. Ты не понимаешь главнаго, не понимаешь того, что заводы и населеніе—одна душа и одно тѣло, что они связаны общими интересами... Да-съ, вотъ чего ты не хочешь понять, потому что у васъ умъ за разумъ зашелъ... Вы смотрите на журавля въ небѣ и не видите синицы въ рукахъ, а журавль-то еще Богъ его знаетъ... въ облакахъ онъ, душа моя, въ облакахъ... въ томъ-то и дѣло-съ...

— Это какая же синица?

— А такая! И диви бы только вы, лоботрясы, но вѣдь и мастеровые такое-же дурачье!.. Подкапываются подъ заводы, рубятъ тотъ сукъ, на которомъ сами сидятъ! Что можетъ быть глупѣе этого?.. Хоть лобъ разбей—не понимаю!.. И ничему не вѣрятъ! ничего не хотятъ знать!..

— Еще бы, когда ихъ цѣлые десятки лѣтъ обманывали!.. Они не вѣрятъ, потому что вы все лжете...

— Экъ тебя разбираетъ!.. Перекрестись, мать моя... о чемъ ты?..

— Да, лжете направо и налево... И вы, дядя, лгали и лжете... да, вы, вы... развѣ это неправда?

— Нѣтъ-съ, неправда. Комбинировать факты, давать имъ то или иное освѣщеніе—развѣ это ложь?

— Но для чего? Чтобы скрыть истину, запрятать ее по-дальше, напустить туману, ввести въ заблужденіе?

— Мать моя! что есть истина? какая? гдѣ она? для кого? для чего?... Хе, хе!.. мы знаемъ только человѣческія заблужденія и чловѣческіе аппетиты... Истина! она всегда имѣетъ двѣ стороны...

— Если такъ, то о чемъ же намъ говорить? Не о чемъ.

— А я и не навязываюсь, душа моя, какъ тебѣ угодно... Мнѣ, видишь ли, не въ чемъ оправдываться...

— Однако, вы сами начали разговоръ.

— Я предложилъ только прочесть записку—больше ничего.

— А я отвѣтила, что не желаю.

Катя сердито уткнулась въ книгу. Агатовъ, слегка надувшись, умолкъ, собралъ свои бумаги, исписанныя мелкимъ бисернымъ почеркомъ, и вышелъ на терассу.

— Къ намъ кто-то ѣдетъ,—сказалъ онъ, увидѣвъ скачущаго по дорогѣ всадника.

— Гдѣ?—спросила Катя, отрываясь отъ книги.

— Посмотри.

Катя, поднявшись на ципочки, заглянула черезъ плетень.

— Это Петя,—сказала она равнодушно.

— О?.. въ самомъ дѣлѣ?—обрадовался Павелъ Петровичъ и, въ знакъ привѣтствія, махнулъ платкомъ.

Петя, шестнадцатилѣтній мальчикъ, поднявъ высоко надъ головой свою гимназическую фуражку, сломя голову проскакалъ мимо изгороди. Черезъ минуту онъ былъ въ саду.

— Катя, собирайся!—еще издали закричалъ онъ:—скорѣе!

— Куда? въ чемъ дѣло?—остановилъ его Павелъ Петровичъ.—Чаю не хочешь ли?

— Ахъ, какой чай! что вы, дядя!.. Катя, пожалуйста, поскорѣе!..

— Да что скорѣе-то? Скажи, сдѣлай милость.

— Ахъ, дядя, вы, ей-Богу, всегда... Во-первыхъ, Катя пусть собирается... Во-вторыхъ, ѣдемъ на Аликаевъ—вотъ и все!.. Но только, пожалуйста, тамъ ждутъ... поѣхали прямой дорогой...

— Кто? когда? зачѣмъ? Не захлебывайся, объясни толкомъ.

— Чего-жъ еще объяснять? Вѣдь я же сказалъ: на Аликаевъ камень... Ахъ, Господи! но вѣдь тамъ ждутъ! и самое интересное мы пропустимъ... Вотъ вы, дядя, всегда, ей-Богу..

Павелъ Петровичъ захохоталъ.

— Ладно,—сказалъ онъ,—я буду допрашивать тебя по пунктамъ. Ты говоришь—на Аликаевъ камень, зачѣмъ?

— Какъ зачѣмъ?.. Сгнанное дѣло!.. такъ просто... странное дѣло!..

— Ну, однако?

— Да что, ей-Богу... ну, для прогулки... для развлечения...

— Такъ-съ. Съ кѣмъ?

— Со мной.

— Съ тобой? Но какого чорта вы тамъ будете дѣлать ночью-то?

— Ну, ей-Богу!.. да вѣдь я же говорилъ, что тамъ ждутъ.. Цѣлое общество: папа, мама, Анна Ивановна, Софья Петровна... Надя, Митя... Иванъ Петровичъ... человекъ тридцать... Тамъ и ночуемъ... огни зажжемъ... пушку увезли... пѣсни будемъ пѣть... Мнѣ еще утромъ велѣли съѣздить за Катей, да я опоздалъ...

— Ну, глупости и больше ничего!

— Что глупости?

— А то, что, на ночь глядя, ѣхать за десять верстъ... лѣсъ, глушь... Работнику недосугъ, а ты дороги не знаешь.

— Я не знаю? Отлично знаю: ѣхать прямо, потомъ направо, потомъ...

— Ну, ладно. Катю я не отпускаю—поѣзжай одинъ.

Петя вытаращилъ глаза и, заикаясь, съ запальчивостью заговорилъ:

— Ну, это ерунда, это глупости!.. Вы всегда такъ, вы просто деспотъ, эгоистъ... и, наконецъ, тамъ ждуть... и, наконецъ, это я не знаю что... Это, наконецъ, ерунда...

— Чудаки! да ты спроси Катю, поѣдетъ ли она... къ обманщикамъ и эксплуататорамъ народа...

— Не все обманщики,—улыбнувшись, отвѣчала Катя:—кажется, тамъ будутъ и честные люди...

— Напримѣръ?

— Напримѣръ, Иванъ Петровичъ Свѣтлицынъ, Николаѣ Кленовской и многіе другіе.

— Не знаю-съ... можетъ быть... Можетъ быть, пока они и честные люди... до поры до времени.... Впрочемъ, твое дѣло.

Петя захлопалъ въ ладоши.

— Bravo!—закричалъ онъ:—значить, рѣшено и подписано! Ну, Катя, живо!.. Ай-да дядя!.. Вотъ это хорошо!..

Но Павелъ Петровичъ недовольно нахмурился.

— И все-таки тамъ будетъ заводская челядь,—сказалъ онъ,—имѣй это въ виду.

— Ахъ, да!—вскричалъ Петя, —забылъ сказать: вѣдь тамъ будетъ еще этотъ... какъ его?.. Ну, этотъ извѣстный геологъ или химикъ... чортъ его знаетъ!.. Генераль... бывший профессоръ Полянскій... онъ съ управляющимъ пріѣдетъ...

— Какъ? Развѣ онъ уже здѣсь?—воскликнулъ Павелъ Петровичъ.

Онъ весь всполошился и сталъ спрашивать Петю: когда, съ кѣмъ и на долго ли пріѣхалъ генераль Полянскій. Петя ничего не зналъ и давалъ самые безтолковые отвѣты.

— Но, по крайней мѣрѣ, кто эту прогулку устраиваетъ? Кто именно?

— Какъ кто?.. Всѣ... мало ли... я не знаю...

— Но кто тебя послалъ?

— Ахъ, ей-Богу!.. Ну, мама... ну, Иванъ Ивановичъ...

— Почему же такъ поздно?

— Господи! да вѣдь я же говорю, что опоздалъ... и, вообще, вышла тутъ ерунда...

— А про меня тебѣ ничего не говорили?

— Ничего.

— Не упоминали о запискѣ?

— О какой запискѣ?

— Ну, вообще...

— Нѣтъ, не упоминали.

Павель Петровичъ пожалъ плечами.

— Ну, Господь съ тобой! Катя, вели заложить Голубчика. Да вотъ что: скажи Конюхову, что записка готова, остается только переписать. Я думаю, въ день, самое большее—въ два ее перепишутъ.

II.

Петя энергически воспротивился, чтобы съ ними ѣхалъ работникъ Андрюшка. Онъ божился, что знаетъ дорогу, какъ свои пять пальцевъ, что до Аликаева камня не десять, а всего восемь верстъ, и что они доѣдутъ отлично. Павель Петровичъ не возражалъ. Когда лошадь была готова, Катя помѣстилась въ телѣжку, а Петя взобрался на козлы. Павель Петровичъ, держась за желѣзную скобку облучка, озабоченно давалъ послѣднія наставленія, которыя Петя легко-мысленно прерывалъ нетерпѣливыми восклицаніями:

— Вотъ странно!.. будто я не знаю!.. Ну, дядя, чего еще разговаривать!..

Наконецъ, телѣжка бойко покатила по дорогѣ, оставляя за собой тяжелое облако пыли.

— Подъ гору осторожнѣе!—кричалъ вдогонку Павель Петровичъ.

— Ладно, ладно!—отвѣчалъ Петя, ухарски задравъ фуражку на затылокъ и какъ бы говоря: „разговаривай теперь!“

— Охъ, ужъ это мнѣ старичье!—продолжалъ онъ, обращаясь къ Катѣ: —чудаки, право! Дядюшка еще туда-сюда, а вотъ моя почтенная мамаша...

— Ну, Петя!—укоризненно остановила его Катя.

— Да что, право... точно Богъ знаетъ что!.. ей-Богу!..

Миновавъ поле, они спустились въ оврагъ, пересѣкли выкопленную лошину и вступили въ лѣсъ, гдѣ охватило ихъ теплой, пахучей сыростью. Сумерки быстро сгущались. Въ лѣсу было уже почти темно. Телѣжка неровно катилась по извилистой, узкой дорогѣ, натываясь на кочки и пни. Вѣтви деревьевъ сходились надъ ними, образуя темный узорчатый сводъ, и сквозь просвѣтъ его виднѣлось блѣдно-голубое небо съ слабо мерцавшими рѣдкими звѣздами. Катя смотрѣла то на небо, пронизанное отблескомъ потухавшей зари, то въ сумракъ лѣса. Въ лѣсу все было загадочно и странно, а небо казалось веселымъ, понятнымъ и знакомымъ.

— Ну, ну, милая!—покрикивалъ Петя на лошадь.

— Да ты, Петя, въ самомъ дѣлѣ, знаешь ли дорогу?

— Ну, вотъ! отлично знаю. Сначала Крутой логъ, потомъ Майданова гора, потомъ повернуть направо. Я знаю.

— Но здѣсь ты никогда не бывалъ? Да? Правда?

— Положимъ. Да это глупости! Крутой логъ, повернуть направо—вотъ и все.

Лошадь пугливо фыркала, натыкаясь на вѣтви. Дорога круто пошла подъ гору. Впереди показалась мутная бѣлесоватая полоса.

— Это вода?—спросила Катя.

— Нѣтъ, это туманъ. Это и есть Крутой логъ... а тамъ и Майданова гора.

— Какъ славно!—сказала Катя.

— То-то и есть!—хвастливо возразилъ Петя.—Я говорилъ, что будетъ хорошо.

— А если разбойники нападутъ?

— Ахъ, вотъ бы отлично! Задалъ бы я имъ жару!..

— Ну, ужъ...

— Ты что думаешь? У меня съ собой револьверъ. Вотъ онъ. Ты не думай.

Невидимая дорога шла все подъ гору. Бѣлая полоса растянулась и ушла вправо. Впереди виднѣлись какія-то неясныя, расплывающіяся, сѣрыя и темныя пятна, тучи, деревья или горы—нельзя было понять.

„Гдѣ мы ѣдемъ?“ думала Катя: „можетъ быть, здѣсь никто никогда не бывалъ, и мы сейчасъ увидимъ что-нибудь необыкновенное“. У Пети было совсѣмъ другое направленіе мыслей. Онъ прежде всего полагалъ, что ему рѣшительно все извѣстно. „Крутой логъ проѣхали“, размышлялъ онъ, „сейчасъ должна быть Майданова гора, потомъ повернуть направо, а тамъ и Аликаевъ камень“.

— Ахъ... зарница!—сказала Катя.

— Гроза,—поправилъ Петя.—Зарница та же гроза, только отдаленная,—такъ въ физикѣ сказано.

— А Матрена говорить, что это калина зрѣетъ.

— Ну, что Матрена!.. Смотри, вонъ Майданова гора, видишь?

— Да это туча.

— Нѣтъ, это Майданова гора... Ахъ, мѣсяцъ! Посмотри, посмотри!

— Гдѣ? гдѣ?..

— Вонъ... ну, теперь ужъ не видно... красный, красный... Вонъ, вонъ, смотри...

Изъ-за темной массы показался мѣсяцъ, огромный, багровый, безъ блеска и безъ лучей. Онъ висѣлъ въ крас-

новато-буромъ туманъ, гдѣ-то значительно ниже горизонта. Это казалось очень страннымъ.

— Посмотри, онъ точно въ водѣ плаваетъ... какъ низко!..

— Мы на горѣ, оттого такъ,—пояснилъ Петя.—Ну, дороге мы теперь найдемъ!

Катя съ тревожнымъ любопытствомъ глядѣла на странную луну, и ей казалось, что она вспоминаетъ какую-то давно позабытую волшебную сказку.

— А я сегодня въ Верхній заводъ ѣздить,—сказалъ Петя съ выраженіемъ хвастливой таинственности.

— Зачѣмъ?

— Такъ. Къ рабочему одному. Отъ студента Кленовского съ запиской.

— И Кленовской, конечно, не велѣлъ тебѣ говорить объ этомъ?

— Да, не велѣлъ.

— Зачѣмъ же ты говоришь?

— Ну!.. тебѣ-то чего же!.. вотъ еще!

— И мнѣ не нужно было говорить... вообще не нужно болтать.

— Вотъ! развѣ я не знаю!.. Рабочаго зовутъ Иваномъ Костаревымъ. Онъ очень образованный, ей-Богу, хотя весь въ сажѣ и лицо испеклось отъ огня... И не молодой ужъ, лѣтъ подъ сорокъ... Знаешь, они что-то затѣваютъ, но Костаревъ говорить, что все это чепуха... Не съ того конца, говорить...

— То есть, что именно?

— Я не знаю. Все, говорить, уповаютъ на милость... остатки, говорить, рабскаго состоянія...

— Это онъ тебѣ говорилъ?

— Нѣтъ, не мнѣ, а тутъ другому какому-то. Я слышалъ ихъ разговоръ.

— Однако ты, Петрушка, болтливъ, какъ баба.

— Странное дѣло! но вѣдь это я тебѣ... Я понимаю, что дѣло секретное.

Гора кончилась, телѣжка плавно покатила по ровному дну ложбины. Бѣлая полоса исчезла. Мѣсяцъ спрятался. Опять обступилъ ихъ со всѣхъ сторонъ лѣсъ, высокій, темный, загадочный... Опять ни впереди, ни по сторонамъ ничего нельзя было понять въ живомъ колеблющемся мракѣ, и только вверху, высоко-высоко, съ темно-синяго неба любовно и кротко сіяли звѣзды.

— Здѣсь все горы кругомъ—страсть! Дикое мѣсто,—сказалъ Петя.

— Ты поворотъ не прозѣвай.

— Я и то смотрю, да плохо видно. Должно быть, поворотъ еще впереди.

Выѣхали на какую-то прогалину, окруженную темными массами, непохожими ни на деревья, ни на кусты. Снова показалась луна, все такая же красная, но уже значительно выше.

— Тпру!..—крикнулъ Петя, внезапно сдерживая лошадь.

— Что случилось?

— Въ гору пошло: неладно ѣдемъ.

Соскочивъ съ облучка, онъ сталъ шарить руками по землѣ.

— Дороги нѣту... цѣликомъ ѣдемъ... вотъ оказія!..—говорилъ онъ и вдругъ замолкъ. Его поразила странная, необычайная тишина. Было такъ тихо, что слышалось бѣненіе пульса и, казалось, воздухъ съ жадностью ловилъ малѣйшій звукъ. Все кругомъ было странно и необыкновенно: и пестрая, переливающаяся, точно живая темнота, и чуткій воздухъ, влажный и ароматный, и дыханіе лошади, и небо со звѣздами, и трепетное бѣненіе сердца, и тотъ загадочный, едва уловимый шорохъ, какой бываетъ слышенъ въ лѣсу въ тихія іюльскія ночи... Вдругъ оба вадрогнули отъ внезапнаго испуга.

— О-го-го-го-ооо!.. — дико и страшно нарушилъ тишину чей-то нечеловѣческій голосъ. О-го!.. о-го!.. у-у-у!.. — гулко пошло по лѣсу, замирая и снова откликаясь уже откуда-то изъ необъятной дали.

— Что это? — нѣсколько мгновений спустя, послѣ страшной паузы, прошепталъ Петя, чувствуя, что именно теперь настало время проявить все свое мужество.

— Не знаю, — вся похолодѣвъ, такимъ же трепещущимъ шепотомъ отвѣчала Катя.

— Это птица такая есть...

— Не знаю, только это не человѣкъ.

Черезъ минуту другой голосъ и уже съ другой стороны снова прервалъ воцарившееся безмолвіе, и опять ему отвѣтило эхо и разнесло по всѣмъ концамъ лѣса: у!.. у.. у-у-у!..

— Это люди, конечно, люди...

— Да, кажется...

Потомъ первый голосъ крикнулъ что-то протяжно, ему отвѣтилъ второй, но уже не такъ громко, послѣ чего въ лѣсу послышался гулъ обыкновеннаго разговора.

III.

Успокоившись, Петя и Катя сѣли въ телѣжку и поѣхали наугадъ. Отъѣхавъ съ полверсты, они увидѣли въ сторонѣ огонекъ.

— Надо спросить дорогу,—сказала Катя.

— А если разбойники?

— Ну, какіе здѣсь разбойники!

— А вотъ посмотримъ! — отвѣчалъ Петя и побѣжалъ на огонь.

Пробѣжавъ подъ-гору шаговъ сто, онъ замѣтилъ, что разстояніе, какъ будто, не уменьшается. Онъ оглянулся назадъ. Позади былъ одинъ мракъ: ни телѣжки, ни Кати не было видно. Онъ побѣжалъ еще прѣче, попалъ въ лужу и промочилъ ноги. Луна скрылась, вскорѣ и огонекъ исчезъ. Спотыкаясь, Петя все бѣжалъ по одному направленію и, наконецъ, поднявшись на какой-то бугоръ, вдругъ очутился у костра, вокругъ котораго сидѣли и лежали люди. Кто-то съ сальной свѣчкой въ рукахъ громко читалъ. Остальные внимательно слушали.

„Это разбойники“, — подумалъ Петя и ощупалъ въ карманѣ револьверъ. Приблизившись къ костру, онъ театральнымъ жестомъ приподнял фуражку и сдѣлалъ общій поклонъ.

— Здравствуйте, добрые люди!—сказалъ онъ, едва переводя духъ отъ волненія и усталости.

Двое или трое испуганно вскочили; другіе, оставшіеся лежать и сидѣть на землѣ, оглянулись на него сурово и подозрительно.

— Постой ка-сь, что это?.. Подожди! — обращаясь къ чтецу, тревожно проговорилъ черный мужикъ въ красной рубахѣ, атаманъ, какъ подумалъ Петя. — Откудова эдакой взялся?..

Снова вѣжливо приподнявъ фуражку и оставивъ одну ногу назадъ, какъ это дѣлаютъ пѣвцы на сценѣ, когда имъ приходитъ время пѣть, Петя объяснилъ, что онъ путешественникъ, съ товарищами (это слово онъ подчеркнулъ), сбился съ дороги и принужденъ обратиться къ великодушію добрыхъ людей, которые, конечно, не откажутъ указать ему путь.

— Да ты откудова? — спросилъ его тотъ же черный мужикъ.

— Изъ завода.

— А куда тебѣ надо?

— На Аликаевъ камень.

— Зачѣмъ?

— Такъ... нужно...

— Для разгулки, стало быть? Съ господами?

— Да...

— Крюку дали... версть пять.

— Да вы не Петръ ли Николаичъ будете? Чего-то, гляжу я, ровно вы? — спросилъ молодой бѣлокурый парень, въ которомъ Петя тотчасъ же узналъ знакомаго Николку-охотника.

Петя хотѣлъ было спросить его, зачѣмъ онъ ушелъ въ разбойники, но изъ деликатности удержался. Николка, между тѣмъ, дружески тряхнулъ ему руку и вызвался быть провожатымъ. Онъ объяснилъ, что они стерегутъ лошадей, и Петя, въ самомъ дѣлѣ, увидѣлъ выступавшіе изъ мрака лошадиныя головы и хвосты.

— А кто тутъ кричалъ давеча?

— Это наши въ лѣсу ходили.

Между тѣмъ, чтецъ, вскочивъ на ноги, хлопнулъ Петю по плечу.

— Петрушка! — закричалъ онъ: — Сбившійся съ дороги путешественникъ! Ты зачѣмъ здѣсь?

— Господи!.. это вы?.. — съ изумленіемъ отвѣчалъ Петя: — какъ вы это?.. зачѣмъ?

— По кляузнымъ дѣламъ, въ родѣ подпольнаго адвоката. А ты заблудился, бѣдняга?

— Да, темно... сбились съ дороги.

— Ты туда, на пикникъ, что ли?

— Да, да.

— Подожди, и я съ тобой, только вотъ съ кліентами раздѣляюсь. Ну-съ, господа, прошу вниманія: будемъ продолжать, — сказалъ Кленовской мужикамъ, которые все еще косе и недружелюбно поглядывали на Петю.

— Вотъ что... послушай-ко-съ... не погодить ли, Николай Николаичъ?.. — послышались нерѣшительные голоса.

— Чего погодить? Зачѣмъ?

— До предбудущаго времени... переждать малость...

— Да вы его, что ли, боитесь? Петьки-то?.. Ха, ха!.. О, вы сермяжные конспираторы! Собирающіеся ниспровергнуть существующій строй!.. Чудаки! да вѣдь вы только прошеніе подаете, самое простое прошеніе, — къ чему же вся эта таинственность?

— Эхъ, Николай Николаичъ!.. какъ ты, ей-Богу... самъ хорошо понимаешь... говорили мы тебѣ... Дѣло требуетъ аккурату...

— Ну, ладно. Петьки, во всякомъ случаѣ, стѣсняться

нечего: не выдасть Петька! Обо всемъ, что ты здѣсь видишь и слышишь, никому ни гугу!.. Ну, слушайте!..

Кленовской сталъ читать.

— Ну, что-же? Ладно, что ли? Правильно?—спросилъ онъ, окончивъ чтеніе.

— Все правильно... какъ есть... — заговорили мужики: — Спасибо! Господь тебя не оставитъ... Ужъ ежели и это не въ силу закона, то ужъ и не знаемъ...

— Хорошо. Подписывайтесь.

Первымъ подошелъ высокій, худой мастеровой въ пиджакъ, тотъ самый Иванъ Костаревъ, которому Петя отвозилъ записку. Примостившись у доски, положенной на землю, онъ бойко подмахнулъ свою фамилію и передалъ перо сосѣду. Тотъ недовѣрчиво осмотрѣлъ перо, вздохнулъ, перекрестился, сказалъ: „въ добрый часъ!.. благослови, Царица Небесная!“ потомъ легъ животомъ на землю и медленно сталъ выводить безобразныя каракули, напрасно стараясь удержать судорожныя движенія руки. За нимъ, такъ же крестясь, серьезно и степенно, по очереди, стали одинъ за другимъ подходить остальные. Среди ночной тишины слышались только сокрушенные вздохи и пыхтѣнье подписывавшихся.

— Итакъ, значить, сегодня, на Аликаевомъ камнѣ,—нарушая напряженное безмолвіе, заговорилъ Кленовской: — черезъ депутацію и при самой торжественной обстановкѣ... Вотъ-то, я думаю, удивится ученый генералъ!.. Ну, не чудаки ли вы? Не проще ли было придти на квартиру, по-человѣчески поговорить и по-человѣчески передать прошеніе?

— Не допускать насъ... Господи Боже мой! развѣ мы не знаемъ!.. Обыщутъ, просьбу отберутъ, въ чижовку посадятъ... Это бы наплевать, да просьба пропадетъ безъ послѣдствія... Только бы въ руки ему передать, а тамъ ужъ... чего-жъ... наше дѣло правое!..

— Пошлите почтой.

— Ну! почтой!.. знаемъ мы... Сколько разовъ по почтѣ-то посылали, все безъ послѣдствія... Не доходитъ!.. Писали, писали, а все либо становой, либо писарь постановляютъ рѣшеніе: безъ послѣдствія и все тутъ!.. Извѣстно, у нихъ и на почтѣ свои люди... рука руку моетъ...

— Дайте мнѣ, я передамъ.

— Нѣтъ ужъ, зачѣмъ же... не ладно... надо намъ поговорить съ имъ... не повѣрить еще тебѣ... молоденецъ ты...

— Гмъ!.. А по почтѣ не дойдетъ?

— Не дойдетъ. Пробовали.

— Все это, други мои, чепуха! Неправдоподобно!.. А просто на просто просьбы ваши оставляются безъ вниманія! И я вамъ объяснялъ—почему... И теперь ничего не выйдетъ,

ужь это какъ Богъ святъ. Законъ на вашей сторонѣ, да что толку! Не въ законъ сила... Вы должны, наконецъ, понять, что вамъ надѣяться не на кого... только на себя надѣйтесь... Ну, да объ этомъ уже было говорено двадцать разъ... Вы представляете себѣ какого-то сказочнаго генерала, отца благодѣтеля, который, какъ только узнаетъ правду, сейчасъ же пожалѣетъ васъ, осчастливить, облагодѣтельствуетъ... Такихъ генераловъ, други мои, не бываетъ, не было никогда и не будетъ, а если и случился бы такой, такъ ничего онъ не сдѣлаетъ, потому что много другихъ, и все генералы... Во всякомъ случаѣ, желаю успѣха. До свиданія!... Петька, идемъ.

— Гдѣ у васъ лошадь?—спросилъ Николай, когда они втроемъ, оставивъ за собой освѣщенное огнемъ пространство, вошли въ темноту.

Петя крикнулъ:—Катя, а-у!

— Здѣсь!—отвѣтилъ звонкій дѣвичій голосъ изъ непроглядной тьмы.

— Вонъ гдѣ,—сказалъ Петя.

Спотыкаясь о неровности почвы, они торопливо побѣжали на голосъ.

— Кто это?—вдругъ остановившись, испуганно закричалъ Петя.

— Гдѣ? Кого ты увидалъ?..—спросилъ Кленовской.

— Вонъ тамъ... кто-то загородилъ мнѣ дорогу... Человѣкъ какой-то, ей-Богу... Я видѣлъ, какъ онъ бросился туда, въ кусты...

— Погодите... я сейчасъ...—произнесъ Николай и исчезъ въ темнотѣ.

Петя и Кленовской слышали нѣкоторое время его торопливо удаляющіеся шаги, потомъ все смолкло. Кругомъ была тьма, только костеръ ярко горѣлъ позади; передъ нимъ, за-слова я его, безпокойно бѣгали тѣни.

— Нѣту!—сказалъ внезапно вынырнувшій изъ темноты Николай:—притаился гдѣ-то подлецъ. Всѣ кусты обшарилъ.

— Кто-жъ это, ты думаешь?

— Кто? Извѣстно кто.

— Да тебѣ, можетъ быть, Петька, показалось?

— Нѣтъ, нѣтъ, я видѣлъ фигуру человѣка... она юрнула туда... ей-Богу...

— Ну, наплевать!.. Кто бы ни былъ... эка важность, наплевать!

Вскорѣ Николка сидѣлъ на козлахъ рядомъ съ Петей, а Кленовской въ телѣжкѣ съ Катей. Кленовской оживленно рассказывалъ Катѣ о предпріятіи мужиковъ.

— Ну, Петръ Николаичъ,—говорилъ, между тѣмъ, Никол-

ка,—важно ѣхать теперь: мотри, мѣсяцъ изъ-за горы лѣзетъ.

Минуть пять спустя, когда выѣхали на дорогу, онъ вдругъ придержалъ лошадь.

— Побѣзжайте одни,—сказалъ онъ, понижая голосъ:—дорога прямая, а я побѣгу... надо нашимъ сказать...

— Что сказать?.. О чемъ?

— Глянь-ко-сь вонъ туды... кто-то за нами на вершной слѣдить... урядникъ, либо не знаю кто... вонъ за кустомъ притаился...

Однако ни Петя, ни Кленовской не могли ничего разсмотрѣть... Вдругъ свистящій ударъ нагайки прорѣзалъ воздухъ, и кто то поскакалъ подъ гору вправо отъ дороги... На мигъ что-то металлическое сверкнуло при лунѣ; дробный топотъ копытъ отдался въ горахъ и замолкъ... Снова все стало тихо. Николка, соскочивъ съ козелъ, скрылся.

— Фу ты!.. неужели, въ самомъ дѣлѣ, полиція?—проговорилъ Кленовской:—чего ей надо?

Петя и Катя молчали. Лошадь сама тронулась и лѣниво поплелась въ гору.

— Однако, что же это?..—продолжалъ Кленовской:—неужели ужъ до такой степени?.. Неужели жалобы нельзя написать безъ выслѣживанія?..

— У нихъ своя сыскная полиція, а кромѣ того, и такая всегда къ услугамъ,—сказала Катя.

— Ахъ, чортъ возьми!.. Напугаютъ мужиковъ... Но, въ концѣ концовъ, что же они могутъ сдѣлать? Чего они хотятъ? Чего имъ надо?..

— Можно всего ожидать...

— Ну, чортъ ихъ бей!.. Увидимъ, узнаемъ.

Вдругъ опять послышался конскій топотъ. Всѣ насторожились. Кто-то скакалъ имъ навстрѣчу. Темный силуэтъ всадника промелькнулъ черезъ мертвенно-освѣщенную луной поляну и скрылся въ тѣни.

— Петруха, это ты?—раздался вслѣдъ затѣмъ изъ темноты чей-то густой, очень пріятный голосъ.

— Я, я!—отвѣчалъ Петя и прибавилъ, обращаясь къ Катѣ:—это Иванъ Петровичъ Свѣтлицынъ.

— Ага!—проворчалъ Кленовской,—господинъ химикъ и лаборантъ... маркизъ Поза, Донъ-Жуанъ... Знаете что,—обратился онъ къ Катѣ:—вы не очень-то довѣряйтесь этому франту...

— Почему это?

Въ голосѣ Кати слышалось негодованіе.

— Да ужъ такъ... вѣстоющій человѣкъ!..

— Кленовской! стыдитесь!..

— А что?

— Вы попробуйте сказать ему это въ глаза.

— Говорилъ ужъ...

— И что же?

— Да ничего... соглашается...

— Вы заблуждаетесь, Кленовской... онъ хорошій, хотя, можетъ быть, и безхарактерный человѣкъ...

— Положимъ, я хватилъ черезъ край, но всетаки онъ ненадежный... не твердъ въ упованіяхъ и, при томъ, въ плѣну у царицы Тамары.

— Здравствуйте! Гдѣ вы пропадали?—выдвигаясь изъ тѣни, заговорилъ всадникъ.

— Это вы, Иванъ Петровичъ?

— Я. Живы ли?

— Какъ видите.

— Слава Богу!.. Тамъ изъ-за васъ переполохъ. Меня командировали учинить розыскъ. Что случилось?

— Заблудились.

Иванъ Петровичъ засмѣялся.

— Я такъ и зналъ,—продолжалъ онъ,—а все Петька... Мы ужъ давно тамъ. И ученый генералъ пожаловалъ. Сидить, какъ сычъ, молчить, а наши вокругъ него увиваются... Посмотрите, какая ночь!..

— Да, да... собственно, мы чудо какъ прокатились.

— А это кто съ вами? Кленовской ты?..

— Собственной персоной.

— Ты-то какъ здѣсь? Я думалъ, ты давно уже тамъ, на камнѣ.

— Буду и тамъ.

— Гдѣ-жъ ты былъ?

— На митингъ. Петицію мужики подають. Но ты уже, конечно, знаешь объ этомъ.

Свѣтлицинъ нѣкоторое время, молча, вѣхалъ рядомъ съ телѣжкой.

— Знаю, — наконецъ, промолвилъ онъ: — слышалъ отъ Колюхова.

— Ага! ему, стало быть, уже извѣстно?

— Извѣстно.

— Какимъ образомъ?

— Не знаю.

— Что же, именно, извѣстно?

— Да, кажется, все извѣстно.

— Такъ-съ.

Сквозь чащу сосенъ и елей замелькали огни; высоко, точно повиснувъ въ воздухѣ, показался ярко горѣвшій костеръ;

послышался издалека серебристый женскій смѣхъ и веселый говоръ, потомъ вдругъ грянула пѣсня.

— Наши поютъ!—закричалъ Петя и, приподнявшись на козлахъ, погналъ лошадей. Вскрикивая и дрожа отъ нетерпѣнія, онъ оглядывался назадъ и, захлебываясь, говорилъ:

— Ну, ребята, славно прокатились!.. ей-Богу!.. отлично!.. Эхъ, катай-валяй, Ивановна!.. А вѣдь молодцы мы, ей-Богу, право!

Пѣсня звучала очень стройно, но Петѣ было досадно, что тамъ поютъ безъ него, и онъ все продолжалъ нахлестывать лошадей.

— Петька! тише! голову сломишь, сумасшедшій!—кричалъ ему Кленовской. Но Петя не слушалъ и гналъ, какъ на пожаръ.

Вдругъ надъ вершинами темныхъ елей показался Аликаевъ камень, дикая скала, у подножія которой съ мелодическимъ журчаньемъ несется по камнямъ горная рѣчка Саранка. Весь облитый луннымъ свѣтомъ, онъ казался призрачнымъ воздушнымъ замкомъ на черномъ фонѣ хвойнаго лѣса. На вершинѣ его и ниже, на одномъ изъ уступовъ, горѣли костры, и оттуда-то неслась пѣсня.

Петя круто сдержалъ лошадей передъ темными высокими воротами, за которыми виднѣлись страннаго вида постройки съ остроконечными крышами. Ворота открылись, и они въѣхали во дворъ, усыпанный мелкимъ пескомъ и обсаженный кругомъ кустами акаціи. Здѣсь стояли экипажи и лошади, ходили какіе-то люди.

— Возьмите лошадей,—распорядился Свѣтлицынъ, послѣ чего всѣ трое вышли за ворота.

Петя совсѣмъ потерялъ голову и метался, какъ угорѣлый. Когда пѣсня смолкла, онъ, приставивъ руку ко рту, кричалъ, что было силы:

— Эй, вы!.. господа!.. ого-го!..

Вверху на камнѣ заговорили:—Вѣдь это Петя?.. Онъ, онъ... — и чей-то зычный голосъ крикнулъ: „ты Петя?“ такъ, что эхо въ горахъ повторило разъ пять: Петя... Петя... ты Петя...

Петя звонко отвѣтилъ:—Я!—и эхо также отвѣтило: я, я, я!.. Вверху раздались апплодисменты и крики „браво, браво!“.. Въ горахъ также зааплодировали и закричали: браво, браво!..

— Идемъ!—сказалъ Свѣтлицынъ, и они пошли сначала ложиной въ тѣни кустовъ, потомъ круто въ гору по узкой каменистой тропинкѣ.

IV.

На широкомъ уступѣ скалы, подъ соснами, лѣпившимися въ расщелинахъ камней, была раскинута большая пестрая палатка съ флагами и разноцвѣтными фонариками. Подъ ея полотнянымъ сводомъ и кругомъ разставлены были столы съ самоварами, винами и закусками, разбросаны попоны и ковры. Здѣсь размѣщалась исключительно солидная часть общества. Молодежь, какъ стадо дикихъ козъ, ползала по камнямъ, оглашая воздухъ веселымъ шумомъ свѣжихъ, молодыхъ голосовъ.

Въ центрѣ палатки, окруженный плотнымъ кольцомъ нарядныхъ дамъ и почетнѣйшихъ лицъ, потурецки подобравъ подъ себя ноги, сидѣлъ генералъ Полянскій. Его обрюзгшее бритое лицо съ потухшими глазами, легкій клѣтчатый пиджачекъ и пестрая шапочка на головѣ дѣлали его похожимъ на стараго, но еще молодящагося актера. Онъ разсѣянно слушалъ управляющаго заводами Конюхова и смотрѣлъ внизъ, въ просвѣтъ палатки, гдѣ сквозь лилово-голубую мглу видѣлось дно освѣщенной луною долины и наполовину серебряная, наполовину темная извилина рѣки. Хотя онъ путешествовалъ инкогнито, въ качествѣ простого туриста, но было извѣстно, что ему поручено выяснить на мѣстѣ кой-какія важныя обстоятельства, собрать свѣдѣнія, въ чемъ-то лично убѣдиться и представить свои соображенія. Населеніе вездѣ ожидало его съ нетерпѣніемъ и возлагало на него несбыточныя надежды. Поэтому по всѣмъ заводскимъ округамъ даны были въ отношеніи его указанія и соотвѣтствующія инструкціи. Утомленный суетливо проведеннымъ днемъ и, вообще, своимъ путешествіемъ по Уралу, Полянскій былъ весьма недоволенъ настоящей прогулкой по дикимъ мѣстамъ къ дикому мѣсту, отъ которой онъ не имѣлъ мужества отказаться. Его очень тяготили почести, которыя ему оказывались. Вездѣ, куда онъ ни прѣѣзжалъ, ему устраивались неофициальныя, но весьма торжественныя встрѣчи, съ рѣчами, съ хлѣбомъ-солью, съ воскуреніемъ фиміама его ученой и административной дѣятельности, въ его распоряженіе отводились княжескіе апартаменты съ многочисленной прислугой, высылались навстрѣчу рессорные экипажи, давались въ честь его обѣды, балы, вечера, устраивались экскурсіи и увеселительныя прогулки. Онъ жилъ, какъ въ чадѣ, не имѣя времени ни для отдыха, ни для работы, и не разъ бранилъ въ душѣ чрезмѣрность русскаго гостепріимства.

— У насъ, ваше превосходительство, край патріархальный,—говорилъ Конюховъ, и его длинная, сухая фигура съ деревяннымъ неподвижнымъ лицомъ и солдатскими усами изображала собой окоченѣвшую почтительность.—Пресловутая конкуренція, эксплуатація труда и тому подобное—для насъ пустяя слова. У насъ нѣтъ ни эксплуатаціи, ни конкуренціи, а есть вотъ что. Выростаетъ дѣтина въ сажень ростомъ, и сейчасъ же подавай ему работу: онъ лѣзетъ за ней, какъ въ собственный свой карманъ,—давай! И даютъ. Если нѣту,—придумывай! И придумываютъ. Всѣ отношенія, такимъ образомъ, построены на филантропическихъ началахъ. На первый взглядъ это кажется невѣроятнымъ, а между тѣмъ это фактъ!.. Осмѣлюсь спросить, какое у вашего превосходительства сложилось представленіе?

Генераль тускло посмотрѣлъ на собесѣдника сквозь золотыя очки и ничего не отвѣтилъ.

— При томъ же, конкуренцію у насъ немислимо допустить,—продолжалъ Конюховъ,—потому что, помилуйте! тогда мастеровые очутились бы въ безвыходнѣйшемъ положеніи, могу васъ увѣрить! То есть, если на заграничный образецъ... и могло бы выйти Богъ знаетъ что... У насъ же, благодаря патріархальности, слава Богу, все спокойно... Посмотрите, рабочіе ѣдятъ пшеничный хлѣбъ, молоко, мясо; у всѣхъ по праздникамъ пироги, у каждого парня непременно гармоника... всѣмъ назначается безобидная божеская плата... Однимъ словомъ, могу засвидѣтельствовать, что, благодаря непрестаннымъ попеченіямъ владѣльца, населеніе ни въ чемъ не терпитъ нужды... Напримѣръ, такой фактъ...

Остальные гости погружены были въ благоговѣйное безмолвіе и, почтительно слушая разговоръ, не спускали глазъ съ генерала. Одинъ только главный лѣсничій, сѣдовласый старикъ, похожій на Дарвина, Николай Ипполитовичъ Кленовской, человѣкъ честолюбивый и злобный, котораго боялись всѣ за доносы и интриги, позволялъ себѣ изрѣдка односложныя реплики.

Дамы, окоченѣвшія отъ скуки, тоскливо переглядывались и украдкой шептались, неодобрительно посматривая на хозяйку, Анну Ивановну Конюхову, которая, по ихъ мнѣнію, приняла съ генераломъ слишкомъ непринужденный тонъ. Анна Ивановна, молодая, красивая брюнетка, съ черными ласкающими глазами, стройная и граціозная, не смотря на свою полноту, въ противоположность супругу, отличалась необыкновенной подвижностью, рязвязными манерами и неистощимымъ весельемъ.

— Фактъ тотъ,—засмѣявшись и перебивая мужа, заговорила она,—что его превосходительству смертельно надоѣли

твои факты: все факты да факты—безъ конца... Надо же, наконецъ, отдохнуть и поговорить о чемъ нибудь человѣческомъ... Ваше превосходительство, какъ вамъ нравятся наши сѣверные пейзажи? Не правда ли, дико, сурово, но не лишено своеобразной прелести?

— О, да! — благодарно улыбаясь, отвѣтилъ генераль: — чудныя мѣста!.. Да вотъ хоть бы это, гдѣ мы теперь... я все смотрю внизъ, въ долину—какая прелесть!.. Извините, я позабылъ, какъ называется этотъ утесъ?

— Аликаевъ камень.

— Да, да... Почему онъ такъ называется?

— Былъ атаманъ разбойниковъ Аликай, по его имени названъ этотъ камень. О немъ существуютъ въ народѣ сказанія и легенды. Говорятъ, на примѣръ, что онъ влюбился въ жену тогдашняго управляющаго и похитилъ ее.

— А! это весьма интересно,—промолвилъ генераль.

— Говорятъ еще, что здѣсь гдѣ-то зарытъ кладъ, десять боченковъ съ золотомъ,—вступился Конюховъ, — только онъ никому не дается: слова не знаютъ. То свѣча горитъ, то казакъ стоитъ съ ружьемъ на часахъ, то черная собачка бѣгаетъ, а подойдуть ближе—ничѣмъ-ничего! Станутъ рыть—плита, подъ плитой десять боченковъ; какъ жаръ, горитъ золото, а взять его нельзя: чуть притронутся—оно въ землю уходитъ.

— Очень любопытно.

— Такъ и до сихъ поръ кладъ лежитъ. Тамъ внизу, у рѣчки все изрыто, роются, говорятъ, еще и теперь, но пока безуспѣшно.

— А какія же существуютъ сказанія?

— Если вамъ не будетъ скучно, я могу кое-что рассказать.

— Пожалуйста, будьте добры.

Конюховъ, усердно занимавшійся археологіей, раскопками кургановъ и чудскихъ городищъ, разборкою заводскихъ архивовъ, кромѣ того, собиралъ сказки и народныя пѣсни и очень гордился этими своими занятіями. Какъ самоучка, непричастный къ школьной наукѣ и вышедшій въ люди изъ конторскихъ писцовъ, онъ любилъ щегольнуть при случаѣ своими занятіями и знакомствомъ съ исторіей мѣстнаго края.

— Сказаніе состоитъ, собственно, въ слѣдующемъ, — началъ Конюховъ.

Въ это время, цѣпляясь за камни, со смѣхомъ и шумомъ, спустились на площадку Свѣтлицынь, Петя, Катя и студентъ Кленовской. Приблизившись, они примолкли и, чтобъ не мѣшать разговору, тихонько сѣли въ сторонкѣ позади

Анны Ивановны. Слѣдомъ за ними спустились еще двѣ дѣвицы и другой студентъ и также скромно ушли въ сторонкѣ.

Анна Ивановна жестаами пригласила ихъ пересѣсть поближе и распорядилась дать имъ чаю.

V.

— Сказаніе заключается въ слѣдующемъ, — повторилъ Конюховъ, строго посмотрѣвъ на молодежь. — Впрочемъ, прежде надо сказать нѣсколько словъ о фактической или, вѣрнѣе, исторической его подкладкѣ. Во-первыхъ, слѣдуетъ имѣть въ виду, что Аликавъ лицо вовсе не мнѣическое, а дѣйствительное. Во-вторыхъ, и жилъ-то онъ не такъ давно, не болѣе шестидесяти лѣтъ назаль, слѣдовательно, старики должны его помнить. Въ то время заводами управлялъ знаменитый на Уралѣ Спиридонъ Карповичъ Золинъ изъ вольноотпущенныхъ, человѣкъ огромнаго ума, непреклонной воли и необычайной энергіи, прославившійся небывалой даже для тогдашняго времени жестокостью въ обращеніи съ рабочимъ людомъ. Это былъ звѣрь въ полномъ смыслѣ слова, не знавшій ни жалости, ни пощады. Онъ на смерть засѣкалъ людей, бросалъ ослушниковъ въ доменные печи, сгонялъ за сотни верстъ приписанныхъ къ заводамъ крестьянъ, и тѣ гибли въ рудникахъ и куреняхъ отъ голода, лишеній и непосильной работы. За то въ нѣсколько лѣтъ онъ увеличилъ выдѣлку желѣза вдвое, а добычу золота въ пять разъ. Въ 1824 году Уралъ посѣтилъ императоръ Александръ Благословенный. Двое мастеровыхъ возымѣли неслыханную дерзость подать жалобу государю, но Золинъ приказалъ разстрѣлывать ихъ. Мастеровыхъ казнили на площади въ присутствіи горнаго исправника и взвода казаковъ. Это была настоящая публичная казнь со всѣми атрибутами тогдашнихъ казней: былъ священникъ съ крестомъ, эшафотъ, позорная колесница, палачъ въ красной рубахѣ. Разумѣется, послѣ этого уже никто не дерзалъ помышлять о жалобахъ. Золина представили государю въ качествѣ выдающагося дѣятеля горнопромышленности, и онъ очаровалъ его умомъ, краснорѣчіемъ, смѣлостью и благородствомъ сужденій. Государь совѣтовался съ нимъ о приведеніи казенныхъ заводовъ въ такое же цвѣтущее состояніе, какъ Бардымскіе, и говорилъ потомъ, что часовая бесѣда съ Золинымъ была поучительнѣе для него, чѣмъ все путешествіе по Уралу. Золинъ былъ облаканъ, осыпанъ милостями и щедро награжденъ. Однако, вскорѣ случилось одно обстоятельство, которое повлекло за собой неожиданныя послѣд-

ствія. Штейгеръ Волковъ случайно проговорился объ разстрѣляніи мастеровыхъ чиновнику, командированному изъ Петербурга. Объ этомъ было сказано къ слову, вскользь, между прочимъ, но чиновникъ заинтересовался, навелъ справки и обо всемъ написалъ въ Петербургъ. Сообщение это произвело большое впечатлѣніе, и для раскрытія злодѣяній Золина командированъ былъ флигель-адъютантъ графъ Костровъ. То, что обнаружилось на мѣстѣ, превзошло всякое вѣроятіе. Графъ Костровъ пришелъ въ ужасъ и круто принялся за дѣло. Сгоряча онъ приказалъ арестовать Золина и самъ началъ слѣдствіе. Однако, очень скоро дѣло застряло въ трясинѣ канцелярской волокиты. Мѣстное чиновничество, начиная съ губернатора и главнаго начальника Уральскихъ заводовъ, оказывало графу открытое противодѣйствіе: его распоряженія не исполнялись, выкрадывались изъ-подъ печатей бумаги и компрометирующіе документы, исчезали вещественныя доказательства, перехватывались переписки; самый арестъ Золина существовалъ только на бумагѣ: въ дѣйствительности, Золинъ проживалъ въ своемъ городскомъ палаццо, принималъ гостей, задавалъ пѣры, отдавалъ распоряженія и даже ѣздилъ на заводы. Графъ горячился, терялъ голову, выходилъ изъ себя, писалъ донесенія въ Петербургъ. На него, въ свою очередь, сыпались жалобы отъ главнаго начальника, съ предупрежденіемъ, что легкомысленное поведеніе графа можетъ поднять весь Уралъ. Разумѣется, не дремали и вліятельные покровители Золина. Кончилось тѣмъ, что графа отозвали въ Петербургъ, и дѣло пошло обычнымъ приказнымъ порядкомъ. Въ разслѣдованіи Кострова усмотрѣны были какія-то упущенія, началась нескончаемая переписка по поводу разныхъ второстепенныхъ обстоятельствъ, арестъ Золина былъ признанъ преждевременнымъ, а вслѣдъ затѣмъ и самое дѣло, наполовину утерянное, за недостаткомъ уликъ было прекращено. Золинъ снова воцарился на заводахъ. Тогда началась расправа съ недовольными. Десятки людей были засѣчены до смерти, многихъ сдали въ солдаты, другихъ сослали въ Сибирь. Каждый изъ уцѣлѣвшихъ дрожалъ за свою судьбу. Въ это-то время и выступаетъ на сцену Аликай.

— Отсюда, стало быть, начинается уже легенда?

— Да... или, вѣрнѣе, изустная исторія... Аликай считался въ народѣ колдуномъ, про него говорили, что онъ „знаетъ“; лѣтъ десять онъ находился въ бѣгахъ и въ послѣдній разъ пришелъ откуда-то съ Волги. По рассказамъ, появленіе его было очень эффектно. Онъ пришелъ утромъ въ праздникъ, когда наказывали конокрада Степана Баталова. Въ красной кумачной рубахѣ, въ плисовыхъ шароварахъ, въ шляпѣ съ

алою лентой, здоровый, бравый, саженного роста, черный, какъ жукъ, вышелъ онъ на средину площади передъ народомъ и весело, соколомъ, осмотрѣлся кругомъ. Его узнали, и гулъ радостнаго изумленія прокатился въ толпѣ. Исправникъ приказалъ взять его, но никто не тронулся съ мѣста: всѣ, даже казаки, стояли въ оцѣпенѣннн, какъ очарованные. Аликай, растолкавъ людей, стоявшихъ въ строю съ шпирутенами, вошелъ въ зеленую улицу, отвязалъ Баталова отъ крестовины и голаго безъ рубахи повелъ за собой въ толпу. Народъ молча улицей разступился передъ нимъ. Едва онъ исчезъ, произошла невообразимая суматоха. Обыскали весь заводъ, но Аликай, какъ въ воду канулъ. Впрочемъ, черезъ недѣлю его вмѣстѣ съ Баталовымъ накрыли въ кабацѣ, заковали въ цѣпи и посадили въ конторскій казематъ. На другой день утромъ нашли въ казематѣ только брошенные въ уголъ кандалы, кисеть съ табакомъ да вывороченную изъ окна рѣшетку,—заключенные исчезли. Говорятъ, Аликаю понравилась эта скала, и онъ здѣсь поселился. Къ нему собралось десятка два головорѣзовъ, и они устроили настоящую молодецкую заставу, откуда держали въ повиновеніи всю округу. Случалось, что разбойниковъ ловили, но благодаря „знанію“ Аликая, ихъ не держали никакіе затворы. Рассказываютъ, что однажды Аликая посадили въ каменный мѣшокъ. Онъ ослабѣлъ и попросилъ напиться. Ему дали ковшъ съ водой. Аликай перекрестился, нырнулъ въ воду и вынырнулъ уже версты на три ниже завода изъ рѣчки Саранки и скрылся въ горахъ. Другой разъ онъ начерталъ мѣломъ на полу лодку: откуда ни возьмись весла, разбойники сѣли, загѣли пѣсню и уплыли. По требованію Золина противъ Аликая было выслано войско. Солдаты три дня плутали въ лѣсу, ночью ихъ напугалъ лѣшій, и когда они, наконецъ, добрались до камня, тамъ никого не оказалось. Золинъ, не боявшійся ни Бога, ни людей, но страшившійся чорта, рѣшительно спасовалъ передъ Аликаемъ. Онъ при-
смирѣлъ, окружилъ себя стражей, никуда не показывался. Населеніе въ первый разъ вздохнуло свободно. Аликай открыто появлялся въ народѣ, гарцевалъ передъ господскимъ домомъ, переругивался съ казаками. Дѣло дошло до того, что ему приносились жалобы, онъ вмѣшивался въ распоряженія конторы, диктовалъ условія, наказывалъ ослушниковъ. Въ одно прекрасное утро исчезла у Золина молодая жена, которую онъ вывезъ откуда-то издалека. Она жила затворницей, какъ птица въ клѣткѣ, не видя людей. Рѣшили, что она утопилась, и долго искали ее въ пруду, но Аликай прислалъ сказать, что она жива и находится въ сохранномъ мѣстѣ. Тутъ Золинъ еще разъ проявилъ свою страшную

энергію: сбиль до тысячи человекъ народу и устроилъ на Аликая облаву. Десять дней люди не выходили изъ лѣсу, голодали, не спали ночей; самъ Золинъ похудѣлъ, одичалъ, волосы его побѣлѣли. Обыскали все окрестности, но Аликая не нашли. Когда вернулись домой, оказалось, что управительскій домъ сгорѣлъ до тла. Тогда Золинъ, въ припадкѣ бѣшенства, поджегъ фабрику, магазины и контору. Огонь перебросило на обывательскіе дома, и къ вечеру отъ селенія осталось только черное дымящееся поле. Золинъ скрылся и больше никогда уже не возвращался въ заводы. Рассказываютъ, что онъ поселился въ Соловецкомъ монастырѣ, гдѣ и умеръ въ 1843 году.

— А что же Аликай?

— Онъ тоже прожилъ недолго. По рассказамъ, значительную часть своихъ сокровищъ онъ роздалъ народу. Но вскорѣ и его постигла Божья кара: захворала и умерла его любовница, жена Золина. Схоронивъ ее подъ камнемъ, Аликай посѣдѣлъ въ одну ночь и цѣлыя сутки лежалъ на ея могилѣ, какъ мертвый, потомъ распустилъ шайку, щедро надѣливъ ее деньгами, остальное зарылъ, затѣмъ поднялся на вершину, бросился внизъ и разбился о камни.

— Гмъ!.. да, были нравы!—сказалъ генералъ и поднялся съ мѣста.

— Да, было да прошло... и слава Богу!..

VI.

Слегка прихрамывая на лѣвую ногу, генералъ вышелъ изъ палатки. За нимъ потянулось все общество.

— Какая прелесть!—сказалъ онъ, осматриваясь кругомъ.

— Да, да!.. прелестно!..

Дамы кокетливо завизгивали, заглядывая въ пропасть, на днѣ которой бѣлѣли крупные и мелкіе камни, и чернѣла узкая излучина рѣки.

— Ухъ, костей не соберешь!.. Ринуться съ такой высоты—это ужасно!..

— А ночь-то, ночь!.. Ваше превосходительство, посмотрите, отъ росы лугъ кажется бѣлымъ...

— А слышите, какъ журчитъ рѣка... она точно лепечетъ о чемъ-то...

Горѣвшій неподалеку костеръ то вспыхивалъ яркимъ пламенемъ, освѣщая колеблющимся свѣтомъ деревья и камни, то разливая вокругъ себя ровный, багрово-золотистый свѣтъ. Около него копошились подростки и прислуга, приготовлявшая ужинъ. На вышкѣ скалы опять хоромъ запѣли пѣсню,

отъ которой все ожило и мерцавшая въ лунномъ сіяніи даль получила какой-то загадочный смыслъ.

— Очень, очень мило, — говорилъ генераль. — Это молодежь поетъ? Очень, очень мило!..

— У насъ по лѣтамъ иногда составляется большой хоръ... Сегодня еще не всѣ.

Конюховъ, заложивъ за спину руки, длинный и прямой, какъ палка, стоялъ почти у самаго обрыва и смотрѣлъ въ даль своими безцвѣтными оловянными глазами.

— Дядя просилъ передать вамъ, — обратилась къ нему Катя, — что записка готова, остается только переписать.

Конюховъ, не мѣняя позы и все смотря куда-то въ даль, слегка качнуль головой въ знакъ того, что онъ слышитъ. Это была его обычная манера обращенія въ разговоръ съ людьми низшаго ранга.

— Завтра или послѣ завтра перепишутъ, — прибавила Катя.

— Надо прежде прочесть, что онъ тамъ написалъ, — процѣдилъ Конюховъ сквозь зубы.

— Но дядя хочетъ подать записку отъ себя.

Конюховъ удивленно приподнялъ брови, помолчалъ и, наконецъ, все смотря куда-то въ даль, произнесъ тѣмъ же ровнымъ голосомъ:

— Старикъ съ ума спятилъ. Записка должна быть по-дана отъ меня. Передайте ему это.

— Пожалуйста, потрудитесь передать ему сами, — сказала Катя сердито и отошла.

Конюховъ, не сдѣлавъ никакого движенія, продолжалъ стоять все въ той же позѣ.

Кто-то нашелъ большую, засохшую на корню пихту съ красной хвоей и поджегъ ее. Ослѣпительно-бѣлое пламя вихремъ вазвилось кверху и съ шумомъ обняло дерево, освѣтивъ все далеко кругомъ. Небо вдругъ стало темнымъ, луна поблѣднѣла. Неожиданно и странно измѣнилась вся картина, обнаруживъ невидимыя до тѣхъ поръ подробности: сидящую въ травѣ собаку, бѣлые камни въ ложбинѣ, громаднаго роста сосну по другую сторону рва... Катя замѣтила внизу, по ту сторону ущелья, недалеко отъ тропинки, какихъ-то людей полувоеннаго покроя и между ними въ бѣломъ кителѣ офицера. Очевидно ихъ испугалъ внезапный свѣтъ: они безпомощно задвигались и стали прятаться въ низкорослые кусты можжевельника... Пока пламя съ ревомъ пожирало сухую хвою, молодежь въ восторгѣ кричала и хлопала въ ладоши, подростки визжали, прыгали и кружились вокругъ огня. Но хвоя быстро сгорѣла, свѣтъ погасъ, и только раскаленные сучья слабо свѣтились, жалобно потрескивая, отламываясь и

падая внизъ. Кругомъ опять все потемнѣло, небо стало голубымъ, и на немъ съ прежнею яркостью свѣтила луна.

Конюховъ предложилъ подняться на самую вершину камня, откуда открывался видъ во всѣ четыре стороны. Генеральъ выразилъ согласіе и, хромая, но стараясь ступать твердо, пошелъ рядомъ съ нимъ. Общество зашевелилось, всѣ стали осторожно подниматься вверхъ по тропинкѣ, по осыпающимся мелкимъ камнямъ, между уродливыми глыбами скалъ, освѣщенныхъ луной.

— Подождите! — шепнула Свѣтлицыну Анна Ивановна, тихонько касаясь его руки и вглядываясь въ его лицо, покрытое черной тѣнью:—намъ надо поговорить.

Свѣтлицынъ, нахмурившись, замедлилъ шаги и пошелъ вслѣдъ за нею. Нѣсколько минутъ они шли молча, прислушиваясь къ удаляющимся голосамъ гостей. Когда голоса смолкли, Анна Ивановна остановилась, прячась въ тѣни.

— Ты сердишься? да? — сказала она, привлекая его къ себѣ.

Свѣтлицынъ молчалъ.

— Ты сердишься и нарочно ухаживаешь за Катей, чтобъ позлить меня? да? Но я никогда не повѣрю, чтобъ тебѣ могла нравиться эта ходячая пропись.

— Почему же?

— Фи!.. что въ ней?..

— Она мила, умна, образованна, красива...

— Она невоспитанна, груба... ведетъ себя, какъ семинаристъ въ юбкѣ... Но не въ этомъ дѣло... На что ты сердишься?

— Могу тебя увѣрить, нисколько.

— Развѣ я не вижу!.. Надо тебѣ сказать, что уже всѣ замѣчаютъ и говорятъ про насъ Богъ знаетъ что...

— Гмъ!.. и тебя это беспокоитъ?

— Еще бы!.. Ты странный человѣкъ! Я не понимаю, чего ты отъ меня хочешь?

— Ничего... ровно ничего.

— Нельзя же компрометировать себя...

— Конечно!

— Съ тобой невозможно говорить!.. Мы слишкомъ у всѣхъ на виду, и простая осторожность требуетъ, чтобъ свиданія наши были какъ можно рѣже. Ты долженъ это признать.

— Охотно признаю.

— Перестань!.. не злись!.. въ чемъ же ты меня обвиняешь?

— Ни въ чемъ... я вполне съ тобой согласенъ...

— Говори типе... вездѣ народѣ... Тогда въ чемъ же дѣло?

— Не знаю... кажется, ни въ чемъ.

— Это несносно!... пожалуйста, не лмайся!.. Ты ревновать меня къ этому уроду—вотъ въ чемъ дѣло!.. Не отпирайся, не отпирайся!.. къ этому разслабленному баричу...

— Это къ которому же?

— Ахъ, отстань!... ты отлично знаешь, о комъ я говорю... Но долженъ же ты понять, что это нужно было для дѣла... Мой Петръ Саввичъ такой опѣхтой, а тутъ нужна дипломатія... Нужный человѣкъ... какъ же иначе?... Онъ личный секретарь князя...

Свѣтлицынъ засмѣялся.

— Чему ты?—удивилась Анна Ивановна.

— Меня забавляетъ твоя наивность... какъ все это просто: нужный человѣкъ!..

— Пожалуйста, не продолжай: я напередъ знаю, что ты скажешь... Но только это глупости... вѣдь не влюбилась же я въ этого идиота!.. Поухаживать да ухалъ... экая важность!.. За то теперь наше положеніе такъ прочно, какъ никогда... Милый мой! ты самыхъ простыхъ вещей не понимаешь, а умный человѣкъ... Всѣ такъ дѣлають... чего тутъ особеннаго?... Надо умѣть жить... Ну, не сердись же, милый...

— Ей-богу, я нисколько не сержусь.

— Нѣтъ, нѣтъ! ты злишься, развѣ я не вижу?..

Она стала ласкаться къ нему, но онъ вяло и неохотно принималъ ея ласки.

— О чемъ ты думаешь, милый?

— Ни о чемъ... никакихъ думъ въ головѣ... скоро совсѣмъ оглупѣю... ей-Богу... Скука, все надоѣло... Я серьезно подумываю бѣжать отъ васъ.

— Какъ?—удивилась Анна Ивановна:—бѣжать? зачѣмъ?... что значить бѣжать?

— Такъ... ухалъ.

— Куда?

— Куда глаза глядятъ.

— Какія глупости!

— Не вѣкъ же мнѣ здѣсь оставаться... надо жить, работать, учиться, пробивать дорогу... Я еще молодъ, вся жизнь впереди, а оставаться здѣсь—значить заплеснѣвѣть, обрости мохомъ...

Анна Ивановна вдругъ замолчала.

— Скучно, здѣсь,—продолжалъ Свѣтлицынъ,—и, знаешь, противно... Удивляюсь, какъ здѣсь съ ума не сходятъ... пьяницъ много, а сумасшедшихъ нѣтъ... удивительно!.. Не жизнь

у васъ, а тюрьма... и нравы каторжные... Воздуху нѣтъ, дышать нечѣмъ...

— Ты меня не любишь — вотъ что! — прошептала Анна Ивановна.—Ты разлюбилъ меня?

— Не знаю... не въ этомъ дѣло.

— Нѣтъ, въ этомъ, въ этомъ!.. Я не вѣрю тебѣ... ни одному твоему слову!.. Чѣмъ адѣсь нехорошо? Чего еще надо?.. Ты можешь сдѣлать карьеру... Скука... но вездѣ скука... Можетъ быть, гдѣ-нибудь въ Парижѣ... но и тамъ скучаютъ... И что это за вадоръ: воздуха нѣтъ? Какого воздуха?.. Нѣтъ, нѣтъ! никуда ты не поѣдешь!.. Куда? Зачѣмъ?.. Какъ это глупо!.. И не отпускаю я тебя, такъ и знай!

— Будто? но къ чему тебѣ меня удерживать?.. Мѣсто мое недолго останется пустымъ, я и теперь тебѣ почти не нуженъ.

— Нѣтъ, нуженъ, нуженъ...

Свѣтлицынъ пожалъ плечами. Анна Ивановна неожиданно заплакала.

— Я безъ тебя жить не могу...

— Какой вадоръ!.. перестань, что за новости!..

— Нѣтъ, не вадоръ... не вадоръ!.. Милый!.. прости меня.. Ну, я виновата... ну, я винюсь передъ тобой... чего же еще!.. Ахъ, эти идутъ сюда, противные!.. Отойди отъ меня... шлеются, шлеются—нѣтъ ни минуты покоя!.. Но видѣться намъ необходимо сегодня же...

— А гдѣ-жъ его превосходительство? — пыхтя, какъ паровикъ, кричалъ поднимавшійся въ гору заводскій лѣкарь Ожеговъ. За нимъ тяжело тащился земскій врачъ Веретенниковъ. Оба были уже на второмъ заводѣ.

— Эки чортовы горы!—пробасилъ Веретенниковъ и плюхнулся на землю въ совершенномъ изнеможеніи. — Уфъ!.. больше не могу!.. ноги подкашиваются... сердце стучить, какъ молотъ... А гдѣ же генералъ и прочіе?

— Впереди. Мы идемъ на вершину камня.

— Добре, добре!.. А мы съ Иваномъ Осипычемъ кладъ искали.. чортъ знает! И вѣдь не нашли!.. И свѣчку видѣли, и солдата на часахъ, а клада нѣтъ, какъ нѣтъ!.. Отложили до другого раза.

— Да, не везетъ намъ,—вздохнувъ, подтвердилъ Ожеговъ и сѣлъ рядомъ съ Веретенниковымъ.—Ну, и хорошо же, чортъ побери!..

— Вы не пойдете дальше?—спросила Анна Ивановна.

— Нѣтъ, куда тутъ!.. Сердца у насъ съ Иваномъ Осипычемъ не въ порядкѣ...

— Ну, тогда до свиданія. Идемте, Иванъ Петровичъ.

— Опять воркуютъ голубки, — сказалъ Ожеговъ, когда Свѣтлицынъ и Анна Ивановна скрылись.

— Да... лафа этому парню... какъ сыръ въ маслѣ ка-
тается... даже зависть беретъ... Приѣхалъ на практику, да
вотъ и застрялъ... второй годъ околачивается... и вѣдь мѣ-
сто хорошее, подлець, занимаетъ... Рожа смазливая и лов-
качъ!.. Что значать бабы-то, а?

— Да, братъ, бабы—онѣ того... имѣютъ свое значеніе...
А барынька объяденье!.. ай люли!.. и умна же... проведетъ и
выведетъ... А тотъ пентюхъ ничего не видитъ... А впрочемъ,
чортъ его разберетъ!.. Ты не смотри, что онъ истуканъ...
тонкая штука!..

— Ну, гдѣ тамъ!.. просто оселъ!.. Ну-ка, не осталось ли
еще пороку въ пороховницѣ?

— Есть!

— Давай!.. Выпить на чистомъ воздухѣ да при эдакой
декорации — это, братъ, я тебѣ скажу, цѣлая поэма... Ишь
луна-то, чортъ ее поberi! хотъ письма пиши... Небось, оттуда
стянуть?

— Само собой. Какъ ушли, я сейчасъ цапъ! чорта ли на
нихъ смотрѣть! Не ихнія, заводскія денежки плачутъ... На
генерала три тысячи ассигновано... Хо, хо!.. По крайней
мѣрѣ, на свободѣ съ пріятелемъ выпить... чорта ли!.. При
публикѣ-то оно не того... важничаютъ... терпѣть не могу!..
И генераль этотъ... чучело гороховое...

— Шутъ съ нимъ! ему важничать можно: генераль да
еще съ особыми полномочіями...

— Изобиходятъ его въ лучшемъ видѣ!

— Конечно!.. вокругъ пальца обернуть... Ну-ка, еще по
единой... Эка благодать-то, а?.. Посмотри вонъ тамъ... фу-ты,
какая роскошь!..

— Да, братъ... и погода кстати пришлась... для генерала-
то... еще одно пріятное впечатлѣніе...

— Хе, хе!.. а и вѣрно... Сегодня утромъ его въ больницу
ко мнѣ привозили... для пріятнаго-то впечатлѣнія... Хо, хо!..

— Ну, и что же?

— Ничего. Бутафорія у насъ чудесная: блескъ, чистота,
паркетъ, простыни, орѣховая мебель... Умилился: „прево-
сходно, говорить, — но почему же, такъ мало больныхъ?“
Время, говорю, такое, ваше превосходительство...

— Значить, больные-то всетаки были?

— А какъ же! нарочно для этого случая приспособили...
долго ли!.. живымъ манеромъ... „Какой, говорить, у нихъ
здоровый видъ!“ Выздоровливающіе, говорю, ваше превосход-
ительство. А у нихъ и дощечка и скорбный листъ—все какъ
слѣдуетъ!..

— Молодцы! умѣете товаръ лицомъ показать...

— Мы мастера на это... Ну-ка, остатки сладки, допивай, а пустую бутылку къ чорту! что въ ней въ пустой-то?.. терпѣть не могу!..

Описавъ въ воздухѣ полукругъ, бутылка съ жалобнымъ звономъ покатила въ низъ. Пріятели долго прислушивались къ ея паденію.

— Ну, а воинство это зачѣмъ?—помолчавъ, спросилъ Веретенниковъ.

— Какое воинство?

— Какъ же!.. Развѣ ты не замѣтилъ?..

— Не знаю... должно быть, на всякій случай... мало ли... клаяузный у насъ народъ, озорной... Генерала охраняютъ... а впрочемъ, не знаю... дѣло не наше...

— А не пойти ли намъ къ студентамъ? Пѣсни больно хорошо поютъ, шельмецы.

— Что же, къ студентамъ, такъ къ студентамъ. Пѣсенки-то они воспѣвають, да и еще кой-чѣмъ занимаются... да-съ... извѣстно объ этомъ, извѣстно-съ...

А. Погорѣловъ.

(Окончаніе слѣдуетъ).

ТЕРЗАНІЯ СОВѢСТИ.

Августа Стриндберга.

Переводъ З. W.

Это было черезъ двѣ недѣли послѣ Седана, то есть въ половинѣ сентября 1870 года. Геологъ прусскаго геологическаго бюро, въ то время лейтенантъ запаса фонъ-Блейхроденъ, сидѣлъ безъ куртки за письменнымъ столомъ въ клубномъ казино, помѣщавшемся въ лучшей гостиницѣ маленькой деревушки Марлоттъ.

Свой военный мундиръ съ жесткимъ воротникомъ онъ сбросилъ на спинку стула, гдѣ тотъ и висѣлъ теперь, вялый, безжизненный, точно трупъ, судорожно обхвативъ своими пустыми рукавами ножки стула, какъ будто защищаясь отъ нападенія. У талии виднѣлся слѣдъ, натертый португеей, лѣвая нога лоснилась отъ ноженъ, а спина была запылена, какъ столбовая дорога. По вечерамъ господинъ лейтенантъ-геологъ по каймѣ своихъ изношенныхъ брюкъ съ успѣхомъ могъ бы изучать третичныя отложенія почвы, а по слѣдамъ, оставленнымъ на полу грязными сапогами ординарца, рѣшить,—прошли ли они эоценовую или пліоценовую формацию.

По существу фонъ-Блейхроденъ былъ болѣе геологъ, чѣмъ военный; въ данную же минуту онъ просто писалъ письма.

Сдвинувъ на лобъ очки, онъ остановился съ перомъ въ рукѣ и смотрѣлъ въ окно. Передъ нимъ разстилался садъ во всемъ своемъ осеннемъ великолѣпіи: вѣтви яблонь и сливъ клонились до земли подъ бременемъ роскошныхъ плодовъ; оранжевыя тыквы грѣлись на солнцѣ рядомъ съ колючими сѣровато-зелеными артишоками; огненно-красныя томаты, обвиваясь вокругъ своихъ подпорокъ, подползали къ бѣлоснѣжнымъ головкамъ цвѣтной капусты; подсолнечники, величиной съ тарелку, поворачивали свои диски къ востоку, откуда солнце появлялось въ долинѣ. Маленькіе лѣса георгинъ бѣлыхъ, какъ только что выбѣленное полотно, пурпу-

ровыхъ, какъ кровь, грязновато-красныхъ, какъ свѣжее мясо, ярко-желтыхъ, пестрыхъ, пятнистыхъ — представляли цѣлую симфонію красокъ. За георгинами шла аллея, усыпанная пескомъ и охраняемая двумя рядами гигантскихъ левкоевъ; блѣдно сиреневые, ослѣпительные, голубовато-бѣлые, золотисто-палевые, — они уходили далеко въ перспективу, замыкавшуюся темной зеленью виноградниковъ, съ цѣлымъ лѣсомъ подпорокъ и наполовину скрытыми въ листьѣ, крапивными гроздьями. А тамъ вдали бѣлесоватые стебли нежатыхъ хлѣбовъ, съ налитыми колосьями, печально склонившимися къ землѣ, съ растрескавшейся кожицей, при каждомъ порывѣ вѣтра возвращавшіе кормилицѣ — землѣ то, что получили отъ нея; зрѣлая нива, — точно переполненная грудь матери, которую дитя перестало сосать. А въ глубинѣ, на заднемъ планѣ темнѣли верхушки дубовъ и буковые своды лѣса Фонтенебло, очертанія котораго вырисовывались тончайшими фестонами, точно старыя брабантскія кружева; косые лучи заходящаго солнца золотыми нитями пробивались сквозь ихъ узоръ. Нѣсколько пчелъ вились вокругъ цвѣтовъ; красношейка щебетала на яблонѣ; рѣзкій запахъ левкоевъ доносился порывами, точно изъ внезапно открытаго двери парфюмернаго магазина.

Лейтенантъ сидѣлъ, задумавшись, съ перомъ въ рукѣ, очарованный прелестью картины: — „Какая чудная страна“, — думалъ онъ, и мысль его невольно переносилась къ пескамъ его родины, съ ея чахлыми, низкими соснами, простиравшимися къ небу свои корявыя вѣтви, какъ бы умоляя пески не затопить ихъ.

Чудная картина, обрамленная окномъ, время отъ времени, съ равномѣрностью маятника, затѣнялась ружьемъ часового, блестящій штыкъ котораго пересѣкалъ ее посрединѣ; солдатъ дѣлалъ поворотъ у большой груши, усѣянной прекрасными „наполеонами“. Лейтенантъ подумалъ было предложить часовому переимѣнить мѣсто, но не рѣшился. — Чтобы не видѣть сверкающаго штыка, онъ отвелъ глаза влѣво, въ сторону двора. Тамъ желтѣла стѣна кухни безъ оконъ, увитая старой узловатой виноградной лозой, которая была привязана къ ней, точно скелетъ какого нибудь млекопитающаго въ музеѣ; лишенная листьевъ и гроздьевъ, она была мертва и, точно къ кресту крѣпко пригвожденная къ подгнившимъ шпалерамъ, стояла, вытянувъ свои длинныя жесткія руки, какъ бы пытаясь схватить въ свои призрачныя объятія часового, когда тотъ дѣлалъ поворотъ недалеко отъ нея.

Лейтенантъ отвернулся, и взоръ его упалъ на письменный столъ. На немъ лежало недописанное письмо къ его молодой женѣ, съ которой онъ обвѣнчался четыре мѣсяца

назадъ, за два мѣсяца до начала войны... Рядомъ съ французской картой генеральнаго штаба лежали: „Философія безсовнательнаго“, Гартмана и „Парерга и Паралипомена“, Шопенгауера.

Лейтенантъ порывисто всталъ изъ-за стола и нѣсколько разъ прошелся по комнатѣ. Это былъ залъ, служившій мѣстомъ сборищъ художниковъ, въ настоящее время обратившихся въ бѣгство. Стѣны были украшены ихъ произведеніями,—воспоминаніями о чудныхъ дняхъ, проведенныхъ въ прекрасномъ гостепріимномъ уголкѣ, столь великодушно открывшемъ чужестранцамъ свои художественныя школы и выставки. Здѣсь были другъ подле друга танцующія испанки, римскіе монахи, морскіе берега Нормандіи и Бретани, голландскія вѣтряныя мельницы, норвежскія рыбацкія деревушки и швейцарскіе Альпы. Въ углу зала пріютился орѣховый мольбертъ и, казалось, старался укрыться въ тѣнь отъ угрожавшихъ ему штыковъ. Надъ нимъ висѣла палитра, съ пятнами полусохшихъ красокъ, имѣвшая видъ бычачьей печени въ окнѣ мясной лавки. Огненно-красные берега, любимый головной уборъ художниковъ, выцвѣтшіе отъ пота, дождя и солнца, висѣли на вѣшалкѣ.

Лейтенантъ чувствовалъ себя здѣсь неловко, какъ будто онъ забрался въ чужую квартиру и каждую минуту ждалъ возвращенія изумленного хозяина. Онъ скоро прекратилъ свою прогулку и сѣлъ доканчивать письмо. Первые страницы были готовы. Онъ заключали сердечныя изліянія горя, печаль о разлукѣ и нѣжныя заботы; недавно онъ получилъ извѣстіе, подтвердившее его радостныя надежды стать отцомъ.

Онъ снова взялся за перо, скорѣе изъ желанія просто поговорить съ женою, чѣмъ сообщить ей что-нибудь определенное или спросить у нея о чемъ-нибудь. Онъ писалъ:

„Такъ, напримѣръ, когда однажды, послѣ четырнадцатичасоваго перехода безъ пищи и питья, я подошелъ со своею ротою къ лѣсу, гдѣ мы наткнулись на покинутую повозку съ провіантомъ, — знаешь ли ты, что произошло тогда? Изголодавшіеся до послѣднихъ предѣловъ люди пришли въ неистовство и, какъ волки, набросились на пищу, а такъ какъ ея едва могло хватить на двадцать пять человѣкъ, то у нихъ дошло до рукопашной. Моей команды никто не слушалъ, а когда фельдфебель съ саблей въ рукахъ наступалъ на нихъ,—они ружейными прикладами сшибали его съ ногъ. Шестнадцать человѣкъ раненныхъ и полумертвыхъ осталось на мѣстѣ. Тѣ же, кому досталась пища, ѣли такъ жадно, что задали на землю, гдѣ тотчасъ засыпали. Это были люди, шедшіе противъ людей, дикіе звѣри, дравшіеся изъ-за пищи.

„Или въ другой разъ: получили мы приказъ немедленно устроить палисадъ.

„Въ безлѣсной странѣ мы не располагали ничѣмъ, кромѣ виноградныхъ лозъ и ихъ подпорокъ. Возмутительная картина! Въ одинъ часъ были опустошены все виноградники; чтобы связать фашины, вырывались лозы съ листьями и гроздьями, всемо мокрая отъ раздавленного, полуспѣлаго винограда. Говорятъ, это были сорокалѣтніе виноградники. А мы въ одинъ часъ уничтожили результаты сорокалѣтнихъ трудовъ! И это для того, чтобы, находясь въ безопасности, стрѣлять въ тѣхъ, кто развелъ эти виноградники!..

„А когда мы перестрѣливались на не скошенномъ пшеничномъ полѣ, — зерна сыпались къ нашимъ ногамъ, а колосыя приминались къ землѣ, чтобы согнуть при первомъ дождѣ... Какъ по твоему, моя дорогая, — можно ли послѣ такихъ поступковъ уснуть спокойно? Между тѣмъ, вѣдь я только исполнялъ свой долгъ. А вѣдь есть люди, которые осмѣливаются утверждать, что лучшей подушкой служить сознаніе исполненнаго долга?!

„Но мнѣ предстоитъ нѣчто лучшее! Ты, можетъ быть, слыхала, что французскій народъ для усиленія своей арміи поднялся массами и образовалъ вольные отряды, которые подъ именемъ „вольныхъ стрѣлковъ“ стараются охранять свои дома и поля. Прусское правительство не захотѣло признать ихъ солдатами и угрожало при встрѣчѣ разстрѣливать ихъ, какъ шпионовъ и измѣнниковъ! Оно основывается на томъ, что войну ведутъ государства, а не индивидуумы. Но развѣ солдаты не индивидуумы? И развѣ эти стрѣлки не солдаты? У нихъ сѣрая форма, какъ у стрѣлковъ, а вѣдь солдатомъ дѣлаетъ мундиръ. „Но они не состоятъ въ спискахъ арміи“ — возражаютъ на это! Да, они не состоятъ въ спискахъ арміи, потому что у правительства не было времени записать ихъ. Трехъ такихъ стрѣлковъ я держу сейчасъ подъ арестомъ въ сосѣднемъ билліардномъ залѣ и каждую минуту ожидаю изъ главнаго штаба рѣшенія ихъ судьбы!..“

На этомъ лейтенантъ прервалъ свое письмо и позвонилъ къ ординарцу, находившемуся на посту въ трактирѣ. Черезъ минуту ординарецъ предсталъ предъ лейтенантомъ.

— Что плѣнные? — спросилъ фонъ-Блейхроденъ.

— Ничего, господинъ лейтенантъ; они играютъ на билліардѣ и въ самомъ хорошемъ расположеніи духа.

— Дайте имъ нѣсколько бутылокъ бѣлаго вина, только самого легкаго! Все въ порядкѣ?

— Все, господинъ лейтенантъ. Не будетъ ли приказаній? Фонъ-Блейхроденъ продолжалъ письмо:

„Что за странный народъ эти французы! Три стрѣлка, е

которыхъ я упоминалъ и которые, вѣроятно (говорю вѣроятно, потому что еще надѣюсь на лучший исходъ), черезъ нѣсколько дней будутъ приговорены къ смерти,—спокойно играютъ на бильярдѣ въ сосѣдней комнатѣ, и я слышу удары ихъ киевъ о шары. Какое веселое презрѣніе къ жизни! Но вѣдь въ сущности это прекрасно—умѣть такъ умирать! Или, быть можетъ, это доказываетъ только, что жизнь имѣетъ слишкомъ мало цѣны, если такъ легко разстаться съ ней.

„Я думаю, что если бы не было такихъ дорогихъ узъ, какъ у меня, заставляющихъ дорожить существованіемъ... Но ты, конечно, поймешь меня и вѣришь, что я считаю себя связаннымъ... Впрочемъ, я самъ не понимаю, что пишу, — я уже много ночей не спалъ, и голова у меня...“

Кто-то постучалъ въ дверь. На отвѣтъ лейтенанта „войдите“, дверь отворилась, и вошелъ деревенскій священникъ. Это былъ человѣкъ лѣтъ пятидесяти съ печальнымъ и пріятельнымъ, но въ высшей степени рѣшительнымъ лицомъ.

— Господинъ лейтенантъ,—началъ онъ,—я пришелъ просить разрѣшенія поговорить съ плѣнными.

Лейтенантъ всталъ и, приглашая священника занять мѣсто на диванѣ, надѣлъ свой военный мундиръ. Но когда онъ застегнулъ свой узкій сюртукъ, и шею его сжалъ, какъ въ тискахъ, тугой воротникъ, онъ почувствовалъ, что всѣ его благородные порывы стѣснены, и кровь въ своихъ таинственныхъ путяхъ къ сердцу остановилась.

Прислонившись къ столу и положивъ руку на Шопенгауера, онъ сказалъ:

— Къ вашимъ услугамъ, господинъ кюре, но я не думаю, чтобы плѣнные удѣлили вамъ много вниманія: они очень заняты своей партией.

— Я думаю, господинъ лейтенантъ, что я лучше васъ знаю свою паству! Одинъ только вопросъ: намѣрены ли вы рабствовать этихъ юношей?

— Разумѣется!—отвѣтилъ фонъ-Блейхроденъ, совершенно входя въ свою роль. — Вѣдь войну ведутъ государства, господинъ кюре, а не отдѣльныя личности.

— Извините, господинъ лейтенантъ, стало быть, вы и ваши солдаты не отдѣльныя личности?

— Извините, господинъ кюре, въ настоящую минуту — нѣтъ!

Онъ положилъ письмо къ своей женѣ подъ бюваръ и продолжалъ:

— Въ настоящую минуту я только представитель союзныхъ государствъ Германіи.

— Вѣроятно, господинъ лейтенантъ, ваша милостивая ко

ролева, да хранить ее Господь вовѣки, тоже была предстательницей союзныхъ государствъ Германіи, когда обратилась къ нѣмецкимъ женщинамъ съ воззваніемъ оказывать помощь раненымъ? И я знаю тысячи французскихъ отдѣльныхъ личностей, благословляющихъ ее, въ то время, какъ французская нація проклинаетъ ея націю. Господинъ лейтенантъ, во имя Христа (при этихъ словахъ священникъ всталъ, схватилъ руки врага и продолжалъ со слезами въ голосъ): представьте это дѣло на ея усмотрѣніе!

Лейтенантъ былъ смущенъ, но вскорѣ оправился и окзалъ:

— У насъ женщины еще не вмѣшиваются въ политику.

— Жаль, — отвѣтилъ священникъ, выпрямляясь.

Лейтенантъ, казалось, прислушивался къ чему-то за окномъ и потому не обратилъ вниманія на отвѣтъ священника. Онъ былъ взволнованъ и блѣденъ, и даже тугой воротникъ не могъ болѣе вызвать прилива крови.

— Садитесь, пожалуйста, господинъ кюрэ, — говорилъ онъ машинально. — Вы можете, если вамъ угодно, говорить съ плѣнными; но посидите, пожалуйста, еще одну минуту! — Онъ снова прислушался: теперь уже отчетливо раздавались удары копытъ лошади, приближавшейся рысью.

— Нѣтъ, нѣтъ, не уходите еще, господинъ кюрэ, — говорилъ онъ, задыхаясь. Священникъ стоялъ. Лейтенантъ высунулся, насколько могъ, въ окно. Топотъ копытъ все приближался, замедляясь, переходя въ шагъ и, наконецъ, прекратился. Звяканье сабли и шпоръ, стукъ шаговъ — и фонтъ Блейхроденъ держать въ рукахъ пакетъ. Онъ вскрылъ его и прочелъ бумагу.

— Который часъ? — проговорилъ онъ, спрашивая самого себя. — Шесть! Итакъ, черезъ два часа, господинъ кюрэ, плѣнные будутъ разстрѣляны безъ суда и слѣдствія.

— Это невозможно, господинъ лейтенантъ, такъ не отправляютъ людей на тотъ свѣтъ!

— Такъ или не такъ, — приказъ гласитъ: все должно быть покончено до вечерней молитвы, если я не хочу, чтобы меня сочли за соучастника вольныхъ стрѣлковъ. Я уже получилъ строгій выговоръ за то, что не исполнилъ приказа еще 31 августа. Господинъ кюрэ, идите, объявите имъ... избавьте меня отъ непріятности...

— Вамъ непріятно сообщить имъ законный приговоръ?

— Но вѣдь я тоже человѣкъ, господинъ кюрэ! Вы не вѣрите?

Онъ сорвалъ съ себя сюртукъ, чтобы свободнѣе дышать, и быстро зашагалъ по комнатѣ.

— Почему не можемъ мы всегда оставаться людьми? От-

чего мы должны быть двойственными? О! Господинъ пасторъ, пойдите и объявите имъ! Семейные они люди? Есть у нихъ жены, дѣти? Быть можетъ, родители?..

— Всѣ трое холосты,—отвѣтилъ священникъ.—Но, по крайней мѣрѣ, эту ночь вы можете имъ подарить?!

— Невозможно! приказъ гласитъ: до вечера, а на разсвѣтъ мы должны выступить. Идите къ нимъ, господинъ коръ, идите!

— Я пойду! Но не забудьте, господинъ лейтенантъ, что вы безъ сюртука, не вадумайте выйти: васъ можетъ постигнуть участь тѣхъ троихъ, потому что вѣдь только мундиръ дѣлаетъ солдатомъ.

Священникъ вышелъ.

Фонъ Блейхроденъ въ возбужденномъ состояніи дописывалъ послѣднія строки письма.

Затѣмъ, запечатавъ его, онъ позвонилъ вѣстового.

— Отправьте это письмо,—сказалъ онъ вошедшему, — и пошлите ко мнѣ фельдфебеля.

Фельдфебель вошелъ.

— Трижды три—двадцать девять, нѣтъ, трижды семь...—Фельдфебель, возьмите трижды... возьмите двадцать семь человѣкъ и черезъ часъ разстрѣляйте плѣнныхъ. Вотъ приказъ!

— Разстрѣлять?..—нерѣшительно переспросилъ фельдфебель.

— Да, разстрѣлять! Выберите людей похуже, уже бывшихъ въ огнѣ. Понимаете? Напримѣръ № 86 Бесселя, № 19... и потише! Кромѣ того, немедленно снарядите мнѣ отрядъ въ шестнадцать человѣкъ. Самыхъ лучшихъ ребятъ! Мы отправимся на рекогносцировку въ Фонтенебло, и къ нашему возвращенію все должно быть кончено. Вы поняли?

— Шестнадцать человѣкъ для господина лейтенанта, двадцать семь—для плѣнныхъ. Счастливо оставаться, господинъ лейтенантъ!

Онъ вышелъ.

Лейтенантъ тщательно застегнулъ сюртукъ, надѣлъ португезъ, сунулъ въ карманъ револьверъ. Затѣмъ зажегъ сигару, но рѣшительно не въ силахъ былъ курить: онъ задыхался, ему не хватало воздуха.

Онъ тщательно вытеръ пылъ съ письменнаго стола, обмахнулъ носовымъ платкомъ большія ножницы и спичечницу; положилъ параллельно линейку и ручку, подъ прямымъ угломъ къ бювару. Потомъ сталъ приводить въ порядокъ мебель. Покончивъ съ этимъ, онъ вынулъ гребенку, щетку и причесалъ передъ зеркаломъ волосы. Онъ снялъ со стѣны налитру, изслѣдовалъ краски; разсматривалъ красныя шапки

и попробовалъ поставить поустойчивѣе двуногій мольбертъ. Къ тому времени, когда на дворѣ слышалось бряцанье ружей, въ комнатѣ не оставалось ни одного предмета, который не побывалъ бы въ рукахъ лейтенанта. Затѣмъ онъ вышелъ. Онъ командовалъ: „Налѣво-кругомъ“ — и направился изъ деревни... Онъ точно бѣжалъ отъ настигавшаго его неприятеля, и отрядъ съ трудомъ поспѣвалъ за нимъ. Выйдя въ поле, онъ приказалъ своимъ людямъ идти гуськомъ другъ за другомъ, чтобы не топтать травы. Онъ не поворачивался, но шедшій позади его могъ видѣть, какъ судорожно съеживалось сукно на спинѣ его сюртука, какъ онъ вдрагивалъ, точно ожидая удара сзади.

На опушкѣ лѣса онъ командовалъ: стой! — и приказалъ солдатамъ не шумѣть и отдохнуть, пока онъ пройдетъ въ лѣсъ.

Оставшись наединѣ и убѣдившись, что его никто не видитъ, онъ перевелъ духъ и повернулся къ лѣсной чащѣ, сквозь которую узкія тропинки вели къ „Волчьему ущелью“. Низкая лѣсная поросль и кусты были уже окутаны мракомъ, а сверху, надъ макушками дубовъ и буковъ, еще сіяло яркое солнце. Фонъ-Блейхродену казалось, что онъ лежитъ на мрачномъ днѣ озера и сквозь зелень воды видитъ дневной свѣтъ, до котораго ему ужъ не добраться никогда. Величественный чудный лѣсъ, дѣйствовавшій прежде такъ цѣлительно на его больную душу, былъ сегодня не гармониченъ, непріятенъ, холоденъ.

Жизнь представлялась теперь фонъ-Блейхродену такой жестокой, противорѣчивой, полной двойственности, безрадостной даже въ безсознательной природѣ. Даже здѣсь, среди растеній, велась та же страшная борьба за существованіе, хотя и безкровная, но не менѣе жестокая, чѣмъ въ одушевленномъ мірѣ. Онъ видѣлъ, какъ маленькіе буки разrostались въ рощицы, чтобы убить нѣжную поросль дубка, которая теперь ничѣмъ инымъ, кромѣ поросли, не можетъ быть. Изъ тысячи буковъ едва одному удастся пробраться къ свѣту и, благодаря этому, превратиться въ великана, чтобы въ свою очередь отнимать жизнь у другихъ. А безпощадный дубъ, протягивавшій свои узловатые грубые руки, какъ бы желая захватить все солнце для себя одного, — изобрѣлъ еще подземную борьбу. Онъ разсылалъ свои длинные корни по всѣмъ направленіямъ, подрывалъ землю, поглощая всѣ питательныя вещества и, если ему не удавалось уничтожить своего противника лишеніемъ свѣта, — онъ умерщвлялъ его голодной смертью. Дубъ убилъ уже сосновый лѣсъ; за то букъ являлся мстителемъ, дѣйствовавшимъ медленно, но вѣрно: его ядовитые соки убивали все тамъ, гдѣ онъ царилъ.

каго деревенскаго колокола, зауспокойный звонъ за души умершихъ, которые исполнили свой долгъ, а не за живыхъ, исполняющихъ его.

Солнце сѣло, и блѣдный мѣсяцъ, стоявшій въ небѣ, начиналъ уже краснѣть, становясь все ярче и ярче, когда лейтенантъ со своимъ отрядомъ зашагалъ къ Монкуру, преслѣдуемый звономъ маленькаго колокола. Солдаты вышли на немурское шоссе, и эта дорога, съ двумя рядами тополей, казалась нарочно устроенной для похода. Они продолжали свой путь, пока не спустилась густая тьма, а въ небѣ ярко не заблестѣлъ мѣсяцъ. Въ послѣдней шеренгѣ начали уже перешептываться, тихонько совѣщаясь, не попросить ли унтеръ-офицера наекнуть лейтенанту, что мѣстность не безопасна и что необходимо вернуться на квартиры, чтобы успѣть завтра съ разсвѣтомъ выступить,—какъ вдругъ фонъ-Блейхроденъ совершенно неожиданно скомандовалъ остановиться. Расположились на возвышенности, съ которой можно было видѣть Марлоттъ. Лейтенантъ остановился, какъ вкопанный, точно охотничья собака, наткнувшаяся на стаю куропатокъ. Снова раздался барабанный бой. Затѣмъ въ Монкурѣ пробило девять часовъ; потомъ часы пробили въ Грецѣ, Бурѣ, въ Немурѣ; всѣ маленькіе колокола звонили къ вечернѣ, одинъ звонче другого, но всѣхъ ихъ заглушалъ колоколъ Марлотта, какъ бы крича: помогите! помогите! помогите! Блейхроденъ не могъ помочь. Теперь раздавался гулъ вдоль земли, какъ будто выходя изъ ея нѣдръ: это была ночная перестрѣлка въ главной квартирѣ близъ Шалона.

А сквозь легкій вечерній туманъ, разстилавшійся, точно вата, вдоль маленькой рѣчки, прорывался лунный свѣтъ и, освѣщая рѣчку, бѣгущую изъ темнаго лѣса Фонтенебло, который возвышался подобно вулкану, дѣлалъ ее похожей на потокъ лавы.

Вечеръ томительно жаркій, но лица людей такъ блѣдны, что летучія мыши, снующія вокругъ, задѣваютъ ихъ, какъ онѣ обыкновенно дѣлаютъ при видѣ чего-нибудь бѣлаго.. Всѣ знали, о чемъ думаетъ лейтенантъ, но они никогда не видали его такимъ страннымъ и боялись, что не все обстоятъ благополучно съ этой безцѣльной рекогносцировкой на большой дорогѣ.

Наконецъ, унтеръ-офицеръ рѣшился подойти къ лейтенанту и отпартовать, что уже пробили зорю; Блейхроденъ покорно выслушалъ донесеніе, какъ принимаютъ приказы, и скомандовалъ возвращеніе.

Когда, часъ спустя, они вошли въ первую улицу деревни Марлоттъ, унтеръ-офицеръ замѣтилъ, что правая нога лей-

тенанта не сгибается въ колѣнѣхъ, и онъ идетъ не ровно, точно отъпущей.

На площади люди были распущены по домамъ безъ молитвы, и лейтенантъ исчезъ.

Ему не хотѣлось сейчасъ же идти къ себѣ. Что-то влекло его, куда?—онъ самъ не зналъ... Онъ ходилъ кругомъ, какъ ищейка, съ широкооткрытыми глазами и раздутыми ноздрями. Онъ осматривалъ стѣны и слышалъ хорошо знакомый ему запахъ.

Но онъ ничего не видѣлъ и не встрѣтилъ никого. Онъ хотѣлъ и вмѣстѣ боялся увидѣть, гдѣ это произошло.

Наконецъ, онъ почувствовалъ усталость и направился къ себѣ. На дворѣ онъ остановился, затѣмъ обошелъ вокругъ кухни. Тамъ онъ наткнулся на фельдфебеля и, при видѣ его, до того испугался, что долженъ былъ ухватиться за стѣну. Фельдфебель тоже былъ испуганъ, но скоро оправился и сказалъ:

— Я искалъ господина лейтенанта, чтобы доложить...

— Хорошо, хорошо! Все въ порядкѣ?.. Отправляйтесь къ себѣ и ложитесь спать!—отвѣтилъ фонъ-Блейхроденъ, боясь услышать подробности.

— Все въ порядкѣ, господинъ лейтенантъ, но...

— Хорошо! Ступайте, ступайте, ступайте!..—онъ говорилъ такъ торопливо, что фельдфебель не имѣлъ возможности вставить слово: каждый разъ, какъ онъ раскрывалъ ротъ, — цѣлый потокъ рѣчей лейтенанта выливался на него. Въ концѣ концовъ фельдфебелю это надоѣло, и онъ пошелъ къ себѣ.

Фонъ-Блейхроденъ перевелъ духъ, и ему стало весело, какъ мальчишкѣ, который избѣжалъ наказанія... Теперь онъ былъ въ саду. Мѣсяцъ ярко освѣщалъ желтую кухонную стѣну, и виноградная лоза вытягивала свою изсохшую косявую руку. Но что это? Часа два тому назадъ она была совсѣмъ мертва, лишена листьевъ; торчалъ одинъ только сѣрый остовъ, изгибавшійся въ конвульсіяхъ, а теперь на ней висѣли чудныя красныя гроздья и стволъ позеленѣлъ? Онъ подошелъ поближе, чтобы убѣдиться, та ли это лоза. Подходя къ стѣнѣ, онъ ступилъ во что-то мягкое и узналъ удручившій, противный запахъ, напоминавшій мясную лавку. Теперь онъ увидѣлъ, что это та самая виноградная вѣтвь, но только штукатурка на стѣнѣ надъ ней пробита и обрызгана кровью. Такъ это было здѣсь! Здѣсь произошло это!..

Онъ сейчасъ же ушелъ. Войдя въ сѣни, онъ споткнулся: что-то скользкое пристало къ его ногамъ. Онъ снялъ въ сѣняхъ сапоги и выбросилъ ихъ на дворъ. Затѣмъ онъ отправился въ свою комнату, гдѣ на столѣ былъ приготовленъ

ему ужинъ. Онъ чувствовалъ страшный голодъ, но не могъ ѣсть: онъ стоялъ и пристально смотрѣлъ на накрытый столъ. Все было такъ аппетитно приготовлено: комъ масла такой нѣжный, бѣлый, съ красной редиской, воткнутой посрединѣ; ослѣпительной бѣлизны скатерть, красная мѣтка которой,—онъ это замѣтилъ,—не соотвѣтствовала именамъ его и его жены; круглый козій сыръ такъ заманчиво красовался на темныхъ виноградныхъ листьяхъ, какъ будто рукой, приготовлявшей все это, водилъ не одинъ только страхъ; прекрасный бѣлый хлѣбъ, красное вино въ граненомъ графинѣ, тонкіе ломтики розоватаго мяса,—все, казалось, было разставлено дружеской, заботливой рукой. Но фонъ-Блейхроденъ не рѣшался прикоснуться къ пищѣ.

Вдругъ онъ схватилъ колокольчикъ и позвонилъ. Тотчасъ же вошла хозяйка и молча остановилась у двери. Она смотрѣла себѣ подъ ноги и ждала приказаній. Лейтенантъ не зналъ, что ему надо было, и не помнилъ, зачѣмъ онъ позвонилъ. Но нужно было что-нибудь сказать.

— Вы сердитесь на меня?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, сударь,—спокойно отвѣтила женщина.—Вамъ что-нибудь угодно?—И она снова смотрѣла себѣ подъ ноги.

Лейтенантъ посмотрѣлъ внизъ, желая узнать, что привлекаетъ ея вниманіе, и замѣтилъ, что онъ стоитъ въ однихъ носкахъ, а полъ испещренъ пятнами, красными пятнами съ отпечаткомъ пальцевъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ носки были прорваны, отъ продолжительной ходьбы въ теченіе дня.

— Дайте мнѣ вашу руку, добрая женщина,—сказалъ онъ, протягивая ей свою.

— Нѣтъ!—отвѣтила она, смотря ему прямо въ глаза, и вышла.

Послѣ этого оскорбленія къ лейтенанту, казалось, вернулось мужество; онъ взялъ стулъ, рѣшившись приняться за ѣду. Онъ придвинулъ къ себѣ блюдо съ мясомъ, но отъ одного его запаха—ему стало тошно. Онъ всталъ, открылъ окно и выбросилъ на дворъ все блюдо. Дрожь охватила всѣ его члены, и онъ чувствовалъ себя совершенно больнымъ. Глаза его были такъ чувствительны: свѣтъ беспокоилъ ихъ, и яркіе цвѣта раздражали. Онъ выбросилъ графины съ виномъ, вынулъ красную редиску изъ масла; красные береты художниковъ, палитры, рѣшительно все красное полетѣло за окно. Затѣмъ онъ легъ на кровать. Глаза его, не смотря на усталость, не смыкались. Такъ пролежалъ онъ нѣкоторое время, пока не послышались чьи-то голоса въ трактирѣ. Онъ не хотѣлъ вслушиваться, но слухъ его невольно улавливалъ разговоръ двухъ унтеръ-офицеровъ за пивомъ.

Они говорили:

— Два, что пониже, были молодцы, а длинный—слабъ.

— Нельзя еще сказать, что онъ слабъ потому только, что онъ свалился, какъ снопъ; вѣдь онъ же просилъ привязать его къ шпалерамъ, такъ какъ ему хотѣлось умереть стоя,—говорилъ онъ.

— Но другіе стояли же, чортъ побери, скрестивъ на груди руки, точно съ нихъ портреты писали!

— Да, но когда священникъ вошелъ къ нимъ въ биліардную и объявилъ, что все кончено,—воѣ трое такъ и упали среди комнаты; такъ фельдфебель говорилъ... Но они не проронили слезы и не заикнулись о помилованіи!

— Да, молодцы были... Твое здоровье!

Блейхроденъ зарылъ голову въ подушки и заткнулъ уши простыней. Но тотчасъ же онъ снова всталъ. Какая-то сила влекла его къ двери, за которой сидѣли собесѣдники. Онъ хотѣлъ слышать дальше, но теперь люди говорили тихо. Онъ прокрался впередъ и, упершись спиною въ правый уголъ, приложилъ ухо къ замочной скважинѣ и слушалъ.

— А смотрѣлъ ты на нашихъ ребятъ. Лица у нихъ стали сѣрыя, вотъ какъ пепелъ въ моей трубкѣ? Многіе стрѣляли на воздухъ. Но, нечего ужъ говорить: тѣ все-таки получили, что имъ слѣдовало. Теперь они вѣсятъ на нѣсколько фунтовъ больше прежняго! Право, мы, точно по дроздамъ, стрѣляли въ нихъ.

— Видѣлъ ты этихъ птичекъ съ красными шейками? Когда раздавался выстрѣлъ, ихъ шейки мелькали, какъ пламя, когда снимаютъ со свѣчки, и онѣ катались по грядамъ гороха, хлопая крыльями и вытаращивъ глаза! А потомъ эти старухи! О!.. Но... но ничего не подѣлаешь — война! Твое здоровье!

Этого было достаточно. Мозгъ, переполненный кровью, усиленно работалъ, и фонъ-Блейхроденъ не могъ уснуть. Онъ вышелъ въ столовую и попросилъ солдатъ уйти. Затѣмъ онъ раздѣлся, окунулъ голову въ умывальный тазъ, взялъ Шопенгауэра, легъ и началъ читать. Съ лихорадочно бьющимся пульсомъ читалъ онъ: „рожденіе и смерть одинаково принадлежатъ жизни и сохраняютъ равновѣсіе, какъ взаимный договоръ, или какъ противоположные полюсы всей совокупности жизненныхъ явленій. Мудрѣйшая изъ миеологій—индійская, выражаетъ это тѣмъ, что именно богу, символизирующему разрушеніе, смерть, — именно Шивъ, вмѣстѣ съ ожерельемъ изъ мертвыхъ головъ, даетъ, какъ атрибутъ, эмблему творческой силы. Смерть, это—мучительное распутываніе узла, завязаннаго при зачатіи въ наслажденіи; она—насильственное разрушеніе коренной ошибки нашего существованія; она—освобожденіе отъ иллюзій“.

Онъ выронилъ книгу, услышавъ вдругъ, что кто-то кричить и бьется въ его постели.

Кто это лежитъ на кровати? Онъ увидѣлъ фигуру, у которой животъ былъ сведенъ судорогой и грудная кѣтка сжата вчетверо; странный глухой голосъ раздавался изъ подъ простыни.

Но вѣдь это было его тѣло. Развѣ онъ раздвоился, что онъ видитъ и слышитъ себя самого, какъ постороннее лицо? Крикъ продолжался.

Дверь отворилась, и вошла женщина, вѣроятно, постучавшись предварительно.

— Что прикажете, господинъ лейтенантъ?—спросила она съ горящими глазами и особенной усмѣшкой на губахъ.

— Я?—отвѣтилъ больной,—ничего! Но онъ, кажется, очень боленъ, и ему нуженъ докторъ.

— Здѣсь нѣтъ доктора, но господинъ кюрэ помогаетъ намъ въ случаѣ надобности,—отвѣтила женщина, переставъ улыбаться.

— Въ такомъ случаѣ пошлите за нимъ,—сказалъ лейтенантъ,—хотя онъ не любитъ поповъ.

— Но когда онъ боленъ — онъ ихъ любитъ! — сказала женщина и скрылась.

Священникъ вошелъ и, подойдя къ постели, взялъ руку больного.

— Какъ вы думаете, что съ нимъ?—спросилъ больной.— Чѣмъ онъ боленъ?

— Мученіями совѣсти, — былъ короткій отвѣтъ священника.

Блѣхроденъ вскочилъ.

— Мученіями совѣсти, оттого что онъ исполнилъ свой долгъ?!

— Да,—сказалъ священникъ, обвязывая мокрымъ полотенцемъ голову больного.—Выслушайте меня, если вы еще въ состояніи это сдѣлать. Вы приговорены. Васъ ждетъ жребій, болѣе ужасный, чѣмъ тотъ, который выпалъ на долю тѣхъ троихъ! Слушайте хорошенько! Мнѣ знакомы эти симптомы: вы на границѣ безумія. Попробуйте продумать эту мысль до конца! Вдумайтесь пристально, и вы почувствуете, какъ мозгъ вашъ проясняется, приходитъ въ порядокъ. Смотрите мнѣ прямо въ лицо и слѣдите, если можете, за моими словами. Вы раздвоились! Вы рассматриваете часть себя, какъ другое, или третье лицо! Какимъ образомъ пришли вы къ этому? Видите ли, это общественная ложь раздвигаетъ насъ. Когда вы сегодня писали къ вашей женѣ, вы были одинъ человекъ, настоящій, простой, добрый, а когда говорили со мной—вы были совсѣмъ другой! Какъ актеръ утрачиваетъ

свою индивидуальность и становится конгломератомъ ролей, — такъ общественный человѣкъ представляетъ собою, по меньшей мѣрѣ, два лица. И пока душа не разорвется отъ какого-нибудь внутренняго потрясенія, возбужденія, — обѣ природы живутъ въ человѣкѣ бокъ о бокъ... Я вижу на полу книгу, которая мнѣ тоже знакома. Это былъ глубокий мыслитель, быть можетъ, самый глубокий, какой былъ на свѣтѣ. Онъ постигъ зло и ничтожество земной жизни, какъ будто бы самъ Богъ вразумилъ его, но это не помѣшало ему стать двойственнымъ, потому что жизнь, рожденіе, привычки, человѣческія слабости — влекутъ назадъ. Вы видите — я читалъ и другія книги, кромѣ моего требника. И я говорю, какъ врачъ, а не какъ священникъ, потому что мы оба — слѣдите за мной хорошенько — понимаемъ другъ друга! Вы думаете, я не чувствую проклятія двойственной жизни, которую я веду? Правда, меня не обуреваютъ сомнѣнія въ религіозныхъ вопросахъ, потому что религія вошла въ плоть и кровь мою. Но, милостивый государь, я знаю, что, говоря такъ, я говорю не во имя Божье. Ложью заражаемся мы еще въ утробѣ матери, впитываемъ ее съ материнскимъ молокомъ, и кто при современныхъ условіяхъ захочетъ сказать правду, всю правду, тотъ... да... да... Въ состояніи вы слѣдить за мной?

Больной жадно вслушивался и, въ продолженіе всей рѣчи священника, не спускалъ съ него глазъ.

— Теперь перейдемъ въ вамъ, — продолжалъ кюръ, — есть на свѣтѣ маленькій предатель съ факеломъ въ рукахъ, амуръ съ корзиной розъ, сѣющій ложь жизни; это ангель Лжи и имя его — Красота. Язычники въ Греціи почитали его, цари всѣхъ временъ и народовъ поклонялись ему, потому что онъ ослѣпляетъ людей, не позволяя видѣть вещи въ настоящемъ ихъ видѣ. Онъ проходитъ черезъ всю жизнь и обманываетъ, — обманываетъ безъ конца.

Зачѣмъ вы, воины, одѣваетесь въ красивыя одежды съ позолотой, въ яркіе цвѣта? Для чего дѣлаете вы свое страшное дѣло подъ музыку и съ развѣвающимися знаменами? Не для того ли, чтобы скрыть то, что остается позади васъ? Если бы вы любили истину, вы бы носили бѣлыя блузы, какъ мясники, для того, чтобы кровавыя пятна были замѣтнѣе; вы бы ходили съ топорами и ножами, какъ рабочіе на бойняхъ, съ ножами, липкими отъ жира, съ которыхъ каплетъ кровь. Въмѣсто оркестра музыки, вы гнали бы передъ собой оплу воющихъ людей, обезумѣвшихъ отъ одного вида поляраженія; вмѣсто знаменъ, вы носили бы саваны, возили бы а собой обозы гробовъ!..

Больной, корчась въ напряженіи, судорожно складывалъ куки, грызъ пальцы. Лицо священника приняло грозный

видъ; суровый, неподвижный, исполненный ненависти, онъ продолжалъ:

— По натурѣ, ты человѣкъ добрый, и я не хочу покарать въ тебѣ злого, нѣтъ,—я наказываю тебя, какъ „представителя“, какъ ты себя назвалъ, и да послужишь твое наказаніе предостереженіемъ другимъ! Хочешь ли ты взглянуть на эти трупы? Хочешь?

— Нѣтъ! ради Бога, не надо! — закричалъ больной, у котораго выступилъ холодный потъ, и взмокшая рубашка пристала къ плечамъ.

— Твой испугъ доказываетъ, что ты человѣкъ и трусливъ, какъ ему подобаетъ.

Точно отъ удара бича, вскочилъ больной, обливаясь потомъ; но лицо его было спокойно, грудь дышала ровно, и холоднымъ увѣреннымъ голосомъ совсѣмъ здороваго человѣка онъ сказалъ:

— Уходи вонъ отсюда, проклятый попъ, не то ты доведешь меня до какой-нибудь глупости!

— Но я ужъ не приду, если ты меня снова призовешь,— отвѣтилъ тотъ. — Подумай объ этомъ! Когда сонъ покинетъ тебя, подумай о томъ, что это не моя вина, а скорѣе вина твоихъ троихъ, что лежать въ билліардной на столѣ...

И онъ растворилъ дверь въ билліардный залъ, откуда въ комнату больного ворвался запахъ карболовой кислоты.

— Нюхай, нюхай! Это пахнетъ не пороховымъ дымомъ, это не то, что телеграфировать домой о подобномъ случаѣ: „Слава Богу,—большая побѣда: трое убитыхъ и одинъ сумасшедшій“. Это не то, что сочинять привѣтственные стихи, усыпать улицы цвѣтами, проливать слезы въ церкви. Это — кровопролитіе, убійство, слышишь ты, палачъ!

Блейхроденъ вскочилъ съ постели и бросился въ окно, гдѣ былъ подхваченъ людьми; онъ пытался кусать ихъ, но былъ связанъ и отправленъ въ походный лазаретъ главной квартиры, а оттуда—въ виду выяснивашагося остраго помѣтства — препровожденъ въ больницу.

Было солнечное утро въ концѣ февраля 1871 г. На крутой холмъ въ окрестностяхъ Лозанны медленно поднималась молодая женщина объ руку съ мужчиной среднихъ лѣтъ.

Она была въ послѣднемъ періодѣ беременности и тяжело опиралась на руку своего спутника.

Лицо молодой женщины было мертвенно блѣдно, она была въ черномъ. Господинъ, шедшій рядомъ съ ней, не былъ въ траурѣ, изъ чего прохожіе заключали, что онъ не мужъ ея.

Онъ имѣлъ печальный видъ; отъ времени до времени онъ наклонялся къ маленькой женщинѣ, произносилъ нѣсколько словъ и снова возвращался къ занимавшимъ его мыслямъ. Достигнувъ площади, у старой таможни, передъ гостиницей они остановились.

— Еще одинъ подъемъ?—спросила женщина.

— Да, сестра, — отвѣтилъ онъ. — Отдохнемъ здѣсь немного.

И они сѣли на скамьѣ передъ гостиницей. У нея замирало сердце; она дышала съ трудомъ.

— Бѣдный мой,—сказала она, — я вижу, тебя тянетъ домой, къ своимъ.

— Ради Бога, сестра, не говори объ этомъ!—отвѣтилъ онъ.—Правда, душою я порой далеко отсюда, и присутствіе мое было бы полезно дома во время постѣва, но вѣдь ты же моя сестра, нельзя отречься отъ своей плоти и крови.

— Охъ,—продолжала г-жа Блейхроденъ, хотъ бы принесли ему пользу здѣшній воздухъ и лѣченіе. Какъ ты думаешь, онъ выздоровѣетъ?

— Навѣрное, — отвѣтилъ братъ, отворачивая лицо, чтобы не выдать своихъ сомнѣній.

— Какую ужасную зиму пережила я во Франкфуртѣ. Какіе жестокіе удары посылаетъ иногда судьба! Я думаю, мнѣ легче было бы примириться съ его смертію, чѣмъ съ этимъ погребеньемъ заживо.

— Но вѣдь есть еще надежда,—сказалъ братъ безнадежнымъ тономъ.

И снова мысли его перенеслись къ его дѣтямъ и полямъ. Но тотчасъ же онъ устыдился своего эгоизма и рассердился на свою неспособность всецѣло отдаться чужому горю.

Въ эту минуту съ высоты донесся рѣзкій продолжительный крикъ, похожій на свистъ локомотива; за первымъ крикомъ послѣдовалъ второй.

— Неужели это поѣздъ здѣсь, на такой высотѣ? — спросила г-жа Блейхроденъ.

— Должно быть, — отвѣтилъ братъ, тревожно прислушиваясь.

Крикъ повторился. Теперь, казалось, что это вопль утопающаго.

— Вернемся домой, — сказалъ Шанцъ, страшно поблѣднѣвъ.—Сегодня ты не въ состояніи подняться выше, а завтра мы будемъ догадливыи и возьмемъ экипажъ.

Но она, во что бы то ни стало, хотѣла идти дальше.

Въ зеленой изгороди боярышника прыгали черные дрозды съ желтыми клювами; по стѣнамъ, оббитымъ плющомъ, бѣгали взапуски сѣрыя ящерицы, скрываясь въ трещинахъ.

Весна была въ полномъ разгарѣ, и по краямъ дороги цвѣли примулы. Но все это не привлекало вниманіе страдальцевъ, шедшихъ на Голгофу. Когда они поднялись еще въ гору, — таинственные крики возобновились.

Охваченная внезапнымъ подозрѣніемъ, г-жа Блейхроденъ повернулась къ брату и, своимъ помутившимся взоромъ, взглянула ему прямо въ глаза, какъ бы ища въ нихъ подтвержденія своихъ догадокъ. Затѣмъ, не произнося ни слова, она упала на дорогу, поднявъ цѣлое облако желтой пыли.

Прежде чѣмъ братъ успѣлъ опомниться, какой-то услужливый путникъ бросился за экипажемъ, и когда молодая женщина была перенесена въ него, — въ нѣдрахъ ея тѣла началась та мучительная работа, которая предшествуетъ появленію на свѣтъ новаго человѣка.

А наверху, въ больничной комнатѣ съ видомъ на Женевское озеро сидѣлъ фонъ-Блейхроденъ. Стѣны комнаты были обиты войлокомъ и окрашены въ блѣдно-голубой цвѣтъ; сквозь окраску просвѣчивали легкіе контуры пейзажа. Потолокъ былъ разрисованъ на подобіе шпалеръ, обвитыхъ виноградомъ; полъ покрытъ ковромъ поверхъ толстаго слоя соломы. Мягко обитая мебель скрывала углы и края дивана.

Изнутри нельзя было догадаться, гдѣ скрыта дверь, и этимъ отвлекались мысли больного о заключеніи, являющіяся самыми опасными при возбужденномъ состояніи духа.

Окна были снабжены рѣшеткой, сдѣланной въ видѣ цвѣтовъ и листьевъ, изъ-за которыхъ сама рѣшетка не была видна.

Форма помѣшательства фонъ-Блейхродена извѣстна подъ именемъ терзавій совѣсти. Онъ убилъ одного виноградаря при какихъ-то таинственныхъ обстоятельствахъ, въ которыхъ никакъ не могъ рѣшиться сознаться, по той простой причинѣ, что онъ ихъ не помнилъ. Теперь онъ сидѣлъ въ заключеніи и ждалъ исполненія приговора, такъ какъ былъ присужденъ къ смертной казни.

Но у него бывали свѣтлые промежутки.

Тогда онъ развѣшивалъ по стѣнѣ большіе листы бумаги и исписывалъ ихъ силлогизмами. Онъ вспоминалъ иногда о приказѣ разстрѣлять вольныхъ стрѣлковъ, но то обстоятельство, что онъ былъ женатъ, совершенно изгладилось изъ его памяти. Свою жену, навѣщавшую его, онъ принималъ за ученика, которому давалъ уроки логики.

Онъ ставилъ первую посылку: вольные стрѣлки — предатели, и приказъ гласилъ — разстрѣлять ихъ.

Однажды жена его имѣла неосторожность поколебать его увѣренность въ правильности этой посылки; тогда онъ со-

рвалъ со стѣнъ всѣ заключенія и заявилъ, что употребить двадцать лѣтъ на то, чтобы доказать ихъ вѣрность. Кромѣ того, у него были грандіозные проекты осчастливить все человѣчество.

— Отчего происходитъ наша смерть здѣсь, на землѣ? — задавалъ онъ вопросъ. — Для чего король управляетъ, священникъ проповѣдуетъ, поэтъ творить, художникъ рисуетъ? Для того, чтобы доставить организму азотъ. Азотъ, это — разумъ, и народы, употреблявшіе въ пищу мясо, — разумнѣе употреблявшихъ углеводы. Въ настоящее время начинается ощущаться недостатокъ въ азотѣ, и отсюда возникаютъ войны, стачки, государственные перевороты. Необходимо отыскать новый источникъ азота. Блейхроденъ нашелъ его, и теперь всѣ люди будутъ равны. Свобода, равенство и братство стануть, наконецъ, дѣйствительностью. Въ этомъ проблема будущаго, съ разрѣшеніемъ которой земледѣліе и скотоводство окажутся излишними, и на землѣ воцарится золотой вѣкъ.

Но затѣмъ имъ снова овладѣвала мысль о совершенномъ убійствѣ, и онъ становился глубоко несчастнымъ.

Въ то самое февральское утро, когда г-жа Блейхроденъ, направлявшаяся въ лѣчебницу, вынуждена была вернуться домой, — мужъ ея сидѣлъ въ своей комнатѣ и смотрѣлъ въ окно. — Сначала онъ разсматривалъ потолокъ и пейзажъ на стѣнахъ, затѣмъ пересѣлъ къ свѣту на удобный стулъ, откуда видна была широко даль, разстилавшаяся передъ нимъ.

Сегодня онъ былъ спокоенъ: наканунѣ вечеромъ онъ принялъ холодную ванну и хорошо спалъ ночь... Онъ не могъ дать себѣ отчетъ въ томъ, гдѣ онъ находится. Въ окно видны были совсѣмъ зеленые кусты, олеандры, усыянные бутонами, лавровыя деревья съ ихъ блестящими листьями, буксусы, тѣнистый вязъ, весь обвитый плющемъ, скрывавшимъ его голыя вѣтви и придававшимъ ему видъ дерева, покрытаго зеленой листвою. По лужайкѣ, усыянной желтыми примулами, шелъ человекъ, косившій траву, а маленькая дѣвочка сгребала ее въ кучи. Фонъ-Блейхроденъ взялъ календарь и прочелъ: февраль.

— Въ февралѣ сгребаютъ сѣно. Гдѣ я?

Взоръ его устремился вдаль, за садъ, и онъ увидѣлъ глубокую долину, постепенно спускавшуюся къ зеленымъ лугамъ; тамъ и сямъ мелькали разбросанныя маленькія деревушки, церкви, свѣтло-зеленыя плакучія ивы. — „Февраль!“ подумалъ онъ снова.

А тамъ, гдѣ кончались луга, — разстиралось спокойное, голубое, какъ воздухъ, озеро, по ту сторону его темнѣла земля съ возвышавшеюся грядою горъ. Надъ горной цѣпью

лежало что-то похожее на зубчатныя облака, легкія, пушистыя, нѣжныя, съ чуть замѣтными тѣнями на зубахъ.

Блейхродень терялся въ догадкахъ о томъ, куда онъ попалъ; но здѣсь было такъ чудно хорошо, какъ не могло быть на землѣ. Не умеръ ли онъ и не перенесся ли въ другой міръ? Но только это не была Европа. Должно быть, онъ умеръ! Онъ погрузился въ тихія мечты, пытаясь вникнуть въ свое новое положеніе, и вдругъ почувствовалъ необыкновенный приливъ радости, а въ головѣ его пронеслось какое-то освѣжающее ощущеніе, точно мозговья извилины, перепутанныя раньше, начали расправляться, приходить въ порядокъ. Ему стало безконечно весело, а въ груди зазвучала ликующая пѣсня; но онъ никогда въ жизни не пѣлъ, и потому это были крики, крики восторга, тѣ самые крики, которые, разносясь въ окно, привели его жену въ отчаяніе.

Просидѣвъ такъ еще съ часъ, онъ вспомнилъ вдругъ старинную картину, видѣнную имъ въ какомъ то кегельбанѣ, въ окрестностяхъ Берлина; она представляла швейцарскій пейзажъ, и теперь онъ понялъ, что онъ — въ Швейцаріи, а остроконечныя облака—Альпы.

Дѣлая второй обходъ, докторъ нашелъ фонтъ-Блейродена спокойно сидѣвшимъ передъ окномъ и напѣвавшимъ про себя: не было никакой возможности оторвать его отъ чудной картины.

Но онъ былъ совершенно спокоенъ и ясно сознавалъ свое положеніе.

— Докторъ, — сказалъ онъ, указывая на желѣзную рѣшетку въ окнѣ, — зачѣмъ вы портите такой чудный видъ, закрывая его желѣзомъ? Не позволите ли вы мнѣ сегодня выйти на воздухъ? я думаю, это было бы мнѣ полезно, и я обещаю не убѣжать!

Докторъ взялъ его руку, чтобы незамѣтно изслѣдовать пульсъ.

— Пульсъ у меня всего 70, дорогой докторъ, — сказалъ, улыбаясь, пациентъ, — и эту ночь я спалъ спокойно. Вамъ нечего бояться.

— Меня очень радуетъ, — сказалъ докторъ, — что повидимому лѣченіе имѣетъ на васъ хорошее дѣйствіе. Вы можете выйти.

— Знаете, докторъ, — оживленно заговорилъ больной, — мнѣ кажется, что я умеръ и снова ожилъ на другой планетѣ: до того здѣсь хорошо. Никогда я не представлялъ себѣ, что земля такъ прекрасна!

— Да, земля еще прекрасна тамъ, гдѣ ея не коснулась культура; а здѣсь природа такъ могущественна, что справи лась со всѣми попытками человѣка.

— Вы послѣдователь Руссо, докторъ? — замѣтилъ паціентъ.

— Руссо былъ женевецъ, господинъ лейтенантъ! Тамъ, на берегу озера, въ глубокомъ заливѣ, который вы видите прямо противъ этого вяза, тамъ онъ родился, тамъ страдалъ, тамъ были сожжены его «Emile» и «Contrat social», это евангеліе природы; а тамъ, влѣво, у подножія Валлисскихъ Альпъ, гдѣ лежитъ маленькій Кларанъ, тамъ написалъ онъ книгу любви, «La nouvelle Heloise». Озеро, что вы видите внизу, — Женевское озеро!

— Женевское озеро! — повторилъ фонъ-Блейхроденъ.

— Въ этой тихой долинѣ, — продолжалъ докторъ, — гдѣ живутъ мирные люди, искали душевнаго исцѣленія и покоя всѣ потерпѣвшіе жизненное крушеніе. Вгляните туда, направо, на эту узкую полоску земли съ башней и тополями: это Ферней. Туда бѣжалъ Вольтеръ, осмѣявъ Парижъ, тамъ обрабатывалъ онъ землю и выстроилъ храмъ въ честь верховнаго существа. А дальше — Коппэ. Тамъ жила госпожа Сталь, злѣйшій врагъ Наполеона, предателя народа, та самая госпожа Сталь, которая имѣла мужество учить французовъ, своихъ соотечественниковъ, что нѣмецкая нація вовсе не жестокий врагъ Франціи, потому что нація вообще не питаетъ ненависти другъ къ другу.

Сюда, — посмотрите теперь влѣво, — сюда, на это озеро бѣжалъ измученный Байронъ, точно титанъ, вырвавшійся изъ сѣтей реакціоннаго времени, въ которыя оно хотѣло поймать его могучій духъ, и здѣсь, въ своемъ „Шильонскомъ узникѣ“, вылилъ онъ всю свою ненависть къ тираниі. У подножія высокаго Граммона противъ рыбацѣй деревушки Сень-Жан-гольфъ онъ чуть не утонулъ однажды... Здѣсь искали убѣжища всѣ, кто не въ силахъ былъ выносить воздухъ плѣна, подобно холерѣ, носившагося надъ Европой послѣ посягательства священнаго союза на права человѣчества. Здѣсь, тысячу футовъ ниже, слагалъ Мендельсонъ свои грустныя мечтательныя пѣсни; здѣсь Гуно написалъ своего Фауста. Здѣсь, въ безднахъ Савойскихъ Альпъ онъ черпалъ вдохновеніе для „Вальпургіевой ночи“. Отсюда Викторъ Гюго громилъ декабрьскихъ предателей своими обличительными стихами. И здѣсь же, по удивительной ироніи судьбы, внизу, въ маленькомъ скромномъ Веве, куда не проникаетъ сѣверный вѣтеръ, здѣсь вашъ государь искалъ забвенія отъ ужасовъ ядовъ и Кенигреца... Сюда укрылся русскій Горчаковъ, почувствовавъ, что почва стала колебаться подъ его ногами. Здѣсь Джонъ Расселъ смывалъ съ себя всѣ политическія преступленія и вдыхалъ чистый воздухъ. Здѣсь Тьеръ пытался привести въ порядокъ свои спутанныя постоянными политиче-

скими бурями, не рѣдко противорѣчивыя, но, на мой взглядъ, благородныя мысли. А тамъ внизу, въ Женевѣ, господинъ лейтенантъ! Тамъ нѣтъ короля съ пышной свитой, но тамъ впервые зародилась мысль, великая, какъ христіанство, апостолы которой тоже носятъ крестъ, красный крестъ на бѣломъ полѣ, и сямъ знаменіемъ, я убѣжденъ, она побѣдитъ грядущее!

Пациентъ, спокойно слушавшій эту необычную рѣчь, свойственную скорѣе священнику, чѣмъ врачу, — чувствовалъ себя неловко.

— Вы — мечтатель, докторъ, — сказалъ онъ.

— И вы будете имъ, проживъ здѣсь нѣсколько мѣсяцевъ, — отвѣтилъ докторъ.

— Значитъ, вы вѣрите въ лѣчение? — спросилъ пациентъ нѣсколько менѣе скептически.

— Я вѣрю въ безконечную силу природы, способную излѣчить болѣзнь культуры, — отвѣтилъ онъ.

— Чувствуете ли вы себя достаточно сильнымъ, чтобы услышать пріятную вѣсть? — продолжалъ онъ, пристально глядя на больного.

— Совершенно, докторъ!

— Миръ заключенъ!

— Боже... какое счастье! — произнесъ пациентъ.

— Да, конечно, — сказалъ докторъ. — Однако не задавайте вопросовъ; на сегодня довольно. Теперь вы можете выйти. Будьте готовы къ тому, что выздоровленіе ваше не пойдетъ такъ неуклонно впередъ, какъ вы ожидаете. Возможенъ рецидивъ. Воспоминаніе — нашъ злѣйшій врагъ...

Докторъ взялъ больного подъ руку и повелъ въ садъ... Тутъ не было ни рѣшетокъ, ни стѣнъ; только зеленая аллея приводила гуляющаго черезъ лабиринтъ въ то же мѣсто, откуда онъ вышелъ; позади аллеи лежали рвы, черезъ которые нельзя было перешагнуть.

Лейтенантъ молчалъ, вслушиваясь въ странную музыку своихъ нервовъ. Всѣ стороны его души точно зазвучали снова, и онъ ощутилъ покой, котораго не испытывалъ давно.

Они находились теперь передъ небольшимъ сводчатымъ зданіемъ, сквозь которое проходили пациенты въ сопровожденіи служителей.

— Куда идутъ эти люди? — спросилъ больной.

— Ступайте за ними, увидите.

И, подозвавъ одного изъ служителей, докторъ сказалъ ему:

— Спуститесь въ отель «Fauson» къ госпожѣ Блейхроденъ, кланяйтесь ей и скажите, что мужъ ея на пути къ выздоровленію, но... онъ еще не спрашивалъ о ней... Когда онъ спроситъ, — онъ будетъ спасенъ.

Блейхроденъ вошелъ въ большую залу, не походившую ни на одну изъ видѣнныхъ имъ до сихъ поръ. Это не была ни церковь, ни школа, ни залъ засѣданій, ни театръ, но все это отчасти совмѣщалось въ ней. Въ глубинѣ ея были хоры, освѣщаемыя тремя окнами изъ разноцвѣтныхъ стеколъ; нѣжныя сочетанія ихъ цвѣтовъ очевидно были подобраны большимъ художникомъ; свѣтъ преломлялся въ нихъ гармоническимъ аккордомъ. Это производило на больныхъ такое же впечатлѣнiе, какъ единичный аккордъ, которымъ Гайднъ разрѣшаетъ тьму хаоса, когда Господь въ „Сотвореніи міра“ повелѣваетъ хаотическимъ силамъ природы придти въ порядокъ, восклицая: „да будетъ свѣтъ!“ и въ отвѣтъ ему раздаются хоры херувимовъ и серафимовъ.

Колонны вокругъ хоръ не имѣли никакого опредѣленнаго стиля; темный мягкій мохъ обвивалъ ихъ до самаго потолка. Нижнія панели стѣнъ украшены были ельникомъ, а большіе простѣнки—вѣтвями вѣчно зеленыхъ лавровъ, плюща, омелы! Они представляли собой орнаментъ безъ всякаго стиля: порою они какъ будто начинали принимать форму буквъ, но затѣмъ расплывались въ мягкихъ очертаніяхъ фантастическихъ растений. Надъ окнами висѣли большіе вѣнки, какъ на праздникъ весны...

Блейхроденъ оглядѣлся кругомъ; пациенты сидѣли на скамьяхъ въ нѣмомъ изумленіи. Онъ занялъ мѣсто на одной скамьѣ и услышалъ вздохъ.

Рядомъ съ собой онъ увидѣлъ человѣка лѣтъ сорока, который плакалъ, прикрывъ лицо руками. У него былъ носъ съ горбиной, усы и остроконечная бородка, а профиль его напоминалъ изображенія, видѣнныя Блейхроденомъ на французскихъ монетахъ.

Повидимому, это былъ французъ. Итакъ, имъ суждено было встрѣтиться здѣсь; здѣсь сидѣлъ врагъ подлѣ врага, оплакивая что-то. Но что же именно? Исполненіе долга передъ отечествомъ?

Блейхроденъ почувствовалъ волненіе, когда вдругъ слышалась тихая музыка: органъ игралъ хоралъ.

Больному казалось, что онъ слышитъ слова, полныя утѣшенія и надежды... Но вотъ, на хоры взошелъ человѣкъ. Это не былъ священникъ: на немъ былъ сѣрый сюртукъ и синій галстухъ. Книги у него тоже не было. Онъ говорилъ.

Онъ говорилъ кротко и просто, какъ говорятъ среди друзей; онъ говорилъ о простомъ ученіи Христа, о любви къ ближнему, какъ къ самому себѣ, о терпѣннѣ, миролюбіи и прощеніи врагамъ; онъ говорилъ о томъ, что Христосъ во всемъ человѣчествѣ видѣлъ одинъ народъ, но злая природа человѣка противится этой великой идеѣ, и люди группиру-

ются въ націи, секты, школы; но онъ высказывалъ также твердую увѣренность въ томъ, что принципы христіанства скоро осуществляются на землѣ. И, проговоривъ съ четверть часа, онъ снова сошелъ съ хоръ...

Блейхроденъ точно очнулся отъ сна.

Такъ онъ былъ въ церкви! Онъ, которому скучны были всякіе споры о вѣроисповѣданіяхъ, онъ, — въ теченіе пятнадцати лѣтъ не посѣщавшій ни одной церковной службы... И именно здѣсь, въ домъ умалишенныхъ, онъ долженъ былъ найти осуществленіе свободной церкви. Здѣсь сидѣли рядомъ католики, православные, лютеране, кальвинисты, цвинглисты, англичане — и возносили свои общія молитвы общему Богу.

Какая беспощадная критика способствовала возникновенію этого общаго молитвеннаго зала, объединившаго всѣ секты, и примирила многочисленныя религіи, враждовавшія, уничтожавшія и осмѣивавшія другъ друга?..

Чтобы отогнать волнующія мысли, Блейхроденъ сталъ разглядывать залъ. Долго блуждавшій взоръ его остановился на стѣнѣ противъ хоръ. На ней висѣлъ огромный вѣнокъ, внутри котораго изъ вѣтвей ельника было изображено одно только слово.

Онъ прочелъ французское слово: „Noël“ и повторилъ про себя: „Рождество“.

Какой поэтъ создалъ эту комнату? Какой глубокой знатокъ человѣческой души сумѣлъ пробудить здѣсь самое прекрасное, самое чистое воспоминаніе, воспоминаніе о дѣтствѣ, далеко отъ всякихъ религіозныхъ споровъ и суетныхъ грезъ, омрачающихъ въ чистыхъ душахъ чувство справедливости... Это — какъ будто мелодія, пробивающаяся сквозь звѣриный вой жизни, сквозь крики борьбы изъ-за куска хлѣба или, еще чаще, изъ-за почестей!

Размышляя объ этомъ, онъ задалъ себѣ вопросъ: какимъ образомъ человѣкъ, родясь невиннымъ и кроткимъ, становится постепенно звѣремъ?..

И не представляетъ ли весь міръ дома умалишенныхъ, въ которомъ мѣсто, гдѣ онъ сейчасъ находится, — самое разумное?

И онъ снова смотрѣлъ на это единственное во всей церкви начертанное слово, разбирая его по буквамъ; а въ тайникахъ его воспоминанія, какъ на пластинкѣ проявляемаго негатива, вырисовывались картины прошлаго. Онъ увидѣлъ послѣдній рождественскій сочельникъ. Послѣдній? Тогда онъ былъ во Франкфуртѣ. Значитъ, предпослѣдній. Это былъ первый вечеръ, проведенный имъ у невѣсты, такъ какъ наканунѣ онъ былъ помолвленъ. Онъ видитъ домъ стараго па-

стора, своего тестя; низкую залу съ бѣлымъ буфетомъ и фортепьяно, чижа въ клѣткѣ, балъзаминны на окнахъ, шкафъ съ серебряной чашей, коллекцію пѣнковыхъ трубокъ. А вотъ и она, дочь пастора, убирающая елку золотыми орѣхами и яблоками.

Дочь пастора!... Мгновенно, точно молнія, пронзила мракъ, но только чудная, безопасная молнія, лѣтняя зарница, которой любуются съ веранды, не боясь ея удара. Онъ былъ помолвленъ, женатъ! у него была жена, способная снова привязать его къ жизни, которую онъ презиралъ и ненавидѣлъ. Но гдѣ же она? Онъ долженъ видѣть ее сейчасъ же, немедленно! Онъ долженъ летѣть къ ней,—иначе онъ умретъ отъ нетерпѣнія.

Онъ поспѣшно вышелъ и тотчасъ же столкнулся съ докторомъ. Блейхроденъ схватилъ его за плечи, посмотрѣлъ ему прямо въ глаза и спросилъ прерывающимся голосомъ:

— Гдѣ моя жена? Ведите меня къ ней! Сейчасъ же! Гдѣ она?

— Она и ваша дочь,—спокойно отвѣтилъ докторъ,—ожидаютъ васъ внизу, въ улицѣ Бургъ.

— Моя дочь? У меня есть дочь?—вымолвилъ пациентъ, разражаясь рыданіями.

— Вы очень чувствительны, господинъ фонъ-Блейхроденъ,—сказалъ съ улыбкой докторъ.—Пойдемте со мной, одѣньтесь. Черезъ полчаса вы будете среди своихъ и снова станете самимъ собой!

И они скрылись въ большомъ подъѣздѣ.

Фонъ-Блейхроденъ представлялъ собою совсѣмъ современный типъ. Правнукъ французской революціи, внукъ священной лиги, сынъ 1830 года, онъ потерпѣлъ крушеніе, разбившись о скалы революціи и реакціи.

Когда, къ двадцати годамъ, онъ началъ жить сознательною жизнью, съ глазъ его упала повязка, и онъ увидѣлъ, какими сѣтями лжи былъ онъ опутанъ, начиная съ протестанства и кончая прусскимъ династическимъ фетишизмомъ. Ему представилось, что онъ очнулся отъ долгаго сна, или, что онъ, единственный здравый человѣкъ, былъ заключенъ въ домъ умалишенныхъ. А когда онъ убѣдился, что въ сѣти, окружающей его, нѣтъ ни одной бреши, сквозь которую онъ могъ бы выйти, не наткнувшись на угрожающій штыкъ или дуло оружія,—имъ овладѣло отчаяніе. Онъ пересталъ вѣрить во тобы то ни было, даже въ спасеніе и отдался во власть пессимизма, тобы, по крайней мѣрѣ, заглушить боль, если ужъ нельзя было найти исцѣленія.

Шопенгауэръ сталъ его другомъ, а впослѣдствіи онъ на-шелъ его и въ Гартманѣ, этомъ суровѣйшемъ изъ всѣхъ провозвѣстниковъ правды.

Но общество призывало его и требовало избранія какой-нибудь дѣятельности. Фонъ-Блейхроденъ отдался наукѣ и выбралъ изъ нихъ ту, которая наименѣе соприкасалась съ современностью—геологію или, скорѣе, отрасль ея, занимающуюся изученіемъ жизни животныхъ и растений исчезнущаго міра—палеонтологію. Когда онъ задавалъ себѣ вопросъ, какая отъ этого могла быть польза для человѣчества?—то могъ только отвѣтить: польза для меня—средство заглушить.. Онъ не могъ читать газеты, не чувствуя, какъ въ немъ, подобно грозному безумію, поднимается фанатизмъ, и потому онъ старательно отдалялъ отъ себя все, что могло напомнить современность и современниковъ. Онъ начиналъ надѣяться, что въ этомъ покоѣ, купленномъ такою дорогой цѣною, сможетъ прожить до конца своихъ дней, не утративъ разсудка.

Затѣмъ онъ женился. Онъ не могъ противостоять непреодолимому закону природы—сохраненію вида. Въ женѣ своей онъ надѣялся вновь пріобрѣсть ту задушевность, отъ которой ему удалось освободить себя, и жена стала его прежнимъ, многостороннимъ я, которому онъ могъ радоваться, не разставаясь съ своимъ одиночествомъ. Въ ней напелъ онъ свое дополненіе и началъ уже успокаиваться; но онъ сознавалъ также, что вся его жизнь была теперь построена на двухъ основахъ, изъ которыхъ одною была жена; упади этотъ краугольный камень,—и самъ онъ, со всѣмъ своимъ заданіемъ, неминуемо рухнетъ. Оторванный отъ нея черезъ два мѣсяца послѣ женитьбы,—онъ ужъ не былъ болѣе самимъ собой. Ему точно не доставало глазъ, руки, языка, и потому-то онъ при первомъ ударѣ такъ легко поддался ему и раздвоился.

Съ появленіемъ дочери, казалось, поднялось что-то новое въ томъ, что Блейхроденъ называлъ природной душой, въ отличіе отъ общественной, образующейся путемъ воспитанія. Онъ сознавалъ теперь свою связь съ семьей, чувствовалъ, что онъ не умретъ съ прекращеніемъ жизни, но душа его будетъ продолжать свое существованіе въ его ребенкѣ. Однимъ словомъ, онъ почувствовалъ, что душа его безсмертна, даже если тѣло погибнетъ. Онъ сознавалъ свою обязанность жить и надѣяться, хотя порою имъ овладѣвало отчаяніе, когда онъ слышалъ своихъ соотечественниковъ, въ понятномъ опьяненіи побѣдой, описывающихъ счастливый исходъ войны. Они видѣли поле сраженія только изъ кареты, въ подзорную трубу...

Пессимизмъ, не допускавшій развитія изъ дурного начала, новаго болѣе совершеннаго міра, началъ представляться ему несостоятельнымъ, и онъ сталъ оптимистомъ изъ чувства долга. Но вернуться на родину онъ все же не рѣшался, изъ опасенія снова впасть въ уныніе. Онъ подалъ въ отставку и, реализовавъ свой небольшой капиталъ, поселился въ Швейцаріи.

Былъ чудный теплый осенній вечеръ въ Веве 1872 года. Объединенный колоколъ въ маленькомъ пенсіонѣ „Le cédre“ пробилъ семь часовъ, сзывая къ обѣду.

За табльдотомъ собрались пенсіонеры, знакомые другъ съ другомъ и близко сошедшіеся, какъ обыкновенно бываетъ, когда люди находятся на нейтральной почвѣ.

Сосѣдями фонъ-Блейхродена и его жены были: печальный французъ, котораго мы видѣли въ церкви, одинъ англичанинъ, двое русскихъ, нѣмецъ съ женой, испанское семейство и двѣ тирольки.—Разговоръ шелъ по обыкновенію спокойно, миролюбиво, тепло, порою игриво, затрогивая самыя жгучіе вопросы.

— Я никогда не представлялъ себѣ, что природа можетъ быть такъ прекрасна, какъ здѣсь,—сказалъ фонъ-Блейхродень, любуясь видомъ сквозь открытую дверь веранды.

— Природа всегда была прекрасна,—сказалъ нѣмецъ,—но я думаю, что глаза наши были слѣпы.

— Правда,—подтвердилъ англичанинъ,—но все-таки здѣсь лучше, чѣмъ гдѣ бы то ни было.

— Слыхали вы, господа, что случилось съ варварами, кажется, съ аллеманнами или венграми, когда они пришли на гору Данъ-де-Жаманъ и увидѣли съ нея Женевское озеро? Они подумали, что небо упало на землю, и въ испугъ разбѣжались. Объ этомъ, навѣрное, упоминается въ путеводителѣ...

— Я думаю,—замѣтилъ одинъ изъ русскихъ,—что чистый, свободный отъ всякой лжи, воздухъ, вдыхаемый нами здѣсь,—является причиной того, что мы находимъ все прекраснымъ; та же самая прекрасная природа оказываетъ благотворное дѣйствіе на нашу мысль, отвращая ее отъ предразсудковъ. Подождите, когда исчезнутъ наслѣдники священной лиги, тогда и трава зазеленѣетъ на ясномъ солнышкѣ.

— Вы правы,—сказалъ фонъ-Блейхродень,—но нѣтъ необходимости обезглавливать деревья. Есть другіе болѣе человѣческіе способы борьбы. Путь законной реформы. Не правда ли, господинъ англичанинъ?

Совершенно вѣрно!—отвѣтилъ англичанинъ.

Но войны, войны прекратятся ли онѣ когда-нибудь?—
икнулъ испанецъ.

Когда женщина получить право голоса, армія будетъ
щена, — сказалъ фонъ-Блейхроденъ. — Неправда ли,

спожа Блейхроденъ одобрительно кивнула головой.

Потому что,—продолжалъ Блейхроденъ,—какая мать
етъ послать своего сына, сестра своего брата, жена
на поле битвы? А когда никто не станетъ подстрекать
другъ противъ друга—исчезнетъ такъ называемая
зая ненависть. Человѣкъ добръ, но люди злы, думалъ
другъ Жанъ-Жакъ,—и онъ былъ правъ.

Чему здѣсь, въ этой прекрасной странѣ люди такъ ми-
ивы? Почему они имѣютъ болѣе довольный видъ, чѣмъ
ы то ни было. Они не чувствуютъ надъ собой власти
ля точно школьники. У нихъ нѣтъ ни королевской
, ни военныхъ смотровъ, ни парадныхъ представленій,
ы слабому человѣку являлся соблазнъ предпочесть
ь справедливости. Швейцарія представляетъ собой ми-
нную модель, по которой Европа современемъ построитъ
будущее.

Вы оптимистъ, милостивый государь, — сказалъ испа-
—Неужели вы полагаете, что то, что годится для ма-
ой страны, какъ Швейцарія, съ тремя миллионами жи-
и только тремя языками,—пригодно такъ же и для всей
дной Европы?

говоръ закипѣлъ. Говорили о Швейцаріи, объ Америкѣ,
ущемъ Европы и человѣчества. Англичанинъ наполнилъ
ъ и собирался произнести тостъ, когда вошла прислу-
шая дѣвушка и подала ему телеграмму.

говоръ на минуту прервался; англичанинъ съ види-
волнѣніемъ читалъ телеграмму... Между тѣмъ надви-
сумерки. Блейхроденъ тихо сидѣлъ, погрузившись
ерцаніе чуднаго ландшафта.

шины Граммона и сосѣднихъ горъ были залиты пур-
ь заходящаго солнца, бросавшаго розоватый отблескъ
юградники и каштановыя рощи Савойскаго берега;

блестѣли въ сыромъ вечернемъ воздухѣ и казались
ными изъ той же воздушной ткани, какъ свѣтъ и тѣни.
ояли, подобно гигантскимъ безплотнымъ существамъ,
ля сзади, грозныя и пасмурныя въ разсѣлинахъ, а съ
ей стороны, обращенной къ солнцу,—свѣтлыя, улыбаю-
веселыя.

но-синее вечернее небо вдругъ прорѣзала яркая по-

лоса свѣта, и надъ низкимъ Савойскимъ берегомъ взвилась огромная ракета; она поднялась высоко, высоко, казалось, коснулась самого Данъ д'Ошъ, остановилась и заколебалась, точно въ послѣдній разъ окидывая взглядомъ прекрасную землю, прежде чѣмъ разсыпаться; это продолжалось нѣсколько секундъ, затѣмъ она начала спускаться, но, не пройдя и нѣсколькихъ метровъ, лопнула съ грохотомъ, достигшимъ Ве́ве, и вдругъ, точно большое четырехугольное облако, — развернулся бѣлый флагъ, а вслѣдъ затѣмъ послышался новый выстрѣлъ, и на бѣломъ фонѣ вырисовался красный крестъ.

Сидѣвшіе за столомъ вскочили и поспѣшили на веранду.

— Что это такое? — воскликнулъ встревоженный фонъ-Блейхроденъ. Никто не хотѣлъ или не могъ отвѣтить, потому что въ эту минуту взвился цѣлый рой ракетъ, точно изъ кратера вулкана, и по небу разсыпался огненный букетъ, отразившійся въ необъятномъ зеркалѣ спокойнаго Женевского озера.

— Лэди и джентльмены! — возвысилъ голосъ англичанинъ, въ то время, какъ лакей ставилъ на столъ подносъ съ бокалами шампанскаго.

— Лэди и джентльмены! — повторилъ онъ, — это означаетъ, какъ я узналъ изъ полученной телеграммы, что первый международный третейскій судъ въ Женевѣ окончилъ свои занятія; это значить, что война между двумя народами предотвращена, что сто тысячъ американцевъ и столько же англичанъ должны благодарить этотъ день за то, что они остались въ живыхъ. Алабамскій вопросъ разрѣшенъ не въ пользу американцевъ или англичанъ, — а въ пользу справедливости и будущаго. Думаете ли вы все-таки, господинъ испанецъ, что войны неизбежны? Я, какъ англичанинъ, сегодня долженъ бы быть огорченъ, но я горжусь своей родиной (положимъ, англичане, какъ вамъ извѣстно, всегда гордятся ею), а сегодня я имѣю на это право, потому что Англія — первая европейская держава, обратившаяся къ суду честныхъ людей, а не къ желѣзу и крови! И я желаю вамъ всѣмъ такихъ же поражений, какое мы понесли сегодня, потому что они научатъ насъ побѣждать...

Блейхроденъ остался въ Швейцаріи. Онъ не могъ оторваться отъ этой дивной природы, — перенесшей его въ иной міръ, безконечно прекраснѣе того, который онъ покинулъ.

Порою снова овладѣвали имъ припадки терзаній совѣсти, но докторъ приписывалъ это исключительно нервности, присущей въ наше время большинству культурныхъ людей.

Блейхроденъ рѣшилъ выяснить свои мысли о вопросахъ совѣсти въ небольшой статьѣ, которую намѣренъ былъ опуб-

ликовать. Его конспект, прочтенный раньше въ кругу друзей, заключалъ въ себѣ довольно интересныя вещи. Со свойственнымъ нѣмцу глубокомысліемъ, онъ проникъ въ сущность вещей и пришелъ къ заключенію, что существуютъ два рода совѣсти: 1) природная и 2) искусственная. Перваго рода совѣсть, полагалъ онъ — есть прирожденное чувство справедливости. И оно-то было у него удручено приказомъ разстрѣлывать вольныхъ стрѣлковъ. Только рассматривая себя, какъ жертву высшей власти, — онъ могъ освободиться отъ терзавшихъ его угрызений.

Искусственная совѣсть въ свою очередь состоитъ изъ а) силы привычки и б) требованія высшей власти. Сила привычки настолькоъ еще тяготѣла надъ Блейхроденомъ, что нерѣдко, въ особенности въ часы предобѣденной прогулки, ему представлялось, что онъ манкируетъ службой, и онъ становился угрюмымъ, недовольнымъ собою, испытывалъ чувства школьника, пропускающаго уроки. Ему надо было употребить невѣроятныя усилія, чтобы оправдать свою совѣсть тѣмъ, что онъ получилъ законную отставку.

По прошествіи двухъ съ половиною лѣтъ, проведенныхъ Блейхроденомъ въ Швейцаріи, онъ получилъ однажды приказъ вернуться на родину, ввиду носившихся слуховъ о войнѣ. На этотъ разъ дѣло касалось отношеній Пруссіи къ Россіи, той самой Россіи, которая три года тому назадъ оказала пруссакамъ „моральную“ поддержку противъ Франціи. Блейхроденъ не считалъ добросовѣстнымъ идти противъ друзей, понимая хорошо, что обѣ націи ничего не имѣютъ другъ противъ друга.

Зная по опыту, что совѣсть женщины ближе къ законамъ природы, онъ обратился къ своей женѣ за совѣтомъ, какъ поступить ему въ виду подобной дилеммы. Послѣ минутнаго размышленія жена его отвѣтила:

— Быть нѣмцемъ — больше, чѣмъ быть пруссакомъ; потому-то и образовался нѣмецкій союзъ; но быть европейцемъ — больше, чѣмъ быть нѣмцемъ. Быть же человѣкомъ — еще больше, чѣмъ быть европейцемъ. Ты не можешь перемѣнить своей національности, потому что всѣ „націи“ — враги и нельзя переходить на сторону враговъ, если ты не монархъ, какъ Бернадоттъ, или генераль фельдмаршалъ, какъ графъ Мольтке. Слѣдовательно, тебѣ остается только одно — нейтрализоваться. Сдѣлаемся швейцарцами! Швейцарія не имѣетъ національности!

Блейхродену вопросъ показался такъ правильно и просто разрѣшеннымъ, что онъ немедленно сталъ собирать свѣдѣнія, какимъ образомъ онъ могъ „нейтрализоваться“.

По справкамъ оказалось, что, проживя здѣсь два года, онъ этимъ уже исполнилъ всѣ условія для того, чтобы стать швейцарскимъ „гражданиномъ“: въ этой странѣ нѣтъ „подданныхъ“.

Въ настоящее время Блейхроденъ „нейтрализовался“, и хотя въ общемъ онъ счастливъ — все же порою ему приходится вести войну со своей „искусственной“ совѣстью.

* * *

Уйти... Отъ сърыхъ стѣнъ, гдѣ тусклый небосклонъ
Ложится крышею замкнувшейся темницы,
Гдѣ спать во мглѣ дома, какъ темныя гробницы,
Какимъ-то тягостнымъ и безконечнымъ сномъ!
Гдѣ чудится душѣ—жизнь не проснется вновь
Въ затишьи мертвенномъ, безъ солнца и свободы,
Какъ будто каменные своды
Убили счастье и любовь!
Уйти... Туда уйти, гдѣ травы на зарѣ
Разсвѣту молятся блестящими слезами,
Гдѣ смотреть вдаль цвѣты лазурными глазами,
Гдѣ темный хвойный лѣсъ сбѣгаетъ по горѣ...
И кажется—онъ весь однимъ желаньемъ полнъ,
Спускаясь внизъ къ рѣкѣ задумчивой и чистой—
Коснуться вѣткою смолистой
Бя играющихъ посеребренныхъ волнъ...

Г. Галмина.

На старой дорогѣ.

Веселыя нивы по холмамъ зеленѣли,
И березы кивали вѣтвями густыми;
А теперь только темныя сосны да ели,
Да блѣдное небо съ облаками сѣдыми.
Тамъ, за лѣсомъ, еще куковала кукушка
И дергачъ свою пѣсню тянулъ монотонно,
Но едва миновала лѣсная опушка—
Стало въ чащѣ деревьевъ безмолвно и сонно.
Уныло заглянеть съ неба мѣсяцъ двурогій
И увидеть опять сонъ давно позабытый:
Рядъ столбовъ верстовыхъ на пустынной дорогѣ
И чахлый малинникъ у канавы размытой.
Ждешь, въ тревогѣ щемящей, послѣдняго крика,
Унесеннаго эхомъ въ пустыню далеко,
И усталому взору все кажется дико,
Какъ-то жутко-безцѣльно и странно-жестоко...

В. Башкинъ.

«ТРУЖЕННИКИ».

Романъ *Александра Килланда.*

Переводъ *Н. И. Саблиной.*

I.

На юго-западѣ и вдали надъ фіордомъ стояло ясное, голубое небо. Яркіе солнечные лучи играли на поверхности воды, въ легкой зыби, и длинными полосами ложились въ мѣстахъ, гдѣ господствовало полное затишье.

Опредѣленнаго направленія вѣтра не было. Порою онъ вѣялъ съ юга, порою, словно горячее дыханіе, лѣниво проносился изъ долинъ Христіаніи надъ городомъ, прямо на главный островъ и тамъ замиралъ отъ невыносимой жары.

На востокъ виднѣлась грозовая туча: каждый день послѣ полудня она появлялась, чтобы къ вечеру снова скрыться.

„Что бы ей ужъ разразиться!“ говорили люди; а она все лишь показывалась изо дня въ день, въ продолженіе цѣлаго августа мѣсяца.

Солнце пекло, вѣтеръ дулъ то оттуда, то отсюда, не уменьшая жары, но производя только колебаніе воздуха; непогода висѣла, такъ сказать, надъ природой, заставляя послѣднюю томиться въ трепетномъ ожиданіи, — но оставалась пока пустой угрозой.

Всѣ широкія улицы, ведущія къ югу и къ юго-западу, залиты были солнечнымъ свѣтомъ. Тѣнь подползала совсѣмъ вплотную къ стѣнамъ домовъ и легла тонкой, узенькой полоской, такъ что на нее нельзя было и наступить.

Въ улицѣ Карла-Юганна до полудня было терпимо: по ней можно было дойти, безъ риска повредить себѣ, до того помѣщенія, гдѣ собирался стортингъ; но надъ „Ridsvolds-platz“ и повыше противъ дворца солнце сосредоточило свои лучшія силы. Молодые деревья, съ покрытой сѣрою пылью листвою, поникли своими вершинами и вѣтвями; тополя стояли, вытянувшись во весь ростъ, и словно косились на

свою тѣнь. Люди же шмыгали отъ куста къ кусту, точно птицы; а птицы, со своей стороны, бросили пѣть, забрались въ самую чащу вѣтвей и хлопали глазами на солнце, или же купались въ пыли и засохшихъ цвѣточныхъ клумбахъ.

Нѣсколько злополучныхъ пѣшеходовъ пыхтѣли, взбираясь на Дворцовую гору, съ раскрытыми зонтиками и шляпами въ рукахъ, а ихъ носовые платки уподобились мокрымъ тряпкамъ. У университета стояла группа тощихъ студентовъ, изнемогавшихъ отъ жары и латыни. Внизъ по Университетской улицѣ пронесся неожиданно порывъ вѣтра, взвилъ облако пыли и разсѣялъ его по площади; вода отъ поливки улицъ слоемъ сѣрыхъ жемчужинъ ложилась на горячую пыль.

Глазамъ становилось больно при взглядѣ на залитый солнцемъ дворецъ, съ его спущенными занавѣсками. Передъ нимъ красовался Карлъ-Юганнъ на бронзовомъ конѣ. Онъ держалъ шляпу въ рукѣ,—какъ бы для того, чтобы обмахиваться ею ради прохлады.

Но надъ городомъ воздухъ висѣлъ неподвижно и рябилъ въ глазахъ, точно надъ пожарищемъ. Дымъ изъ трубъ спускался въ видѣ коричневаго облака, а на востокѣ снова начали сгущаться грозовыя тучи, на подобіе сплошныхъ, золотистыхъ круговъ, напоминавшихъ дымъ изъ тяжелыхъ орудій.

Большіе, солидные, рассчитанные на сибирскую зиму, дома, накалились не хуже печей. Въ узенькихъ дворикахъ, гдѣ, чтобы увидать небо, надо было лечь на спину,—жара стояла невообразимая. Оттуда проникла она черезъ черные ходы и кухонныя окна, выползала по ступенькамъ и встрѣчалась съ солнцемъ, которое уже поспѣвало со стороны улицы сквозь раскаленные стѣны и многочисленныя окошки. Нигдѣ не находилось прохладнаго мѣстечка, если не считать ледниковъ. Продолжительная жара такъ плотно застѣла въ стѣнахъ, что даже ночи были невыносимы. Воздухъ стоялъ удушливый, и все, что до того обладало лишь наклономъ дурно пахнуть, теперь воспользовалось случаемъ и издавало положительное зловоніе. Во всемъ городѣ не было ни глотка чистаго воздуха.

— Чѣмъ сѣвернѣе заберешься, тѣмъ хуже жара!—сказалъ канцеляристъ Мортенсенъ и разстегнулъ воротникъ; онъ сидѣлъ безъ сюртука и въ жилеткѣ на распашку.

Молодой секретарь Хюртъ, который помѣщался тутъ же и клеилъ бумажныя папки на случай какой-либо надобности въ министерствѣ, обернулся съ кислой миной. Мортенсенъ дѣйствительно представлялъ изъ себя довольно некрасивое зрѣлище, обливаясь потомъ въ своей рубашкѣ изъ суро-

ваго полотна. Но секретарь Хіортъ ничего не сказалъ: онъ былъ новичекъ въ министерствѣ, а Мортенсенъ умѣлъ импонировать товарищамъ.

Всѣ окна въ большомъ министерскомъ зданіи были открыты настежь, равно какъ и двери между комнатами и въ корридоры. Канцеляристы дѣлали другъ другу визиты и жаловались на жару—они всегда имѣли нѣсколько „дѣлъ“ въ рукахъ, на случай „нежелательной встрѣчи“. Секретари, еще не привыкшіе къ „работѣ“, томились у столовъ, видомъ своимъ напоминая увядающія „рыцарскія шпоры“; порой они спохватывались и принимались съ напускнымъ усердіемъ рѣзать въ бумагахъ.

Кстати, бумаги тамъ было вездѣ много. Она переполняла полки и большими кипами лежала у чиновниковъ и передъ ними, и сбоку.

Здѣсь была и сѣрая, и желтая, и бѣлая, и оберточная, и почтовая, и пропускная, и гербовая бумага; бумага новая и совсѣмъ старая, съ ветхими краями. Она была разбросана вокругъ отдѣльными листами, въ оберткахъ, или въ пакетахъ, перевязанныхъ бичевочкой—на полу, на стульяхъ, на столахъ. Бумага буквально наводняла комнату, такъ что несчастные, которымъ суждено было вращаться среди нея, должны были инстинктивно опасаться, какъ бы не утонуть въ этомъ морѣ бумаги, если не сумѣешь спастись вплавь.

Въ комнатѣ рядомъ съ Мортенсеномъ сидѣлъ канцеляристъ Эрсетъ, маленькій подвижной человѣчекъ, съ черной бородой. Онъ вбѣжалъ съ газетнымъ листомъ въ рукѣ:

— Читали вы, Мортенсенъ? Вѣдь это перешло всякія границы! Прочтите-ка статейку по новоду избирательнаго права для рабочихъ! И подобную статью написали, отпечатали и открыто распространяють! Нѣтъ! Ихъ всѣхъ повѣсить мало!!

Мортенсенъ равнодушно взглянулъ на листокъ.

— Я читалъ ее еще сегодня утромъ. Глупость. Старо.

— Глупость, Мортенсенъ? Хуже того. Она призываетъ къ безпорядкамъ! Къ возмущенію! Опасная вещь, лживая! Подумать только,—Эрсетъ иронически захохоталъ:—что они всюду шныряють, дѣлають глазки всякой сволочи, заигрываютъ и братаются съ рабочими, держатъ рѣчи по поводу этого честнаго рабочаго класса, какъ будто поденщики трудятся, а всѣ мы, остальные, такъ себѣ... только... только...

— Дневные грабители!—пояснилъ Мортенсенъ.

— Вотъ именно!—продолжалъ Эрсетъ.—А мнѣ хотѣлось бы знать, кто больше работаетъ: каменотесъ или одинъ изъ насъ?

Между тѣмъ въ комнату проскользнулъ маленькій сѣдой человѣкъ. Никто никогда не зналъ, откуда онъ появится.

Подъ его рукой двери безшумно распахивались, и онъ имѣлъ обыкновеніе ходить въ валенкахъ.

— Эге! Мо!—обратился къ нему Мортенсенъ, недовѣрчиво мигая глазами:—ушелъ онъ?

— Господинъ министръ на минуту выѣхалъ съ негоціантомъ Фалькъ-Ольсеномъ, — откликнулся Мо и снова выскользнулъ изъ комнаты.

Эрсетъ давно уже водворился на свое мѣсто, въ сосѣдней комнатѣ. Канцеляристы и докладчики съ большимъ рвеніемъ нагнулись надъ своими дѣловыми бумагами, пока маленький человѣчекъ проходилъ мимо.

Эо былъ министерскій курьеръ, по имени Андерсъ Мо. Онъ носилъ длиннополый коричневый сюртукъ, стоячій воротничекъ и бѣлый галстукъ, подпиравшій ему подбородокъ. Костюмъ придавалъ ему значительный видъ, — обликъ квакера. Блѣдное лицо было кротко и привѣтливо, бѣлоснѣжные волосы такъ низко спускались на шею, что изящно вились по воротнику сюртука. Когда благообразный курьеръ безшумно скрылся въ сосѣдней комнатѣ, Мортенсенъ заговорилъ, понижая голосъ:

— Эй, Эрсетъ! Не можемъ ли мы улетучиться по примѣру начальства и отвѣдать свѣжаго пивка, а?

— Хорошо бы!—неожиданно отозвался секретарь Хіортъ и уронилъ ножницы на полъ. Мортенсенъ хладнокровно поглядѣлъ на молодого человѣка; но вдругъ въ умѣ его блеснула идея: Хіортъ былъ сынъ уѣзднаго судьи съ запада, имѣлъ очень хорошія связи и, вѣроятно, въ деньгахъ не стѣснялся. Поэтому онъ отвѣчалъ ему дружелюбно:

— Молодо—зелено! А надежды большія подаетъ.

Секретарь намека не понялъ, но зналъ, что въ министерствѣ принято считать Мортенсена остроумнымъ, а потому на всякій случай осклабился и заявилъ:

— Чего мнѣ больше всего недостаетъ, съ тѣхъ поръ какъ я служу въ министерствѣ, такъ это завтраковъ въ Грандъ-Отелѣ! Въ эти часы тамъ подаютъ чудесныя бараньи котлеты, жаренныя на рашперѣ, и свѣжіи салаты съ огурцами! Ахъ!!

Изъ комнаты Эрсета послышалось неопредѣленное хрюканье, а Мортенсенъ заявилъ:

— Салата изъ огурцовъ я никогда не ѣмъ за завтракомъ, отъ него дѣлается отрыжка. А вотъ голландскій бифштекеъ съ жареннымъ картофелемъ, рюмка водки, да кружка пива, — самый настоящій завтракъ!

— Все это вы можете получить въ Грандъ-Отелѣ!..

— Да? Я не думалъ, что тамъ такъ хорошо кормятъ, — вставилъ Мортенсенъ.

— Увѣряю васъ! Если вы одѣлаете мнѣ честь позавтракать со мною, то я ручаюсь вамъ...

Опять изъ сосѣдней комнаты послышался какой-то звукъ, и Мортенсенъ отвѣтилъ:

— Большое спасибо. Но мы вотъ намѣревались съ Эрсетомъ...

— Если вы полагаете, — смущенно предложилъ секретарь Хіуртъ: — что господинъ Эрсетъ также окажетъ мнѣ честь...

— Онъ чертовски гордъ... Но я попробую уломать его... — отвѣчалъ Мортенсенъ, подтянулъ брюки и прошелъ въ сосѣднюю комнату.

Тамъ, рядомъ съ Эрсетомъ, сидѣлъ пожилой господинъ нагнувшись надъ своей конторкой. Его-то и окликнулъ Эрсетъ, когда пошептался съ Мортенсеномъ.

— Ганзенъ! Мнѣ надо бы на короткое время отлучиться передъ завтракомъ. Если Мо спросить, скажите ему, голубчикъ, что меня вытребовали на конференцію въ ревизіонную камеру. Слышите, папаша Ганзенъ?

Тотъ кивнулъ головой.

— Старъ сталъ! — понизивъ голосъ, замѣтилъ Мортенсенъ: — пора ему была отступить отъ газеты!

Мортенсенъ говорилъ о „Другѣ народа“, изъ редакціи котораго „старому Ганзену“ — какъ его прозвали, — пришлось удалиться, такъ какъ направленіе, которое онъ давалъ газетѣ, показалось его начальству опаснымъ. Теперь редакторомъ былъ Мортенсенъ.

Когда Эрсетъ уже готовился идти, Мортенсенъ напомнилъ, что имъ неудобно удалиться раньше, чѣмъ они убѣдятся, что начальникъ бюро самъ отправился завтракать. Но тутъ какъ разъ дверь внутренняго помѣщенія распахнулась, и директоръ департамента, Дельфинъ, вышелъ и сталъ спускаться съ лѣстницы.

Мортенсенъ вернулся на свое мѣсто и шепнулъ Хіурту: „я уломалъ его!“ А затѣмъ, напѣвая пѣсенку, началъ одѣваться.

Немногіе дерзали вести себя такъ непринужденно въ министерствѣ, какъ канцеляристъ Мортенсенъ. Но когда узнали, что онъ дружитъ со всемогущимъ Андерсомъ, какъ прозвали Мо, то стали поговаривать, что министръ Беннехенъ пользуется „Другомъ народа“ для своихъ цѣлей.

Поэтому положеніе Мортенсена въ министерствѣ было гораздо выше его чина, и совсѣмъ начало уже позабываться то обстоятельство, что онъ, въ качествѣ провинціальнаго адвоката, былъ замѣшанъ въ какой-то мошеннической продѣлкѣ на одной спичечной фабрикѣ.

Когда Мортенсенъ застегнулъ сюртукъ поверхъ своей су-

ровой рубашки, всё трое взяли шляпы и собирались выйти; но въ дверяхъ Мортенсенъ обернулся и воскликнулъ:

— Боги мои, онъ не прихватилъ никакихъ бумагъ! Молодно — зелено, собирается выйти на улицу безо всякихъ бумагъ!

— Что? — спросилъ Хіортъ, готовый расхохотаться, какъ только онъ пойметъ соль остроты Мортенсена.

— Развѣ вы не замѣчаете? — обратился къ нему Эрсетъ, и тутъ только Хіортъ обратилъ вниманіе, что у каждаго изъ двухъ торчатъ подъ мышкой бумаги.

— А!.. Да... Но что же мнѣ взять? — недоумѣвалъ онъ, глядя на кипу своихъ дѣловыхъ бумагъ.

— Заступница, святая Магдалина! — возопилъ Мортенсенъ, устремляя взоръ въ потолокъ: — онъ спрашиваетъ, что ему взять! Какъ будто не всякая тетрадь бумаги годится, чтобы имѣть ее при себѣ на улицѣ!

Наконецъ Хіортъ догадался, въ чемъ дѣло, приготовилъ себѣ пакетъ, какъ у другихъ — и всё трое тихонько спустились съ лѣстницы.

Въ воротахъ съ ними столкнулся, бѣжавшій навстрѣчу, долговязый малый, въ костюмѣ рабочаго.

— Ахъ, господинъ редакторъ, а я было къ вамъ! — обратился онъ къ Мортенсену, утирая потъ съ лица холщевымъ передникомъ: — намъ необходимъ портретъ генерала Робертса.

— Помѣстите Гладстона съ окладистой бородой, — не задумываясь, распорядился редакторъ.

— Но вѣдь у Гладстона огромная лысина!.. — возразилъ рѣзчикъ по дереву.

— Надѣньте ему шляпу Стэнли, — спокойно приказалъ Мортенсенъ.

Рабочій побѣждалъ обратно черезъ улицу, а Хіортъ въ изумленіи покатился со смѣху.

— Прекрасно вышли изъ затрудненія, господинъ редакторъ! — сказалъ онъ и даже осмѣлился фамиллярно потрепать Мортенсена по плечу (не даромъ же онъ собирался угощать пріятелей)! — Но имѣете ли вы понятіе о наружности генерала Робертса.

— Ни малѣйшаго! — былъ хладнокровный отвѣтъ Мортенсена.

— Но представьте себѣ, что у генерала вовсе нѣтъ бороды, или, на примѣръ, только усы, какъ у меня?

— Ну, значитъ, генералъ обрился послѣ интервью съ нами, очень просто!

— Господа, теперь намъ надо раздѣлиться на двѣ партіи, — сказалъ Эрсетъ: — вы, Мортенсенъ, идите на ту сторону...

Въ этотъ моментъ Мортенсенъ испустилъ энергичное ру-

гательство: навстрѣчу имъ шелъ начальникъ ихъ, Дельфинъ, элегантный и спокойный, со свойственной ему ядовитой усмѣшкой на губахъ.

— Теперь надо ждать передраги!—пробурчалъ Эрсеть.

Докладчикъ Хіортъ затресса отъ испуга. Всѣ трое поклонились, видимо смущенные. Георгъ Дельфинъ небрежно кивнулъ головой и, повидимому, намѣревался пройти мимо; но вдругъ остановился передъ Мортенсеномъ и изысканно вѣжливо спросилъ:

— Господинъ Мортенсенъ, не найдется ли у васъ спичекъ?

Мортенсенъ засуетился, отыскивая спички, а директоръ департамента, съ невозможнымъ спокойствіемъ, закуривъ свою сигару, поблагодарилъ и пошелъ дальше.

— На этотъ разъ мы дешево отдѣлались! — наивно воскликнулъ Хіортъ.

— Ну, это еще неизвѣстно! — возразилъ Эрсеть, злобно косясь на Мортенсена.

— Проклятый болтунъ!—выругался редакторъ.

— У Фалькъ-Ольсеновъ въ воскресенье говорили, что его вскорѣ сдѣлаютъ камергеромъ! — сообщилъ Хіортъ, довольный, что ему удалось таки упомянуть про свои аристократическія знакомства.

Но распространиться насчетъ важной новости ему не пришлось; собесѣдники разстались по совѣту Эрсета, чтобы вновь соединиться въ Грандъ-Отелѣ.

Солнце пекло. По узкой тѣневой полоскѣ, ложившейся теперь вдоль тротуара, шла густая масса народу; нашимъ тремъ чиновникамъ пришлось волей-неволей идти по самому припеку; встрѣчные знакомые, не останавливаясь, привѣтствовали ихъ. Всѣ видѣли, что они торопятся, а пакеты подъ мышками усиливали впечатлѣніе дѣловитости.

Между тѣмъ въ комнатахъ министерства жара становилась все душливѣе. Надъ бумагами сиротливо дремалъ старый Ганзенъ.

II.

Въ уѣздномъ судѣ чинили судъ и расправу. На краю Почтамской улицы, у дворовъ тѣснились распряженные телѣги, omnibuses и другіе экипажи всевозможныхъ родовъ; передъ самымъ подъѣздомъ аданія суда стояла большая коляска, въ которой пріѣхали уѣздный и окружной судьи, городской голова. Вокругъ экипажа столпились мальчишки и глазѣли, тѣсясь другъ за другомъ и засунувъ руки въ карманы. Варослые разсѣялись вдоль улицы и подъ окнами суда. Женщинъ не было видно. Взрослые меньше зѣвали по сторонамъ,

но руки также засунули въ карманы. Собрались кучки тамъ и сямъ, шла болтовня; ходившіе вдоль домовъ попарно тоже работали языками. Встрѣчались и тревожныя, напряженныя лица,—то были люди, прибывшіе издалека узнать о своихъ „дѣлахъ“.

Между послѣдними находился маленькій, худенькій человекъ, судя по его виду, прїѣзжій изъ глубины страны. Онъ ѣхалъ всю ночь, чтобы поспѣть къ засѣданію; лошадиный барышникъ обманулъ его съ буланой кобылой. Дѣло было давно; болѣе года тому назадъ онъ побывалъ въ городѣ у адвоката Бойезена, просилъ его ходатайства; много свѣтлыхъ шиллинговъ утекло ка повѣстки и на всякій вадорь,—а тѣмъ временемъ барышникъ вмѣстѣ съ буланкой исчезли невѣдомо куда. Но на сегодняшний день адвокатъ обѣщалъ ему „рѣшеніе дѣла“. И потерпѣвшій ждалъ, что барышника заставятъ вернуть ему буланую кобылу и уплатить судебныя издержки.

Только бы ему поймать адвоката Бойезена. Цѣлое утро караулитъ онъ узанія суда, а адвоката все нѣтъ, какъ нѣтъ.

Люди входили и выходили; кому надо было поговорить съ старшиной, кому — заплатить подати, кому — навести справки у окружного судьи. Приближался полдень. Ожидающій людъ принялся закусывать стоя, доставъ привезенную съ собою ѣду; иные усѣлись рядами на краю шоссеиной канавы. Временами въ дверяхъ суда показывался одинъ изъ писцовъ и выкликалъ чье-нибудь имя; присутствующіе оборачивались и повторяли имя, пока нужный субъектъ не отыскивался гдѣ-нибудь и не начиналъ медленно идти на призывъ; тогда писецъ нетерпѣливо покрикивалъ, рекомендуя „пошевеливаться“, а вѣтеръ игралъ его завитыми волосами и обдувалъ ему лицо.

На большомъ камнѣ, у забора сидѣлъ человекъ, нѣсколько въ сторонѣ отъ другихъ. Онъ снялъ шляпу и задумчиво уставился глазами вдаль, на море. То былъ коренастый, высокій мужчина, слегка сгорбившійся отъ тяжелыхъ деревенскихъ работъ и пребыванія въ низкой избѣ. У него было строгое лицо съ рѣзкими чертами и рыжая, густая, кудрявая растительность на головѣ и лицѣ. Онъ смахивалъ на лѣсное страшилище, но глаза у него были ясныя, правдивыя, голубыя, какъ у ребенка.

Отъ одной изъ ближайшихъ группъ отдѣлился другой мужчина, подошелъ къ забору и поздоровался.

— Здравствуй, Ньэдель!

Ньэдель полуобернулся и отвѣтилъ на привѣтствіе.

— Хорошо, что я здѣсь сегодня тебя засталъ! — произнесъ первый:—мы можемъ потолковать съ тобой о нашемъ

дѣлѣ и услышимъ, что добрые люди на этотъ счетъ думаютъ.

— Мнѣ до другихъ дѣла нѣтъ, Серенъ,—отвѣчала Ньэдель:—да если-бъ и ты оставлялъ ихъ въ покоѣ, то мнѣ не пришлось бы сегодня торчать передъ судомъ, всѣмъ на помѣшнице.

— Мы должны быть готовы, что то, въ чемъ мы согрѣшили втайнѣ, сдѣлается явнымъ, разъ въ мірѣ возбуждается соблазнъ...

— Какой тамъ соблазнъ! Когда каждый знаетъ только самого себя, рѣчи не можетъ быть о соблазнѣ!

— Соблазнъ всегда будетъ... Но горе тому человѣку...

Ньэдель вытянулся во весь ростъ и отрывисто оборвалъ рѣчь словами:

— Что ты хотѣлъ мнѣ сказать о нашемъ дѣлѣ?

Серенъ Беревиго былъ высокій сутуловатый мужчина, съ прямыми, желтыми, какъ солома, волосами и бѣлыми рѣсницами. Разговаривая, онъ глядѣлъ искоса и исподлобья, а также имѣлъ привычку потирать руки.

— Ты роешь большую канаву внизъ, къ самому морю, Ньэдель?

— Совершенно вѣрно.

— И ты доведешь ее до самого тростника?

— Я иду вдоль границы своего поля.

— Такъ... поддакнулъ Серенъ и покосился черезъ дорогу:—но вѣдь тебѣ придется не по вкусу, если другіе станутъ вторгаться въ твою землю?

— Пусть только попробуютъ!

— Но послушай, Ньэдель! Какъ же мнѣ иначе добраться до берега, если ты проведешь свою канаву? Подумалъ ты объ этомъ?

— Тебѣ туда вовсе не къ чему и добираться, Серенъ. Тамъ тебѣ дѣлать нечего.

— Гм! гм! — захихикалъ Серенъ: — больно скоро ты на языкъ, Ньэдель!

— Какъ бы скоро я ни говорилъ, я всегда могу дать отчетъ въ своихъ словахъ.

— Ты, пожалуй, скажешь, что я не добывалъ оттуда тростника, съ тѣхъ поръ какъ владѣю Беревиго-гофомъ?

— Добывать-то ты не добывалъ, Серенъ,—отвѣчалъ Ньэдель, послѣ нѣкотораго размышленія.—Думается мнѣ, ты дѣлалъ и многое другое, чего не слѣдовало бы дѣлать.

— Ты, можетъ быть, воображаешь, что это хорошо загоразживать старня, утвержденныя дороги? — съ разстановкой спросилъ Серенъ:—какъ ты полагаешь, Ньэдель?

— У меня есть купчая крѣпость въ полномъ порядкѣ. Я

купить церковную землю и плачу подати епископу Христианзанда. Но въ бумагахъ ни слова не сказано о томъ, чтобы обитатели Беревига имѣли право ходить по моему полю, а потому я полагаю, что могу рыть канавы, гдѣ мнѣ вадумается.

Съ этими словами Ньедель началъ подвигаться къ домамъ.

— Но тростникъ, тростникъ... — ввернулъ Серенъ Береви́гъ и еще сильнѣе потеръ руки.

— Руда находится въ горахъ, тростникъ въ водѣ. Если у тебя нѣтъ горъ, нѣтъ у тебя и руды. Не имѣя берега, нельзя рассчитывать на тростникъ. Ты бы долженъ это понять, Серенъ,—ты такой умный человѣкъ, говорятъ.

— Но... но... — не унимался тотъ:—надо Божьи дары дѣлить между собою, Ньедель... Всѣ мы братья...

— Твоимъ братомъ я не желалъ бы быть, Серенъ, ни за двѣсти возовъ тростника! — отрѣзалъ Ньедель и посмотрѣлъ на собесѣдника сверху внизъ.

— Такъ, такъ...—смиренно поддакнулъ Серенъ.—А насчетъ дороги мы потягаемся... Я переговорю съ адвокатомъ Тофте, какъ только онъ придетъ.

— Попробуй только, Серенъ! Купчая-то вѣдь у меня! Я...—Ньедель не докончилъ и отошелъ прочь.

Посреди улицы собралась кучка народу вокругъ подѣхавшей телѣжки. Изъ нея вылѣзъ маленькій, толстенный человѣчекъ съ краснымъ лицомъ, сѣдой бородой, и въ мѣховой шапкѣ.

— Не знаетъ ли кто-нибудь изъ васъ,—обратился онъ къ окружающимъ зѣвакамъ:—какому негодю принадлежитъ клочекъ земли, черезъ которую идетъ дорога отъ Береви́гс-ринда до Свартемоора? Мнѣ бы хотѣлось съ этимъ вла-дѣльцемъ обмѣняться парой теплыхъ словъ!

Никто этого не зналъ, но одинъ изъ стариковъ подтвердилъ:

— Да, господинъ староста правъ,—на всемъ берегу нѣтъ хуже дороги.

— Это не дорога, а болото, трясина! Да еще съ огромными камнями. Посмотрите, на что мы похожи!—онъ указалъ на себя, на лошадь и на телѣжку: всѣ были забрызганы грязью.

— Пожаловаться бы вамъ въ судъ!—посоветовалъ кто-то.

— Понятно, если бы это только принесло какую-нибудь пользу! — сказалъ лоцманскій староста и почесалъ голову подъ мѣховой шапкой.

Въ тотъ же мигъ онъ увидалъ Ньеделя Фатнемо, который приближался. Староста поманилъ его.

Одинъ изъ лоцмановъ принялъ его лошадь. Староста подошелъ къ Ньеделю и шепнулъ ему:

— Она уже на пароходѣ.

— Заручилась ли хорошимъ мѣстомъ?—спросилъ Ньэдель.

— Отличнымъ, старина! Все равно что на американскомъ пароходѣ. Ёдетъ во второмъ классѣ. Завтра вечеромъ будетъ въ Христіаніи.

— Ужасно жаль, что она пріѣдетъ въ сумерки! Только бы нашла Андерса!

— Да, я долженъ тебѣ сказать, Ньэдель, что я послалъ твоему брату телеграмму, отъ твоего имени. Онъ встрѣтитъ Христину на пристани.

— И какъ ты обо всемъ заботишься!—обрадовался Ньэдель:

— Это тебѣ дорого стоило?

— Одну крону, ни болѣе, ни менѣе.

— Дешевле нельзя было?

— Нельзя, старина. Такса!

— Понятно... И то хорошо, что все устроилось!—замѣтилъ Ньэдель и началъ отыскивать крону.—Большое спасибо!

— Ну, что за благодарность! Ты былъ уже на судѣ, Ньэдель?

— Нѣтъ. Говорять, что до полудня больше не будетъ разбираться дѣлъ.

— Поѣлъ чего-нибудь?

— Нѣтъ. Дома некому было позаботиться о моемъ завтракѣ,—коротко пояснилъ Ньэдель.

— Гм... И то правда!—пробормоталъ смотритель.—Пойдемъ-ка къ лоцману Тобіасу, да закусимъ чего-нибудь.

Толпа разступилась; лоцманскому старостѣ всѣ кланялись, а спутника его, шедшаго позади, даже не замѣчали.

Собирался дождь. Песчанья мели на морѣ казались совершенно темными, а вода—сѣрой, съ бѣлой пѣной на поверхности. Поднялся свѣжій юго-западный вѣтеръ, и прибой ударялся о большіе, круглые камни, оставляя за собой длинныя, скользкія полосы на берегу—то наступая, то отступая, образуя небольшой валъ у самыхъ дворовъ, плотно жавшихся другъ къ другу на набережной.

Между домами тянулись узкіе, грязные проходы, засоренные навозомъ и всякимъ мусоромъ: вилами, ржавыми сошниками, сломанными колесами, обломками корабельныхъ снастей, накопившихся годами, по мѣрѣ того, какъ море выбрасывало ихъ на берегъ. Передъ жилыми помѣщеніями попадались иногда и расчищенные мѣстечки, гдѣ, во время скопленія народа, люди присаживались на ступенькахъ или на камняхъ у стѣнъ.

Хотя стоялъ свѣтлый день въ самой серединѣ лѣта, но на всемъ лежалъ какой-то сѣрый, мрачный колоритъ. Небо низко нависло со своими сѣрыми облаками, да и море отливало чѣмъ-то сѣрымъ. Также и коричневые дома, которые

въ солнечный день радуютъ глазъ своими бѣлыми окнами, занавѣсками и цвѣточными горшками, при теперешнемъ освѣщеніи казались темными и унылыми. Даже бѣлый домъ старшины казался печальнымъ и непригляднымъ.

Густая толпа простолюдиновъ вполнѣ подходила къ окружающей обстановкѣ. Всѣ эти толстыя, темно-синія жилетки, шерстяныя рубашки и шерстяные же галстуки только усиливали лежавшій на всемъ отпечатокъ унылости. Въ группѣ не замѣчалось жизни; одинъ скользилъ туда, другой сюда; здоровались, глядя по сторонамъ и бормоча неясныя привѣтствія; толстыя, влажныя руки нехотя протягивались, прикасались одна къ другой, безъ дружескаго пожатія; при этомъ пальцы не сгибались, что считалось особенно учтивымъ. Ни возгласа, ни громкаго слова, уже не говоря о смѣхѣ. И надъ всѣмъ этимъ господствовалъ запахъ овечьей шерсти, окрашенной въ цвѣтъ, который почему-то называется „горшковымъ“.

Ровно въ часъ закрылось утреннее засѣданіе, и, пока въ помѣщеніи суда приготовляли все къ завтраку, чиновники и адвокаты прогуливались по улицѣ взадъ и впередъ, курили, болтали.

Нѣкоторые изъ простолюдиновъ, у которыхъ хватило храбрости, крѣпко уцѣпились за своихъ ходатаевъ,—но хмурыхъ, сосредоточенныхъ крестьянинъ изъ Хальде такъ и не могъ найти своего.

Уфѣдный начальникъ Хіортъ, отличавшійся большою снисходительностью, ходилъ среди народа, примѣчая, кто ему кланяется. Когда ему казалось, что онъ видитъ знакомое лицо, онъ останавливался и говорилъ два-три фамиллярныхъ слова; руки, впрочемъ, онъ держалъ за спиною, подъ фалдами сюртука, чтобы никому не вздумалось пожать ихъ.

Старшина и его сынъ какъ разъ вели черезъ дворъ арестанта; для безопасности на него надѣли кандалы: деревенская тюрьма не надежна, да и сторожамъ такъ спокойнѣе.

— Кто-нибудь изъ присутствующихъ знаетъ этого чело-вѣка?—спросилъ уфѣдный начальникъ.

— Да, господинъ начальникъ, онъ изъ Кридсвдига,—отвѣчалъ смотритель, который въ эту минуту вышелъ изъ дома.

— Здравствуйте, господинъ лоцманскій староста Зеегусъ! — произнесъ уфѣдный начальникъ и снисходительно протянулъ два пальца правой руки.—Итакъ, вы знаете преступника? Воръ, должно быть?

— Да, бѣдняга! Онъ взломалъ замокъ у деревенской лавочки и стащилъ мѣшокъ муки, да кружку патоки.

— Эти учащенные случаи воровства,—строго замѣтилъ уфѣдный начальникъ Хіортъ, обводя глазами присутвую-

щихъ:—вызываютъ опасенія. Они, повидимому, стоятъ въ тѣсной связи съ другими пагубными вѣяніями, которыя, къ сожалѣнію, за послѣднее время усиленно распространяются въ народѣ. Находится ли виновный въ стѣсненныхъ обстоятельствахъ? Большая у него семья? Много дѣтей?

— Много, и все малыши, какъ кругляшки на сковородѣ, господинъ начальникъ!—отвѣчалъ смотритель.

— Кругляшки?—переспросилъ начальникъ, съ недоумѣніемъ, поднявъ брови.

Адвокатъ Тофте, неизмѣнно торчавшій подъ рукой у начальства, горя желаніемъ быть ему полезнымъ, вкрадчиво хихикнулъ и пояснилъ:

— Извините, господинъ начальникъ,—это означаетъ, такъ сказать, ломтики картофеля!

— А, картофельные ломтики!—снисходительно пробормоталъ начальникъ и пошелъ дальше.

Окружающіе переглянулись, нѣкоторые осклабились; но всѣ вообще изумлялись, что лоцманскій староста такъ независимо говорить съ высшими; онъ сразу очутился, такъ сказать, на особомъ положеніи.

Луритцъ Больдеманъ Зеегусъ былъ сынъ мелкаго таможеннаго чиновника въ Флеккефіордѣ, изрядно любившаго выпить. Въ юности онъ былъ морякомъ, но съ годами купилъ часть Кридсвигофа, построилъ себѣ домъ, откуда могъ любоваться моремъ и видѣть, что на немъ дѣлается; такимъ образомъ, онъ сдѣлался лоцманскимъ старостой.

Зеегусу могло быть около шестидеяти лѣтъ. Онъ былъ холостъ, не то морякъ, не то мужикъ. У начальства онъ былъ не на особенно хорошемъ счету. Уѣздный судья Хіортъ считалъ его даже почти опаснымъ, такъ какъ онъ, не смотря на свое полуофициальное положеніе, мало отличался отъ крестьянъ, отчего легко могло пострадать узаконенное вѣками уваженіе крестьянъ къ чиновникамъ.

Между тѣмъ Зеегусъ дѣлалъ свое дѣло и пользовался среди крестьянъ популярностью, такъ что добиться его смѣщенія разсчитывать было трудно. Онъ самъ и не подозревалъ, что возбуждаетъ подозрѣнія въ неблагонадежности; свободный тонъ онъ усвоилъ себѣ на морѣ и, когда уѣздный судья удостоилъ его двумя пальцами и холоднымъ взглядомъ, онъ, въ своей наивной почтительности, подумалъ, что господинъ Хіортъ чертовски благовоспитанный человѣкъ.

Ближайшій сосѣдъ смотрителя былъ Ньэдель Фатнемо. Онъ, собственно говоря, былъ пришлецъ на берегу, такъ какъ родомъ былъ изъ горной мѣзы, далеко въ глубинѣ страны. Но, послѣ того, какъ мѣза много лѣтъ кряду страдала отъ обваловъ, однажды весной скатилась каменная лавина, ко-

торая так основательно смела человеческую работу, что Ньедель въ одной рубашкѣ остался на верху скалы, а дома со всѣмъ содержимымъ рухнули. Между развалинами, на другое утро, отыскивали трупы его жены и двоихъ дѣтей; одна старшая дочь какимъ-то чудомъ была еще жива.

Тогда Ньедель рѣшился отказаться отъ родовой мѣзы Фатнемо.

Онъ продалъ все, что уцѣлѣло послѣ обвала, и переселился на морской берегъ. Онъ не перемѣнилъ прозвища, сообразно съ новымъ владѣніемъ, какъ принято; онъ приобрѣлъ часть той же мѣзы, что купилъ Зеегусъ незадолго до него.

Кридевигъ было большое выморочное имѣніе, принадлежавшее епископству Христианіи. Ньедель вынесъ изъ своего пребыванія въ горахъ склонность къ одиночеству, а потому выбралъ себѣ самое низмѣнное мѣстечко совсѣмъ у берега, съ песчаной пустынной площадью.

Много лѣтъ прожилъ онъ съ дочкой Христиной и работницей, обрабатывая свою полосу земли и кое-что откладывая про черный день. Единственно съ кѣмъ онъ знался, такъ это со старшиной Зеегусомъ, а этотъ послѣдній искренно привязался къ добродушному великану и его красивой дочкѣ.

Вообще же Ньеделя сосѣди не долюбливали, какъ чужого; находили что-то отталкивающее въ высокомъ, коренастомъ мужикѣ, съ шапкой рыжихъ лохматыхъ волосъ. Когда онъ стоялъ или копался на своемъ болотистомъ полѣ, онъ смахивалъ на великана, вылѣзшаго изъ земли. Его взъерошенная, обнаженная голова всегда опускалась на грудь, когда кто нибудь проѣзжалъ мимо; а чужестранцы непременно спрашивали сторожа, что это за великанъ. Но Ньедель за работой не обращалъ ни на что вниманія; онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которые словно ведутъ борьбу со своей работой. Стиснувъ зубы, наморщивъ брови, ворочалъ онъ лопатой или желѣзнымъ ломомъ, и тащилъ, и рвалъ, и топталъ, такъ что земля только стонала; когда же какой-нибудь камень оказывалъ ему сопротивленіе, онъ бросался на него, собравъ всѣ свои исполинскія силы, и расправлялся съ нимъ, рыча, какъ разсвирѣпѣвшій медвѣдь.

Когда наступало время ѣды, или становилось слишкомъ темно, онъ вылѣзалъ изъ канавы и чистилъ свои деревянные башмаки, затѣмъ ставилъ желѣзный ломъ на мѣсто и провѣрялъ результатъ своихъ трудовъ. Если ему казалось, что работа шла успѣшно, онъ запускалъ пальцы себѣ въ волосы, такъ что они становились дыбомъ, и посмѣивался себѣ въ носъ.

Въ избѣ, среди женщинъ, онъ бывалъ тихъ, какъ ягненокъ, низко нагибался и двигался съ большою осторож-

ностью, какъ будто боялся поднять крышу головою, если расправитъ свои могучіе члены.

Пока судейскій персоналъ завтракалъ, пошелъ дождь. Облака опустились еще ниже, и дождикъ моросилъ мелкій и частый, какъ и всегда, когда онъ намѣревается зарядить надолго.

Многіе изъ пріѣхавшихъ простолюдиновъ попрятались по домамъ и сараямъ, но большинство осталось на улицѣ, не взирая на дождь. Они нагибались и уклонялись то въ одну сторону, то въ другую, такъ что струйки воды текли съ полей ихъ шляпъ; но въ общемъ они такъ привыкли къ неудобствамъ и сырости, что не особенно смущались тѣмъ, что промокли до костей. Они даже не высказывали нетерпѣнія: всѣмъ было извѣстно, что судейскій завтракъ требуетъ продолжительнаго времени.

III.

Въ верхнемъ концѣ стола сидѣлъ уѣздный начальникъ; по правую руку отъ него—судья; по лѣвую—голова; дальше слѣдовали по старшинству адвокаты, уполномоченные, по чину своихъ довѣрителей; писцы въ томъ же порядкѣ мѣстничества и, въ заключеніе, двое крестьянъ, мѣщанскій староста и другіе приглашенные. Староста сидѣлъ въ нижнемъ концѣ стола.

— Замѣтно, что у г. старосты городская кухарка,—замѣтилъ старый адвокатъ Карсъ и причмокнулъ губами.—Прошли тѣ времена, когда мы осуждены бывали поглощать ушатъ шведскаго супа съ корицей и патокой.

Онъ сказалъ это вполголоса головѣ: подавали первое блюдо—рыбный пуддингъ съ вареными морскими раками. Разговаривалъ больше всѣхъ уѣздный судья. Красное вино было слишкомъ кисло, но очень крѣпко, кромѣ того, поданы были водка и пиво, такъ что настроеніе вскорѣ повисилось.

Уѣздный начальникъ умѣлъ дать тонъ общей бесѣдѣ, и начало завтрака прошло торжественно.

Сосѣди переговаривались полушопотомъ; на обращеніе судьи отвѣчали, но съ вопросами и замѣчаніями къ нему никто не лѣзъ. Онъ же старался быть со всѣми привѣтливымъ, въ особенности дружелюбно заговаривалъ съ крестьянами. Ему ужасно хотѣлось казаться ласковымъ и популярнымъ.

За жаркимъ онъ по обыкновенію провозгласилъ тостъ за здоровье его величества, затѣмъ, какъ водится, сказалъ коротенькій спичъ. Сегодня онъ обратился къ помощнику окруж-

ного судьи, кандидату Альфреду Беннехену, который вскорѣ долженъ былъ ихъ покинуть.

— Такъ какъ вы, господинъ кандидатъ Беннехенъ,—такъ началъ онъ свою рѣчь,—покидаете дѣятельность, которой вы посвятили часть лучшихъ годовъ вашей юности, и переходите къ инымъ трудамъ,—быть можетъ, болѣе отвѣтственнымъ, болѣе тяжкимъ, болѣе возвышеннымъ,—то позвольте намъ пожелать вамъ всего хорошаго и поблагодарить васъ за то время, которое вы провели въ совмѣстной работѣ съ нами. Но, хотя мы и будемъ раздѣлены пространствомъ, мы все же останемся собратьями по труду. Надѣюсь, вы не сочтете за нескромность, если я сообщу собранію, что вы намѣреваетесь перейти въ министерство,—по всей вѣроятности, въ министерство вашего батюшки?

Альфредъ Беннехенъ вѣжливо поклонился.

— Итакъ, я говорилъ, — продолжалъ уѣздный начальникъ: — что мы остаемся собратьями по труду. Развѣ бюрократія, это—не великое, общее дѣло всей страны? Развѣ дѣятельность нашихъ чиновниковъ не охватываетъ народъ не разрывнымъ кольцомъ? Такъ какъ вы, выражаясь образно, мѣняете ваше мѣсто въ общей цѣпи, позвольте попросить васъ передать вашему достоуважаемому батюшкѣ наше нижайшее почтеніе съ просьбою всеподданнѣйше доложить его величеству, что мы трудимся... въ этомъ вся суть, господа... что мы трудимся среди народа, какъ вѣрноподданные его величества. А вамъ, господинъ кандидатъ, намъ остается пожелать, чтобы вы, имѣя передъ глазами доблестный примѣръ вашего батюшки, достигли самаго виднаго положенія и, опять таки какъ вашъ батюшка, сдѣлались бы гордостью и украшеніемъ вашей родины! Господинъ кандидатъ Беннехенъ! Господь да пребываетъ съ вами!

— Надъ этой рѣчью онъ изрядно попотѣлъ, увѣряю васъ! — шепнулъ адвокатъ Карсъ сосѣду по лѣвую руку, такъ какъ спичи уѣзднаго судьи не блистали краснорѣчіемъ.

Окружной судья тоже произнесъ коротенькое слово, обращаясь полушутливо къ своему помощнику. Альфредъ Беннехенъ въ свою очередь отвѣтилъ, такъ что вообще за завтракомъ въ этотъ день говорено было не мало. Какъ разъ, когда шумъ оживленныхъ голосовъ достигъ крайнихъ предѣловъ, волостной писарь подавился кускомъ жаркого. Бѣднякъ совсѣмъ было задохнулся, и дѣло, казалось, готово было принять трагическій оборотъ, но сосѣдъ писца такъ усердно колотилъ его по хребту, что кусокъ, попавшій не въ то горло, наконецъ, выскочилъ изъ рта и вылетѣлъ на середину стола.

Уѣздный начальникъ закрылся салфеткой; старшина нѣ-

сколько разъ извинился за своего писца; только адвокат Карсъ, внимательно рассмотрѣвъ кусокъ мяса, началъ клясться, что онъ вѣситъ не менѣе четверти фунта.

Этотъ инцидентъ совершенно испортилъ настроеніе духа уѣзднаго начальника.

Младшіе адвокаты начали смѣяться и переговариваться черезъ столъ; оживленіе начало брать верхъ надъ почтительностью. Самъ уѣздный начальникъ былъ такъ напуганъ неприятнымъ случаемъ, что вскакивалъ съ мѣста и хватался за очки, стоило только кому-нибудь кашлянуть; что же касается до злополучнаго писаря, то судья убѣдительно, хотя и въ предѣлахъ деликатности, просилъ его не торопиться и разрѣзать кусочки жаркого помельче.

— Много дѣлъ осталось еще на сегодня?—спросилъ уѣздный начальникъ судью, убѣдясь, что ему больше не завладѣть разговоромъ.

— Право, не знаю,—простодушно отвѣтилъ вопрошаемый и поставилъ свой стаканъ:— Скажите, Беннехенъ, много еще дѣлъ на очереди?

— О, да, достаточно! Между прочимъ, имѣется крайне интересный случай.—Помощникъ нагнулся къ окружному судѣ и заговорилъ съ нимъ, понизивъ голосъ.

— Въ чемъ же дѣло?—полюбопытствовалъ уѣздный начальникъ.

— Процессъ о незаконномъ сожителствѣ, господинъ начальникъ, ни болѣе, ни менѣе!—отвѣчалъ окружной судья, подмигивая маленькими свѣтло-сѣрыми глазками. Самъ онъ былъ низенькій, толстенькій человѣчекъ, съ румяными щеками и въ парикъ.

— Не можетъ ли господинъ окружной судья сегодня провести это дѣло?—спросилъ помощникъ.—Тогда оно быстрѣе двинется впередъ. Да, кромѣ того, никто не умѣетъ такъ обращаться съ подобными процессами, какъ вы.

— Ахъ, да! По крайней мѣрѣ, забавно будетъ! Мы поемъемя!—неосмотрительно воскликнулъ старшина.

Уѣздный начальникъ громко откашлялся, погладилъ свои густыя, сѣдыя бакенбарды и надѣлъ золотыя очки. Ничего лишняго нельзя было сказать въ присутствіи крестьянъ. По этому случаю онъ выпилъ стаканъ вина съ мѣщанскимъ старостой.

Пока въ одномъ концѣ стола велся горячій споръ между двумя адвокатами, въ другомъ продолжался разговоръ полушопотомъ.

— Обвиняемые—молодые люди?—спрашивалъ окружной судья.

— Нѣтъ, этого нельзя сказать: онъ — довольно пожилой вдовецъ, она — служанка. Но, видите-ли, дочь...

— Ахъ, вы хотите сказать, въ качествѣ свидѣтельницы...

— Что касается служанки,—вмѣшался адвокат Тофте,— то она съ ребенкомъ, насколько я слышала, уже съ мѣсяцъ тому назадъ уѣхала въ Америку.

— Да, свидѣтельскій допросъ, это — самая интересная часть процесса! — сказалъ адвокат Карсъ и засмѣялся: — я знаю Христину Фатнемо, это одна изъ самыхъ красивыхъ дѣвушекъ въ околоткѣ.

— Если это фактъ, что процессъ пойдетъ скорѣе, при веденіи его самимъ окружнымъ судьей... — началъ было уѣздный начальникъ и остановился, какъ будто не слышалъ послѣднихъ словъ.

— Разумѣется, я съ удовольствіемъ это сдѣлаю, если вы прикажете... — откликнулся окружной судья.

— Нѣтъ, нѣтъ, вы меня не такъ поняли! Я только хотѣлъ сказать, что въ такую скверную погоду будетъ лучше, если мы скорѣе вернемся въ городъ...

Окружной судья подмигнувъ своими маленькими глазками, и было рѣшено, что послѣ завтрака чинить правосудіе будетъ онъ. Тогда уѣздный начальникъ чокнулся съ нимъ.

Послѣ гречневой каши поданъ былъ хересъ, вслѣдствіе чего на большинствѣ фizioномій заиграло нѣчто въ родѣ вечерней зари. Адвокатъ Карсъ нашелъ, что послѣ алополучнаго приключенія съ кускомъ жаркого, со стороны писца головы было просто безразсудно запихать въ себя три тарелки каши. До конца завтрака всѣ громко смѣялись, болтали и пили, кромѣ двухъ крестьянъ, которые молча ѣли и сдержанно прихлебывали вино.

Но когда шумъ достигъ своего апогея, уѣздный начальникъ постучалъ въ стаканъ и всталъ изъ за стола.

По раскраснѣвшимся фizioноміямъ, показавшимся теперь въ окнахъ и дверяхъ, народъ могъ догадаться, что завтракъ конченъ; наружу нельзя было выйти изъ за проклятой погоды.

Послѣ кофе комната снова превратилась въ залу суда, и окружной судья очень торжественно приступилъ къ разбирательству. Сидя на предсѣдательскомъ мѣстѣ, онъ имѣлъ внушительный видъ. Было несомнѣнное достоинство въ очертаніяхъ его красивой головы въ бѣлоснѣжномъ парикѣ, въ пронизательныхъ сѣрыхъ глазахъ, которые пронизывали насквозь и подсудимыхъ, и свидѣтелей. Онъ славился своими мѣткими приговорами, но главная сила его заключалась въ остроумныхъ вопросахъ. Никто не умѣлъ такъ, какъ онъ, вовлекать въ противорѣчія, жонглировать словами, разбрасывать ихъ въ безпорядкѣ и затѣмъ такъ подбирать, что не успѣвалъ человѣкъ опомниться, какъ неожиданно для себя

дѣлалъ нѣчто въ родѣ полупризнанія; такими пріемами судѣе удавалось, по его собственному выраженію, „вывинчивать изъ людей истину“.

Сегодня дѣло пошло необычайно быстро, но все же велось съ достоинствомъ.

Много гражданскихъ дѣлъ было прекращено; всѣ адвокаты понимали, что слѣдуетъ скорѣе перейти къ „cause célèbre“, т. е. къ процессу о незаконномъ сожителствѣ; и насколько всѣ были заинтересованы предстоящими свидѣтельскими показаніями, можно было заключить изъ легкаго подталкиванія локтями и многозначительныхъ взглядовъ. По этому случаю прочія дѣла разбирались поверхностно, а больше предлагались изъ за всякихъ пустяковъ отерочки, при чемъ противная сторона соглашалась безпрекословно. Только тупоумный стряпчій Крузе не желалъ ничего понимать и спокойно продолжалъ требовать занесенія въ протоколъ безконечныхъ подробностей. Адвокатъ Карсъ дергалъ его за фалды, Альфредъ Беннехенъ, который велъ протоколъ, дѣлалъ многозначительныя гримасы, а окружной судья сердился и нетерпѣливо ерзалъ на стулѣ.

Наконецъ, съ Крузе покончили, и на очереди очутился процессъ о незаконномъ сожителствѣ.

Теперь двери въ сѣни и во дворъ были открыты, и толпа сплотилась на улицѣ, — даже отчасти протискалась въ помѣщеніе суда.

Какъ только промокшая публика попала въ тепло, отъ овечьей шерсти повалилъ паръ; воздухъ сгустился и принялъ голубоватый оттѣнокъ; капли заструились по оконнымъ стекламъ. Снаружи, въ проходѣ, въ самой густой толпѣ стоялъ хмурый, молчаливый крестьянинъ; онъ былъ такъ малъ ростомъ, что не могъ ничего видѣть, но напряженно вслушивался въ каждое слово, ровно ничего не понимая.

Какъ только судья выслушалъ имена и фамиліи обвиняемыхъ, то спросилъ:

— Ньадель? — Это что за варварское имя?

— Это все равно, что Нильсъ, — пояснилъ вѣчно готовый услужить Тоффе: — въ горахъ, въ Хальденгофѣ, вмѣсто Нильсъ, говорятъ Ньадель.

— А, вотъ что! Но мы здѣсь не въ Хальде, а потому будемъ говорить Нильсъ; фамилія?

— Фатнемо.

— Фатнемо? — нетерпѣливо переспросилъ окружной судья.

— Въ дѣлѣ упоминается фамилія Фандмо, — снова вмѣшался Тоффе.

— Понятно!.. Что это значить? Итакъ, попросту, онъ —

Нильсь Фандмо! Мѣстное нарѣчіе не полагается вводить въ протоколы! Это сепартизмъ!—При этихъ словахъ, судья строгимъ взоромъ окинулъ толпу и угломъ глазъ взглянулъ на уѣзднаго начальника, который одобрительно кивнулъ ему головой.

Нѣделя подвели къ столу; онъ стоялъ, сгорбившись и опустивъ свою взъерошенную голову внизъ, время отъ времени вытирая себѣ лобъ рукавомъ куртки; ему было душно, и губы его подергивались.

Окружной судья смѣрилъ его глазами съ головы до ногъ и, вѣрный своей методѣ, началъ быстро и во все горло кричать:

— Такъ это ты, старикъ, живешь по-свински? Со служанкой своей путаешься, а? Это ты служишь соблазномъ въ приходѣ? Кто доносить на него?

— Помощникъ пастора, Серентъ Беревигъ.

— Слышишь, помощникъ пастора!.. И тебѣ не стыдно? А дѣвушку съ ребенкомъ ты ухитрился сплавить въ Америку, а? Ты видишь, намъ извѣстны всѣ твои пакости! Ты, можетъ статья, думалъ вывернуться? Нѣтъ, старикъ, шалишь! Или ты совсѣмъ отопрешься въ этомъ свинствѣ, чего добраго? Что?

Нѣдель съ трудомъ могъ открыть ротъ, но когда это ему удалось, сказалъ:

— Я ни въ чемъ не отрицаюсь.

Этого окружной судья никакъ не ожидалъ: онъ привыкъ ко всякаго рода запираательствамъ и уверткамъ.

— Вотъ это хорошо, старикъ!—сказалъ судья:—хотя ничему не поможетъ, разумѣется. Дѣло надо основательно расслѣдовать и выяснить, при помощи свидѣтелей. Гдѣ твоя дочь?

— Она уѣхала.

— Уѣхала? И эта тоже? Куда?—вскричалъ судья и широко раскрылъ глаза. У секретаря вывалилось изъ рукъ перо, а адвокаты насторожили уши, какъ охотничьи собаки; даже уѣздный начальникъ, который сидѣлъ за печкой на диванѣ и представлялся, будто читаетъ, отвелъ глаза отъ уложенія о наказаніяхъ.

— Въ Христіанію. Она вчера выѣхала изъ дому,—пояснилъ Нѣдель.

— Это... Гм...—окружной судья почти никогда не ругался въ засѣданіяхъ, но въ запальчивости привсталъ со стула, и отъ злости кровь бросилась ему въ голову. Онъ выбранилъ Нѣделя, насколько это было совмѣстимо съ достоинствомъ судьи, и посулилъ ему такой строгій приговоръ, какой только будетъ въ состояніи придумать.

Ньедель, при явномъ неодобрении судебного персонала, удалился.

Толпа разступилась передъ нимъ, какъ передъ зачумленнымъ, въ то время какъ онъ неторопливо покидалъ помѣщеніе суда и вышелъ вонъ.

Разочарованіе было полное. Оживленное настроеніе поддерживалось за завтракомъ, благодаря ожиданію лакомаго куска, а теперь всѣ надежды рухнули. Въ душевной полутемной комнатѣ стало вдругъ до невѣроятности не уютно, ноль сдѣлался скользкимъ отъ грязныхъ сапогъ, а дождь такъ и хлесталъ въ окна.

Уѣздный начальникъ посмотрѣлъ на часы, всталъ и ушелъ съ однимъ изъ писцовъ въ свою комнату. Слышно было, какъ они тамъ шумѣли и двигали сундукъ.

Окружной судья пришелъ въ неописуемую ярость и давалъ это чувствовать и другу, и недругу. Остальныя дѣла онъ началъ вершить съ головокружительной быстротою, и горе тому, кто пытался задержать его. Вынувъ часы изъ жилетнаго кармана, онъ положилъ ихъ передъ собой на столъ. Только неисправимый адвокатъ Крузе и тутъ продолжалъ диктовать свои протоколы.

Окружной судья зашевелился на стулѣ.

— Я принужденъ замѣтить господину адвокату Крузе, что занесеніе въ протоколъ имѣетъ извѣстные предѣлы.

Крузе спокойно вынулъ часы.

— Я не превысилъ положеннаго срока.

— Это весьма вѣроятно; но люди стараются оказывать извѣстное уваженіе приличіямъ.

— Прежде всего я долженъ заботиться о выгодахъ моихъ кліентовъ!—отпарировалъ Крузе и опять началъ требовать занесеній въ протоколъ.

— Слѣдующее дѣло!—крикнулъ, наконецъ, судья, когда Крузе уgomонился.

Изъ прохода протиснулся хмурый крестьянинъ малаго роста: выкликали его дѣло,—имена показались ему знакомыми.

— Ну-съ,—сердито вскричалъ судья:—кто ходатай по этому дѣлу?

— Адвокатъ Бойезенъ,—былъ отвѣтъ.

— Но Бойезенъ отсутствуетъ... кто его замѣняетъ? Ну-съ!

Карсъ проворно подошелъ къ столу; онъ только что разговаривалъ съ товарищемъ у окна.

— Въ чемъ состоитъ дѣло, Крузе?—шепотомъ освѣдомился онъ.

— Надо сначала заглянуть въ списки!—вслухъ отвѣтилъ Крузе.

— Болванъ!—проворчалъ Карсъ и затѣмъ почтительно обратился къ судѣ и просилъ занести въ протоколъ, что за истца ходатайствуетъ Бойезень, и черезъ посредство Карса просить отсрочки до слѣдующаго засѣданія.

— Отсрочки?—удивленно протянулъ судья.

— Для допроса новаго свидѣтеля...—продолжалъ Карсъ.

— Гдѣ живетъ этотъ новый свидѣтель?—алобно освѣдомился судья; онъ прекрасно зналъ, что адвокатъ не имѣетъ о дѣлѣ ни малѣйшаго понятія.

— Въ Нальдалѣ!—невозмутимо отвѣчалъ Карсъ, сохраняя серьезную фізіономію. Звучный голосъ и жесты, полные чувства собственнаго достоинства, чрезвычайно подходили къ торжественному судовому разбирательству.

Судья глазами одобрилъ ловкаго адвоката, и двое изъ писцовъ подмигнули, но Карсъ, стоя лицомъ къ публикѣ, остался невозмутимымъ и, когда просьба его была уважена (Тофте, повѣренный барышника съ буланой кобылой, не нашелся что возразить),—удалился съ глубокимъ поклономъ что всегда производитъ хорошее впечатлѣніе.

— Слѣдующее дѣло!—крикнулъ судья.

— Больше дѣлъ не имѣется.

— Слава, Тебѣ, Господи!—судья спряталъ часы въ карманъ.—Спросите у уѣзднаго начальника, нельзя ли намъ велѣть запрягать?

Судебныя разбирательства были окончены. Засѣдатели, съ напряженнымъ вниманіемъ слѣдившіе за ходомъ дѣла, подписали протоколъ, и раньше чѣмъ сѣрая публика толкомъ поняла, въ чемъ дѣло, весь судебный персоналъ снялся съ мѣста, адвокаты разсѣялись во всѣ стороны, а писцы набросились на большія книги протоколовъ, чтобы уложить ихъ.

Хмурый, молчаливый крестьянинъ вмѣстѣ съ волной народа вышелъ во дворъ; онъ ничего не понималъ, пока не нашелся человекъ, который ему объяснилъ, что дѣло отложено.

— Отложено?—пробормоталъ онъ, все еще недоумѣвая. Онъ ошупью, въ темнотѣ, тискался между телѣжекъ, пока не нашелъ свою, заползъ въ нее и, громыхая, отправился во свояси.

Большая коляска стояла передъ крыльцомъ суда. Большинство адвокатовъ уже разсѣлось по своимъ экипажамъ, длинной вереницей стоявшимъ за коляскою; только Тофте расхаживалъ еще, прощаясь и со смѣхомъ перекидываясь шуточками со своими знакомыми изъ крестьянъ.

Карсъ, у котораго была бойкая лошадь, сидѣлъ и ругался втихомолку, такъ какъ дѣло стало за уѣзднымъ началь-

никомъ. Уфхатъ впередъ онъ не дерзалъ: судья этого не долюбливалъ.

Между тѣмъ, послѣдній преспокойно стоялъ въ комнатѣ и болталъ съ женою старосты, наблюдая черезъ окно за шедшими во дворъ приготовленіями къ отъѣзду. Онъ всегда оказывался первымъ, когда все было готово, но любилъ заставлять себя ждать.

Наконецъ, онъ сѣлъ, коляска тронулась, и маленькіе экипажи послѣдовали за ней.

— Ахъ, да,—сказалъ уфадный начальникъ, умачиваясь поудобнѣе на заднемъ сидѣннѣ:—я часто думаю, когда вижу, вотъ какъ сегодня, огромное сборище народа, такое почтительное передъ начальствомъ... Эти современные бунтовщики могутъ кричать, сколько имъ угодно, но имъ никогда не удастся подорвать традиціонное уваженіе къ властямъ! Народъ нашъ слишкомъ религіозенъ, слишкомъ преданъ...

— И слишкомъ тупоуменъ,—дополнилъ окружной судья.

— Да, вы, можетъ быть, правы,—согласился тотъ и откинулся на спинку коляски, чтобы слегка вадремнуть, если это удастся.

Толпа осталась позади, не получивъ отвѣта на большинство вопросовъ. Отъѣздъ состоялся такъ поспѣшно, и всѣ важные господа были такъ угрюмы, что сѣрые просители даже не рискнули къ нимъ обратиться за разъясненіями. Тѣмъ не менѣе, не слышно было ни одного недовольнаго слова, только кое-гдѣ раздавался подъ сурдинку невеселый смѣхъ, да кое-кто покачивалъ головой. И хотя никто ничего не говорилъ, но, быть можетъ, для душевнаго спокойствія уфаднаго начальника, было лучше, что онъ не могъ знать ихъ мыслей.

Наступилъ вечеръ,—сырой, дождливый вечеръ. Узенькая полоска на западномъ горизонтѣ заалѣла. Передъ крыльцомъ стариннаго дома стояли кухарка и другая прислуга, съ раскраснѣвшими и усталыми лицами отъ недавнихъ торжественныхъ приготовленій; они дышали свѣжимъ воздухомъ и сматрѣли вслѣдъ удалявшимся экипажамъ.

Народъ разошелся во всѣ стороны, по дорожкамъ и полевымъ тропинкамъ; поодиночкѣ и попарно плелись крестьяне къ своимъ дворамъ, засунувъ руки въ карманы, промокшіе и усталые.

Лоцманскій старшина направился по большой дорогѣ къ дому; онъ фхалъ на быстрой лошади и многихъ обгонялъ. Такъ нагналъ онъ Ньеделя, шедшаго пѣшкомъ.

— Садись-ка, подвезу, Ньедель!

Ньедель повиновался, и они поѣхали дальше. Нѣсколько минутъ спустя нагнали они телѣжку, тащившуюся шагомъ.

— Эй! Посторонись!—крикнулъ Зеегусъ.

Громоздкая телѣжка неуклюже свернула съ дороги, и смотритель поѣхалъ впереди.

Въ отставшей телѣжкѣ сидѣлъ хмурый, молчаливый мужиченко; онъ не спѣшилъ, и предстоящій длинный путь очевидно не радовалъ его. Старая рыжая кобыла шла или скорѣе пошатывалась въ оглобляхъ; она отъ старости совершенно выцвѣла и обросла длинной, бурой шерстью, на подобіе козы. Глядя на нее, крестьянинъ невольно вспомнилъ о буланкѣ,—и при этой мысли ему жутко стало возвращаться домой. Ни жена, ни дѣти не сомнѣвались, что онъ приведетъ сегодня буланку. Старшій мальчикъ даже предусмотрительно снабдилъ его недоуздкомъ, чтобы удобнѣе вести ее...

Онъ зналъ, что семья съ чердака глядитъ на дорогу, поджидая его возвращенія; конечно, издали видно будетъ, что буланки нѣтъ. Но тогда всѣ вообразятъ, что карманы главы семейства набиты ассигнаціями и шиллингами.

Онъ заглянулъ на дно телѣжки: тамъ лежалъ недоуздокъ. Какъ объяснить домашнимъ, что дѣло отложено? Старая рыжая кобыла смахивала на мокрую кошку... И онъ вспомнилъ, какая нѣжная шерстка была у буланки, какія у нея были гладкія и круглыя бедра...

IV.

Подѣхавъ ко двору Ньеделя, лоцманскій старшина взошелъ вмѣстѣ съ нимъ. Домъ былъ пустъ и дверь открыта; по хижинѣ бѣгала кошка и мяукала. Ньедель, не говоря ни слова, пошарилъ по полкамъ и нашелъ чего поѣсть. Зеегусъ посидѣлъ немного, наблюдая за высокой, неповоротливой фигурой, которая двигалась по комнатѣ, безпомощно занимаясь непривычными мелочами.

— Послушай, Ньедель,—сказалъ онъ, наконецъ:—я думаю, что ты наймешь себѣ новую служанку?

— Нѣтъ, нѣтъ!—крикнулъ Ньедель и такъ топнулъ ногой, что полъ задрожалъ.

— Ну, ну, смотри, не сожри меня отъ ярости!—отмахнулся Зеегусъ.

Закусывая, Ньедель попросилъ Зеегуса написать письмо Христинѣ. Но такъ какъ въ домѣ ничего не было, чѣмъ и на чемъ писать, рѣшено было, что Зеегусъ напишетъ дома у себя и затѣмъ прочтаетъ письмо Ньеделю.

— Но объ чемъ же ей писать?

— Только не о сегодняшнемъ днѣ,—сказалъ Ньедель.

— Нѣтъ, нѣтъ. Можно бы и сейчасъ, но...

— Пиши, чтобъ она на меня не сердилась, обо мнѣ не беспокоилась. Мнѣ хорошо. Очень хорошо. Такъ напиши. Ни въ чемъ недостатка я не чувствую...

— Самъ справишься со всѣмъ и по ней не скучаешь?..

— Ахъ, да, дай Богъ памяти: что я за нее боюсь, вотъ что напиши! — продолжалъ Ньедель, раскачивая туловище свое взадъ и впередъ.

— Но вѣдь это огорчить ее, что ты за нее боишься?

— Правда твоя... Такъ лучше объ этомъ вовсе не упоминай!.. — поспѣшно согласился Ньедель. — Напиши... Да ты самъ лучше знаешь, что писать, на то ты и въ школу ходилъ. Однимъ словомъ, пиши такъ, чтобы не огорчить и не разстроить Христину. Мнѣ все равно...

— Не лучше ли написать также и твоему брату?

— Это вѣрно, старшина. Сблаговоли черкнуть Андерсу, чтобы онъ приглубилъ ее. Если желаетъ, можетъ и деньжонокъ получить за это.

— Разумѣется, пожелаетъ.

— Андерсъ не промахъ малый! — подтвердилъ Ньедель. — Онъ еще ребенкомъ попалъ въ чужіе люди. И мать тоже говорила: „ты у меня, Ньедель, большой дуракъ, а Андерсъ хитеръ, какъ лисичка!“.

— Но почему же не ему досталась мыза, разъ онъ старшій?

— Онъ самъ пожелалъ уступить ее мнѣ.

— Твой братецъ хорошо зналъ, что дѣлалъ, когда награждалъ тебя этой подлой мызой, а себѣ взялъ капиталъ! — сказалъ смотритель.

— Не надо осуждать Андерса, — возразилъ Ньедель: — онъ очень способный малый. Я отлично помню, какъ мы съ нимъ собирали тамъ, наверху, въ Хальде, степныя травы для матушки. Андерсъ ужасно проворно набиралъ цѣлый коробъ!

— Но тащилъ этотъ коробъ домой — ты.

— Ну, да, разумѣется, я! Я былъ посильнѣе брата.

— Чѣмъ онъ теперь служить, этотъ, вашъ Андерсъ? — спросилъ смотритель.

— Онъ занимаетъ какое-то важное мѣсто. Но я не могу сказать какое. — И Ньедель началъ рыться въ ящикѣ стола что-бы отыскать старое письмо своего брата.

Кто-то тихонько приподнялъ щеколду у кухонной двери, и слышно было, какъ кто то ощупью пробирался черезъ кухню. Благодаря скверной погодѣ, было уже совершенно темно, и только вдаль, на сѣверо-западѣ, оставалась узкая свѣтлая полоса, которая немного освѣщала комнату.

Но когда вошелъ Серенъ Беревигъ, Ньедель задвинулъ ящикъ и сурово спросилъ:

— Ты, должно быть, пришелъ поглядѣть, очистился ли домъ отъ соблазна? Пошарь-ка въ кровати, не осталось ли его тамъ сколько-нибудь!

— Надо жить по правдѣ!—кротко изрекъ Серень:—Я хотѣлъ отъ чистаго сердца уговорить тебя, Ньедель...

— Чего тебѣ отъ меня надо?—перебилъ послѣдній.

Серень не рѣшился утверждать, что пришелъ исключительно для увѣщаній,—хотя онъ и числился помощникомъ пастора; онъ предпочелъ на этотъ разъ, вопреки своему обыновенію, приступить прямо къ цѣли.

— Я поговорилъ немножко съ адвокатомъ Тофте...—началъ онъ.

— Насчетъ дороги къ берегу?

— Да, мы немножко потолковали и объ этомъ. Онъ находитъ, адвокатъ-то, весьма глупымъ, что я лишенъ возможности извлекать пользу изъ побережья... Это могло бы... Это могло бы...

— Возбудить соблазнъ, можетъ быть? — иронически подсказалъ смотритель. Онъ стоялъ въ углу у печки и чистилъ свою трубку.

— Нѣтъ, лоцманскій старшина, не то. Онъ нашелъ, что изъ-за канавы можно потягаться.

— У меня есть купчая крѣпость, и она въ порядкѣ,—стоялъ на своемъ Ньедель.

— Да, да, я знаю, что есть.—Серень пошелъ къ двери.—Вотъ и все. Я только хотѣлъ зайти предупредить тебя, что мы собираемся начать...

— Начать?—переспросилъ Зеегусъ.

— Ну, да. Предъявить искъ!

— Процессъ!—вскричалъ Зеегусъ и подошелъ ближе.—Объ этомъ стоитъ подумать, Ньедель! Я знаю людей, которые изъ за тяжбъ лишались всего имѣнія. Не мало хорошихъ людей адвокатъ Тофте вогналъ въ гробъ!

— Тебѣ бы не слѣдовало такъ отзываться о твоихъ ближнихъ, Зеегусъ! Впрочемъ, адвокатъ полагаетъ, что процессъ продлится долго и потребуетъ много денегъ.

— Ну, будь что будетъ, а я канаву рою! — объявилъ Ньедель.

— Вотъ ужъ этого тебѣ не придется дѣлать, Ньедель! Начальство тоже бывало и запретило копать.

— Запретило?

— Да! Тебѣ придется подождать, пока тяжба не кончится въ твою пользу,—пояснилъ Серень.

Ньедель сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по комнатѣ, зацѣпилъ за стулъ и растерянно поглядѣлъ на Зеегуса. Но въ концѣ концовъ онъ вернулся къ своему главному доводу:

— У меня есть купчая крѣпость отъ епископа изъ Христианзанда! — сказалъ онъ рѣшительно и ударилъ одной ладонью по другой.

— Ты могъ бы спросить у епископа, что онъ скажетъ насчетъ побережья съ тростникомъ! — ласково посовѣтовалъ Серень и покосился на Ньаделя.

— Да, это правильно, Серень, — согласился лоцманскій старшина: — это не трудно сдѣлать!

— Быть можетъ, обратиться къ самому королю было бы еще правильнѣе! — тихонько произнесъ Серень, глядя въ окно.

— Положимъ, король повыше епископа! — возразилъ Ньадель: — но только отвѣтитъ ли онъ на вопросъ?

— Вотъ если мы предоставимъ дѣло на разсмотрѣніе министерства...

— Кого? — переспросилъ Ньадель.

— Министерства! — не безъ важности повторилъ Серень.

— Зеегусъ, — сказалъ Ньадель: — тамъ служить Андерсъ, теперь я припоминаю. Я только запомнилъ самое слово. Но развѣ отсюда можно добраться до короля?

— Да, — пояснилъ Зеегусъ: — отсюда прямая дорога къ королю.

Ньадель призадумался. Это предложеніе улыбалось ему больше, чѣмъ тяжба. Кромѣ того, Андерсъ можетъ заняться этимъ дѣломъ. Хорошо бы разомъ положить конецъ всякимъ пререканіямъ: вѣдь, кажется, сомнѣнія не можетъ быть, что законъ будетъ на сторонѣ Ньаделя!

Серень сначала сдѣлалъ видъ, что ему ужасно хочется судиться; но затѣмъ какъ будто изъ любезности далъ убѣдить себя. Мало того, онъ взялъ на себя хлопоты по доставкѣ прошенія и обѣщалъ позаботиться объ отмѣнѣ запрещенія.

— Но ты долженъ заплатить адвокату Тофте, Ньадель!

— Ты затѣялъ тяжбу, Серень, а не я!

— Да, но вѣдь канаву-то копаешь ты!

Лоцманскій старшина убѣдилъ ихъ придти къ полюбовному соглашенію и заплатить издержки пополамъ. Съ тѣмъ Серень и ушелъ.

Было уже поздно, и Зеегусъ торопился домой.

Проводивъ его, Ньадель пошелъ въ хлѣвъ. Коровы, шесть штукъ, безпокойно ревѣли: онѣ не получили корму и не были выдоены. Кое какъ Ньадель раздѣлался съ этой работой, хотя взялся за нее довольно неловко. Животныя не знали его; кромѣ того, самъ онъ былъ такого огромнаго роста, а руки имѣлъ неуклюжія и жесткія; коровы погами опрокидывали ведро или вѣбалтывали молоко. Ньадель ворчалъ и усми-

рялъ ихъ, какъ умѣлъ,—но когда онъ кончилъ, наступила уже ночь.

Наконецъ, на волѣ онъ опять выпрямился (въ хлѣву пришлось все время сидѣть на корточкахъ) и поглядѣлъ вдаль, на море. Воздухъ прояснился; онъ могъ даже разглядѣть свою канаву, въ видѣ темной полосы среди песка. Онъ радовался, что можетъ теперь съ чистой совѣстью снова приняться за канаву. Отвѣтъ отъ короля, разумѣется, не заставитъ себя долго ждать, разъ у берега такъ и снуютъ взадъ и впередъ многочисленные пароходы; что же касается до его правоты, то въ этомъ не можетъ быть никакого сомнѣнія.

Онъ даже отчасти заранѣе наслаждался разочарованіемъ Серена Беревига и подсчитывалъ, сколько можетъ пройти дней до полученія отвѣта.

Нъдель разлилъ молоко по горшкамъ, при чемъ пролилъ половину кругомъ.

Потомъ онъ пошелъ наверхъ, сунулъ голову въ комнату Христины и оглядѣлся въ полумракѣ, вдыхая привычный запахъ. Затѣмъ заперъ дверь и сунулъ ключъ въ карманъ. Когда онъ спускался по лѣстницѣ, которая звучно скрипѣла въ опустѣломъ домѣ, онъ случайно припомнилъ слова Серена Беревига, что правые всегда получаютъ удовлетвореніе.

Долго лежалъ онъ и не могъ уснуть. Его головѣ пришлось сегодня слишкомъ много трудиться, а тѣлу слишкомъ мало. Онъ скучалъ по благотворной работѣ для рукъ и ногъ, потягиваясь въ кровати; и вотъ, поневолѣ, онъ началъ припоминать всю слышанную имъ за день болтовню...

Нъдель, который прежде могъ храпѣть на пари въ самую страшную бурю, съ досадой слышалъ теперь, какъ мяукала кошка, бродившая то по кухнѣ, то у дверей Христины. И это мѣшало ему спать...

V.

Когда большая рѣка наталкивается на выдающийся мысъ, вода огибаетъ выступъ, но дѣлаетъ позади изгибъ и наполняется заливъ предъ мысомъ небольшимъ водоворотомъ.

Если кусочекъ дерева несется внизъ вдоль берега рѣки и его затащить въ это кольцо, то онъ сначала кругообразно вертится въ заливѣ, затѣмъ доплываетъ до самого выступа, а потомъ сильное теченіе гонитъ его обратно, и онъ опять кружится до безконечности.

Такое кругообразное вращеніе называется водоворотомъ.

Безчисленные водовороты, которые жизнь образуетъ въ своемъ теченіи, бываютъ иногда такъ малы, что въ нихъ хва-

жизнь мѣста кружиться только для одного человѣка; временами же они такъ велики, что даютъ помѣщеніе цѣлымъ семействамъ или даже цѣлымъ партіямъ. Да, въ исторіи бывали примѣры такихъ водоворотовъ, которые захватывали и заставляли кружиться цѣлый народъ; потокъ времени гналъ ихъ, но не уносилъ съ собою.

Такъ же и общественная жизнь страны имѣетъ свои водовороты, и въ Норвегіи примѣромъ могутъ служить министерства. Безчисленныя массы медленно вращающихся бумагъ, какъ водоворотъ, кружатся вокругъ глубокой, вѣчно пустой воронки, которая между тѣмъ все поглощаетъ, заставляетъ вертѣться, — а затѣмъ все исчезаетъ и пропадаетъ безъ слѣда.

Каммергеръ Дельфинъ отложилъ перо, налилъ себѣ стаканъ и выпилъ его, кивнувъ самому себѣ въ зеркало. То было уже поздною ночью; онъ сидѣлъ въ бѣломъ галстухѣ и низко вырѣзанномъ жилетѣ; фракъ онъ скинулъ, такъ какъ ему было жарко.

Георгъ Дельфинъ вернулся съ бала и теперь наслаждался дома сигарой въ своей изящной холостой квартирѣ въ Вергеландштрассе. У него была привычка поздно ложиться — въ особенности по возвращеніи изъ гостей, — и если онъ не игралъ на фортепіано, то что-нибудь писалъ.

На утро онъ тогда чувствовалъ себя плохо и употреблялъ много воды какъ внутрь, такъ и снаружи. Когда же онъ затѣмъ выходилъ въ комнату, гдѣ мадамъ Бэррезенъ, его экономка, уже приготовила завтракъ, — онъ былъ по обыкновенію изященъ и свѣжъ, какъ юноша. Положимъ, ему не было еще и сорока лѣтъ, — но временами онъ казался старше, въ особенности, когда началъ терять свои красивые, кудрявые волосы.

Позавтракавъ и прочитавъ газету, директоръ департамента обыкновенно вставалъ и шелъ въ министерство. Но сначала онъ просматривалъ все то, что написалъ ночью. Часто это кончалось тѣмъ, что онъ разрывалъ все написанное на мелкіе клочки и кидалъ въ печку, къ большому неудовольствію аккуратной мадамъ Бэррезенъ.

Стояло тихое, прекрасное, осеннее утро. Дворцовый паркъ красовался во всемъ своемъ блескѣ; желтая и красная листва красовалась въ перемежку съ зеленой. Легкая изморозь предыдущей ночи лежала на травѣ лишь въ видѣ блестящей росы. На зеркальной поверхности пруда облетѣвшіе листья и лебединыя перья напоминали флотилію, ожидающую попутнаго вѣтра. Воздухъ былъ такъ живителенъ, что люди останавливались и вдыхали его полной грудью. Заслоня глаза отъ солнца, они испытывали тоскливое чувство, когда че-

реазъ фіордъ и низкія вершины горъ глядѣли на югъ, откуда солнце, сквозь бѣлую завѣсу тумана, разсыпало свои лучи.

Стоило камергеру показаться на улицѣ, какъ отовсюду сыпались привѣтствія, потому что весь свѣтъ былъ ему знакомъ. Но и въ оцѣнкѣ привѣтствій у него была большая опытность.

По лошадямъ онъ узнавалъ, кто сидитъ въ экипажѣ, и сообразно съ этимъ кланялся; онъ ни разу не прозввалъ пожилой дамы или молодой женщины, сидѣвшей у себя дома и желавшей отвѣтить на поклонъ изъ окна; въ тоже время онъ не упускалъ изъ виду обоихъ сторонъ тротуара и подмѣчалъ, не снимаетъ ли ему кто-нибудь шляпы на углу улицы; ему даже хватало еще времени привѣтствовать проезжающихъ мимо, по особой дорожкѣ, всадниковъ.

Благодаря всему этому, онъ занялъ среди столичнаго общества выдающееся положеніе, хотя его, можетъ быть, больше боялись, чѣмъ любили, такъ какъ онъ обладалъ острымъ языкомъ и рѣшительно все зналъ.

Передъ однимъ магазиномъ на Кенигштрассе стоялъ одноконный экипажъ министра Беннехена; Георгъ Дельфинъ только что хотѣлъ что-то спросить у кучера, какъ изъ лавки вышла фрейлейнъ Гильда Беннехенъ.

— Ахъ, милѣйшій господинъ камергеръ, — сказала она: — побѣдьте со мною домой. Мама послала меня подобрать отдѣлку къ платью, а я навѣрно выбрала что-нибудь не подходящее. Но если вы будете при этомъ присутствовать, она не рѣшится бранить меня.

— Мнѣ очень грустно, фрейлейнъ, но я какъ разъ направляюсь въ министерство. Что скажетъ вашъ уважаемый батюшка, если я опоздаю?

— Ахъ, какіе пустяки! Развѣ я повѣрю, что вы боитесь папы? Вѣдте! — она указала ему мѣсто рядомъ съ собою, и онъ сѣлъ.

Молодой человѣкъ, переходившій въ это время улицу, подъ руку съ дамой, сказалъ ей:

— Я не удивляюсь, что камергеръ Дельфинъ не сразу рѣшился ѣхать съ фрейлейнъ Беннехенъ...

— Чего же тутъ удивительнаго, Боже мой! Она такъ страшна!

— Ужасные волосы, отвратительный цвѣтъ лица, громадный ростъ, крошечный носъ, отсутствіе фигуры... Единственно что у нея недурно, такъ это глаза.

— Вы находите, что у нея недурны глаза? — воскликнула дама и подняла глаза къ небу.

— Конечно, имъ далеко до другихъ глазокъ, которые, я знаю... — галантно пояснилъ молодой человѣкъ: — но все же

это единственное, чѣмъ можетъ похвастаться фрейлейнъ Беннехенъ.

— Да, да. У нея глупые, сонливые, собачьи глаза.

— Она и на самомъ дѣлѣ должно быть глупа?

— Какъ гусь! Это всѣмъ извѣстно.

Между тѣмъ, Дельфинъ вернулся съ фрейлейнъ Беннехенъ по той же дорогѣ, по которой пришелъ: министръ жилъ на улицѣ Христіана Августа. Въ прихожей встрѣтили они высокую молодую дѣвушку, которая привѣтствовала дочь министра.

— Кто это?—спросилъ каммергеръ.

— Племянница Мо, по имени Христина. Неправда ли, хорошенькая?

— По моему черезчуръ велика, — отвѣчалъ онъ.

— Альфредъ находитъ ее красавицей. Онъ знавалъ ее тамъ, гдѣ служилъ раньше.

Квартира министра Беннехена была поставлена на аристократическую ногу: все было на то, чтобы импонировать. Двери стояли настежь черезъ цѣлую амфиладу большихъ комнатъ, которыя заканчивались будуаромъ супруги министра, съ пушистыми коврами и тяжелыми портьерами.

Супруга министра Беннехена встрѣтила каммергера съ неподдѣльной радостью: она цѣнила его посѣщенія. Гильда, съ облегченнымъ сердцемъ, убѣдилась, что сдѣлала геніальный маневръ, пригласивъ съ собою каммергера.

На фрау Беннехенъ была свѣтло-сѣрая утренняя блуза, а на головѣ маленькій кружевной чепчикъ. Не смотря на свои пятьдесятъ пять лѣтъ, это была красивая женщина, съ умными, холодными глазами. Въ молодости она считалась красавицей и навсегда сохранила замѣтное пристрастіе къ изящнымъ мужчинамъ.

Въ обществѣ она оживлялась, хотя чисто внѣшнимъ оживленіемъ, и была непринужденно величественна. Смѣхъ ея заражалъ присутствующихъ веселостью, но былъ бы еще прелестіѣ, если бы она не опасалась за свои вставные передніе зубы.

Въ гостиной также находился младшій сынъ министра, Альфредъ, который только что вернулся въ столицу, въ сопровожденіи своего пріятеля, Хіурта.

Секретарь Хіуртъ прижался скромно въ уголокъ, — чтобы директоръ департамента не примѣтилъ его здѣсь, въ часъ службы, — но Дельфинъ привѣтливо кивнулъ ему головой.

— Сейчасъ господинъ каммергеръ выскажетъ намъ свое мнѣніе, по поводу одного дѣла!—начала фрау Беннехенъ.— Бѣдному Альфреду такъ не повезло, а папа не желаетъ при-

нять его подъ свое крылышко. Альфредъ говоритъ, что было бы честно и „по-европейски“ (его собственное выраженіе), если бы отецъ помогъ ему двинуться по службѣ. Но вѣдь вамъ извѣстно, какъ щепетилень на этотъ счетъ Даніэль! Онъ не хочетъ дать оппозиціи ни малѣйшаго повода къ недовольству или нареканіямъ. А поэтому...

— А по этому онъ хочетъ меня, бѣднаго, насильно водворить въ контрольную палату, — перебилъ ее Альфредъ: — гдѣ я не знаю ни души! А я было радовался, что буду служить вмѣстѣ съ Хіортомъ! Кстати, куда же дѣвался Хіортъ?

Послѣдній, при этихъ словахъ, выступилъ изъ-за палмы и, въ смущеніи, принялся крутить свой бѣлокурый усъ.

— Это положительно преступленіе относительно Альфреда, — продолжала фрау Беннехенъ: — Даніэль всегда былъ съ нимъ очень суровъ.

Но тутъ ей попала въ руки покупка Гильды, и вскорѣ большой столъ былъ заваленъ матеріями и отдѣлками. Каммергеръ дѣятельно помогаль хозяйкѣ, и Гильда отдѣлалась благополучно, безъ всякой головомойки.

Молодые пріатели остались вдвоемъ у окна.

— Видаль ли ты когда нибудь такое дурацкое счастье, Хіортъ? Она здѣсь живетъ, въ этомъ домѣ! Она родственница Мо! Дяди Мо!..

— Всемоущаго Андерса, — добавилъ Хіортъ.

— У васъ такъ его прозвали? — Очень мѣтко.

— Видишь-ли ты, всемоущій Андерсъ — братъ ея отца, — старой свиньи, понавшей подъ судъ за блудное сожительство. Видѣлъ-ли ты ее? Я тебя познакомлю...

— Ты зналъ ее ближе, когда она жила у себя дома?

— О да, въ достаточной степени близко! — Подмигнувъ Альфредъ.

— Ого! Ей предстоитъ участь ея отца!

— То есть? — спросилъ Альфредъ.

— Блудное сожительство... — шепнулъ Хіортъ.

Намекъ показался обоимъ до того остроумнымъ, что они принуждены были выйти черезъ столовую на лѣстницу, чтобы нахохотаться вволю.

Когда директоръ департамента вошелъ въ свой кабинетъ, было около часу. На его столѣ лежала груда новыхъ дѣлъ. Мо какъ разъ стоялъ тамъ и перелистывалъ документы въ желтой обложкѣ.

— Что тамъ такое, Мо?

— Да вотъ прошеніе! Тяжба изъ-за полоски морскаго берега, въ Вестландѣ. Внѣ порядка инстанцій...

Андерсъ Мо усвоилъ себѣ не мало юридическихъ терми-

новъ и познаній, и въ сферѣ судебныхъ разбирательствъ чувствовалъ себя свободно.

Но начальникъ бюро его не слушалъ, а занялся двумя, лежавшими тутъ же, письмами.

— Снесите всю кучу Мортенсену и попросите его просмотрѣть, рассортировать...—сказалъ онъ нетерпѣливо.

Но когда Андерсъ Мо подошелъ къ Мортенсену, то этотъ послѣдній оказался еще болѣе занятымъ, чѣмъ директоръ департамента: онъ тайкомъ писалъ передовую статью для своей газеты.

— Суньте все это пока въ „хаосъ“!—приказалъ Андерсу редакторъ, не поднимая головы.

„Хаосомъ“ называлась самая нижняя полка, у самого пола, находившаяся подъ специальнымъ вѣдѣніемъ Мортенсена.

Андерсъ Мо взялъ кипу дѣлъ и повернулъ ихъ такъ, чтобы документы въ желтой обложкѣ оказались въ самомъ низу; даже желтый край онъ загнулъ внутрь, чтобы его отнюдь не было видно; затѣмъ засунулъ всю кипу поглубже въ „хаосъ“, гдѣ уже и безъ того накопилось не мало дѣлъ.

Андерсъ Мо, который свою фамилію Фатнемо сократилъ просто въ Мо, зналъ министра Беннехена еще въ то время, когда тотъ былъ ассессоромъ.

Мо, въ тѣ времена, занимался небезвыгодной мелочной торговлей, какъ разъ рядомъ съ домомъ ассессора Беннехена. Начавъ съ нѣсколькихъ мелкихъ услугъ семейству ассессора, Андерсъ постепенно такъ вошелъ въ милость, что въ концѣ концовъ сдѣлался Беннехену и его женѣ необходимымъ.

Когда ассессоръ сдѣлался министромъ, онъ произвелъ Мо въ министерскіе курьеры. Это мѣсто пришлось по немъ, какъ будто было для него создано. Онъ всюду, сверху до низу, проскальзывалъ, словно кошка. Вскорѣ ему довѣрили всѣ закулисные тайники и закоулки,—всѣ министерскія интриги оказались у него въ рукахъ. Вліяніе, которое онъ имѣлъ на самого министра, было просто непостижимо, — и служебный персоналъ дружно рѣшилъ, что онъ самый могущественный человѣкъ въ министерствѣ.

Андерсъ Мо жилъ внизу, въ швейцарской большого дома самого министра. Хотя это было почти подвальное помѣщеніе, но стоило спуститься двѣ—три ступеньки внизъ отъ вестибюля, и комнаты оказывались свѣтлыми и уютными, а сквозь сдѣланныя въ стѣнѣ, высоко отъ пола, окна, врывались цѣлые потоки солнечнаго свѣта.

Съ тѣхъ поръ, какъ явилась Христина, средняя комната была обращена въ спальню для нея. Изъ этого вышло то, что дядѣ Андерсу для того, чтобы попасть въ свою комнату,

приходилось идти черезъ ея помѣщеніе. Понятно, это удобства не представляло, но неприличія въ этомъ никто не находилъ.

Что касается до Христины,—то дядя Андерсъ былъ съ нею такъ привѣтливъ, а большой, красивый городъ заключалъ въ себѣ столько любопытнаго и интереснаго, что она живо поборола тоску по родинѣ. Кромѣ того, она была рада, что находится между чужими людьми, которые ничего не знаютъ о позорѣ, навлеченномъ отцомъ на себя и на нее.

Такіе важные господа, какъ министры, кивали ей головой, когда встрѣчали ее въ воротахъ. Фрейлейнъ Гильда даже раза два остановилась и поговорила съ нею. Чтобы вообще знатная дама разговаривала съ ней, простой деревенской дѣвушкой,—казалось Христинѣ большимъ, чѣмъ она могла ожидать. На любезности же кандидата она, напротивъ, считала приличнымъ не обращать вниманія. Во-первыхъ, она была увѣрена, что Альфреду извѣстенъ позоръ ея отца; кромѣ того, фамиллярный тонъ молодого барина, когда онъ останавливался возлѣ нея подъ воротами или даже спускался въ комнаты, пугалъ ее. Докторъ, старшій сынъ министра, нравился ей гораздо больше,—но съ тѣмъ ей пришлось говорить всего два раза.

Христина уже двѣ недѣли жила въ городѣ, когда получила изъ дому письмо:

„Милая Христина! Кошка, все время послѣ твоего отъѣзда, тоскуетъ, и отецъ твой тоже. Только онъ это выражаетъ по-своему, а именно: роетъ, откидываетъ лопатой, и гремитъ, и стучитъ, такъ что теперь по его полямъ ѣздить можно лишь съ опасностью для жизни: столько камней, торфа и навоза летаетъ въ воздухѣ; также и улица превратилась въ капканъ для людей и скота. Владѣлецъ этой части улицы такъ и не нашелся до сихъ поръ: староста указалъ сборщику податей на меня, а сборщикъ, въ свой чередъ, указалъ на меня надсмотрщику за улицами, капитану по чину. Ну, ты можешь себѣ представить, какъ все это вышло полезно. Однако, твой отецъ устроился лучше, чѣмъ я ожидалъ,—онъ четырехъ коровъ продалъ (и хорошо сдѣлалъ, такъ какъ въ хлѣву и въ молочной былъ беспорядокъ, какъ въ Содомѣ и Гоморѣ, потому что коровы все лягались); но черная корова и та, что куплена у пастора, усмирились и ведутъ себя хорошо и даютъ хорошее молоко. По-моему, онъ даетъ имъ много корму, но онъ меня не слушаетъ и алится. Былъ у насъ вихрь. А на морѣ стоятъ и дождь, и непогода. Я прочелъ въ газетахъ, что черезъ Атлантическій океанъ и каналъ пронесся ужасный циклонъ, и что большое судно изъ Христианіи, которое шло изъ Квебека или изъ Нью-Йорка,

потеряло весь такелажъ. Такъ ты объ этомъ разузнай и подробно мнѣ опиши. Твой отецъ тебѣ кланяется, равно какъ и нижеподписавшійся.

Съ отмѣннымъ почтеніемъ

Лаурицъ Больдеманъ Зеегусъ“.

VI.

Осенью, когда всѣ съѣхались съ дачъ въ городъ, Фалькъ-Ольсены задали большой балъ. Негоціантъ придавалъ этому празднеству огромное значеніе: помимо молодыхъ людей, которые „должны были посвятить свои силы ѣдѣ“, онъ пригласилъ и нѣсколькихъ почетныхъ лицъ столицы.

Когда всѣ молодые люди были приглашены, негоціантъ подумалъ, что можно простереть приглашенія немного подалѣе, въ особенности выше, — что ему удавалось на маленькихъ вечерахъ и обѣдахъ.

Негоціантъ Фалькъ-Ольсенъ былъ еще почти новичкомъ въ столицѣ; такъ скромно начатая имъ торговля „строевымъ и столярнымъ лѣсомъ“ мало по малу приняла весьма внушительные и солидные размѣры; онъ началъ теперь изъ всѣхъ силъ стремиться попасть въ высшій свѣтъ.

Въ этомъ отношеніи рассчитывалъ онъ на министра Беннехена. Знакомство вело начало со временъ „ассессорства“ министра и, казалось, съ годами становилось все интимнѣе. Дамы высшаго свѣта нѣсколько этому удивлялись, такъ какъ Беннехены слыли за страшныхъ гордецовъ. Мужчины объясняли это дѣловыми связями: негоціантъ Фалькъ-Ольсенъ давалъ министру займы, и нѣкоторые потихоньку даже поговаривали, что онъ иногда выручалъ Беннехена изъ денежныхъ затрудненій. Въ общемъ надъ тщеславнымъ торговцемъ подтрунивали, потому что его богатство, нажитое личнымъ трудомъ, казалось большинству чѣмъ-то низкимъ, презрѣннымъ; многіе находили роскошь, которою онъ окружилъ себя, неприличной. Георгъ Дельфинъ имѣлъ обыкновеніе говорить:

— Ужасно неудобно! Разговариваешь съ господиномъ негоціантомъ Фалькомъ, а оказывается, просто на просто съ дровяникомъ Ольсеномъ!

Фрау Фалькъ-Ольсенъ не раздѣляла пристрастія мужа къ высшему свѣту; она предпочитала маленькіе дамскіе кружки и „чашки чая“. Ея происхожденіе и прошлое покрыты были мракомъ неизвѣстности, хотя (такъ, по крайней, мѣрѣ говорилъ камергеръ) ея родословное дерево было первымъ, которое срубилъ оптовый торговецъ лѣсомъ, когда началъ идти въ гору.

Тѣмъ не менѣе, она терпѣливо и съ тактомъ слѣдовала за мужемъ во всѣхъ его повышеніяхъ, и теперь занимала мѣсто въ элегантной обстановкѣ, не внося особенно рѣзкаго диссонанса.

Дельфинъ имѣлъ привычку втихомолку называть ее „мамъ Ольсенъ“; кромѣ того, остроуміе его изощрялось при описаніи „танцевальныхъ развлеченій въ залѣ Ольсенъ“; но тѣ, кто знали эту женщину, единодушно соглашались, что ея доброе, отзывчивое сердце съ избыткомъ искупаетъ маленькія шероховатости въ ущербъ хорошему тону.

Въ довершеніе всего она была красива, что тоже не вредитъ, и имѣла очень привлекательную фигуру, когда, въ дорогомъ, свѣтло-сѣромъ, муаровомъ платьѣ, прошлась по заламъ, дѣлая еще кое-какія распоряженія до прибытія гостей.

Негоціантъ тоже входилъ и выходилъ изъ комнатъ, но былъ въ безпокойномъ и нервномъ состояніи, бранилъ слугъ и поглядывалъ на часы.

— Что съ тобой сегодня, муженекъ?—спросила фрау Фалькъ-Ольсенъ:—ты такъ волнуешься, точно ждешь самого короля!..

— Болтай больше, старая!.. Смотри лучше за собой!—перебилъ ее мужъ.

Тѣмъ не менѣе, немного погодя, онъ подошелъ къ ней самъ и, смущеннымъ тономъ, которому старался придать равнодушный оттѣнокъ, сказалъ:

— Сегодня, передъ обѣдомъ, я пригласилъ консула Линда.

— Съ ума ты спятилъ!

— Ну, ну! Развѣ я не такой же человѣкъ, какъ консулъ Линдъ? Кромѣ того, все вышло такъ кстати: встрѣтились мы въ банкѣ...

— Пригласилъ ты также и его дамъ?

— Нѣтъ...—запнулся коммерсантъ.

— Тогда и не жди его. Онъ не будетъ. Ты сдѣлалъ не ловкость, Оле Юганнъ!

— Гм...—пробормоталъ оптовый торговецъ. Онъ давно признавалъ, что въ такого рода дѣлахъ жена его оказывалась всегда правой.

Тѣмъ временемъ вошла ихъ старшая дочь, и негоціантъ началъ испускать вопли негодованія; но жена его остановила и сказала:

— Луиза, дитя мое, что это ты такъ странно одѣлась?

Родители принялись осматривать дѣвушку со всѣхъ сторонъ.

На фрейлейнъ Луизѣ было черное шерстяное платье съ высокими воротомъ и бѣлымъ крахмальнымъ воротничкомъ; бѣлокурые волосы закручены были на затылкѣ узломъ; большія, неуклюжія, бумажныя перчатки на рукахъ дополняли ея бальный туалетъ.

Сначала она попробовала съ твердостью выдержать осмотръ родителей, но вдругъ не выдержала и залилась слезами.

— Это Гансъ... Это Гансъ сказалъ... велѣлъ... запретилъ иначе являться на балъ!..—бормотала она, рыдая.

— Гансъ!—закричалъ гнѣвно коммерсантъ:—онъ скоро поперекъ горла мнѣ станетъ, этотъ Гансъ! Если онъ не перестанетъ мучить тебя, то, право, тебѣ слѣдуетъ отказать ему!

— Тихе, тихе, Оле Юганъ! Не выходи изъ себя. Дай мнѣ переговорить съ Луизой. Я слышу, что кто-то уже воится въ передней...

Хозяинъ поспѣшно прошелъ по комнатамъ, чтобы встрѣтить первыхъ гостей, между тѣмъ какъ его жена и дочь ушли наверхъ, чтобы заняться туалетомъ.

Первыми явились двое долговязыхъ молодыхъ людей. Въ смущеніи они прятались другъ за друга, пока, наконецъ, не нашли себѣ пристанища въ углу самой отдаленной комнаты, гдѣ и начали идиотски фыркать, не то другъ надъ другомъ, не то безъ всякой причины.

Начинали подъѣзжать экипажи; гости собирались; хозяинъ встрѣчалъ ихъ въ первой комнатѣ. Фрау Фалькъ-Ольсенъ заняла мѣсто въ комнатѣ передъ дамской гостиной.

Младшая дочь Софи и камеристка занялись Луизой и, немного спустя, обѣ сестры вышли вмѣстѣ.

Фрейлейнъ Софи была красивая дѣвушка и любимица отца, у котораго составилъ планъ выдать ее замужъ въ высшій свѣтъ; онъ неутомимо выискивалъ ей жениховъ. Софи, полушутя, относилась къ этимъ затѣямъ; но когда однажды отецъ предложилъ ей камергера Дельфина, она задумалась и сказала, что подумаетъ, прежде чѣмъ отвѣтить.

Въ этотъ вечеръ на ней было бѣлое платье съ шелковымъ корсажемъ и массой бантиковъ. Дѣвушка была прелестна, когда шепотомъ объясняла матери, сколько хлопотъ претерпѣла съ Луизой.

Луиза же имѣла видъ овцы, ведомой на закланіе. На нее надѣли бѣлое платье и приличные перчатки; камеристка, воспользовавшись удобнымъ моментомъ, воткнула ей въ волосы вѣтку ландышей. Тревожнымъ взглядомъ оглядѣла она всѣ углы, разыскивая Ганса, но такъ какъ его нигдѣ не было видно, то она приняла сперва одно, а затѣмъ и другое при-

глашеніе на танцы,—что ей тоже строго запрещалось. Кончилось тѣмъ, что какъ-то незамѣтно для самой себя, она очутилась среди своихъ подругъ и пріятельницъ, и болтала, и смѣялась; протянувъ одному господину свою карточку для записи танцевъ, она крайне удивилась, когда оказалось, что ни одного свободного танца у нея не осталось. Ея любимая подруга, Каролина Гельмъ, увѣряла ее, что никогда еще не видала ее такой интересной; но совѣсть жестоко ее мучила.

Комнаты начали наполняться. Посреди большой залы стояли молодыя дѣвицы и представлялись, будто чрезвычайно оживленно бесѣдуютъ; на самомъ же дѣлѣ весь разговоръ состоялъ изъ восклицаній и пустыхъ, перекрестныхъ вопросовъ, прерываемыхъ дѣланымъ, нервнымъ смѣхомъ; каждая изъ дѣвицъ поглощена была важнымъ и единственно интереснымъ для нея вопросомъ: какъ бы поскорѣе найти кавалеровъ на всѣ танцы.

Мужчины толпились въ дверяхъ, совершая временами набѣги, съ дѣловитымъ видомъ пересѣкали комнаты, раскланивались, приглашали дамъ на танцы, бѣжали назадъ и впередъ, путались въ длинныхъ шлейфахъ и теряли свои карандаши.

Оба друга, — секретарь Хіортъ и кандидатъ Альфредъ Беннехенъ — ухаживали взапуски за фрейлейнъ Софи Фалькъ-Ольсенъ. У нея оказался свободнымъ только одинъ танецъ, и она отдала его Беннехену. Хіортъ изобразилъ на лицѣ отчаяніе и поспѣшилъ пригласить Гильду Беннехенъ, стоявшую поблизости.

У этой послѣдней оставалось еще много свободныхъ танцевъ; хотя она, какъ дочь министра, и была гарантирована отъ чрезчуръ частаго сидѣнія на родительской скамейкѣ, но никто не торопился приглашать ее, и никто не скрывалъ, что танцуетъ съ ней по обязанности.

Камергеръ Дельфинъ, котораго Фалькъ-Ольсенъ черезъ Беннехена, привлекъ въ свой кружокъ, танцовалъ вообще рѣдко. Онъ любилъ говорить, что слишкомъ старъ; если же рѣшался иногда, то выбиралъ солидныхъ дамъ.

Теперь, увидавъ недовольную гримасу Хіорта, который пригласилъ Гильду Беннехенъ, онъ вдругъ прошелъ залу и попросилъ дочь министра удѣлить ему какой-нибудь танецъ.

Она вся вспыхнула и недовѣрчиво вскинула на него глаза: онъ способенъ посмѣяться надъ ней! Между тѣмъ, онъ уже взялъ ея карточку и выпросилъ у нея французскую кадрили, послѣ ужина. Отказать было неудобно, хотя и хотѣлось такъ сдѣлать.

Инцидентъ привлекъ вниманіе всей залы. Дамы начали перешептываться, усмѣхаться.

Гильда Беннехенъ почувствовала себя несчастной и, въ своемъ смущеніи, сдѣлалась еще уродливѣе обыкновеннаго. Она пріютилась подъ защиту Луизы, которая, въ припадкѣ раскаянія, жаловалась на свою долю Каролинѣ Гельмъ.

Двое кавалеровъ, подмѣтившихъ, что камергеръ пригласилъ фрейлейнъ Беннехенъ, нашли это чертовски остроумной шуткой и поспѣшили послѣдовать его примѣру. Противъ обыкновенія у Гильды мигомъ наполнилась вся танцевальная карта; даже самые фешенебельные кавалеры туда по-
нали.

Баль открылся, какъ водится, полонезомъ, при чемъ въ первой парѣ пошли хозяинъ и жена министра; самъ министръ еще не пожаловалъ.

— Даніель за послѣднее время страшно заваленъ работою, — извинилась за него жена.

Не появлялся также и консулъ Линдъ, такъ что Фалькъ-Олисенъ былъ не совсѣмъ удовлетворенъ. Но во время полонеза хорошее расположеніе духа почти вернулось къ нему: танецъ удался блистательно.

Камергеръ могъ изощрять свой острый языкъ, какъ хотѣлъ, но лучшаго помѣщенія для танцевъ, чѣмъ „залъ Ольсенъ“, пожалуй, не нашлось бы во всемъ городѣ. И въ то время, какъ длинная вереница нарядныхъ дамъ и кавалеровъ двигалась по залѣ подъ звуки великолѣпной музыки, глаза хозяина блистѣли гордостью.

Среди многочисленныхъ гостей были мужчины въ мундирахъ и орденахъ, коммерсанты, банкиры, профессора, камергеры, иностранные консулы, — цѣлая плеяда громкихъ, знатныхъ титуловъ, которыми хозяинъ положительно наслаждался, мѣрно шествуя съ женой министра и занимая ее разговоромъ.

— Какъ прелестна сегодня ваша Софи! — сказала она любезно.

— Я счастливъ, что слышу это отъ васъ... Хотя, по правдѣ говоря, я и самъ это нахожу. Въ Софи есть что-то городное!

— Именно это я и хотѣла сказать! — поддакнула фрау Беннехенъ, въ душѣ издѣваясь надъ нимъ.

На грѣхъ, негоціанту вздумалось въ свою очередь отвѣтить комплиментомъ, и онъ восторженно отозвался о Гильдѣ Беннехенъ, которая шла въ хвостъ полонеза съ какимъ-то замухрышкой младшимъ учителемъ или чѣмъ-то въ этомъ родѣ.

— Ахъ, полноте, пожалуйста! — перебила его фрау Бенне-

хень, принужденно смѣясь:—нашей Гильдѣ, къ сожалѣнію, нечего мечтать о красотѣ!

— Помилуйте, сударыня, напротивъ... — запинаясь, промѣнясь злополучный хозяинъ.

— Вы чересчуръ любезны! — оборвала его дама и снова принужденно засмѣялась.

Хозяинъ понялъ, что сдѣлалъ безтактность.

Но вотъ показался Альфредъ Беннехенъ, и несчастный нашелъ возможность загладить свой промахъ, на всѣ лады восхваляя молодого человѣка. Онъ имѣлъ счастье убѣдиться, что фрау Беннехенъ съ живѣйшимъ удовольствіемъ слушаетъ его комплименты, слѣдя за младшимъ сыномъ глазами.

Первый вальсъ прошелъ натянуто и вяло, хотя музыка была прекрасна, и великолѣпная бѣлая съ золотомъ зала сіяла своими тремя громадными люстрами и простѣлочными лампочками. Вдоль одной стѣны ютились маленькія ниши и укромные уголки, гдѣ царилъ полусвѣтъ и гдѣ, по словамъ фрау Беннехенъ, ноги могли отдыхать, а сердца другъ другу вѣсть подавать.

Альфредъ танцевалъ съ видомъ каменщика, зарабатывающаго свое ежедневное пропитаніе тяжелой работой. Такъ же и господинъ секретарь Хіортъ. Въ общемъ кавалеры казались угрюмыми, только нѣсколько пожилыхъ, женатыхъ мужчинъ, танцовавшихъ съ самыми юными дѣвицами, повидимому, веселились отъ всей души.

Послѣ каждаго танца кавалеры кидались въ заднія комнаты, гдѣ находились къ ихъ услугамъ пуншъ и вина. Когда начинался слѣдующій танецъ, они сердито откладывали въ сторону свои сигары и наливали себѣ большіе стаканы пунша съ сельтерской водой, или коньяку съ водой, какъ будто готовились выйти на сильный, ночной морозъ. Затѣмъ они, еле волоча ноги, отправлялись въ залъ, внося туда съ собою легкой запахъ табаку и вина.

Баль шелъ своимъ чередомъ, хотя и нѣсколько принужденно, какъ и всегда въ началѣ.

— Вы еще не разошлись... поддать пару слѣдуетъ!—ворчалъ хозяинъ съ видомъ знатока, приказывая разносить больше пуншу по разнымъ комнатамъ.

Альфредъ Беннехенъ былъ взволнованъ и велъ себя загадочно. На вопросъ, съ кѣмъ онъ танцуетъ слѣдующій танецъ, онъ отвѣчалъ уклончиво. Его пріятель, Хіортъ, все же подмѣтилъ, что на нѣкоторые танцы онъ никого не приглашалъ, точно кого-то поджидалъ.

Свирѣпый Гансъ, наконецъ, явился. Луиза, во время танцевъ, мелькомъ его видѣла. На блѣдномъ лицѣ его она

прочла свой приговоръ и чувствовала себя уничтоженной. Но юный кандидатъ Смитъ, съ которымъ она какъ разъ танцевала, рассказывалъ такіа интересныя приключенія изъ своего путешествія пѣшкомъ на Ютунгеймъ, что она поминутно забывала свое удрученіе... И пока она не отыскала глазами своего жениха, совѣсть ея (такъ выразился бы самъ Гансъ) „дремала въ грѣховной увѣренности въ своей безопасности“.

Но, когда танецъ кончился, она разыскала Каролину Гельмъ, приходившуюся ея жениху родственницей, и стала умолять ее, именемъ ихъ дружбы, подойти къ Гансу и разъяснить ему, что ее принудили нарядиться, а также спросить, неужели онъ сердится на нее...

Эту деликатную миссію Каролина взяла на себя съ большою готовностью, такъ какъ вовсе не боялась кузена Ганса. Она нашла его въ библіотекѣ, перебирающимъ книги на полкѣ.

— Добрый вечеръ, Гансъ! Я принесла тебѣ привѣтъ отъ Луизы! Она спрашиваетъ, не протанцуешь ли ты съ нею? — сказала Каролина, присаживаясь, сдѣлавъ предварительно реверансъ.

Гансъ сначала пристально поглядѣлъ на нее маленькими, свѣтло-голубыми глазками, но, видя, что это не произвело на дѣвушку ни малѣйшаго впечатлѣнія, онъ спросилъ:

— Луиза дѣйствительно просила тебя это сказать?

— Ну, да. Почему же ты сомнѣваешься? Ты, можетъ быть, думаешь, что танцевать грѣшно? Клянусь тебѣ, что соборный священникъ сказалъ намъ при конфирмаціи: „танцуйте, не смущаясь, лишь бы сердце ваше было чисто“. Ну, а у тебя вѣдь оно чисто, кузенъ Гансъ, не такъ-ли?

— Что съ тобой разговаривать, Каролина! Ты дитя суеты!

— Фу, Гансъ! какъ можешь ты такъ говорить! — обидѣлась Каролина: — понять не могу, какъ могъ ты понравиться такому милому созданію, какъ Луиза! Я бы не вышла за тебя, ни за что на свѣтѣ!

— Я постараюсь освободить Луизу изъ этого грѣховнаго дома.

— Фу, Гансъ, какой ты, право, оселъ! — проговорила неисправимая Каролина и ушла въ залу.

Наконецъ, явился министръ Беннехенъ, — высокій, красивый мужчина, гладко выбритый и румяный. Хозяинъ встрѣтилъ его въ прихожей и началъ съ нимъ носиться. Хотя они и были настолько хороши между собою, что зачѣстую съ глазу на глазъ негоціантъ обращался съ нимъ за просто, — но на балу, въ полномъ блескѣ своихъ орденовъ и дипломатической важности, министръ внушалъ къ себѣ почтеніе.

Кромѣ того, въ этотъ вечеръ, министръ былъ самымъ важнымъ гостемъ, настоящимъ свѣтиломъ пиршества, и маленький, юркій Фалькъ-Ольсенъ буквально сіялъ, сопровождая именитаго гостя по заламъ.

Хозяйка дома сердечно привѣтствовала министра; затѣмъ онъ нѣкоторое время оставался среди пожилыхъ дамъ и былъ любезенъ. Послѣ того, во время перерыва между танцами, онъ прошелся по залѣ, поздоровался съ дочерьми хозяина и ушелъ въ кабинетъ Ольсена, гдѣ собрались избранные изъ выдающихся гостей.

Появленіе министра придало балу извѣстный колоритъ. До тѣхъ поръ гости Фалькъ-Ольсеновъ чувствовали себя такъ, точно у нихъ „не хватало головы“, — какъ выразился Дельфинъ; хозяинъ и хозяйки такъ мало значили для нихъ, что терялись въ общей кутерьмѣ; о нихъ почти не думали.

Но теперь, въ лицѣ министра, балъ получилъ извѣстную точку опоры: въ качествѣ интимнаго друга дома, онъ представлялъ изъ себя, такъ сказать, гарантію, какъ бы объявлялъ вполне законными вновь испеченные блескъ и роскошь обстановки. Каждый изъ гостей почувствовалъ себя успокоеннымъ, что онъ дѣйствительно находится въ порядочномъ обществѣ и можетъ веселиться безо всякихъ угрызений совѣсти.

Теперь только танцы повелись съ увлеченіемъ. Присяжные танцоры посмѣивались, усердно работая, а хозяинъ потиралъ руки и забылъ думать о консулѣ Линдѣ.

Какъ только Альфредъ увидѣлъ, что входитъ его отецъ, онъ проскользнулъ въ прихожую, надѣлъ пальто и ушелъ.

VII.

Христина сидѣла дома въ теплой комнатѣ и писала письмо своему отцу или, вѣрнѣе, лоцманскому старшинѣ, такъ какъ Ньедель не умѣлъ читать писаное.

Дядя Андерсъ проводилъ министра до кареты и ушелъ, какъ и всегда по вечерамъ: у него было такъ много дѣла.

Дѣвушка сидѣла у стола и, задумавшись, пристально глядѣла на лампу, соображая, что бы еще написать, какъ вдругъ въ дверь постучались, и въ комнату вошелъ докторъ Беннехенъ.

— Извините! Мой отецъ поѣхалъ на балъ?—спросилъ онъ.

— Да, сію минуту,—отвѣтила Христина.

— Жалко! Я было хотѣлъ ѣхать съ нимъ.

Милѣйшій докторъ совралъ: онъ стоялъ на углу улицы, ожидая, пока карета не отъѣдетъ.

Но, хотя онъ очутился у цѣли намѣченной интрижки, однако, не зналъ съ чего начать; вѣроятно, такъ и ушелъ бы, не сказавъ больше ни слова, если бы Христина не промолвила:

— Быть можетъ, карета вернется.

— Да, можетъ статься... Даже навѣрное!.. — обрадовался докторъ.

Оба представились, будто этому вѣрятъ, хотя прекрасно знали, что карета наемная; у министра былъ только одноконный фаэтонъ.

— Не желаете-ли пока присѣсть, подождать?—предложила Христина. Дядя Андерсъ уже настолько отшлифовалъ ее, что она говорила всѣмъ „вы“.

Докторъ поблагодарилъ и затворилъ за собою дверь.

Иоганнъ Беннехенъ напоминалъ отца, но въ немъ положительно не было ничего внушительнаго. Наоборотъ, онъ именно казался такимъ, какимъ былъ на самомъ дѣлѣ, то есть, славнымъ, недалекимъ и весьма добродушнымъ малымъ; кромѣ того, онъ прихрамывалъ на лѣвую ногу.

Докторъ началъ болтать съ молодой дѣвушкой, стоя между дверью и столомъ. Онъ привыкъ къ обращенію со всякаго рода людьми, такъ что Христина хорошо его понимала. Между ними скоро завязался оживленный разговоръ о ея родинѣ, начались сравненія между деревней и городомъ и т. п.

Каждый разъ, что онъ говорилъ что-либо смѣшное, она наклоняла голову и смѣялась, при чемъ свѣтъ отъ лампы падалъ на ея роскошные, рыжеватые, вьющіеся волосы, унаследованные ею отъ отца. Повидимому, онъ ей передалъ и свое богатырское сложеніе: плечи ея были широки, грудь высока и могуча, а когда она стояла, выпрямившись во весь ростъ, то была не ниже большинства мужчинъ.

На улицѣ стоялъ вѣтряный, холодный осенній вечеръ. Но въ комнатѣ были разостланы ковры, и въ печкѣ трещалъ привѣтливый огонекъ; все было такъ уютно и чисто.

У доктора подъ пальто былъ вечерній туалетъ. Онъ распахнулся и, въ концѣ концовъ, сѣлъ почти у самаго стола, прислонясь къ стѣнѣ.

Каждый разъ, заслышавъ стукъ колесъ, они говорили: „вотъ карета“! А когда экипажъ проѣзжалъ мимо, прибавляли: „нѣтъ, это не она“.

Вдругъ постучались, дверь отворилась, и Альфредъ, прижимаясь, появился въ комнатѣ, восклицая:

— Добрый вечеръ!

Но когда онъ увидѣлъ брата, то сначала сильно смутился, а потомъ злобно разсмѣялся.

— Ай, ай! Tête à tête! Ужъ не больна ли фрейлейнъ Христина?

Христина, принявшая это за шутку, хотѣла было отвѣчать, но положительно испугалась, увидавъ мрачное лицо доктора.

— Я жду карету. Думалъ, вотъ-вотъ она вернется,—сказалъ онъ рѣзко.

— Предлогъ неподобенъ! Любовь дѣлаетъ человѣка изобрѣтательнымъ!—вскричалъ Альфредъ и закатилъ глаза.— Да? Ты ждешь карету? Какъ искусно придумано!

— Прошу не дѣлать такихъ намековъ, Альфредъ.

— Скажите, пожалуйста, онъ меня проситъ! Это не возбраняется: проси! Можетъ быть, и ты мнѣ разрѣшишь попросить тебя дать мнѣ болѣе правдоподобное объясненіе твоего присутствія здѣсь, въ такой часъ?

— А какое тебѣ дѣло до этого?

— Вотъ какъ! Слогъ дѣлается много проще. Я спрашиваю не ради себя. Я не нуждаюсь въ дальнѣйшихъ разъясненіяхъ (дѣло для меня и такъ ясно... яснѣе яснаго...)—онъ поочередно смотрѣлъ на присутствующихъ,—но, я знаю, мамѣ было бы интересно знать, почему ея первенецъ караулитъ домъ, когда всѣ прочіе отсутствуютъ.

— Я ничего не караулю! Берегись, Альфредъ!—вскричалъ Іоганнъ и сдѣлалъ шагъ впередъ.

— Не станемъ же мы марать эту хижину нашей братской кровью!—сказалъ Альфредъ, злобно скаля зубы и ретируясь за стулъ.

Христина подошла было къ доктору и хотѣла что-то сказать. Онъ же, весь блѣдный, обратился къ ней со словами:

— Не сердитесь! Прошу у васъ извиненія,—я не виновать въ этой выходкѣ. Покойной ночи! Пойдемъ, Альфредъ, намъ пора уходить.

— Намъ?—дерзко переспросилъ Альфредъ и сдѣлалъ видъ, будто хочетъ положить шляпу.

Но докторъ такъ крѣпко ухватилъ его за плечи, что возражать было уже нечего, и не успѣлъ Альфредъ опомниться, какъ очутился внѣ подвального этажа на улицѣ.

Христина стояла и слушала, какъ братья прошли мимо ея оконъ. До нея долетѣло одно слово,—и она страшно поблѣднѣла, а на лѣвомъ вискѣ ея показалось красное пятно; то былъ шрамъ отъ ушиба, полученнаго въ ту ночь, когда лавина убила ея мать и сестеръ.

Братья шли, переругиваясь, до угла улицы, гдѣ разстались, не простившись другъ съ другомъ. Теперь Іоганну уже не хотѣлось идти на балъ, и онъ отправился на свою квартиру: онъ жилъ отдѣльно отъ родителей, такъ какъ

жена министра не желала встрѣчаться на лѣстницѣ съ его паціентами изъ простонародья.

Какъ разъ сѣдѣли за столъ, когда Альфредъ вернулся на балъ.

— Гдѣ ты пропадалъ?—освѣдомился Хіортъ.

Альфредъ таинственно подмигнулъ,—въ отвѣтъ на что пріятель надавалъ ему толчковъ въ бокъ, сопровождаемыхъ различными шутливыми бранными прозвищами. Затѣмъ они протѣснились къ винному буфету, такъ какъ Хіортъ утверждалъ, будто Альфредъ очень нуждается въ подкрѣпленіи.

Накрыто было въ маленькой залѣ и въ прилегающихъ комнатахъ; сначала занялись ѣдою болѣе солидные мужчины и дамы, затѣмъ танцующія дамы разрѣшили кавалерамъ услужить имъ, но не успѣли онѣ и наполовину утолить свой аппетитъ, какъ любезные молодые люди, сообразуясь съ собственнымъ расчетомъ, уже начали толпиться у столовъ, какъ густой рой мухъ, перелетая отъ одного стола къ другому, набрасываясь на блюда и тарелки, нюхая, роясь, жуя, хлебая, поглощая,—все это молча, подъ стукъ ножей и вилокъ, дѣйствуя, точно одна сложная машина для уничтоженія съѣстныхъ припасовъ, пущенная въ ходъ.

Юный застѣнчивый студентъ Ганзенъ раздобылъ бутылку хересу; мигомъ протянулись къ нему руки со стаканами,—и простодушный студентъ все наливалъ да наливалъ, пока бутылка не опустѣла,—такъ что его собственный стаканъ остался пустымъ.

Надъ этимъ отъ души поохотали, но не долго: времени терять было некогда.

Фаршированная телячья голова, пирожки въ пикантномъ соусѣ, рыбныя клецки, черепаха, паштеты, сальме изъ дичи съ жаренымъ молодымъ картофелемъ, — все исчезало, какъ по волшебству. Кузенъ Гансъ помѣстился у мясного пуддинга со спаржей и не трогался съ мѣста, не обращая вниманія на толчки въ спину. Рядомъ съ нимъ стоялъ кандидатъ Смитъ, съ аппетитомъ, который онъ, вѣроятно, принесъ съ собой изъ Ютунгейма: онъ ѣлъ мясной рулетъ чайной ложкой и поклялся, что не пойдетъ за вилкой, пока не уничтожитъ послѣдній шампиньонъ соуса.

Хіортъ и Беннехенъ устроились похитрѣе: они заняли ность у дверей, откуда слуги приносили кушанья, и отважно накидывались на появлявшіяся блюда; съ добычей шли они въ курительную комнату, гдѣ и поѣдали свои порціи, а такъ же роспили пару бутылокъ, спрятанныхъ ими за портьеру.

Важные гости нашли себѣ мѣсто въ „собственномъ кабинетѣ“ хозяина, гдѣ имъ и прислуживали отдѣльно. Тамъ, между дамами, проявлялъ свою дѣятельность Дельфинъ; а въ

залѣ прохаживалась парочка молодыхъ дѣвицъ, которыя одинаково презирали и ѣду, и тѣхъ, кто ѣлъ.

Мало по малу дамы покончили съ ужиномъ, и рой черныхъ мухъ заработалъ щупальцами на дамскихъ столахъ, въ маленькомъ залѣ, гдѣ еще двѣ запоздавшія пожилыя дамы разнюхивали, не осталось ли головокъ спаржи или бѣленкихъ кусочковъ цыпленка.

Хозяйка, хотя и знала, что всего было вдоволь, но испытывала тревогу, при видѣ неугомоннаго роя,—и одинъ изъ молодыхъ людей, стоявшій недалеко отъ нея, услышалъ, какъ она сказала:

— Боже мой! Можно подумать, что вся ѣда проваливается въ бездонную кадку!

Фрау Фалькъ-Ольсенъ употребляла иногда вульгарныя выраженія, въ особенности, когда бывала взволнована. Это былъ родъ лингвистическаго рецидива.

Изъ кабинета хозяина слышались шумъ и говоръ, каждый разъ, какъ лакей пріотворялъ дверь. Хіорть и Беннехенъ, ужинавшіе въ сосѣдней комнатѣ, схватывали на лету отрывки разговоровъ; повидимому, тамъ шель споръ о политикѣ.

— Фалькъ-Ольсенъ всетаки скотъ, какъ его ни обтесывай!—рѣшилъ Беннехенъ между двумя глотками:—совсѣмъ не умѣетъ пригласить кого слѣдуетъ!

— Что ты?—возразилъ Хіорть:—да сегодня у него весь свѣтъ!

— Болванъ! Простофиля! Въ этомъ-то и есть его ошибка, что онъ сплошь приглашаетъ всякую шуштуру! Ты можешь сообразить, какъ неприятно моему отцу сталкиваться со всякими крикунами, которые здѣсь собираются!

— Объ этомъ я, дѣйствительно, не подумалъ!—глубокомысленно произнесъ Хіорть.

— Третьяго дня я слышалъ, какъ отецъ сказалъ Фалькъ-Ольсену: „если вы не хотите принимать извѣстную партію, то...“

— То что?—съ любопытствомъ спросилъ Хіорть и нагнулся поближе.

— И болванъ же ты, Іона! Онъ ничего больше не сказалъ. Твое дѣло понять, что это значить.

— Ну, да! Разумѣется! Гм... Конечно, чортъ возьми! Такъ министръ и сказалъ?—Хіорть многозначительно усмѣхнулся и лукаво подмигнулъ пріятелю.

Послѣ ужина оркестръ заигралъ кадрили изъ „Маленькаго герцога“.

Танецъ этотъ прошелъ чрезвычайно оживленно: сходство съ каменщиками испарилось.

Веселая музыка волновала танцующимъ кровь, и безъ того игравшую отъ вина и ѣды. Кандидатъ Смитъ напѣвалъ по-французски припѣвъ изъ оперетки: онъ слышалъ его отъ одного знакомаго, прѣхавшаго изъ Парижа.

Каролина Гельмъ, его дама, пристала къ нему не на шутку, желая узнать, что такое онъ поетъ. Но онъ стоялъ на томъ, что припѣвъ не поддается переводу... Каролина-же задорно увѣряла его, что она не изъ очень щепетильныхъ и многое можетъ выслушать. Кончилось тѣмъ, что онъ все продолжалъ напѣвать, до тѣхъ поръ, пока она не объявила ему, что и такъ все поняла.

Французскую кадрили Дельфинъ долженъ былъ танцевать съ Гильдой Беннехенъ; онъ почти уже позабылъ, изъ какихъ расчетовъ пригласилъ ее, и поэтому въ первой фигурѣ относился къ ней нѣсколько небрежно, болтая больше съ фрау Гельмъ, сидѣвшей въ дверяхъ, позади танцующихъ паръ. Гильда Беннехенъ тотчасъ же это замѣтила, и ей стало до боли обидно. Цѣлый вечеръ она ждала этого танца, не то съ радостью, не то со страхомъ.

У нихъ въ домѣ камергеръ бывалъ съ нею всегда привѣтливъ, съ отгѣнкомъ снисхожденія, какъ къ ребенку; но въдь онъ знавалъ ее еще дѣвочкой, до ея конфирмаціи. Часто она думала, какъ было бы весело танцевать съ нимъ. И вотъ теперь разочаровалась. Приходили ей въ голову всѣ колкія словечки подругъ, — и она пришла къ заключенію, что лучше бы онъ ея не приглашалъ.

Во время третьей фигуры онъ, однако, задаль ей нѣсколько вопросовъ; отвѣчая, она смотрѣла на него въ упоръ, и глаза ея привлекли его вниманіе. „Вотъ такъ глаза!“ — подумалъ онъ.

Послѣ этого открытія, онъ сталъ разговаривать съ ней оживленнѣе, чтобъ она почаще глядѣла на него вверхъ. Взглядъ карихъ глазъ былъ простодушенъ и ясенъ, и каждый разъ, какъ Дельфинъ говорилъ что-нибудь забавное или остроумное, некрасивое лицо оживлялось и становилось привлекательнымъ.

Когда танецъ кончился, онъ сказалъ:

— Неужели все, милѣйшая фрейлейнъ?.. А мнѣ кажется, мы протанцевали не больше четырехъ фигуръ!

Она подозрительно посмотрѣла на него и затѣмъ со смѣхомъ отвѣчала:

— Это потому, что первыя двѣ фигуры вы протанцевали съ фрау Гельмъ.

Георгъ Дельфинъ умѣлъ оцѣнить мѣткій отвѣтъ. Онъ съ удивленіемъ поглядѣлъ на дѣвушку, — но тутъ подоспѣла

другая пара и заговорила съ ними; подошли еще, и образовалась около нихъ группа.

Всетаки камергеръ, покидая свою даму, выпросилъ у нея первую кадрили послѣ ужина на время всѣхъ предстоящихъ въ этомъ сезонѣ баловъ.

Теперь балъ шелъ на всѣхъ парахъ. Танцы велись съ такимъ увлеченіемъ и веселостью, что никто бы не повѣрилъ, что это тѣ-же „каменщики“ перваго вальса. Воодушевленіе достигло высшихъ предѣловъ, когда вскорѣ послѣ полуночи были поданы десертъ и шампанское.

При этомъ случаѣ министръ всегда держалъ хозяевамъ рѣчь, — краткую дипломатическую рѣчь, безъ всякаго двѣтистаго набора словъ. Такія умѣренные рѣчи министръ говорилъ охотно, соразмѣряя подъ тонъ умѣренности и жесты, и улыбки.

Къ дамамъ обратился юный поэтъ, издавшій недавно томъ своихъ стихотвореній, подъ заглавіемъ: „Пылающія строки“. Тостъ былъ тоже въ стихахъ и удостоился большого одобренія, хотя дамы и нашли, что онъ слишкомъ наводитъ грусть.

Но тутъ неожиданно, къ ужасу своихъ друзей, выступилъ бѣлокурый кандидатъ Смитъ съ блестящимъ описаніемъ Ютунгейма. Навѣки осталось невыясненнымъ, что подвинуло его на этотъ шагъ—вино или любовь,—но одно достоверно, что самая рѣчь могла дать поводъ для самыхъ разнообразныхъ догадокъ, такъ какъ въ то время, какъ слушатели находились высоко—высоко въ горахъ (ораторъ даже не поскупился на вычисленіе сотенъ футовъ)—между безднами и глетчерами,—вдругъ упомянуто было про чудные глаза и фигуру альфа... Нѣкоторые впослѣдствіи утверждали, что намекъ былъ на Каролину Гельмъ.

Какъ бы то не было, рѣчь длилась бы, вѣроятно, безъ конца (подобно тому, какъ въ сказкѣ говорится, что если она не кончена, то продолжается и до сегодняшняго дня),—если-бъ долговязый, робкій студентъ, Ганзенъ, не взвился внезапно со стула, какъ блѣдная ракета, и не воскликнулъ во всеуслышаніе:

— Да здравствуетъ Ютунгеймъ!

Среди разразившагося хохота тостъ былъ сочтенъ окончившимся, къ великой досадѣ оратора.

Но у студента Ганзена возбужденіе приняло опасное направление: когда онъ завладѣлъ бутылкой портвейна, то рѣшилъ, что его ужъ больше не проведутъ, и, усѣвшись за столъ, уставленный цвѣтами, опрокидывалъ въ себя стаканъ за стаканомъ. Но портвейнъ оказался еще злонравнѣе студента Ганзена, который, неумѣренно задравъ голову, заша-

Галлерей современныхъ французскихъ знаменитостей.

Жюль Гадъ.

Одинъ изъ американскихъ техническихъ журналовъ, говоря о быстротѣ, съ какой современная крупная промышленность преобразуетъ сырой матеріалъ, доставляемый природой, въ окончательно отдѣланный фабрикатъ, не безъ гордости сообщалъ своимъ читателямъ, что технологія нашихъ дней вмѣшивается даже въ естественные процессы и крайне ускоряетъ ихъ. Такъ, напр.,—продолжалъ все тотъ же журналъ,—въ то время, какъ раньше надо было высушивать и дубить мѣсяцами, чуть не годами сырые кожи прежде, чѣмъ употребить ихъ какъ сапожный товаръ, теперь, благодаря научному примѣненію химическихъ процессовъ, теплоты и электричества, все это требуетъ едва нѣсколькихъ дней. И, можетъ быть, тотъ самый быкъ, который недѣлю тому назадъ носился по необозримымъ пампасамъ Ла-Платы, уже понируется, въ видѣ подошвы сапога, асфальтовый тротуаръ какого-нибудь громаднаго города. Пламенный пѣвецъ успѣховъ современной технологіи усматривалъ лишь одну темную точку на свѣтломъ фонѣ индустріальнаго волшебства нашихъ дней: необыкновенно интенсивный процессъ искусственной обработки разрушаетъ органическія клітки кожи; а потому теперешняя „электризованная“ подошва изнашивается гораздо быстрее, чѣмъ честная патриархальная подошва прежнихъ дней, которая высыхала и дубилась постепенно, согласно законамъ естества. И задача современной технологіи,—заклучалъ авторъ исполненной промышленнаго энтузіазма статьи,—состоитъ въ томъ, чтобы устранить этотъ послѣдній недостатокъ чисто технической операціи, пасующей передъ естественнымъ процессомъ по части прочности своихъ продуктовъ...

Эта статья вспоминается мнѣ всякій разъ, когда приходится думать о психологіи различныхъ типовъ политическихъ дѣятелей. Прошу читателя не особенно скандализироваться той ассоціаціей идей, которая соединяетъ у меня представленіе о такой низмен-

ной вещи, какъ подошва, съ представленіемъ о столь важномъ и въ своемъ родѣ единственномъ продуктѣ, какимъ является человекъ, и при томъ человекъ, болѣе или менѣе сознательно участвующій въ исторической жизни своей страны.

...*Si parva licet componere magnis*, „если позволено сравнивать малое съ великимъ“, по выраженію старика Виргилія, те моя ассоціація идей не покажется столь чудовищной, какъ можно подумать съ перваго взгляда: стоитъ только указать на пунктъ сравненія. Я полагаю именно, что прочность убѣжденій и стойкость поведенія политическихъ дѣятелей зависитъ въ сильной степени, помимо ихъ природнаго характера, еще и отъ того, насколько рано они восприняли основы своего міровоззрѣнія и насколько они сумѣли, съ самаго же начала, окружить себя обстановкой, гармонирующей съ ихъ общими идеями. Какъ „электризованная“ кожа быстро оказывается годной для употребленія лишь насчетъ своей прочности, такъ и человекъ, сравнительно поздно и сразу ставшій на новую точку зрѣнія, обнаруживаетъ извѣстные изъяны въ своей духовной физіономіи, не смотря на блескъ и красоту своихъ первыхъ дѣйствій на пути въ Дамаскъ. Съ другой стороны, какъ естественные процессы, опредѣляющіе постепенныя измѣненія въ сыромъ матеріалѣ, придаютъ ему, въ концѣ концовъ, особую прочность, такъ и ранняя и неуклонная выработка общаго міровоззрѣнія среди подходящихъ условій кладетъ на человека, прошедшаго черезъ такую умственную и нравственную школу, отпечатокъ рѣдкой цѣльности и стойкости. Не нужно лишь, дѣлая это сравненіе, придавать чрезмѣрное значеніе второстепеннымъ взглядамъ, но слѣдуетъ оставаться въ предѣлахъ центральнаго идейнаго пункта: рѣчь идетъ не о всегда возможныхъ измѣненіяхъ частныхъ сторонъ общаго міросозерцанія, но о сути его. И съ этой болѣе широкой точки зрѣнія справедливость сдѣланнаго мною умышленно грубаго уподобленія должна быть признана всякимъ мало-мальски внимательнымъ наблюдателемъ человѣческой души.

Въ прошломъ своемъ этюдѣ, разбирая эффектную и сложную личность Жореса, я указалъ, какъ сравнительно поздно и гораздо болѣе быстро, чѣмъ то кажется самому главѣ парламентарныхъ социалистовъ, онъ подвергся воздѣйствію „электризаціи“ социалистическаго міровоззрѣнія. И какъ, кромѣ того, находясь въ неблагоприятной личной обстановкѣ, и подъ давленіемъ запутанныхъ политическихъ обстоятельствъ, онъ, нѣсколько лѣтъ спустя, совершилъ движеніе назадъ, правда, не дойдя до своего начальнаго буржуазно-демократическаго міросозерцанія, но остановившись на полпути: строго эволюціонномъ социализмѣ и „сотрудничествѣ классовъ“. На сей разъ я постараюсь изобразить личность и дѣятельность Гада, съ самаго пробужденія къ сознательной жизни постоянно находившагося въ предѣлахъ одного общаго

мировоззрѣнія, которое можно характеризовать какъ активное трудовое мировоззрѣніе и которое придаетъ цѣльность его политической дѣятельности, — былъ ли онъ (при самомъ началѣ ея) анархистомъ, или (во все послѣдующее время) марксистомъ. Психологическое различіе этихъ двухъ типовъ мнѣ представляется, такимъ образомъ, прежде всего различіемъ между рано начавшимся, глубокимъ и безпрестаннымъ проникновеніемъ Гэда извѣстными, рѣзко опредѣленными, взглядами и между сравнительно позднимъ и быстрымъ воздѣйствіемъ на Жореса нѣсколько смутнаго, но могучаго идеала новой жизни, охватившаго временно все существо его огнемъ философскаго и эстетически-нравственнаго энтузіазма, но въ послѣдствіи ущербленнаго мѣстами вторженіемъ прежнихъ идейныхъ элементовъ буржуазной среды и воспитанія.

Было бы лишнимъ объяснять подробно, почему у насъ почти нѣтъ данныхъ о чисто личной жизни Гэда. Его біографія до такой степени тѣсно переплетается на каждомъ шагѣ съ исторіей партіи, получившей отъ него свое имя, что личное существованіе этого фанатика идеи отходитъ совершенно на задній планъ. Вы можете найти нѣкоторые отрывочныя свѣдѣнія біографическаго характера въ безчисленныхъ статьяхъ о немъ друзей и враговъ. Но этотъ разбросанный матеріалъ затерянъ въ литературѣ, исключительно посвященной Гэду, какъ политическому дѣятелю. Съ другой стороны, у этого высокоумнаго и авторитарнаго человѣка партія всегда было развито чувство деликатности и такта, препятствовавшее ему посвящать публику въ подробности личной жизни, которую съ такимъ самодовольствомъ выставляютъ на восхищеніе своихъ поклонниковъ типичныя „знаменитости“ буржуазнаго лагера. Гэдъ, видимо, хотѣлъ остаться для публики исключительно представителемъ извѣстнаго теоретическаго и практическаго направленія: такимъ должны обрисовать его, главнымъ образомъ, и мы, касаясь нѣкоторыхъ личныхъ сторонъ его существованія лишь постольку, поскольку это абсолютно необходимо въ біографическомъ этюдѣ.

Жюль Гэдъ родился 11-го ноября 1845 г. въ Парижѣ. Ему, такимъ образомъ, совсѣмъ недавно пошелъ 60-й годъ. Замѣтимъ, что имя, подъ которымъ онъ приобрѣлъ широкую извѣстность, не есть собственно его легальное имя. Онъ записанъ въ метри при рожденіи какъ Матьё-Жюль Базиль: Базиль — фамилія его отца. Но у французовъ сильно распространенъ обычай выступать въ общественной жизни подъ полу-псевдонимами и псевдонимами. И въ ранней молодости будущій агитаторъ началъ называть себя Жюлемъ Гэдомъ: Гэдъ была дѣвичья фамилія его матери. Если правильно замѣчаніе людей, изучавшихъ коллективную психологію, что для успѣха на общественномъ поприщѣ важне

даже имя дѣателя, то Жюль Гедъ очень удачно выбралъ свое: эти два короткія и жесткія слова, какъ ударъ хлыста, останавливали на себѣ вниманіе толпы и какъ нельзя болѣе подходили къ рѣзкой, угловатой, энергичной фигурѣ человѣка, которому суждено было стать главою партіи.

Отецъ Гедъ былъ учителемъ въ небольшомъ пансіонѣ и самъ занимался воспитаніемъ сына, съ юныхъ лѣтъ обнаружившаго блестящія способности и необыкновенную живость темперамента. Занятія отца съ молодымъ Гедомъ шли, дѣйствительно, такъ успѣшно, что мальчикъ въ 16 лѣтъ уже выдержалъ экзаменъ на бакалавра (нашъ аттестатъ зрѣлости). Отцомъ были заложены въ немъ начала непримиримаго республиканства. А крайне стѣсненные матеріальныя условія семьи съ самой ранней молодости бросили его въ ряды трудящагося человѣчества, заставивъ его зарабатывать, тотчасъ же по окончаніи гимназическаго курса, кусокъ насущнаго хлѣба. Подобно Ромшору, подобно многимъ другимъ французскимъ знаменитостямъ, онъ нѣкоторое время занималъ мѣсто мелкаго служащаго въ городской администраціи. Но его скоро потянуло къ общественной дѣятельности, и 20-лѣтнимъ юношей онъ берется за перо журналиста, чтобы съ своею обычною страстностію и рѣзкостью вести кампанію противъ Второй имперіи.

Режимъ декабрьской ночи со середины 60-хъ годовъ сталъ клониться къ упадку. Въ воздухѣ слегка запахло весной „либеральной имперіи“; и появились уже кой-какія ласточки, предвѣщавшія ее, въ родѣ сулившаго реформы декрета 19-го января 1867 г. Рабочіе все меньше и меньше поддавались на удочку экономическихъ благодѣяній, которыя, согласно официальнымъ бардамъ имперіи, должны будутъ пролиться на пролетаріатъ изъ цезаристскаго рога изобилія, какъ только трудящіяся массы станутъ заниматься исключительно улучшеніемъ своего матеріальнаго быта подъ эгидой мудраго и добраго монарха и повернутся спиной къ политическимъ агитаторамъ. Французскіе члены интернаціонала, служа въ теченіе трехъ лѣтъ предметомъ заигрыванія со стороны правительства Наполеона III, рѣшительно отказались отъ всякаго императорскаго покровительства, за что рыцари декабрьской ночи возбудили противъ нихъ преслѣдованіе какъ разъ въ любимомъ ими, для совершенія преступленій противъ свободы, мѣсяцѣ декабрѣ (1867 г.)^{*)}. Съ другой стороны, общественная реакція уступила мѣсто живому свободолобивому движенію, придавая тѣмъ болѣе ненавистный характеръ продолжавшейся уже чисто правительственной реакціи. Студенчество въ частности перестало культивировать изящный индифферентизмъ,

^{*)} См. интересную въ общемъ книгу Вейля: Georges Weill, *Histoire du mouvement social en France* (1852—1902); Парижъ, 1905 г., стр. 109 и слѣд.

увлекаться искусствомъ для искусства и соединять безъидейное времяпрепровождение золотой молодежи съ самымъ низменнымъ молчалинствомъ. Къ нему уже было бы анахронизмомъ обращаться съ пламенными упреками, которые бросалъ по праву въ лицо студенчеству конца 50-хъ и начала 60-хъ годовъ молодой безвременно умершій студентъ же Жакъ Ринарь, обнаружившій выдающійся поэтический талантъ какъ разъ въ своей негодующей „Одѣ къ молодежи“:

По закону смѣны поколѣній, дэнди-индифферентисты и поклонники шумной и развратной имперіи уступили во второй половинѣ 60-хъ годовъ мѣсто той идейной и пылкой молодежи, въ которой борцы 1830 и 1848 гг. могли бы дѣйствительно привѣтствовать своихъ дѣтей. Стали раздаваться все чаще и чаще, не смотря на правительственный запретъ, и звуки марсельзы. Между умственными и физическими работниками начали создаваться узлы взаимной симпатіи и солидарности. Въ этой-то наэлектризованной приближавшимися бурями атмосферѣ конца имперіи и пробуждался къ сознательной жизни молодой Гэдъ, впитывая въ себя основные элементы того мировоззрѣнія, которому въ общихъ чертахъ онъ останется вѣренъ въ теченіе всей своей жизни, не смотря на измѣненія въ нѣкоторыхъ—если и важныхъ, то все же второстепенныхъ взглядахъ. Гэдъ дебютировалъ, какъ литераторъ, лѣтомъ (22-го июня) 1868 г. въ «Le Courrier français», газетѣ, издававшейся Верморелемъ и старавшейся подчеркивать вопросы труда и социализма предпочтительно передъ чисто политическими вопросами, возбуждая недовѣріе въ чисто буржуазной оппозиціи. Кстати сказать, его сотоварищемъ въ этомъ органѣ былъ Ивъ-Гюйо, будущій ренегатъ не только социализма, но и радикализма, будущій министръ общественныхъ работъ въ кабинетахъ Тирапа и Фрейсина, ожесточенный врагъ коллективизма и т. п. Такихъ первоначальныхъ товарищей придется, впрочемъ, много растерять Гэду по дорогѣ своего идеала, въ особенности, когда сложится окончательно его мировоззрѣніе.

Въ 1870—1871 гг. мы видимъ Гэда въ Монпелье редакторомъ газеты „Les Droits de l'Homme“, въ которой участвовали, кромѣ того, Баллю, впоследствии радикальный депутатъ Ліона, Фабрегеттъ, ставшій первымъ предсѣдателемъ апелляціоннаго суда въ Тулузѣ, и Жирарь, получившій позже профессорскую кафедру на юридическомъ факультетѣ университета города Монпелье. Только что названный Ивъ-Гюйо былъ парижскимъ корреспондентомъ газеты. Всѣ эти сотрудники (кромѣ Жирара, писавшаго подъ псевдонимомъ Жербье) скоро разошлись съ Гэдомъ изъ за революціоннаго характера его статей. По поводу объявленія войны Германіи Гэдъ, дѣйствительно, написалъ страстную статью, приглашая своихъ соотечественниковъ не отвлекаться отъ борьбы съ правительствомъ внѣшней диверсіей, а низвергнуть имперію.

За это онъ былъ приговоренъ судомъ къ 6-мѣсячному заключенію. Замѣна бонапартистскаго режима третьей республикой открыла Гэдѣ двери тюрьмы до окончанія срока. Но жаркая защита имъ парижской коммуны и попытка втянуть населеніе юга въ борьбу противъ версальскаго правительства во имя коммунальной автономіи вызвали серьезныя репрессаліи центральной власти. И за тѣ самыя статьи, которыя послужили Баллю предлогомъ выйти изъ редакціи «*Les Droits de l'Homme*», Гэдъ былъ осужденъ на 5 лѣтъ тюрьмы.

Онъ рѣшается пробить весь этотъ срокъ за границей, чтобы получить такимъ образомъ возможность потомъ свободно вернуться во Францію (согласно юридической давности за преступленія этого рода). И вотъ въ 1871 г. Гэдъ появляется въ Швейцаріи, поселяется въ Женевѣ и уходитъ съ головой въ политическую агитацію. Съ одной стороны, онъ печатаетъ искусно составленную „Кровавую книгу деревенщицкой юстиціи, или документы по исторіи республики безъ республиканцевъ“ (*Le livre rouge de la justice rurale. Documents pour servir a l'histoire d'une République sans républicains*), сборникъ цитатъ, извлеченныхъ исключительно изъ реакціонныхъ французскихъ и иностранныхъ газетъ, и, однако, ярко рисующихъ жестокость подавленія, пущеннаго въ ходъ „деревенщицкимъ“ національнымъ собраніемъ. Съ другой стороны, онъ вступаетъ членомъ въ интернаціоналъ и основываетъ одну секцію, примыкающую къ этому обществу. То была эпоха, когда доживавшій свой вѣкъ старый интернаціоналъ раздирался ожесточенной борьбой между бакунистами, стоявшими за автономію и федерацію секцій, и между марксистами, защищавшими начало дисциплины и централизаціи. Гэдъ не сталъ собственно ни на ту, ни на другую сторону, хотя его симпатіи шли въ это время, несомнѣнно, къ анархическому идеалу организаціи. Такъ, въ ноябрѣ 1871 г. онъ участвовалъ въ качествѣ делегата отъ своей секціи на конгрессѣ въ Сонвиллѣ (*Sonvillier*—небольшой центръ часового производства въ Бернскомъ кантонѣ), былъ однимъ изъ двухъ секретарей этого конгресса, на которомъ было рѣшено основать такъ называемую юрскую федерацію, и подписалъ, вмѣстѣ съ другими делегатами, „Циркуляръ ко всемъ федераціямъ Международнаго Общества рабочихъ“, циркуляръ, заканчивавшійся слѣдующими словами:

„Интернаціоналъ, этотъ зародышъ будущаго человѣческаго общежитія, уже отнынѣ долженъ служить вѣрнымъ отраженіемъ нашихъ принциповъ свободы и федераціи и выбросить изъ своихъ нѣдръ всякій принципъ тяготѣнія къ авторитету и диктатурѣ“ *).

Съ другой стороны, Гэдъ вмѣстѣ со своею секціей высказался

*) Цитировано въ полемической анархистской брошюрѣ: *Emile Pouget, Variations Guesdistes recueillies et annotées*; Парижъ (1897 г.), стр. 7.

за верховную власть интернаціонала, представляемого общимъ конгрессомъ, т. е., значить, допустилъ начало управленія большинствомъ, и лишь упрекалъ генеральный совѣтъ интернаціонала въ томъ, что онъ мѣшаетъ рабочимъ

организоваться въ каждой странѣ свободно и по собственной инициативѣ (spontanément), согласно ихъ особенностямъ характера и свойственнымъ имъ привычкамъ *).

Нѣсколько лѣтъ спустя, по возвращеніи во Францію, Гэдъ останется по прежнему апостоломъ активнаго мировоззрѣнія труда. Но провія судьбы угодно будетъ, оставивъ ему эту революціонность взглядовъ, превратить его къ тому времени въ пламеннаго проповѣдника идей, значительно приближавшихся къ марксистскимъ, а вскорѣ заставить его сойтись съ самимъ Марксомъ, его зятемъ Лангаргомъ, — словомъ, его бывшими врагами и стать однимъ изъ самыхъ главныхъ, если не самымъ главнымъ проповѣдникомъ французскаго марксизма. Какъ совершился въ Гэдѣ этотъ переворотъ? На этотъ счетъ были высказаны два мнѣнія. Одно изъ нихъ утверждаетъ, что Гэдъ лишь по возвращеніи во Францію сталъ марксистомъ подъ вліяніемъ начавшихъ къ тому времени распространяться здѣсь идей автора „Капитала“. Другое, — мнѣніе его ближайшихъ учениковъ и поклонниковъ, — это, что Гэдъ ко второй половинѣ 70-хъ годовъ уже самъ додумался до теоріи „историческаго матеріализма“, и что изученіе Маркса было въ большинствѣ случаевъ для него лишь подсобнымъ орудіемъ выработки въ деталяхъ уже вполне сложившагося въ общихъ чертахъ міросозерцанія. Насколько мнѣ приходилось слышать отъ лицъ, хорошо знакомыхъ съ идейной эволюціей Гэда, истина лежитъ, какъ то часто бываетъ, посрединѣ между двумя только что упомянутыми мнѣніями, хотя ближе къ послѣднему, которое нуждается лишь въ извѣстной поправкѣ, чтобы совсѣмъ совпасть съ дѣйствительнымъ ходомъ умственнаго процесса, приведшаго Гэда къ марксизму.

Прежде всего придется сказать, что въ мировоззрѣніи не только Гэда, но и значительнаго числа федералистически настроенныхъ членовъ интернаціонала мысль о преобладающемъ значеніи экономическихъ отношеній въ общественной структурѣ пользовалась большою популярностью. Напомню лишь мотивировку тре-

*) См. письмо Гэда отъ 22-го сентября 1872 г. въ извѣстной брошюрѣ Генеральнаго совѣта: *L'alliance de la démocratie socialiste et l'Association internationale des Travailleurs*; Лондонъ—Гамбургъ, 1873, стр. 50.—Брошюра эта, титрующая Гэда чуть не какъ шпіона Версальскаго правительства (стр. 51), инспирирована Марксомъ и написана Полемъ Лафаргомъ на основаніи документовъ, собранныхъ отчасти (для Россіи и Швейцаріи) Николаемъ Утинымъ.

бований, служащую введеніемъ къ уставу самаго общества (основаннаго 28-го сентября 1864 г.).

Принимая во вниманіе:

Что освобожденіе рабочаго класса должно быть завоевано самимъ рабочимъ классомъ.

Что борьба за освобожденіе рабочаго класса не есть борьба за классовыя привелегіи и монополіи, но за равныя права и обязанности и за уничтоженіе всякаго классового господства.

Что экономическое порабощеніе рабочаго собственникомъ орудій труда, т. е. самыхъ источниковъ жизни, лежитъ въ основаніи всѣхъ формъ гнета,—общественной нищеты, умственного прозябанія и политической зависимости.

Что экономическое освобожденіе рабочаго класса является поэтому великой цѣлью, которой всякое политическое движеніе должно быть подчинено, какъ средство, и т. д. *).

Съ этой мотивировкой, хотя и носившей сильный отпечатокъ взглядовъ Маркса,—который, какъ извѣстно, былъ самымъ главнымъ изъ основателей интернаціонала,—съ этой мотивировкой были согласны почти всѣ члены общества, не исключая и анархистовъ. У послѣднихъ формулировка экономическаго освобожденія, какъ цѣли, и политическаго движенія, какъ подчиненнаго средства, вела даже къ роковому недоразумѣнію: они совсѣмъ отрицали всякую собственно такъ называемую политическую дѣятельность, если только не разумѣть подъ нею фантастическаго требованія немедленно же разрушить государство. Но, повторяемъ, центральная роль отношеній производства въ человѣческомъ обществѣ признавалась въ это время значительнымъ большинствомъ социалистовъ. Сами послѣдователи Прудона, слѣдуя своему учителю, считали необходимымъ условіемъ водворенія „анархіи“ „раствореніе правительства въ экономическомъ организмѣ“ **),—процессъ, который, несомнѣнно, предполагаетъ признаніе экономики основнымъ общественнымъ факторомъ.

Съ другой стороны, прудонизмъ не былъ такъ далекъ и отъ теоріи борьбы классовъ, составляющей суть ученія Маркса, какъ это, напр., зачастую приходится слышать отъ крайнихъ марксистовъ, не дающихъ себѣ порою даже труда освѣжить въ памяти сочиненія Прудона. Читайте хотя бы его посмертный трудъ о „политической правоспособности рабочихъ классовъ“, гдѣ авторъ, оцѣнивая знаменитый въ свое время „Манифестъ шестидесяти“ парижскихъ рабочихъ, вполне одобряетъ ихъ тактику выступать на выборахъ отдѣльнымъ классомъ и, по обыкновенію

*) Цитирую по подробному нѣмецкому тексту, приводимому въ статьѣ „Internationale Arbeiter—Association“ словаря: Carl Stegmann und C. Hugo, *Handbuch des Socialismus*; Цюрихъ, 1897, стр. 341.

**) Весь седьмой этюдъ, напр., въ прудоновской „общей идеѣ о революціи въ XIX-мъ вѣкѣ“ занятъ доказательствомъ этой мысли. См. P. J. Proudhon, *Idée générale de la Révolution au XIX-e siècle*; Paris, 1851, стр. 277—333.

страстно и энергично, доказываетъ дѣленіе современнаго общества на два класса. Зло иронизируя насъ затасканной либеральными буржуа фразой „съ 1789 г. у насъ нѣтъ больше классовъ“, Прудонъ бросаетъ имъ въ лицо рядъ негодующихъ вопросовъ:

Какъ! значить, неправда, что, не смотря на революцію 1789 г. или скорѣе благодаря самому факту этой революціи, французское общество, прежде состоявшее изъ трехъ кастъ, оказалось, послѣ ночи 4 августа, раздѣленнымъ на два класса, одинъ изъ которыхъ живетъ исключительно своимъ трудомъ... а другой живетъ иною вещью, чѣмъ трудъ, даже когда и работаетъ, живетъ доходомъ отъ своей собственности и капиталовъ, арендами, пенсіями, воспомощеніями, акціями, окладами, почестями и прибылями? Неправда, что съ точки зрѣнія этого распредѣленія капиталовъ, работъ, привилегій и продуктовъ, среди насъ существуютъ, какъ и прежде, но уже совсѣмъ въ другомъ масштабѣ, двѣ категоріи гражданъ, называющіяся въ просторѣчій *буржуазіей* и *чернью, капитализмомъ и плебнымъ трудомъ*? Неправда, что эти двѣ категоріи людей, нѣкогда соединенныя и почти слитыя феодальными узами патроната, въ настоящее время раздѣлены глубокою пропастью и не имѣютъ другихъ отношеній между собою, кромѣ тѣхъ, которыя опредѣляются... статьями гражданскаго кодекса, касающимися *договора о наймѣ труда*? Но, вѣдь вся наша политика, вся наша общественная экономія, наша промышленная организація, наша современная исторія, наконецъ, сама литература покоятся на этомъ неизбѣжномъ различіи, отрицать которое въ состояніи лишь недобросовѣстность и глупое лицемеріе *).

Не забудемъ, что Прудонъ очень ясно говоритъ вмѣстѣ съ тѣмъ о „совнаніи“, о „кооперативномъ сознаніи“, которое долженъ выработать и уже вырабатываетъ рабочій классъ, отграничивая себя отъ буржуазіи и противопоставляя ей. Такимъ образомъ, и значеніе экономики, и значеніе классовой борьбы были далеко не чужды, вслѣдъ за Прудономъ, пониманію федералистически и даже прямо анархически настроенныхъ членовъ интернаціонала, въ рядахъ которыхъ Гэдъ игралъ, какъ мы видѣли, немаловажную роль. Для дальнѣйшей эволюціи его взглядовъ въ направленіи къ марксизму нужно было углубленіе и заостреніе двухъ упомянутыхъ элементовъ его мировоззрѣнія. Гэдъ надо было именно обважить эти оба главные корня, которыми держалось оно, освободить ихъ отъ прикрывавшей ихъ у Прудона и учениковъ послѣдняго сильной идеалистической растительности, высоко поднимавшейся надъ „экономическимъ организмомъ“ въ видѣ понятій о „правѣ“, „справедливости“ и т. п. нравственныхъ категорій, возбуждавшихъ по большей части желчный смѣхъ Маркса. Гэдъ приходилось придать классовой борьбѣ пролетаріата противъ буржуазіи (какъ и вообще классовой борьбѣ въ исторіи человечества) значеніе основной пружины общественной эволюціи, подчеркивая при томъ исключительную важность экономического содержанія этой борьбы. Гэдъ, наконецъ, надо было

*) P. J. Proudhon, *De la capacité politique des classes ouvrières*: Парижъ, 1865, 2-е изд., стр. 62—63.

порвать съ „мутуалистскими“ предразсудками Прудона, который думалъ рѣшить великій вопросъ современности частными экономическими „договорами“ (contrats) между производителями. Ему надо было, вмѣсто этого, выдвинуть въ видѣ рѣшенія широкую политическую борьбу угнетенныхъ классовъ противъ угнетающихъ, борьбу, ведущую, въ концѣ концовъ, къ захвату политической же власти пролетаріатомъ.

Здѣсь я оставляю въ сторонѣ вопросъ, насколько удачно мировоззрѣніе Маркса отвѣчаетъ на всѣ теоретическія и практическія задачи нашего времени. Объ этомъ я рассчитываю поговорить съ читателемъ въ специальныхъ статьяхъ *). На сей же разъ я стараюсь уяснить эволюцію Гэда. И съ этой частной точки зрѣнія мнѣ приходится констатировать, что процессъ упрощенія и обнаженія основныхъ факторовъ общества, въ духѣ теорій Маркса, былъ, повидимому, продѣланъ Гэдомъ до нѣкоторой степени самостоятельно. Ближайшіе ученики и послѣдователи Гэда не разъ говорили, что къ тому времени, когда появилось въ свѣтъ французское, просмотрѣнное и дополненное самимъ Марксомъ изданіе перваго тома „Капитала“ (оно выходило сначала выпусками и было пущено книгой въ концѣ апрѣля 1875 г.), Гэдъ настолько уже близко подошелъ самъ собою въ общихъ чертахъ къ теоріи „историческаго матеріализма“, что чуть не на каждой страницѣ изучаемаго имъ труда восклицалъ: „я думалъ почти такъ же!..“ Съ другой стороны, дальнѣйшее уясненіе новой доктрины и приложеніе ея къ деталямъ произошли, какъ кажется, для Гэда лишь нѣсколькими годами позже и подъ вліяніемъ личнаго знакомства съ Марксомъ и его зятемъ Полемъ Лафаргомъ. Лица, близко изучавшія идейную эволюцію Гэда, отмѣчали въ его статьяхъ и рѣчахъ еще довольно долго нѣкоторыя отступленія отъ взглядовъ Маркса. Такъ, Гэдъ сравнительно поздно сохранялъ еще вѣру въ „железный законъ“ Лассалля. Такъ сравнительно поздно онъ относился еще крайне отрицательно къ кооперативному движенію рабочихъ, въ которомъ самъ Марксъ не видѣлъ, конечно, рѣшенія соціального вопроса, но которое онъ считалъ тѣмъ не менѣе естественнымъ продуктомъ жизни пролетаріата на извѣстной ступени его развитія и подготовительной стадіей для вовлеченія рабочихъ въ сознательную классовую борьбу на политической почвѣ.

Можно было бы, пожалуй, указать еще на одну особенность марксизма Гэда: французскій агитаторъ любитъ давать такую заостренную формулировку взглядамъ своего учителя, что они принимаютъ у него порою видъ крикливаго парадокса. Не Гэдъ ли провозгласилъ, что французская рабочая партія есть исключи-

*) Я надѣюсь въ будущемъ году дать нѣсколько „Соціологическихъ очерковъ“, посвященныхъ отчасти этому вопросу.

тельно „партия брюха“ (le parti du ventre) и что она даже именно и „гордится“ этимъ? *) Не Гэдъ ли свелъ всю исторію человечества на question du ventre et du sous-ventre? Но для справедливой оцѣнки главы французскаго марксизма не надо забывать,—говорятъ намъ наиболѣе выдающіеся и самостоятельные ученики Гэда,—что парадоксальность этихъ формулъ есть въ значительной степени умысленная; что это—тотъ пистолетный выстрѣлъ, который вы дѣлаете на воздухъ, чтобы привлечь вниманіе черезчуръ равнодушныхъ прохожихъ. А въ такомъ положеніи именно и находилась въ началѣ своего существованія партія, вскорѣ получившая названіе „гэдистовъ“. Другой вопросъ, не находились ли между послѣдователями Гэда люди, которые принимали въ серьезъ боевой кличъ за цѣлое мировоззрѣніе и, дѣйствительно, укладывали все разнообразіе человѣческой психологіи въ брюшную полость. Марксъ любилъ говорить: „ну, ужъ я-то не марксистъ“. Прудонъ, когда ему рассказывали о нѣкоторыхъ подвигахъ его черезчуръ прямолинейныхъ учениковъ, восклицалъ: „прудонисты, это—дураки“ (les proudhonistes, ce sont des imbéciles). Позвоительно думать, что такіе же восклицанія долженъ порою подавлять Гэдъ, который, какъ увѣряютъ его близкіе друзья, умѣетъ различать между социологическимъ міросозерцаніемъ и политическимъ, по необходимости краткимъ и рѣзкимъ лозунгомъ...

Во всякомъ случаѣ возвращеніе Гэда во Францію, въ августѣ 1876 г., дало выдающагося во всѣхъ отношеніяхъ главу небольшой пока группѣ лицъ, которая въ то время работали надъ созданіемъ партіи, получившей скоро названіе „коллективистовъ“, а затѣмъ, послѣ внутреннихъ распрій, расколовъ и выдѣленій, кличку „гэдистовъ“. Какъ ни тѣсно, впрочемъ, связана политическая карьера Гэда съ исторіей этой партіи, въ настоящемъ этюдѣ намъ приходится касаться гораздо больше того, что относится къ самому Гэду, чѣмъ того, что входитъ въ эволюцію партіи, которая была уже, кромѣ того, изображена мною **). Въ то время, какъ французскіе рабочіе, послѣ страшнаго кровопусканія коммуны, становились на путь профессиональнаго и чисто мирнаго движенія (такъ называемаго „барберэттизма“, по имени Барбера, работавшаго надъ воссозданіемъ синдикатовъ), Гэдъ сейчасъ же по прибытіи во Францію обращается къ родственнымъ ему по революціонному духу студентамъ политическаго кружка, собиравшагося въ кафе Суффло на Сѣнь-Мишельскомъ бульварѣ и включавшаго въ себя лишь очень небольшое число сознательныхъ пролетаріевъ. Между этими членами кружка наиболѣе выдавался

*) *Le Citoyen de Paris* (газета); № отъ 22 іюля 1881 г.

**) См. мою книгу „Очерки современной Франціи“; С.-Петербургъ, 1904. 2-е изд., стр. 226 и слѣд. и стр. 575 и слѣд.

Габріель Девилль (теперешній міністерскій соціалістъ и другъ Жореса). Съ нимъ и съ Полемъ Лафаргомъ, находившимся пока въ изгнаніи въ Лондонѣ, Гэдъ и долженъ былъ образовать вскорѣ „гэдистскую троицу“, какъ называли ихъ враги, или „трехъ мушкетеровъ коллективизма“, какъ любовно величали ихъ первые адепты партіи.

Капризу судьбы угодно было познакомить Гэда съ кружкомъ Суффло при посредствѣ уже знакомаго читателю Ива Гюйо, введшаго, кромѣ того, Гэда въ редакцію газеты „Les Droits de l'Homme“, которая напоминала своимъ названіемъ прежній органъ Гэда и издавалась на деньги знаменитаго шоколадчика, филантропа и радикала, Эмиля Менье. Статьи Гэда, выговорившаго себѣ „независимость“, носили рѣзко соціалистическій и революціонный характеръ и скоро создали ему извѣстность среди малочисленныхъ въ то время крайнихъ элементовъ, между которыми Гэдъ началъ энергичную устную пропаганду и которые онъ скоро преобразовалъ въ ядро будущей партіи. Въ этой пропагандѣ ему помогаль иностранецъ, а именно одинъ нѣмецъ, который прекрасно зналъ сочиненія Маркса и Лассалля и имя котораго до сихъ поръ не принято разглашать въ революціонныхъ и соціалистическихъ кругахъ Франціи. По запрещеніи „Les Droits de l'Homme“, Гэдъ перешелъ вмѣстѣ съ секретаремъ редакціи, Сигизмундомъ Лакруа, въ вновь основанную газету „Le Radical“, которая была въ свою очередь закрыта реакціоннымъ министерствомъ Фурту, выросшимъ изъ макъ-магоновскаго *сoup d'Etat* 16 мая 1877 г. и не стѣнявшимся законами о печати. Тогда Гэдъ, при сотрудничествѣ Девилля, Эмиля Массара (теперешняго націоналиста и редактора шовинистской „La Patrie“), Жербье (Жирара) и еще одного-двухъ лицъ, рѣшилъ издавать свою, чисто соціалистическую газету „L'Egalité“. Она ставила себѣ задачу быть теоретическимъ и практическимъ органомъ „коллективизма“. Такъ стали къ этому времени называть свое міровоззрѣніе ученики Маркса во Франціи, заимствуя этотъ терминъ у анархистовъ, чтобы замѣнить имъ прежнее названіе „коммунизма“. Тогда какъ анархисты стали предпочитать этотъ послѣдній терминъ для обозначенія своего ученія, оставляя имя „коллективистовъ“ авторитарнымъ коммунистамъ. Впрочемъ, въ это время анархистовъ-коммунистовъ и коллективистовъ сближало еще ихъ революціонное настроеніе; и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ обѣ эти фракціи будутъ бороться вмѣстѣ противъ умѣренныхъ синдикалистовъ и защитниковъ частной собственности (мелкой), основанной на трудѣ *).

*) Вотъ что рассказываетъ, напр., объ этой эпохѣ одинъ изъ самыхъ видныхъ впослѣдствіи теоретиковъ анархизма: „Здѣсь (въ Парижѣ) начиналось возрожденіе рабочаго движенія, послѣ суроваго подавленія коммуны. Съ итальянцемъ Костой и немногими друзьями-анархистами, которые у

Какъ-бы то ни было, послѣ различныхъ препятствій, недостатка средствъ и т. п., — первый номеръ еженедѣльной газеты Гэда появился 18 ноября 1877 г. въ городѣ Мо (Meaux), въ 45 километрахъ отъ Парижа: печатать въ столицѣ приходилось потому, что, по тогдашнимъ законамъ, отъ издателей періодическихъ органовъ требовался залогъ, равнявшійся 12.000 фр. въ Парижѣ и 4.000 фр. въ провинціи. Въ этомъ первомъ номерѣ „L'Egalite“ Гэдъ съ товарищами гордо развѣтывалъ знамя французскаго коллективизма, оближая его съ общимъ направлениемъ наиболѣе передовой социалистической мысли.

Однако, первоначально идеи коллективизма или „научнаго социализма“, которыя носили слишкомъ абстрактный и математическій характеръ для французской публики, привыкшей къ своему идеалистическому социализму, распространялись, да и то довольно туго, лишь среди интеллигенціи. Рабочіе по прежнему тянули къ профессиональной и мирной организаціи. И принципиальное отрицаніе частной собственности, — какъ-то еще было замѣтно во времена интернационала, — не находило пока значительнаго числа приверженцевъ среди французскаго пролетаріата. Къ половинѣ 1878 г. Гэду удалось, однако, привлечь на свою сторону шесть рабочихъ корпорацій Парижа: механиковъ, столяровъ, портныхъ, сыромятниковъ, слесарей и приказчиковъ (*employés de commerce*), равно какъ потребительное товарищество *L'Egalitaire* (корпорации столяровъ, портныхъ и приказчиковъ были съ тѣхъ поръ, по крайней мѣрѣ, въ теченіе 10 лѣтъ, приблизительно до половины 80-хъ годовъ, наиболѣе передовыми элементами революціонно настроенныхъ массъ *).

Первый большой успѣхъ на долю Гэда выпалъ по поводу запрещенія рабочаго конгресса правительствомъ во время всемирной парижской выставки 1878 г. Дѣло было такъ. Два первые рабочіе конгресса Франціи, парижскій (1876 г.) и ліонскій (1878 г.), исходили отъ упомянутыхъ уже выше мирныхъ синдикалистовъ. Но второй изъ этихъ конгрессовъ, продолжавшійся отъ 28-го января по 8-е февраля 1878 г., поручилъ парижскимъ синдикальнымъ палатамъ устроить въ виду открывавшейся выставки интернациональный рабочій конгрессъ. Этотъ конгрессъ былъ уже объявленъ въ газетахъ и назначенъ на начало сентября, какъ вдругъ коммиссія, которой было поручено организовать его, получила неожиданно (31-го іюля) отъ полицейской

насть были между парижскими рабочими, а также съ Жюлемъ Гэдомъ и его коллегами, не представлявшими еще въ то время строгихъ социаль-демократовъ, мы основали (started) первыя социалистическія группы“ (Р. Kropotkine, *Memoirs of a Revolutionist*; Лондонъ, 1899, т. II, стр. 214).

*) Ср. Mermeix, *La France socialiste. Notes d'histoire contemporaine*; Парижъ, 1886, стр. 91 и прим. 1.

префектуры извѣщеніе, что конгрессъ запрещенъ: такъ „республика безъ республиканцевъ“ въ лицѣ кабинета Дюфора понимала свободу мирныхъ синдикалистовъ четвертаго сословія. Комиссія покорно прекратила свою дѣятельность. Но тогда выступили на сцену пламенный Гэдъ и его товарищи. Они подняли брошенную правительствомъ перчатку и заявили, что теперь уже они, коллективисты, позаботятся объ устройствѣ конгресса, который они и назначили на 5-е сентября въ частномъ помѣщеніи маляра-позитивиста, носившаго довольно курьезное имя Финанса. Конгрессисты нашли двери помѣщенія охраняемыми полиціей, вступили въ столкновеніе съ ней, были арестованы и преданы суду.

Этого только и надо было Гэду. Передъ трибуналомъ 10-й палаты онъ произнесъ защитительную рѣчь отъ всѣхъ обвиняемыхъ. И эта рѣчь, „представлявшая собою чудо искусства и сверкавшая ослѣпительной ироніей“, — по выраженію одного крайне не любящаго Гэда буржуазнаго автора, — „нашла такой гигантскій откликъ, какого, конечно, не имѣлъ бы самый блестящій конгрессъ“ *). Вотъ какъ резюмируетъ эту рѣчь на основаніи брошюры партіи добросовѣстный историкъ социальнаго движенія во Франціи, уже цитированный выше Жоржъ Вейль:

Правительство ясно показало, что между буржуа и пролетаріями нѣтъ равенства; запретили единственно лишь рабочій конгрессъ, тогда какъ „всѣ разновидности капиталистической Франціи“ могли свободно собираться на своихъ международныхъ конгрессахъ. Итакъ, мы установили уже одинъ безспорный пунктъ: „мы знаемъ, теперь, что равенство, не говорю уже экономическое, не говорю уже политическое, но просто таки гражданское, которое буржуазія не переставала выдавать намъ за самое драгоценное завоеваніе своего 89-года, не переступаетъ границъ имущаго и правящаго класса“. Очевидно, правительству хотѣлось нанести ударъ революціонному социализму: посмотримъ же, чего онъ требуетъ. Онъ хочетъ рабочаго 89-го года: все, что третье сословіе говорило въ XVIII-мъ столѣтіи, то четвертое сословіе можетъ сказать теперь; нынѣ, какъ и тогда, существуютъ привилегіи между личностями, классами, профессіями. Соціалистовъ обвиняютъ въ томъ, что они подрываютъ семью, собственность, религію. Наоборотъ, они хотятъ освободить семью отъ гнета: не они запираютъ женщину и ребенка на фабрикахъ, не противъ нихъ пришлось издать законъ 1874-го года (ораторъ имѣетъ въ виду „законъ о работахъ на фабрикахъ дѣтей и несовершеннолѣтнихъ дѣвушекъ“ отъ 19-го мая 1874 г. Н. К.). Они хотятъ уничтожить собственность, распространяя ее на всѣхъ, какъ въ 1848 г. была уничтожена привилегированная подача голосовъ, какъ въ 1872 г. на всѣхъ была распространена воинская повинность. Что касается до религіи, то социалисты, дѣйствительно, отбрасываютъ ее и провозглашаютъ атеизмъ **).

Организаторы конгресса были присуждены къ тюремному заключенію. Но защитительная рѣчь Гэда, превратившаяся въ обви-

*) Léon de Seilhac, *L'évolution du parti syndical en France*; Парижъ, 1899, стр. 11.

**) Georges Weill, l. c., стр. 216—217.

нительный актъ противъ „современнаго феодальнаго общества“, читалась въ парижскихъ мастерскихъ. Имя и программа коллективизма впервые становились теперь извѣстными широкимъ кругамъ рабочихъ. Активное социалистическое міровоззрѣніе изъ чисто интеллигентныхъ сферъ проникало въ пролетаріатъ и здѣсь мало по малу побѣждало мутуалистскіе и кооперативные предразсудки, внушавшіе рабочимъ мысль о возможности рѣшить социальный вопросъ чисто профессиональнымъ путемъ, помимо политической борьбы. Отнынѣ Гэдъ, воздерживавшійся до сихъ поръ отъ широкой агитаціи въ рабочихъ массахъ, считаетъ пролетаріатъ достаточно заинтересованнымъ въ новой доктринѣ, чтобы вплотную приняться за распространеніе въ немъ своихъ взглядовъ. Собранія, публичныя лекціи, брошюры слѣдуютъ одна за другой. Гэдъ берется за всевозможныя орудія агитаціи и не пренебрегаетъ никакимъ. Къ этому времени относится характерный эпитетъ, „Deus ex machina рабочаго движенія“, который счелъ нужнымъ приставить къ имени Гада одинъ католическій оборотъ.

Уже въ это время Гэдъ высказываетъ тотъ взглядъ на отношеніе рабочаго класса къ республиканской формѣ правленія, который будетъ руководить имъ въ теченіе всей его послѣдующей дѣятельности,—если исключить, конечно, чрезвычайъ далеко идущее заостреніе его въ моменты борьбы Гада противъ жорэистовъ. А именно въ брошюрѣ „Республика и стачки“ онъ показываетъ, что республиканскій строй является необходимымъ введеніемъ къ социальной революціи; но что онъ еще вовсе не влечетъ за собою экономическаго улучшенія массъ. И въ доказательство Гэдъ приводитъ посылку войскъ противъ стачечниковъ:

Откроетъ ли, наконецъ, глаза французскій пролетаріатъ, — патетически спрашиваетъ Гэдъ,—и пойметъ ли онъ, что долженъ разсчитывать только на себя? Начнетъ ли онъ, въ концѣ концовъ, организовать соответственно этому въ особую партію (*en parti distinct*) на почвѣ республики,—это само собою ясно,—но вдали отъ республиканцевъ правящаго класса и противъ нихъ?*)

Въ той же брошюрѣ Гэдъ дѣлаетъ крайне рѣзкую критику всеобщей подачи голосовъ, по крайней мѣрѣ, какъ она практиковалась рабочимъ классомъ въ то время:

Какими бы выборными властелинами ни являлись рабочіе, они могли путемъ всеобщей подачи голосовъ освободить страну отъ врага, возстановить финансы, кредитъ, границы и т. д. Но они же были безсильны не только укоротить хотя бы на одинъ часъ ту каторжную работу, на которую ихъ осуждаетъ насльдственная экспроприація, лишившая ихъ всякаго капитала; безсильны не только увеличить на самую малость отмѣренную имъ въ формѣ заработной платы часть въ общемъ богатствѣ страны, котораго они и лишъ они одни являются ежегодными производителями или воспроизводителями; но безсильны удержать, сохранить скудныя средства съ существованію, при-

*) Jules Guesde, *La République et les grèves*; 1878 (цитировано у Веяля, стр. 221—222).

обрѣтенныя раньше. Какое надо другое болѣе разительное доказательство безплодности, съ рабочей точки зрѣнія, той всеобщей подачи голосовъ, отъ которой большинство пролетаріевъ, еще одураченныхъ—увы!—радикальными софизмами, продолжаетъ упорно ждать своего постепеннаго и мирнаго освобожденія *).

Это какъ бы принципиальное отрицаніе всеобщей подачи голосовъ смягчается, впрочемъ, въ другой брошюрѣ Гэда изъ той же эпохи „Коллективизмъ и революція“. Ибо, провозгласивъ въ ней необходимость отдать силу на служеніе праву, Гэдъ продолжаетъ: „что касается до этой силы, то возможно,—хотя ничто не позволяетъ на это надѣяться,—что то будетъ избирательный бюллетень, какъ возможно, что то будетъ ружье“ **).

Отношеніе къ всеобщей подачѣ голосовъ и вообще „легальности“ будетъ, впрочемъ, тѣмъ пунктомъ практическихъ взглядовъ Гэда, въ которомъ его враги и критики найдутъ наибольшее число „варіацій“; и ниже мы коснемся этихъ колебаній у чловека, поражающаго въ общемъ своею послѣдовательностью и прямолинейностью. Во всякомъ случаѣ на рубежѣ 70-хъ и 80-хъ годовъ у Гэда преобладало рѣзко отрицательное отношеніе къ всеобщему вотуму. И его прежніе союзники-анархисты, ставшіе въ послѣдствіи его неумолимыми врагами, злорадно цитируютъ его статьи, относящіяся къ тому времени и отмѣченныя почти анархическимъ пренебреженіемъ къ всеобщей подачѣ голосовъ. Вотъ, напр., что писалъ пламенный проповѣдникъ коллективизма въ своей газетѣ „L'Egalité“ по поводу открытія на Пэръ-Лашевскомъ кладбищѣ памятника Ледрю-Роллану, главному „организатору“ всеобщей подачи голосовъ во Франціи:

... Результатъ этого распространенія вотума на всѣхъ, не сопровождавшагося распространеніемъ на всѣхъ собственности, равнялся нулю,—да иначе и быть не могло.

Подъ предлогомъ, что избирательный бюллетень* удовлетворялъ и долженъ былъ удовлетворять всему, ружье, право на ружье, было вычеркнуто изъ народнаго арсенала орудіи; но какое же улучшеніе извлекла изъ этого бюллетеня трудящаяся масса за тридцать лѣтъ пользованія имъ?

Никакого!..

... Всеобщая подача голосовъ, которая имѣетъ свое законное мѣсто въ обществѣ, основанномъ на строгомъ равенствѣ,—хотя тамъ, гдѣ наука становится достояніемъ всѣхъ, скорѣе сама эта наука, чѣмъ простое число голосовъ, будетъ предписывать законы ***), всеобщая подача голосовъ отнюдь не является средствомъ осуществить это общество, которое возникнетъ лишь изъ борьбы.

*) Цитировано Пуже (*Variations guesdistes*, стр. 17).

**) *Collectivisme et révolution*; 1897 (цитировано у Вейля, стр. 222).

***) Кстати, какъ близко эта мысль Гэда подходитъ къ взгляду столь нелюбимаго марксистами Огюста Конта, въ 1822 г. писавшаго въ своей „Системѣ положительной политики“: „Въ астрономіи, въ физикѣ, въ химіи, даже въ физиологіи нѣтъ свободы мнѣнія, такъ какъ всякій счелъ бы нелѣпымъ не довѣрять принципамъ, установленнымъ въ этихъ наукахъ компетентными людьми. Если дѣло иначе обстоитъ въ политикѣ, то лишь потому, что старые

И представляя всеобщую подачу голосовъ именно такимъ средствомъ для обездоленныхъ въ современномъ строѣ, заставляя ихъ принимать ее за якорь спасенія, Ледрю-Ролленъ причинилъ, можетъ быть, этимъ больше зла рабочему классу, чѣмъ даже тѣмъ кровопусканіемъ, которое онъ продѣлывалъ въ іюньскіе дни при помощи пушекъ надъ самыми доблестными членами класса *).

За то мысль Гэда уже съ этихъ поръ сохраняла основныя черты того мировоззрѣнія, которое связано съ именемъ „коллективизма“ и суть котораго заключается въ указаніи на невозможность существенно улучшить современный строй отдѣльными мѣрами, не касаясь самыхъ основъ его. Такъ, въ своей брошюрѣ о „Законѣ заработной платы и его послѣдствій“ Гэдъ (правда, очень преувеличивая абсолютное значеніе „железнаго закона“) доказываетъ, что такъ какъ при настоящемъ режимѣ всякое повышение заработной платы влечетъ за собою, въ концѣ концовъ, повышение цѣны продуктовъ, а чисто бюджетныя реформы вызываютъ ростъ налоговъ, то никакое частное улучшеніе строя, основаннаго на наемномъ трудѣ, не можетъ имѣть серьезнаго значенія **). А въ своемъ „Опытѣ социалистическаго катехизиса“ Гэдъ пытается обосновать ученіе коллективизма на психологическомъ анализѣ потребностей и способностей человѣка ***).

Окончательную формулировку взглядовъ Гэда надо, впрочемъ, искать не въ этихъ первыхъ его коллективистическихъ брошюрахъ, которыя составляютъ библиографическую рѣдкость и не были переизданы,—фактъ, показывающій, что самъ авторъ не придавалъ имъ впоследствии особой важности. Гэдъ становится вполне на почву марксизма лишь съ того момента, когда въ промежуткѣ между марсельскимъ (20 — 31-го октября 1879 г.) и гаврскимъ (16 — 22-го ноября 1880 г.) рабочими конгрессами, знаменующими побѣду активнаго политическаго социализма надъ кооперативнымъ и синдикальнымъ реформизмомъ, онъ вырабатываетъ, вмѣстѣ съ нѣкоторыми близкими товарищами, „программу рабочей партіи“. Планъ этой программы служилъ раньше предметомъ оживленной переписки между Гэдомъ и Полемъ Лафаргомъ, тогда жившимъ еще въ Лондонѣ, Полемъ Бруссомъ (прежнимъ товарищемъ Гэда по анархизму), къ тому времени переселившимся изъ Швейцаріи также въ Лондонъ, Бенуа Маломомъ, остававшимся въ Швейцаріи и т. д. Для окончательной редакціи программы

принципы рухнули, новые еще не создались, и въ этотъ промежутокъ нѣтъ, собственно говоря, установившихся принциповъ“. Цитировано самимъ Комтомъ въ его „Курсѣ положительной философіи“ (Auguste Comte, *Cours de philosophie positive*; Парижъ, 1869, 3-е изд., т. IV, прим. къ стр. 44—45.

*) *L'Egalité*, № 14 (отъ 2-го марта 1878).— Цитировано у Пуже, I. с., стр. 9—13, *passim*.

**) *La loi des salaires et ses conséquences*; написано въ 1878 г. и вышло въ свѣтъ въ 1881 г. (см. Вейль, стр. 222).

***) *Essai de catéchisme socialiste*, 1878 (Ibid.).

Гэдъ прїѣхалъ въ май мѣсяцъ 1880 г. въ Лондонъ; и здѣсь этотъ историческій документъ былъ составленъ коллективнымъ трудомъ пяти человекъ: Маркса, Энгельса, Лафарга, Ломбара и Гэда.

Отнынѣ, на почвѣ этой программы, Гэдъ ведетъ еще болѣе энергичную и поистинѣ неустанную пропаганду, въ которой ему особенно помогаютъ Габріэль Девилль и возвратившійся во Францію по амнистіи 10-го іюля 1880 г. Поль Лафаргъ, ставшій главнымъ теоретикомъ французскаго марксизма въ то время, какъ Гэдъ является практическимъ вождемъ и душою партіи. Гэдъ далъ обѣщаніе „заставить французскихъ социалистовъ проглотить ученіе Маркса по рукоятку“ и ревностно старался исполнить это обѣщаніе. Успѣхъ и неудачи агитаціи, равнодушіе и энтузіазмъ пропагандируемыхъ массъ, поддержка друзей и жестокія нападенія враговъ,—словомъ, ни Канны, ни Капуя не въ состояніи побѣдить упругость этого стального темперамента борца. За гаврскимъ конгрессомъ, гдѣ программа „рабочей партіи“ одержала побѣду надъ профессиональными требованіями синдикалистовъ, слѣдуетъ реймскій конгрессъ (30-го октября — 6-го ноября 1881 г.), на которомъ, наоборотъ, берутъ верхъ недавно примкнувшіе къ Гэду, но теперь ведущіе ожесточенную борьбу противъ его „диктатуры“ умѣренные элементы партіи подъ предводительствомъ Брусса и Молона. И Гэдъ оказывается въ незначительномъ меньшинствѣ, пока на слѣдующемъ, сентъ-этьеннскомъ, конгрессѣ (25 — 30-го сентября 1882 г.) не происходитъ, наконецъ, формальнаго раскола партій на „бруссистовъ“ и „гэdistовъ“, при чемъ цѣлыхъ 82 делегата, принадлежащихъ къ первой фракціи, остаются продолжать засѣданія, тогда какъ Гэдъ съ 23 вѣрными товарищами уходитъ и организуетъ сейчасъ же свой конгрессъ, засѣдавшій въ сосѣднемъ Роаннѣ съ 26-го сентября по 1-е октября. Вмѣстѣ съ тѣмъ Гэдъ ведетъ все болѣе и болѣе ожесточенную войну съ анархистами, которые шли еще вмѣстѣ съ коллективистами противъ сторонниковъ мирнаго синдикальнаго движенія на гаврекомъ конгрессѣ, а теперь разорвали съ своими прежними союзниками, упрекая ихъ въ измѣнѣ и переходѣ въ лагерь „государственниковъ“. Наконецъ, Гэдъ открылъ настоящую кампанію противъ радикаловъ и энергично совѣтовалъ пролетаріямъ отмежевать себя на политической почвѣ отъ буржуазной демократіи. Подмизнувъ съ радикальной партіей то въ снова появляющейся послѣ двукратнаго исчезновенія газетъ „L'Egalité“, то въ газетѣ „Le Citoyen“, то на публичныхъ собраніяхъ, Гэдъ неумолимо изобличаетъ пустоту и внутреннія противорѣчія социальной части программы радикаловъ. Онъ заявляетъ, что даже „оппортунистскій гамбеттизмъ“, въ лицѣ депутата Мартэна Надо, съ его проектами рабочаго законодательства, идетъ дальше навстрѣчу пролетаріату, чѣмъ радикальная крайняя лѣвая. И противъ тогдашняго вожака послѣдней, Клемансо, Гэдъ ведетъ особенно энергичную кампанію,

вызывая его на публичное состязаніе по вопросу о социализмѣ, на что вождь радикаловъ, находившійся тогда въ апогее своей популярности и крайне любимый своими избирателями, — рабочими, ремесленниками и полусознательными рабочими, — считалъ нужнымъ отвѣтить высокоумнымъ молчаніемъ. Политическіе дѣтели тогдашней Франціи, вплоть до самыхъ крупныхъ и проинцательныхъ, и не подозревали, какъ видите, какую роль въ борьбѣ партій будетъ скоро играть социализмъ.

Приблизительно въ эту пору, а именно позднюю осень 1882 г., я впервые услышалъ Гэда на публичномъ собраніи, гдѣ онъ какъ разъ полемизировалъ съ радикальными ораторами второстепенной, впрочемъ, величины, и полемизировалъ крайне удачно. А вскорѣ, слѣдующею весною, я встрѣтился съ нимъ уже какъ съ частнымъ лицомъ у Поля Лафарга, куда я пришелъ съ рекомендательнымъ письмомъ отъ П. Л. Лаврова, чтобы получить нѣсколько біографическихъ свѣдѣній о только что умершемъ (14-го марта 1883) Марксѣ, о которомъ я написалъ для „Дѣла“ статью, погибшую, подобно нѣсколькимъ другимъ, подъ ударами бдительной цензуры. Два мѣсяца спустя, мнѣ опять пришлось видѣть Гэда, и опять вмѣстѣ съ Лафаргомъ, но на сей разъ уже на казенной квартирѣ, въ нынѣ исчезнувшей „Святой Пелагеѣ“ (Sainte Pelagie), — тюрьмѣ, гдѣ „Восточный павильонъ“, получившій съ давнихъ поръ громкое названіе „Павильона Принцевъ“, служилъ мѣстомъ заключенія для лицъ, осужденныхъ за проступки „политическаго“ характера на срокъ не больше одного года. Дѣйствительно, незадолго передъ этимъ (25-го апрѣля 1883 г.) присяжные засѣдатели департамента Аллье признали Гэда и Лафарга виновными въ „непосредственномъ подстрекательствѣ рабочихъ къ совершенію революціи“, и окружный судъ приговорилъ ихъ къ шестимѣсячному заключенію. То былъ чисто тенденціозный процессъ, на которомъ жюри, состоявшее изъ запуганныхъ и заговоренныхъ прокуроромъ мирныхъ буржуа, сочло нужнымъ проявить строгость какъ разъ по отношенію къ тѣмъ лицамъ, которые говорили, что ихъ такъ же мало можно считать за подстрекателей къ „совершенію революціи“, — вытекавшей, молъ, изъ самаго развитія капиталистическаго общества, — какъ буревѣстниковъ, предвѣщающихъ грозу, за „подстрекателей природы къ совершенію бури“.

Осужденные за такія „преступленія“ пользуются, однако, во Франціи привилегированнымъ тюремнымъ режимомъ; и съ утра до вечера посѣтители толпились въ довольно большихъ комнатахъ, которая гостепріимная администрація предоставила въ „Павильонѣ Принцевъ“ Гэду и Лафаргу. Здѣсь опять я видѣлъ Гэда не на трибунѣ, а въ частномъ разговорѣ, который главнымъ образомъ касался тогдашняго экономическаго и политическаго положенія

Россіи. Я сопровождалъ при этомъ посѣщеніи узниковъ уже упомянутого мною П. Л. Лаврова, бывшаго хорошимъ знакомымъ Гэда, а особенно Лафарга. И намъ съ авторомъ „Исторіи мысли“ пришлось перевести вслухъ двумъ заключеннымъ довольно большіе куски изъ только что появившейся тогда, кажется, въ „Дѣлѣ“ рецензіи на помѣщенную передъ тѣмъ въ „Отечественныхъ запискахъ“ статью Лафарга о хлѣбной торговлѣ въ Соединенныхъ Штатахъ (я забылъ точное заглавіе этого этюда). Отсюда собесѣдникамъ было вполне естественно перейти на сравненіе между русскими и американскими условіями. Меня поразило въ Гэдѣ умѣнье необыкновенно ясно, хотя и черезчуръ однобоко, ставить вопросы и блестяще развивать свою точку зрѣнія, не забывая въ то же время нападать на оппонента. Знаніями, особенно по вопросу, выходившему изъ обычнаго круга его идей, онъ, видимо, очень уступалъ Лафаргу. Но было крайне интересно наблюдать со стороны, съ какимъ мастерствомъ онъ пользовался тѣми ограниченными свѣдѣніями, которыми онъ располагалъ въ данномъ случаѣ. А ловкость, съ какой онъ билъ противнику челомъ да его же добромъ,—добромъ, приобрѣтеннымъ, можетъ быть, всего за секунду при самомъ спорѣ,—вызывала у самихъ оппонентовъ невольную улыбку, порою же искренній смѣхъ...

Но я предпочитаю дать прежде всего двѣ-три характеристики Гэда, принадлежащія различнымъ и разномыслящимъ на вещи людямъ; и уже потомъ нарисовать самому фizioномію этого выдающагося вожака партіи, который окончательно установилъ свое мировоззрѣніе въ первой половинѣ 80-хъ годовъ и впоследствии врядъ ли измѣнялъ его даже въ деталяхъ,—за исключеніемъ столь обычнаго всѣмъ людямъ перегибанія палки въ другую сторону подъ вліяніемъ борьбы съ противниками. Портреты Гэда, съ которыми сейчасъ познакомится читатель, относятся именно къ этой первой половинѣ 80-хъ годовъ, когда Гэдъ, можетъ быть, всего рельефнѣе развивалъ и безъ того яркія особенности своего темперамента. Глава рабочей партіи поражаетъ до сихъ поръ своею жизненностью. Но наиболѣе полный расцвѣтъ его индивидуальности, какъ мнѣ кажется, падаетъ именно на 80-ые годы, когда Гэдъ, въ возрастѣ 35 — 45 лѣтъ, извлекалъ поразительное количество „полезной работы“, какъ говорится въ механикѣ, изъ своей замѣчательно упругой фizioлогической машины.

Вотъ, прежде всего, въ общемъ очень симпатично нарисованный портретъ Гэда, принадлежащій перу одного изъ посѣтителей его агитаціонныхъ публичныхъ лекцій и относящійся 1880 г.:

Гэдъ носитъ длинные темнорусые волосы, длинную бороду того же цвѣта, что придаетъ ему видъ нѣмецкаго студента (я бы поставилъ скорѣе: русскаго. Н. К.); эта фizioномія дополняется пэнснэ, которое Гэдъ надѣваетъ на носъ, когда говоритъ... Его ясный и металлическій голосъ звучитъ какъ боевая труба, его краснощчіе увлекаетъ васъ; говоря, онъ жестикулируетъ и

наклоняется надъ трибуной, словно желая намагнитизировать свою аудиторию; его рѣчь отличается ясностью, научнымъ складомъ, поэтическимъ и образнымъ языкомъ *).

Вотъ, съ другой стороны, короткая, но восторженная характеристика Гэда, сдѣланная въ одномъ изъ писемъ (отъ 18-го апрѣля 1881 г.) Лафарга, бывшего тогда особенно близкимъ къ неутраченному политическому борцу:

Вы думали, что наша партія есть уже реальность и обладаетъ сполна всѣми органами, руками и ногами, брюхомъ и головой: на самомъ дѣлѣ у нея есть лишь одна глотка, но за то такая, что стоитъ четырехъ... Я не знаю никого во Франціи, кто равнялся бы Гэду. Больше, чѣмъ Лассаль, онъ—человѣкъ, способный *создать* партію. По уму онъ выше его; и если онъ ниже его по эрудиціи, то, какъ агитаторъ, онъ равенъ ему, а съ точки зрѣнія характера, между ними не можетъ быть и сравненія ни въ личномъ, ни въ общественномъ смыслѣ. Лассаль былъ глубоко испорченный человѣкъ (фругг!) **).

Вотъ еще подробный портретъ Гэда въ физическомъ и умственномъ отношеніяхъ, портретъ, не безъ таланта, но и не безъ злости къ оригиналу, набросанный буржуазнымъ репортеромъ, кувыркавшимся изъ стороны въ сторону среди различныхъ партій Франціи:

Это человѣкъ, производящій впечатлѣніе. Его личность не грѣшитъ банальностью. Онъ не внушаетъ симпатіи. На него смотришь съ любопытствомъ, почти съ изумленіемъ. Онъ высокаго роста и чудовищно худъ. Его лицо отличается болѣзненною бѣлизною, которая выдѣляется еще больше, благодаря обрамляющимъ его очень чернымъ волосамъ и бородѣ. Жюль Гэдъ носитъ длинныя волосы, это — мода въ его партіи: такая прическа еще увеличиваетъ странный характеръ его фizioноміи.

Его глаза живо блестятъ за стеклами пенсэ, въ глубинѣ рѣзко очерченныхъ надбровныхъ дугъ. Когда Гэдъ говоритъ, и говоритъ даже о безразличныхъ вещахъ, въ движеніяхъ его губъ сквозитъ бѣшенство. Его ротъ исполненъ ярости. И ходитъ-то онъ прямо, какъ палка, порывисто двигая руками и ногами.

Надо видѣть Гэда на трибунѣ. Порою его рѣчь черезчуръ быстра, но сколько страсти онъ влагаетъ въ нее! Очень ясный и издалека слышимый голосъ странно скрипитъ. Звукъ его не выходитъ изъ глубины груди и лишенъ низкихъ нотъ; онъ идетъ изъ головы, онъ высокъ и пронзителенъ. И вотъ этотъ-то ораторъ, несмотря на такіе физическіе недостатки, внушаетъ почтеніе своей аудиторіи, онъ цѣликомъ овладѣваетъ ею. Онъ никогда не обращается къ добрымъ чувствамъ собранія. Онъ не трогаетъ. Онъ—строгій диалектикъ, свирѣпый оскорбитель, язвительный человѣкъ, обладающій горькой ироніей. Въ рѣчи Гэда встрѣчаешь поразительные образы, слышишь крики настоящаго пароксизма страсти. Когда слушаешь, какъ Гэдъ обвиняетъ современное общество, то можно прямо подумать, что онъ защищаетъ свое личное дѣло, что, можетъ быть, сегодня же утромъ общество совершило по отношенію къ нему какое-то ужасное преступленіе. Это—человѣкъ ненависти; онъ является какъ бы воплощеніемъ всѣхъ фурій социальнаго памятозлбія

*) Limusin, въ июльской книжкѣ журнала „La Revue du mouvement social“ за 1880 г. (цитировано у Вейля, стр. 212).

**) Цитировано у Сейляка, *Les Congrès etc*, стр. 103.

и социальной зависти. И всё онъ сразу ревуть въ немъ. Трудно было бы найти актера, который больше Гэда вошелъ бы въ шкуру представляемаго имъ персонажа.

Мы не хотимъ сказать этимъ сравненіемъ, что Жюль Гэдъ играетъ комедію, что онъ самъ не убѣжденъ. Нѣтъ, припадки его гнѣва ничуть не фальшивы. Онъ ненавидитъ искренно и „отъ всего сердца“. Его натура—натура апостола. Онъ проповѣдуетъ вполне искренно. Онъ вѣритъ. Его гордость не позволяетъ ему сомнѣваться въ себѣ.

Доктрину, которой онъ поучаетъ, онъ считаетъ своей собственной. Марксъ формулировалъ ее до него. Но онъ не зналъ еще трудовъ Маркса... а большинство идей, изложенныхъ тамъ, уже было выработано имъ самимъ. Онъ возникли въ его умѣ „путемъ историческаго изученія трансформации общества и путемъ наблюденія фактовъ современнаго общества“. Жюль Гэдъ долженъ, въ своемъ горделивомъ сознаніи, считать научный социализмъ своимъ дѣтищемъ. Пусть другіе формулировали это ученіе до него: онъ не зналъ ихъ опредѣленій. Этотъ социализмъ былъ порожденъ ими; но онъ былъ порожденъ и имъ. И вотъ эту-то свою собственную теорію, эту дочь своего мозга, которую онъ знаетъ лучше, чѣмъ кто бы то ни было во Франціи, по отношенію къ которой онъ является самымъ извѣстнымъ, самымъ авторитетнымъ популяризаторомъ въ нашей странѣ,—эту теорію онъ защищаетъ, этой теоріи онъ поучаетъ со страстностью, не заключающей въ себѣ ничего дѣланнаго. Онъ защищаетъ ее перомъ, какъ и словомъ.

Жюль Гэдъ писатель походить на Жюля Гэда оратора. Онъ старается быть очень яснымъ; онъ часто этого и достигаетъ, хотя порою его стиль загроможденъ схоластическими терминами. Но онъ дышетъ могучей рѣзкостью; но онъ часто выковысываетъ новыя выраженія, которыя полны энергіи; но онъ владѣетъ ироніею, которая поистинѣ жжетъ. Въ спорѣ онъ обнаруживаетъ великолѣпную философскую недобросовѣстность. Онъ не отвѣчаетъ на возраженія. Онъ идетъ цѣликомъ впередъ, по прямой линіи дедукцій, выводимыхъ имъ изъ основнаго принципа. Онъ и не долженъ искать того, чтобы убѣдить спорящаго съ нимъ, ибо, внѣ всякаго сомнѣнія, онъ думаетъ, что, подобно ему, всякій непоколебимо останется при своемъ мнѣніи (*сaisi a son siège fait*). Онъ волнуется, дѣйствуетъ, говоритъ, пишетъ для индифферентныхъ пока людей, для публики, „для галлерей“. Онъ твердо знаетъ, что прозелиты вербуются лишь между профанами, что сторонниковъ пріобрѣтаешь себѣ только среди индифферентныхъ пока людей, и что настоящихъ противниковъ не обратишь въ свою вѣру.

Всѣ эти качества и недостатки образуютъ, вмѣстѣ взятые, человѣка, отличающагося странной оригинальностью. Подобно всѣмъ тѣмъ, кто обнаруживаетъ оригинальныя особенности, Гэдъ обладаетъ способностью привлекать людей *).

Наконецъ, вотъ въ заключеніе „моментальная фотографія“, снятая извѣстнымъ репортеромъ Гюрэ съ Гэда 90-хъ годовъ, когда глава рабочей партіи вошелъ въ палату депутатовъ и насчитывалъ уже 50 лѣтъ отъ роду и четверть вѣка политической борьбы:

...На Орлеанской улицѣ (*avenue d'Orléans*), въ верхней части монружскаго квартала, маленькая квартира на четвертомъ этажѣ; въ комнаткѣ, служашей вмѣстѣ и спальней, и рабочимъ кабинетомъ, желѣзная кровать, покрытая газетами, брошюрами, документами, умывальный тазъ, величиной съ

*) Menneix, *La France socialiste* etc., стр. 60—64.

большую чашку, полки съ нагроможденными какъ попало книгами, узкая конторка, заваленная бумагами, кресло и два стула.

Глава марксистской партіи наружностью напоминаетъ Додэ, но Додэ, сбросившаго съ себя обычное обаяніе; голова учителя музыки, бѣгающаго по урокамъ фортепьянной игры; черные, очень длинные волосы; борода библейскаго пророка, которую хотѣлось бы видѣть совершенно бѣлой. Пэнснэ на длинномъ носу, со шнуркомъ, который все цѣпляется за бороду.

Онъ самъ открылъ мнѣ дверь. Какъ только я назвалъ себя, онъ сейчасъ же вскричалъ, пропуская меня въ комнату:

— А, а! такъ это вы, м. г., вы открыли всемірную выставку буржуазной глупости (Гюрэ „интервьюровалъ“ предъ тѣмъ много выдающихся лицъ изъ буржуазнаго лагеря по „соціальному вопросу“ и печаталъ ихъ отвѣты,— порою не безъ протеста съ ихъ стороны,—въ „Фигаро“. Н. К.).

Я защищаюсь, какъ могу, находя, можетъ быть, лишнимъ спорить о другой формулировкѣ, резюмирующей смыслъ первой части моей работы.

Мы сѣли....

Гдѣ во время разговора нѣсколько разъ поднимался съ своего кресла и дѣлалъ два шага, которые ему только и позволяла сдѣлать его крошечная комната. Онъ улыбался на мои возраженія и отвѣчалъ съ тою удивительною легкостью слова, съ тою ясностью, съ тою математическою точностью, которыя составляютъ все его краснорѣчіе...

...Гдѣ вскочилъ однимъ прыжкомъ съ кресла, пружины котораго затрещали, и, поправляя сбившееся пенснэ, воскликнулъ и т. д. *).

Я позволяю теперь собрать въ одно, пересмотрѣть, взаимно провѣрить, ретушировать эти различные портреты Гэда, дополняя ихъ собственными наблюденіями и соображеніями, которыя касаются этого очень выдающагося человѣка и какъ общественнаго дѣятеля, и какъ частное лицо, оставляя, разумѣется, въ сторонѣ все то, что могло бы носить характеръ вторженія въ интимную жизнь.

Что поражаетъ особенно во внѣшнемъ видѣ Гэда тѣхъ, кому приходилось видѣть его въ теченіе болѣе двухъ десятковъ лѣтъ и часто съ значительными промежутками, такъ это его способность мало измѣняться и сохранять ту самую столь типичную и популярную въ извѣстныхъ сферахъ фязіономію, съ какой онъ появился передъ публикой, когда впервые остановилъ на себѣ вниманіе друзей и враговъ. Это все та же высокая, сухая фигура, съ длинными руками и ногами, которыя сгибаются немного по-деревянному, словно на слегка заржавѣвшихъ шарнирахъ и угловатости которыхъ плохо скрываются небрежно одѣтымъ, то черевачуръ мѣшковатымъ, то слишкомъ обтянутымъ костюмомъ. Это все тотъ же правильный, обыкновенно блѣдный, въ минуты волненія слегка разгорающійся овалъ лица съ рѣзко очерченными правильными чертами, съ эффектной рамкой черныхъ, лишь въ послѣднее время начавшихъ слегка сѣдѣть волосъ на головѣ и бородѣ. Это все тотъ же живой, блестящій взоръ слегка выпук-

*) Jules Huret, *Enquête sur la question sociale en Europe*; Парижъ, 1897 г., стр. 348, 357—358 и 359.

лыхъ близорукыхъ глазъ, которые издали и за стеклами пэнсно кажутся очень темными, а вблизи неожиданно поражаютъ васъ своимъ глубокимъ синимъ оттѣнкомъ. Это все то же слегка меланхолическое, но прежде всего саркастическое выраженіе лица, искривляющееся гримасой презрѣнія и ненависти при столкновении съ врагами. Это все тотъ же рѣзкій, высокій, скрипучій голосъ, переходящій мѣстами въ визгъ, почти свистъ и начинающій странно гнусавить, когда политическая страсть бросаетъ непрерывающимся градомъ колючія, ядовитыя слова въ лицо противника. Это всё тѣ же монотонныя жесты фанатичнаго оратора, для котораго мысль—все, а внѣшнія украшенія ея, музыка рѣчи и болѣе или менѣе театральныя позы, ничто. Гдѣ ходитъ по трибунѣ быстрыми, угловатыми движеніями ногъ; и такія же быстрыя и угловатыя движенія рукъ, сводящіяся къ двумъ-тремъ обычнымъ тикамъ, подкрѣпляютъ или, лучше сказать, механически сопровождаютъ его аргументацію. То онъ, словно „продольный пильщикъ“,—какъ вырвалось однажды у меня при бѣглой характеристикѣ Гэда *)—поднимаетъ и опускаетъ свои руки. То онъ сгибается надъ самымъ обрывомъ трибуны, вытягиваетъ обѣ руки къ публикѣ, быстро-быстро шевелитъ длинными, тонкими пальцами, словно посылая электрическія искры своей нервной энергіи въ толпу слушателей, чтобы передать имъ свою мысль, свою страсть, свое убѣжденіе. То онъ слегка выпрямляется, поправляетъ свое старое, стальное, скачущее на носу пэнснэ, временно какъ бы успокаивается и, сгибая указательный и большой палецъ правой руки въ кольцо, начинаетъ методически отчеканивать свои аргументы, съ тѣмъ, чтобы черезъ минуту уже снова начать ходить по трибунѣ, сгибаться надъ ней и продѣлывать свои магнетическія „пассы“ надъ аудиторіей.

Эта общая неизмѣняемость внѣшней фигуры и манеръ Гэда на разстояніи нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ, при подвижности и измѣнчивости его фizioноміи и торопливости его жестовъ, въ каждый данный моментъ показываетъ рѣдкую силу и упругость нервной системы въ этомъ сравнительно слабомъ организмѣ. Гдѣ,—да простить мнѣ читатель это вульгарное, но очень мѣткое русское выраженіе,—„ѣдетъ не на лошади, а на кнутѣ“. Нужно, дѣйствительно, ожесточенно подхлестывать себя идеей, чтобы быть въ состояніи продѣлывать въ теченіе столькихъ лѣтъ и такія порою удивительныя „кампаніи“ агитатора, какія приходилось вести издавна чахоточному Гэду. Друзья его, смѣясь, говорили неоднократно, что лучшее средство вывести его изъ состоянія лихорадочнаго недомоганія, это—бросить его въ политическую агитацію. И, дѣйствительно, Гдѣ зачастую чувствовалъ себя лучше послѣ

*) „Очерки современной Франціи“, стр. 35.

безсонныхъ ночей въ вагонѣ, — онъ ѣздитъ въ третьемъ классѣ за исключеніемъ того времени, когда былъ депутатомъ, имѣющимъ право дарового проѣзда (собственно при извѣстномъ вычетѣ изъ жалованья) въ первомъ классѣ, — чувствовалъ, говорю, лучше послѣ ночи, проведенной на жесткой скамьѣ безъ сна, послѣ продолжительныхъ митинговъ въ низкопробныхъ концертныхъ залахъ грязныхъ рабочихъ центровъ сѣвера, послѣ бурныхъ засѣданій шалаты, смѣнявшихся для него участіемъ въ совѣщаніяхъ партійной организаціи. Можно даже сказать, что именно эта неустанная дѣятельность заглушаетъ у него ощущеніе постоянно грызущей его болѣзни и сознаніе, можетъ быть, очень скорого и очень быстрого конца.

Упомяну кстати, что, когда друзья устроили лѣтъ десять — двѣнадцать тому назадъ поѣздки Гэда на югъ для поправки его крайне разстроеннаго здоровья, изъ подъ пера агитатора, перенесеннаго въ необычную обстановку жизни въ одномъ изъ людныхъ курортовъ на лазурномъ побережьи Средиземнаго моря, вылилось удачное стихотвореніе: „Къ смерти“, отчасти въ духѣ Лукреція, отчасти подѣ влияніемъ собственнаго болѣзненнаго ощущенія импровизированнаго поэта. Читатель сильно бы, впрочемъ, ошибся, если бы подумалъ, что упомянутые стихи исполнены нитя. Нѣтъ, смыслъ обращенія къ „смерти“ заключается въ матеріалистическомъ признаніи творческой роли великаго обмѣна веществъ, который кладетъ конецъ существованію однихъ жизней, чтобы на ихъ развалинахъ и изъ ихъ разсыпающагося матеріала создавать новыя. Авторъ лишь проводитъ разницу между двумя видами смерти: онъ обращается съ негодующими словами къ той смерти, которая поражаетъ молодое существо въ цвѣтъ силъ, надеждъ и невыполненныхъ плановъ; и онъ призываетъ ту смерть, которая обрываетъ уже наполовину истлѣвшую нить жизни человека, много работавшаго, сильно уставшаго въ процессѣ труда и борьбы и неспособнаго больше участвовать въ коллективной дѣятельности общества. Самъ Гэдъ въ этомъ стихотвореніи какъ бы вдвигаетъ себя въ ряды усталыхъ борцовъ, которыхъ пора уступить мѣсто свѣжимъ солдатамъ идеи...

Послѣдующая дѣятельность Гэда-агитатора показываетъ, какъ ошибочно было внутреннее ощущеніе Гэда-поэта. Но мы упомянули объ этомъ стихотвореніи отчасти и потому, что оно показываетъ ту сторону личности вожака рабочей партіи, которую немногіе подозреваютъ и которая, затушевываясь другими особенностями Гэда, можетъ быть, однако, подмѣчена внимательными наблюдателями ораторскихъ и писательскихъ пріемовъ его. А именно Гэдъ — артистъ, какъ ни странно, можетъ показаться такое мнѣніе тѣмъ, кого вводитъ въ заблужденіе преобладающій диалектический и отвлеченный характеръ рѣчей и статей Гэда. Прежде всего надо замѣтить, что ни тѣ, ни другія не лишены яркихъ и

образныхъ выраженій. Но идейный аскетъ французскаго марксизма, видимо, лишь отъ времени до времени позволяетъ себѣ вставить цѣтокъ метафоры въ строгую и тугую—тугую ткань своей аргументаціи. На меня его рѣчи и статьи производятъ даже такое впечатлѣніе, какъ если бы онъ старался сдерживать естественное стремленіе къ образному, повидному, легко дающемуся ему языку. Потому что, когда діалектическая страсть или политическая злоба достигаютъ у Гэда пароксизма, и онъ забываетъ о своей нелюбви къ „фразѣ“ и „сентиментальности“, — непріятно поражающихъ его у большинства прежнихъ французскихъ социалистовъ, — съ его языка или изъ подъ его пера срываются рельефныя и сильныя метафоры, производящія впечатлѣніе прежде всего своего точностью и, если можно такъ выразиться, плотностью. Это не тѣ обширныя, яркія фрески и декораціи, проникнутыя широкимъ и поэтическимъ вдохновеніемъ, какія мы находимъ въ краснорѣчій Жореса; не тѣ могучіе, хотя порою гипертрофированные и не всегда согласованные въ подробностяхъ образы, которые катятся въ своемъ ритмическомъ теченіи ровно волнующійся періодъ этого оратора. Метафоры Гэда это словно вычеканенныя на рукоятѣ шпаги рукою средневѣковаго мастера небольшіе, но крайне выразительные рисунки, блестящіе не красками, а энергіею своихъ контуровъ, рѣзкостью своихъ выпуклостей и вогнутостей. Такія образныя фразы Гэда выливаются по большей части въ формулы, которыя могутъ не нравиться вамъ, могутъ порою приводить васъ въ прямое негодованіе, но которымъ вы не въ состояніи отказать въ силѣ и опредѣленности. Правда, эти формулы превращаются иной разъ въ односторонній парадоксъ, но тѣмъ сильнѣе въ этомъ видѣ онѣ запечатлѣваются въ умѣ друзей и враговъ—гэдовскаго міровоззрѣнія. Не Гэдомъ ли была произнесена фраза: „я принадлежу рабочей партіи не только вплоть до тюрьмы, но вплоть до тюремной стѣны, у которой разстрѣливаютъ инсургентовъ“? Не онъ ли воскликнулъ въ порывѣ пессимизма, обращеннаго къ парламентарной дѣятельности: „предоставимъ геморройдамъ господъ буржуа скамьи палаты депутатовъ“? Не Гэдъ ли бросилъ во время дѣла Дрейфуса жесткую, нетактичную, но энергичную формулу дѣйствій, или лучше бездѣйствія рабочей партіи: „пролетаріатъ не имѣетъ права разсѣивать свое состраданіе на отдѣльныхъ личностяхъ“? А что сказать относительно этой мысли, достойной фигурировать въ собраніи свирѣпыхъ каламбуровъ Шамфора: „буржуазія—поклонница философіи Декарта: я ворую, слѣдовательно, я существую какъ классъ“? или еще вотъ этой: „что такое сбереженіе для рабочихъ? Пакетъ въ осажденномъ городѣ, съ тѣмъ, чтобы получить кусокъ хлѣба къ старости, когда выпадутъ всѣ зубы“? Или слѣдующее обращеніе къ рабочимъ понять отношеніе къ нимъ капиталистовъ: „вы и они равны и квиты: они васъ обворовываютъ,

а вы ихъ обмиллиониваете (emmillionnez)". И такихъ колючихъ фразъ, формулъ, трагическихъ каламбуровъ, своеобразныхъ выраженій вы найдете у Гэда, сколько угодно. Не надо только забывать, что этотъ образный характеръ краснорѣчія и писаній Гэда въ сильной степени маскируется общимъ сухимъ и абстрактнымъ приѣмомъ аргументаціи, которая вращается обыкновенно въ сферѣ социальныхъ отвлеченій и допускаетъ лишь умѣренное употребленіе конкретныхъ примѣровъ и метафорическихъ сравненій. Ниже мы приведемъ одинъ-два отрывка изъ рѣчей и статей Гэда, чтобы читатель составилъ себѣ понятіе о манерѣ этого оратора и писателя, отличающагося и въ томъ, и въ другомъ отношеніи, а особенно на трибунѣ рѣдкимъ даромъ слова, удивительной находчивостью полемиста и непоколебимой увѣренностью въ истинности своего ученія.

Каковъ интеллектуальный типъ Гэда и калибръ его ума? Если припомнить, что было раньше сказано нами объ эволюціи Гэда въ сторону марксизма, особенно въ томъ освѣщеніи, какое давалось этому процессу ближайшими друзьями вождя рабочей партіи, то ему можно приписать извѣстную самостоятельность мысли. Во всякомъ случаѣ не надо преувеличивать размѣровъ этой оригинальности. Не надо хотя бы уже потому, что трудно опредѣлить, въ какой степени самъ Гэдъ пришелъ уже до чтенія Маркса къ теоріи „научнаго социализма“, и не вліяли ли на него элементы марксизма, носившіеся въ то время повсюду въ воздухѣ, совпадавшіе отчасти съ нѣкоторыми частями и мировоззрѣніи прудонистовъ и, можетъ быть, оказавшіе на Гэда свое дѣйствіе изъ вторыхъ рукъ, при посредствѣ его знакомыхъ, уже изучавшихъ „Манифестъ коммунистической партіи“ и „Капиталъ“.

Если нельзя точно установить размѣры самостоятельной мысли Гэда при первой выработкѣ имъ мировоззрѣнія, подходящаго къ марксизму, то можно во всякомъ случаѣ видѣть, что при столкновеніи съ самой теоріей Маркса лицомъ къ лицу, *facies ad faciem* Гэдъ не обнаружилъ замѣтной оригинальности. Онъ оказался очень выдающимся, очень вѣрнымъ, черезчуръ вѣрнымъ ученикомъ своего учителя, но и только. Видимо, его даже интересовало не столько углубленіе въ самую теорію Маркса, сколько ея приложеніе къ задачамъ политической борьбы. И въ этомъ отношеніи, даже принимая во вниманіе сдѣланныя нами въ началѣ этой статьи оговорки, мы должны признать, что Гэдъ не углублялъ, а упрощалъ, не столько развивалъ, сколько заострялъ принятое имъ мировоззрѣніе. Но при этомъ неоригинальномъ процессѣ мысли, Гэдъ обнаружилъ, однако, рѣдкія качества французскаго типичнаго ума: его „абстрактный“ характеръ, позволяющій съ энергичной и естественной граціей дѣлать рядъ выводовъ изъ общихъ формулъ, и его смѣлую ясность, не останавливающуюся

ни передъ какимъ заключеніемъ, а, наоборотъ, придающую ему наиболѣе понятную и упрощенную форму. Съ этой точки зрѣнія было бы, кстати сказать, интересно прослѣдить, какая разница замѣчается въ различныхъ національных формулировкахъ марксистской доктрины, напр., хотя бы между нѣмецкими, французскими и англійскими учениками Маркса. Я оставляю, однако, этотъ вопросъ въ сторонѣ, ограничиваясь лишь замѣчаніемъ, что французъ Гедъ такъ же отнесся къ ассимилированному имъ марксизму, какъ онъ отнесся бы, въ качествѣ француза, къ другому міровоззрѣнію, на которомъ бы остановился. Онъ взялъ изъ него рядъ общихъ положеній и съ французской энергіей и талантомъ, усиленными не совсѣмъ французской настойчивостью, популяризировалъ ихъ въ безчисленномъ рядѣ частныхъ приложений, проявляя извѣстную оригинальность въ промежуточныхъ звеньяхъ дедукціи. Цѣль этой дедукціи онъ прикрѣплялъ къ теоріи „научнаго социализма“, и отсюда неустанно протягивалъ къ любому, социальному и политическому явленію, пытаясь дѣлать его плѣнникомъ - рабомъ и послушнымъ служителемъ своей доктрины.

Такимъ абстрактнымъ, яснымъ, строго-логическимъ и дедуктивнымъ умомъ мнѣ представляется умъ Гада. Его гибкость, обнаруживающаяся въ извѣстныхъ границахъ излюбленнаго міровоззрѣнія, не соединяется, однако, какъ мнѣ кажется, ни съ широтой, ни съ „открытостью“, разумѣя подъ этимъ способность войти хотя бы временно въ чужой міръ идей не съ цѣлью полемики, а въ интересахъ знанія. Словно монада Лейбница для другихъ монадъ, міровоззрѣніе Гада остается непроницаемымъ для другихъ міровоззрѣній и изнутри во внѣ, и извнѣ во внутрь. Глава французскаго марксизма слѣпъ и глухъ на возраженія, которыя могутъ дѣлаться ему противниками: онъ игнорируетъ ихъ, или блестяще полемизируетъ съ ними, въ сущности - то проходя мимо ихъ. Но Гедъ закрываетъ глаза и уши и тогда, когда дѣло идетъ о проникновеніи въ другое міровоззрѣніе: оно интересуетъ его совсѣмъ не тѣмъ, что въ немъ можетъ заключаться, а лишь какъ внѣшнее препятствіе, которое должно цѣлкомъ сбросить съ дороги и которое онъ, дѣйствительно, зачастую сбрасываетъ съ удивительною энергіей и безжалостностью убѣжденія.

Этимъ отчасти объясняется и нежеланіе Гада обременять своей живой и сильный умъ лишней эрудиціей. Онъ въ извѣстномъ смыслѣ тотъ интеллектуальный типъ, о которомъ Тома Аквинатъ выразился: „боюсь человека, прочитавшаго въ теченіе всей своей жизни лишь одну книгу“ (*timeo hominem unius libri*). Марксъ и нѣсколько книгъ экономистовъ и социалистовъ составляютъ основаніе научнаго багажа Гада. Но врядъ ли кто во Франціи знаетъ такъ, какъ Гедъ, ту великую „книгу жизни“, которая представляетъ собою политическую и социальную исторію Франціи, по

крайней мѣрѣ за 40 лѣтъ, съ тѣхъ поръ, какъ Гэдъ сталъ жить, сознательно участвуя въ судьбахъ родины. Событія, политическіе дѣятели, скандальная хроника буржуазіи и мартирологъ трудящихся массъ, борьба партій и фракцій внутри партій,—все это является для Гэда не чисто печатнымъ матеріаломъ, какъ для большинства его современниковъ, живущихъ интеллектуальною жизнью, а близкимъ, кровнымъ, глубоко реальнымъ драматическимъ представленіемъ, въ которомъ онъ зачастую игралъ роль актера и почти всегда роль внимательнаго и страстнаго зрителя. Его феноменальная и замѣчательно живая и точная память хранить слѣды безчисленныхъ впечатлѣній. И имена Бланки, Гамбетты, Бакунина, Маркса, Энгельса, Буланже, Рошфора, Кассаньяка, Деруледа, Жюль Ферри, Клемансо, Бериса, Вилліама Морриса, Дрюмона, Панарделли, Либкнехта, г-жи Андре Лео, Кропоткина, Малато, Льва Мечникова, и сотни другихъ великихъ и малыхъ дѣятелей, равно какъ названія такихъ крупныхъ событій п явленій, каковы франко-прусская война, коммуна, *сoup d'Etat* 16-го мая, буланжизмъ, первый парижскій международный конгрессъ, Панама, дѣло Дрейфуса вызываютъ въ немъ опредѣленные ассоціаціи идей, чувствованій, борьбы, энтузіазма, ненависти, презрѣнія. Вотъ съ этимъ человѣкомъ онъ шелъ рука объ руку противъ имперіи; съ нимъ же онъ ожесточенно боролся во времена буланжизма; съ тѣмъ онъ былъ на ножахъ въ 80-хъ годахъ, и стоялъ въ однихъ рядахъ десять лѣтъ спустя; еще другой былъ его любимымъ ученикомъ, а нынѣ продалъ свой талантъ и идейный жаръ имущимъ и правящимъ классамъ. Передъ его глазами проносятся сцены шумныхъ республиканскихъ собраній конца имперіи, публичныхъ митинговъ начала 80-хъ годовъ, когда анархисты стульями забрасывали ораторовъ коллективизма на трибунѣ; революціоннаго броженія толпы на улицахъ послѣ отставки Граві; восторженнаго пріема ораторовъ рабочей партіи, пробуждавшихся къ сознательной жизни рудокопами сѣвернаго департамента и ихъ женами и дочерьми съ букетами въ рукахъ; враждебнаго засѣданія палаты депутатовъ, криками прерывавшихъ страстную рѣчь Гэда; трагическихъ столкновеній между братьями - врагами социалистической партіи,—и еще многихъ, многихъ событій...

Во всѣхъ этихъ крупныхъ и мелкихъ, общественныхъ и личныхъ коллизіяхъ, Гэдъ не только увѣренно оріентируется самъ, но и даетъ иниціативный толчекъ единомышленникамъ, снабжаетъ ихъ теоретическими аргументами и практическими лозунгами,—и все это при небольшомъ запасѣ хорошо прочитанныхъ и продуманныхъ книгъ, и все это помимо научной эрудиціи и изученія вопроса по „источникамъ“. Здѣсь будетъ у мѣста, однако, сдѣлать важную поправку: человѣкъ жизни и борьбы, несмотря на ствлеченный характеръ своего мышленія, укладывающагося въ ясныя и зачастую одноконія формулы, Гэдъ образцовый, прямо

несравненнымъ, чтеніе газетнаго матеріала и политическихъ брошюръ на злобы дня. Его пріятели не разъ говорили, что нельзя представить себѣ болѣе оригинальнаго, почти гениальнаго чтенія газетъ, чѣмъ какое практикуется Гэдомъ. Онъ очень внимательно изъ дня въ день, цѣлыми годами читаетъ нѣсколько серьезныхъ, хорошо редактируемыхъ, главнымъ образомъ буржуазныхъ, газетъ и быстро просматриваетъ передовыя статьи въ другихъ органахъ періодической прессы. Его ясный умъ, его рѣдкая память, его умѣнье связывать конкретныя факты съ основами своего міровоззрѣнія снабжаютъ его ежедневно въ концѣ такого чтенія богатымъ, хорошо подобраннымъ и хорошо уложившимся въ головѣ текущимъ матеріаломъ. Текущая жизнь, рассматриваемая сквозь призму ежедневной печати, является для него какъ бы необходимымъ дополненіемъ къ той „книгѣ жизни“, столько страницъ которой связаны у него съ личными опытами и ассоціаціями идей и аффектовъ. И въ тотъ моментъ, когда какая-нибудь злоба дня сильно тревожитъ общественное мнѣніе, вы можете быть увѣрены, что, при помощи ежедневной прессы и текущихъ брошюръ, Гэдъ ознакомленъ съ этимъ вопросомъ гораздо лучше, чѣмъ громадное большинство интеллигентныхъ людей, изучающихъ его по громоздкимъ трудамъ. Что касается до всего прочаго аппарата эрудиціи, Гэдъ рѣшительно отстраняетъ его; и, не крича громогласно о своемъ равнодушіи къ чистой наукѣ, не рекомендуя даже за образецъ своимъ ученикамъ такого отношенія къ человѣческой мысли, самъ Гэдъ довольствуется чтеніемъ газетъ—и самого же Гэда, т. е. упорнымъ служеніемъ своему міровоззрѣнію. Лишь нрѣдка онъ отдыхаетъ на чтеніи беллетристики, предпочитая въ такомъ случаѣ „романы приключеній“, какъ называютъ ихъ французы, психологическимъ и идейнымъ романамъ: подобно своему учителю Марксу, онъ любитъ перечитывать автора „Трехъ мушкетеровъ“ и „Графа Монтекристо“.

Вдумываясь, однако, въ поражающую васъ съ перваго взгляда односторонность ума Гэда, вы поневолѣ задаетесь вопросомъ, точно ли это есть его интеллектуальное качество, и не является ли это скорѣе результатомъ сознательной дисциплины, налагаемой на этотъ умъ характеромъ Гэда. Я думаю, дѣйствительно, что ключъ къ духовной фізіономіи надо искать прежде всего въ сферѣ его чувства и воли. У Гэда—натура страстнаго фанатика, натура глубоко вѣрующаго человѣка. Ясный и абстрактный характеръ его мышленія обманываетъ поверхностнаго наблюдателя, который видитъ въ Гэдѣ одну сухую разсудочность. На самомъ дѣлѣ, Гэдъ—типъ идейнаго энтузіаста *par excellence*: страстная борьба за убѣжденія составляетъ суть его природы. Отсюда его нетерпимость: „великій инквизиторъ коллективизма“, „Торквемада въ пансѣ“, „тиранъ“, „Далай-Лама“,—все эти названія, дававшіяся ему столько разъ его врагами, выражаютъ именно это фа-

натиное отношеніе Гэда къ тому, что онъ считаетъ истиной. Идеинный фанатизмъ принимаетъ особенно рѣзкія формы у Гэда еще потому, что онъ представляетъ собою личность съ сильно развитыми, не скажу эгоистическими, но индивидуалистическими инстинктами. Проповѣдникъ строя, основаннаго на гармоніи, онъ въ то же время типичный сынъ современнаго общества, основаннаго на борьбѣ и вырабатывающаго у всѣхъ насъ органы нападенія и защиты. У Гэда эти органы развиты въ высокой степени; только вмѣсто того, чтобы упражнять ихъ въ борьбѣ за матеріальное существованіе, онъ пускаетъ ихъ въ ходъ при отстанваніи своихъ убѣжденій, т. е. на почвѣ, гдѣ его сильно прокidyвающийся индивидуализмъ сливается съ общественной страстью. Гэдъ высокобренъ, Гэдъ властолюбивъ, Гэдъ ревниво оберегаетъ свой авторитетъ главы партіи; борьба противъ него является въ его глазахъ „грѣхомъ противъ Духа Свята“. Истина и онъ,—это тѣлесная оболочка истины,—сливаются для него самого въ одно цѣлое. Но было бы интересно прослѣдить, не является ли такая психологія общей психологіей вожаковъ партій въ современномъ обществѣ, при чемъ разниа замѣчается лишь въ степени напряженности, съ какой проявляется этотъ личный элементъ. Интересно было бы также анализировать то влияніе, которое ученики оказываютъ на своего признаннаго учителя и которое заставляетъ послѣдняго принимать, если можно такъ выразиться, обязательную интеллектуальную позу и застывать въ іератическомъ выраженіи незыблемости и непогрѣшимости.

Какъ бы то ни было, на службу идейнаго фанатизма Гэдъ отдалъ свою рѣдеую энергію, поражающую у француза не только своею напряженностью, но постоянствомъ: Гэдъ пылаетъ, но далеко не тѣмъ скоро потухающимъ соломеннымъ огнемъ, который воспламеняетъ его соотечественниковъ въ экстренныя минуты и скорѣ оставляетъ по себѣ лишь кучу пепла. Жаръ Гэда, это—продолжительное пламя горна, дѣйствующее даже на туго плавкія вещества. На службу же идеѣ Гэдъ отдалъ свою личную карьеру и внѣшніе матеріальные успѣхи, имѣющіе такое значеніе для средняго француза. Въ то время, какъ большинство прежнихъ друзей и знакомыхъ Жюля Гэда изъ буржуазіи, всѣ эти Ивы Гюйо, Массары и прочіе „ех-непримиримые“ враги современнаго общества пристроились или къ буржуазному правительству, или къ буржуазной оппозиціи и достигли обезпеченности и мѣщанскаго благополучія, Гэдъ остался прежнимъ Гэдомъ. У него была на рукахъ семья (Гэдъ женился еще въ 70-хъ годахъ), и ему приходилось зарабатывать для своихъ кусокъ хлѣба не легкимъ трудомъ. Но никогда Гэдъ не поступился ни на іоту своими убѣжденіями въ интересахъ личнаго или семейнаго процвѣтанія. Его слово, его перо служили прежде всего „дѣлу“, т. е. партіи, душою которой онъ былъ и отчасти остается и те-

перъ, ибо пока не видишь молодыхъ, могущихъ замѣнить его. А когда обстоятельства складывались такъ, что приходилось выбирать между личными выгодами и идеей, онъ безъ всякаго колебанія жертвовалъ своими интересами. Бывали,—и нерѣдко,—такіе періоды въ жизни Гэда, когда его мебель описывалась домохозяиномъ за невзносъ квартирной платы, и когда у главы партіи не было нѣсколькихъ су въ карманѣ, чтобы возвратиться ночью на конкѣ съ публичнаго собранія въ рабочемъ предмѣстьѣ. И, однако, Гэдъ тщательно и цѣлыми годами скрывалъ эти стороны своего личнаго существованія, порою отъ близкихъ друзей, пока, наконецъ, мало-по-малу не стала извѣстна имъ, а черезъ нихъ и публикѣ, жизнь этого солдата идеи, чей фанатизмъ и чья ключая, высокомерная, властолюбивая индивидуальность возбуждали ненависть въ противникахъ, но создавали „великому инквизитору коллективизма“ и прочныя симпатіи среди единомышленниковъ

Нарисовавъ этотъ портретъ Гэда, остающійся почти неизмѣннымъ съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ глава французскаго марксизма окончательно опредѣлился въ политическомъ и общественномъ смыслѣ, т. е. съ начала 80-хъ годовъ, мнѣ остается только дополнить его нѣсколькими фактами послѣдующей біографіи Гэда, возвращаясь къ тому моменту, когда мы оставили его. При этомъ, какъ я уже сказалъ раньше, я буду говорить по возможности о немъ самомъ, а не о партіи, исторія которой не можетъ собственно найти мѣста здѣсь.

Мы остановились на томъ времени, когда Гэдъ откололся отъ умѣреннаго большинства рабочей партіи, которой онъ наклеилъ ярлыкъ „поссибилистовъ“. По обыкновенію неудача не обезкураживаетъ его, какъ успѣхъ придаетъ лишь больше энергіи его дѣятельности. И онъ съ жаромъ бросается въ агитацію рука объ руку съ Лафаргомъ и Девиллемъ, перенося центръ тяжести изъ Парижа, гдѣ преобладали поссибилисты, въ провинцію, гдѣ почва была еще не почата. Къ этому времени относятся первыя гэдистскія организаціи рабочихъ въ центрѣ и на сѣверѣ. Мы уже видѣли, что во время одной изъ такихъ агитаціонныхъ поѣздокъ въ центральную Францію, Гэдъ и Лафаргъ подвергаются судебному преслѣдованію и приговорены къ 6-ти мѣсячному тюремному заключенію, которое и отбываютъ въ Sainte-Pélagie. Пользуясь этимъ вынужденнымъ досугомъ, Гэдъ составляетъ съ Лафаргомъ комментаріи къ программѣ рабочей партіи (выше мы цитировали эту работу) и уже одинъ перепечатываетъ отдѣльной брошюрой свои статьи противъ Поля Леруа Вольѣ, появившіяся въ „L'Egalité“ 1881—1882. Характеръ этихъ рѣзкихъ, но остроумныхъ „уроковъ профессору“, пущенныхъ въ отдѣльномъ изданіи подъ заглавіемъ „Коллективизмъ въ Collège de France“ (гдѣ

читалъ политическую экономію Леруа Больё), ярко выступаетъ уже въ слѣдующихъ строкахъ введенія:

Если я переиздаю свои статьи теперь, пользуясь досужимъ временемъ, которымъ наградила меня окружной судъ, то дѣлаю это, — надо ли, впрочемъ говорить о томъ? — не съ тѣмъ, чтобы еще разъ справить триумфъ надъ забытымъ противникомъ, но единственно съ цѣлью установить тогъ фактъ, что противъ нашихъ коллективистическихъ и коммунистическихъ выводовъ легче найти судей и тюремщиковъ, чѣмъ аргументы *).

Въ этой брошюрѣ, которая даже буржуазными врагами считается удачнымъ полемическимъ памфлетомъ, резюмирующимъ на нѣсколькихъ страничкахъ возраженія противъ громоздкой критики Леруа-Больё, Гэдъ разбираетъ, насколько несовмѣстимъ, — какъ то думаетъ этотъ экономистъ. — коллективизмъ съ „справедливостью“, съ „полезностью“, со „свободою“ и съ „семьею“. Авторъ-полемистъ стоитъ все время на точкѣ зрѣнія необходимаго развитія человѣчества и такъ, напр., заканчиваетъ отдѣлъ о семьѣ и самую брошюру:

Свобода и достоинство отношеній между полами, освобожденными отъ экономической и меркантильной стороны; равное мускульное и мозговое развитіе ребенка, всѣхъ дѣтей; широкое и независимое потребление, — всѣ эти *desiderata* будутъ осуществлены для всѣхъ мужчинъ и для всѣхъ женщинъ великой человѣческой семьей, которую образуетъ собой общество, примирившееся съ самимъ собой внутри общей собственности и общаго труда. Но эти же требованія совершенно недоступны для того маленькаго общечитія, какимъ является индивидуальная семья.

И не то, чтобы мы, — повторяемъ еще разъ, — должны были поднять нашъ локоть на это многовѣковое убѣжище нашего рода. Но какъ человѣческой зародышъ, дошедшій до извѣстной степени развитія, отрывается отъ заключающихъ его нѣдръ организама, ставшихъ недостаточными, такъ подобный же разрывъ совершится между развитымъ человѣчествомъ и нѣдрами семьи, не могущей заключать его болѣе въ себѣ, не удушая **).

Очень интересны и характерны для литературныхъ пріемовъ Гэда возбуждавшія въ свое время большой шумъ статьи, которыя онъ печаталъ въ срединѣ 80-хъ годовъ въ газетѣ „Le Cri du Peuple“ покойнаго Валлеса и издалъ, вмѣстѣ съ кой какими другими статьями, всего нѣсколько лѣтъ тому назадъ подъ заглавіемъ „Соціализмъ со дня на день“. Это рядъ короткихъ и энергичныхъ передовицъ, носящихъ — то забавныя, то свирѣпыя заглавія „Богиня рента“, „Да здравствуетъ голодъ!“ „Обворованные воры“, „Счастливаго пути, господа акціонеры!“ „Славно ревешь, оселъ!“ и т. д. и отыскивающихъ съ опредѣленной точки зрѣнія на всѣ вопросы дня. Я сдѣлаю выдержку изъ статьи „Богиня рента“, чтобы дать читателю понятіе о манерѣ Гэда-писателя:

... Государственный долгъ — или рента — есть, дѣйствительно, идеалъ класса, который намѣренъ все потреблять, ничего не производить, потому что —

*) Jules Guesde, *Le Collectivisme au Collège de France*; 1883, стр. 1 (цитирую по парижскому изданію 1900 г.).

**) Ibid., стр. 27.

согласно очень вѣрному замѣчанію Карла Маркса—, онъ даетъ непроеизводительнымъ деньгамъ значеніе воспроизводящейся цѣнности, не обрекая ихъ, сверхъ того, на рискъ и замѣшательство, нераздѣльные отъ ихъ промышленнаго употребленія или даже частнаго ростовщичества*.

Для рантье нѣтъ ни града, ни филлоксеры, ни кризиса, ни войны. Его доходъ—и поэтому-то, безъ сомнѣнія, коммиссія по пересмотру налоговъ вычеркнетъ его изъ списка облагаемыхъ доходовъ—паритъ выше всякихъ промышленныхъ, торговыхъ и земледѣльческихъ пертурбацій, которыя не могутъ ни на юту коснуться его.

Къ своему политическому Седану Франція можетъ прибавить Седанъ экономическій—а рентѣ какое дѣло! Франція могла бы даже исчезнуть со всѣмъ какъ государство—рента не пострадала бы отъ этой національной смерти. Государство-хищникъ—или палачъ—не преминуло бы, какъ это было при хищническомъ присоединеніи Эльзаса-Лотарингіи, взять на себя уплату по процентамъ французскаго государственнаго долга.

Въ недостигаемой сферѣ своихъ купоновъ, рантье царитъ, дѣйствительно, какъ Богъ—единный, истинный Богъ. По крайней мѣрѣ, до того дня, когда—новый тиранъ—пролетаріатъ, бросая свои легіоны на легіоны, возьметъ приступомъ капиталистическое небо и покончитъ со всѣми религіями—включая и въ особенности религію ренты *).

Я прошу читателя обратить вниманіе на характерную черту этого стиля, выражающуюся даже въ своеобразной системѣ препинанія. Фраза Гёда течетъ быстро и ровно, но онъ часто прерываетъ ее короткими вводными предложеніями и словами и всегда заключаетъ ихъ въ два тире — —. Эти тире, которыми испещрены статьи Гёда, останавливаютъ на себѣ взоръ читателя и напоминаютъ ядовитыя паузы въ рѣчахъ Гёда: — — разъ! два! — — разъ! два! словно ударъ кинжала въ противника, и снова неустанная борьба съ нимъ вплотную...

Вѣрный своей тактикѣ неумолимаго отдѣленія пролетаріата отъ буржуазіи, Гёдъ (какъ и Лафаргъ) во время буланжистскаго кризиса ни за что не хотѣлъ вступить даже во временную коалицію съ демократической буржуазіей для защиты республики отъ цезаризма, — какъ то было сдѣлано поссибилистами. Въ союзѣ съ бланкистами, группировавшимся вокругъ Вальяна (часть бланкистовъ перешла, какъ извѣстно, съ „генераломъ“ Эдомъ на сторону Буланже), рабочая партія выпустила въ самый разгаръ выборной агитаціи, а именно въ августѣ 1889 г., манифестъ „къ избирателямъ“, въ составленіи котораго одну изъ самыхъ дѣятельныхъ ролей игралъ, конечно, Гёдъ.

Въ этомъ манифестѣ, сильно отражающемъ взгляды Гёда (и Лафарга) и лишь отчасти подправленнымъ воззрѣніями болѣе чуткаго въ политическомъ смыслѣ Вальяна, надо различать два элемента. Съ одной стороны, это, конечно, желаніе сохранить въ чистотѣ формулу классовой борьбы пролетаріата противъ всей

*) Jules Guesde, *Le Socialisme au jour le jour*, Парижъ, 1899, стр. 11—12.

буржуазии. Но, съ другой, это скрытое и тѣмъ не менѣ очень реальное опасеніе пойти прямо въ разрѣзъ съ политическимъ настроеніемъ увлеченныхъ буланжизмомъ массъ. Замѣтите, дѣло шло въ данный моментъ не о какомъ-либо союзѣ, а о временной коалиціи съ буржуазными республиканцами съ определенной цѣлю воспрепятствовать цезаристскому coup d'Etat. Насколько же было тактично одной половиной фразы призывать массы „сохранить во что бы то ни стало республику“, а другой половиной бросать безразлично всѣ фракціи буржуазіи въ одинъ ящикъ съ нечистотами и приглашать „избирателей“ бороться одинаково какъ противъ буланжистовъ, такъ и противъ ихъ противниковъ? Прибавлю, что, говоря о манифестѣ, мы касаемся эпохи, — а именно лѣта и осени 1889 г., — когда націоналистическое движеніе уже видимо остановилось на одномъ уровнѣ передъ тѣмъ, какъ идти на убыль. Но въ теченіе предшествующихъ лѣтъ и особенно 1888 г., когда буланжизмъ обнаруживалъ поразительную способность распространенія, Гэдъ съ товарищами уклонялся отъ прямой борьбы съ Буланже и, развивая свое обычное социалистическое мировоззрѣніе, странно умалчивалъ о злобѣ дня, раздиравшей на враждебныя партіи всю Францію. Была ли, однако, эта тактика прямой политической трусостью? Но Гада отнюдь нельзя упрекать въ отсутствіи рѣшительности. Разгадка такой двусмысленной политики заключалась, наоборотъ, въ томъ, что абстрактная прямолинейность его мировоззрѣнія всегда поддерживала въ немъ иллюзію, будто достаточно развивать въ „четвертомъ сословіи“ классовое сознаніе противоположности его экономическихъ интересовъ — интересамъ имущихъ и правящихъ, чтобы сами трудящіяся массы выводили затѣмъ уже отсюда всѣ необходимыя политическія и моральныя послѣдствія. Конечно, въ концѣ концовъ рабочій классъ и долженъ будетъ сдѣлать эти выводы. Но весь вопросъ въ томъ, когда? А между тѣмъ такіе политическіе кризисы, какъ буланжизмъ, требуютъ немедленно политическаго же отвѣта отъ массъ, ибо при неблагоприятномъ исходѣ могутъ разрушить самую почву для открытой борьбы классовъ, замѣнивъ свободныя учрежденія цезаристскими. „Пускай народъ увлекается буланжизмомъ, — такъ можно формулировать тогдашнее настроеніе Гада, — не будемъ прямо идти противъ этой политической нелѣпости; будемъ, наоборотъ, насыщать его идеями коллективизма и рано или поздно онъ самъ пойметъ пустоту своего мишурнаго идола и тогда самъ завоюетъ себѣ лучшее будущее путемъ сознательной борьбы со всѣмъ современнымъ строемъ“. А въ результатѣ то странное, половинчатое поведеніе Гада въ эпоху буланжизма, когда лишь союзъ съ бланкистами Вальяна вывелъ французскихъ марксистовъ изъ состоянія политическаго безразличія среди бурь, поднятыхъ „синдикатомъ недовольныхъ“, которые группировались съ разными цѣлями вокругъ „браватаго

генерала". Хорошо, что буланжистское движение кончилось разгромом националистов: иначе „рабочая партия" несла бы тяжелую историческую ответственность за это невмешательство в борьбу между цезаризмом и демократией. Таким образом, партийный страх перед „избирателями" не столько в смысле непосредственного результата выборов, сколько в смысле дальнейшей судьбы коллективистической пропаганды в массах смутили смелое сердце Гэда на рубеж 80-х и 90-х годов.

Я теперь перехожу к такой полосе в жизни Гэда, когда его увлечение результатами этой пропаганды заставило, наоборот, его временно стать эволюционистом и даже изменить временно же взгляды на всеобщую подачу голосов. Я оставляю в стороне те колебания Гэда в отношении к этому принципу в начале его деятельности, как главы партии. Анархисты, с одной стороны, possibilistes—с другой не раз забавлялись, отмечая хотя бы тот факт, что тот самый Гэд, который „предоставлял" выборные места геморроидам буржуа, на выборах 1881 г. ставил свою кандидатуру в Рубэ, и при том ставил ее, не смотря на формальное обещание не делать этого, подписанное им вместе с другими сотрудниками лионской газеты „L' Emancipation sociale". На это можно было бы ответить, что дело шло о частной попытке „превратить всеобщую подачу голосов из орудия дурачения в орудие освобождения пролетариата", согласно самой программе рабочей партии, составленной при участии Маркса (см. выше)...

Нѣтъ, мы возьмемъ взгляды Гэда въ періодъ его почти пятилѣтняго пребыванія въ палатѣ депутатовъ 1893—1898 г., куда онъ вошелъ вмѣстѣ съ другими почти пятидесятью социалистами разныхъ фракцій. Этотъ успѣхъ социализма на законодательныхъ выборахъ (20-го августа—3-го сентября 1893 г.) вмѣстѣ съ одновременнымъ почти захватомъ коллективистами муниципальных совѣтовъ такихъ большихъ городовъ, какъ Лилль, Рубэ, Марсель, долженъ былъ, конечно, придать ярко оптимистическую окраску взглядамъ Гэда. Онъ даже предложилъ друзьямъ принять участіе въ сенатскихъ выборахъ, дотолѣ возбуждавшихъ презрительную усмѣшку крайнихъ партій, и общалъ—не сбывшееся—торжество социалистовъ и въ этой кампаніи. Одинъ изъ историковъ рабочаго движенія во Франціи такъ изображаетъ тогдашнее настроеніе Гэда:

Гэдъ былъ въ особенности упоенъ побѣдой; онъ уже вѣрилъ, что находится наканунѣ торжества; приведенный въ состояніе экзальтаціи испытанными имъ преслѣдованіями, лихорадочною работою всей своей жизни, цѣликомъ отданной на пропаганду и, кромѣ того, истощенный болѣзнью и нетерпѣливо ожидавшій момента увидѣть великія дѣла, которыя готовились въ

исторіи, онъ страдалъ недостаткомъ, общимъ всѣмъ апостоламъ, а именно: онъ постоянно надѣялся на окончательный кризисъ. Онъ вѣчно ждалъ революціи. Въ теченіе двадцати лѣтъ онъ вѣрилъ, что она придетъ въ дыму баррикадъ и среди грохота динамитныхъ взрывовъ; теперь, послѣ избирательныхъ успѣховъ 1893 г., онъ вообразилъ, что ее могло бы начать большинство въ стѣнахъ парламента. Онъ разсуждалъ логично и просто: „въ предшествующей палатѣ насъ не было и дюжины. Теперь насъ цѣлыхъ сорокъ. Пусть только поддержится эта прогрессія, и въ 1897 г. мы будемъ въ числѣ ста шестидесяти *).

Оставляя въ сторонѣ слегка ироническое отношеніе автора этой характеристики къ Гэду, мы можемъ сказать, что въ общемъ розовое настроеніе главы рабочей партіи въ серединѣ 90-хъ годовъ передано у Галэви близко къ дѣйствительности. „Право на оружіе“ отступало теперь въ представленіи Гэда передъ избирательнымъ бюллетенемъ. Онъ неоднократно развивалъ предъ враждебно настроенной оппортунистской палатой ту мысль, что рабочій классъ, опираясь на всеобщую подачу голосовъ и совершенно легальнымъ путемъ, осуществить великій общественный переворотъ. Онъ подчеркивалъ перспективу этого эволюціоннаго рѣшенія грандіознаго «соціального вопроса. Въ рѣчи, произнесенной 22-го ноября 1895 г., Гэдъ торжественно заявлялъ:

Нѣтъ, не при помощи налога, какова бы ни была его форма, пролетаріатъ завладѣть зданіемъ капитализма, которое рушится теперь со всѣхъ сторонъ; тотъ ключъ отъ него, который васъ умоляли не давать намъ, въ нашихъ рукахъ, и издавна въ нихъ. Его намъ вручили наши парижскіе братья, тѣ, что въ 1848 г. вырвали, цѣною революціи, всеобщую подачу голосовъ у цензовой буржуазіи. Они дали намъ его, и мы сохранимъ его, и мы не позволимъ ни прямо, ни косвенно снова отобрать его. Да! при помощи политическихъ правъ обездоленныхъ, при помощи политическихъ правъ пролетаріата, но мѣрѣ того, какъ онъ выучится пользоваться имъ, мы проникнемъ во внутрь правительства вашего стараго сгнившаго общества, и скоро мы будемъ въ состояніи во имя закона, который сегодня диктуете вы, а который завтра продиктуемъ мы, преобразовать режимъ анархіи, даващій на всѣхъ и несущій необезпеченность всѣмъ, и замѣнить его режимомъ всеобщаго счастья и всеобщей свободы.

Вотъ нашъ ключъ, и мы не требуемъ другого (*рукописканія на крайней лѣвой*).

Я очень хорошо понимаю, что шестіе впередъ пролетаріата, который знаетъ, какой методъ дѣйствія употреблять и какой цѣли достигать, ужасаетъ тѣхъ,—что отчаянно цѣпляются за погибающую строй; я очень хорошо понимаю, что многіе изъ нихъ предпочли бы, чтобы рабочій классъ бросился въ прямую борьбу, какъ бросался нѣкогда во дни инсуррекции, повертывавшейся противъ него. Такъ нѣтъ-же! довольно кровопусканій! Рабочіе слишкомъ часто сражались и погибали за другихъ, за реформы, проносившіяся надъ ихъ головами. Отнынѣ ихъ кровь принадлежитъ ихъ же классу, принадлежитъ всему человечеству, и мы скупимся и мы должны скупиться на эту кровь. Нѣтъ! вы не заставите насъ пасть подъ ружейными выстрѣлами, какъ въ Фурми, не заставите насъ слѣпѣ разбитыя о буржуазное государство,

*) Daniel Halévy, *Essai sur le mouvement ouvrier en France*; Парижъ, 1901, стр. 223.

которое во всѣхъ своихъ частяхъ организовано такъ, чтобы раздавить безоружный народъ. Мы не атакуемъ его прямымъ насиліемъ и съ фронта, мы не выйдемъ изъ легальности. Васъ убьетъ сама эта ваша легальность: ея намъ достаточно въ борьбѣ противъ васъ (*рукопесканія на крайней твоей* *).

Три года спустя Гэдъ снова перешелъ на старую точку зрѣнія, которая, впрочемъ, въ сущности не покидала его совѣсть и тогда, когда онъ былъ увѣренъ въ быстромъ распространеніи коллективизма среди массъ. Его не оставляла и тогда мысль о томъ, что „буржуазное государство“ не дастъ трудящимся массамъ возможности восторжествовать легально. Онъ и тогда ставилъ дилемму (на засѣданіи 20-го ноября 1894 г.) буржуазному большинству, поддерживавшему республиканскій по имени, но реакціонный по духу кабинетъ Шарля Дюкюи:

...Всѣ революціи были навязаны и вынуждены, всѣ онѣ дѣло партій, стоящихъ у власти.

Являетесь-ли вы одною изъ этихъ партій, которыя желаютъ ускорить революцію, заставить насъ произвести ее?

Въ этомъ пунктѣ мы къ вашимъ услугамъ... Мы хоть сейчасъ готовы написать: „здесь поконитъ прахъ“ на развалинахъ современнаго порядка или беспорядка; перо и бумага наготовѣ у насъ.

Но если, наоборотъ, вы хотите быть просто-на-просто республиканскимъ правительствомъ, хотя и не раздѣляющимъ нашей точки зрѣнія, но понимающимъ, что у насъ все же есть общая почва, почва уже совершенныхъ реформъ, почва уже провозглашенныхъ правъ, наконецъ, почва свободы, которая существуетъ и должна существовать для всѣхъ, тогда мы могли бы направиться эволюционнымъ путемъ (*évolutivement*) къ исходу изъ пустыни и къ мирному вступленію въ обѣтованную землю. Но въ вашихъ рукахъ находятся и война, и миръ. Скажите же, что вы за миръ или скажите, что вы за войну! (*рукопесканія на различныхъ скамьяхъ крайней твоей* *).

Съ новою энергіею Гэдъ сталъ на прежнюю точку зрѣнія, отмечая самую возможность дилеммы и провозглашая рѣзкія формулы 80-хъ годовъ, въ моментъ великаго кризиса, который въ дѣлѣ Дрейфуса разорвалъ Францію на двѣ части, какъ десять лѣтъ назадъ ее разорвалъ на двѣ части кризисъ буланжизма. У всѣхъ на памяти разнообразныя перипетіи этого мірового дѣла, произведшаго самую удивительную перетасовку партій; и я упомяну лишь нѣкоторыя обстоятельства, касающіяся Гэда. Въ статьѣ о Жоресѣ я указалъ читателю, что въ началѣ агитаціи Гэдъ былъ рѣшительно за виѣшательство социалистовъ въ борьбу между реакціей и демократіей. Изъ его устъ вырвалась даже въ то время яркая фраза, дѣлающая честь этому властному, но отнюдь не мелко самолюбивому человѣку: „за то я васъ и люблю такъ, Жоресъ, что у васъ за словомъ слѣдуетъ дѣло“. Она была произне-

*) Напечатано въ двухтомномъ сборникѣ парламентарныхъ рѣчей Гэда: Jules Guesde, *Quatre ans de lutte de classe à la Chambre*; Парижъ 1901, т. I, стр. 216—218.

**) Ibid., стр. 127—128.

ена Гэдомъ въ тотъ моментъ, когда, по совѣту его, Жоресъ интерpellировалъ министерство Меліна по поводу махинацій генеральнаго штаба. Увы! нѣсколько мѣсяцевъ спустя, послѣ выборовъ 8-го и 22-го мая 1898 г., на которыхъ социализмъ не одѣлалъ почти никакихъ успѣховъ и потерялъ двухъ такихъ вожаковъ, какъ Жоресъ и Гэдъ, а антисемитская и націоналистская демагогія одержала нѣсколько частныхъ побѣдъ, — послѣ этихъ, говорю, выборовъ Гэдъ рѣшительно сталъ поперекъ агитаціи социалистовъ, и подъ его преобладающимъ вліяніемъ былъ составленъ манифестъ „рабочей партіи“ по дѣлу Дрейфуса, напоминающій или, лучше сказать, крайне усугубляющій тактическую ошибку гэдистовъ во время буланжизма. Въ то время, какъ вся страна была охвачена ожесточенной борьбой между общественнымъ прогрессомъ и общественной реакціей, національный совѣтъ рабочей партіи обращался съ слѣдующимъ воззваніемъ къ „Рабочимъ Франціи“:

...Пролетаріямъ нечего дѣлать въ этой битвѣ, которая отнюдь не ихъ и въ которой сталкиваются между собой Буадзэфры и Траръё, Кавеньяки и Ивы Гюйо, Пельё и Галлифэ. Ихъ дѣло лишь извнѣ отмѣчать удары и повертывать противъ общественнаго порядка—или безпорядка—скандалы военной Панамы, прибавляющіеся къ скандаламъ финансовой Панамы...

...Въ новомъ кризисѣ, который испытываютъ правящіе классы, намъ нечего быть ни эстергазистами, ни дрейфусистами, но мы должны остаться партіей класса, который знаетъ и ведетъ лишь классовую борьбу за освобожденіе труда и человѣчества...

..Рабочіе Франціи, социалисты, къ орудіямъ же, только къ вашимъ орудіямъ и—пли на все, что не вашъ классъ и не ваше дѣло! *).

Этотъ языкъ военныхъ бюллетеней и приказовъ плохо скрывалъ ту партійную робость, которая снова, какъ десять лѣтъ тому назадъ, овладѣла сердцемъ лично неустрашимаго Гэда. Послѣ временнаго увлеченія успѣхами социализма въ массахъ и надеждой на быстрое проникновеніе всеобщей подачи голосовъ идеалами рабочей партіи, Гэдъ испытывалъ сильное разочарованіе. Масса, всколыхнутая демагогами шовинизма, не обнаруживала на выборахъ 1898 г. желанія идти съ такой же возрастающей охотой за коллективистами, съ какой двинулись за ними ея непочатые слои въ 1893 г. Очевидно, наступала остановка въ симпатіяхъ трудящагося населенія къ социалистамъ. И Гэдъ снова сталъ на свою прежнюю точку зрѣнія: будемъ пропагандировать коллективизмъ, и прочая приложатся намъ съ теченіемъ времени; нечего рисковать изъ за какого-то дѣла Дрейфуса организаціей пролетаріата.

Къ сожалѣнію, эти расчеты оказались невѣрными, и невѣрными потому, что если коллективизмъ не хотѣлъ заняться дѣломъ Дрейфуса, то дѣло Дрейфуса занималось коллективизмомъ. Я хочу этимъ сказать, что скоро во Франціи вся политическая жизнь

*) Манифестъ отъ 24-го іюля 1898 г. въ сборникѣ *Unge ans d'histoire socialiste*, стр. 74—76, passim.

стала вертѣться вокругъ этого явленія, становившагося не только національнымъ, но и интернаціональнымъ. Кто не высказывался такъ или иначе за него, тотъ обрекалъ себя на политическое бездѣйствіе, — состояніе, грозящее самыми серьезными неудобствами всякой живой партіи. Мнѣ нечего напоминать еще разъ о томъ, какъ крупнѣйшая тактическая ошибка Гэда, — къ которой присоединился на сей разъ и Вальянъ, но не ослабляя ее своимъ политическимъ чутьемъ, какъ во времена буланжизма, а еще отягощая, — подготовила почву для тактической же ошибки Жореса, который, оставаясь въ дѣлѣ Дрейфуса безъ поддержки гэдистовъ и бланкистовъ, пошелъ для союза въ сторону буржуазіи и кончилъ теоріей „сотрудничества классовъ“. Отнынѣ дружная работа такихъ выдающихся представителей социализма, какъ Жоресъ и Гэдъ, смѣнилась страстной борьбой между ними и ихъ направленіями. Совмѣстная дѣятельность всѣхъ социалистическихъ фракцій противъ буржуазіи въ періодъ 1893 — 1898 гг. уступила мѣсто междуусобной войнѣ среди социалистовъ. И лишь въ послѣднее время, цѣною всяческихъ усилій и апелляціи къ интернаціональному социализму, оба лагеря братьевъ-враговъ пытаются заключить миръ и устранить этимъ мирнымъ договоромъ вредную трату парализующихся борьбою силъ. Надо-ли говорить, что во время этой борьбы уже старѣющійся, уже изломанный обычною болѣзнью Гэдъ все-таки сохранилъ темпераментъ фанатическаго солдата идеи? Еще совсемъ недавно, во время знаменитой дуэли на Амстердамскомъ конгрессѣ съ могучимъ противникомъ, онъ производилъ своей страстной, почти истерической импровизаціей-рѣчью противъ Жореса впечатлѣніе человека, для котораго общественная дѣятельность и личное существованіе слились въ одно неразрывное цѣлое...

Было бы, конечно, возможно, анализируя рѣчи Гэда за послѣдніе годы, показать теоретическія и практическія противорѣчія между этой полосой его жизни и непосредственно ей предшествовавшей. Было бы возможно подчеркнуть такія преувеличенія и заостренія его взглядовъ, которыя возбуждаютъ недоразумѣнія даже среди людей, въ общемъ стоящихъ на его точкѣ зрѣнія, — напр., его неловкія фразы, касающіяся буржуазной республики, какъ наиболѣе безжалостной формы классоваго господства. Но все это, съ одной стороны, объясняется психологическимъ закономъ реакціи противъ утвержденій противника, рисующаго, наоборотъ, въ черзчуръ идиллическомъ освѣщеніи буржуазную республику. Съ другой, эти промахи, ошибки и увлеченія не могутъ закрывать отъ взглядовъ безпристрастнаго наблюдателя своеобразную мощь фигуры Гэда, которую можно не любить, позволительно ненавидѣть, но нельзя не уважать. Этотъ теоретическій матеріалистъ обладаетъ душой пламеннаго идеалиста.

Н. Е. Кудринъ.

ИЗЪ АНГЛІИ.

I.

„Англійское земледѣліе погибаетъ!“ Такъ константируютъ одинаково и фритредеры, и протекціонисты. „Земледѣліе въ Англіи убито конкуренціей иностранцевъ“—продолжаютъ протекціонисты. Съ каждымъ годомъ потребление англійской пшеницы уменьшается, а ввозъ хлѣба изъ-за границы увеличивается. Приведу здѣсь таблицу, показывающую потребление въ Англіи пшеницы мѣстной и привозной за пятьдесятъ лѣтъ. Цифры показаны въ тысячахъ бушелей.

Годы.	Потребленіе мѣстной пшеницы.	Потребленіе привозной пшеницы.	Всего.
1853	81774 тысячи буш.	50706 тысячъ буш.	132480
1854	94812 „ „	36364 „ „	131176
1855	122679 „ „	25944 „ „	148623
1856	103637 „ „	42258 „ „	145895
1857	113607 „ „	32701 „ „	146308
1858	128548 „ „	44226 „ „	172774
1859	114069 „ „	40870 „ „	154939
1860	91908 „ „	60696 „ „	152604
1861	81341 „ „	69209 „ „	150550
1862	95824 „ „	95108 „ „	190932
1863	115661 „ „	58638 „ „	174299
1864	132680 „ „	54724 „ „	187407
1865	117577 „ „	49148 „ „	166725
1866	97942 „ „	55981 „ „	153923
1867	79068 „ „	73522 „ „	152590
1868	88420 „ „	68363 „ „	156783
1869	118259 „ „	84217 „ „	202476
1870	99833 „ „	67131 „ „	166964
1871	90495 „ „	81752 „ „	172247
1872	83332 „ „	89588 „ „	172920
1873	79291 „ „	95912 „ „	175203
1874	84198 „ „	92055 „ „	176253
1875	94858 „ „	112572 „ „	207430
1876	72313 „ „	96862 „ „	169175
1877	74257 „ „	118644 „ „	192901
1878	84850 „ „	111708 „ „	196558
1879	75910 „ „	137944 „ „	213854
1880	48610 „ „	128475 „ „	177085
1881	66417 „ „	134486 „ „	200903
1882	67663 „ „	151236 „ „	218899
1883	73663 „ „	160595 „ „	234258
1884	72012 „ „	124920 „ „	196932
1885	74950 „ „	154183 „ „	229133
1886	68200 „ „	124197 „ „	192397
1887	61777 „ „	149395 „ „	211172
1888	69416 „ „	149504 „ „	218920
1889	68730 „ „	146238 „ „	214968
1890	69734 „ „	152758 „ „	222492
1891	69596 „ „	165744 „ „	235340
1892	64567 „ „	176421 „ „	240988
1893	52436 „ „	173319 „ „	225755

Годы.	Потребление мѣст- ной пшеницы.	Потребление при- возной пшеницы.	Всего.
1894	49441 тысячи буш.	179362 тысячъ буш.	228803
1895	48952 " "	194061 " "	248013
1896	40057 " "	184417 " "	224474
1897	51852 " "	164643 " "	216495
1898	56319 " "	174371 " "	230690
1899	66289 " "	181313 " "	247602
1900	56772 " "	182547 " "	239319
1901	47873 " "	187243 " "	235116
1902	49519 " "	200986 " "	250505
1903	48826 " "	217535 " "	266361 *)

Протекціонисты мирятся еще съ тѣмъ, что часть привознаго хлѣба идетъ изъ британскихъ колоній; но ввозъ изъ-за границы кажется имъ чуть ли не личнымъ оскорбленіемъ. Слѣдующая таблица показываетъ, откуда идетъ хлѣбъ, привозимый въ Англію.

Годы.	Изъ Соеди- н. Штатовъ.	Изъ Арген- тины.	Изъ Россіи.	Изъ Австро- Венгріи.	Изъ осталь- ныхъ госу- дарствъ.	Изъ британ- скихъ колон.
	Тоннъ.	Тоннъ.	Тоннъ.	Тоннъ.	Тоннъ.	Тоннъ.
1899	3011000	576000	126000	72000	108000	1032000
1900	2871000	938000	225000	81000	212000	606000
1901	3343000	415000	129000	56000	135000	975300
1902	3248000	227000	331000	48000	270000	1272000
1903	2337000	712000	864000	57000	289000	1578000 **)

Такимъ образомъ, колоніи доставляютъ только около 25% хлѣба, потребляемаго въ Англіи. Иностранныя государства отправляютъ въ Англію въ три раза больше пшеницы, чѣмъ колоніи. И эта цифра растетъ съ каждымъ годомъ. Съ каждымъ годомъ цѣны на пшеницу падаютъ. Въ 1830 г. четверть пшеницы (Quarter, т. е. мѣра въ 480 англійскихъ фунтовъ или 13 пудовъ) стоила въ Англіи 64 ш. 3 пенса, въ 1840 г.—66 ш. 4 пенса, въ 1850 г., послѣ отмены хлѣбныхъ налоговъ, — 40 ш. 3 пенса, въ 1903 г.—26 ш. 9 пенсовъ.

Въ Англіи акръ пшеницы обходится фермеру въ 7—8 фунтовъ, въ Америкѣ 1 ф.—4 ф. 4 ш. ***). Такимъ образомъ, повидимому, теряется совершенно надежда на возрожденіе земледѣлія въ Англіи.

Рядомъ съ этими фактами нужно сопоставить цифры, показывающія, сколько людей занято земледѣльческимъ трудомъ въ Англіи. По свѣдѣніямъ, добытымъ всеобщими переписями, такихъ людей въ Англіи и въ Уэльсѣ было:

*) „Daily Mail“. Year Book, 1905, p. 278. См. также „Whitaker's Almanach“, 1905, p.p. 338—349.

**) По отчетамъ „London Gazette“ за 1904 г. См. также „D. M.“ Year Book, 1905, p. 284.

***) Report issued by the Foreign Office.

Въ 1851	1904687
„ 1861	1803049
„ 1871	1423854
„ 1881	1199827
„ 1891	1099572
„ 1901	988340

Другими словами, переписи констатируютъ все болѣе и болѣе усиливашееся бѣгство населенія изъ деревень въ города. Въ деревняхъ остаются только старики, калѣки и слабоумные, у которыхъ нѣтъ никакой надежды на успѣхъ въ городѣ. По отчетамъ, публикуемымъ Board of Trade, видно, что за послѣднія двадцать лѣтъ чаще всего банкротятся фермеры. Земли переходятъ отъ арендаторовъ фермеровъ къ лэндлордамъ, и нивы обращаются въ пастбища. Въ 1866 г. въ Англіи было 11.148,814 акровъ постоянныхъ пастбищъ, а въ 1903 г. — 16.934,495 *). Увеличеніе это — на счетъ нивъ. Въ 1866 г. подъ пшеницей было 3.350,394 акра, а въ 1903 г. — 1.497,257 акровъ. Англійскій фермеръ не можетъ держаться больше, не смотря на интенсивность культуры. Средній урожай пшеницы съ акра земли составляетъ:

Во Франціи	20 бушелей
Въ Германіи	18 „
„ Россіи	12 „
„ Австріи	16 „
„ Венгріи	12 „
„ Италіи	12 „
„ Швеціи	20 „
„ Норвегіи	25 „
„ Даніи	25 „
„ Голландіи	23 „
„ Бельгіи	24 „
„ Соедин. Штат.	24 „
„ Австраліи	10 „
„ Англіи	33 бушеля **).

Какъ относятся къ этимъ фактамъ протекціонисты и фритредеры, напрягшіе теперь въ борьбѣ всѣ усилія?

II.

Протекціонисты утверждаютъ, что виновникомъ гибели англійскаго земледѣлія является свободная торговля.

„Въ теченіе шестидесяти лѣтъ мы держимся экономической системы, которая была принята нашими дѣдами и отцами, когда условія въ Англіи были совершенно иныя,—говоритъ вождь протекціонистовъ.—Мы дозволяемъ теперь иностранцамъ привозить къ намъ все, что они производятъ (хотя то же самое мы и сами могли бы производить) и не беремъ съ нихъ ни фартинга по-

*) Agriculture and Tariff Reform, 1904, p. 29.

**) Ib., p. 31—32.

шлинъ. Наши конкуренты ничего не расходуютъ на поддержаніе порядка, который приноситъ имъ такія громадныя выгоды. И въ то же самое время иностранные народы, широко пользующіеся нашей щедростію и великодушіемъ, не впускаютъ безпошлинно къ себѣ ничего изъ того, что мы производимъ. Если наши торговцы привѣзжаютъ со своими товарами къ нѣмцамъ или къ французамъ, то должны платить пошлины, т. е. обязаны на свой счетъ поддерживать государственный порядокъ“ *). Свободная торговля убива земледѣліе, какъ убиваетъ британскую фабричную промышленность,—говорятъ протекціонисты. Правда, вредное вліяніе системы долго не сказывалось, наоборотъ даже, повидимому, Англія благоденствовала. Но все это, по мнѣнію протекціонистовъ, объясняется слѣдующимъ. Въ продолженіе тридцати лѣтъ послѣ введенія свободной торговли земледѣліе за границей не дѣлало никакого прогресса. Поля на „дикомъ западѣ“ въ Америкѣ не были еще вспаханы. Ввозъ хлѣба въ Англію изъ-за границы не былъ еще особенно великъ. Иностранцы тогда не имѣли ни достаточнаго капитала, ни искусныхъ работниковъ, ни хорошихъ машинъ,—говоритъ Чамберленъ.—Но теперь все измѣнилось. Иностранцы добыли деньги, нашли ловкихъ работниковъ и научились дѣлать отличныя машины. Сперва они снабдили собственные внутренніе рынки всѣмъ необходимымъ, а потомъ стали присылать свои фабрики къ намъ, въ Англію, причиняя этимъ громадныя убытки британскимъ производителямъ и работникамъ“. Больше всѣхъ отъ свободной торговли пострадали англійскіе фермеры и сельскіе работники.

Факты не совсѣмъ подтверждаютъ положенія, высказанныя Чамберленомъ. Во-первыхъ, никогда сельскіе работники въ Англіи не переживали такихъ отчаянныхъ моментовъ, какъ въ началѣ XIX вѣка, въ эпоху расцвѣта протекціонизма. Тогда сельскій работникъ былъ совершенно безправнымъ существомъ, зависѣвшимъ всецѣло отъ фермера, сквайра и попа. Работникъ питался чернымъ хлѣбомъ и картофелемъ, жилъ вмѣстѣ со свиньями. Мясо онъ видѣлъ у себя на столѣ разъ въ недѣлю, чай считалъ роскошью. Теперь въ Англіи черный хлѣбъ неизвѣстенъ, мясо составляетъ значительную часть питанія. Семья сельскаго работника потребляетъ теперь, въ общемъ, 7,2 англ. ф. (т. е. около 8 русскихъ ф.) мяса въ недѣлю. У городскихъ рабочихъ потребленіе мяса больше на 2,1 ф. въ недѣлю. Чай, сахаръ, сыръ, масло и варенье тоже фигурируютъ ежедневно на столѣ „ходжа“ (сельскаго работника). Живетъ онъ теперь въ коттеджахъ въ 3 комнаты, одѣвается тепло и чисто. Дѣти его ходятъ въ школу, потому что власть сквайра и попа исчезла. Если „ходятъ“ бѣжить теперь изъ деревни въ городъ, то не потому, что въ деревнѣ

*) Speech delivered by Chamberlain, Welbeck, on August 4-th, 1904.

теперь хуже, чѣмъ шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ, а потому, что въ городѣ большіе заработки и большая независимость, чѣмъ въ деревнѣ. „Ходжъ“ получаетъ теперь меньше, чѣмъ его товарищи въ городѣ, но онъ получаетъ больше, чѣмъ сельскіе работники въ странахъ, гдѣ существуетъ протекціонизмъ. Слѣдующая таблица показываетъ заработную плату въ деревнѣ:

Годы	въ Англіи	во Франціи	въ Германіи	въ С. Штат. *)
1850	9 ш. 6 п. въ нед.	9 ш. — въ нед.	8 ш. 6 п. въ нед.	— 16 ш. въ нед.
1870	15 „ — „	12 „ 6 п. „	10 „ 6 „ „	1 ф. — „
1880	17 „ 6 „ „	14 „ — „	12 „ 6 „ „	1 „ 5 „ „

Съ тѣхъ поръ заработная плата сельскихъ работниковъ почти фиксирована. Англійскій „ходжъ“ получаетъ абсолютно больше, чѣмъ нѣмецкій или французскій сельскій работникъ. Кромѣ того, его заработная плата, по причинѣ свободной торговли, имѣетъ большую покупательную способность: въ Англіи хлѣбъ, мясо, чай, сахаръ, платье—дешевле, чѣмъ на континентѣ.

Итакъ, положенія, высказываемыя протекціонистами, не подтверждаются фактами. Возвратимся, однако, къ тому толкованію, которое даетъ Чэмберленъ фактамъ, приведеннымъ въ началѣ письма.

„За послѣднія тридцать лѣтъ площадь, занятая пашнями всякаго рода, уменьшилась на три милліона акровъ. Пастбища увеличиваются насчетъ нивъ. Все это, прежде всего, имѣетъ громадное значеніе для сельскаго работника, потому что означаетъ уменьшеніе спроса на его трудъ. Живой инвентарь уменьшился за 30 лѣтъ на два милліона головъ. Капиталь фермеровъ, по расчетамъ сэра Роберта Гиффена, уменьшился на 200 мил. ф. ст. Каковъ выводъ изъ всего этого? А тотъ, что въ деревнѣ теперь меньше работы. За 30 лѣтъ число „рукъ“ въ деревнѣ уменьшилось на 600.000... Не было еще пророка столь несчастливаго въ своихъ предсказаніяхъ, какъ Кобденъ,—продолжаетъ Чэмберленъ въ другомъ мѣстѣ.—Кобденъ предвѣщалъ, что отмѣна хлѣбныхъ налоговъ увеличитъ спросъ на трудъ сельскихъ работниковъ. Сбылись ли предсказанія? Половина всѣхъ сельскихъ рабочихъ теперь безъ работы. Кобденъ увѣрялъ, что свободная торговля не обратитъ въ пастбище ни одного акра нивы и не уменьшитъ производительность полей даже на бушель. Между тѣмъ, Англія производитъ теперь на шестьдесятъ милліоновъ бушелей меньше, чѣмъ раньше. Кобденъ утверждалъ, что доходы фермера не пострадаютъ, и что онъ всегда получитъ хорошую цѣну за свою пшеницу. Кобденъ не предвидѣлъ, что цѣнность ея будетъ ниже 45 шил. за четверть. Онъ предсказывалъ, что высокій фрахтъ, достигающій 10 ш. 6 п. за четверть, образуетъ своего рода существенный протекціонизмъ для защиты на англій-

*) Agriculture and Tariff Reform, 1904, p. 45.

ских рынках туземного хлѣба отъ заграничнаго. Между тѣмъ, съ развитіемъ пароходства доставка четверти хлѣба изъ Аргентины или Соединенныхъ Штатовъ стоитъ не полгинеи, а только нѣсколько пенсовъ. Пшеница стоитъ теперь 26 шил. за четверть. При такихъ цѣнахъ не выгодно сѣять ее*).

Талантливый ораторъ, который такъ часто и такъ радикально мѣнялъ свои убѣжденія и постоянно дѣлалъ предсказанія, которыя всегда оправдывались... наоборотъ, — очень строгъ къ Кобдену. Чтобы нанести фритредерству рѣшительный ударъ, ораторъ упрекаетъ знаменитаго борца пятидесятихъ годовъ тѣмъ, чего тотъ никогда не говорилъ.

Кобденъ не дѣлалъ предсказаній, которыя ему теперь навязываются протекціонистами. Свободная торговля была принята потому, что ее считали крайне выгодной для британскихъ интересовъ, а не потому, что Кобденъ обѣщалъ что нибудь или предсказывалъ... Ни въ одной изъ рѣчей Кобдена во время борьбы противъ хлѣбныхъ налоговъ нѣтъ ни одного предсказанія, что сдѣластъ другія государства, когда Англія введетъ свободную торговлю. Никогда ни Кобденъ, ни Пиль не утверждали во время борьбы, что и другія страны послѣдуютъ примѣру Великобританіи. Правда, въ упоеніи успѣхомъ, въ 1846 г., когда министерство обѣщало отменить хлѣбные налоги, Кобденъ замѣтилъ вскользь, что фритредерство увлечетъ и другія страны. Но это еще не означаетъ, какъ говорятъ теперь протекціонисты, что *вся борьба* противъ хлѣбныхъ налоговъ основывалась Кобденомъ на одномъ аргументѣ: на обѣщаніи, что и другія государства, по примѣру Англіи, отменятъ таможенные пошлины**).

Теперь протекціонисты стараются убѣдить сельскихъ работниковъ, что они прямо заинтересованы въ возвращеніи къ протекціонизму. Сквайры и попы, которые когда-то такъ доминировали „ходжа“, вспыхнули вдругъ необыкновенной нѣжностью и заботливостью къ нему. „Свободную торговлю вводили, не справляясь съ мнѣніемъ и интересами сельскихъ работниковъ, которые тогда не имѣли права голоса... Теперь все измѣнилось: сельскій работникъ можетъ подавать свой голосъ на выборахъ“. Ораторъ убѣждаетъ „ходжа“ стоять за налогъ на хлѣбъ. Протекціонизмъ означаетъ повышеніе цѣны на пшеницу. Это обстоятельство поведетъ къ тому, что фермеры снова найдутъ выгоднымъ для себя пахать и сѣять. А въ такомъ случаѣ будетъ большой спросъ на сельскихъ работниковъ. Разъ будетъ спросъ, то повысится и заработная плата. Выводъ: 1) англійское земледѣліе можетъ быть спасено пошлинами на хлѣбъ, 2) если „ходжа“ желаетъ повышенія заработной платы, мы должны голосовать на выборахъ за доре-

*) *Welbeck speech*, см. *Times*, August 5-th, 1904.

**) *Facts versus Fiction*, изданія Кобденовскаго клуба. 1904, р. 15—16.

той хлѣбъ. „Что лучше,—спрашиваютъ протекціонисты,—имѣть ли дешевый хлѣбъ и пустой карманъ, или дорогой хлѣбъ и много денегъ въ кошелькѣ, чтобы купить все“?

Исторія Англіи въ началѣ и серединѣ XIX вѣка не свидѣтельствуешь, однако, о томъ, что дорогой хлѣбъ сопровождается полнымъ кошелекомъ у работниковъ. Вотъ, напр., только что вышедшая книга, составленная изъ воспоминаній старыхъ работниковъ о временахъ протекціонизма. „Соль тогда стояла двадцать одинъ шиллингъ за бушель,—пишетъ восьмидесяти-четырёхлѣтній сельскій работникъ Чарльзъ Робинсонъ.—Когда у насъ убивали свинью, то полтуши нужно было отдать за соль, чтобы заготовить впрокъ другую половину... Хлѣбъ тогда стоялъ 1 ш. 3 пенса за ковригу въ четыре фунта. За унцъ чая платили 6½ пенса, а за фунтъ сахара—восемь пенса. Да еще то былъ тростниковый сахаръ, мокрый до того, что ковыряли мы его ложечкой“. Теперь фунтъ сахара стоитъ 2½ пенса, фунтъ чая—1 шил. и пр. Другой старый работникъ Джозефъ Баддингтонъ вспоминаетъ: „Въ шестнадцать лѣтъ я получалъ 2 ш. 6 п. въ недѣлю (1 рубль 20 коп.). Потомъ ушелъ въ другую деревню, за 2 ф. 10 шил. въ годъ. Въ девятнадцать лѣтъ я получалъ въ годъ 4 фунта 15 шил. Въ двадцать четыре года фермеръ предложилъ мнѣ 6 ш. 6 п. въ недѣлю. Въ то время это считалось отличнымъ заработкомъ. Слышалъ я, сквайръ говорилъ недавно, что шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ на 6 ш. 6 п. можно было купить столько же, сколько теперь на 23 шил. Въ 1845 г. четырехфунтовая коврига стояла 1 ш. 4 пенса, скверный сахаръ 9 пенса, коринка—6 пенса. А въ 1899 г., до бурской войны, за хлѣбъ мы платили 3 пенса, за сахаръ 2 п., за коринку для пуддинга—2 п. Такъ что теперь на шесть шиллинговъ можно закупить то, за что мой отецъ платилъ 1 ф. 3 ш. Но въ то время мы, сельскіе работники, мало могли привередничать насчетъ ѣды. Питались мы рѣпой, ячменными лепешками да клецками изъ отрубей. Хорошій бѣлый хлѣбъ, какой ѣдимъ теперь, тогда считался роскошью, какъ ростбифъ. Многие работники тогда и не знали, что такое свѣжее мясо. Они только изрѣдка ѣли копченое сало да солонину“. Работникъ Барнардъ вспоминаетъ: „Ѣли мы тогда черный хлѣбъ, да еще такой скверный, что онъ никогда не выпекался, садился въ печи и выходилъ лепешками. Надрѣзанный хлѣбъ черезъ день покрывался плѣсенью, и запахъ отъ него шелъ тяжелый“.

„Хлѣбъ и соль стояли дорого,—пишетъ старикъ Геффель,—вѣроятно, потому, что безъ нихъ работникъ не могъ обойтись. Деревенская лавочка торговала плохо, да и то больше на княжку, потому денегъ у насъ было мало. Богатѣлъ только сквайръ. Въ нашей деревнѣ мясникъ убивалъ только одну корову въ недѣлю, причемъ продавалъ полтуши, а другую часть отвозилъ въ городъ. Теперь жителей въ деревнѣ гораздо меньше, а между тѣмъ чья-

никъ рѣжетъ въ недѣлю двухъ коровъ, да, кромѣ того, еще ови-ней и овецъ“.—Въ то время „ходжу“ жилось такъ плохо,—вспо-минаетъ старикъ Джэкобсъ, — что только и слышно было про бунты въ деревняхъ, про поджоги стоговъ и фермъ, про смерт-ныя казни и про ссылки въ Австралію. Помню я, председатель суда въ Винчестерѣ обратился къ присяжнымъ и просилъ ихъ судить постороже, потому что „сельскіе работники всѣ до одного воры и разбойники“. Судья этотъ потомъ вызвалъ къ помѣщи-камъ, убѣждая ихъ соединиться противъ „чумы“, т. е. насъ. На фермѣ, гдѣ я работалъ, каждый день говорили, что того или другого товарища увезли въ тюрьму“. Не многимъ лучше была тогда доля „ходжа“, который уходилъ изъ деревни на фабрику въ городъ. „Моя старшая сестра уходила на ткацкую фабрику очень рано,—вспоминаетъ Джорджъ Олдфилдъ.—Какъ только мнѣ исполнилось девять лѣтъ, опредѣлили на фабрику и меня. Всю жизнь буду я помнить про то время! Вставали мы въ пять ча-совъ утра и шли на фабрику. Въ восемь дѣлался перерывъ на полчаса, затѣмъ другой такой же—въ 12 часовъ. Потомъ рабо-тали до четырехъ и послѣ короткаго перерыва въ нѣсколько минутъ—до 8½ ч. Такимъ образомъ мы, девятилѣтніа дѣти, ра-ботали 12½ часовъ въ сутки за 4 шил. въ недѣлю. На человѣка въ семьѣ приходилось, въ общемъ, по 1 ш. 2 п. въ недѣлю... Спали тогда по нѣсколько человѣкъ въ одной постели“ *). На-шего крестьянина или фабричнаго это, конечно, поразить не мо-жетъ. Джорджъ Олдфилдъ съ ужасомъ, напр., отмѣчаетъ, что въ семьѣ одно одѣяло приходилось на два человѣка. Такой фактъ можетъ поразить англійскаго работника, привыкшаго къ удобной постели и къ постельному бѣлью, но не крестьянина, спящаго на полу, безъ простыней, и покрывающагося не одѣялами, а верхнимъ платьемъ. Но нужно стать при оцѣнкѣ этихъ фактовъ на англійскую точку зрѣнія. Слѣдуетъ знать, что Джорджъ Олдфилдъ описываетъ условія жизни ткачей въ Ланкаширѣ. Какъ измѣнились тамъ эти условія за 70 лѣтъ! Теперь семья ланка-ширскихъ ткачей зарабатываетъ отъ 3—10 фунтовъ въ недѣлю. Живутъ тамъ работники въ удобныхъ коттеджахъ, въ 4—5 ком-натъ. Въ домахъ можно найти пианино, мягкую мебель, ковры, маленькія библіотечки. Протекціонистамъ тамъ трудно убѣдить работниковъ, что свободная торговля—гибельна для нихъ.

*) The Hungry Forties. London. 1904, p.p. 18—274 (издание T. Fisher Unwin).

III.

Посмотримъ, что отвѣчаютъ фритредеры протекціонистамъ, когда послѣдніе констатируютъ плачевное положеніе земледѣлія въ Англіи.

„Совершенно нелѣпо говорить о гибели земледѣлія, — заявляетъ Кобденовскій клубъ. — Въ англійской деревнѣ мы различаемъ три элемента: землевладѣльца, арендатора-фермера и сельскаго работника. Землевладѣлецъ (the sleeping partner, по терминологіи Кобденовскаго клуба) и фермеръ дѣйствительно сильно пострадали въ послѣднія двадцать пять лѣтъ вслѣдствіе паденія цѣнъ на сельскіе продукты. Рента значительно понизилась, хотя, главнымъ образомъ, въ земледѣльческихъ округахъ Англіи, а не тамъ, гдѣ лежатъ пастбища. Нужно помнить однако, что рента сильно повысилась въ 1855—1875 г.г. Врядъ ли гдѣ-нибудь въ Англіи арендная плата на землю пала ниже, чѣмъ была пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ. Прибыль фермеровъ тоже сильно понизилась въ послѣдніе годы. Значительная часть нивъ обращена въ пастбища. Все это такъ. За то третій элементъ деревни, сельскіе работники особенно выиграли отъ замѣны протекціонизма фритредерствомъ. Не только повысилась заработная плата, но понизилась, параллельно съ этимъ, стоимость платья и пищи. Не подлежитъ сомнѣнію, что благосостояніе сельскихъ работниковъ теперь на 50 проц. лучше, чѣмъ 25 лѣтъ тому назадъ, и на 100 проц. лучше, чѣмъ въ 1846 г.

Вѣрно, что число сельскихъ работниковъ уменьшилось. Часто утверждалось, что „ходжа“ гонитъ изъ деревни отсутствіе заработка и затруднительное положеніе фермеровъ. Но въ дѣйствительности мы видимъ нѣчто другое, — продолжаетъ Кобденовскій клубъ *). Сельскіе работники уходятъ въ городъ потому, что рассчитываютъ на болѣе высокіе заработки на фабрикѣ, на желѣзной дорогѣ, въ полиціи и пр. Исходъ изъ деревни, начавшійся въ періодъ между 1870 и 1880 гг., прежде чѣмъ пали цѣны на хлѣбъ, вызвалъ повышение заработной платы на фермахъ. Это обстоятельство усилило затруднительное положеніе фермеровъ. Стоимость производства возросла. Фермеры принуждены были возможно больше экономничать и сокращать число работниковъ. Превращеніе пашенъ въ пастбища въ значительной степени объясняется повышеніемъ стоимости труда и пониженіемъ производительности земли. Но уменьшеніе числа сельскихъ работниковъ нельзя объяснить только сокращеніемъ площади пахотной земли. Значительная экономія въ живомъ трудѣ была вы-

*) Cobden Club's Reply. Ruined and threatened trades. 1904, p.p. 58—62.
№ 1. Отдѣлъ II.

гадана на фермах всякаго рода путем введенія сельскохозяйственных машинъ. Побужденіемъ къ соблюденію экономіи явилось повышение заработной платы и исходъ изъ деревни въ городъ.

Процессъ превращенія пашенъ въ пастбища сократилъ, конечно, производительность земли. Но очень легко преувеличить вліяніе процесса, — объясняютъ экономисты Кобденовскаго клуба. Мѣрой пониженія является разниа между производительностью земли подъ плугомъ и когда она обращена въ лугъ. Нужно помнить, что $\frac{3}{7}$ площади Англіи всегда были пастбищемъ. Въ 1871—75 гг. площадь пастбищъ измѣрялась 10.460,000 акровъ, а пашенъ 13 460,000 акровъ. Съ тѣхъ поръ пашни уменьшились на 2.500.000 акровъ. Пятая часть обрабатываемой земли превращена была въ луга. Площадь, занятая раньше пастбищемъ, увеличилась, такимъ образомъ, на 25 проц. Потери страны отъ этого процесса, — говорятъ кобденисты, — измѣряется разницей между цѣнностью продуктовъ, доставляемыхъ этой землей раньше и теперь. При нынѣшнихъ цѣнахъ разниа эта не больше, чѣмъ 3—4 ф. ст. на акръ. Хотя потеря эта на первый взглядъ кажется значительной, но она уравнивается громадной выгодой, извлекаемой воимъ населеніемъ Англіи изъ паденія цѣнъ на пищевые продукты всякаго рода. Выиграли также фабриканты, имѣющіе теперь возможность покупать дешево сырые продукты для обработки.

Выгода, получаемая страной отъ свободной торговли, на много милліоновъ превышаетъ потери вслѣдствіе уменьшенія производительности земли.

Въ настоящее время вліяніе ренты и рабочаго рынка создало известную систему равновѣсія въ земледѣльческихъ округахъ Англіи. Всюду есть желающіе арендовать фермы. Въ нѣкоторыхъ графствахъ является даже больше желающихъ, чѣмъ свободныхъ фермъ. Это показываетъ, что есть еще способные къ земледѣльческому труду люди, увѣренные, что можно съ выгодой вложить свой капиталъ и трудъ въ деревнѣ. Земля въ Англіи обрабатывается еще. Число лошадей, коровъ и мелкаго скота значительно увеличилось. Я приведу здѣсь нѣсколько цифръ, показывающихъ живой инвентаръ въ Англіи и Ирландіи. Цифры взяты изъ статьи проф. Джэкса Лонга, помѣщенной въ годичномъ обзорѣ *Manchester Guardian*.

ВЪ АНГЛІИ:

1904. - 1903.

Лошадей	1,560,236 .	1,537,154
Круп. рог. скота .	6,860,352 .	6,704,618
Овецъ	25,207,174 .	25,639,797
Свиней	2,861,644 .	2,686,561

ВЪ ИРЛАНДІИ:

Лошадей	608,811 .	595,746
Муловъ	29,941 .	29,795
Ословъ	244,167 .	243,241
Круп. рог. скота .	4,677,132 .	4,664,112
Овецъ	3,827,884 .	3,944,604
Свиней	1,315,523 .	1,383,516
Козъ	290,818 .	299,120 *)

Въ послѣдніе годы значительно увеличиваются огородничество и садоводство. При наличности этихъ условій,—продолжаютъ кобдѣнисты,—хотя можно пожалѣть нѣкоторыхъ фермеровъ, потерпѣвшихъ убытки вслѣдствіе паденія цѣнъ,—приходится только порадоваться улучшенію положенія сельскихъ работниковъ. Совершенно непонятно, какъ можно говорить, будто вообще земле-земледѣліе въ Англіи убито.

Совершенно вѣрно,—говорятъ фритредеры,—что Кобдѣнъ не думалъ, что интересы фермеровъ пострадаютъ отъ введенія свободной торговли. Предположенія его подтвердились въ теченіе тринадцати лѣтъ. Послѣ отмѣны хлѣбныхъ налоговъ цѣнность земли увеличилась параллельно съ возрастаніемъ благосостоянія населенія. Такъ продолжалось до 1878 г., когда цѣны начали падать; процессъ этотъ наблюдается до настоящаго времени. Не одна только Англія страдаетъ теперь отъ земледѣльческаго кризиса. Чувствуется онъ также въ Германіи, Франціи и, въ особенности, въ восточныхъ штатахъ Сѣверной Америки.

Если бы Кобдѣнъ предвидѣлъ паденіе цѣнъ на хлѣбъ и пониженіе ренты, взгляды его на свободную торговлю, навѣрное, не измѣнились бы. Онъ часто повторялъ, что высокая рента является главной причиной земледѣльческихъ кризисовъ и отнюдь не можетъ служить показателемъ благосостоянія. Въ одной изъ своихъ рѣчей онъ заявилъ, что понизилъ ренту въ своей вотчинѣ въ Сусексѣ и убѣдилъ помѣщиковъ послѣдовать его примѣру. Если бы Кобдѣнъ могъ предвидѣть, что случится черезъ тридцать лѣтъ послѣ отмѣны хлѣбныхъ налоговъ,—продолжаютъ фритредеры,—онъ еще съ большею настойчивостью сталъ бы проповѣдывать необходимость земельныхъ реформъ, которыя настоятельно рекомендовалъ тогда. Преобразованія эти должны были ввести въ Англіи мелкое землевладѣніе. Въ такомъ случаѣ, исходя изъ деревень не принялъ бы массоваго характера, какъ теперь. Во всякомъ случаѣ, — заканчиваютъ кобдѣнисты, — система свободной торговли существуетъ въ Англіи шестьдесятъ лѣтъ. Населеніе привыкло имѣть дешевую пищу и платье по недорогой цѣнѣ. Было бы чистымъ безуміемъ мѣнять все это теперь. Искусственное повышеніе цѣнъ неминуемо поведетъ за собою пониженіе заработной платы и ухудшеніе положенія рабочаго класса.

*) „The Year's Agriculture“. *The Manchester Guardian*, Saturday, December 31, 1904, p. 43,

Быть можетъ, читатели вспомнятъ любопытное, колоссальное изслѣдованіе Райдера Хаггарда „Rural England“, о которомъ я писалъ въ *Русскомъ Богатствѣ* въ 1902 г. *). Авторъ—протекціонистъ. Онъ думаетъ, что налоги на хлѣбъ помогли бы фермерамъ стать на ноги, но, въ то же время, полагаетъ, что это средство непримѣнимо. „Ходжъ“—смирень, но есть одно, что заставило бы его начать бунтовать. И это — дорогой хлѣбъ. Возвращеніе къ протекціонизму создало бы въ Англіи аграрную революцію,—по мнѣнію Райдера Хаггарда. Тѣ явленія, о которыхъ вспоминаетъ одинъ изъ авторовъ цитированной выше книги *The Hungry Forties*, — не только вполне возможны при возвращеніи къ дорогому хлѣбу, но примутъ вѣроятно болѣе организованный и болѣе грозный характеръ.

IV.

Итакъ, серьезные изслѣдователи полагаютъ, что налогъ на хлѣбъ непрактичное средство для возрожденія англійскаго земледѣлія. Протекціонисты предлагаютъ налогъ въ 2—5 шиллинговъ на четверть иностранной пшеницы. Врядъ ли англійскіе фермеры выиграли бы что нибудь отъ этого. Ихъ конкурентами на англійскомъ рынкѣ явилась бы немедленно канадскіе и австралійскіе фермеры. Теперь, когда они встрѣчаются съ конкурентами изъ Соедин. Штатовъ, Россіи и Аргентины, они посылаютъ шесть милліоновъ четвертей пшеницы. Когда же конкуренты будутъ устранены пошлиной (колоніальные продукты будутъ избавлены отъ нея), Канада и Австралія заполнятъ свою пшеницей англійскій рынокъ. Англійскіе фермеры будутъ сметены.

Конечно, имъ все равно, кто вытѣснитъ ихъ: колоніальные ли конкуренты, или иностранцы. Налогъ на хлѣбъ принесъ бы выгоду только Канадѣ и Австраліи, но не спасъ бы англійскихъ фермеровъ.

Посмотримъ на другіе проекты, предлагаемые для спасенія англійскаго земледѣлія. Многіе изъ нихъ сводятся къ замѣнѣ нынѣшней системы землевладѣнія другой и къ введенію класса мелкихъ фермеровъ-собственниковъ **). Начнемъ съ проектовъ протекціонистовъ.

Въ 1896 г. министерство Розберн назначило комиссію для изслѣдованія причинъ паденія земледѣлія въ Англіи. Комиссія собрала богатый матеріалъ и намѣтила рядъ реформъ, изъ которыхъ осуществлена только очень незначительная часть. Къ сожалѣнію, совершенно вѣрно, — читаемъ мы въ официальномъ отчетѣ, — что со времени послѣдняго изслѣдованія положеніе

*) См. очеркъ „Земля“ въ моей книгѣ „Англійскіе этюды“.

**) См. тамъ же.

земледѣлія ухудшилось. Фермеры переживаютъ очень тяжелый кризисъ. Они понесли значительныя потери въ капиталъ и получаютъ очень небольшіе доходы; правильнѣе было бы сказать, — никакихъ доходовъ. Большая часть фермеровъ разорена, остальные еле-еле сводятъ концы съ концами. Количество сельскихъ работниковъ уменьшается, не смотря на то, что населеніе Англии быстро возрастаетъ. Тамъ, гдѣ фермеры держатся еще, обуславливается это слѣдующими причинами: уменьшеніемъ ренты, экономіей въ работѣ, паденіемъ цѣнъ на удобрения и на привозный кормъ для скота, а также на всѣ продукты, не производимые на фермѣ. Чтобы снять и вести ферму, требуется теперь меньше капитала, чѣмъ въ былое время высокихъ цѣнъ и значительной ренты. Земельная реформа, проведенная парламентомъ въ 1896 г. (Agricultural Rating Act, о которомъ см. упомянутый очеркъ „Земля“), принесла нѣкоторое облегченіе фермерамъ, но многое еще остается сдѣлать. Образованіе должно быть такъ же общедоступно для сельскаго населенія, какъ и для городского. Фермерамъ необходимо соединиться въ союзы съ цѣлью улучшить качество молочныхъ продуктовъ и чтобы возможно скорѣе и дешевле доставлять эти продукты на рынокъ. Кооперация необходима также для пріобрѣтенія сообща лучшаго удобрения, корма для скота и сѣмянъ. Пониженіе желѣзнодорожныхъ тарифовъ на сельскіе продукты явится значительнымъ облегченіемъ для земледѣлія *). Мы пришли также къ заключенію, что большую пользу принесъ бы законъ, который обезпечилъ бы

*) Нѣсколько фактовъ выяснятъ значеніе этихъ словъ. Перевозка грузовъ по желѣзнымъ дорогамъ въ Англии обходится дороже, чѣмъ гдѣ бы то ни было на континентѣ. Доставить тонну угля за сто миль по желѣзной дорогѣ стоитъ въ Америкѣ 1 ш. 8 п., въ Бельгіи — 2 ш. 10 п., въ Германіи — 3 ш. 8 п., въ Англии — 7 ш. 6 пенсовъ. Доставить тонну яблокъ изъ Фолькстона въ Лондонъ (сто верстъ съ лишнимъ) стоитъ 1 ф. 14 ш. 1 п.

- | | |
|---|-----------------|
| изъ Калифорніи въ Лондонъ | 15 ш. 8 п. |
| 2) Перевозка тонны говядины: | |
| изъ Ливерпуля въ Лондонъ | 2 ф. — ш. — п. |
| „ Аргентины | — 11 „ 5 „ |
| 3) Доставка тонны яицъ: | |
| изъ Голуэй (въ Ирландіи) въ Лондонъ | 4 ф. 14 ш. — п. |
| „ Даніи въ Лондонъ | 1 „ 4 „ — „ |
| „ Россіи въ | 1 „ 2 „ — „ |
| „ Нормандіи въ Лондонъ | — 16 „ 8 „ |
| 4) Доставка тонны сливъ, яблокъ или грушъ: | |
| изъ Куинборо въ Лондонъ (65 верстъ) | 1 ф. 5 ш. — п. |
| „ Флешинга (въ Голландіи) | — 12 „ 6 „ |
| 5) Доставка тонны желѣзныхъ издѣлій: | |
| изъ Бирмингама въ Лондонъ | — ф. 10 ш. 9 п. |
| „ Германіи | — 4 „ 9 „ |

(См. книгу *George J. Wardle*, „Nationalization of Railways“, 1904, p. p. 28 и дальше).

права арендатора: фермеръ долженъ получить полное вознагражденіе за сдѣланныя имъ улучшенія. Такой законъ поощрялъ бы фермеровъ вкладывать капиталъ въ арендуемые ими участки.

„Мы полагаемъ,—продолжаетъ коммиссія,—что при соответствующихъ реформахъ земледѣліе можетъ держаться въ Англіи, не смотря на низкія цѣны. Оно въ состояніи приносить прибыль фермерамъ, хотя, быть можетъ, не такую высокую, какъ раньше... Въ нѣкоторыхъ графствахъ, гдѣ почва и положеніе не благоприятны, земледѣліе такъ сильно пострадало, что надежды на возрожденіе его крайне слабы. Если доходы фермера зависятъ только отъ урожая пшеницы, цѣны на которую сильно упали, и если, къ тому же, онъ не можетъ сократить свои расходы по найму рабочихъ,—то, очевидно, долженъ наступить моментъ, когда арендаторъ не будетъ въ состояніи платить ренту и обрабатывать землю. Этотъ именно моментъ наступилъ уже въ юго-восточной части Эссекса. То же случилось бы и во многихъ другихъ мѣстахъ, если бы земледѣльцы и арендаторы не предприняли большихъ жертвъ для предотвращенія катастрофы. Когда средства у этихъ фермеровъ истощаются, то, если пшеница не повысится въ цѣнѣ, большая площадь пахатной земли превратится въ грубые пастбища, представляющія очень малую цѣнность... Положеніе земледѣлія не можетъ быть улучшено дальнѣйшимъ пониженіемъ ренты, все равно, добровольнымъ или принудительнымъ. Измѣненіе арендныхъ условій тоже не принесетъ радикальнаго облегченія. Въ нѣкоторыхъ графствахъ рента уже такъ низка, что ея не хватаетъ на поддержаніе усадьбы, службъ и дренажа. Дальнѣйшее пониженіе арендной платы было бы прямо не выгодно для фермера. Не подлежитъ сомнѣнію, что во многихъ мѣстахъ мелкіе фермеры могли бы отлично продержаться; но въ тѣхъ графствахъ, гдѣ земледѣліе теперь совершенно убито, по нашему мнѣнію, и мелкіе фермеры ничего не сдѣлали бы. Землевладѣльцы отнюдь не налагаютъ тягостныхъ условій на мелкихъ фермеровъ и не желаютъ ихъ терять *). Законодательство, которое повело бы за собою сокращеніе доходовъ лэндлорда, было бы скорѣе не выгодно для арендатора... Тяжелое положеніе земледѣлія обуславливается, главнымъ образомъ, паденіемъ цѣнъ, которое, въ свою очередь, вызвано соперничествомъ иностранцевъ. Такъ какъ условія эти продолжаютъ существовать, то слѣдуетъ ожидать дальнѣйшаго превращенія пашенъ въ пастбища“. Среди подписавшихъ протоколъ мы видимъ имена извѣстнаго статистика сэра Роберта Гиффена, Ултера Лонга, Чаплина и др.

Коммиссія рекомендовала однако нѣкоторыя мѣры: поправки въ актѣ относительно аренды земли, особое министерство земле-

*) Всѣ факты, добытые Лигой для націонализаціи земли, противорѣчатъ этому утвержденію. Землевладѣльцы, наоборотъ, крайне неохотно сдаютъ мелкіе участки и ставятъ при этомъ зачастую невозможныя условія.

дѣлія, улучшеніе школы въ деревнѣ, дешевый и легкій кредитъ для фермеровъ и т. д.

Въ концѣ 1904 г. появился проектъ „Can we grow wheat profitably“ (Можемъ ли мы съ выгодой для себя сѣять пшеницу?), написанный извѣстнымъ въ Англіи хозяиномъ-практикомъ Картью (I. K. Carthew), откровеннымъ защитникомъ налога на хлѣбъ. Авторъ констатируетъ вначалѣ извѣстные уже намъ факты относительно паденія земледѣлія въ Англіи. „Въ то время, какъ производство главнаго продукта питанія сократилось въ такой устрашающей степени,—говоритъ авторъ,—населеніе Великобританіи увеличилось на 10 милл., т. е. на 30 проц. На вопросъ: „чѣмъ объясняется паденіе англійскаго земледѣлія?“ — отвѣтитъ очень легко: пониженіе цѣнъ на хлѣбъ обусловливается развитіемъ земледѣлія въ сѣверной и южной Америкѣ, въ Австраліи и въ Индіи, а также болѣе легкимъ и быстрымъ сообщеніемъ. И хотя населеніе на земномъ шарѣ увеличивается съ каждымъ годомъ, производительность земли въ различныхъ странахъ возрастаетъ еще быстрѣе. Мы имѣемъ тутъ законъ Мальтуса, но только *наоборотъ*.

„Не нужно удивляться,—продолжаетъ авторъ,—почему англійская пшеница цѣнится на 4—5 шил. дешевле иностранной. Первая содержитъ въ себѣ болѣе влаги, чѣмъ вторая. Мука изъ англійской пшеницы вбираетъ менѣе влаги, даетъ меньшій припекъ, чѣмъ привезенная съ континента, поэтому не такъ выгодна для булочниковъ. Англійская мука содержитъ также меньше клейковины. Хлѣбъ изъ нея хотя вкусенъ и душистъ, выходитъ разнѣромъ меньше и не такъ пріятенъ для глаза, какъ хлѣбъ, вымеченный изъ привозной муки“.

Увеличеніе площади пастбищъ идетъ на счетъ сокращенія нашенъ. Фермеры говорятъ, что „трава вытѣсняетъ пшеницу“ (grassed out), выгоняя въ то же время работниковъ изъ деревень. Съ опустѣніемъ деревни,—продолжаетъ Картью,—въ ней становится также меньше работы для слесаря, кузнеца, плотника, каменщика, шорника, колесника и пр. Меньше кліентовъ имѣютъ также булочники, мясники, продавецъ бакалеи, портной, сапожникъ и др. *). Можетъ ли быть улучшено положеніе деревни?—спрашиваетъ авторъ: существуютъ ли какія нибудь средства, примѣненіе которыхъ вызвало бы обратную тягу изъ города въ деревню? Да,—отвѣчаетъ Картью,—средство есть, хотя нѣсколько дорогое, но за то основательное. Необходимо путемъ высокихъ налоговъ на хлѣбъ такъ искусственно повысить цѣны на пшеницу, чтобы фермерамъ было выгодно культивировать ее. Про-

*) Упомянутая уже книга *The Hungry Forties* констатируетъ обратные факты. Несмотря на тягу въ городъ, деревенскіе лавочники, булочники и мясники, вслѣдствіе улучшенія положенія „ходжа“, торгуютъ теперь бойчѣе, чѣмъ шестьдесятъ лѣтъ тому назадъ.

тектоники робко говорят о налогахъ въ 2 — 4 шил. на четверть. Картью категорически заявляетъ, что такой ничтожный налогъ не дастъ никакихъ результатовъ. „Четыре шиллинга на четверть,—говоритъ авторъ,—составитъ только шесть пенсовъ на бушель. Это подниметъ цѣны на пшеницу *всего только* на 10—15 проц. Каждый фермеръ скажетъ, что это мало. Налогъ въ четыре шиллинга дастъ только фермерамъ возможность дышать свободнѣе, но отнюдь не расширить запашки. Безъ этого же не будетъ ни большаго спроса на трудъ сельскихъ работниковъ, ни необходимости увеличить живой инвентарь. Не вполнѣ достаточно также налогъ въ 8 шиллинговъ на четверть, хотя это увеличило-бы производительность земли на 50 проц. Чтобы англійское земледѣліе прочно стало на ноги, — продолжаетъ Картью,—необходимо, чтобы цѣны на пшеницу поднялись до 40 шиллинговъ за четверть. Другими словами, необходимъ налогъ на хлѣбъ въ размѣрѣ двѣнадцати шиллинговъ на четверть. Осуществленіе такой „реформы“ привлекло бы обратно изъ городовъ въ деревню, по расчету Картью, 350.000 сельскихъ работниковъ, ремесленниковъ и лавочниковъ съ семьями, т. е. около 1.750.000 человекъ. Въ городахъ тогда стало бы легче жить, оживились бы многія отрасли промышленности. Правда, такой налогъ обошелся бы потребителямъ въ 18 мил. ф. ст., но за то земледѣліе въ Англіи расцвѣло бы“ *).

Подобныя экономическія фантазіи, не смотря на заманчивость ихъ для нѣкоторыхъ, — имѣютъ одно неудобство: онѣ не выдерживаютъ даже самой снисходительной критики. Въ самомъ дѣлѣ: „оживленіе деревни“, т. е. обогащеніе фермеровъ основывается на откровенномъ грабежѣ всего населенія. Такъ какъ англійскіе работники имѣютъ теперь право голоса и отлично понимаютъ, что такое дорогой хлѣбъ, — то министерство, которое дерзнуло бы выставить на выборахъ программой такую безумную реформу, какая желательна Картью, было бы политически похоронено навсегда. Если бы торійское министерство вздумало ввести такой налогъ, не обратившись предварительно къ странѣ за полномочіями,—оно создало бы рядъ мятежей, какъ въ Бирмингемѣ въ тридцатыхъ годахъ. Налогъ на хлѣбъ убилъ бы много отраслей промышленности, пользующихся мукой, крупой или крахмаломъ, какъ сырымъ продуктомъ. Нагляднымъ примѣромъ является налогъ на сахаръ. Англія присоединилась къ брюссельской конференціи, потому что торійское министерство желало помочь вѣсть-индскимъ сахарозаводчикамъ. Предполагалось, что продуктъ въ Англіи не увеличится отъ маленькаго налога. Въ дѣйствительности оказалось, что сахаръ поднялся на 80 проц. Это обстоятельство отразилось на цѣломъ рядѣ фаб-

*) „Can we grow wheath profitably?“, p.p. 2—28.

рикъ, пользующихся сахаромъ, какъ сырымъ продуктомъ (шоколадныя фабрики, конфектныя, бисквитныя и пр.; заводы, приготавливающія машины и жестянки для упомянутыхъ фабрикъ). Повышеніе цѣнъ на сахаръ вызвало рядъ банкротствъ фабрикантовъ. Десятки тысячъ работниковъ очутились на улицѣ; теперь судьба ихъ—сильно беспокоитъ многихъ въ Англіи.

Проектъ Картью неосуществимъ также вслѣдствіе конкуренціи Канады и Австралазіи. Картью — имперіалистъ, т. е. стоитъ за сліяніе метрополіи съ колоніями въ одинъ экономическій мікрокосмосъ. Метрополія должна перерабатывать сырье, доставляемое колоніями, а колонисты явятся покупателями этихъ фабрикатовъ. Чтобы самоуправляющіяся колоніи присоединились къ имперскому цолльферейну, необходимо сдѣлать имъ уступки. Канадскіе и австралійскіе фермеры, конечно, не должны будутъ платить пошлинъ, когда пришлютъ свой хлѣбъ въ Англію. А если такъ, то у англійскихъ фермеровъ явятся страшные конкуренты, которые въ одинъ годъ захватятъ весь внутренній рынокъ. Канадскимъ фермерамъ выгодно теперь культивировать пшеницу, доставлять ее въ Англію и продавать по 26—28 шил. за четверть. Можно представить себѣ, какимъ поощреніемъ для Канады явился бы законъ, въ силу котораго цѣны на пшеницу поднялись бы въ Англіи до 40 шил. Всѣ пустующія еще земли въ Ассинибойѣ и Манитобѣ были бы быстро вспаханы. И въ настоящее время „ходжъ“, любящій землю, переселяется въ Канаду, куда его привлекаютъ высокая заработная плата (25 долларовъ въ мѣсяцъ) и даровая раздача земельныхъ участковъ въ 60 акровъ. Если бы хлѣбные налоги въ Англіи прошли, канадское правительство предложило бы „ходжу“ еще болѣе выгодныя условія. Началась бы усиленная тяга не изъ города въ деревню, а изъ города и деревни за океанъ, въ Канаду. Черезъ два года дѣйствительныя преріи колосились бы богатою жатвой, а въ октябрѣ—колоссальныя пароходы, нагруженные пшеницей, потянулись бы на востокъ, въ Глазго и въ Ливерпуль. Что станетъ тогда съ англійскими фермерами?

V.

Другой характеръ носитъ проектъ, предложенный проф. Фэйрфэксомъ Колмели—„To Replace the Old Order“ *). Авторъ начинаетъ съ категорическаго заявленія, что „система лэндлордизма отжила совершенно свой вѣкъ“. „Всѣ партіи согласны, что опустѣніе деревни представляетъ серьезную опасность для Англіи. — говорить онъ дальше... — Чѣмъ привлекательнѣе мы

*) „The independent Review“, December, 1904.

едѣлаемъ города, тѣмъ болѣе будутъ пустѣть деревни. Съ другой стороны, если условія въ деревнѣ улучшатся, то тяга рго tanto остановится... Разумные люди всѣхъ партій, съ другой стороны, понимаютъ, что протекціонизмъ не можетъ возродить земледѣлія въ Англіи и не въ силахъ сдѣлать его экономическимъ базисомъ Англіи, какъ пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ. Подобное возрожденіе было бы возможно только при искусственномъ повышеніи цѣнъ на хлѣбъ, что принесло бы съ собою хроническій голодъ массъ и промышленную катастрофу въ городахъ... Силой вещей мы доведены до слѣдующаго: или намъ надлежитъ послѣдовать примѣру фрित्रедерской Даніи и протекціонистской Фландріи, т. е. замѣнить наши большія фермы—молочными фермами и огородами, основанными на принципахъ мелкаго хозяйства и коопераціи, или оставить все по старому, что поведетъ къ полному опустѣнію деревни“.

За послѣдніе годы методъ доставки пищевыхъ продуктовъ въ Англіи совершенно измѣнился, методы земледѣльческіе измѣнились очень мало, и земельная система не измѣнилась совершенно. Система, составлявшая когда-то нашу гордость, — говорить *Independent Review*,—теперь превратилась для насъ въ каторгу. Въ области земледѣлія Англіи необходима теперь большая эластичность и большее разнообразіе: нужны разнообразіе въ размѣрахъ фермъ и эластичность въ методахъ агрикультуры. Необходимо также перенесеніе нѣкоторыхъ отраслей промышленности изъ городовъ въ деревни. Настоятельно необходима независимость. Наиболѣе талантливые и энергичные люди ищутъ независимости въ городѣ, потому что не желаютъ оставаться въ деревнѣ, гдѣ морально чувствуется еще вліяніе старинной феодальной системы. Необходимо создать независимое положеніе мелкихъ фермеровъ. Старинныя градаціи на сквайровъ, крупныхъ фермеровъ и зависимыхъ сельскихъ работниковъ—теперь совершенно отжили свой вѣкъ. Система эта въ значительной степени способствовала гибели англійской деревни, такъ какъ вызвала тягу въ городъ... До послѣдняго времени консервативныя сквайры не допускали мелкихъ фермеровъ въ свои вотчины. Ренту гораздо легче собирать, когда земля сдана десятку крупныхъ арендаторовъ, чѣмъ когда она разбита на множество мелкихъ участковъ. Государство, по мнѣнію *Independent Review*, должно теперь вмѣшаться и оказать давленіе на помѣщиковъ.

Дважды въ исторіи Англіи государство вмѣшивалось и измѣняло систему землевладѣнія. Въ первый разъ это случилось, когда монастырскія земли, подъ предлогомъ общественной пользы, передали лэндлордамъ; во второй разъ,—когда помѣщикамъ отдали общинныя земли, опять подъ тѣмъ же самымъ предлогомъ. Въ пользу помѣщиковъ, на которыхъ желала опереться королевская власть, ограбили аббатства и общины. Теперь общество,—продол-

жаетъ *Independent Review*, имѣетъ право требовать во имя народнаго блага, чтобы лэндлорды возвратили землю. Если это еще не сдѣлано въ Англіи; если въ городахъ мы видимъ землю, не обложенную налогомъ, то только потому, что лэндлорды все еще имѣютъ преобладающее вліяніе въ парламентѣ *). Дальше журналъ приводитъ не новые мотивы, почему общество вправе национализировать землю. „Собственность земельная отличается отъ всѣхъ другихъ формъ собственности“. Во-первыхъ, исторически полная собственность на землю—сравнительно недавняго происхожденія. Эта форма совершенно неизвѣстна въ древней Англіи. Средніе вѣка не знали абсолютной земельной собственности. Тогда признавались только извѣстные права, строго ограниченные постановленіями общинъ. Во-вторыхъ, земля абсолютно необходима для всѣхъ другихъ предпріятій, и имѣется она только въ опредѣленномъ количествѣ. „Можно изготовить еще машины, но нельзя изготовить еще землю. Можно выписать изъ Канады хлѣбъ, но нельзя сдѣлать то же самое относительно земли. Англія имѣетъ мало земли, а потому пользоваться ею должны всѣ. Если же вся земля будетъ принадлежать только немногимъ владѣльцамъ, обремененнымъ правомъ не допускать на нее фабрикантовъ, мелкихъ фермеровъ или просто отдыхающихъ людей, то раса неизбежно вырождается физически и морально. Она неминуемо подпадетъ подъ иго сперва монополистовъ, а потомъ — непріятеля. Все дѣло только во времени“ **).

Но какимъ образомъ нанести ударъ монополистамъ, въ рукахъ которыхъ теперь вся земля? Какъ заселить деревню независимыми мелкими фермерами? Профессоръ Фэйрфэксъ Колмеліи намѣчаетъ аграрную программу для радикальнаго министерства. Въ первую голову идетъ вознагражденіе фермеровъ за всѣ сдѣланныя ими улучшенія на своихъ участкахъ (Tenant Right). „Законодателямъ надлежитъ не только ввести мелкое землевладѣніе и поощрить огородничество, но необходимо также содѣйствовать введенію болѣе прогрессивныхъ приѣмовъ на большихъ фермахъ. Большія фермы должны быть раздѣлены на мелкіе участки, но tenant right побудитъ всѣхъ фермеровъ дѣлать всевозможныя улучшенія. По дѣйствующему нынѣ закону (Agricultural Holdings Act) вознагражденіе, получаемое фермерами за улучшенія, — до смѣшного недостаточно. Для выясненія, какое вознагражденіе имѣетъ право получить отъ лэндлорда фермеръ, слѣдуетъ ввести особые третейскіе суды, но главнымъ образомъ аграрная реформа радикальнаго министерства должна заключаться въ введеніи мелкихъ хозяйствъ. „Намъ необходима, — говоритъ *Independent Review*, — раса мелкихъ фермеровъ, объединенныхъ въ

*) *Independent Review*, December, 1904, p. p. 320—324.

**) *Ibid.*, p. 324.

кооперативные союзы, снабжающих городъ фруктами, овощами и молочными продуктами“. Эти мелкіе фермы будутъ существовать рядомъ съ большими фермами. Такимъ образомъ, отчасти разрешится вопросъ о сельскихъ рабочихъ въ крупныхъ хозяйствахъ: дѣти мелкихъ фермеровъ будутъ искать подобныя занятія по близости. Реформа должна дать всѣмъ сельскимъ рабочимъ возможность имѣть клочекъ земли воалѣ своего коттеджа, послѣдствіемъ чего явится большая экономическая независимость „ходжа“. Онъ не такъ уже будетъ находиться во власти своего хозяина. Только сознаніе своей независимости и надежда на лучшее будущее могутъ удержать „ходжа“ отъ переселенія въ городъ.

Въ послѣдніе годы были сдѣланы очень удачныя попытки ввести въ Англіи подобныя мелкія хозяйства *). Чтобы процессъ шель быстрее, — говорить Фэйрфэксъ Колмели, — необходимо дать городскимъ и сельскимъ совѣтамъ право принудительнаго отчужденія земли. Въ послѣднее время не разъ бывало, что помѣщики наотрѣвъ отказывали совѣтамъ графства, желавшимъ купить землю для мелкихъ хозяйствъ. Въ настоящее время сквайръ имѣетъ еще слишкомъ много вліянія въ сельскихъ совѣтахъ. Когда избиратели — сельскіе работники — приобретутъ независимость, сельскіе совѣты станутъ болѣе демократичны. Городскіе и сельскіе совѣты должны скупить землю и сдавать ее въ *аренду* мелкими участками. Полное право на землю не желательно, такъ какъ это возродитъ только лэндлордизмъ. Теперь помѣщики не хотятъ сдавать землю небольшими участками. Когда же городскіе и сельскіе совѣты получатъ право принудительнаго отчужденія и когда, такимъ образомъ, лэндлордамъ будетъ грозить опасность совершенно разстаться съ своими вотчинами, — они охотнѣе будутъ вступать въ договоры съ мелкими фермерами. Цѣль аграрной реформы, такимъ образомъ, во всякомъ случаѣ будетъ достигнута.

Реформа должна коснуться также жилищъ въ деревнѣ. Иные лэндлорды выстроили для сельскихъ работниковъ хорошіе коттеджи и поддерживаютъ ихъ въ порядкѣ. Другіе помѣщики не дѣлаютъ этого — по нежеланію или по отсутствію средствъ. Въ такомъ случаѣ о коттеджахъ для сельскихъ работниковъ должны заботиться сельскіе и графскіе совѣты.

Дальнѣйшимъ пунктомъ новой аграрной программы является демократическое министерство земледѣлія, которое должно служить „мозгомъ обновленной земледѣльческой Англіи“. Демократическое министерство имѣло бы въ своемъ распоряженіи для социальныхъ опытовъ богатый матеріалъ: обширныя коронныя земли.

*) „The Villages of the Future“, р. 398 и дальше. Особенно удачны опыты въ Ланкаширѣ. Въ очеркѣ „Земля“ („Англійскіе силуэты“, стр. 346—377) читатель найдетъ подробности.

Мелкіе фермеры, чтобы удержаться, должны заключать между собою союзы и артели. Безъ коопераций система мелкихъ хозяйствъ не дастъ никакихъ результатовъ. Союзы эти необходимы, чтобы сообща покупать машины, затѣмъ — для кредита и для успѣшной доставки продуктовъ на рынокъ. Мелкій фермеръ иногда затрачиваетъ на то, чтобы продать на рынокъ овцу, столько же времени, сколько крупный фермеръ — для продажи цѣлаго стада. Уходить время, которое можетъ быть затрачено производительно въ полѣ или въ огородѣ. Путемъ участія въ кооперативномъ союзѣ мелкій фермеръ сэкономитъ время, обезпечитъ себѣ выгодный рынокъ и удобную доставку туда своихъ продуктовъ. Принципъ взаимопомощи долженъ быть широко примѣненъ въ мелкихъ хозяйствахъ. Кооперации будутъ дѣйствовать воспитательнымъ образомъ на мелкихъ фермеровъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ, когда вырастетъ въ деревнѣ новая раса, привыкшая къ независимости и къ взаимной помощи, будетъ умѣстно сдѣлать слѣдующій шагъ: ввести въ деревнѣ кооперативное владѣніе землей *). Въ настоящее время въ Великобританіи существуетъ цѣлый рядъ кооперативныхъ фермъ. Мы имѣемъ простые союзы мелкихъ фермеровъ для совмѣстной продажи продуктовъ. Успѣшнѣе всего такіе союзы идутъ въ Ирландію. Кооперативный принципъ на молочныхъ фермахъ примѣненъ тамъ былъ впервые въ 1889 г. Въ 1890 г. тамъ было только одно кооперативное общество мелкихъ фермеровъ, въ 1891—17, а къ концу 1900 г.—412. Въ августѣ 1901 г. воѣхъ обществъ было уже 470. Они объединили 54000 мелкихъ фермеровъ. Въ 1900 г. ирландскія кооперативныя молочныя отправили въ Англію масла на 700.000 ф. ст. „Ростъ этихъ коопераций объясняется тѣмъ, что сообща можно завести лучшія машины для приготовления масла. Продуктъ, доставляемый кооперативными ирландскими молочными, такъ хорошъ, что на него громадный спросъ, вслѣдствіе чего участники союза получаютъ отличные барыши“ **).

Затѣмъ мы имѣемъ также кооперативныя земледѣльческія фермы, принадлежація громаднымъ потребительнымъ обществамъ. Наиболѣе замѣчательны въ этомъ отношеніи двѣ фермы: Катерингская и Вуличская, близъ Лондона. Когда-то я подробно описалъ ихъ въ *Русскомъ Богатствѣ*. Я указалъ тогда, почему отдѣльныя земледѣльческія кооперации въ Англіи терпѣли долго неудачу и почему Катерингская ферма, имѣющая обезпеченный рынокъ, такъ прочно стала на ноги. Всѣ успѣшныя англійскія кооперативныя фермы имѣютъ, приблизительно, такое происхожденіе. Возникаетъ потребительное общество. Разростаясь, оно становится производителемъ-потребителемъ. Для удовлетворенія сочленовъ

*) *Indep. R.* XII, 1904, p. 332.

**) *Encyclopedia Britannica*, „The New volumes“, v. XXVII, p. 230.

является болѣе выгоднымъ самому обществу заняться изготовленіемъ платья, башмаковъ, печеніемъ хлѣба и пр. Въ концѣ-концовъ, когда значительная часть населенія города принимаетъ участіе въ кооперативномъ движеніи, возникаютъ кооперативныя фермы. Такъ было въ Кэтерингѣ, который на $\frac{9}{10}$ —кооперативный городъ. Кооператоры имѣютъ мастерскія, въ которыхъ работниками и директорами являются сочлены, лавки, цѣлыя улицы коттеджей, наконецъ, громадную ферму. Мы видимъ тамъ вольный союзъ двухъ колоніальныхъ коопераций, послѣдствіемъ чего явился еще болѣе обширный обезпеченный рынокъ. Въ Кэтерингѣ частные предприниматели вступали года три тому назадъ въ бой съ кооперациями, для разгрома которыхъ лавочники и лэндлорды составили лигу. Многіе фабриканты присоединились къ лигѣ и рассчитали работниковъ, состоявшихъ членами хотя бы потребительнаго общества. Домовладѣльцы отказывали кооператорамъ отъ квартиръ. „Лига“ обратилась за средствами къ лавочникамъ всей Англіи; но на помощь къ кооператорамъ явились остальные англійскія кооперации и щедро поддерживали деньгами. Рассчитанные рабочіе стали членами производительнаго общества. Для лицъ, которымъ лэндлорды отказали въ квартирѣ, кооперация выстроила цѣлую улицу (Liberty Street, т. е. улицу Свободы). Въ концѣ-концовъ, кооперация побѣдила. Такимъ образомъ, земельная реформа, которую рекомендуетъ *Independent Review*, въ общемъ, испытанное уже въ Англіи средство, которое дало очень хорошіе результаты.

Всѣ намѣченные пункты аграрной программы не могутъ встрѣтить сильнаго сопротивленія въ парламентѣ. Нельзя сказать этого о проектѣ обложенія налогомъ необработанной земли, который предлагаетъ Фэйрфэксъ Колмели. Противъ такого налога возстанетъ вся палата лордовъ. Между тѣмъ, какъ доказываетъ авторъ, такой налогъ абсолютно необходимъ, если имѣть въ виду широкую аграрную реформу. „Незаработанное приращеніе“ (the Unearned increment) составляетъ колоссальную сумму. Въ одномъ Лондонѣ за 30 лѣтъ оно достигло 77 милліоновъ рублей. „Лэндлорды не работаютъ, не рискуютъ и не экономизируютъ: они богатѣютъ во снѣ. Исходя изъ принципа соціальной справедливости,—нужно придти къ заключенію, что лэндлорды не имѣютъ никакого права на „незаработанное приращеніе“ *). Англійскіе экономисты не перестаютъ доказывать, что налогъ на землю всегда существовалъ, покуда лэндлорды не захватили въ свои руки парламенты. Въ своей книгѣ „Шесть вѣковъ труда и заработной платы“ Торольдъ Роджерсъ показываетъ, какимъ образомъ съ теченіемъ времени лэндлорды свалили всѣ государствен-

*) J. S. Mill, „Principles of Political Economy“. Book v., Chapter II, § 5 (стр. 492 изданія 1865 г.).

ные расходы съ себя на плечи коммунеровъ, хотя получили землю именно на условіяхъ — покрывать государственные расходы. Такимъ образомъ, введеніе земельного налога было бы только напоминаніемъ о неисполненномъ обязательствѣ.

„До тѣхъ поръ, покуда необработанная земля не будетъ обложена прогрессивнымъ налогомъ,—говоритъ проф. Фэйрфэксъ Колмели,—лэндлордъ явится всегда врагомъ мелкаго фермера“. Теперь сквайры находятъ болѣе выгоднымъ для себя прогонять фермеровъ съ земли и превращать пашни и луга въ верешаки. „На этихъ верешакахъ разводятъ куропатокъ. Поля потомъ едаются для охоты англійскимъ и американскимъ миллионерамъ. Налогъ на необработанныя земли покончитъ со всѣмъ этимъ.“

„Наступившій вѣкъ ознаменуется колоссальной борьбой между интересами общества и отдѣльныхъ монополистовъ,—говоритъ *Independent Review*.—Одна и та же борьба присходитъ теперь въ Европѣ и въ Америкѣ. Англичане, вмѣсто того, чтобы монтировать противъ себя новыхъ монополистовъ путемъ возвращенія къ покровительственнымъ тарифамъ, должны разгромить монополию лэндлордовъ, которая является первопричиной опустѣнія деревни и возможнаго вырожденія расы... Улучшеніе матеріальнаго положенія „ходжа“ и развитіе его путемъ новыхъ демократическихъ школъ—пробудитъ дремлющее самосознаніе его. Покуда „ходжъ“ не можетъ еще оправиться отъ вѣкового господства надъ нимъ сквайра и попа. Но пусть онъ почувствуетъ свою независимость, и тогда новая жизнь начнетъ въ опустѣвшей деревнѣ“ *).

Я приводилъ только аграрныя программы практиковъ, т. е. проекты тѣхъ реформъ, которыя, по мнѣнію составителей, могутъ быть предложены парламенту и приняты въ любой моментъ. Наряду съ этимъ существуютъ въ Англіи проекты радикальные, основанные на полномъ уничтоженіи личнаго права на владѣніе землей. Такіе проекты тщательно выработаны двумя лигами націонализаціи земли: Фабианскимъ обществомъ и вождемъ независимой рабочей партіи—Кейръ Гарди. Объ этихъ проектахъ—въ другой разъ.

Діонео.

*) *Ind. R.* XII, 904, p. 334.

Внѣ закона.

Къ исторіи цензуры въ Россіи.

I.

Русскій писатель „средней руки“ Пименъ Коршуновъ, изображенный Щедринымъ въ рассказѣ „Похороны“, предлагалъ для памятника на своей могилѣ слѣдующую эпитафію: „Литература освѣтила ему жизнь, но она же напоила ядомъ его сердце“. Обстоятельства дѣйствительно сложились такъ, что для честнаго русскаго писателя, не отдѣляющаго собственныхъ интересовъ отъ интересовъ литературы, страстно любящаго ее и въ ней ищущаго свѣточа жизни—та же страстно любимая литература служить неизсякаемымъ источникомъ терзаній и не устаетъ на каждомъ шагѣ отравлять своему поклоннику жизнь, часто обращая ее въ какое то сплошное мученіе. Весьма характернымъ симптомомъ такого взаимоотношенія литературы и работниковъ пера съ внѣшней стороны является то обстоятельство, что „Уставъ о цензурѣ и печати“, опредѣляющій положеніе русской литературы и русскаго писателя, въ „Сводѣ Законовъ“ помѣщается посрединѣ между „Уставомъ о паспортахъ и бѣглыхъ“, съ одной стороны, и „Уставомъ о предупрежденіи и пресѣченіи преступленій“ съ другой, при чемъ дальше слѣдуютъ не менѣе знаменательные уставы—„о содержащихся подъ стражей“ и „о ссыльныхъ“ (т. XIV). Это близкое и столь выразительное сосѣдство и на положеніе литературы налагаетъ какъ бы свой особый отпечатокъ и служить providенціальнымъ указаніемъ судьбы русскаго писателя, переходящаго въ порядкѣ постепенности всѣ этапы недоувѣрія и подозрительности и зачастую оканчивающаго свою тернистую дѣятельность подъ попечительнымъ дѣйствіемъ послѣдняго изъ помѣщенныхъ въ XIV томѣ „Свода“ уставовъ.

Тяжелая доля русскаго писателя—его необезпеченность, неувѣренность въ завтрашнемъ днѣ, зависимость отъ крайне измѣнчивыхъ внѣшнихъ влѣяній, даже случайныхъ настроеній, и необходимость къ нимъ приспособляться, прибѣгая къ рабскому эзоповскому языку въ вопросахъ, составляющихъ часто суть жизни—всѣмъ достаточно хорошо извѣстна. Это положеніе—въ нѣкоторомъ родѣ напоминающее пребываніе на вулкани, въ каждый данный моментъ готовомъ къ изверженію и грозящемъ гибелью и полнымъ уничтоженіемъ результатовъ тревожной и мучительной работы. Извѣстны всѣмъ также и тѣ послѣдствія, которыя вытекаютъ для русской литературы изъ такого положенія работни-

ковъ пера: случайный выборъ темъ, недоговоренность и вообще неувѣренность тона, оторванность отъ жизни и ея насущнѣйшихъ запросовъ и т. п.

Повторяю, все это является общезвѣстнымъ фактомъ и, конечно, не удивить никого. Но, быть можетъ, весьма многіе изъ читателей придуть въ крайнее изумленіе, если имъ сказать, что существуетъ у насъ категорія писателей въ полномъ смыслѣ слова отверженныхъ, которые могли бы позавидовать даже положенію на кратерѣ грозящаго изверженіемъ вулкана, — а между тѣмъ такая категорія дѣйствительно существуетъ, однимъ уже фактомъ своего существованія представляя великолѣпную иллюстрацію къ положенію русской печати вообще. Писатели, имѣющіе несчастіе принадлежать къ упомянутой категоріи, не обладаютъ даже той слабой возможностью высказываться на эвонковомъ языкѣ, какой не лишены русскіе писатели; имъ пресѣчены всѣ пути воздѣйствія на общество, у нихъ чуть ли не въ буквальному смыслѣ „урѣзанъ языкъ“, и потому даже горемычная доля русскаго писателя для нихъ представляется завиднымъ положеніемъ, достиженіе котораго означало бы полный переворотъ всѣхъ установившихся въ области ихъ дѣятельности отношеній. Продолжая наше сравненіе, можно сказать, что писатели этой категоріи не чувствуютъ у себя подъ ногами уже рѣшительно никакой почвы, имѣя пребываніе чуть ли не въ воздухѣ. Нужно замѣтить при этомъ, что рѣчь идетъ о литературныхъ представителяхъ не какого-нибудь мелкаго инородческаго племени, осужденнаго, какъ любятъ выражаться иные публицисты, неумолимымъ ходомъ исторіи на вымирание и исчезновеніе. Это представители многомилліоннаго народа, составляющаго въ общей жизни Россіи весьма крупное слагаемое и имѣющаго всѣ основанія надѣяться на развитіе въ будущемъ. Впрочемъ, выраженіе „литературные представители многомилліоннаго народа“ звучитъ горькой провоніей по отношенію къ людямъ, способнымъ завидовать даже судьбѣ тѣхъ писателей, сердца которыхъ литература держитъ въ состояніи хроническаго отравленія. Трудно и вообразить, до какой степени отчаянія нужно дойти, чтобы рѣшиться на это.

Читатель, знающій въ чемъ дѣло, уже, конечно, догадался о какой литературѣ и какихъ писателяхъ идетъ рѣчь, а читателю, продолжающему изумляться и недоумѣвать, я сейчасъ скажу, что намѣренъ говорить объ украинской литературѣ и ея представителяхъ—украинскихъ писателяхъ. Въ силу нѣкоторыхъ обстоятельствъ, русская пресса почти не касается украинскаго вопроса; очень рѣдко также удѣляетъ она милостыню своего вниманія и украинской литературѣ. „При современномъ состояніи русской словесности,—писалъ нѣкогда проф. А. А. Котляревскій,—когда каждый вопросъ ея находитъ даровитыхъ и надежныхъ истолкователей, опытный глазъ не можетъ не примѣтить страннаго на стра-

ницахъ ея пробѣла: до сихъ поръ не воздано должное младшей сестрѣ и спутницѣ русской литературы — словесности малороссійской или украинской; исследователи ставили въ тѣни всѣ ея явленія или вовсе не упоминали о нихъ, считая ихъ незначительными случайностями“ *). Пробѣлы, казавшіеся извѣстному слависту странными еще въ 50-хъ годахъ прошлаго столѣтія, не устранены и въ настоящее время, и украинскій вопросъ и теперь находится все въ томъ же положеніи. До сихъ поръ не только „не воздано должное“ украинской литературѣ, но даже вопросъ о ней сравнительно рѣдко возбуждается на страницахъ русской періодической печати, подвергаясь лишь систематическому извращенію и травлѣ въ реакціонной части прессы. Тѣ же немногочисленные замѣтки, которыя отъ времени до времени появляются и въ прогрессивныхъ органахъ, носятъ чисто случайный, отрывочный характеръ, не давая сколько-нибудь полнаго и цѣльнаго представленія о предметѣ. Чѣмъ же объясняется такое дѣйствительно странное явленіе? Почему литература тридцатимилліоннаго народа *), уже сто лѣтъ тому назадъ написавшая на своемъ знамени требованія прогрессивнаго демократизма, достигшая, по свидѣтельству компетентныхъ лицъ, значительныхъ успѣховъ, исчисляющая свои періодическія изданія за границей десятками, обладающая тамъ же солидными научными органами, знакомство съ которыми считается обязательнымъ для ученыхъ исследователей русской исторіи и жизни, — почему эта литература остается неизвѣстной и незамѣтной въ Россіи, гдѣ живетъ главная часть украинскаго народа? Отчего не только такъ называемая широкая публика, но зачастую даже лица, берущіеся ее просвѣщать въ этомъ отношеніи, или совершенно ничего объ украинскомъ вопросѣ не знаютъ, или почерпаютъ свои свѣдѣнія изъ источниковъ крайне сомнительной достовѣрности — въ родѣ реакціонныхъ изданій, пользующихся у насъ, какъ извѣстно, монополіей обсужденія славянскихъ отношеній? Огвѣтъ на поставленные вопросы можетъ быть данъ изложеніемъ судебъ украинской литературы и отношеній къ ней со стороны русскаго общества и правительственныхныхъ сферъ.

Странная вообще судьба постигла украинскую литературу. Въ началѣ своего существованія, въ теченіе первой половины прошлаго столѣтія, она раздѣляла общую долю русской литературы и, подвергаясь одинаковымъ бичамъ и скорпіонамъ, почти не вызывала спеціальныхъ мѣропріятій. Переживъ періодъ мрачной реакціи 40-хъ и 50-хъ годовъ, она въ началѣ 60-хъ стояла уже на разсвѣтѣ новой жизни; вдали заманчиво рисовались перспек-

*) А. А. Котляревскій. Сочиненія, т. I, стр. 13.

**) Проф. Грушевскій. Очеркъ исторіи украинскаго народа. Спб. 1904, стр. 2. Авторъ насчитываетъ всего 34 милліона украинцевъ, занимающихъ площадь въ 750 тысячъ кв. километровъ.

тивы плодотворной дѣятельности на пользу родного народа. Но вдругъ — какое-то чисто сказочное превращеніе, необъяснимая метаморфоза, дѣлая сѣбѣ недоразумѣній, заподозриваній и прямыхъ доносовъ со стороны специалистовъ этого дѣла, затѣмъ взрывъ вулкана, одинъ, другой — и все, казалось, погребено было подъ развалинами... Проходятъ, однако, десятки лѣтъ, развалины понемногу начинаютъ оживать, покрываются зеленью, но изъ подъ нея все-таки уродливо торчатъ безобразные контуры обломковъ, части которыхъ ежеминутно обрушиваются и при своемъ паденіи уничтожаютъ зеленѣющую жизнь. Представьте положеніе работниковъ, которымъ поручено воздѣлать и привести въ культурное состояніе эти развалины, и вы поймете положеніе украинскаго писателя, поставленнаго не только внѣ закона, но даже внѣ „временныхъ правилъ о печати...“

II.

Появленіе украинскихъ писателей на горизонтѣ русской литературы было встрѣчено представителями послѣдней двоякимъ образомъ. Въ то время, какъ на страницахъ „Вѣстника Европы“, редакціи Каченовскаго, украинскія произведенія Артемовскаго-Гулака, Боровиковскаго и др. мирно уживались рядомъ съ произведеніями своихъ русскихъ товарищей и встрѣчались съ сочувственными заявленіями самой редакціи, — въ другой части представителей русской литературы замѣтно было недоумѣніе, временами сопровождаемое невинными насмѣшками, но иногда переходившее и въ прямо таки враждебное отношеніе. Весьма любопытно, что къ этой части, кромѣ людей неглубокой проницательности — въ родѣ Сенковскаго, принадлежали и нѣкоторые лучшіе представители современнаго русскаго общества. Устами Бѣлинскаго оно произнесло суровый приговоръ надъ украинской литературой, находя ее не только излишнимъ, ненужнымъ, но и прямо таки вреднымъ явленіемъ. „Хороша литература, которая только и дышетъ, что простоватостью крестьянскаго языка и дубоватостью крестьянскаго ума!“ *) — вотъ резюме взглядовъ Бѣлинскаго по данному вопросу, выраженное собственными словами знаменитаго критика.

Причины такого отношенія къ украинской литературѣ представителей русской интеллигенціи отчасти видны изъ сочиненій Бѣлинскаго, отчасти могутъ быть выведены изъ общей позиціи, занятой въ то время нѣкоторыми изъ видныхъ украинскихъ писателей. Многіе тогда, какъ и Бѣлинскій, были ошибочно убѣждены, что на языкѣ простонародья нельзя выразить тѣхъ понятій, которыя господствовали въ кругу просвѣщеннаго общества и

*) Сочиненія В. Г. Бѣлинскаго, Спб. 1896, т. II, стр. 906.

распространеніе которыхъ въ ихъ чистомъ и цѣльномъ видѣ являлось единственно желательнымъ. Съ этой точки зрѣнія украинская литература, нисходящая до народа языкомъ, тѣмъ самымъ неминуемо должна была понижать и свое идейное содержаніе, не-позволительно вульгаризировать его, къ „простоватости“ изложенія присоединяя и „дубоватость“ идей. Съ другой стороны, существовали опасенія, что появленіе особой литературы для украинскаго народа способно подѣйствовать раздражающимъ образомъ на тѣ сферы, которыя пресловутое „единство“ выставляли, какъ оффиціальныя догматы государственной жизни Россіи, и вызвать этимъ экстренныя мѣропріятія противъ литературы вообще. Въ настоящее время, полагаю, нѣтъ надобности говорить о томъ, насколько украинскіе писатели оказались повинными въ пониженіи идейнаго уровня литературы. Вся исторія украинской литературы отмѣчена одной красною нитью—демократическимъ направленіемъ, сочувствіемъ къ „униженнымъ и оскорбленнымъ“ и вѣрностью великимъ идеаламъ гуманности. Еще болѣе очевиднымъ является непричастность украинскихъ писателей къ появленію экстренныхъ мѣропріятій, которыя всею своею тяжестью упали именно на нихъ. Поэтому, оставляя безъ вниманія два первыхъ пункта обвиненій, перехожу прямо къ третьей причинѣ, вызвавшей враждебное отношеніе къ украинской литературѣ со стороны передовой русской интеллигенціи. Этой причиной, въ которой дѣйствительно нѣкоторая доля вины лежитъ и на украинцахъ, могла быть извѣстная близость нѣкоторыхъ изъ нихъ къ элементамъ, представляемымъ тогда въ русской общественности различными „Маяками“ и „Москвитянинами“. Основываясь больше на личныхъ дружескихъ отношеніяхъ между Погодинымъ и Шевыревымъ, съ одной стороны, и Максимовичемъ или Квиткой съ другой—эта близость служила тѣмъ не менѣе плохой рекомендаціей въ глазахъ русскихъ прогрессистовъ, такъ какъ порождала подозрѣнія и въ духовной, идейной близости и налагала на украинское движеніе реакціонную окраску. Русскіе прогрессисты того времени, замѣчая эту внѣшнюю близость, считали все украинское движеніе реакціоннымъ, а потому не заслуживающимъ ни симпатій, ни сочувствія, ни тѣмъ болѣе поддержки. Союзъ съ какимъ-нибудь Бурячкомъ (редакторъ „Маяка“) былъ въ самомъ дѣлѣ компрометирующимъ, но теперь съ полною достовѣрностью можно сказать, что онъ покоился всецѣло на недоразумѣніи, на взаимномъ заблужденіи относительно истинной духовной фizioноміи каждаго изъ союзниковъ. Вѣдь стоитъ только сравнить уставъ извѣстнаго Кирилло-Мееодіевскаго братства съ пропитанными духомъ оффиціальной народности и московской исключительности заявленіями представителей славянофильства, чтобы ясно видѣть, какая глубокая, въ сущности, пропасть раздѣляла союзниковъ. Идеаломъ украинцевъ была вольная семья славянскихъ народностей, свободная федера-

ція славянскихъ государствъ, основанная на самой широкой автономіи отдѣльныхъ народовъ; догматомъ славянофиловъ—слияніе „славянскихъ ручьевъ“ въ „русскомъ морѣ“, подчиненіе, ассимиляція. Сближающимъ обстоятельствомъ было лишь общее направленіе ихъ дѣятельности—интересъ къ славянству, но дороги не только не совпадали, но были прямо противоположны. Пока это не выяснилось, пока славянофилы въ своихъ симпатіяхъ къ славянскимъ народностямъ не обнаружили рѣзко-московской окраски и не исключили изъ числа достойныхъ своего сочувствія украинской народности, до тѣхъ поръ этотъ, основанный на чисто ви́шнемъ обстоятельствѣ и на идейномъ недоразумѣніи, союзъ могъ существовать. Но иллюзія идейной близости развѣялась, какъ дымъ, какъ только союзники лучше узнали другъ друга и недоразумѣніе разъяснилось. А произошло это очень скоро. Уже въ 50-хъ годахъ молодые украинцы рѣшительно отказываются отъ участія въ Аксаковскомъ „Парусѣ“ и устами Кулиша такъ мотивируютъ свой разрывъ съ недавними союзниками: „Парусъ“ у своему универсалі перелічив усі народности, тільки забув про нашу, бо ми, бач, дуже однакові, близькіі родичі: як наш батько горів, так іх грівся! Не годиться мені давати свої вірші під „Парус“ і того ради, що його надуває чоловік, котрий вступився за князя любителя хлости“ *). Эти характерныя слова Кулиша ясно указываютъ на причины разрыва: во-первыхъ, славянофилами обнаружена была уже московская исключительность, не признававшая за украинцами права на національное существованіе, и во-вторыхъ, оскорблено въ послѣднихъ нравственное чувство солидарностью Аксакова съ какимъ то любителемъ тѣлесныхъ наказаній. Роли теперь радикально мѣняются: недавніе союзники, т. е. люди, тяготѣвшіе къ разнаго рода „Маякамъ“, превращаются въ злѣйшихъ враговъ, а подозрительно и враждебно настроенные прежде прогрессисты, убѣдившись, что украинцы вовсе не реакціонеры и что союзъ ихъ съ противоположными общественными элементами былъ однимъ лишь недоразумѣніемъ, начинаютъ относиться къ украинскому движенію съ сочувствіемъ. Добролюбовъ, Чернышевскій, Тургеневъ и др. какъ въ личныхъ, такъ и въ литературныхъ отношеніяхъ къ украинцамъ стоятъ уже на совершенно иной почвѣ, чѣмъ Бѣлинскій.

Эпоха великихъ реформъ, обновившая русское общество и возбудившая сильный подъемъ общественныхъ силъ, не прошла безслѣдно и для украинцевъ. Событія предыдущаго періода—раз-

*) Чалый—Жизнь и произведенія Т. Шевченка, Кіевъ, 1882, стр. 136 Переводъ: „Парусъ“ въ своей программѣ перечислилъ всѣ народности, забытой оказалась только наша, потому что, видите ли, мы слишкомъ близкіе родственники: по пословицѣ—„як наш батько горів, так іх грівся!“ Не пристаю мнѣ давать свои стихи подѣ „Парусъ“ еще и по той причинѣ, что его надуваетъ чело́вѣкъ, защищавшій князя, любителя розги“.

громъ Кирилло-Мефодіевскаго братства, арестъ и ссылка Шевченка, Кулиша и другихъ руководителей молодого движенія—отозвались на дѣлѣ весьма плачевно; послѣдствіемъ ихъ былъ первый десятилѣтній антрактъ въ исторіи украинскаго движенія. Періодъ съ 1847 по 1856 г. былъ самымъ бесплоднымъ временемъ,—впрочемъ, не для однихъ только украинцевъ. Но 60-е годы принесли облегченіе и для нихъ. Впервые выступаютъ они, какъ партія, имѣющая свою программу и свой органъ печати, каковымъ была „Основа“; новая струя обозначается и въ литературѣ, освѣживъ послѣднюю произведеніями, получившими общее признаніе со стороны русскаго общества, на что указываетъ хотя бы фактъ перевода украинскихъ разсказовъ Марка Вовчка на русскій языкъ Тургеневымъ, или восторженный отзывъ о нихъ Добролюбова. Подъ вліяніемъ освободительныхъ и просвѣтительныхъ идей того времени, украинцы особенное вниманіе обратили на просвѣщеніе народа, дѣйствуя рука объ руку, въ одномъ направленіи съ лучшими представителями русскаго общества *). На Украинѣ, въ Кіевѣ, Полтавѣ и другихъ городахъ, открываются первыя въ Россіи воскресныя школы, въ которыхъ преподаваніе велось на родномъ языкѣ; издаются народныя украинскія книги, составляются учебники и т. п. Даже правительство въ то время признавало необходимымъ обращаться къ украинскому народу съ законодательными актами на его родномъ языкѣ. Положеніе 19 февраля было переведено, „съ Высочайшаго соизволенія“, Кулишемъ на украинскій языкъ и уже начато печатаніемъ; къ прискорбію, это огромнаго практическаго и принципіальнаго значенія дѣло не было доведено до благополучнаго конца, благодаря какимъ-то недоразумѣніямъ между переводчикомъ и правительст-

*) Въ 1862 г. С.-Петербургскій Комитетъ грамотности возбуждалъ ходатайство о введеніи преподаванія въ народныхъ школахъ на Украинѣ—на украинскомъ же языкѣ. Тотъ же комитетъ издалъ „Списокъ русскихъ и *малороссійскихъ* книгъ, одобренныхъ для народныхъ учителей и школъ и для народнаго чтенія“ (1862), и въ этомъ списокѣ число рекомендуемыхъ украинскихъ книгъ равнялось числу русскихъ; впрочемъ, изъ 5-го изданія „Списка“, вышедшаго въ 1867 г., когда направленіе Комитета и по данному вопросу, и вообще измѣнилось, украинскія книги уже исключены (эти свѣдѣнія заимствую изъ крайне рѣдкой книги г. Протопопова „Исторія С.-Петербургскаго Комитета грамотности“, Спб., 1898, стр. 79—84, 276—283). Съ другой стороны и въ отношеніяхъ къ различнаго рода явленіямъ литературы и жизни также замѣчается солидарность между русскими и украинскими дѣятелями. Припомнимъ одинъ характерный эпизодъ. Когда въ 1858 г. по поводу юдофобскихъ выходокъ петербургской „Иллюстраціи“ русскіе писатели выступили съ коллективнымъ протестомъ противъ недостойной печатнаго слова травли евреевъ, то этотъ протестъ былъ поддержанъ и украинскими писателями, напечатанными въ либеральномъ тогда „Русскомъ Вѣстникѣ“ соотвѣтственное заявленіе и съ своей стороны. Протестъ подписанъ Костомаровымъ, Кулишемъ, Маркомъ Вовчкомъ, Номисомъ и Шевченкомъ.

венной комиссіей, и отъ украинскаго перевода положенія уцѣлѣли только корректурные листы.

Но медовому мѣсяцу украинскаго движенія въ Россіи суждено было имѣть весьма кратковременное существованіе. Уже въ 1862 г. прекращается „Основа“, — исторія ея еще не написана, но есть основанія думать, что на прекращеніе ея имѣли вліяніе и общія неблагопріятныя вѣянія, присутствіе которыхъ уже тогда смутно чувствовалось въ воздухѣ; въ 1863 г. запрещена газета „Черниговскій Листокъ“, приближающаяся по своему направленію и программѣ къ „Основѣ“, при чемъ редакторъ „Ч. Листка“, известный украинскій поэтъ Глѣбовъ, высланъ административнымъ порядкомъ изъ Чернигова. Воскресныя школы начинаютъ быстро таять, возбуждѣвъ подозрѣнія въ неблагонадежности; изданіе на украинскомъ языкѣ учебниковъ и другихъ книгъ для народнаго чтенія затрудняется; многіе украинцы (Чубинскій, Конисскій, Стронинъ и др.) подвергаются ссылкѣ. Не доставало еще вначалѣ только ярлыка, который бы можно было наклеить на украинское движеніе; не было еще слова, которымъ бы формулировались скрытыя пока подозрѣнія и обвиненія, но скоро и это настоящее слово было найдено—„сепаратизмъ“, „польская интрига“. Всемогущій тогда Катковъ, онъ же и изобрѣтатель магическихъ словъ, облачается въ тогу спасителя находящагося въ опасности отечества и грознаго изобличителя „коварной іезуитской интриги“, считая необходимымъ принести даже публичное покаяніе въ томъ, что самъ въ нѣкоторомъ родѣ содѣйствовалъ ей „послабленіемъ“ *).

Съ этого именно момента вокругъ украинскаго движенія и начинается накопляться и нарастать мало по малу та куча недоразумѣній, та путаница понятій, которая остается нераспутанной и до настоящаго времени. Плодомъ этой путаницы и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма характернымъ образомъ ея является слѣдующее отношеніе министра внутреннихъ дѣлъ, извѣстнаго Валуева, которое, въ виду его общественнаго интереса, приводимъ цѣликомъ.

„По Высочайшему повелѣнію. Секретно. Отъ министра внутреннихъ дѣлъ министру народнаго просвѣщенія. 18 іюля 1863 г., № 364.

„Давно уже идутъ споры въ нашей печати о возможности существованія самостоятельной малороссійской литературы. Поводомъ къ этимъ спорамъ служили произведенія нѣкоторыхъ писателей, отличавшихся болѣе или менѣе замѣчательнымъ талантомъ или своею оригинальностью. Въ послѣднее время вопросъ о малороссійской литературѣ получилъ иной характеръ, вслѣдствіе обстоятельствъ чисто политическихъ, не имѣющихъ никакого отношенія къ интересамъ собственно литературнымъ. Прежнія про-

*) Мих. Лемке—Эпоха цензурныхъ реформъ 1859—1865 годовъ. Спб., 1904. Стр. 301.

изведенія на малороссійскомъ языкѣ имѣли въ виду лишь образованные классы южной Россіи, нынѣ же приверженцы малороссійской народности обратили свои виды на массу непроевѣщенную, и тѣ изъ нихъ, которые стремятся къ осуществленію своихъ политическихъ замысловъ, принялись, подъ предлогомъ распространенія грамотности и просвѣщенія, за изданіе книгъ для первоначальнаго чтенія, букварей, грамматикъ, географій и т. п. Въ числѣ подобныхъ дѣятелей находилось множество лицъ, о преступныхъ дѣйствіяхъ которыхъ производилось слѣдственное дѣло въ особой комиссіи.

Въ С.-Петербургѣ даже собираются пожертвованія для изданія дешевыхъ книгъ на южно-русскомъ нарѣчій. Многія изъ этихъ книгъ поступили уже на разсмотрѣніе въ с.-петербургскій цензурный комитетъ. Не малое число такихъ же книгъ представляется и въ кіевскій цензурный комитетъ. Сей послѣдній въ особенности затрудняется пропускомъ упомянутыхъ изданій, имѣя въ виду слѣдующія обстоятельства: обученіе во всѣхъ безъ изъятія училищахъ производится на обще-русскомъ языкѣ и употребленіе въ училищахъ малороссійскаго языка нигдѣ не допущено; самый вопросъ о пользѣ и возможности употребленія въ школахъ этого нарѣчія не только не рѣшенъ, но даже возбужденіе этого вопроса принято большинствомъ малороссіянъ съ негодованіемъ, часто высказывающимся въ печати. Они весьма основательно доказываютъ, что никакого особеннаго малороссійскаго языка не было, нѣтъ и быть не можетъ, и что нарѣчіе ихъ, употребляемое простонародіемъ, есть тотъ же русскій языкъ, только испорченный вліяніемъ на него Польши; что обще-русскій языкъ также понятенъ для малороссовъ, какъ и для великороссіянъ, и даже гораздо понятнѣе, чѣмъ теперь сочиняемый для нихъ нѣкоторыми малороссами, въ особенности поляками, такъ называемый, украинскій языкъ. Лицъ того кружка, который усиливается доказывать противное, большинство самыхъ малороссовъ упрекаетъ въ сепаратистскихъ замыслахъ, враждебныхъ къ Россіи и гибельныхъ для Малороссіи.

„Явленіе это тѣмъ болѣе прискорбно и заслуживаетъ вниманія, что оно совпадаетъ съ политическими замыслами поляковъ и едва ли не имъ обязано своимъ происхожденіемъ, судя по рукописямъ, поступавшимъ въ цензуру, и по тому, что большая часть малороссійскихъ сочиненій дѣйствительно поступаетъ отъ поляковъ. Наконецъ, и кіевскій генералъ-губернаторъ находитъ опаснымъ и вреднымъ выпускъ въ свѣтъ разсматриваемаго нынѣ духовною цензурою перевода на малороссійскій языкъ Новаго Завѣта.

„Принимая во вниманіе, съ одной стороны, настоящее тревожное положеніе общества, волнуемаго политическими событіями, а съ другой стороны имѣя въ виду, что вопросъ объ обученіи гра-

мѣстности на мѣстныхъ нарѣчіяхъ не получили еще окончательнаго разрѣшенія въ законодательномъ порядкѣ, министръ внутреннихъ дѣлъ призналъ необходимымъ, впредь до соглашенія съ министромъ народнаго просвѣщенія, оберъ-прокуроромъ св. синода и шефомъ жандармовъ относительно печатанія книгъ на малороссійскомъ языкѣ, сдѣлать по цензурному вѣдомству распоряженіе, чтобы къ печати дозволялись только такія произведенія на этомъ языкѣ, которыя принадлежатъ къ области изящной литературы; пропускомъ же книгъ на малороссійскомъ языкѣ какъ духовнаго содержанія, такъ учебныхъ и вообще назначаемыхъ для первоначальнаго чтенія народа, приостановиться. О распоряженіи этомъ было повергаемо на высочайшее государя императора воззрѣніе и его величеству благоугодно было удостоить оное монаршаго одобренія.

„Сообщая вашему превосходительству о вышеизложенномъ, имѣю честь покорнѣйше просить васъ, м. г., почтить меня заключеніемъ о пользѣ и необходимости дозволенія къ печатанію книгъ на малороссійскомъ нарѣчій, предназначенныхъ для обученія простолюдию.

„Къ сему неизлишнимъ считаю присовокупить, что по вопросу этому, подлежащему обсужденію въ установленномъ порядкѣ, я нынѣ же вошелъ въ сношеніе съ генералъ-адъютантомъ княземъ Долгоруковымъ и оберъ-прокуроромъ св. синода.

„Не лишнимъ считаю присовокупить, что кievскій цензурный комитетъ вошелъ ко мнѣ съ представленіемъ, въ которомъ указываетъ на необходимость принятія мѣръ противъ систематическаго наплыва изданій на малороссійскомъ нарѣчій“ *).

Приведеннымъ распоряженіемъ, за которымъ ясно видна грозная фигура Каткова, вопросъ объ украинскомъ движеніи переносился исключительно на политическую почву. Для большаго впечатлѣнія, но совсѣмъ не кстати, къ нему пристегнута была и пресловутая „польская интрига“,—говорю „не кстати“ потому, что именно польскіе землевладѣльцы на Украинѣ особенно были встревожены новымъ движеніемъ, проникательно усматривая въ немъ „гайдамаччину“, и даже посылали кому слѣдуетъ доносы на „хлопомановъ“ **). Точно такимъ же образомъ, т. е. однимъ взмахомъ канцелярскаго пера разрѣшенъ былъ и научный вопросъ о происхожденіи

*) Цитирую по книгѣ г. Лемке „Эпоха цензурныхъ реформъ 1859—1865 годовъ“, стр. 302—304. Послѣдній абзацъ приписанъ собственноручно Валуевымъ послѣ подписи.

**) Въ 1861 г., напр., послѣдовалъ цѣлый рядъ доносовъ и жалобъ польскихъ помѣщиковъ на украинскихъ писателей; были даже предложенія скрыть могилу Шевченка подъ Каневомъ, а тѣло его перенести въ другое мѣсто (см. статью г. Билика „Тревога надъ свѣжей могилой Шевченка“ въ „Кievской Старинѣ“, 1886 г., апрѣль). Любопытно, что польскіе Катковы въ Галичинѣ приписываютъ возникновеніе украинскаго національнаго движенія „московской интригѣ“ и „московскимъ рублямъ“!..

и развитія „такъ называемой“ украинской рѣчи, „сочиняемой въ особенностяхъ поляками“... Но не смотря на свою ясную до очевидности внутреннюю несостоятельность, распоряженіе Валуева осталось на долго руководящимъ актомъ въ отношеніяхъ правящихъ сферъ къ украинской литературѣ. Не помогло даже и то обстоятельство, что противъ запретительныхъ мѣръ высказался тогдашній руководитель министерства народнаго просвѣщенія Головинъ, стоя исключительно на основѣ педагогическихъ и практическихъ соображеній. „Сущность сочиненія, мысли, изложенныя въ ономъ,—писалъ Головинъ въ своей отвѣтной запискѣ, — и вообще ученіе, которое оно распространяетъ, а отнюдь не языкъ или нарѣчіе, на которомъ написано, составляютъ основаніе къ запрещенію или дозволенію той или другой книги, и стараніе литераторовъ обработать грамматически каждый языкъ или нарѣчіе и для сего писать на немъ и печатать — весьма полезно въ видахъ народнаго просвѣщенія и заслуживаетъ полнаго уваженія. Посему министерство народнаго просвѣщенія обязано поощрять и содѣйствовать подобному старанію“. Повторивъ снова мысль о томъ, что запрещать книги можно лишь за мысли, но не за языкъ и совершенно основательно посовѣтовавъ жаловавшемуся на наплывъ украинскихъ сочиненій кievскому цензурному комитету просить... объ усиленіи личнаго состава цензоровъ, Головинъ заключаетъ свое мнѣніе такъ: „требованіе же комитета, чтобы приняты были мѣры противъ систематическаго наплыва изданій на малороссійскомъ языкѣ, я нахожу совершенно неосновательнымъ *)).

Тѣмъ не менѣе „совершенно неосновательное“ требованіе было исполнено и это отразилось самымъ плачевнымъ образомъ на молодомъ, еще не успѣвшемъ окрѣпнуть движеніи. Первымъ послѣдствіемъ распоряженія Валуева было воспрещеніе всѣхъ произведеній на украинскомъ языкѣ, не относившихся „къ области изящной литературы“, какъ, напр., готовые учебники по математикѣ, географіи, физикѣ, космографіи и другія научно-популярныя сочиненія. Къ издателямъ и авторамъ ихъ, „разсудку вопреки, на переekorъ стихійамъ“, предъявлено было обвиненіе, что они заботятся о букваряхъ, граматкахъ и географіяхъ лишь для видимости, „подъ предлогомъ распространенія грамотности и просвѣщенія“, а на самомъ дѣлѣ этими невинными заглавіями прикрываютъ самыя злокозненныя цѣли, подготавливая въ грамматической формѣ грозная средства для потрясенія основъ государственности... Неудивительно, что, благодаря такой проицательности, сумѣвшей усмотрѣть интригу въ букварѣ и математикѣ, число украинскихъ книгъ послѣ 1863 года сразу па-

*) М. Лемке, Эпоха цензурныхъ реформъ, стр. 305. Курсивы принадлежатъ подлиннику.

дасть до смѣшной по своей ничтожности цифры, при чемъ были годы, какъ, напр., 1866, когда не появилось ни одной украинской книжки *). „Фактически, — говоритъ г. Лемке въ своей книгѣ, — предѣлы, предоставленные Валуевымъ малорусской литературѣ, такъ сузились, что положительно не оставалось мѣста здоровой народной книгѣ“ **). Особенно замѣчательна судьба перевода на украинскій языкъ Новаго Завѣта, о которомъ упоминается и въ отношеніи Валуева. Разсматривавшая переводъ духовная коммиссія аттестовала его, какъ „вѣрный подлиннику и выполненный хорошо“; академики Востоковъ и Срезневскій въ своемъ отзывѣ, Академія наукъ писали, между прочимъ: „Евангеліе, переведенное на малороссійское нарѣчіе Морачевскимъ, есть въ высшей степени трудъ замѣчательный и полезный. Малороссійское нарѣчіе въ немъ, можно сказать, блистательно выдерживаетъ испытаніе этого рода и уничтожаетъ всякое сомнѣніе, многими питаемое, въ возможности выразить возвышенныя чувства сердца. Нѣтъ сомнѣнія, что переводъ Евангелія Морачевского долженъ сдѣлать эпоху въ литературномъ образованіи малороссійскаго нарѣчія“ *). Наконецъ, и министръ народнаго просвѣщенія Головинъ съ своей стороны, объяснивъ приведенный въ отношеніи Валуева отрицательный отзывъ кievскаго генераль-губернатора „какою-то неопытною канцелярскою ошибкою“, высказывается за разрѣшеніе перевода: „Духовное вѣдомство имѣетъ священную обязанность распространять Новый Завѣтъ между всѣми разноплеменными жителями имперіи на всѣхъ языкахъ, и истиннымъ праздникомъ нашей церкви былъ бы тотъ день, когда мы могли бы сказать, что въ каждомъ домѣ, избѣ, хатѣ и юртѣ находится экземпляръ Евангелія на языкѣ, понятномъ обитателямъ. Министерство народнаго просвѣщенія, съ своей стороны, всемѣрно старается о распространеніи въ своихъ училищахъ, и черезъ нихъ въ народѣ, книгъ духовнаго содержанія, печатаетъ ихъ въ числѣ десятковъ тысячъ экземпляровъ, и въ ряду этихъ книгъ Новый Завѣтъ на мѣстномъ нарѣчіи долженъ бы занимать первое мѣсто. Посему малороссійскій переводъ Евангелія, исправленный духовною цензурою, составитъ одно изъ прекраснѣйшихъ дѣлъ, которыми ознаменовано нынѣшнее царствованіе, и министерство народнаго просвѣщенія должно желать этому дѣлу скорѣйшаго и полного успѣха“ ****). Къ этимъ отзывамъ остается лишь добавить, что аттестованный учеными

*) См. Комарова М. „Бібліографичний покажчик нової української літератури“ при альманахѣ „Рада“ (Кієвъ, 1883), стр. 469, и Протопопова „Історія С.-Петербургскаго Комитета грамотности“, стр. 282.

**) Лемке. Эпоха цензурныхъ реформъ, стр. 306.

***) Огоновскій проф. Історія литературы рускои, Львовъ, 1889, ч. II, отд. I, стр. 136.

****) Лемке Эпоха цензурныхъ реформъ, стр. 305 — 306.

академиками, какъ эпохальный, а кievскимъ генераль-губернаторомъ, какъ „опасный и вредный“ — переводъ Морачевского до сихъ поръ остается въ рукописи. Мало того, съ 60-хъ годовъ и до послѣдняго времени неоднократно толкались въ двери подлежащихъ вѣдомствъ и другіе переводчики Св. Писанія на украинскій языкъ (Кулишъ, г.г. Лободовскій и Пулюй), но двери эти продолжаютъ оставаться наглухо закрытыми. Такимъ образомъ, при существованіи переводовъ Евангелія на языкахъ всѣхъ народовъ Россіи, распространеніе его на одномъ лишь украинскомъ и въ XX столѣтіи по прежнему считается кому-то опаснымъ и для кого-то вреднымъ, а „одно изъ прекраснѣйшихъ дѣлъ“, по выраженію Головинна, все еще ожидаетъ своего разрѣшенія...

III.

Исключительныя обстоятельства того тревожнаго времени и самый характеръ украинскаго національнаго движенія, находившагося тогда въ первыхъ фазахъ своего развитія, много способствовали тому, что валуевское распоряженіе сопровождалось видимымъ „успѣхомъ“. Не забудемъ, что, съ одной стороны, то былъ моментъ начала глухой реакціи, на время потерявшей было свою силу, но теперь вновь поднимавшей голову, — моментъ, когда съ освободительными и просвѣтительными теченіями весьма удобно было вести борьбу, особенно, если прикрыть ихъ покрываломъ „сепаратизма“, „польской интриги“ или чего-нибудь другого въ томъ же родѣ. Лучшая часть русскаго общества направляла всѣ свои усилія противъ надвигавшейся реакціи; силы шли на эту борьбу и потому фактъ запрещенія какихъ-то тамъ учебниковъ, не смотря на всю его вопіющую несправедливость, казался слишкомъ мелкимъ, имѣющимъ исключительно мѣстное значеніе, не заслуживающимъ серьезнаго вниманія. Съ другой стороны, часть общества, непосредственно заинтересованная въ данномъ вопросѣ и отдававшая себѣ ясный отчетъ во всѣхъ послѣдствіяхъ такой его постановки, была слишкомъ бѣдна количественно, чтобы противопоставить запрещенію широко организованную положительную дѣятельность, даже въ дозволенныхъ предѣлахъ. Собственно говоря, въ началѣ 60-хъ годовъ украинской интеллигенціи еще не существовало; были отдѣльные интеллигенты или, въ лучшемъ случаѣ, небольшіе кружки лицъ, уяснившихъ себѣ все значеніе украинскаго національнаго движенія, но они были бессильны создать широкое общественное мнѣніе по данному вопросу, такъ какъ въ массѣ общество все-таки оставалось довольно равнодушнымъ къ нему и слабо реагировало на совершившійся фактъ. Указанными условіями и объясняется то обстоятельство, что ограничительное распоряженіе 1863 года оставило такой

глубокій слѣдъ въ исторіи украинской общественности, породивъ ту пустую дыру, которая можетъ быть названа вторымъ антрактомъ въ развитіи украинскаго движенія.

Антрактъ продолжался до начала 70-хъ годовъ, которое ознаменовалось постепеннымъ усиленіемъ украинскаго движенія, при чемъ центръ его изъ Петербурга, какъ было въ 60 хъ годахъ, переносится на Украину, преимущественно въ Кіевъ. Валуевское распоряженіе, отнявъ средства работать надъ просвѣщеніемъ народа, оставило всетаки нѣкоторую возможность вообще научной работы, которая, не задаваясь непосредственными практическими цѣлями, подводила бы итоги предыдущимъ изысканіямъ въ области украинскаго вопроса и искала бы новыхъ данныхъ для его обоснованія и справедливаго практическаго разрѣшенія. Въ этомъ смыслѣ 70-е годы представляютъ весьма важный моментъ въ исторіи украинскаго движенія. Въ 1872 г. состоялось въ Кіевѣ открытіе Юго-западнаго отдѣла Императорскаго русскаго географическаго общества, кратковременное существованіе котораго ознаменовалось напряженной и весьма плодотворной дѣятельностью по всестороннему изученію края, населеннаго украинскими народами. Немного раньше (1869—1870 г.г.) была совершена знаменитая этнографическая экспедиція Чубинскаго, по отзыву историка, составившая „одно изъ замѣчательнѣйшихъ предпріятій, какія только были сдѣланы въ нашей этнографіи“ *). Въ Кіевѣ сосредоточивается рядъ научныхъ силъ, какъ проф. В. Б. Антоновичъ, Драгомановъ, П. И. Житецкій, Кистяковский, К. И. Михальчукъ, А. А. Русовъ, Чубинскій и мн. др., соединившихъ крупныя ученныя заслуги и широту воззрѣній съ весьма опредѣленнымъ направленіемъ въ области украинскаго національнаго движенія. Въостѣ съ тѣмъ и на арену художественнаго творчества выступаютъ лица, опять таки пріобрѣвшія повсемѣстную почетную извѣстность своими крупными дарованіями; изъ нихъ назовемъ И. С. Левицкаго, Н. В. Лисенка, Панаса Мирного и недавно скончавшагося Старickaго. Въ области собственно художественнаго творчества эти дѣятели раздвигаютъ и расширяютъ рамки украинской литературы, возвышая ее со степени исключительно простонародной литературы до высшихъ проявленій художественнаго творчества, но свято сохраняя духъ прогрессивнаго демократизма, завѣщанный украинской литературѣ Шевченкомъ. Жизнь расширила даже рамки въ той спеціальной области, которой коснулось ограничительное распоряженіе 1863 г.: популярныя произведенія историческаго, юридическаго и естественно-научнаго содержанія, предназначенныя для народнаго чтенія, просачиваются сквозь щели Валуевскаго распоряженія и выходятъ въ Кіевѣ въ гораздо большемъ числѣ, чѣмъ раньше въ Пе-

*) Пыпинъ. Исторія русской этнографіи. Слб. 1891. Т. III, стр. 349.

тербургъ. Казалось, что за фактической отрицательной ограниченной украинский вопросъ будетъ разрѣшенъ дружными усилиями украинскихъ ученыхъ, художниковъ и популяризаторовъ въ единственно возможномъ и желательномъ направленіи; казалось, что плодотворность украинскаго національнаго движенія въ области изученія и удовлетворенія народныхъ нуждъ уже практическимъ путемъ выяснена и доказана, а вмѣстѣ съ тѣмъ устранена и возможность примѣненія какихъ бы то ни было ограничительныхъ мѣропріятій въ будущемъ. Но надъ головами участниковъ движенія уже скопились грозныя тучи, не замедлившія разразиться новымъ ударомъ. Оживленіе украинскаго движенія, хотя бы въ формѣ научной и литературной дѣятельности, вызвало оживленіе и среди другихъ общественныхъ элементовъ, которые характеризуются своею внутреннею импотенціею, обладаютъ за то громадною внѣшнею силою при отсутствіи правильно обеспеченныхъ формъ общественной жизни и правового порядка. Не чувствуя себя въ силахъ бороться съ ненавистными теченіями открыто, или понеся въ открытой борьбѣ поражение, эти элементы всегда прибѣгаютъ, въ качествѣ подсобныхъ способовъ, къ помощи постороннихъ вѣдомствъ, пользуясь доношеніями, инсинуаціями, закулисными вліяніями, напештываніемъ, кому слѣдуетъ, о неблагонадежности и тому подобными средствами. Такъ было и въ данномъ случаѣ. Змѣиный шипъ по поводу „укаинофильской пропаганды“ все усиливался, сосредоточиваясь, по обыкновенію, въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ“ и нѣкоторыхъ специальныхъ органахъ, въ родѣ курьезной памяти „Вѣстника Юго-Западной и Западной Россіи“ Говорскаго, пока въ 1876 году не увѣнчался полнымъ успѣхомъ. Въ этомъ году „временно“ былъ закрытъ Юго западный отдѣлъ р. имп. географическаго общества, уже не возобновившійся, не смотря на многократныя по этому поводу ходатайства; особенно энергичныя лица, прикосновенныя къ отдѣлу, были взяты на замѣчаніе, или принуждены даже совсѣмъ оставить Кіевъ (Чубинскій, напр., долженъ былъ переселиться въ Петербургъ, Драгомановъ — уѣхать за границу). Одновременно произведено было и увѣнчаніе зданія въ намѣченномъ направленіи, воплотившееся въ форму слѣдующаго краткаго, но многозначительнаго документа, пользующагося весьма большою популярностью за границей *), но мало извѣстнаго въ Россіи.

*) Недавно онъ возбудилъ, напр., оживленныя пренія въ французскомъ парламентѣ по запросу одного изъ депутатовъ. Въ Вѣнѣ съ прошлаго года издается на нѣмецкомъ языкѣ специальный журналъ „Ruthenische Revue“, поставившій своей задачей ознакомленіе западно-европейской публики съ украинскимъ движеніемъ и вызвавшій большой интересъ среди европейскихъ ученыхъ, писателей и политиковъ. Интересная анкета по поводу ограничительнаго распоряженія 1876 г., предпринятая редакціей „Ruthenische Revue“, дала уже цѣлый рядъ, опубликованныхъ въ названномъ журналѣ,

„Государь Императоръ 30 минуваго мая высочайше повелѣть соизволилъ:

1. Не допускать ввоза въ предѣлы имперіи безъ особаго разрѣшенія главнаго управленія по дѣламъ печати какихъ бы то ни было книгъ и брошюръ, издаваемыхъ на малороссійскомъ нарѣчій.

2. Печатаніе и изданіе въ имперіи оригинальных произведеній и переводовъ на томъ же нарѣчій воспретить, за исключеніемъ лишь:

а) историческихъ документовъ и памятниковъ и

б) произведеній изящной словесности,

но съ тѣмъ, чтобы при печатаніи историческихъ памятниковъ безусловно удерживалось правописаніе подлинниковъ; въ произведеніяхъ же изящной словесности не было допускаемо никакихъ отступленій отъ общепринятаго русскаго правописанія и чтобы разрѣшеніе на печатаніе произведеній изящной словесности давалось не иначе, какъ по разсмотрѣніи въ главномъ управленіи по дѣламъ печати,—и

3) Воспретить различныя сценическія представленія и чтенія на малорусскомъ языкѣ, а также печатаніе на таковомъ же текстѣ къ музыкальнымъ нотамъ “*).

Читатель навѣрное помнитъ Щедринскую шуточную „коммисію объ искорененіи“, которая, съ Божіей помощью искоренивъ „и то, что служитъ начальству огорченіемъ, и то, что приноситъ ему утѣшеніе“, пришла, въ концѣ концовъ, къ заключенію, что ничто не будетъ надлежащимъ образомъ искоренено, покуда не будетъ искоренена... литература“ („Круглый годъ“). Конечно, говоря вообще, такое заключеніе въ своемъ буквальномъ видѣ есть преувеличеніе, геніальная каррикатура. Но то, что для литературы вообще могло осуществиться лишь въ геніальной фантазіи сатирика, то для украинской литературы свершилось въ дѣйствительности. Въ самомъ дѣлѣ, что иное представляетъ собою распоряженіе 1876 года, какъ не попытку полнаго, совершеннаго искорененія украинской литературы, какъ не осужденіе ея на смертную казнь? Поставить литературу подобныя рамки—значитъ лишить ее всякаго смысла и значенія, свести къ нулю ея вліяніе, такъ какъ съ прекращеніемъ тѣснаго взаимодѣйствія между литературой и жизнью будутъ обрѣзаны соединяющія ихъ нити, по которымъ совершается обмѣнъ живительныхъ соковъ, питающихъ и поддерживающихъ литературу. Развѣ можетъ существовать — разумѣется, существо-

отвѣтовъ, среди которыхъ имѣются цѣнныя мнѣнія Момзена, Бьернстерна-Бьернисона, Чэмберлена (историка), проф. Броунинга, Леруа-Болье и многихъ другихъ извѣстныхъ дѣятелей.

*) Груше вскій, проф. Очеркъ исторіи украинскаго народа, стр. 354.

вать плодотворно, а не влечить лишь жалкое существование—литература, осужденная питаться, выражаясь изысканным термином приведеннаго распоряженія, одними произведеніями „изыскаемой словесности“, но лишенная уже права, напр., касаться этих произведеній въ критическихъ статьяхъ, такъ какъ послѣднія мудрено, конечно, подвести подъ рубрику „изыскаемой словесности“? Ограничить литературу предѣлами „изыскаемой словесности“—все равно, что предоставить человѣку питаться исключительно пирожнымъ, бланманже и прочими десертными деликатессами, отнявъ у него кусокъ обыкновеннаго питательнаго хлѣба. Съ изданіемъ подобныхъ ограниченій уже само собою устраняется примѣненіе крайнихъ мѣръ—въ родѣ тѣхъ, какія предлагалъ одинъ изъ членовъ Шедринской комиссіи: „одну часть произведеній литературы сжечь рукою палача, а другую потопить въ рѣкѣ, литераторовъ же водворить въ уѣздный городъ Мезень“ („Круглый годъ“),—такъ какъ ни сожигать, ни топить, ни водворять уже будетъ, по всей вѣроятности, нечего и некого. Въ дѣятельности почти cadaго изъ украинскихъ писателей мы найдемъ перерывы, свидѣтельствующіе о томъ, что никакая человѣческая энергія не въ состояніи выдержать того положенія, въ которое поставило украинскую литературу распоряженіе 1876 г. Чтобы не быть голословнымъ, я приведу лишь одинъ примѣръ, заимствованный изъ автобіографіи небезызвѣстнаго украинскаго поэта Щоголева. Упомянувъ о мытарствахъ, испытанныхъ имъ на зарѣ своей литературной дѣятельности и заставившихъ его „сломать“ свое перо, Щоголевъ затѣмъ продолжаетъ: „Старшіе изъ моихъ дѣтей—дочь и сынъ высокаго художественнаго закала и глубокой души—живя лѣтомъ на дачахъ среди простонародья, знали разговорный малорусскій языкъ и стали просить меня *писать для нихъ. Я и писалъ имъ до 1878 года*“. Затѣмъ было не до того: дочь и сынъ Щоголева почти одновременно умираютъ послѣ продолжительной болѣзни, и поэтъ замѣчаетъ: „*писать было не для кого, и я опять ничего не написалъ въ теченіе почти 4-хъ лѣтъ*“ и т. д. *). Приведенная нами „интимная исповѣдь“ незауряднаго поэта съ виду весьма спокойна, но я не знаю словъ съ болѣе страшнымъ для писателя значеніемъ, какъ эти спокойныя, скупыя на подробности замѣчанія. *Писать исключительно для своихъ дѣтей и, когда этихъ единственныхъ читателей не стало, поставить крестъ надъ своею литературною дѣятельностью*—это ли не ужасъ, это ли не трагизмъ для писателя? Не кажется ли, что это лишь сонъ, невозможный ни въ какой дѣйствительности? Но, къ сожалѣнію, подобные случаи не были сномъ и даже не совсѣмъ исключительнымъ явленіемъ; и у сошедшихъ со сцены, и у нынѣ дѣйствующихъ еще украинскихъ писателей найдется много произве-

*) „Кіевская Старина“, 1904 г., кн. X, отд. II, стр. 9.

деній, написанныхъ „для себя“ и по написаніи запрятанныхъ въ ящикъ письменнаго стола, съ слабой надеждой, что они черезъ десятокъ—другой лѣтъ дойдутъ таки до читателя *). Словомъ, самая пылкая фантазія не могла бы придумать большаго, чѣмъ то, что совершается въ дѣйствительности, благодаря распоряженію 1876 г. Факты гоненій на украинскую рѣчь, практикуемыхъ въ особенно широкихъ размѣрахъ нашими школами различныхъ вѣдомствъ, родовъ, видовъ и типовъ, являются настолько обычными, что перестали уже обращать на себя вниманіе, какъ вполне нормальное явленіе. Опять приведу лишь одинъ примѣръ, относящійся ко времени всеобщей переписи 1897 г. Большое сомнѣніе въ переписныхъ листкахъ возбудила тогда графа о родномъ языкѣ и заполнялась она по тому же методу, по какому сочиняеть статистику волостной писарь въ известной драмѣ г. Карпенка-Караго „Бурлака“. Въ одномъ изъ среднихъ учебныхъ заведеній въ Кіевѣ ученики начали было записывать роднымъ языкомъ украинскій, но бдительное начальство быстро положило конецъ такому неумѣстному обнаруженію своей національности. На возраженія учениковъ, что они говорятъ по-украински, съ дѣтства слышать эту рѣчь, впитали ее съ молокомъ матери и потому считаютъ ее для себя родной—послѣдовалъ характерный отвѣтъ: „вы воспитываетесь въ русскомъ учебномъ заведеніи и потому роднымъ языкомъ вашимъ *долженъ быть* русскій“. На ряду съ этимъ, нѣсколькимъ болгарамъ и сербамъ, хотя они воспитывались въ томъ же русскомъ заведеніи, разрѣшено было заполнить графу о родномъ языкѣ сообразно ихъ желанію. Благодаря такой бдительности начальства, понятія не имѣвшаго о цѣляхъ переписи, часто получалось нѣчто въ высокой степени уродливое, когда, напр., изъ двухъ родныхъ братьевъ одинъ записывалъ роднымъ языкомъ украинскій, а другой „долженъ былъ“ записать русскій. Зная практику, можно съ увѣренностью сказать, что приведенный случай принудительнаго заполнения графы о родномъ языкѣ былъ на Украинѣ не исключительнымъ, а типическимъ и что дѣло всецѣло зависѣло отъ личныхъ вкусовъ и взглядовъ лица, завѣдывавшаго даннымъ переписнымъ участкомъ. Но возвращаясь къ прерванному изложенію дальнѣйшихъ судебъ украинской литературы.

*) Напечатанная въ 1903 г. „Кіевской Стариной“ повѣсть г.г. Мырного и Билыка „Пропаша сыла“ написана, какъ видно изъ редакціонной помѣтки, еще въ 1875 г.; другая повѣсть тѣхъ же авторовъ „За водою“, написанная въ 1883 г., до сихъ поръ не могла быть напечатанной; замѣчательное произведение Свидницкаго „Люборацьки“, появившееся въ Кіевѣ въ 1901 г., закончено авторомъ въ 1862 г. и т. д., и т. д. Подробный мартирологъ погибшихъ писателей и ихъ произведеній занялъ бы слишкомъ много мѣста.

IV.

Единственной формой, какую оставило украинской литературѣ распоряженіе 1876 года, и до сихъ поръ остается беллетристическаѣ. Въ этой формѣ должно высказываться все, что занимаетъ, интересуетъ и волнуетъ украинскаго писателя. Не говоря уже о томъ, насколько вообще является узкой въ данномъ случаѣ всякая напередъ опредѣленная, строго указанная форма, было бы большимъ заблужденіемъ полагать, что, по крайней мѣрѣ, беллетристика пользуется относительной свободой и получаетъ право болѣе или менѣе безпрепятственнаго обращенія въ публикѣ. Выше указаны были случаи, изъ которыхъ видно, что даже беллетристическимъ произведеніямъ приходится десятками лѣтъ выжидать подѣ спудомъ, выжидая благоприятнаго момента, когда, наконецъ, станетъ возможнымъ ихъ появленіе въ печати. Вообще же говоря, при примѣненіи распоряженія 1876 г. на практикѣ, сейчасъ же обозначились двѣ прямо противоположныя тенденціи. Съ одной стороны—цензурное вѣдомство пользовалось распространительнымъ толкованіемъ министерскаго распоряженія, не допуская къ печати книгъ, имъ не воспрещенныхъ, и руководствуясь исключительно личнымъ усмотрѣніемъ; съ другой—жизнь постоянно, хотя и съ трудомъ, съ замѣтными скачками и неровностями, раздвигала указанныя рамки и принуждала цензурное вѣдомство нарушать распоряженіе, допуская различныя исключенія и изъятія. Въ результатѣ, въ отношеніяхъ цензурнаго вѣдомства къ украинскимъ произведеніямъ воцарился полный хаосъ, при которомъ ясное понятіе о правахъ и обязанностяхъ замѣняется ничѣмъ не сдерживаемымъ проявленіемъ личныхъ взглядовъ, вкусовъ и настроеній чиновъ цензурнаго вѣдомства. Сегодня разрѣшается популярная брошюра, воспрещенная по смыслу распоряженія абсолютно,—завтра же зачеркивается невинный рассказъ, подѣ который, какъ говорится, иглы не подточишь и который, къ довершенію всего, уже раньше былъ разрѣшаемъ къ печати; сегодня заграничныя изданія пропускаются въ сотняхъ экземпляровъ, а завтра—старательно вычеркивается даже въ научныхъ статьяхъ и указателяхъ всякая ссылка на заграничныя изданія, а галицкихъ русиновъ запрещается именовать иначе, какъ русскими. Что можно, чего нельзя—угадать нѣтъ никакой возможности. Этотъ хаосъ понятій, сопровождающій борьбу между жизнью и буквой распоряженія 1876 г., лучше всякой критики обнаруживаетъ истинную его цѣну; о томъ же свидѣлствуютъ и положительныя приобритенія, сдѣланныя украинскимъ движеніемъ прямо вопреки ограниченіямъ.

Первая и наиболѣе основательная брешь была пробита въ

последнемъ (третьемъ) пунктѣ знаменитаго распоряженія 1876 г. воспрещавшемъ, какъ извѣстно, „различныя сценическія представленія и чтенія на малорусскомъ языкѣ, а также печатаніе на таковомъ же текстовъ къ музыкальнымъ нотамъ“. Чѣмъ было вызвано последнее запрещеніе, за что постигла такая печальная участь тексты къ нотамъ—рѣшительно непонятно, тѣмъ не менѣе на первыхъ порахъ запрещеніе примѣнялось неукоснительно и приводило къ любопытнѣйшимъ результатамъ. Въ Кіевѣ, напр., для того, чтобы напасть на афишу публичнаго концерта украинскія пѣсни должны были быть переведенными на... французскій языкъ, и пѣвецъ народную пѣсню „дощик, дощик капае дрібеннѣй“ исполнялъ въ такомъ видѣ:

La pluie, la pluie,
Qui tombe doucement...
Je pensais, je pensais,—
C'est un Zaporogue, maman!

Воображаю положеніе пѣвца и слушателей, когда имъ преподнесли съ эстрады всѣмъ извѣстную пѣсенку въ семъ одѣяніи странномъ! И дѣйствительно, по свидѣтельству очевидца, „поднялся сначала неимоверный хохотъ, а затѣмъ бурный протестъ и требованіе народнаго текста“ *), послѣ чего, разумѣется, сдѣлалось невозможнымъ исполненіе украинскихъ пѣсень даже и въ французскомъ переводѣ. Этого, что называется, пересолтъ былъ ужъ слишкомъ очевиденъ, и потому невѣдомо за что пострадавшіе тексты къ нотамъ первыми возстановлены въ своемъ несомнѣнномъ правѣ—скромно занимать подобающее мѣсто подъ нотными знаками.

Точно такъ же отиѣнено жизнью и запрещеніе украинскаго театра, хотя подлежащія вѣдомства уступили не безъ колебаній и нѣкоторой борьбы. Разрѣшая украинскіе спектакли, на первыхъ порахъ ставили *conditio sine qua non*, чтобы въ одинъ вечеръ исполнялось столько же актовъ и на русскомъ языкѣ, сколько ихъ было на украинскомъ. Если шла, скажемъ, пятиактная украинская пьеса, то въ противовѣсъ ей, для обеззараживанія, такъ сказать, украинскіе артисты должны были ставить и пятиактную русскую. Предстояла крайне трудная дилемма: или совершенно отказаться отъ постановки украинскихъ пьесъ, или затягивать спектакли до разсвѣта, чего, очевидно, никакіе актеры и никакая публика не могла бы выдержать. Выходъ изъ такого затруднительнаго положенія былъ найденъ нѣсколько неожиданный, но тѣмъ не менѣе дѣйствительный. Были придуманы особыя русскія „пьесы“, каждый актъ которыхъ продолжался минутъ пять,—буква распоряженія этимъ удовлетворилась. Затѣмъ пошли еще

*) М. Старицкій „Къ біографіи Н. В. Лисенка“, Кіевская Старина, 1903 г. декабрь, стр. 470.

уступки, и въ настоящее время къ украинскимъ спектаклямъ предъявляется лишь одно требованіе — ставить съ украинской пьесой русскій водевиль; вотъ почему этотъ неизбежный прида-токъ, извѣстный въ широкой публикѣ подъ спеціальнымъ име-немъ „Отче-наша“, украшаетъ афишу каждаго украинскаго спек-такля, часто лишь на афишѣ и оставаясь. Сказанное относится исключительно къ постановкѣ уже разрѣшенныхъ пьесъ, а от-нюдь не къ самому разрѣшенію, которое продолжаетъ носить всѣ черты случайности и самаго придирчиваго чтенія между отроками...

Этимъ пока и исчерпываются всѣ наиболѣе существенныя уступки въ отношеніи украинской литературы. Въ остальномъ дѣло ограничилось лишь тѣмъ, что иногда—очень рѣдко—допу-скаются къ печати научно-популярныя произведенія для народа, больше прикладнаго характера и особенно подъ беллетристиче-скимъ соусомъ (огородничество, наприм., въ беллетристической формѣ!). Кромѣ того, подлежащія вѣдомства смотрѣли иногда сквозъ пальцы на ввозъ украинскихъ изданій изъ-за границы, усиливая въ другое время свою бдительность до такой степени, что всякая книжка, хотя бы къ политикѣ и никакого отношенія не имѣющая, хотя бы и съ специфическимъ запахомъ „Москов-скихъ Вѣдомостей“, останавливалась предъ предѣломъ, его же не перейдеши.

Но если цензурное вѣдомство оказывалось крайне тугимъ на уступки и соглашалось на нихъ весьма неохотно, лишь послѣ долгой борьбы съ требованіями жизни, то въ противоположномъ направленіи, въ сторону еще болѣешихъ ограниченій, оно обнару-жило весьма замѣтную податливость. Благодаря этому, распростра-нительное толкованіе распоряженія 1876 г. въ еще болѣе ограни-чительномъ смыслѣ, всегда находило самое широкое примѣненіе и самую искреннюю готовность. Прежде всего, по буквальному его смыслу переводы на украинскій языкъ беллетристическихъ произведеній *не воспрещены*; между тѣмъ практика почти не знаетъ разрѣшенія переводовъ, за исключеніемъ лишь тѣхъ, не-извѣстныхъ цензурирующему лицу произведеній, которыя помѣ-чены неопредѣленнымъ словомъ „переспів“, съ умолчаніемъ при этомъ имени настоящаго автора. Различными украинскими переводчиками въ разное время представлялись въ цензуру пере-воды произведеній Шекспира, Шиллера, Гете и другихъ класси-ковъ, и все это признано было вреднымъ и не подлежащимъ раз-рѣшенію къ печати. Еще недавно изъ III-го тома сочиненій г. Па-наса Мирного вырѣзанъ переводъ „Короля Лира“; переводъ „Тар-тюфа“ также безслѣдно исчезъ изъ собранія произведеній г. Са-мійленка, равно какъ и переводъ „Слова о полку Игоревѣ“ г. Мир-ного, вѣстать сказать—существующій въ нѣсколькихъ изданіяхъ другихъ украинскихъ переводчиковъ. Переводъ извѣстнаго фран-

русского разсказа „Послѣдніе дни Іуды“ первоначально былъ запрещенъ, какъ любезно объяснилъ цензоръ, на томъ основаніи, что „содержитъ въ себѣ догматическія (!) неточности“, и прошелъ лишь значительно позже, безъ обозначенія имени автора, въ 3-мъ томѣ сочиненій Конисскаго (переводчика), между тѣмъ какъ появленіе его въ русскомъ переводѣ на страницахъ журнала для юношества („Міръ Божій“), повидимому, ничьихъ ревнивыхъ подозрѣній не возбудило. Сборники переводовъ на украинскій языкъ произведеній Пушкина и Гоголя не прошли даже во время юбилейныхъ торжествъ, посвященныхъ памяти этихъ писателей, когда на разные лады цитировалось и комментировалось извѣстное изреченіе Пушкина: „и назоветь меня всякъ сущій въ ней языкъ“ (очевидно, поэтъ не догадался прибавить: кромѣ украинскаго). Число подобныхъ примѣровъ можно бы увеличить почти до безконечности, но и приведенные достаточно ярко характеризуютъ тотъ порядокъ вещей, при которомъ Шекспиръ, Шиллеръ, Пушкинъ и Гоголь оказались въ числѣ абсолютно неразрѣшаемыхъ авторовъ.

Такое же вполнѣ безпощадное отношеніе замѣчается и въ другой области, опять таки распоряженіемъ 1876 г. не затронутой,—въ области дѣтской литературы. По поводу одного сборника разсказовъ для дѣтей, цензоръ далъ слѣдующій характерный отзывъ: „сборникъ, очевидно, предназначается для дѣтскаго чтенія, но дѣти должны учиться по-русски“,—и этого оказалось достаточнымъ, неизбѣжное основаніе для запрещенія найдено. Принципъ: „дѣти должны учиться по-русски“ примѣняется до того неукоснительно, что всѣ представлявшіеся въ цензуру хрестоматіи (напр. „Читанка“, „Першій снопок“, „Од льоду до льоду“, „Веселка“ и др.) и даже отдѣльныя стихотворенія и разсказы, разъ предполагалась пригодность ихъ для дѣтскаго чтенія, безусловно воспрещаются. Благодаря лишь особому ходатайству, и то въ видѣ исключенія, разрѣшено было въ 1895 г. новое изданіе весьма популярнаго „Байокъ Глібова“, при чемъ исключено все-таки 19 басенъ и между исключенными находились: „Лебедь, Щука і Рак“, „Дві бочки“, „Зовуля і Півень“, „Гава і Лисиця“, „Осел і Соловей“, „Лисиця і Виноград“ и др., знакомство съ которыми по Крылову обязательно для каждаго школьника. Мы не говоримъ уже о школѣ, положеніе которой въ данномъ отношеніи представляется вполнѣ безнадежнымъ, но даже дома украинскія дѣти лишены возможности читать книги, по своему языку наиболѣе приспособленныя къ ихъ пониманію. „Дѣти должны учиться по-русски“—этотъ принципъ какимъ-то проклятіемъ тяготѣетъ надъ отверженными дѣтьми, принужденными жертвовать своимъ развитіемъ и облегченіемъ учебной страды въ честь „невѣдомаго бога“ административной подозрительности. Съ какими трудностями приходится бороться въ дѣлѣ воспитанія украин-

скихъ дѣтей сообразно съ основнымъ требованіемъ всякой разумной педагогіи, показываетъ слѣдующій фактъ. Одно весьма извѣстное въ украинской литературѣ лицо для своей дочери должно было составлять спеціальныя учебники, переписывая ихъ печатными буквами. Я видѣлъ эти печатанныя отъ руки книжки. Своимъ невиннымъ видомъ онѣ представляютъ въ сущности такой страшный обвинительный актъ противъ настоящей системы, краснорѣчивѣ котораго трудно что-нибудь и представить. Думаю, что въ свое время эти дѣтскія книжицы, существующія въ единственномъ экземплярѣ, займутъ въ качествѣ-нибудь музеѣ весьма видное мѣсто, какъ печальный памятникъ системы, по непонятнымъ соображеніямъ лишающей „единого отъ малыхъ сихъ“ наиболѣе нормальнаго средства развитія и утоленія духовной жажды...

Исключивъ, такимъ образомъ, изъ области дозволеннаго для украинской литературы („произведенія изящной словесности“) переводы художественныхъ произведеній, а также всю беллетристику для дѣтскаго возраста, получимъ, что отмежеванныя ей рамки вмѣщаютъ лишь оригинальную беллетристику общаго характера. Но практика, руководящаяся исключительно личнымъ усмотрѣніемъ, на каждомъ шагѣ сокращаетъ и суживаетъ и безъ того тѣсныя рамки. Беллетристическія произведенія самаго невиннаго характера, вдобавокъ часто уже печатавшіяся раньше съ разрѣшенія той же цензуры, вдругъ оказываются запрещенными при попыткахъ вновь переиздать ихъ. Ни въ какомъ случаѣ невозможно заранѣе опредѣлить, каковы требованія цензуры, чтобы по крайней мѣрѣ избѣгать того, что можетъ вызвать запрещеніе... Не останавливаясь на частныхъ случаяхъ непонятныхъ запрещеній, такъ какъ это отняло бы слишкомъ много времени и мѣста, попытаюсь опредѣлить лишь общія тенденціи, какими руководствуются лица цензурнаго вѣдомства въ отношеніи украинской литературы, насколько, конечно, эти общія тенденціи могутъ быть уловлены по тѣмъ въ высшей степени капризнымъ слѣдамъ, какіе носятъ побывавшія въ цензурѣ рукописи. Безусловно воспрещаются даже легкія намеки на отношенія общественнаго характера, особенно, если данное произведеніе изображаетъ интеллигентную среду, или касается—*horribile dictu*—отношеній между интеллигенціей и народомъ. До самаго послѣдняго времени такія произведенія или запрещались пѣликомъ, или же вычеркивались слова „пан“, „пін“ и т. п. О какихъ-либо несправедливостяхъ, притѣсненіяхъ и обидахъ даже совершенно частныхъ лицъ, но на общественной подкладкѣ, объ антагонизмѣ классовъ или иныхъ общественныхъ группъ невозможно говорить даже въ самыхъ мягкихъ и умѣренныхъ выраженіяхъ; тѣмъ болѣе относится къ заповѣдной области всякое обсужденіе національнаго вопроса. Лицамъ цензурнаго вѣдомства, повидимому, представляется, что украинскій языкъ имѣетъ особенноеум, е

лишь одному присущее свойство—напитывать горючимъ матеріаломъ и взрывчатыми веществами самые невинные предметы, разъ на этомъ языкѣ касаются общественныхъ отношеній. Изъ одного, напр., разсказа выброшена цензоромъ невинная жанровая картинка, юмористически изображающая разногласіе священника съ прихожанами по поводу платы за требы,—то, что въ подобныхъ разсказахъ, напр., г. Потапенка встрѣчается на каждомъ шагѣ. Сатира, бичующая отрицательныя стороны самихъ же украинцевъ, не имѣетъ вовсе права на существованіе, и потому ообраніе произведеній извѣстнаго украинскаго поэта-сатирика г. Самійленка возвратилось изъ цензуры въ неузнаваемомъ видѣ. Вездѣ придирчивый глазъ видитъ какіе-то намёки, символы и аллегоріи, доходя въ этомъ отношеніи до геркулесовыхъ столповъ подозрительности, до того, что уничтожаются описанія... весны, такъ какъ и въ нихъ, въ этихъ описаніяхъ, усматривается, вѣроятно, опасная аллегорія. Въ виду указанной наклонности къ всему приписывать символистическое толкованіе, даже извѣстная 22 статья „устава о цензурѣ и печати“ *) звучитъ горькой ироніей и обидной насмѣшкой по отношенію къ украинскимъ произведеніямъ, въ которыхъ сплошь и рядомъ подвергаются гоненію слова, слова, слова. Одно время, напр., въ сильномъ подозрѣніи почему-то находилось и потому особому гоненію подвергалось слово „козакъ“ и я лично помню такіе, напр., случаи изъ этой эпохи козаконительства. При описаніи одного изъ дѣйствующихъ лицъ авторъ разсказа употребилъ фразу: „у його були довгі вуса,—такі вуса я бачив на малюнках у запорожських козаків“,—эта фраза о длинныхъ запорожскихъ усахъ оказалась зачеркнутой; въ другомъ мѣстѣ уничтожено буквально слѣдующее: „я пішов у хату й почав читати „Сагайдачного“ (заглавіе извѣстнаго романа г. Мордовцева). Часто это изумительное гоненіе на отдѣльные слова основывается, повидимому, лишь на томъ, что значеніе даннаго слова смутно представляется цензурирующимъ лицомъ. Такъ, напр., въ стихотвореніи Шевченка „До Основияненка“ во всѣхъ изданіяхъ „Кобзаря“ есть между прочимъ четверостишіе:

Чи так, батьку отамане?

Чи правду співаю?

Ех, як би то! Та що й казати,—

Кебети не маю.

Отсутствуютъ подчеркнутыя строки лишь въ кievскомъ сборникѣ „Викъ“ (изд. 1902 г.), потому что оказалась зачеркнутой

*) Цензоры должны вѣстовать главнѣйше обращать вниманіе свое на духъ и направленіе книгъ, не останавливаясь на частныхъ несправностяхъ, требующихъ только небольшой перемѣны, и на словахъ или отдѣльныхъ выраженіяхъ, когда самая мысль не предосудительна и не противна правиламъ Устава“.

злосчастная „кебета“, въ переводѣ на русскій языкъ буквально означающая „талантъ“, „способность“. Очевидно, цензору, на этотъ разъ читавшему „Викъ“, данное слово напомнило что-нибудь иное, менѣе невинное, или и совсѣмъ ничего не напомнило, и онъ, изгоняя неизвѣстное слово, руководствовался исключительно излишней осторожностью: а вдругъ эта неизвѣстная „кебета“ означаетъ что-нибудь опасное, въ родѣ того „жупела“ и „металла“, которыхъ такъ боялась купчиха Островскаго?.. Присматривая записную книжку кievскаго украинскаго книгоиздательства „Викъ“, въ которую для памяти заносились всѣ представляемыя въ цензуру рукописи, я почерпнулъ отсюда весьма поучительныя цифры. За періодъ съ 1895 по 1903 годы книгоиздательствомъ представлено въ цензуру 230 отдѣльныхъ названий рукописей; изъ нихъ появилось въ печати лишь 80, т. е., около $\frac{1}{3}$ всего количества. Остальныя или дѣликомъ запрещены, или подверглись такой мучительной операціи съ обильнымъ крововозлѣніемъ, что выпускъ ихъ въ свѣтъ въ разрѣшенномъ видѣ являлся абсурдомъ. Чтобы уяснить себѣ въ достаточной степени значеніе приведенныхъ цифръ, необходимо еще принять во вниманіе и то, что издатели были, разумѣется, освѣдомлены о цензурныхъ порядкахъ и потому сами прилагали старанія къ тому, чтобы рукописи имѣли по возможности благонадежный видъ. И всетаки въ окончательномъ результатѣ ихъ старанія оказались чѣмъ-то въ родѣ попытокъ наполненія бездонной бочки Данаидъ: $\frac{2}{3}$ представленнаго матеріала исчезло безслѣдно. Подлинно—удобнѣе велбуду сквозь игольныя уши пройти и даже богатому въ царствіе Божіе внити, нежели украинской книгѣ благополучно миновать всѣ лежащія на ея пути преграды! Иныхъ результатовъ, разумѣется, и не могло быть, если встрѣчаются непреодолимыя препятствія къ упоминанію о такихъ невинныхъ предметахъ, какъ усы, хотя бы и длинные, хотя бы и запорожскіе, или если воспрещается приводить заглавіе романа, напечатаннаго, конечно, съ надлежащаго разрѣшенія. Если Бѣлинскому не было пропущено какое-то пустячное выраженіе на счетъ „шапки-мурмолки“, то онъ всетаки могъ утѣшать себя тѣмъ, что прошли его статьи о Пушкинѣ; на долю же украинскаго писателя не остается такого утѣшенія, ибо если изъ рукописей безвозвратно исчезаютъ „довгі вуса“ и тому подобные пустяки, то и статьи, напр., о Котляревскомъ заранѣе слѣдовало считать какъ бы несуществующими даже въ сборникѣ, посвященномъ памяти этого писателя. Въ самомъ дѣлѣ, въ сборникѣ „На вичну память Котляревському“, вышедшемъ недавно въ Кіевѣ, о виновникѣ торжества напоминаютъ лишь три стихотворенія да библиографическій указатель его произведеній, сиротливо ютящійся среди беллетристики; нѣсколько статей о Котляревскомъ, помѣщенныхъ первоначально въ сборникъ, исчезли въ напрасныхъ

попыткахъ проскользнуть сквозь игольные уши... Дальше этого, дальше знаменитыхъ „длинныхъ усовъ“, въ данномъ направленіи идти уже, конечно, некуда; большаго не смогла бы сдѣлать и Щедрина комиссия, предлагавшая, какъ извѣстно, „одну часть произведеній литературы сжечь рукою палача, а другую потопить въ рѣкѣ, литераторовъ же водворить въ уѣздный городъ Мезень“. Остается, быть можетъ, сдѣлать только послѣдній шагъ и, объявивъ государственнымъ преступленіемъ произнесеніе всякаго украинскаго слова, упрятать въ ту же Мезень и тридцать миллионовъ народа, говорящаго этимъ столь опаснымъ по самому существу своему языкомъ, хотя и несущаго при этомъ всѣ возложенныя на него повинности. Впрочемъ, даже такимъ проектомъ поголовнаго переселенія украинцевъ никого не удивишь: документально установлено, напр., что онъ совершенно серьезно обсуждался одно время, по крайней мѣрѣ, относительно украинскаго государства, и въ половинѣ 60-хъ гг. шла дѣятельная переписка между различными вѣдомствами по этому поводу. Предполагалось украинское духовенство переселить въ великорусскія губерніи, замѣнивъ его лицами великорусскаго происхожденія. Всякая фантазія меркнетъ предъ этимъ маленькимъ эпизодомъ изъ настоящей дѣйствительности!..

V.

Но и сказаннымъ до сихъ поръ дѣло ограниченія украинской литературы еще не вполне исчерпывается. Среди послѣдствій постановленія 1876 г. первое мѣсто по своей тяжести занимаетъ полное воспрещеніе какихъ бы то ни было періодическихъ органовъ и изданій на украинскомъ языкѣ. Я просилъ бы своихъ русскихъ товарищей отрѣшиться на моментъ отъ дѣйствительности и представить примѣрно такую картину: на всей необъятной ширѣ Россіи, отъ финскихъ хладныхъ скалъ до пламенной Колхиды, исчезли вдругъ изъ обращенія не только басни Крылова, сочиненія Пушкина и Гоголя, Шекспира и Шиллера, но и всѣ русскія газеты, всѣ журналы, всѣ періодическія изданія... не стало даже „Московскихъ Вѣдомостей“, а изъ „подозрительнаго белья“, что на Страстномъ, раздаются лишь разухабистые мотивы подъ аккомпаниментъ балалайки. Думаю, что какъ бы ни напрягали свое воображеніе русскіе писатели и читатели, набросанной сейчасъ картины они представить себѣ просто не въ состояніи. Непремѣнно цѣльность и выдержанность картины будетъ нарушена тѣмъ, что въ какомъ-нибудь уголкѣ, хотя бы онъ назывался и Страстнымъ бульваромъ, вытѣнется газетный листъ, хотя бы и испещренный хорошо извѣстнымъ постнымъ шрифтомъ „Московскихъ Вѣдомостей“ и украшенный соответствующимъ шрифту заглавіемъ. Безъ пері-

одических изданій, безъ газетъ мы не въ состояніи представить себѣ сколько-нибудь культурнаго общества; даже російскій обыватель, систематически устраивающій травлю на корреспондента и собственноручно его избивающій, продолжаетъ все-таки почитать свою газету; даже Сквозникъ-Дмухановскій, мечущій громы въ „щелкоперовъ“ и „бумагомарака“, заглядываетъ, по крайней мѣрѣ, въ полицейскія извѣстія; даже Щедринскіе генералы, очутившись внезапно на совершенно необитаемомъ островѣ, усаживали свой досугъ чтеніемъ „Московскихъ Вѣдомостей“, откуда и почерпали весьма назидательныя кулинарныя свѣдѣнія, въ родѣ: „взявъ живого налима, предварительно его высѣчь; когда же отъ огорченія печень его увеличится“... и т. д. Словомъ, исчезновеніе періодической печати въ представленіи русскаго, да и всякаго иного, писателя и читателя было бы равносильнымъ, примѣрно, тому, что время вдругъ прекратило свое теченіе, т. е., совершенно невозможнымъ. Но для украинцевъ невозможное оказывается не только возможнымъ, но и составляетъ вполне обыкновенное явленіе. Ни одного періодическаго органа, не смотря на всѣ просьбы и ходатайства, до сихъ поръ не удалось получить; мало того — не разрѣшаются даже слабыя намеки на періодическія изданія. Мнѣ опять припоминается случай изъ своей личной практики. Задумавъ издать серію произведеній украинскихъ писателей, я предполагалъ дать ей общее заглавіе „Українська Библіотека“, но на разрѣшенныхъ цензурою выпускахъ этой серіи упомянутое общее заглавіе оказалось вычеркнутымъ. Полагая, что такая участь постигла заглавіе изъ-за подвергающагося временами гоненію слова „українська“, я уполномочилъ своего знакомаго ходатайствовать о разрѣшеніи замѣнить запрещенное заглавіе другимъ — „Наша Библіотека“; на это послѣдовалъ характерный отвѣтъ: „почему же наша? лишь бы не ваша?“ сопровождаемый также отказомъ. Такъ какъ мы все-таки не догадывались и просили разрѣшенія назвать серію хотя бы просто „Библіотекой“, то намъ весьма не двумысленнымъ образомъ дано было понять, что всякое общее заглавіе напоминаетъ о періодическомъ изданіи, а потому... выводъ предполагался яснымъ самъ собою. Въ прошломъ извѣстенъ цѣлый рядъ ходатайствъ о разрѣшеніи періодическихъ органовъ на украинскомъ языкѣ, но въ украинскихъ лѣтописяхъ сохранились лишь имена этихъ неродившихся существъ. Въ послѣднее время, подъ вліяніемъ толковъ о „веснѣ“, надежды опять возродились и вновь разными лицами и изъ различныхъ городовъ представлено около десятка подобныхъ же ходатайствъ. Въ газетахъ сообщалось уже, что нѣкоторые изъ нихъ постигла прежняя участь, т. е., они признаны не подлежащими удовлетворенію; отклонено и ходатайство пишущаго эти строки о разрѣшеніи издавать въ Кіевѣ газету и журналъ „Віс“. Къ сожалѣнію, главное управленіе по дѣламъ печати при отказахъ не

считаетъ нужнымъ сообщать объ основаніяхъ, по которымъ данное ходатайство постигаетъ та или иная участь; поэтому мы лишены возможности узнать, что послужило причиной отказа въ каждомъ данномъ случаѣ—личная ли непригодность лица, возбуждавшего ходатайство, или же продолжающееся принципиально-отрицательное отношеніе къ вопросу о существованіи украинской періодической печати. Последнее въ эпоху провозглашеннаго „довѣрія“ къ обществу въ особенности было бы непоследовательнымъ и необъяснимымъ, тѣмъ болѣе что такой образъ дѣйствій не находитъ себѣ оправданія даже въ распоряженіи 1876 г. Въ самомъ дѣлѣ, это распоряженіе о періодическихъ органахъ на украинскомъ языкѣ совершенно умалчиваетъ и толковать такое умолчаніе въ отрицательномъ смыслѣ является такимъ же произвольнымъ дѣйствіемъ, какъ воспрещеніе переводовъ и дѣтской литературы. Распоряженіе 1876 г. само по себѣ уже составляетъ изъятіе изъ общаго правила и потому примѣненіе его должно ограничиваться лишь точно указанными случаями, не подвергаясь распространительному толкованію. Такимъ образомъ, если даже стоять на точкѣ зрѣнія упомянутаго распоряженія, нѣтъ основаній для воспрещенія періодическихъ изданій на украинскомъ языкѣ, по крайней мѣрѣ въ рамкахъ „язычной словесности“; мы не говоримъ уже объ иной точкѣ зрѣнія, предъявляемой самой элементарной справедливостью и логикой дѣйствительной жизни...

Но какъ бы то ни было, періодическихъ органовъ на украинскомъ языкѣ, газетъ и журналовъ, въ Россіи нѣтъ; украинскій народъ и въ этомъ отношеніи имѣетъ *privilegium odiosum* предъ всѣми прочими обитателями Россіи, такъ какъ съ разрѣшеніемъ періодическихъ изданій литовцамъ *) онъ остался въ настоящее

*) Въ 1863 г. издано было запрещеніе, отмѣненное лишь нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, употреблять въ произведеніяхъ литовской письменности латинскій алфавитъ и правописаніе, замѣнивъ ихъ русскими (Подробнѣе объ этомъ см. въ статьѣ г. Ирпенскаго „Литовскій алфавитъ и малорусская литература“, Южныя Записки, 1904 г. № 35). Любопытно, что даже Н. Милютинъ ожидалъ отъ этой мѣры „плодотворныхъ политическихъ результатовъ“ (см. „Изъ записокъ Никитина“ въ „Русской Старинѣ“ 1903 г. кн. III, стр. 501), но дѣйствительность доказала противное. Считаемъ нелишнимъ здѣсь отмѣтить, что подобное же запрещеніе научнымъ путемъ выработаннаго правописанія тяготеетъ и надъ украинской литературой: на разрѣшенныхъ рукописяхъ часто красуется надпись: „печатать разрѣшается подъ условіемъ соблюденія правилъ правописанія русскаго языка“, кстати сказать, не передающаго особенностей украинской фонетики и потому вносящаго массу путаницы въ украинскую книгу. Прибавлю къ этому, что Академія наукъ находитъ возможнымъ употреблять въ своихъ изданіяхъ только запрещенное для частныхъ лицъ украинское правописаніе, очевидно по научнымъ соображеніямъ. Въ силу указанного запрещенія для ученыхъ людей создалась въ своемъ родѣ монополія—правильно писать по-украински, что недоступно обыкновеннымъ смертнымъ...

время единственнымъ, лишеннымъ права имѣть свою прессу. Если русскому писателю и читателю трудно представить себѣ такое положеніе, въ нѣкоторомъ родѣ напоминающее знаменитое древнеримское *aqua et igni interdictio*, то послѣдствія его, я думаю, представятся легче. Вполнѣ понятно, что литература, при отсутствіи постоянныхъ органовъ печати, развиваться правильно не можетъ, такъ какъ она окажется лишенной тѣхъ средствъ, которыя соединяютъ ее постоянными, неразрывными нитями съ публикой, съ читателями. Книга, если бы даже ей не ставилось никакихъ преградъ—не то, что журналъ, она не можетъ вполнѣ замѣнить журнала; книга ожидаетъ, пока читатель придетъ къ ней, тогда какъ журналъ, газета сами идутъ къ читателю, находятъ его и постоянными ударами въ одну точку, постояннымъ дѣйствіемъ въ одномъ направленіи служатъ лучшимъ средствомъ распространенія извѣстныхъ идей. Беря въ руки данный журналъ или газету, мы всегда знаемъ приблизительно, что мы тамъ встрѣтимъ, и въ нихъ ищемъ отвѣта на тѣ вопросы, какіе предъявляетъ къ намъ современность. Какъ средство общенія писателя съ читателемъ, литературы съ жизнью, періодическая печать играетъ огромную, незамѣнимую роль. Безъ періодической печати становится совершенно невозможнымъ это живое взаимодѣйствіе литературы и жизни, это тѣсное общеніе писателя съ читателемъ, которое необходимо, какъ вода для рыбы, какъ кислородъ для дыханія—для развитія литературы. Нѣтъ взаимодѣйствія, нѣтъ общенія—нѣтъ и развитія: литература и жизнь будутъ идти не совпадающими путями, а брести порознь, не оказывая другъ на друга замѣтнаго вліянія или низводя его до *minimum'a*,—при чемъ болѣе срадательной стороною окажется, разумѣется, литература, лишенная питательныхъ соковъ. Народъ, не имѣющій своей печати, несомнѣнно проигрываетъ въ культурномъ отношеніи, отстаетъ въ своемъ развитіи, такъ какъ онъ лишенъ могучаго средства распространенія знаній и вообще культурнаго воздѣйствія... Но, возражать, нѣтъ украинской печати—это, можетъ быть, и очень прискорбно, однако есть печать русская, которая вполнѣ замѣняетъ ее и восполняетъ, восстанавливая взаимодѣйствіе между культурными теченіями и жизнью. Я не думаю, конечно, отрицать огромнаго значенія русской печати между прочимъ и для украинскаго народа; тѣмъ не менѣе полагаю, что она не можетъ выполнить того, что ей не подъ силу, не можетъ замѣнить вполнѣ печати на языкѣ родномъ для народа, такъ какъ не только по языку, но отчасти и по интересамъ есть и будетъ всегда въ значительной степени чужой ему. Я особенно радъ, что въ подтвержденіе этого положенія могу сослаться на замѣчательныя слова писателя, который долгое время стоялъ „на славномъ посту“ русской литературы и котораго, поэтому, никто не заподозритъ въ умаленіи ея значенія. „Передо мной,—пишетъ

въ одномъ мѣстѣ „Записокъ профана“ незабвенный Н. К. Михайловскій,—лежитъ номеръ сербскаго журнала, на заглавномъ листѣ котораго напечатано: „Отаѣбина. Книжевность, наука, друштвени животъ. Свеска за јул. 1875“. Очень вѣроятно, что народъ сербскій этой Отаѣбины не читаетъ, но, можетъ быть, по крайней мѣрѣ, иногда является въ ней нѣчто и для „свинопаса“ понятное. Замяните отаѣбину отечествомъ и этотъ смѣшной на русское ухо дружественный животъ — общественной жизнью, и вы положите непреодолимую преграду для распространенія ананій и просто грамотности въ народѣ. Наука, искусство, просвѣщеніе, цивилизація будутъ идти сами по себѣ, народъ—самъ по себѣ, не оплодотворяя другъ друга“ *). На Украинѣ этотъ экспериментъ одѣланъ: соответственные народные термины замянены „отечествомъ“, „общественной жизнью“ и послѣдствія получились именно тѣ, о которыхъ говоритъ Н. К. Михайловскій: наука, искусство, просвѣщеніе, цивилизація идутъ сами по себѣ, народъ—самъ по себѣ, не оплодотворяя другъ друга. По наблюденіямъ другого русскаго писателя, Станюковича, украинцы „культурнѣе великороссовъ: нравы у нихъ мягче, отношенія къ женщинѣ лучше, но за то по развитію, такъ сказать, по умственности, куда ниже великороссовъ. Грамотныхъ я встрѣчалъ очень мало, а весь кругозоръ ихъ недалекъ отъ кругозора дикихъ“ **). Конечно, такіа послѣдствія вызваны не однимъ только отсутствіемъ печати на родномъ языкѣ. Тутъ дѣйствовали соединенными силами многія условія, среди которыхъ и отсутствіе печати, и школа съ ея „обрусеніемъ“ и другими чуждыми началъ здоровой педагогіи тенденціями, и кое-что иное вносило по каплѣ своего меда. Но обсужденіе всѣхъ этихъ условій выходитъ изъ предѣловъ моей задачи, и я говорю пока только о печати.

VI.

Таково положеніе, которое создали для украинской литературы распоряженія 1876 г. Неудивительно, поэтому, что и послѣдствія его также носятъ характеръ исключительности, отразившись на состояніи литературы и положеніи ея работниковъ самымъ плачевнымъ образомъ. Они вызвали среди писателей и читателей всеобщую растерянность, приостановку въ работѣ и отчаяніе въ будущности своего дѣла, такъ какъ не оставляли, повидимому, никакого выхода и осуждали все движеніе на вѣрную, хотя и медленную, смерть. Выше я приводилъ свидѣтельство одного изъ украинскихъ писателей, что „писать было

*) Н. К. Михайловскій. Сочиненія, Спб., 1897, т. III, стр. 886.

**) Станюковичъ. Картинки современныхъ нравовъ. „Русская Мысль“, 1896, январь, 208.

не для кого“, и могъ бы назвать еще десятки именъ писателей, въ дѣятельности которыхъ 1876 годъ положилъ болѣе или менѣе продолжительный перерывъ. На Украинѣ опять воцарился новый антрактъ, повидимому—послѣдвій, въ теченіе котораго украинская литература должна была, послѣ нѣкоторой агоніи, прекратить свое существованіе.

Но... опять приходитъ на память одинъ эпизодъ изъ дѣятельности Щедринской комиссіи по искорененію литературы. Когда комиссія пришла къ извѣстному читателямъ заключенію о необходимости совершеннаго упраздненія литературы, сатирикъ произнесъ блестящую защитительную рѣчь, звучащую вмѣстѣ съ тѣмъ обвиненіемъ и вызовомъ по адресу людей, рѣшившихся на такое безразсудное дѣло; привести эту рѣчь будетъ весьма уместнымъ и въ настоящемъ случаѣ. „Милостивые государи! — сказалъ защитникъ, — вамъ, конечно, небезызвѣстно выраженіе *scripta manent*. Я же подъ личною за сіе отвѣтственности присовокупляю: *semper manent, in secula seculorum!* Да, господа, литература не умретъ! не умретъ во вѣки вѣковъ! А посему, какъ бы намъ съ нашей комиссіей не осрамиться. Все, что мы видимъ вокругъ насъ, все въ свое время обратится частью въ развалины, частью въ навозъ — одна литература вѣчно останется цѣлою и непоколебленною. Одна литература изъята отъ законовъ тлѣнія, она одна не признаетъ смерти. Не смотря ни на что, она вѣчно будетъ жить и въ памятникахъ прошлаго, и въ памятникахъ настоящаго, и въ памятникахъ будущаго. Не найдется такого момента въ исторіи человѣчества, про который можно было бы съ увѣренностью сказать: вотъ моментъ, когда литература была упразднена. Не было такихъ моментовъ, нѣтъ и не будетъ“ („Круглый годъ“). Не былъ такимъ моментомъ для украинской литературы и 1876 г. и „не смотря ни на что“—она осталась жить, своею испытанною жизнеспособностью представляя прекрасную иллюстрацію къ приведеннымъ словамъ сатирика и лучшее ихъ фактическое подтвержденіе. Ужъ кажется, приняты были всѣ мѣры къ ея прекращенію, ужъ кажется, и примѣнялись онѣ безъ послабленія, сжимая временами тиски до полнаго ихъ соприкосновенія — а она, эта сжимаемая литература, не только не умерла, но возрождаясь каждый разъ, подобно фениксу изъ пепла, даже прогрессировала и развивалась, дѣлая свое дѣло, хотя, конечно, не въ томъ объемѣ и не съ тѣми результатами, какіе были бы возможны и желательны. Проходили годы и десятилѣтія, въ теченіе которыхъ процессъ агоніи долженъ былъ, повидимому, закончиться естественнымъ концомъ, а между тѣмъ мы съ изумленіемъ замѣчаемъ, что ничего подобнаго не случилось и литература продолжаетъ жить и послѣ нанесеннаго ей, казалось, смертельнаго удара. На защиту ея встала сама жизнь, которая въ свое время и вызвала ее изъ небытія, и она съ честью

вышла изъ безпримѣрно тяжелаго испытанія и съ надеждой смотреть въ будущее. Капля по каплѣ долбитъ эта осужденная на смерть литература камень препятствій, капля по каплѣ просачивается во всѣ поры народнаго организма, подготавливая и обезпечивая ему національное возрожденіе въ будущемъ. Слова сатирика: „какъ бы намъ съ нашей комиссіей не осрамиться“ — оказались пророческими. Этому были, разумѣется, вполне опредѣленныя причины.

Распоряженія 1876 г., сравнительно съ предшествовавшимъ ему Валуевскимъ распоряженіемъ 1863 г., относятся къ украинской литературѣ съ неизмѣримо большею прямолинейностью и суровостью. Тогда какъ тамъ замѣчаются всетаки нѣкоторыя колебанія и нерѣшительность, да и самыя мѣропріятія предлагаются лишь въ видѣ временной мѣры („пріостановиться“), — здѣсь мы имѣемъ дѣло съ типической повелительной формой, не обнаруживающей уже ни сомнѣній, ни колебаній („воспретить“...). Тѣмъ не менѣе, — я это рѣшительно утверждаю, — послѣднее по времени и болѣе суровое по существу распоряженіе оказалось, въ сущности, еще менѣе дѣйствительнымъ, нежели предыдущее. Дѣло въ томъ, что распоряженіе 1876 г. упало уже на иную почву, встрѣтило нѣсколько подготовленныхъ силы и потому первоначальная растерянность недолго продолжалась. Дѣйствительность показала, что строгое и неуклонное, вполне послѣдовательное проведеніе принципа полного упраздненія литературы на практикѣ невысказано. Известно вѣдь, что всякое естественное теченіе, встрѣчая преграды и препятствія на прямомъ пути, направляется въ обходъ, по линіи наименьшаго сопротивленія, ищетъ выходовъ и мало по малу ихъ находитъ. Такъ было и въ данномъ случаѣ. Уже нѣсколько лѣтъ спустя по изданіи распоряженія 1876 г., жизнь отмѣнила нѣкоторые его пункты, стоявшіе въ наибольшемъ противорѣчій съ ея требованіями, а въ періодъ 1881—83 гг. сдѣлала даже нѣкоторый запасъ литературныхъ произведеній, какъ бы предчувствуя, что наступающее за симъ время окажется въ полномъ смыслѣ „временемъ лютымъ“, когда уже не будетъ возможности что-нибудь дѣлать. Такое время дѣйствительно наступило и до конца 90-хъ годовъ стоялъ самый глухой періодъ, когда вся литературная продукція украинской печати въ Россіи выражалась цифрой въ нѣсколько десятковъ тощенькихъ брошюркъ, не дававшихъ ровно никакого представленія ни о литературныхъ силахъ, ни о дѣйствительномъ ростѣ украинской литературы, ни о направленіяхъ среди украинскихъ писателей. Съ ужасомъ и недоумѣніемъ когда-нибудь впоследствии, когда получатъ извѣстность всѣ факты изъ этого недавняго прошлаго, остановится историкъ украинской общественности предъ этимъ мрачнымъ періодомъ. Но тишь, да гладь, да Божья благодать существовали только наружно; въ дѣйствительности же дви-

женіе обнаружилось тамъ, гдѣ лишь смутно подозрѣвали его возможность авторы распоряженія 1876 г. Выходъ былъ найденъ: украинскіе писатели, силою вещей поставленные внѣ закона, сдѣлали еще шагъ впередъ въ томъ же направленіи, по которому толкало ихъ упомянутое распоряженіе, и совсѣмъ ушли изъ-подъ его дѣйствія, перенесши свою дѣятельность въ родную Галичину.

Этотъ край, заселенный въ значительной части также украинскимъ народомъ, до половины 70-хъ годовъ мало привлекалъ къ себѣ російскихъ украинцевъ, и потому сношенія съ нимъ до этого времени ограничивались лишь отдѣльными личностями какъ съ той, такъ и другой стороны. Клерикально-бюрократически-буржуазное направленіе, господствовавшее тогда среди галицкой интеллигенціи, ея отсталость во всѣхъ отношеніяхъ и реакціонно-обскурантное отношеніе къ народу представлялись украинцамъ до такой степени непривлекательными, что они ограничивались лишь общими выраженіями симпатіи къ своимъ закордоннымъ братьямъ, благо при этомъ была хоть какая-нибудь возможность работать дома. Но вотъ эта возможность исчезла, и съ этого времени Галичина привлекаетъ общее вниманіе среди украинцевъ: центромъ украинскаго движенія становится Львовъ — здѣсь сосредоточиваются всѣ литературныя силы съ обѣихъ сторонъ Збруча, здѣсь вырабатываются литературныя и иныя традиціи, которыя будутъ сохранены до того, надѣмся, недалекаго времени, когда и въ Россіи сдѣлается возможнымъ украинское печатное слово и свободное обнаруженіе національнаго движенія. Галичина и въ настоящемъ сыграла, по выраженію проф. Грушевскаго, роль резервуара для украинской народности, — ту роль, какая принадлежала ей на зарѣ исторіи, когда этотъ край давалъ пріютъ украинскому населенію, отступавшему подъ натискомъ тюркскихъ кочевниковъ на западъ.

Съ перенесеніемъ дѣятельности украинцевъ въ Галичину и подъ сильнымъ ихъ вліяніемъ, возникаетъ и тамъ національно-демократическое движеніе, неразрывно связанное съ именами Драгоманова, Конисскаго и Франка; это движеніе постепенно усиливается и въ настоящее время охватываетъ большую часть мѣстной интеллигенціи. Появляются научныя, литературныя и др. общества *) и органы печати, питающіеся притокомъ какъ мѣстныхъ силъ, такъ и приливающихъ изъ російской Украины; во всѣхъ сферахъ культурной жизни ведется дѣятельная работа, свидѣтельствующая о жизнеспособности осужденнаго у насъ на смерть направленія. Я не имѣю въ настоящее время возможности

*) Самое видное мѣсто между обществами безспорно занимаетъ извѣстное Львовское „Наукове Товариство імени Шевченка“; на русскомъ языкѣ наиболѣе полный обзоръ его дѣятельности сдѣланъ проф. Грушевскимъ въ „Журналѣ министерства народнаго просвѣщенія“ за 1904 г. кн. III, стр. 117 — 148.

останавливаться на всѣхъ проявленіяхъ указаннаго движенія въ Галичинѣ и подчеркиваю лишь одну его черту: получая постоянное питаніе изъ русской Украины, Галичина въ свою очередь оказываетъ громадную поддержку и украинцамъ, такъ какъ даетъ возможность найти здѣсь точку приложенія для своихъ силъ, выброшенныхъ за бортъ на родинѣ.

Но если для поддержки существованія литературы исходъ украинцевъ изъ Россіи имѣетъ громадное значеніе, то для развитія какъ литературы вообще, въ ея цѣломъ, такъ и отдѣльных писателей,—указанное обстоятельство должно считаться не весьма благопріятнымъ. Каждый писатель имѣетъ въ виду извѣстную аудиторію, извѣстный кругъ читателей, къ которымъ онъ обращается со своимъ словомъ; чтобы вліять на эту аудиторію, онъ долженъ избирать, во-первыхъ, интересные для нея предметы и выработать, во-вторыхъ, опредѣленные приемы, чтобы читатели понимали его, что называется, съ полуслова. Только при этихъ условіяхъ возможна тѣсная связь между писателемъ и читателемъ, обеспечивающая первому болѣе или менѣе глубокое вліяніе на свою аудиторію. Если мы вспомнимъ теперь первый пунктъ распоряженія 1876 г., запрещающій ввозъ въ Россію всѣхъ изданныхъ за границей украинскихъ книгъ, то поймемъ, что именно та аудиторія, на которую ближайшимъ образомъ только и можетъ рассчитывать украинскій писатель и запросы которой ему извѣстны лучше — для него почти не существуетъ; его произведеніямъ суждено обращаться преимущественно среди читателей, выросшихъ въ иной политической и общественной атмосферѣ и потому предъявляющихъ иные запросы къ литературѣ и живущихъ часто обособленными интересами. Разумѣется, при подобныхъ условіяхъ меньше шансовъ на то, что и литература вообще, и отдѣльные писатели въ частности вполнѣ используютъ все свое дарованіе и вліяніе. Многія произведенія, попадая на не совсѣмъ подходящую почву, останутся не вполнѣ понятыми; другія, имѣющія по преимуществу мѣстный интересъ, и совсѣмъ не могутъ появиться; многое должно облекаться въ слишкомъ академическія, далекія отъ жизни формы, избѣгая по возможности конкретныхъ случаевъ, заимствованныхъ изъ мало извѣстной большинству читателей обстановки. Въ результатъ — нѣкоторыя отрасли литературы, напр., публицистика, не могутъ совершенно развиваться, другія — значительно проигрываютъ и также задерживаются въ своемъ развитіи, а отдѣльные писатели принуждены избѣгать весьма, можетъ быть, для нихъ въ данный моментъ интересныхъ темъ, или придавать имъ не вполнѣ подходящую форму. Эти фатальныя условія—источникъ задержки въ развитіи литературы и гибели, въ цѣломъ или въ части, отдѣльных талантовъ. Легко вообразить, что стало бы съ самымъ сильнымъ талантомъ при подобныхъ обезпложивающихъ, такъ сказать, усло-

вѣяхъ. Въ этомъ отношеніи даже положеніе русскаго писателя,—того самого писателя, которому литература наполнила сердце ядомъ,—представляетъ громадную разницу. Русскій писатель все-таки можетъ въ большинствѣ случаевъ высказать, хотя бы и заповскимъ языкомъ, то, что онъ находитъ нужнымъ и полезнымъ въ данное время,—для украинскаго же эта возможность относится всецѣло къ области сладкихъ, но безплодныхъ мечтаній; русскій писатель имѣетъ свою аудиторію, своихъ читателей, которые иногда съ нетерпѣніемъ ожидаютъ всякаго новаго произведенія любимаго писателя,—для украинскаго же составъ читателей замыкается тѣснымъ кругомъ членовъ собственной семьи (припомните Щоголева!) или же въ лучшемъ случаѣ расплывается до полной потери всякихъ опредѣленныхъ очертаній. А вѣдь писатель не для собственного только самоуслажденія „пописываетъ“; онъ имѣетъ жгучую потребность въ томъ, чтобы выстраданныя имъ произведенія читались, и его слово попадало на надлежащую почву. При отсутствіи же этихъ условій, украинскому писателю предстоитъ грозная альтернатива: или уйти съ родного поля и стать работникомъ на сосѣднемъ, или же совершенно забросить перо, истощивъ силы въ безплодныхъ попыткахъ борьбы противъ неумолимаго рока. И сколько ихъ, этихъ жертвъ своего тяжелаго положенія, имена ихъ же Ты, Господи, самъ вѣси, насчитываетъ украинская литература за все время своего горемычнаго существованія! Сколько погинуло талантливыхъ силъ, замолкавшихъ на время особенно обострившихся цензурныхъ гоненій, или же и совсѣмъ словившихъ свое перо!.. Разумѣется, болѣе энергичныя натуры выдерживаютъ всѣ испытанія и терпѣливо продолжаютъ идти своимъ тернистымъ путемъ, но во что имъ это обходится и какими жертвами, въ видѣ ненужной потери и растраты силъ, для литературы это сопровождается—легко понять, припомнивъ все до сихъ поръ мною сказанное. Существуетъ, кромѣ того, разница и въ чисто матеріальномъ отношеніи. Русскій писатель, благодаря тому, что трудъ его оплачивается, можетъ быть только писателемъ, всѣ свои силы и время посвящая одной литературѣ,—украинскій же прежде всего долженъ быть учителемъ, врачомъ, чиновникомъ, корректоромъ и т. д., и только остатокъ своихъ силъ и времени можетъ отдавать литературѣ. Исключительное положеніе послѣдней создало такой порядокъ, что литературный трудъ не оплачивается совершенно и ничего, кромѣ непріятностей, тревоженій и огорченій, не даетъ украинскому писателю, лишенному, къ сожалѣнію, завидной доли древнихъ—питаться амброзією и нектаромъ... Я не говорю уже о разницѣ въ душевномъ настроеніи, съ одной стороны—человѣка, сознающаго себя полезнымъ работникомъ, и съ другой—употребляющаго бездну хлопотъ, времени и энергіи на то, чтобы наполнять бездонную бочку цензурныхъ Данаидъ. Вѣдь это одно въ состояніи

остановить всякое развитіе. Говорятъ часто, что украинская литература не даритъ своихъ почитателей замѣчательными произведеніями, — допустимъ, что это такъ, хотя такое мнѣніе и не вполне справедливо. Но я просилъ бы указать литературу, которая при подобныхъ условіяхъ была бы въ состояніи давать замѣчательныя произведенія. Я думаю, что отнюдь не этому слѣдуетъ удивляться, а скорѣе тому, что находятся еще люди, прилагающіе свои силы къ разработкѣ запретной области. Вѣдь если русскому писателю литература и наполнила сердце ядомъ, то не забудемъ, что она же всетаки и освѣтила ему жизнь, тогда какъ на долю украинскаго, кромѣ безпримѣснаго яда, не осталось ровно ничего, и тѣмъ большаго удивленія заслуживаютъ эти попытки вырваться изъ сплошь отравленной атмосферы и создать хотя бы проблески свѣта среди непроглядной тьмы...

VII.

Въ заключеніе нельзя не обратиться къ вопросамъ: кому нужно, для кого можетъ быть выгодно и полезно это исключительное положеніе, созданное для украинской литературы? Кто вообще заинтересованъ въ томъ, чтобы украинскій народъ былъ лишенъ самаго элементарнаго человѣческаго права — говорить о себѣ и для себя на своемъ родномъ языкѣ? Разсматривая эти вполне умѣстные, въ виду ихъ важнаго значенія, вопросы, мы, къ глубокому своему изумленію, не можемъ на нихъ отвѣтить положительно.

Говорятъ, напр., что денаціонализація не-государственныхъ народностей полезна государственной, — въ данномъ случаѣ великорусскому народу, въ интересахъ котораго будто бы и совершается приведеніе къ одному знаменателю всѣхъ этихъ финновъ, латышей, литовцевъ, поляковъ, украинцевъ, грузинъ, армянъ и проч., и проч., и проч. Но въ чемъ выражается эта польза, — будетъ ли обитатель, скажемъ, Тульской губерніи, чувствовать себя счастливѣе и меньше ощущать тяготы своего настоящаго существованія, если, допустимъ, кіевляне, полтавцы, тифлисцы или варшавяне станутъ изъясняться точно такъ же, какъ и этотъ тульскій обыватель? Очевидно, послѣднему это обстоятельство не можетъ доставить ровно никакого реального счастья, кромѣ, можетъ быть, чисто платоническаго удовольствія, что вотъ, молъ, наша взяла. Но, можетъ быть, это нужно для всего великорусскаго народа, взятаго въ его цѣломъ? Опять такъ народъ этотъ имѣетъ столько реальныхъ нуждъ, столько жгучихъ насущныхъ потребностей, которыя настоятельно ждутъ удовлетворенія, что ему, право, некогда и думать о какой-то своей русификаторской якобы миссіи, навязываемой ему обитателями всевозможныхъ „подозритель-

ныхъ бельэтажей“. Ссылка на народъ является въ данномъ случаѣ напрасной клеветой на него.

Говорятъ еще, что литературное раздѣленіе можетъ вредно отозваться на развитіи русской литературы, уменьшивъ число ея работниковъ и потребителей. Подобное мнѣніе, конечно, справедливо въ буквальномъ смыслѣ, потому что, если бы Гоголь писалъ по-украински, то русская литература лишилась бы одного изъ замѣчательнѣйшихъ своихъ дѣятелей, и если бы украинскіе читатели имѣли свою печать, то число потребителей русской несомнѣнно бы нѣсколько понизилось. Тѣмъ не менѣе, я полагаю, что это съ виду справедливое мнѣніе отзывается весьма вульгарнымъ пониманіемъ задачъ литературной дѣятельности и также содержитъ клевету — на этотъ разъ уже на русскую литературу, которая, по крайней мѣрѣ, въ лицѣ своихъ лучшихъ представителей, съ негодованіемъ отвергаетъ унижительную роль чужаднаго растенія. Русская литература имѣетъ достаточно своихъ собственныхъ силъ и слишкомъ широкое поле дѣятельности, чтобы предъявлять претензіи на захватъ чужихъ владѣній. Да и эти „чужія владѣнія“ не были бы, конечно, ограждены китайской стѣной, и лучшія произведенія русской литературы всегда вызывали бы такой же живой интересъ среди украинскихъ читателей, какой вызываютъ и теперь. Пониженіе сказалось бы, такимъ образомъ, только въ отношеніи посредственныхъ и плохихъ произведеній, а объ этомъ едва ли стоитъ особенно жалѣть, такъ какъ не на нихъ кляномъ сошлась русская литература и не въ ихъ распространеніи она заинтересована. Но если бы въ количественномъ отношеніи русская литература даже и проиграла отъ уменьшенія работниковъ и потребителей, то въ качественномъ она несомнѣнно бы выиграла при свободномъ обмѣнѣ достоянія различныхъ литературъ и утилизаціи всѣхъ тѣхъ силъ, которыя въ настоящее время погибаютъ неиспользованными. Да, наконецъ, литература менѣе всего нуждается въ томъ, чтобы привлекать къ ней кого бы то ни было за шиворотъ: есть у нея свои собственные средства распространенія, которыя гораздо сильнѣе подневольнаго привлеченія.

Говорятъ, далѣе, что ограничительныя мѣры предпринимаются въ интересахъ самихъ же украинцевъ, чтобы отвлечь ихъ отъ пустой, вредной и не имѣющей будущности затѣи, предохранить ихъ силы отъ напрасной траты и направить эти силы на общую работу. Къ этому мнѣнію весьма часто примыкаютъ тѣ „очень совѣстливые и честные“, по словамъ одного изъ одесскихъ публицистовъ, люди, которые „совершенно замалчиваютъ эти (національные) вопросы, лелѣя въ душѣ идеалъ единства, подавленія одной націей другихъ, надѣясь, что эту не особенно пріятную работу совершаютъ иные не совсѣмъ чистые люди, и что послѣ ихъ необходимости, но грязной работы, возможно будетъ приступить, на-

вонецъ, къ осуществленію идеала человѣческой справедливости* *). Отождествленіе Молоха съ приносимой ему жертвой, какъ въ данномъ случаѣ, кромѣ нѣкоторой чисто-логической несообразности, никакой клеветы, конечно, не составляетъ, но оно содержитъ нѣчто худшее: кощунственное оправданіе всякаго насилія какимъ-нибудь болѣе или менѣе свѣтлымъ идеаломъ. Въ подобныхъ оправданіяхъ во время оно почерпала основанія для своей дѣятельности инквизиція, сквозь пламя священныхъ костровъ проводившая заблудшихъ къ вѣчному спасенію; на нихъ же строили свою противообщественную работу іезуиты, возведшіе въ догматъ извѣстный принципъ: „цѣль оправдываетъ средства“, и соперничать съ этими кровавыми дѣятелями исторіи „очень совѣстливымъ и честнымъ“ людямъ совершенно не къ лицу. Оправданіе страданій интересомъ самихъ же страдальцевъ или это, въ своемъ родѣ, *reservatio mentalis*, молчаливое одобреніе по адресу „не совсѣмъ чистыхъ“ исполнителей „необходимой, но грязной работы“ съ затаенною мыслью воспользоваться ея плодами для свѣтлыхъ идеаловъ справедливости въ будущемъ — въ нравственномъ отношеніи хуже открытаго насилія. Но оно, кромѣ того, столь же несостоятельно на практикѣ. Имѣетъ ли будущность украинская литература, или же она представляетъ пустую и праздную затѣю—этотъ вопросъ для насъ уже рѣшенъ жизнью, такъ что всякая насильственная задержка въ ея развитіи представляется намъ прямымъ ущербомъ для интересовъ украинскаго народа, а вмѣстѣ съ тѣмъ и всего человѣчества. Но даже съ точки зрѣнія сомнѣвающихся слѣдуетъ предоставить ей полную свободу, такъ какъ только этимъ путемъ скорѣе и рѣшительнѣе будетъ обнаружена ея несостоятельность, тогда какъ при господствѣ ограниченій и полумѣръ данный вопросъ долго еще не получитъ точнаго рѣшенія, и существованіе, допустимъ, „больного чловека“ затянется несомнѣнно на болѣе продолжительное время, чѣмъ при полной свободѣ. Что касается безполезной якобы траты силъ, то я позволю себѣ только одинъ вопросъ: развѣ этой траты теперь не совершается? Развѣ то, о чемъ у насъ все время шла рѣчь, не является одной огромной, сплошной тратой народныхъ силъ, осужденныхъ на вынужденное бездѣйствіе, на искусственное безплодіе? Предупрежденіе проблематической траты силъ путемъ дѣйствительной траты ихъ—это ли разумное рѣшеніе вопроса и не напоминаетъ ли оно поступка того мудреца, который позволилъ улетѣть изъ рукъ синицѣ въ чашии благѣ отъ свободно парящаго въ небѣ журавля?...

Чаще всего, однако, ограниченія, направленные противъ отдаленныхъ національностей, оправдываютъ государственными инте-

*) Изгоевъ — „Хроника внутренней жизни“, Южныя Записки, 1904 г., № 40, стр. 29.

ресами: цѣлостью, могуществомъ, безопасностью и тому подобными, дѣйствительно, важными нуждами государства. Переходя къ этому наиболѣе щекотливому обоснованію запретительныхъ мѣропріятій, я прежде всего спросилъ бы, въ чемъ заключаются положительные интересы государства въ отношеніи своихъ гражданъ? Конечно, въ томъ, чтобы эти граждане или обыватели—какъ кому угодно—исправно платили подати, проливали, гдѣ требуется, свою кровь и вообще исполняли всѣ предписанныя закономъ государственныя повинности; въ этомъ, и только въ этомъ, и заключаются дѣйствительныя, реальныя требованія государства къ своимъ гражданамъ. Мѣшаетъ ли отдѣльность языка и развитіе собственной литературы какой-нибудь народности болѣе или менѣе исправно уплачивать причитающіяся съ нея подати, проливать кровь и т. п.? Нѣтъ, не мѣшаетъ, что, между прочимъ, достаточно убѣдительно доказывается и настоящими событіями на востокѣ, гдѣ всѣ народности несутъ одинаково тяжелыя жертвы. Въ этомъ и вся суть государственныхъ задачъ и интересовъ, такъ какъ сказкамъ о сепаратизмѣ не вѣрять, должно быть, даже и тѣ, кто временами къ нимъ прибѣгаетъ съ цѣлью пошутить, кого слѣдуетъ, финляндской, польской, украиннофильской или еще тамъ какой интригой. Вѣдь отъ добра добра не ищутъ, это—общее правило и всѣмъ людямъ одинаково свойственная черта. Наоборотъ, не менѣе общимъ правиломъ можно считать и обратное положеніе, а именно, что неосновательныя стѣсненія естественныхъ влеченій въ состояніи лишь вызвать поиски того добра, въ которомъ данному лицу отказано: сепаратизмъ питается лишь стѣсненіями, является послѣдствіемъ ихъ, а отнюдь не причиной. Въ неоднократно цитированной мною запискѣ министра Головинна, бывшаго свидѣтелемъ примѣненія ограничительныхъ мѣръ въ 40-хъ годахъ къ Финляндіи, содержится очень любопытное на этотъ счетъ замѣчаніе. „Я былъ тогда, — пишетъ министр, — свидѣтелемъ негодованія, которое возбудила эта мѣра въ лицахъ, самыхъ преданныхъ правительству, которыя оплакивали оную, какъ политическую ошибку. Враги правительства радовались этому распоряженію, ибо оно приносило большой вредъ самому правительству“ *). Нечего и говорить, что одинаковыя причины всегда и вездѣ производятъ одни и тѣ же послѣдствія.

Но гдѣ же еще можетъ быть искомый Молохъ, которому вѣдь жертвы всетаки приносятся? Неужели только въ жалкомъ и пустомъ тщеславіи по поводу того, что количество говорящихъ русскимъ языкомъ увеличилось на десятокъ, сотню или даже тысячу человекъ? Если это такъ, то стоить ли ради такихъ пустяч-

*) Лемке М.—Эпоха цензурныхъ реформъ, стр. 306.

ныхъ результатовъ практиковать массу стѣсненій и лишать много-милліонное населеніе свободнаго обнаруженія своихъ силъ? Едва ли эта малоцѣнная овчинка стоить выдѣлки, не говоря уже о томъ, что плохую услугу оказываютъ русскому языку его неумѣренныя поборники, дѣйствуя насиліемъ, и, конечно, великій, по выраженію Тургенева, русскій языкъ въ подобныхъ услугахъ никогда не нуждался и не нуждается.

Итакъ, хотя загадочная картинка съ надписью „гдѣ Молохъ?“ нами въ концѣ концовъ и разгадана, но самого Молоха, при всей реальности приносимыхъ ему жертвъ, въ наличности не оказывается, въ какомъ-нибудь реальномъ воплощеніи онъ не существуетъ, — это не болѣе, какъ фантомъ, созданный разстроеннымъ воображеніемъ нѣкоторыхъ потомковъ Аракчеева. Украинскій народъ сталъ жертвой прискорбной ошибки, фатальнаго недоразумѣнія, которыя длятся, однако, слишкомъ долго, уже въ теченіе нѣсколькихъ десятковъ лѣтъ поглощая въ значительной степени духовныя силы страны и вызывая все новыя и новыя осложненія. Запретительныя мѣры по отношенію къ украинской литературѣ, какъ и множество другихъ, всецѣло относятся къ числу такихъ, „которыя не принося никакой существенной пользы тѣмъ, ради которыхъ это дѣлается, вмѣстѣ съ тѣмъ наносятъ огромныя лишенія людямъ, къ которымъ онѣ примѣняются“ („Русскія Вѣдомости“, 1904 г., № 271), по глубоко справедливому замѣчанію бывшаго министра внутреннихъ дѣлъ, кн. Святополкъ-Мирскаго. Но не принося никому никакой пользы, подобныя мѣры наносятъ неисчислимый вредъ и при томъ не только тѣмъ, къ кому онѣ примѣняются, но и тѣмъ, ради кого это дѣлается, подобно тому какъ рабство въ одинаковой степени развращаетъ и раба, и господина. Добро бы еще, если бы эти никому ненужныя и для всѣхъ вредныя ограничительныя и запретительныя мѣры оказывались въ самомъ дѣлѣ дѣйствительными, а то вѣдь и въ этомъ отношеніи онѣ доказали уже полное свое безсиліе и вовсе не привели къ искорененію украинской литературы. Выводъ отсюда можетъ быть только одинъ: отиѣна исключительнаго положенія, созданнаго распоряженіемъ 1876 г. для украинской литературы, какъ и вообще всѣхъ подобныхъ мѣръ, представляется прямо необходимою въ общихъ интересахъ. Существуетъ въ нѣкоторыхъ сферахъ предразсудокъ, что считаться въ такихъ случаяхъ съ необходимостью и сознавать свои ошибки—значить ронять свой престижъ, обнаруживать слабость власти, и этотъ предразсудокъ часто стоитъ на дорогѣ къ хорошимъ цѣлямъ. Нечего и говорить, насколько онъ не основателенъ: сознанныя ошибка уже перестаетъ быть ошибкой, такъ какъ за сознаніемъ слѣдуютъ мѣры къ исправленію и устранинію ея печальныхъ послѣдствій. Вѣдь не надо забывать, что *scripta manent, semper manent, in secula seculorum*, и что на основаніи этихъ не подверженныхъ тлѣнію и уничто-

женію scripta historia — рано ли, поздно ли — но непременно вынесетъ свой нелицепріятный приговоръ...

Сергій Ефремовъ

Брандмейстеръ Осиповъ.

Красавецъ мужчина въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ — ему всего 42 года. Владѣлецъ капитальнаго трехъэтажнаго дома въ Житомирѣ. Привлеченъ къ суду „по соучастію въ поджогахъ съ корыстными цѣлями“ — за плату въ нѣсколько сотъ рублей. Когда онъ говоритъ свое „последнее слово“ присяжнымъ засѣдателямъ, публика замѣтно взволнована. Многие плачутъ. Но улики несомнѣнны, и судъ выносить приговоръ: трехгодичная каторга.

Въ отзывѣхъ печати, далеко не дружелюбно настроенной къ подсудимому, весьма ясно сквозила сочувственная нотка: Приговоръ мягокъ, преступленія оцѣнены гораздо ниже ихъ дѣйствительной стоимости. Но осужденнаго — жаль. Это несомнѣнно талантливый человѣкъ, прекрасный работникъ, огневая натура. И лишь невыносимыя, проклятыя условія жизни развратили его, сдѣлали преступникомъ и привели къ фатальному концу.

Кто осужденный? Судя по газетнымъ сообщеніямъ, его отецъ въ раннемъ дѣтствѣ былъ отнятъ у семьи „мѣрами полиціи“, и на этомъ основаніи крещенъ и названъ „кантонистомъ“. По имени восприемника, ему дали фамилію: „Осиповъ“. Сынъ этого Осипова, Иларіонъ, мальчикомъ попалъ въ Кіевъ. Повидимому, у него не было ни родныхъ, ни пристанища, ни, разумѣется, хлѣба. Здѣсь, въ 1880 г., его впервые судили за кражу пальто. Судъ призналъ воровство доказаннымъ. И, такимъ образомъ, 18-лѣтній Иларіонъ Осиповъ, сынъ кантониста по происхожденію и мѣщанинъ по паспорту, превратился въ „извѣстнаго полиціи вора“.

Кличка: „извѣстный воръ“, т. е. записанный въ участковыхъ книгахъ, весьма часто употребляется полицейскими протоколами. И весьма немногіе знаютъ, въ какія исключительныя, интимныя отношенія къ полиціи ставить она человѣка, особенно, если этотъ человѣкъ обладаетъ нѣкоторымъ умомъ и острою наблюдательностью. Съ одной стороны, попавшій въ списки воровъ, хотя бы изъ-за нужды и голода, всецѣло зависитъ отъ полиціи: она вольна допустить его къ честному труду, но вольна и не допускать. Съ другой — прежде чѣмъ сдѣлаться „воромъ“, человѣкъ такъ или иначе соприкасался съ „преступной средой“, знаетъ ее и можетъ, въ случаѣ надобности, сдѣлать полезныя для сыска указанія.

Въ рефератахъ о гомельскомъ процессѣ упоминался, между прочимъ, нѣкій свидѣтель Мурашко. Собственно въ „погромное дѣло“ онъ не внесъ ничего, особо примѣчательнаго. Но въ показаніяхъ его есть характерная подробность. Онъ, видите ли, „недавно находился подъ судомъ за кражу“, а затѣмъ „по порученію полиціи ходилъ опознавать евреевъ, которые производили „русскій погромъ“, т. е. совершалъ одинъ изъ важнѣйшихъ актовъ предварительнаго слѣдствія.

Такого же рода свидѣтель выступалъ въ декабрѣ 1904 г. по дѣлу нѣкоего Кривуши. Фамилія этого свидѣтеля — Голлендеръ. Въ 1897 г., если вѣрить его собственнымъ словамъ, онъ отсиживалъ свой срокъ въ тюрьмѣ, а раньше былъ сыщикомъ. Въ настоящее же время онъ — „агентъ кіевскаго сыскаго отдѣленія“.

Забывая значительно впередъ, приведу аналогичный случай изъ житомирскаго процесса.

Въ Житомирѣ Осиповъ „завѣдывалъ“, между прочимъ „сыскаными агентами“. Въ числѣ сыщиковъ былъ какой-то Рейхисъ, „отъявленный воръ и мошенникъ“, „принесшій населенію, какъ выразился Осиповъ, много пользы“. Объ этомъ Рейхисъ свидѣтель Константиновъ, помощникъ пристава 1 части, показалъ слѣдующее:

— Онъ былъ заподозрѣнъ въ кражѣ и арестованъ. Но вскорѣ я освободилъ его по просьбѣ Осипова. Въ тотъ же день Осиповъ позвалъ меня къ себѣ въ гости. Не зная расположенія комнатъ, я попалъ не въ общую гостиную, а въ какую-то другую комнату. И вдругъ вижу Рейхиса, голаго, растрепаннаго... Я шарахнулся въ сторону и поспѣшилъ выйти. Навстрѣчу шелъ Осиповъ. Онъ сказалъ мнѣ, что пригласилъ Рейхиса для полученія разныхъ свѣдѣній...

Нѣтъ резона удивляться легкости, съ какою совершается переходъ отъ званія: „извѣстный полиціи воръ“ къ должности: „агентъ сыскаго отдѣленія“. Рейхисы, по нѣкоторымъ соображеніямъ, незамѣнимы. Имъ нечего терять, они готовы идти, куда угодно, и ни къ чему не обязываютъ, ибо ихъ чрезвычайно удобно возвращать въ „первобытное состояніе“, т. е. въ тюрьму. И только свойственная Осипову осторожность побудила его примѣнить къ новому подчиненному крайнюю мѣру пресѣченія — раздѣтъ до гола.

Въ началѣ своей карьеры Осиповъ также побывалъ въ шкурѣ Рейхиса. Наказаніе за кражу почему-то миновало его, и почти тотчасъ послѣ суда онъ оказывается писцомъ въ канцеляріи кіевскаго предводителя дворянства. Это — первая загадка въ исторіи Осипова: какъ извѣстно, на службу въ предводительскія канцеляріи люди принимаются лишь послѣ очень тщательныхъ справокъ о прошломъ, а справки даетъ прежде всего полиція... Такихъ загадокъ мы потомъ встрѣтимъ не мало.

Въ качествѣ писца, Осиповъ дѣлаетъ рядъ подлоговъ на почтовыхъ денежныхъ повѣсткахъ. Установлено, что по 6 повѣсткамъ съ подложными подписями ему удалось получить деньги. И въ 1881 г., все еще несовершеннолѣтній, Иларіонъ Осиповъ вновь „предстаетъ предъ зеркаломъ суда“ и приговаривается къ 8-мѣсячному тюремному заключенію. На этотъ разъ, если не ошибаюсь, онъ наказаніе отбылъ.

Затѣмъ мы видимъ Осипова на разныхъ поприщахъ: онъ то числится на службѣ въ кievской бойнѣ, то состоитъ подъ судомъ за клевету, но связей своихъ съ полицейскими сферами не теряетъ, и, нѣсколько лѣтъ спустя, ему удается получить крупное повышеніе по службѣ: его назначаютъ урядникомъ въ Уманскій уѣздъ. Конечно, въ его служебный формуляръ не вносится ни судимость за кражу, ни тюрьма за подлоги. Въ виду заслугъ, извѣстныхъ, разумѣется, не намъ, а начальству, „все прежнее“ было, такъ сказать, предано забвенію.

II.

Есть остроумная народная басенка, какъ одинъ котъ задумалъ въ монахи поступить.

— Котъ Василій,—спрашивала мышь изъ норки,—ты постригся?

— Постригся, Евангеліе, постригся...

— И поскимился?

— И поскимился...

Мышь обрадовалась и выбѣжала изъ норы. Котъ ее спалалъ.

— Схимникъ Василій,—пищала мышь,—вспомни: тяжкій грѣхъ тебѣ скоромиться...

— Я и не скоромлюсь,—отвѣтилъ котъ.— Я разслѣдую, не ѣла ли ты хозяйскаго сала.

Въ этомъ отвѣтѣ кота, который, не взирая на иноческій санъ, мышку во здравіе скушалъ, весьма тонко подмѣчена бытовая черта, уцѣлѣвшая отъ временъ стародавнихъ по нынѣшній день. Ради иллюстраціи рѣшаюсь еще разъ уклониться въ сторону и напомнить негромкое, но заслуживающее вниманія „судебное дѣло“. Разсматривалось оно 31 октября 1903 г. въ екатеринославскомъ уѣздномъ сѣздѣ.

Мѣщанинъ Стародубцевъ заочно называлъ полицейскаго пристава с. Запорожья-Каменскаго г. Сытина „хабарникомъ“. Приставъ возбудилъ дѣло по обвиненію въ клеветѣ. Пропутешествовавъ по разнымъ инстанціямъ, дѣло попало въ сѣздъ. Свидѣтели Стародубцева съ рѣдкимъ единодушіемъ показывали, что г. Сытинъ беретъ взятки.

— Когда не было денегъ,—говорилъ, напримѣръ, торговецъ Пастуховъ,—я давалъ Сытину вещами. Такъ: два покрывала, а

черезъ полгода два ковра, черезъ годъ еще два ковра, штуку клебнки и 8 аршинъ сѣраго кастора на шинель, черный сатинъ на мундиръ и 18 аршинъ шелкового муару, рыбу изъ Москвы, да еще двѣ ковровыя дорожки,—etc.

Сѣздъ выслушалъ показанія, однако нашелъ, что для него, какъ „судебно-административнаго учрежденія“, „голословныя показанія свидѣтелей“ убѣдительною силы не имѣютъ. По мнѣнiю сѣзда, занесенному въ приговоръ, „доказать лихонмство пристава Сытина Стародубцевъ могъ лишь представленiемъ такого судебного приговора, коимъ бы Сытинъ былъ признанъ виновнымъ въ лихонмствѣ, или опредѣленiе начальства по сему предмету“.

На этомъ основанiи Стародубцевъ былъ признанъ виновнымъ въ клеветѣ (по 136 ст. уст. о наказ.) и приговоренъ къ высшей мѣрѣ наказанiя, т. е. къ трехмѣсячному аресту.

Для человѣка, который не принадлежитъ къ сословію котовъ, живущихъ среди мышей, такое рѣшенiе непонятно. Онъ, пожалуй, изумится даже:

— Зачѣмъ въ такомъ случаѣ сѣздъ затруднялъ себя допросомъ свидѣтелей?

Между тѣмъ, мотивы сѣзда, при всей ихъ юридической необоснованности, не лишены своеобразной логики. Представьте, что приставъ Сытинъ далъ тому же, къ примѣру, Пастухову „въ морду“. Это дѣйствiе можетъ быть разсматриваемо или какъ „драка“, или какъ общерусская форма внушенiя. Пастуховъ, которому больно, естественно склоненъ считать полученную имъ плеху дракой. Но, разумѣется, „судебно-административное учрежденiе“ совершенно не можетъ согласиться съ потерпѣвшимъ, ибо установить субъективные признаки, какими различается драка отъ внушенiя полномочно лишь начальство Сытина, а не какой-то Пастуховъ, лицо, безусловно, частное.

Точно такъ же и относительно „муаровъ“, „сатиновъ“, „ковровыхъ дорожекъ“ и пр. предметовъ. Безспорно, они могутъ быть взяткой. Но могутъ быть и общепринятою въ Россiи данью почтенiя и преданности полицейскому начальству. Обыватель, по неумѣстности своему, пожалуй, скажетъ: „взятка“. Но не можетъ же сѣздъ, самъ себя называющiй „судебно-административнымъ учрежденiемъ“, руководиться самованною „квалификацiей“ какого-нибудь Пастухова или Стародубцева. Различiе между взяткой и данью преданности весьма тонко. Уловить его можетъ лишь начальство, а въ случаяхъ, когда и начальство сомнѣвается, судебная палата.

Эти взгляды „судебно-административныхъ учреждений“ Осиповъ постигъ въ совершенствѣ и слѣдовалъ имъ безукоризненно. Приступая къ исполненiю обязанностей урядника, онъ былъ уже окончательно сложившимся человѣкомъ. Его „лексиконъ“ состоялъ наполовину изъ словъ, отъ которыхъ, какъ кто-то фигурально

выразился, стыдливо разбѣгались даже собаки. Но Осиповъ употреблялъ эти слова лишь при объясненіяхъ съ „мужичьемъ“, дабы укоренить въ простонародѣ уваженіе къ власти. Съ „людьми почище“ онъ и разговаривалъ деликатнѣе. Поэтому его считали не „сквернословцемъ“, но человекомъ, который умѣетъ энергически объясняться съ обывателями.

Осиповъ не стѣснялся дать „въ морду“. У него даже оказалась своеобразная страсть допрашивать арестованныхъ и „особенно съчъ“. „Не одна нагайка—передаютъ „Одес. Нов.“—была имъ истребана о голыя спины подозрѣваемыхъ“. Его еще въ чинѣ урядника постигло „несчастье“, какъ выразилась та же одесская газета: „онъ кого-то побилъ, а тотъ взялъ и умеръ отъ побоевъ“. Однако, Осиповъ не преступалъ тѣхъ крайнихъ предѣловъ, за которыми урядницкая расправа начинаетъ приводить въ содроганіе самыхъ закоренѣлыхъ „администраторовъ“. Поэтому трупъ убитаго былъ просто преданъ землѣ, какъ жертва роковой случайности, въ которой никто не виноватъ. Гдѣ пьютъ, тамъ и льютъ; гдѣ внушаютъ, тамъ и до смерти забиваютъ. Противъ этого естественнаго закона вещей ничего не подѣлаешь.

У Осипова сложилась привычка жить широко, съ такимъ комфортомъ, на какой не хватало не только скромнаго жалованья урядника, но и обычной дани обывательскаго почтенія. Словомъ, это былъ такой же урядникъ, какъ и многіе другіе, выдѣлявшійся изъ толпы лишь своею энергіею, распорядительностью, расторопностью, да широтою натуры. Казалось, судьба готовила ему рядъ дальнѣйшихъ повышеній по службѣ и въ заключеніе мирную смерть въ должности исправника или полиціймейстера. Но, на бѣду Осипова въ югозападномъ краѣ сохранились еще, кромѣ „судебно административныхъ учрежденій“, учрежденія просто еудебныя.

Случилось такъ, что Осипову подъ руку попали деньги, которыя надо было передать какому-то крестьянину Славиковскому. Осиповъ поступилъ съ ними достаточно ловко, чтобъ дѣло не напоминало откровенную кражу. Но все-таки получилась „незаконная выемка“. „Выемка“, сверхъ чаянія, огласилась, попала въ судъ. А судебныя власти, вмѣсто того, чтобъ прекратить эту „непріятность“, дали ей законный ходъ.

Видимо, возмущенный постороннимъ вмѣшательствомъ, и желая поддержать престижъ администраціи, бывшій кievскій губернаторъ Томара немедленно далъ Осипову повышение по службѣ, т. е. назначилъ „и. д. помощника полицейскаго пристава города Умани“. Губернаторское заступничество настолько окрило Осипова, что онъ, въ порывѣ усердія, ужъ слишкомъ неосторожно и бурно подвергъ аресту, между прочимъ, мѣщанина Хайкельсона и попалъ подъ судъ по новому „дѣлу о заключеніи подъ стражу безъ всякихъ достойныхъ уваженія причинъ“.

Со стороны судебных властей это вышло еще „нелактично“: изъ-за какого-то „жида“ подрывалось уваженіе къ правительственному чиновнику. Г. Томара выступилъ вторично и направилъ Осипова съ лестнымъ рекомендательнымъ письмомъ къ волынскому губернатору Трепову. Блестящая аттестація заранѣе обеспечивала радушный приѣмъ, и, такимъ образомъ, Осиповъ получилъ новое повышение — сдѣлался помощникомъ полицейскаго пристава губернскаго города Житомира.

Здѣсь онъ довольно быстро завязалъ сердечно-дружескія отношенія съ полиціймейстеромъ Насвѣтовымъ. И, какъ игрокъ, которому вскружило голову слѣпое счастье, сталъ играть „во все“, не стѣсняясь.

Но сначала нѣсколько словъ о Насвѣтовѣ.

III.

По словамъ „Кіевской Газеты“ *), Насвѣтовъ началъ полицейскую службу въ Житомирѣ человекомъ весьма скромныхъ достатковъ. Черезъ 15 лѣтъ, въ 1903 г., онъ былъ отстраненъ отъ должности, по распоряженію генералъ-губернатора.

Мнѣ лично, при разговорѣ съ житомирцами, приходилось слышать сравненія между Насвѣтовымъ и бывшимъ радомскимъ полиціймейстеромъ Кириченкомъ, который въ свое время сумѣлъ совмѣстить званіе „начальника полиціи“ съ обязанностями атамана организованной шайки воровъ и въ концѣ концовъ ухитрился таки попасть подъ судъ по обвиненію въ 670 преступленіяхъ.

Думаю, однако, что эти сравненія не выдерживаютъ критики. Начать съ того, что служба Насвѣтова протекала безъ трагическихъ эффектовъ; и оставилъ онъ ее довольно мирно, собственникомъ нѣсколькихъ крупныхъ имѣній, общую стоимость которыхъ сотрудникъ „Южн. Зап.“ опредѣляетъ до 1.000.000 руб. Правда, противъ Насвѣтова, когда онъ былъ полиціймейстеромъ, возбуждались судебныя дѣла „о незаконномъ приобрѣтеніи имѣній“. Но это не помѣшало ему утвердиться въ правахъ собственности. Приказъ же объ увольненіи его „Кіев. Газета“ ставила въ причинную связь съ „недостачей довольно порядочной суммы денегъ“, по поводу которыхъ прислана была въ Житомиръ изъ Кіева „особая ревизіонная коммиссія“. Куда недостающее дѣлось, пополнено ли, и кѣмъ—это невзвѣстно. Однако Насвѣтовъ безпредѣленно живетъ на покой, мирно поживая плоды трудовъ своихъ. Значитъ, и съ этой стороны между нимъ и Кириченкомъ очень мало общаго.

Онъ быстро оцѣнилъ способности Осипова и посовѣтовалъ

*) № 232, 1903 г.

ему оставить гласное прохождение полицейской службы и сделаться брандмейстером. Советъ этотъ обнаруживается въ Насвѣтовѣ и осторожность, и житейскую сообразительность. Положеніе полицейскаго чиновника, состоящаго подъ судомъ, въ достаточной мѣрѣ шатко. Какъ бы медленно ни шло предварительное слѣдствіе, и какъ бы ни снисходительны были судьи, все же рано или поздно рѣшеніе должно состояться. При самомъ счастливомъ исходѣ дѣло закончится приговоромъ объ отстраненіи отъ должности. И тогда что? Гораздо благоразумнѣе воспользоваться тактикой генерала Дитятина: когда ему на маневрахъ поручили провезти обозъ незамѣтно для „непріятеля“, онъ блестяще выполнилъ задачу... за три дня до начала маневровъ.

Въ этомъ смыслѣ должность брандмейстера — сущій кладъ. Съ одной стороны, она яко бы полицейская, а съ другой — яко бы не полицейская. Такъ что, если судъ будетъ наставлять: „отрѣшите такого-то полицейскаго чиновника“, имѣется полное основаніе отвѣтить:

— Такой-то чиновникъ отрѣшенъ за 3 года до приговора и нынѣ состоитъ брандмейстеромъ.

Впослѣдствіи такъ оно и случилось. Осиповъ, какъ умный человекъ, понялъ Насвѣтова и принялъ его предложеніе. Но, разумѣется, его чисто полицейская служба не прекратилась:

— Ко мнѣ, — съ гордостью говорилъ онъ на судѣ, — обращалась и полиція, обращалось и жандармское управленіе, обращался и бывшій прокуроръ. Я по ночамъ не спалъ, ведъ политическіе розыски.

Кромѣ завѣдыванія сыскнымъ отдѣломъ и посильныхъ трудовъ по охранному отдѣленію, Осиповъ былъ произведенъ въ базарные старосты и въ старосты извозчиковъ, состоялъ кассиромъ по благотворительному сбору съ театралныхъ билетовъ. Исполнялъ и экстренныя порученія: „за дешевую цѣну покупалъ дичь для важныхъ обѣдовъ“, отыскивалъ „спеціалистовъ по стрижкѣ болонокъ“, продавалъ лоттерейные билеты (однажды въ два дня выручилъ 500 р.) и вообще оказывалъ помощь благотворительнымъ дамамъ, побуждалъ населеніе къ „торжественнымъ встрѣчамъ высокопоставленныхъ лицъ“ *)... Занимался и другими дѣлами, но о нихъ рѣчь впереди.

Какія узы соединяли Насвѣтова съ Осиповымъ, въ подробностяхъ уяснить трудно. „Южн. Зап.“ глухо упоминаютъ, что „лихорадочная полицейско-коммерческая дѣятельность (Насвѣтова) захватила и Осипова“. Т. е., надо догадываться, Осиповъ помогалъ своему начальнику заниматься „скупкою и перепродажею имѣній“. Какъ ни облегчены административныя спекуляціи исключительными законами о земельной собственности въ юго-

*) „Южн. Зап.“.

западномъ краѣ, какъ ни быстро наиболѣе проворные администраторы становятся здѣсь собственниками обширныхъ помѣстій, но, конечно, расторопный помощникъ, вроде Осипова, не можетъ быть лишнимъ. Къ сожалѣнію, печатю слишкомъ мало выяснено, какую именно помощь оказывалъ Осиповъ своему начальнику въ этомъ дѣлѣ.

Нѣсколько опредѣленнаго указанія „Кіев. Газ.“. Распоряжаясь городскимъ пожарнымъ фуражемъ, Осиповъ „выращивалъ насвѣтовскихъ свиней“ и лошадей. Въ городской пожарной кузницѣ Насвѣтову дѣлались и ремонтировались, по распоряженію Осипова, фаэтоны, брички, бѣгунки... Изъ числа пожарныхъ служителей Осиповъ снабжалъ Насвѣтова поваромъ, кучеромъ, мамкой (?) и нянькой (?), которымъ платилъ жалованье городъ. Но эти услуги — несомнѣнно, мелочь: Насвѣтовъ могъ имѣть ихъ и отъ всякаго другого брандейстера.

Къ разряду такихъ же мелочей надо отнести „исторію“, рассказанную „Одес. Нов.“. Но она гораздо характернѣе и заслуживаетъ, чтобы на ней остановиться подробно.

IV.

Обнаружился „какой-то недостатокъ какихъ-то общественныхъ денегъ“. „Недостатокъ“ былъ безспоренъ, и канцелярія лишь никакъ не могли сосчитать, сколько именно не хватаетъ. То выходило больше, то меньше. И чѣмъ усерднѣе работали писцы, тѣмъ неопредѣленнѣе становилась сумма.

Не умѣю объяснить, произошло ли это отъ оплошности цензоровъ, или по другой причинѣ, но въ газетахъ появились „намеки“. Возникла „опасность огласки“. Подсчетомъ недостающихъ денегъ надо было торопиться. Нѣкоторымъ лицамъ, а въ томъ числѣ и Насвѣтову, грозила непріятность.

И вотъ тутъ Осипову пришла въ голову блестящая, хотя и не новая мысль. Ее когда-то использовалъ, между прочимъ, попечитель казанскаго учебнаго округа Магницкій. Какъ извѣстно, онъ объявлялъ себя спасателемъ отечества отъ вольномыслія и, ради торжества православія и самодержавія, требовалъ „публично разрушить“ вѣранный его попеченію казанскій университетъ. И лишь въ послѣдствіи, когда Магницкій запутался въ престолонаслѣдственныхъ осложненіяхъ 1825 г., открылось, что спасатель отечества есть мелкій плутъ. Крики о вольнодумствѣ помогали ему незамѣтно красть казенныя деньги.

Магницкій былъ уволенъ высочайшимъ приказомъ безъ прошенія и давнымъ-давно почіетъ въ гробу. Но методъ его живъ и весьма остроумно использованъ Осиповымъ.

Въ минуту, когда дѣло о недостаткѣ общественныхъ денегъ

приняло наиболее острые формы, у Осипова вдруг оказался на лицо оркестръ *балалаечниковъ*: понимаете—„національный великорусскій инструментъ“. Музыканты, правда, изъ пожарныхъ, но одѣты „въ національные великорусскіе костюмы“: на каждомъ—плосовые штаны, кумачевая рубаша и шапка временъ тишайшаго царя Алексѣя Михайловича. Ну, словомъ, „маскарадъ“ почти такой же, какъ и въ капеллѣ „знаменитаго русскаго баяна“ г. Агренева-Славянскаго. Начальству, разумѣется, не надо было объяснять, что осиповскіе балалаечники представляютъ „серьезный обрусительный факторъ для пограничной волынской окраины“. И этотъ „факторъ“ созданъ находчивымъ брандмейстеромъ прямо таки изъ ничего—засчетъ какихъ-то „остатковъ общественныхъ суммъ“, тѣхъ самыхъ, о которыхъ шла безплодная переписка въ канцеляріяхъ.

Сразу стало ясно, что житомирское „дѣло о недостаткахъ“ совершенно аналогично пошехонскому недоразумѣнію по поводу пропавшихъ рукавицъ, которыя за поясомъ. Конечно, оно тотчасъ прекратилось. Осиповъ за его „чисто-русскую инициативу“ получилъ благодарность, а балалаечники стали предметомъ особыхъ заботъ начальства. Оркестръ, со своимъ основателемъ во главѣ, назначался въ командировки, уѣзжалъ на гастроли въ Бердичевъ. Доктринеры скажутъ, что должность брандмейстера обязывала Осипова безвыѣдно жить въ Житомирѣ, но вѣдь надо же понимать, что, когда предъ нами „широкая и плодотворная задача обрусенія края“, тогда... etc.

Надо ли говорить, что житомирскіе граждане получили наибольшую порцію обрусительной музыки? Оркестръ сдѣлался необходимой принадлежностью „лѣтняго сада“. И начальство, нужно полагать, искренно радовалось, видя, какое высоко-художественное наслажденіе испытываетъ публика по случаю „Камаринскаго мужика“, „Барыни“ и другихъ истинно-русскихъ мотивовъ, исполняемыхъ на истинно русскомъ инструментѣ: „аплодировать—поясняютъ „Одес. Нов.“—было почти обязанностью“.

Балалаечникамъ платилось по 10—15 рублей за вечеръ изъ средствъ „городскаго общественнаго управленія“. Оно и послѣдовательно: разъ такое высоко-патріотическое предпріятіе возникло на общественныя деньги, поддерживать его надо тоже за счетъ общественный. Для сбора добровольныхъ пожертвованій на оркестръ выставлена была даже кружка. Впрочемъ, изъ нея однажды Осиповъ удосужился вытащить деньги. Куда онѣ дѣлись—неизвѣстно... Во всякомъ случаѣ исторія о балалаечникахъ свидѣтельствуетъ, до какой степени брандмейстеръ былъ разносторонне-полезный Насвѣтову человѣкъ.

V.

Съ своей стороны, и Насвѣтовъ оказывалъ подчиненному многочисленныя услуги. Сначала скажу нѣсколько словъ о „мелочахъ“.

Какъ я уже упоминалъ, на Осипова было возложено „взимать благотворительный сборъ съ театральныхъ билетовъ“, этимъ онъ воспользовался для разныхъ коммерческихъ дѣлишекъ подъ предлогомъ служенія „богинѣ Мельпоменѣ“. Онъ участвовалъ даже въ качествѣ пайщика въ постройкѣ одного изъ частныхъ театровъ. По случаю прїѣзда Шалыпина, самолично сѣлъ въ кассу продавать билеты. „Публика ломилась въ театръ. За билеты платили втрое больше“, и всетаки сборъ оказался неполнымъ — „недоставало нѣсколькихъ сотъ рублей“ *). Осипову высказали по этому поводу удивленіе.

— Возмутительный городъ! — согласился онъ. — Помилюйте: Шалыпинъ не взялъ полного сбора! Только въ Житомирѣ можетъ это случиться...

Въ этомъ остроумномъ отвѣтѣ вопросъ о недостаткѣ денегъ въ кассѣ, разумѣется, потонулъ.

Самое вниманіе благотворительнаго сбора дало богатую пищу для анекдотовъ. Между прочимъ, въ моментъ ареста у Осипова, въ печкѣ нашли много пепла отъ свѣже сожженной бумаги. На вопросъ прокурора, откуда этотъ пепелъ, Осиповъ объяснилъ еуду:

— Я завѣдывалъ контролемъ билетныхъ корешковъ въ городскомъ театрѣ и въ театрѣ „Аркадія“. Послѣ каждого спектакля я отбиралъ корешки и передавалъ ихъ полиціимейстеру, который просматривалъ ихъ и возвращалъ мнѣ, а я сжигалъ ихъ.

Ну, а разъ Насвѣтовъ котролировалъ Осипова, безъ анекдотовъ обойтись трудно.

За услуги по выкормкѣ свиней и лошадей, полиціимейстеръ не требовалъ, чтобы пожарные находились при обозѣ. Наоборотъ, онъ самъ откомандировалъ ихъ „на разнаго рода работы по благоустройству“ Народнаго сада, Житнаго базара и др. мѣстъ. Деньги за эти работы получалъ, конечно, Осиповъ, а пожарнымъ за сверхъ-урочныя обязанности милостиво выдавалось „на чай“. Когда Насвѣтову жаловались на такія дѣла, онъ „только улыбался добродушно *), словно говоря:

— Какіе пустяки!

Къ разряду „пустяковъ“ относится и то, что житомирскіе „базарные торговцы и торговки до сихъ поръ вспоминаютъ съ ужа-

*) „Одес. Нов.“.

**) „Кіевск. Газ.“.

сомъ“ поставленнаго надъ ними полиціей старосту Осипова. „Пустяки“ и не меньшій ужасъ извозчиковъ, которыхъ Осиповъ, по долгу биржевого старосты, избивалъ немилосердно.

Но вотъ не „пустяки“, даже съ полицейской точки зрѣнія: Житомиръ нѣсколько лѣтъ назадъ былъ посѣщенъ великимъ княземъ Владиміромъ Александровичемъ. Посѣтитель осмотрѣлъ, въ числѣ другихъ учрежденій, пожарную команду и пожертвовалъ въ ея пользу 60 рублей. Деньги вручены были Осипову и по этой причинѣ дѣлись неизвѣстно куда. Пожарные пожаловались. Сумма, правда, небольшая, ни въ какое сравненіе съ доходами отъ концерта Шаляпина и другихъ побочныхъ статей идти не можетъ, но источникъ ея обязывалъ полицію „выполнить патріотическій долгъ“ и „принять строжайшія мѣры“.

Насвѣтовъ, „выполняя патріотическій долгъ“, всѣ зависящія отъ него средства употребилъ, чтобы дѣло о великокняжескихъ деньгахъ не попало въ судъ. Имъ, наряду съ прочими жалобами на Осипова, занялась какая-то „особая коммиссія житомирскаго губернскаго правленія“. Въ день разбора, 12 февраля 1902 г., полиціймейстеръ „выступилъ въ качествѣ свидѣтеля“ и „самоотверженно стоялъ за своего подчиненнаго“ *). Роль защитника и свидѣтеля ему блестяще удалась, и сейчасъ мы увидимъ, до какой степени благопріятенъ для Осипова былъ приговоръ „особой коммисіи“.

Спустя 3 мѣсяца послѣ ея засѣданія, состоялся приговоръ судебной палаты по одному изъ до житомирскихъ дѣлъ. Осиповъ былъ приговоренъ къ отрѣшенію отъ должности, опредѣленіе палаты вошло въ законную силу и было сообщено житомирскому начальству. Начальство „приняло къ свѣдѣнію“ и только. Тогда прокуроръ сталъ требовать исполненія приговора, но, по словамъ свидѣтеля Яновицкаго, нынѣшняго житомирскаго полиціймейстера, „исполненіе долго тормозилось... Объ этомъ хлопотали Насвѣтовъ и губернаторъ“. Наконецъ, вмѣшался старшій предсѣдатель судебной палаты, и пришлось „отрѣшить“, но, какъ свидѣтельствуетъ тотъ же г. Яновицкій, „по ходатайству губернатора“, Осиповъ былъ немедленно принятъ на службу „по вольному найму“. Онъ остался по прежнему брандмейстеромъ, лекомейстеромъ, балаалаймистеромъ, базармейстеромъ и проч., и проч., и проч. Администрація исполнила приговоръ въ точности, но на бумагѣ.

А пока шла переписка между палатой и полиціей, возникло новое „дѣло“—опять по жалобѣ пожарныхъ. Собственно, пожарные многократно пытались жаловаться и въ большинствѣ случаевъ „по поводу мордобитія“. Объ этомъ сообщалось Осипову, Осиповъ немедленно урезонивалъ смутьяна, т. е. прогонялъ со

*) „Кіев. Газ.“, № 232, 1903 г.

службы и не платилъ жалованья, чѣмъ, обыкновенно, жалобы и ограничивались. Но на этотъ разъ указывались неурядицы по хозяйственной части. Городская управа рѣшилась „разслѣдовать“ и открыла слѣдующее.

Городъ выдавалъ содержаніе 57 пожарнымъ служителямъ. Въ натурѣ ихъ оказалось 45, включая и тѣхъ, которые приставлены были исключительно для домашнихъ услугъ полиціи-мейстеру Насвѣтову. Такъ какъ каждому пожарному полагалось въ мѣсяцъ жалованья 12 р., то „безгрѣшный доходъ“ брандмейстера составлялъ ежемѣсячно 144 р., а въ годъ до 1.800 р. Но не все получали полное жалованье. Большинству Осиповъ платилъ 7, 8, 9 иногда 11 руб.

„Овесъ покупался щедро, но пожарныя лошади имѣли такое же представленіе о немъ, какъ слѣпой о солнцѣ“ *). За то свиной заводъ Насвѣтова откармливался очень жирно.

Лошадей на бумагѣ покупали каждый годъ. Въ дѣйствительности, все лошади оказались старыя. Въ пожарной кузницѣ изготовлялись экипажи не только Насвѣтову, но и Осипову и др. лицамъ. За чей счетъ покупался матеріалъ для этихъ экипажей, — „выяснить не удалось“. Все извозчичьи лошади, по распоряженію Осипова, подковывались въ той же пожарной кузницѣ. Это должно бы давать доходъ, но такового не было.

Не лишена интереса подробность, о которой говорилъ на судѣ, какъ свидѣтель, поставщикъ фуража для пожарныхъ лошадей г. Перминовъ:

— Я, — показывалъ онъ, — обнаружилъ подлогъ со стороны Осипова. Онъ написалъ подложную квитанцію, что я ему долженъ 952 руб. Я привлекъ его къ отвѣтственности..

Но чѣмъ кончилось это дѣло, г. Перминову не удалось узнать. Оно „не найдено“, хотя, по удостовѣренію суда, „слушалось въ административномъ засѣданіи и было прекращено“. Докладъ о результатахъ разслѣдованія былъ составленъ и „положенъ подъ сукно“. Въ печати о немъ не могло появиться свѣдѣній, потому что Осиповъ былъ „persona gratissima для мѣстной газеты“, какъ выразились „Южн. Записки“. Городской голова и гласные какъ бы не рѣшались касаться столь деликатнаго [дѣла. Причины понять не трудно. Во-первыхъ, это было бы бесполезно: если старшій предсѣдатель судебной палаты не добился исполненія приговора, то что-же могло сдѣлать „городское общественное управленіе“? А во-вторыхъ, „трогать“ Осипова было вообще не безопасно.

Мы подходимъ къ наиболѣе характерному штриху осиповской эпопеи — къ дѣятельности „по раскрытію преступленій уголовныхъ и политическихъ“.

*) „Одес. Нов.“

VI.

Какъ приводились Осиповымъ житомирскіе жители къ отбыванію политической повинности, не выяснено ни судомъ, ни газетами. Судомъ потому, что Осиповъ былъ обвиняемъ лишь въ поджогахъ, которые, по административной терминологіи, не имѣютъ отношенія къ „охраненію государственной безопасности и общественнаго спокойствія“. Въ печати же лишь проскользнули глухіе намеки, что кулака брандмейстера не слишкомъ различали разницу между „мордой“ политической и „мордой“ уголовной.

Правда, въ Житомирѣ и даже въ Кіевѣ ходитъ много легендъ. Рассказываютъ, напр., что одного жандармскаго офицера Осиповъ, искореняя, по его порученію, крамолу, сумѣлъ лишить разныхъ мелкихъ золотыхъ и серебряныхъ вещей,—въ общей сложности рублей на 300, при чемъ, по одной версіи, кражу совершилъ самъ Осиповъ, а по другой—его агенты. Но, конечно, на достоверность изустныхъ преданій положиться трудно. Основательнѣе предположить, что въ анекдотахъ, передаваемыхъ „на ушко“, дѣйствительность сильно прикрашена, если не извращена.

Гораздо болѣе извѣстно, какъ Осиповъ „раскрывалъ уголовныя преступленія“. На этой сторонѣ суду поневолѣ пришлось остановиться, такъ какъ Осиповъ, въ качествѣ брандмейстера и по соглашенію съ домовладѣльцами, бралъ на себя лишь общую организацію поджоговъ, поджигали же, по его указаніямъ, полицейскіе сыщики и шпіоны.

Одного сыщика я уже упоминалъ. Это—Рейхисъ, арестованный по подозрѣнію въ кражѣ и освобожденный отъ суда и наказанія лишь потому, что его услуги понадобились Осипову. По словамъ прокурора, этотъ Рейхисъ „даже весьма похожъ“ на одного изъ поджигателей.

Другого, Мармерштейна, Осиповъ на судѣ характеризировалъ такими словами:

— Отъявленный воръ и мошенникъ, босаякъ, шарлатанъ и еутенеръ... Не составлять протокола о немъ за поджогъ я, дѣйствительно, просилъ, потому что Мармерштейнъ обѣщалъ отслужить...

Мармерштейнъ отзывался объ Осиповѣ по существу такъ же, но въ выраженіяхъ, гораздо болѣе почтительныхъ. Однажды онъ у свидѣтеля Бебчука занялъ рубль, но на слѣдующій день возвратилъ деньги и сказалъ:

— Больше я уже не буду нуждаться. Я буду богатымъ: я буду агентомъ Осипова.

— Я,—рассказывалъ г. Бебчукъ на судѣ,—сталъ убѣждать его

не связываться съ Осиповымъ: попадешь на каторгу, а онъ будетъ въ сторонѣ.

— Осиповъ?!—отвѣтилъ Мармерштейнъ.—Осиповъ сила! Осиповъ все можетъ!..

Слѣдователю же онъ говорилъ, что Осиповъ, поручая поджигать дома, совѣтовалъ „побольше вытягивать денегъ...“ Последнее приказаніе Мармерштейнъ выполнялъ въ точности и даже обворовывалъ домовладѣльцевъ прежде, чѣмъ учинить поджогъ.

Были еще названы на судѣ сыщики Гендлеръ и Шендеръ. Но о нихъ извѣстно лишь, что Осиповъ пытался давать имъ изъ тюрьмы письменныя инструкціи, какъ и о чемъ надо показывать на предварительномъ слѣдствіи.

Но, разумѣется, у завѣдывающаго сыскнымъ отдѣломъ было не только четыре помощника. Достаточно упомянуть свидѣтельское показаніе тюремнаго надзирателя Садовскаго:

— Арестанты жаловались, что Осиповъ забиралъ себѣ львиную долю, а имъ не давалъ почти ничего.

Понятнѣе говоря, — назначеніе житомирскихъ агентовъ было не только въ томъ, чтобы поджигать. Вообще сыскная дѣятельность Осипова напоминаетъ исторію о двухъ братьяхъ-цыганахъ: одномъ — благочестивомъ, а другомъ — бродягѣ. Братья были смертельными врагами. Бродяга шатался неизвѣстно гдѣ, а благочестивый усердно молился Богу и обладалъ чудеснымъ даромъ—безошибочно указывать, гдѣ спрятана уворованная лошадь или украденное изъ клѣтки добро... Агенты Осипова крали. Они же и находили похищенное. Это на житомирскомъ языкѣ называлось: „раскрывать преступленія“.

Частью уворованное находилось—и за это Осиповъ получалъ отъ начальства признательность; частью исчезало... за то Осиповъ, нисколько не стѣсняясь, торговалъ сапогами, самоварами, перстнями, простыми и драгоценными камнями и другими вещами, „происхожденія неизвѣстнаго“, но по цѣнѣ дешевой.

Отнюдь не слѣдуетъ предполагать, будто въ Житомирѣ только и воровъ было, что сыщики Осипова. Находились, конечно, предприниматели - одиночки, не принадлежавшіе къ организаціи. Такихъ конкурентовъ Осиповъ любилъ ловить и въ особенности—допрашивать. Нѣтъ надобности подробно говорить о выбитыхъ при этомъ зубахъ, изуродованныхъ членахъ и пролитой крови... Словомъ, тюрьма была полна обиженными или при допросѣ, или при дѣлѣхъ добычи. И Осипова, когда ему пришла пора самому „сѣсть въ замокъ“, понадобилось прятать: арестанты съ полною откровенностью заявляли, что они желаютъ усясть „лиходѣя“ и въ цѣляхъ добраться до него устроили даже „два серьезныхъ бунта“. Самъ Осиповъ умолялъ присяжныхъ помиловать его, потому что обвиненіе будетъ равносильно смертному приговору:

— Вѣдь арестанты меня убьютъ,—говорилъ онъ.

Характеръ сыскныхъ дѣлъ Осипова не былъ тайной и для вѣнцюремныхъ жителей Житомира. Это видно уже изъ показанія г. Бебчука, который предупреждалъ Мармерштейна, что знакомство съ Осиповымъ закончится каторгой. Другой свидѣтель, г. Перминовъ объяснилъ суду:

— Я часто видалъ Осипова среди своры жуликовъ и зналъ, что онъ коноводъ всѣхъ мошенниковъ.

А товары, которые продавалъ Осиповъ, покупали всѣ.

— Я самъ одинъ разъ купилъ, — признался нынѣшній полиціймейстеръ Яновицкій. — И Насвѣтовъ покупалъ. И полковникъ Аршеневскій „примѣрялъ въ театрѣ кольцо“, которое продавалъ брандмейстеръ.

Секретарю городской полиціи, г. Златковскому, Осиповъ „разъ два показывалъ“ свои товары, а Насвѣтовъ, покупавшій эти товары, даже „упрекалъ Осипова и предлагалъ ему лучше заниматься своимъ дѣломъ, чтобы про него не *распространяли разныхъ темныхъ слуховъ*“. Значить, „слухи“ доходили и до полиціймейстера... почему онъ не пожелалъ расслѣдовать ихъ — это загадка. На судѣ прокуроръ предложилъ г. Яновицкому вопросъ:

— И вы находили нормальнымъ, что Осиповъ торговалъ?

— Да, находилъ, — отвѣтилъ г. Яновицкій: — Осиповъ былъ очень дѣятеленъ, времени было много, и онъ наполнялъ досуги...

На первый взглядъ можетъ показаться страннымъ: полиціймейстеръ предлагалъ „заниматься своимъ дѣломъ“, котораго, кстати, у Осипова было слишкомъ много, а помощникъ полиціймейстера „находилъ“, что Осипову надо хоть чѣмъ-нибудь „наполнить досуги“... Противорѣчіе, однако, легко объяснить.

Нельзя сомнѣваться, что Осиповъ занимался сыскомъ. Объ этомъ свидѣлствуетъ и самъ онъ, и обвинительный актъ, и „частныя лица“, и полицейскіе чины. Такъ, секретарю полиціи Златковскому извѣстно, что „большая часть раскрытій преступленій сдѣлана Осиповымъ“, что Насвѣтовъ зналъ сыскныхъ агентовъ, что Осипову было „поручено заниматься сыскомъ“, такъ какъ „онъ слылъ энергичнымъ человекомъ“. Приставу 1 части Куярову тоже „извѣстно“, что „Осипову Насвѣтовъ поручалъ раскрытіе преступленій“. „Извѣстно“ это и помощнику пристава Константинову и т. д. Тѣмъ не менѣе, нынѣшній полиціймейстеръ Яновицкій официально удостовѣрилъ, — и это письменное удостовѣреніе было оглашено судомъ послѣ совершенно ясныхъ свидѣтельскихъ показаній — что, во-первыхъ, сыскаго отдѣленія въ Житомирѣ не существуетъ, а во-вторыхъ, „содѣйствовалъ ли Осиповъ раскрытію преступленій и сдѣлалъ ли онъ какія-нибудь раскрытія, — полицейскому управленію неизвѣстно“...

Секретъ въ томъ, что сыскаго отдѣла въ Житомирѣ суще-

ствуешь „негласно“. Это бываетъ: недавно „Придѣлпр. Край“ обнаружилъ въ Бердянскѣ такое же негласное „отдѣленіе по раскрытію преступниковъ“. О немъ „официально“ сдѣлалось извѣстно, лишь когда бывшій главный сыщикъ изнасиловалъ въ участкѣ дѣвушку и, не смотря на всѣ принятія начальствомъ мѣры, попалъ подъ судъ. Но въ Житомирѣ ни Осиповъ, ни его агенты въ качествѣ сыщиковъ къ суду не привлекались. Значить, „негласное“ не могло сдѣлаться „гласнымъ“, и потому полицейское управленіе, нисколько не насилуя своей канцелярской совѣсти, сумѣло удостовѣрить, что ему „ничего неизвѣстно“.

Въ рѣчи прокурора, напечатанной „Волинью“, это удостовѣреніе совершенно игнорировано, какъ чересчуръ ужъ „официальное“. Но г. Яновскій игнорировать не могъ. Памятуя о своей официальной бумагѣ, онъ поневолѣ забылъ объ исполненіи брандейстеромъ Осиповымъ такихъ обязанностей, которыя даже отдаленнаго касательства къ пожарному дѣлу не имѣютъ.

Нужно, однако, замѣтить, что „удостовѣреніе“, состряпанное житомирскою полиціей, есть существенно необходимый для нея актъ. Вѣдь если бы она признала сыское отдѣленіе, то рядъ обнаруженныхъ на судѣ фактовъ обязывалъ администрацію возбудить новыя дѣла, а это могло привести лишь къ новымъ неприятностямъ и осложненіямъ. Значить, долгъ службы понуждалъ прибѣгнуть къ такому же тактическому приему, какой примѣненъ былъ къ послужному списку Осипова: въ этомъ документѣ оказался записаннымъ лишь приговоръ судебной палаты, и ни однимъ словомъ не упоминались подлоги и кражи. Причину понять легко: правда, подлогъ и кража признана судомъ, но они должны быть „официально неизвѣстны“, потому что иначе самое нахожденіе Осипова на гласной полицейской службѣ противорѣчило бы канцелярской этикѣ.

VII.

— Бывало, увижу Осипова возлѣ какого-нибудь дома,—показывалъ свидѣтель Перминовъ,—и ужъ знаю, что завтра здѣсь будетъ пожаръ. Объ этомъ, кромѣ меня, зналъ помощникъ брандейстера Шпаковский. Я говорилъ члену городской управы и гласнымъ: „вотъ они, наши защитники, каковы“!... Я говорилъ Осипову: „смотрите, попадетесь“. А онъ мнѣ предлагалъ: „сожгите, говорить, свои домики“...

Эта общая характеристика интересно дополнена показаніями свидѣтелей-пожарныхъ:

„Осиповъ часто приказывалъ разрушать постройки во время тушенія пожаровъ. Иногда такія разрушенія производилъ уже по прекращеніи пожара“. Былъ и такой случай: „когда горѣлъ

смоляной заводъ, еврей за угломъ далъ брандмейстеру деньги, и тогда воротили пожарныхъ и стали ломать“. „Иногда онъ прекращалъ поливку горѣвшаго зданія, какъ бы съ цѣлью дать ему охлыѣе разгорѣться. А иногда, оставляя въ покоѣ горѣвшее зданіе, приказывалъ поливать сосѣднія постройки“. „Часто ломали мебель, картины, зеркала, выбрасывали ихъ изъ оконъ, когда въ комнатахъ не было и слѣда огня“. Осиповъ съ большимъ раздраженіемъ говорилъ: „эти сукинны сыны, охотники, не дадутъ никогда сгорѣть дому“.

Подъ „охотниками“ разумѣются дружинники вольно-пожарнаго общества.

„Однажды, когда обогъ мчался на пожаръ, гдѣ въ послѣдствіи обнаружены были явные признаки умышленнаго поджога, Осиповъ вдругъ остановилъ всѣхъ и нѣсколько минутъ бранилъ пожарныхъ за то, что они допустили охотника съѣсть на линейку, хотя это всегда разрѣшалось и разрѣшается вольнопожарнымъ“. „Бывали случаи, что на пожарахъ заставляли бензинъ, керосинъ и послѣ этого горѣвшее зданіе ломали“...

Всего пожаровъ, на которыхъ Осиповъ дѣйствовалъ загадочно, прокуроромъ насчитано 11. Это на основаніи судебного слѣдствія; повидимому, полиція знаетъ ихъ больше. Слѣды поджоговъ, болѣе или менѣе явныхъ, обнаруживались весьма нерѣдко. Полицейскіе чины приступали къ разслѣдованію, возгорались дѣла, такъ сказать, и затѣмъ почему-то „гасли“, исчезая невѣдомо куда.

На пожарахъ часто присутствовалъ Насвѣтовъ и самъ губернаторъ. Осиповъ всячески старался доказать, что горѣвшіе дома ломались „по приказанію начальства“. Отпосительно губернатора это ему мало удалось, но и прокуроръ согласился, что „въ одномъ случаѣ“ поломка производилась, дѣйствительно, по приказанію полиціймейстера. Даже до крайности осторожному г. Яновицкому „одинъ разъ“ показалось, что напрасно разрушали стѣну“.

Только „показалось“!.. „Официально“ же ничего не было извѣстно, и Осиповъ, пожалуй, до сихъ поръ служилъ бы по вольному найму, если бы не досадное, но совершенно случайное обстоятельство.

Житомирскій житель и отставной подполковникъ Абрамовичъ выстроилъ себѣ домъ. Подрядчикъ не сумѣлъ потратить на его вкусъ. Абрамовичъ былъ очень недоволенъ постройкой; собирался продать ее, но покупателей не находилось. Какъ-то на вокзалѣ онъ, встрѣтившись съ Осиповымъ, замѣтилъ:

— Вотъ хорошіе дома горятъ, а моя дрань не горитъ.

— А вы хотите, чтобъ вашъ домъ сгорѣлъ? — спросилъ Осиповъ.

— Отчего-жъ не хотѣть! — отвѣтилъ Абрамовичъ, но тутъ ему

надо было садиться въ вагонъ. И на этомъ разговоръ прекратился.

Затѣмъ Абрамовичъ съѣздить, куда требовалось. Вернулся въ Житомиръ и, спустя нѣкоторое время, снова встрѣтился съ Осиповымъ. Теперь брандейстеръ заговорилъ первымъ:

— Наступила зима,—сказалъ онъ,—самое удобное время. Пора бы и приступить...

Абрамовичъ, если вѣрить ему, долго не соглашался, но Осиповъ сумѣлъ убѣдить его, что отъ поджога никто, кромѣ страхового общества, не пострадаетъ,—это, во-первыхъ. А во-вторыхъ, отъ Абрамовича ничего не требуется, кромѣ согласія: подожгутъ другіе. За всю „работу“ брандейстеръ назначилъ 25 рублей поджигателю и 500 руб. себѣ. Абрамовичъ торговался и, наконецъ, порѣшили на слѣдующемъ: 200 р. въ моментъ заключенія договора авансомъ, а 300 р. по полученіи страховой преміи.

Тогда Абрамовичъ повысилъ страховку съ 5000 до 8000 руб., и, дѣйствительно, отъ него „ничего больше не потребовалось“. Только разъ въ присутствіи Осипова ему послышался въ сосѣдней комнатѣ шорохъ. Онъ хотѣлъ было посмотреть, что тамъ такое, но Осиповъ его остановилъ:

— Тамъ готовятъ, —объяснилъ онъ.

Въ заранѣ назначенный срокъ, ночью 16 февраля 1903 г. произошелъ пожаръ. Онъ оказался не изъ удачныхъ и былъ скоро потушенъ. Обнаружились явные слѣды поджога, полиція начала „дѣло“, но оно, по обыкновенію, „умерло“. Абрамовичъ безирепятственно получилъ „премію“, соразмѣрно убыткамъ,—3590 р., однако жаловался и помощнику брандейстера („жуликъ вашъ Осиповъ“), и самому брандейстеру.

— Паршиво,—соболезновала Осиповъ.—Вижу, что паршиво... Ну, ничего. Мы это поправимъ. Изъ Вильны выпишемъ поджигателя: артистъ своего дѣла!..

Неожиданно Абрамовичъ получилъ предложеніе „сочинить“ второй поджогъ—отъ „помощника агента второго російскаго страхового общества Азріеля Гроссмана“. Старикъ, больной и не совсѣмъ нормальный психически, Абрамовичъ передалъ объ этомъ брандейстеру. Осиповъ ничего не имѣлъ „противъ такой комбинаціи“:

— Хорошо, дѣйствуйте, а я помогу. Послѣ вы мнѣ заплатите рублей 100—150.

Не лишено интереса, что между нѣкоторыми страховыми агентами и Осиповымъ, повидимому, существовали довольно дружественныя отношенія: агенты Плотницкій и Меерсонъ „представляли его даже къ наградамъ за успѣшное тушеніе пожаровъ“. А по словамъ „Одес. Нов.“, однажды Осиповъ, встрѣтивъ въ театрѣ сотрудника „Волины“, сказалъ ему:

— Знаете, мнѣ предлагаютъ агентуру по страхованію отъ

огня. Вотъ, если бѣ мы съ вами вмѣстѣ стали работать, такъ сказать—печатать и брандмейстеръ!.. Вѣдь кучу денегъ нагрѣбли бы.

Абрамовичъ принялъ предложеніе Гросмана, и тотъ прислалъ къ нему въ качествѣ поджигателя... сыщика Мармерштейна. Мармерштейнъ выманивалъ у „клиента“ деньги, потомъ просто обокрасть его. Въ концѣ концовъ Абрамовича совершенно сбили съ толку, и онъ, не шутя, сталъ подозрѣвать, что всѣ эти Мармерштейны, Гросманы, Осиповы — не что иное, какъ „шайка социалстовъ“. Последнему слову отставной подполковникъ русской службы, повидимому, такъ же придавалъ сугубо страшный смыслъ, какъ гомельскій исправникъ слову: „демократы“.

„Отправляю заказнымъ, — между прочимъ, писалъ Абрамовичъ своей „незаконной“ женѣ Еленѣ Трояновской, — а то перечатать письмо, если они, дѣйствительно, „соціалисты“.

Однако, „приготовленія“ были закончены. Абрамовичу дожили, что „все готово“, и онъ уѣхалъ на время въ Бердичевъ.

Въ его отсутствіе, часовъ около 11 вечера 5 іюня домъ загорѣлся. Но... тутъ и произошло то непредвидѣнное обстоятельство, которое погубило Осипова: надо же было случиться, что едва начавшійся въ комнатахъ запертаго и пустаго дома пожаръ привлечь вниманіе вышедшаго въ это время изъ своей квартиры полицейскаго чиновника Куркушевскаго.

Куркушевскій обнаружилъ должную распорядительность: немедленно послалъ за пожарными, выломалъ двери и вбѣжалъ внутрь. Всюду было разбросано сѣно и спички, слышался сильный запахъ керосина. Огонь только что разгорался, и его удалось тотчасъ затушить „домашними средствами“. Куркушевскій сталъ „обезпечивать доказательства поджога“, какъ вдругъ вспыхнулъ чердакъ сразу въ двухъ мѣстахъ. Какъ разъ въ эту минуту прибыли пожарные. Брандмейстеру оставалось лишь немедленно прекратить огонь и „констатировать“, что и на чердакѣ кто-то сдѣлалъ обширныя приготовленія къ поджогу.

Возникло, такимъ образомъ, новое дѣло. Вполнѣ вѣроятно, что оно такъ же прекратилось бы, какъ и прежнія; по крайней мѣрѣ, Насвѣтовъ не очень интересовался имъ и лишь упрекнулъ дружески Осипова:

— Въ результатъ вашей безтактности (!) является много недовольства.

Досадно было, что мѣстная газета неудавшійся пожаръ описала правильно, но и это бы не бѣда. Бѣда въ томъ, что Абрамовичъ и его жена оказались совершенно неподготовленными къ поджигательскимъ операціямъ. Газетное сообщеніе такъ подѣйствовало на Елену Трояновскую, что она явилась къ судебному слѣдователю и рассказала, по какой причинѣ возникъ первый пожаръ 16 февраля, и по какой — второй. Такъ же поступилъ и

мужъ: онъ немедленно вернулся въ Житомиръ и прямо съ вокзала поѣхалъ къ слѣдователю „съ повинною“, т. е. подтвердилъ и дополнилъ еще неизвѣстное ему показаніе Трояновской... „Шило“ получилось такое, котораго ни въ какомъ „мѣшкѣ“ не спрячешь.

Осторожнѣе другихъ поступилъ Азріель Гросманъ. Пронюхавъ, что „клиентъ опростоволосился“, онъ благоразумно ретировался въ Кишиневъ. Трояновская не замедлила сообщить объ этомъ слѣдователю, тѣмъ не менѣе Гросманъ „скрылся и не разысканъ“. Гдѣ онъ находится—„неизвѣстно“ даже полиціи, и дѣло объ его участіи въ поджогахъ „выдѣлено въ особое производство“.

Но Осиповъ продолжалъ гордо разъѣзжать по городу. Кажется, онъ еще вѣрилъ въ свою „звѣзду“, и какъ знать, быть можетъ, у него на это имѣлись основанія. Въ сущности переговоры о поджогѣ велись очень тонко: они были извѣстны лишь Абрамовичу, но Абрамовичъ — обвиняемый, ему надо выгораживать себя. Могла знать кое-что Трояновская, но она тоже заинтересованное лицо: „сожительница обвиняемаго“. Много зналъ Гросманъ, но онъ „скрылся“. Зналъ Мармерштейнъ и прочіе агенты, но за ихъ скромность можно было ручаться, да и самъ Мармерштейнъ не тревожился и такъ же спокойно обиталъ въ Житомирѣ, какъ и его патронъ. Наконецъ, у Осипова были другія средства устранить свидѣтелей, если бы таковые нашлись. Средства эти оказались дѣйствительными даже тогда, когда Осиповъ сидѣлъ въ тюрьмѣ. Въ чемъ они заключались—скоро увидимъ.

Впрочемъ, на всякій случай, онъ приказалъ Мармерштейну: „Немедленно сообщи мнѣ, если тебя арестуютъ“, и тѣмъ пока ограничился. Удара ждать было неоткуда. Не могъ же Осиповъ предполагать, что онъ, скромный брандмейстеръ, который служить „по вольному найму“, будетъ устраненъ отъ должности телеграфнымъ приказомъ самого генераль-губернатора. Ибо гдѣ видано, чтобы брандмейстеры назначались или увольнялись по распоряженію высшей въ краѣ власти. А если это и случается, то въ общезнакомомъ и разъ навсегда опредѣленномъ порядкѣ: генераль-губернаторъ запроситъ губернатора, губернаторъ—полиціймейстера... Пока этихъ предварительныхъ сношеній не было, значить—особо беспокоиться не о чемъ.

Увы! произошло именно полное нарушеніе „разъ навсегда установленнаго порядка“. Совершенно неожиданно, черезъ двѣ недѣли послѣ второго пожара въ домѣ Абрамовича, послѣдовалъ изъ Кіева приказъ отъ устраненіи Осипова, потомъ Насвѣтова. Осиповъ и Мармерштейнъ были заключены подъ стражу,—и мы вступаемъ въ окончательную и сплошную полосу загадокъ.

VIII.

Начать хотя бы съ Мармерштейна. Онъ, повторяю, былъ арестованъ, исправно содержался въ мѣстахъ предварительнаго заключенія, но на судъ полиція не могла его доставить: оказалось, „скрылся и не разысканъ“. Куда, какъ, почему, — „официально неизвѣстно“: обвинительная власть узнала объ исчезновеніи Мармерштейна уже въ судебномъ засѣданіи. Какъ водится, она неукоснительно приняла мѣры, т. е. ходатайствовала, чтобы дѣло е скрывшемся было „выдѣлено въ особое производство“. Конечно, ея ходатайство уважено, дѣло будетъ разсмотрѣно *ad calendarum graecae*: когда Мармерштейнъ отыщется...

Другой сыщикъ, Рейхисъ, также „скрылся и не разысканъ“. Итого исчезнувшихъ—трое, включая сюда и Гросмана. Все, какъ на подборъ, — лица, состоявшія въ интимныхъ отношеніяхъ съ полиціей и, несомнѣнно, имѣвшія что рассказать суду.

Много имѣлъ рассказать суду и помощникъ брандмейстера Шпаковский. Его оглашенные на судѣ показанія слѣдователю „Волянъ“ резонно назвала тяжкимъ обвинительнымъ актомъ противъ Осипова, но къ разбору Шпаковский явиться не могъ, но той вполне законной причинѣ, что онъ былъ отравленъ и умеръ. Какъ это случилось, пробовалъ объяснить свидѣтель Перминовъ.

— Я не могу, не могу!—говорилъ онъ, волнуясь и размахивая руками.—Шпаковский убитъ, отравленъ... Въ саду „Аркадія“ какой-то жуликъ подошелъ къ буфету...

„Тутъ Перминовъ былъ установленъ предѣдателемъ, который предложилъ не касаться этого вопроса“ *).

Справедливость требуетъ добавить, что, какова бы ни была смерть Шпаковского, она произошла мѣсяцевъ шесть спустя послѣ ареста Осипова. Осиповъ въ это время находился въ тюрьмѣ.

Кое-что можно бы узнать отъ Насвѣтова. Но за день до разбора дѣла въ „Волянѣ“ появилась замѣтка: „Главный свидѣтель, игравшій въ созданіи тайнъ города Житомира первенствующую роль, вѣроятно, не явится“.

Замѣтка оказалась пророческой: Насвѣтовъ, дѣйствительно, не явился. Судъ его оштрафовалъ на 25 руб., что, впрочемъ, для „владѣльца почти миллионнаго состоянія“ не такъ ужъ больно. Ижевка важныхъ свидѣтелей, обыкновенно, служитъ поводомъ отложить дѣло. Между прочимъ, по этой причинѣ тянется нѣсколько лѣтъ и никакъ не можетъ разрѣшиться процессъ бывшего помощника черкасскаго исправника Солчинскаго, обвиняемаго сразу по 6 статьямъ улож. о наказ. Освѣдомленные люди боятся,

*) „Волянъ“.

что Солчинскій и умереть, не дождавшись разбора. Но ему легко ждать: онъ на свободѣ. Осиповъ же безвыходно, съ 23 іюля 1903 г. по 29 октября 1904 г., сидѣлъ въ тюрьмѣ, и съ неудавшагося судебного засѣданія могъ быть отправленъ только въ тюрьму. Поэтому трудно допустить, чтобы Насвѣтовъ подвергся штрафу въ интересахъ своего бывшего подчиненнаго. А почему онъ предпочелъ не явиться, это—повторяю, загадка.

Свидѣтельница Елена Трояновская объясняла, по какой причинѣ она не рѣшалась заблаговременно сообщить начальству о предполагавшихся поджогахъ:

— Я боялась Гросмана и Осипова, такъ какъ меня, навѣрное, убили бы.

Къ разбору дѣла она вовсе было не явилась. Судъ распорядился „доставить ее приводомъ“. Доставили, но свидѣтельница на всѣ вопросы отвѣчала двумя словами:

— Ничего не помню...

Стали читать ея показанія на предварительномъ слѣдствіи. Она выслушала.

— Вы припоминаете?—спросилъ предсѣдатель.—Все ли такъ было?

— Кажется,—начала было Трояновская, но тотчасъ же поправилась:—не знаю, не помню...

Наконецъ, ее спрашиваютъ:

— Вы ничего не помните... А скажите, не было ли въ послѣдніе дни такого случая: не приходилъ ли къ вамъ кто нибудь и не уговаривалъ ли измѣнить показанія, данныя на предварительномъ слѣдствіи?..

— Нѣтъ.

— Не было?

— То есть, да... уговаривалъ...

— Что же онъ вамъ говорилъ?

— Не помню...

Вмѣшивается предсѣдатель:

— Кто просилъ васъ измѣнить показанія?

Трояновская молчитъ.

— Кто просилъ васъ не показывать?

— Нѣтъ... никто... не просилъ...

— Да вы первый пожаръ помните?

— Я ужъ говорила, что ничего не помню...

Чувствуется чья-то незримая рука, которая частью парализовала, частью затруднила роль суда. Кому-то, очевидно, кое-что известно объ этихъ внесудебныхъ вліяніяхъ... Но что именно? Судебное слѣдствіе опредѣленнаго отвѣта не даетъ. Остаются легенды, но онѣ ужъ слишкомъ во вкусъ „тайнъ мадридскаго двора“. Упомяну лишь одну, для примѣра. За часъ до ареста Осипова

отравилась его жена — говорят, стрихниномъ. Что побудило ее на этотъ шагъ, Богъ вѣсть, но легенда добавляетъ:

— Не отравилась, но ей дали сгрихнинъ, потому что много знала...

Это чудовищно, нелѣпо, отлично подтверждаетъ старую истину, что чѣмъ безмолвнѣе типографскіе станки, тѣмъ безпощаднѣе работаютъ языки...

Въ тюрьмѣ Осиповъ устроился не совсѣмъ плохо. Сначала его поселили даже въ собственномъ кабинетѣ смотрителя, и при томъ довольно комфортабельно. Потребовалось особое вмѣшательство прокурора, чтобы „съ мѣщаниномъ Осиповымъ“ поступлено было, какъ „съ обыкновеннымъ арестантомъ“, но и послѣ этого онъ имѣлъ возможность посылать свидѣтелямъ письменныя инструкции. Явилось какое-то таинственное „лицо“, которое „пожелало взять Осипова на поруки съ обезпеченіемъ въ 25.000 р.“. Установливались и давали себя чувствовать связи между Осиповымъ и его вѣнчуремными друзьями. Въ Житомирѣ не разъ возникали слухи, что „брандмейстеръ выпущенъ“, „брандмейстеръ на свободѣ“...

Но, быть можетъ, ни на чемъ съ такою очевидностью не сказалась тяжесть вѣсудебныхъ вліяній, какъ на результатахъ предварительнаго слѣдствія. Первоначально, если вѣрить газетнымъ извѣстіямъ, дѣло задумывалось, сравнительно, широко: возникало обвиненіе „въ соучастіи въ поджогахъ и укрывательствѣ краденаго“ *). Былъ произведенъ обыскъ въ квартирѣ Осипова. „Обнаружились въ значительномъ количествѣ какіе-то футляры отъ колець, браслетовъ, цѣпочекъ“... А послѣ 15-мѣсячной слѣдственной работы получилось всего лишь „обвиненіе въ склоненіи другихъ лицъ учинить поджоги дома Абрамовича“.

Но, конечно, даже обвинительный актъ не могъ выдѣлить одно событіе изъ общей массы служебныхъ подвиговъ Осипова: слѣдователю поневолѣ пришлось упомянуть и о другихъ поджогахъ, и о томъ, что дѣла о нихъ не начинались или прекращались, и что Мармерштейнъ, будучи сыщикомъ, былъ и поджигатель, и совершалъ кражи и пр. Еще меньше могло выдѣлить единичный фактъ гласное и состязательное судебное слѣдствіе. Чтобы доказать участіе Осипова въ двухъ лишь поджогахъ, понадобилось коснуться картины житомирскихъ пожаровъ вообще, упомянуть, что „подсудимый“ за 4 года службы на скромное жалованье брандмейстера сумѣлъ построить трехъэтажный домъ; потребовалось характеризовать и сыщиковъ, и отношенія между Осиповымъ и начальствомъ...

— Оставленіе Осипова на свободѣ,—говорилъ, напр., прокуроръ,—представляетъ серьезную опасность для общества, такъ

*) См., напр., „Нов. Время“ 24 іюля 1903 г.

какъ надѣяться на защиту со стороны высшего административнаго начальства общество не имѣетъ никакихъ основаній. Осиповъ обладаетъ способностью гипнотизировать начальство, которое вообще не замѣчаетъ его неправильныхъ дѣйствій...

— Но вѣдь меня,—возразилъ, на это Осиповъ,—не обвиняютъ во многихъ преступленіяхъ, меня обвиняютъ лишь въ одномъ дѣлѣ...

Какой выводъ отсюда сдѣлало житомирское общественное мнѣніе? Единственно возможный: спустя нѣсколько дней послѣ приговора суда, въ „Воляни“ появилась слѣдующая замѣтка:

„7 ноября вечеромъ по городу распространились слухи, что Осиповъ выпущенъ изъ тюрьмы и находится въ пивной Каца по Кіевской улицѣ. Прохожіе робко посматривали въ дверь это пивной, но войти туда не рѣшались. Слухъ о томъ, что Осипова въ концѣ концовъ освободятъ, очень прочно держится въ народѣ“..

Другими словами, обыватель убѣжденъ, что и на этотъ разъ „административное начальство“ поступило вопреки приговору суда. Въ переводѣ на парламентскій языкъ это означаетъ:

— Хоть Осиповъ и осужденъ, но „чиновныя власти“ въ Житомирѣ отнюдь не стали пользоваться большимъ довѣріемъ населенія.

Впрочемъ, такъ разсуждаютъ не въ одномъ Житомирѣ. Извѣстный кронштадтскій полиціймейстеръ Шафровъ тоже осужденъ. Однако, потребовалось увѣрить Россію, что онъ на службѣ по вѣдомству Краснаго Креста не состоитъ...

А. Петрищевъ.

Случайныя замѣтки.

Новая «Ковалевщина» въ Костромѣ. Понятное возбужденіе, вызванное въ русскомъ обществѣ „дѣломъ“ закаспійскаго генерала, далеко еще не улеглось, какъ уже несутся новыя извѣстія о подвигѣ того же характера, пожалуй, еще болѣе яркомъ. На этотъ разъ мѣстомъ дѣйствія являются уже не „чудные уголки“ подвѣдомственной генералу Усаковскому окраинной области, а центръ Россіи, гор. Кострома. Вотъ что пишутъ по этому поводу въ мѣстной подцензурной газетѣ „Костромской Листокъ“ *):

„Жизнь нашего города въ послѣдніе дни преподноситъ неожиданные сюрпризы, которые и безъ того уже запуганнаго и загнаннаго обывателя въ концѣ ошеломляютъ и

*) Заимствуемъ изъ „Южнаго Обозрѣнія“ отъ 15 дек.

вызываютъ вполне справедливыя нареканія и сѣтованія. „Сюрпризы“, прежде не выходившіе изъ стѣнъ ресторановъ и гостиницъ, завоевываютъ себѣ мѣсто въ общественныхъ собраніяхъ и мѣстныхъ учрежденіяхъ, какъ, напр., театръ, почта и т. п. Мы сообщали уже о происшествіи въ „Московской“ гостиницѣ. Вслѣдъ за этимъ мы получили письмо о подобномъ же случаѣ въ мѣстномъ почтовомъ отдѣленіи и, наконецъ, къ крайнему нашему сожалѣнію, должны отмѣтить возмутительный фактъ, имѣвшій мѣсто 5 декабря въ городскомъ театрѣ, глубоко взволновавшій все общество. Суть дѣла въ слѣдующемъ. Въ одномъ изъ антрактовъ въ городскомъ театрѣ по адресу прогуливавшейся съ юношей молодой дѣвушки однимъ изъ присутствовавшихъ была допущена какая-то пошлость. Вспыхнувшій отъ нанесеннаго дѣвушкѣ оскорбленія, юноша потребовалъ отъ оскорбителя извиненій, но, встрѣтивъ вмѣсто этого издѣвательство, ~~получивъ~~ извиненіе и попытку быть выдраннымъ за уши, далъ нахалу пощечину.

„Послѣ этого разыгралась безобразная сцена, когда чрезъ фойе и на дѣстницѣ театра бѣжалъ за юношей съ обнаженнымъ оружіемъ получившій пощечину; послѣднему, однако, не удалось догнать юношу, скрывшагося домой. Фактъ этотъ вызвалъ глубокое волненіе среди присутствующихъ въ театрѣ, при чемъ *нѣкоторые рѣшительно заявляли, что безъ оружія въ карманъ теперь нельзя никуда показаться*“.

Такимъ образомъ, здѣсь рѣчь идетъ уже не о единичномъ наеиліи: тутъ уже терроризированъ цѣлый городъ. Продолженіе этой изумительной исторіи, однако, еще поразительнѣе. Въ той же газетѣ напечатано извѣстіе о томъ, что, послѣ происшествія въ театрѣ, къ одному изъ представителей мѣстнаго общества, подъ предлогомъ дѣловыхъ объясненій, явился въ квартиру четыре офицера и нанесли ему грубое оскорбленіе. „Случай этотъ, — прибавляетъ газета, — стоящій въ связи съ цѣлымъ рядомъ прямыхъ безчинствъ, имѣвшихъ мѣсто за послѣднее время, какъ въ отношеніи беззащитныхъ стариковъ, такъ и дѣвушекъ изъ почтенныхъ семействъ, глубоко взволновалъ и возмутилъ мѣстное общество“. Другія газеты даютъ болѣе точныя указанія и комментаріи. Оказывается, что „четыре героя“, такъ храбро расправляющіеся со стариками, явились къ отцу того самого юноши, который заступился за дѣвушку въ театрѣ, съ чудовищнымъ требованіемъ: „прислать сына въ офицерское собраніе для порки (и) или — драться на дуэли“.

Итакъ, здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ однимъ закаспійскимъ генераломъ, а съ цѣлой группой военныхъ, съ цѣлымъ „офицерскимъ собраніемъ“ (неужели это правда?). Если вскрыть взгляды

которые сказались въ этомъ почти невѣроятномъ инцидентѣ, то получится слѣдующій своеобразный кодексъ поведенія:

1) Всякій офицеръ имѣть невозбранное право отпускать по адресу любой дѣвушки разныя „пошлости“ и оскорбительныя замѣчанія, при чемъ никто изъ близкихъ не въ правѣ заступиться за оскорбленную.

2) Если же кто-нибудь за нее заступится, то г. костромской офицеръ имѣть право надрать ему уши, а заступникъ не въ правѣ прибѣгнуть къ самооборонѣ физическими средствами.

3) Если онъ всетаки прибѣгнетъ къ самооборонѣ, и отпускающій пошлости офицеръ потерпитъ при этомъ уронъ, то послѣдній долженъ обнажить оружіе и убить противника.

4) Если и это не удалось, то уже офицерское собраніе (!) беретъ дѣло въ свои руки, и его посланцы избиваютъ беззащитныхъ стариковъ родственниковъ...

Этотъ силлогизмъ кажется намъ до того поразительнымъ, что мы ждали опроверженія; мы ждали, что въ газетахъ появится разъясненіе въ томъ смыслѣ, что хоть офицерское собраніе тутъ ни при чемъ. Вѣдь единственно разумный и единственно достойный выходъ для людей, понимающихъ, что значить слово *честь*, — состоялъ лишь въ немедленномъ очищеніи своей среды отъ проявленій хулиганства. Все послѣдующее въ этомъ безобразномъ происшествіи явилось естественнымъ послѣдствіемъ непристойнаго поведенія офицера, оскорбившаго дѣвушку. Въ этомъ и только въ этомъ, на взглядъ всякаго не ослѣпленнаго человѣка, могло состоять истинное оскорбленіе „корпорациі“. Честь корпорациі не въ кулакѣ и не въ полосѣ желѣза. Эта честь въ томъ, чтобы никто не могъ обвинить члена корпорациі въ безчестномъ поведеніи, роняющемъ достоинство всякаго порядочнаго человѣка. Разъ это можно сказать о данномъ членѣ корпорациі, — она уже оскорблена именно своимъ товарищемъ. И неужели общество офицеровъ въ Костромѣ держится иного взгляда? Неужели оно полагаетъ, что позоръ непристойнаго поведенія искупается успѣшной дракой, а возстановленіе чести корпорациі достигается тѣмъ, что вся она выражаетъ солидарность съ виновникомъ пошлаго скандала и требуетъ у отца выдачи сына на позоръ и изгнаніе въ своемъ „собраніи“.

Недавно въ „Руси“ было напечатано письмо генерала Кирѣева по поводу Ковалевскаго дѣла. „Онъ — не нашъ, — пишетъ ген. Кирѣевъ въ этомъ письмѣ, — разъ навсегда — не нашъ!“ *). Хотѣлось бы думать, что этотъ голосъ не останется одинокимъ, что и въ военной средѣ есть умы, не ослѣпленные столь чудовищно извращенными понятіями о сословной чести, и есть сердца,

*) „Русь“. Заимствуемъ изъ „Ниж. Листка“, отъ 21 дек. 1904 г.

способны биться негодованіемъ на подвиги Ковалевыхъ закаспійскихъ и Ковалевыхъ костромскихъ...

У насъ теперь много говорятъ, много пишутъ, много надѣются и много благодарятъ за обѣщаніе восстановленія „полной силы закона“, для всѣхъ доступнаго и для всѣхъ равнаго... Мы ждемъ съ величайшимъ интересомъ, въ какой формѣ и скоро ли почувствуютъ на себѣ эту „силу закона“ тѣ господа, которые полагаютъ, что оружіе дано имъ для того, чтобы безнаказанно оскорблять русскихъ дѣвушекъ и избивать въ „отечествѣ“ беззащитныхъ стариковъ. Вѣдь иначе — это уже полное разложеніе элементарныхъ гражданскихъ понятій, своего рода — „военная анархія“.

Вл. Кор.

В. И. Ковалевскій и семейное начало въ дворянскомъ банкѣ.

Имя В. И. Ковалевскаго, бывшаго товарища министра финансовъ, въ послѣднее время довольно часто мелькаетъ въ ежедневной прессѣ, въ связи съ разными мотивами болѣе или менѣе „судебно-юридическаго“ свойства. Въ самое послѣднее время, уже въ концѣ декабря, одна изъ саратовскихъ газетъ огласила прошеніе г-на Ковалевскаго, перепечатанное затѣмъ чуть не всѣми русскими газетами. Въ этомъ прошеніи рѣчь идетъ объ „уничтоженіи дара“. Вскорѣ послѣ появленія этихъ интересныхъ газетныхъ извѣстій, В. И. Ковалевскій обратился въ „Виржевыя Вѣдомости“ съ письмомъ, въ которомъ говоритъ, между прочимъ, — что его „семейныя отношенія, казалось бы, не могутъ быть предметомъ общественнаго интереса“ и что „опубликованіе прошенія, до разсмотрѣнія его на судѣ, представляется совершенно необычнымъ“.

Намъ кажется, что въ этомъ упрекѣ по адресу печати г-нъ Ковалевскій далеко не вполнѣ правъ. Разумѣется, до семейныхъ отношеній, чьихъ бы то ни было, печати, вообще говоря, дѣла мало, но... судебныя дѣла, хотя бы и на семейной подкладкѣ, по общему правилу становятся достояніемъ гласности. Что касается до „преждевременности“ опубликованія, то и это давно уже стало обычаемъ, и не совсѣмъ понятно, что В. И. Ковалевскій видитъ въ этомъ предосудительнаго. Всякая исковая просьба, подаваемая въ современный судъ, тѣмъ самымъ направляется къ оглашенію, такъ какъ не всегда же двери нашего суда закрываются передъ гласностью. Такимъ образомъ, оглашеніе исковаго прошенія до суда не представляетъ, въ сущности, ничего необычнаго, ничего такого, что подающій прошеніе могъ бы считать для себя непредвидѣнной неприємностью или нарушеніемъ своего права.

Разумѣется, сущность дѣла, заинтересовавшаго всю русскую печать, совсѣмъ не въ семейныхъ отношеніяхъ, и мы возьмемъ изъ него лишь тѣ черты, въ которыхъ эти отношенія неразрывно

переплелись съ общественной дѣятельностью бывшаго крупнаго администратора. А именно:

Въ августѣ 1898 года В. И. Ковалевскій приобрѣлъ крупное имѣніе, при чемъ, изъ какихъ то видовъ, довольно распространенныхъ въ бюрократической средѣ, въ которые мы, однако, входить не намѣрены, — имѣніе было приобретено на имя брата жены г-на Ковалевскаго, И. Н. Лихутина. Послѣдній, со стороны своей „общественной дѣятельности“, представляетъ фигуру тоже довольно яркую, а отчасти даже нѣсколько пеструю. Когда то, еще въ 70-хъ годахъ онъ судился по нечаевскому процессу, но съ тѣхъ поръ искупилъ сторипцею „заблужденіе молодости“ полезной дѣятельностью по „финансовой части“. Дѣятельность эта, хотя и не оффиціальная, была извѣстна многимъ и значительно способствовала процвѣтанію отечественной промышленности въ разныхъ ея отрасляхъ. Теперь онъ явился номинальнымъ владельцемъ огромнаго имѣнія („Полоцкое“), которое, какъ объявляетъ г. Ковалевскій, было куплено имъ (Ковалевскимъ) за 685 тыс. рублей, „скопленныхъ отчасти на долгой государственной службѣ, отчасти же благодаря его кредиту“... „При покупкѣ имѣнія на немъ, кромѣ долга нижегородско-самарскому банку, образовался еще долгъ срочный, до 1 февраля 1899 года“. Долгъ этотъ былъ погашенъ, благодаря ссудѣ въ 160 тыс. рублей, которыми г. Ковалевскаго любезно снабдилъ извѣстный нефтепромышленникъ Нобель. Этотъ долгъ, при всей любезной готовности подвѣдомственнаго министерству финансовъ Нобеля, разумѣется, не могъ не стѣснять г-на товарища министра финансовъ. И вотъ, „чтобы отдать долгъ и поставить имѣніе въ лучшія финансовыя условія (желаніе тоже вполне понятное), я началъ, — говоритъ В. И. Ковалевскій, — хлопотать о скорѣйшей выдачѣ ссуды подъ имѣніе изъ дворянскаго банка“. Тутъ, конечно, есть маленькая неточность: собственно „началъ хлопотать“, по крайней мѣрѣ формально, г-нъ Лихутинъ, такъ какъ для банка, какъ и вообще „для свѣта“, юридическимъ владельцемъ имѣнія былъ только г-нъ Лихутинъ. Къ сожалѣнію, г-ну Лихутину, не смотря на его финансовыя способности, ссуда была разрѣшена только въ суммѣ 377,100 рублей. Этого было достаточно для уплаты щекотливаго долга Нобелю, но мало „для улучшенія финансовыхъ условій имѣнія“. Тогда, — лаконически поясняетъ г-нъ Ковалевскій, — „въ моихъ интересахъ и благодаря моимъ заслугамъ на государственной службѣ“ ссуда повышена до 633 тысячъ. Кромѣ того, въ виду тѣхъ же заслугъ В. И. Ковалевскаго или, какъ говоритъ онъ самъ въ исковомъ прошеніи, „опять по указаннымъ выше причинамъ — совершеніе и утвержденіе купчей крѣпости (И. Н. Лихутинымъ, замѣтите!) совершено было безъ взысканія въ казну крѣпостной пошлины“... Этотъ фазисъ — самый, разумѣется, любопытный въ дѣлѣ, и тутъ-то становится особенно ясно

насколько г. Ковалевскій не правъ, полагая, что его „сѣмейныя отношенія“ ни въ какой мѣрѣ не интересны и не прикосновенны для общественной любознательности. Но вѣдь они такъ тѣсно переплелись съ мотивами банковыми, что... очевидно, подлежали точной банковской расцѣнкѣ, и г-нъ Лихутинъ, юридическій владѣлецъ, получаетъ двойную ссуду, благодаря заслугамъ... В. И. Ковалевскаго! Если судъ сумѣетъ вскрыть ту официальную форму, въ которой „заслуги В. И. Ковалевскаго“ явились въ правленіе банка въ качествѣ ходатаевъ для увеличенія ссуды И. Н. Лихутину, то, несомнѣнно, мы получимъ любопытную страничку изъ области не только патріархальныхъ семейныхъ отношеній, но также... патріархально-банковскаго уваженія къ семейнымъ узамъ высокопоставленныхъ лицъ.

Таково это небольшое дѣло, всплывшее на свѣтъ Божій во всей своей наивной непосредственности. Тѣмъ, что г. Ковалевскій съ такой подкупающей откровенностью рисуетъ передъ нами его характерныя особенности, мы опять обязаны чисто семейнымъ обстоятельствамъ. Финансовыя способности г-на Лихутина проявились на этотъ разъ въ нежелательномъ для В. И. Ковалевскаго направленіи. Тогда онъ „перевелъ имѣніе на жену“, а теперь пытается уничтожить судомъ этотъ „даръ“, вслѣдствіе неблагодарности его получившей...

Въ своемъ письмѣ въ „Биржевыя Вѣдомости“ г. Ковалевскій старается ослабить впечатлѣніе имъ же нарисованной картины. По его словамъ,—увеличеніе ссуды и сбавка крѣпостныхъ пошлинъ не представляютъ ничего особеннаго и необычнаго. „Газетами,—пишетъ онъ,—была подчеркнута выдача мнѣ ссуды подъ залогъ имѣнія въ значительно увеличенномъ размѣрѣ по всеподданнѣйшему докладу. Всеподданнѣйшій докладъ отнесенъ лишь къ повышенію ссуды на 15% (75% вмѣсто 60 проц. съ опѣнки)“. Тутъ, однако, является нѣкоторое недоумѣніе. Если И. Н. Лихутину ссуда разрѣшена была только въ 377.100 р., а затѣмъ она была „въ интересахъ и за заслуги В. И. Ковалевскаго“ повышена до 633.600 р., то, по простому арифметическому расчету, повышение это составляетъ не 15, а цѣлыхъ 69 процентовъ. Мы, разумѣется, не думаемъ, что В. И. Ковалевскій, опытный финансовый администраторъ, можетъ такъ грубо ошибаться въ расчетѣ. Вѣрнѣе, что тутъ мы имѣемъ дѣло съ результатами того парадоксальнаго положенія, въ которомъ г-нъ Ковалевскій очутился передъ задачей суда—съ одной стороны, и передъ лицомъ гласности—съ другой. Для суда нужно доказать фактическую принадлежность имѣнія самому просителю. И тутъ выступаютъ, какъ доказательство, его личныя заслуги, повысившія ссуду до размѣровъ, совершенно не доступныхъ для обыкновеннаго смертнаго И. Н. Лихутина. А передъ лицомъ гласности—вліяніе тѣхъ-же

заслугъ сокращается до размѣровъ, пожалуй, уже возможныхъ и для обыкновеннаго смертнаго.

Какъ бы то ни было, исковое прошеніе г-на Ковалевскаго вскрываетъ передъ нами любопытную черту нашей „финансовой внутренней политики“. Мы узнаемъ, что одной изъ задачъ дворянскаго банка является также „вознагражденіе заслугъ“ высоко-стоящихъ въ финансовой администраціи лицъ, и что въ своей дѣятельности это учрежденіе снисходитъ до котировки родствен-ныхъ отношеній фактическихъ закладчиковъ имѣній...

Было бы несправедливо „бросать за всю эту аферу упрекъ по адресу одного г-на Ковалевскаго“, — говорить одна изъ сто-личныхъ газетъ („Наша Жизнь“). Это совершенно вѣрно. Уже та безоглядная откровенность, съ какой г-нъ Ковалевскій разска-залъ самъ финансовыя подробности этой операціи, — показываетъ, что въ той средѣ, которая для г-на Ковалевскаго является при-вычною, подобныя дѣла не считаются чѣмъ-то экстраординарнымъ. Все это, очевидно, „въ порядкѣ вещей“, и становится нѣсколько нескромнымъ лишь съ той минуты, какъ подвергается широкой огласкѣ.

О. Б. А.

Продолженіе дѣла ген. Ковалева и д-ра Забусова. Тѣ изъ нашихъ читателей, которые обратили вниманіе на замѣтку объ этомъ дѣлѣ въ предыдущей книжкѣ „Русск. Богатства“, помнятъ, вѣроятно, и великодушный совѣтъ ген. Усаковского, начальника Закаспійской области: знакомиться съ „положеніемъ края“ по газетамъ, издаю-щимся въ этой благословенной области. Совѣтъ превосходный! Если бы слѣдовать ему съ надлежащею строгостью, то русская печать и русское общество даже не подозрѣвали бы о „случаѣ“ съ ген. Ковалевымъ и докторомъ Забусовымъ: объ газеты, издаваемые въ подѣлдомственной ген. Усаковскому области, — надо думать, слу-чайна и безъ всякихъ воздѣйствій — даже не заикнулись о дикомъ поступкѣ ген. Ковалева и о происходившемъ въ Тифлисѣ судѣ надъ этимъ генераломъ!

Очень можетъ быть, что и самъ генераль Ковалевъ, присту-пая къ своей знаменитой отнынѣ кампаніи противъ безоружнаго доктора, находился подъ вліяніемъ той же абераціи: ему могло казаться, что и вся Россія есть безгласная пустыня, въ которой его молодецкая команда, а за ней свистъ розогъ и вопли безза-щитной жертвы прозвучать безъ всякаго отголоска. Если это такъ, — то, по крайней мѣрѣ, на сей разъ расчетъ оказался оши-боченъ: имя генерала Ковалева приобрѣло широкую извѣстность не только за предѣлами благодатной „подѣлдомственной области“, но и за предѣлами Россіи. Отнынѣ это имя навѣки внесено въ бытовую исторію нашего отечества.

А пока можно сказать безъ преувеличеній, что все русское образованное общество слѣдитъ за ковалевскимъ дѣломъ съ не-

остывающимъ интересомъ. Въ газ. „Русь“ появилась, между прочимъ, горячая статья С. Елпатьевского („Мы требуемъ суда“), резюмирующая общее настроеніе не однихъ врачей, но всѣхъ, кому дороги интересы человѣческаго достоинства и правосудія... Въ послѣдніе дни стало извѣстно, что судъ все-таки будетъ. По жалобѣ потерпѣвшаго и его повѣреннаго д-ру Забусову восстановленъ срокъ для подачѣ жалобы, и дѣло будетъ вновь рассмотрѣно въ главномъ военномъ судѣ. Когда это произойдетъ, мы, разумѣется, вернемся еще къ этому дѣлу, съ его загадочной дикостью. А пока—всѣхъ интересуется вопросъ: какъ могло случиться, что потерпѣвшій не былъ вызванъ въ тифлисскій судъ ни какъ истецъ, ни какъ свидѣтель?

На это отчасти отвѣчаетъ главный прокуроръ военного суда ген.-лейт. Н. Н. Масловъ. Въ разговорѣ съ сотрудникомъ газ. „Русь“ онъ объяснилъ обстоятельство, вызвавшее такое волненіе во всемъ русскомъ обществѣ,—простой ошибкой мелкаго чиновника главнаго военного суда („и, какъ на грѣхъ, чиновника самаго аккуратнаго и добросовѣстнаго“), который, получивъ исковое прошеніе повѣреннаго д-ра Забусова,—завелъ объ немъ отдѣльное дѣлопроизводство (!), вмѣсто того, чтобы ввести его въ производившееся уже дѣло. По поводу этой роковой „ошибки“ газеты вспомнили традиціоннаго стрѣлочника, единственнаго виновника всякихъ „крушеній“ (въ данномъ случаѣ настоящаго „крушенія правосудія“). Во всякомъ случаѣ, это объясненіе оставляетъ мѣсто для нѣкоторыхъ вопросовъ: какъ же могли не замѣтить судьи и военный прокуроръ, во время самаго производства, этого отсутствія потерпѣвшаго, который вѣдь является и важѣйшимъ изъ свидѣтелей? Какъ они не замѣтили того обстоятельства, что въ дѣлѣ остались только г. Ковалевъ и его подчиненные, сами въ значительной степени виновные въ происшедшемъ?

Этотъ вопросъ сотрудникъ „Руси“ предложилъ тоже генералу Маслову. „Видите ли,—отвѣтилъ послѣдній,—г. Забусовъ, рассказавъ подробно объ обстоятельствахъ дѣла, ничего не могъ выяснить о причинахъ и мотивахъ преступленія. Генералъ же Ковалевъ не только не отрицалъ факта своего преступленія, но и въ изложеніи подробностей его совершенно совпадалъ съ показаніемъ потерпѣвшаго. Слѣдовательно, вызовъ послѣдняго на судъ явился бы, какъ я понимаю мотивы мѣстной военно-судебной администраціи, только лишнимъ мученіемъ для него, заставляя его еще разъ переносить публично испытанныя терзанія, не принося никакой пользы процессу“ *).

Ген. Масловъ оговорился въ началѣ своей бесѣды съ сотрудникомъ „Руси“, что онъ еще недостаточно освѣдомленъ относительно всѣхъ подробностей тифлискаго суда, и намъ кажется,

*) „Русь“, 19 дек. 1904 г., № 348.

что въ его объясненіи „мотивовъ военно-судебной администраціи“ есть дѣйствительно мѣсто для значительныхъ недоумѣній. Во-первыхъ, далеко нельзя сказать, чтобы „признанія“ ген. Ковалева совпадали съ показаніями потерпѣвшаго: послѣдній рѣшительно настаивалъ на жестокомъ истязаніи, что ген. Ковалевъ и его подчиненные столь же рѣшительно отвергали. Судъ согласился съ показаніями виновныхъ. Но вѣдь еще вопросъ, — получился ли бы тотъ же результатъ, если бы на судѣ были не только истязатели, но и жертва истязанія и ея свидѣтели... Напрасны также были опасенія суда — причинить вызовомъ д-ра Забусова „излишнія мученія“ потерпѣвшему. Явка въ качествѣ свидѣтеля изъ другого судебного округа, какъ извѣстно, необязательна, и, значитъ, д-ръ Забусовъ могъ самъ уклониться отъ „излишняго мученія“, если бы нашелъ это нужнымъ. Какъ бы то ни было, является несомнѣннымъ, что докторъ Забусовъ, въ своихъ столкновеніяхъ съ военной средой, пострадалъ дважды: одинъ разъ отъ безпримѣрной жестокости ген. Ковалева, въ другой — отъ не менѣе безпримѣрной деликатности военнаго суда...

Нужно-ли прибавлять, что правосудію не нужно ни того, ни другого, а нужно одно „нелицепріятіе“, и что все русское общество съ нетерпѣніемъ ждетъ разрѣшенія вопроса: возможно ли „возстановленіе силы закона“ въ сословно-военномъ судѣ хотя бы въ столь вопіющемъ случаѣ?

О. Б. А.

Гомельская судебная драма. Недавно въ газетѣ „Новое Время“ (№ 10830) появилось извѣстіе слѣдующаго содержанія: „Въ субботу, 20 ноября, во всей Россіи судебное вѣдомство, да и все русское общество... чествовало 40-лѣтіе судебной реформы. Было по этому случаю отслужено молебствіе въ залѣ засѣданій разбирающаго гомельское дѣло особаго присутствія кievской палаты. На молебствіе ни одинъ изъ указанной (ранѣе) группы участвующихъ адвокатовъ не явился. Тотчасъ по окончаніи молебна и открытіи засѣданія они всѣ появились и заняли свои мѣста. Среди участниковъ этой неприличной школьнической демонстраціи находился и г. Зарудный, сынъ Сергѣя Ивановича Заруднаго, одного изъ славнѣйшихъ дѣятелей судебной реформы, непосредственнаго участника въ составленіи судебныхъ уставовъ 20 ноября 1864 года“...

Оказалось, что сообщеніе корреспондента „Новаго Времени“, какъ это, впрочемъ, обычно для корреспондентовъ этой газеты „изъ черты осѣдлости“, — мягко выражаясь, — страдаетъ неточностью: Александръ Сергѣевичъ Зарудный въ это самое время лежалъ тяжело больной въ Полтавѣ. Значитъ, корреспондентъ юдофобской газеты видѣть г. Заруднаго въ судѣ не могъ, не могъ и констатировать его участіе въ „демонстраціи“. Онъ писалъ это a priori. Иначе сказать: корреспондентъ зналъ впередъ,

что, если бы А. С. Зарудный, „сынъ одного изъ славнѣйшихъ дѣятелей судебной реформы“, былъ въ то время въ Гомелѣ, то и онъ отдѣлился бы отъ гомельской магистратуры въ празднованіи годовщины.

Недавно г. Танъ, извѣстный писатель, посѣтилъ Гомель и далъ въ „Русскихъ Вѣдомостяхъ“ отчетъ о своихъ впечатлѣніяхъ. „Когда,—пишетъ онъ,—съ моего корреспондентскаго стула, съ лѣвой стороны у окна, поближе къ судейской эстрадѣ, я рассматриваю группу подсудимыхъ, расположенную прямо противъ меня, я вижу ее раздѣленной на двѣ отличныя другъ отъ друга части.

„Части эти—арифметически равны. Быть можетъ, ближе къ истинѣ будетъ сказать, что онѣ уравнены для сохраненія арифметическаго безпристрастія.

„Нѣсколько человѣкъ подсудимыхъ выдѣлены изъ дѣла и временно отпущены судомъ. Теперь и русскихъ, и евреевъ на скамьѣ подсудимыхъ одинаково по 35 человѣкъ. Принципъ арифметическаго равенства проводится судомъ и въ другихъ случаяхъ. Напримѣръ, въ послѣдній день засѣданія 11 „наиболѣе важныхъ“ обвиняемыхъ, содержавшихся до того подъ стражей въ теченіе 15-ти мѣсяцевъ, наконецъ, отпущены на временную свободу. Двое русскихъ и въ рѣп-дантъ къ нимъ двое евреевъ освобождены безъ поручительства. Остальные семеро, всѣ евреи, должны были представить по 1,000 рублей залога. Впрочемъ, справедливость требуетъ прибавить, что изъ подсудимыхъ, освобожденныхъ по окончаніи предварительнаго слѣдствія, русскіе должны были представить имущественное поручительство въ 100, 200 р., а евреи—наличный залогъ въ 1,000 р. каждый.

„Евреи-подсудимые сидятъ на лѣвой сторонѣ. Они меньше ростомъ и худощавѣе, „умѣреннаго тѣлосложенія и умѣреннаго питанія“, какъ сказано въ протоколахъ медицинскаго осмотра. Среди нихъ много черноволосыхъ, хотя попадаются также русые и совсѣмъ блондуры головы. Значительное большинство совсѣмъ молодые юноши, почти подростки, 22-хъ, 18-ти, даже 16-ти лѣтъ. У нихъ безбородыя лица, блѣдныя, истощенныя наслѣдственнымъ недоѣданіемъ и заключеніемъ въ тюрьмѣ, но глаза ихъ глядятъ открыто и какъ-то особенно независимо. Все это—подмастерья ремесленныхъ мастерскихъ города Гомеля, столяры, кожевники, портные, нѣсколько приказчиковъ, два-три учащіяся. Они обвиняются въ томъ, что, выражаясь словами обвинительнаго акта, „приняли участіе въ публичномъ скопищѣ, соединенными силами учинившемъ насилія надъ разными лицами христіанскаго населенія“, прибавлю, въ то время, когда лица христіанскаго населенія занимались разгромомъ еврейскихъ жилищъ и избиеніемъ ихъ обитателей. Эти тѣлесушныя

подростки представляютъ предѣ лицомъ суда ту самую „Гомельскую самооборону“, которой приписано столько смѣлыхъ, почти сверхъестественныхъ дѣйствій. Въ ночь съ 1-го на 2-е сентября, непосредственно вслѣдъ за погромомъ, русское населеніе предмѣстій Гомеля, выдѣлившее большинство громилъ, именно отъ нея ожидало ночнаго нападенія и мести. Железнодорожными жандармами былъ принесенъ слухъ, будто въ Лубенскомъ лѣсу, въ 3 верстахъ отъ города, скрыто 7 тысячъ евреевъ демократовъ. Послана была полурота солдатъ, которая сначала встрѣтила толпу громилъ, направлявшихся къ городу, и пропустила ихъ съ миромъ, а потомъ нашла 3—4-хъ евреевъ, скрывавшихся въ болотѣ изъ боязни погрома“...

Такимъ образомъ, въ Гомелѣ создалось странное положеніе: евреи трепетали передъ христіанами, христіане боялись евреевъ. Изъ города были разосланы гонцы въ ближайшія деревни съ извѣстіями о томъ, что евреи собираются бить христіанъ, и деревни двинулись на городъ, въ то самое время, когда евреи на чердакахъ и подвалахъ дрожали за свою жизнь...

Теперь и тѣ, и другіе сидятъ на скамьяхъ въ одной и той же залѣ суда.

„Русскіе подсудимые сидятъ на правой сторонѣ. Они крѣпче тѣломъ, выше ростомъ, свѣтлѣе волосомъ. Большею частью это — тоже молодежь, спокойнаго и безобиднаго вида, хотя два-три лица выдѣляются низкимъ лбомъ и непріятнымъ выраженіемъ. Все это — огородники, каменщики, железнодорожные рабочіе. Есть нѣсколько лохматыхъ, растерзанныхъ фигуръ, два золотаря, одинъ босякъ. Это — грабители и мародеры, которые пришли на погромъ, привлеченные легкой неожиданной наживой. Отношенія между обѣими группами подсудимыхъ вполне дружелюбныя. Въ первые мѣсяцы предварительнаго слѣдствія, когда большинство было заключено въ тюрьмѣ, они были помѣщены въ отдѣльныя камеры, но въ концѣ-концовъ соединились и перемѣшались. Я видѣлъ на судѣ во время перерывовъ, какъ подсудимые, Іосель Хайкинъ и Андрей Яцкевичъ, стояли, обнявшись, въ углу залы и о чемъ то горячо бесѣдовали. У дешеваго буфета въ передней комнатѣ русскій и еврей торопливо пили чай изъ одного стакана, передавая его другъ другу. Необходимость проводить въ судѣ цѣлыя недѣли и мѣсяцы лишала ихъ возможности заработать себѣ пропитаніе, и они должны были составлять въ складчину пятачекъ, чтобы заплатить за стаканъ чая. Общая нужда объединила ихъ и, кромѣ того, въ тюрьмѣ и во время суда они имѣли возможность ближе узнать другъ друга“...

Суду предстояла благородная и высокая роль довершить это объединение, распространить его далеко за пределы судебной залы.... Этого можно было достигнуть, во-первых—выяснением, широким и безпристрастным, тех предшествовавших условий, которые поставили в Гомель одну часть населения против другой и заставили тех самых людей, которые теперь мирно уживаются в тюремных камерах,—кинуться друг на друга, как звери... Судьба подсудимых евреев и русских одинаково требовала выяснения этих условий и роли тех „истинных виновников“, которые по словам и тех и других,—отсутствуют на скамье подсудимых, и только некоторые из них являются в судебную залу в качестве свидетелей и потом снова уходят на свободу“...*) Этого именно добивалась „группа защитников“ и в том числе А. С. Зарудный, сын одного из славнейших деятелей судебной реформы. Этого, без сомнения, добивались бы теперь и сами „славнейшие деятели“, имена которых все поминаются юдофобской печатью и юдофобствующими деятелями суда 40 лет спустя.

Но гомельский суд, со своим председателем, г-м Котляревским, посмотрел на дело иначе. Вместо того, чтобы безпристрастно добиваться истины, показывая, что для правосудия „нѣтъ еллинъ ни іудей“, г-нъ председатель, гласно, публично, при открытых дверях, употребляет все усилия для того, чтобы „не допустить“ освещения дела со всех сторон и чтобы „некоторые лица“, которых не угодно было затронуть составителю обвинительного акта,—остались вне пределов судебного освещения. Нам еще придется, вероятно, вернуться к этому знаменитому огненному процессу, и мы не будем предвосхищать наиболее яркие черты этой „деятельности“ г-на председателя. Здесь мы отметим только один эпизод, закончившийся уходом группы защитников.

Давал показания свидетель Андрей Шустов. Это русский, политический заключенный; он не громила и не потерпевший от погрома, значит, „настоящий“ свидетель. Как известно, и по судебным обычаям, и даже по закону первая часть судебного допроса формулируется в общей форме: что вам известно по настоящему делу? Свидетель говорит, что знает, и только когда он кончит или явно не умеет рассказать связно,—начинается допрос судом и сторонами. На этот раз, однако, едва г. Шустов начал рассказ с 29 августа, как г-нъ председатель потребовал, чтобы свидетель перешел прямо к 1 сентября. Повидимому, связный рассказ о том, что происходило 29 августа, совсем не входил в расчеты гомельского суда и мог повредить той „истине“, которую суд решил во что бы

*) Тань. Р. Вѣд.

то ни стало вынести изъ дѣла. И вотъ г-нъ предсѣдатель не только запретилъ (въ прямое нарушеніе ст. 718 уст. уг. судопр.) свидѣтелю говорить, что ему извѣстно по дѣлу „съ 29 августа“, но.. это почти невѣроятно, но это такъ—выслалъ свидѣтеля изъ залы засѣданій, какъ будто зала этихъ засѣданій была не судъ, а какая-то казарма, въ которой, какъ главная цѣль, преслѣдовалась стилистическая стройность изложенія и дисциплина свидѣтелей...

Но и этого еще оказалось мало. Когда защитникъ Соколовъ сталъ возражать противъ этого распоряженія, при чемъ, какъ показалось г-ну предсѣдателю, сдѣлалъ это слишкомъ повышеннымъ голосомъ, то г. Котляревскій... выслалъ также и защитника...

Послѣ этого товарищи оскорбленнаго Соколова попросили перерыва, и затѣмъ между ними и г-мъ предсѣдателемъ произошелъ слѣдующій діалогъ:

Защ. Винаверъ.—Господинъ предсѣдатель. Я хочу сдѣлать заявленіе отъ имени защиты и гражданскихъ истцовъ. Два слишкомъ мѣсяца мы сидимъ здѣсь, стремясь всѣми силами пролить свѣтъ на сложное и тяжелое дѣло, — отыскать правду.

Предсѣдатель.—Виновать, г. повѣренный. Прошу васъ изложить сущность вашего заявленія, вашу петицію.

Винаверъ.—Моя петиція такъ тѣсно связана съ тѣмъ, что я хочу сказать, что я не могу отдѣлать ее; нельзя меня обязать сказать въ одной фразѣ то, что я могу сказать только въ пяти фразахъ. Въ теченіе двухъ мѣсяцевъ мы стараемся исполнить нашу обязанность—освѣтить дѣло... На нашихъ подзащитныхъ взведено чудовищное обвиненіе, и мы хотѣли доказать, что обвинительный актъ...

Предсѣдатель.—Виновать, я не могу допустить критики обвинительнаго акта до преній.

Винаверъ.—Все то время, которое мы провели здѣсь, мы ни разу не обнаруживали неуваженія къ принципамъ суда, мы слишкомъ глубоко вѣримъ въ эти принципы, въ могучую силу закона въ нашемъ стремленіи найти правду. Мы встрѣчали массу стѣсненій, мы пережили незаконныя стѣсненія нашихъ правъ, памятуя, что не въ однѣхъ стѣнахъ этого зала заключено правосудіе Россіи, что существуетъ еще судъ, которому принадлежитъ послѣднее слово въ этомъ дѣлѣ. Но мы натолкнулись на такія стѣсненія, которыя посягаютъ на нашу честь и достоинство. Въ лицѣ присяжнаго повѣреннаго Соколова намъ нанесено оскорбленіе...

Предсѣдатель.—Господинъ повѣренный, я прошу васъ не критиковать состоявшееся постановленіе, такъ какъ,

въ противномъ случаѣ, мнѣ придется напомнить вамъ о мѣрахъ, которыя я вынужденъ буду принять.

Винаверъ.—Вамъ не придется принимать противъ меня мѣры, такъ какъ мы покинемъ залъ. Я утверждаю, что распоряженіемъ вашимъ оскорблено наше человѣческое достоинство, такъ какъ каждый изъ насъ въ положеніи Соколова поступилъ бы такимъ же образомъ. Мы считаемъ невозможнымъ при такихъ условіяхъ продолжать защиту, мы испытываемъ огромную тяжесть отъ необходимости послѣ двухъ мѣсяцевъ труда покинуть дѣло, мы сознаемъ отвѣтственность предъ нашими подзащитными, которыхъ оставляемъ теперь безпомощными. Но есть моменты, когда чувство оскорбленнаго человѣческаго достоинства оказывается сильнѣе даже сознанія отвѣтственности. Мы не можемъ продолжать,—уходимъ. Мы увѣрены, что никто насъ не осудитъ и прежде всего не осудитъ насъ наша совѣсть,—мы уходимъ съ чистой совѣстью изъ той залы, въ которой столько пострадали.

Винаверъ безсильно опускается на мѣсто. Публика потрясена.

За Винаверомъ дѣлаетъ заявленіе *Слюзбергъ* (представитель гражданскаго кока).

„Мы несли всѣ мучительныя трудности, сопряженныя съ участіемъ въ настоящемъ дѣлѣ, не для взыванія денегъ, не для отягченія участи подсудимыхъ христіанъ — мы ихъ считаемъ несчастными,—а для раскрытія истины, въ этомъ мы усматривали священную нашу задачу. Въ томъ же заключается не менѣе святая задача защитниковъ подсудимыхъ евреевъ. Удаленіе товарища Соколова, съ полнымъ достоинствомъ выполнявшаго эту задачу, мы позволяемъ себѣ считать незаслуженною карою, а опасеніе возможнаго примѣненія ея къ намъ, при такихъ же условіяхъ, лишаетъ насъ увѣренности въ дальнѣйшемъ. Уходя, позволяемъ себѣ высказать увѣренность, что никто, не исключая особаго присутствія, не скажетъ, что мы не стремились раскрыть всю истину, пролить полный свѣтъ на дѣло.

Къ заявленіямъ этимъ присоединяются *Красильщиковъ* и *Марюлинъ*. *Куперникъ*, со слезами въ голосъ, говоритъ:

— Съ грустью и огорченіемъ присоединяюсь я къ сдѣланнымъ заявленіямъ, но прежде, чѣмъ вмѣстѣ со своими товарищами оставить дѣло, надъ которымъ всѣ мы такъ много трудились и страдали, оставить подсудимыхъ безъ защиты, лично отъ себя, какъ старшій среди моихъ товарищей, пережившій всѣ перипетіи въ исторіи суда, я сдѣлаю послѣднюю попытку спасти дорогое намъ дѣло. Я прошу палату подвергнуть пересмотру мѣру, принятую про-

тивъ товарища Соколова. Тогда и защита найдетъ возможнымъ довести до конца свою работу: быть можетъ, мои младшіе товарищи со мной не согласятся, но я считаю долгомъ стараго человѣка и адвоката сдѣлать все, что въ моихъ силахъ, чтобы самому исполнить долгъ и дать возможность другимъ его исполнить. Безъ Соколова мы продолжать дѣла не можемъ. Соколовъ поступилъ совершенно корректно. Тутъ простое недоразумѣніе. Верните Соколова, и тогда всѣ мы будемъ продолжать наше дѣло.

— Мы терпѣли личныя оскорбленія, — говоритъ *Ратнеръ*, — доколѣ было возможно, но сегодня мы столкнулись съ обстоятельствомъ, изъ котораго не видимъ обычнаго законнаго выхода. Въ лицѣ товарища Соколова мы всѣ чувствуемъ себя, какъ люди и адвокаты, тяжело оскорбленными и вынуждены оставить залъ засѣданія...

— Съ точки зрѣнія профессиональной этики, — прибавляетъ *Ганерманъ*, — адвокатъ не можетъ ставить себя въ положеніе, при которомъ къ нему примѣнялись бы мѣры, свидѣтельствующія о его неприличномъ поведеніи на судѣ. Оставаясь въ предѣлахъ корректнаго исполненія своихъ обязанностей, нашъ товарищъ подвергся оскорбительному взысканію... Каждый изъ насъ столь же незаслуженно можетъ оказаться въ томъ же положеніи.

„Палата удаляется на совѣщаніе, и черезъ часъ выносятся опредѣленіе, коимъ оставляетъ въ силѣ удаленіе Соколова.

„Защитники евреевъ уходятъ. Публика поднимается и, аплодируя, уходитъ вслѣдъ за защитой. Среди подсудимыхъ движеніе. Предсѣдатель дѣлаетъ распоряженіе удалить всю публику“...

А. С. Заруднаго въ это время все еще не было въ Гомелѣ. Но, безъ сомнѣнія, корреспондентъ „Новаго Времени“ могъ бы съ полнымъ основаніемъ и аргіогі присоединить къ удалившимся его имя, такъ же, какъ и имя его славнаго отца. Полагаемъ, что величавыя тѣни творцовъ судебной реформы, если бы они присутствовали въ этой залѣ, удалились бы изъ нея вмѣстѣ съ „группой адвокатовъ“, такъ какъ, несомнѣнно, что въ ней вѣялъ не духъ судебныхъ уставовъ, а развѣ духъ инквизиціоннаго пристрастія и чуждой правосудію исключительности.

Вл. Кор.

Н О В Ы Я к н и г и.

„Война и душа народа“. Стихотворения П. В. Борисенка. Выпуск I-ый. Москва. 1904 г.

Сборникъ г. Борисенка состоитъ всего только изъ семи стихотворений. Чтобы воспѣть „войну“ и одновременно разъяснить „душу народа“, это очень немного, конечно. Но за то этого оказалось вполне достаточно, чтобы въ стихотворенияхъ г. Борисенка опредѣлились и типовыя черты нашихъ пѣвцовъ войны, и индивидуальныя особенности г. Борисенка, какъ одного изъ такихъ пѣвцовъ. Типовыя черты, это — полное пренебреженіе живыми нуждами воспѣваемого народа, разъ рѣчь идетъ о войнѣ. Нельзя сказать, чтобы г. Борисенко совсѣмъ забылъ о нихъ:

Неправда, горе, нищета
Кругомъ...

говорится въ одномъ изъ его стихотворений. Но все это сразу исчезаетъ изъ памяти автора, когда ему приходится „воспѣть“ войну. — Не оказывается ни горя, ни нищеты, ни неправды „кругомъ“; оказывается одинъ только „избытокъ силъ“. Русский народъ представляется поэтическому взору автора чѣмъ-то въ родѣ застоявшагося породистаго рысака, котораго можно спасти только своевременной „тратою“ силъ:

Апатія и лѣнь подняли вѣжды,
Мы бури ждемъ въ восторженной надеждѣ:
Избытокъ силъ насъ истомилъ давно...

Для одного изъ своихъ стихотворений г. Борисенко взялъ своеобразный эпиграфъ: „Истина только одна; правда все то, что согласно съ дѣйствительностью“. Относительно г. Борисенка правильнѣе было бы сказать, что истина все то, что согласно съ даннымъ стихотвореніемъ.

Но это типовыя черты апологетовъ войны вообще: тамъ, гдѣ начинается рѣчь о войнѣ, кончается нормальная логика сужденій и начинается „поэтическое“ вдохновеніе:

Проснешься ты, по волѣ Провидѣнья,
Во всей красѣ твоихъ народныхъ силъ,
Святая Русь, на кличъ войны *завѣтной!*
Уже звучить „ура“ грозой отвѣтной
Изъ края въ край...

„Уже звучить: ура“—г. Борисенку больше ничего не нужно, чтобы предчувствовать побѣду.

Личныя особенности г. Борисенка, какъ пѣвца, пребывающаго мысленно „въ станѣ русскихъ воиновъ“, слѣдующія. Еще недавно онъ былъ, по его собственному признанію, „безгласнымъ трупомъ“. Это—во-первыхъ. Во-вторыхъ, онъ написалъ стихотвореніе на гибель „Петропавловска“, въ которомъ нѣтъ ничего, кромѣ риторики; это сообщаетъ ему оригинальность даже въ ряду остальныхъ баяновъ настоящей войны. Въ-третьихъ, г. Борисенко живетъ въ Москвѣ, въ домѣ, около котораго происходитъ „остановка трамвая“, о чемъ г. Борисенко сдѣлалъ соответствующую ремарку на обложкѣ своего сборника, въ интересахъ своихъ будущихъ читателей.

Н. Н. Вильде. Катастрофа и др. Москва. 1904.

Въ разсказѣ „Романъ Софьи Михайловны“ героиня нѣсколько разъ слышитъ, какъ „бродячіе неаполитанцы“ поютъ „Addio, bello Napoli“. Авторъ, очевидно, не дослышалъ: Napoli—женскаго рода, и въ популярной пѣснѣ поютъ: „addio, la bella Napoli“. Разсказъ „Вьюга“ начинается словами: „Это называется мать, сударь мой!—сказалъ Максимъ Аркадьичъ, взявъ конемъ короля у Ивана Дмитрия“. Авторъ, очевидно, не знаетъ, что короля въ шахматахъ не берутъ: „on ne prend le roi, même aux échecs“... Въ разсказахъ „Радгона“ и „Романъ Софьи Михайловны“ дѣйствуютъ два старыхъ итальянскихъ графа; живутъ они въ разныхъ мѣстахъ, одинъ имѣетъ домикъ на курортѣ, другой въ глухомъ городкѣ; оба бѣдны, но одинъ побѣднѣе. Одна черточка удивляетъ своимъ случайнымъ сходствомъ: оба графа почему-то ходятъ въ голубой венгеркѣ. Вѣроятно, авторъ случайно видѣлъ какого-то итальянскаго графа въ голубой венгеркѣ—и ужъ не утерпѣлъ, обобщилъ венгерку и обоихъ графовъ нарядилъ въ нее.

Это микроскопическія мелочи, но онѣ характерны; онѣ выдаютъ одну господствующую черту разсказовъ г. Вильде; эта черта — сочинительство. По первому впечатлѣнію, эти разсказы живы, литературны, занимательны. Читаешь—и все время хочется знать: что будетъ дальше. Для газетнаго фельетона лучшаго не придумаешь: немножко приключеній, немножко психологіи, немножко романтики, немножко сентиментальности—и газетный читатель съ удовольствіемъ отдыхаетъ на этомъ беллетристическомъ интермеццо отъ тягостныхъ впечатлѣній верхней половины газетнаго листа. Но когда эти самые разсказы собраны въ книжку, и ихъ перечитываешь одинъ за другимъ, ихъ интересъ падаетъ. Ихъ психологія банальна и условна, ихъ сентиментальность отдаетъ прозой, ихъ выдумка счита бѣлыми нитками и выдаетъ себя. Разсказъ „Вьюга“: въ бурную зимнюю ночь, когда въ старомъ помѣщичьемъ домѣ два избытыхъ жизнью пріятели, хозяинъ и докторъ, отпѣваютъ въ дружескомъ разговорѣ свое прошлое и настоящее, къ нимъ стучится съ просьбой пустить переждать

вьюгу изыщная молодая женщина. И хозяинъ — „старый Донъ-Жуанъ“, оставшись вдвоемъ съ своей неожиданной гостью, вдругъ рассказываетъ ей печальную исторію своей единственной любви, изъ которой видно, что онъ совсѣмъ не Донъ-Жуанъ, а наоборотъ — неудачникъ, любившій только разъ въ жизни и покинутый въ этой любви. Рассказъ „Radrona“: красивая хозяйка трактирчика въ маленькомъ итальянскомъ городкѣ сдѣлалась предметомъ исканій двухъ друзей-офицеровъ; всѣ страдали бы, но ловкая радгона удовлетворяетъ обоихъ, пока ея любовныя комбинаціи не открылись, и друзья не уступили свои мѣста новой парѣ поручиковъ. Рассказъ „Катастрофа“: во время свадебной поѣздки молодыхъ супруговъ на пароходѣ пожаръ, во время котораго героиню спасаетъ — не влюбленный мужъ, совѣстившійся съ животной любовью животное себялюбіе, но случайный знакомый морской докторъ. Послѣ этого она разошлась съ мужемъ и лишь ради ребенка остается его номинальной женой; докторъ влюбился въ нее, въ доктора влюбилась ея сестра. И когда она, уставъ отъ одиночества, тоже чувствуетъ отвѣтное влеченіе къ доктору, оказывается, что онъ умеръ. И такъ далѣе. Возможно все это? — да, конечно: чего на свѣтѣ не бываетъ. Но дѣло вѣдь не въ этой абстрактной возможности, при которой все-таки нѣтъ убѣдительности, нѣтъ впечатлѣній жизни. Авторъ бойкій и неглупый рассказчикъ, но чтобы быть художникомъ, ему недостаетъ главнаго: онъ ни на мгновеніе не внушаетъ вѣры въ то, что рассказываетъ о дѣйствительномъ, о быломъ. Преобладающимъ остается впечатлѣніе: да, это живо рассказано, но это не пережито, этого не было, это выдуманно.

Генрикъ Ибсенъ. Полное собраніе сочиненій. Переводъ съ датскаго А. и П. Ганзенъ. Изд. С. Сकिрумунта. Москва. 1904. Томы III и VII.

Новое изданіе Ибсена, предпринятое г. Скирумунтомъ, выходитъ въ переводѣ гг. Ганзенъ. Каждая пьеса сопровождается отдѣльной сводно-критической статьей и литературными комментаріями. Это составляетъ особую цѣнность новаго изданія Ибсена. — Русскіе читатели всѣ, конечно, знаютъ по наслышкѣ о знаменитомъ норвежскомъ писателѣ, но въ дѣйствительности знакомыхъ съ нимъ далеко не такъ много. Это отчасти понятно.

Помимо нерѣдкихъ экскурсій въ область таинственнаго и неяснаго, существенной помѣхой для читателя Ибсена является недостаточное разграниченіе реального и символическаго элементовъ въ его пьесахъ. Оговоримся, что мы отнюдь не противъ всякаго символизма въ принципъ, хотя и считаемъ, что *при одинаковыхъ условіяхъ* реализмъ и конкретное изображеніе цѣннѣе символическаго уже въ силу простой экономіи въ трудѣ, который нужно затратить для уразумѣнія писателя. При господствѣ символовъ всякое произведеніе представляетъ въ большей или мень-

шей степени алгебраическую задачу, которую надо не только разрѣшить, но и предварительно—разгадать необходимый путь рѣшенія. Съ этой точки зрѣнія символизмъ намъ представляется излишнимъ въ случаяхъ, когда его можно избѣжать,—какъ, напр., въ „Дикой уткѣ“, безъ всякаго ущерба для цѣнности драмы.. Но за то, конечно, символическое произведеніе, какъ всякая абстракція и всякое отвлеченіе, рѣшаетъ не частный случай въ частныхъ условіяхъ, а выясняетъ цѣлую категорію однородныхъ явленій внѣ условій частнаго характера. Таково, напр., освѣщеніе вопроса о всякой реформаторской дѣятельности, которое дано Ибсеномъ въ „Строителѣ Солнцесѣ“... Наконецъ, въ „Женщинѣ съ моря“ введеніемъ фигуры „Неизвѣстнаго“, символизирующаго въ жизни человѣка роль того, что кажется безвозвратно утраченнымъ и невозможнымъ, Ибсенъ сумѣлъ придать живую конкретность соотвѣтственнымъ душевнымъ движеніямъ,—далъ читателю возможность вложить свою руку въ душевныя раны Эллиды. И потому, какъ ни колетъ глазъ фигура „Неизвѣстнаго“ (особенно—на сценѣ), мы всетаки должны признать ее художественно-законной и необходимой, пока кто-нибудь другой не сумѣетъ нарисовать душевную драму „Женщины съ моря“ съ такой же яркостью, какъ это сдѣлалъ Ибсенъ, но оставаясь въ рамкахъ чистаго реализма.

Недостатокъ Ибсена, какъ было уже замѣчено, въ недостаточно рѣзкомъ разграниченіи области реальнаго и символическаго въ его пьесахъ: читатель не всегда знаетъ, съ чѣмъ онъ имѣетъ дѣло въ данный моментъ—съ символомъ или съ реальнымъ фактомъ („Строитель Солнцесѣ“). Иногда цѣлыя фигуры оставляютъ читателя въ такомъ недоумѣніи; такъ, напр., фигура старухи-крысоловки въ „Маленькомъ Эйольфѣ“, заманивающей ребенка-калѣку въ море. Читатель до самаго конца не знаетъ, имѣетъ ли онъ дѣло съ реальномъ явленіемъ (гипнозъ), или съ символизацией (влеченіе къ невозможному).

Все это очень усложняетъ положеніе читателя,—особенно, русскаго, привыкшаго къ кристальной ясности у крупныхъ художниковъ нашего слова. Но читатель вполне вознаграждается за всѣ трудности, которыя онъ преодолѣлъ при чтеніи Ибсена. Не только художественной красотой отдѣльныхъ подробностей и цѣлыхъ пьесъ, въ родѣ „Бранда“, но и общей всему творчеству Ибсена глубиной содержанія. Въ рѣчи, сказанной имъ норвежскимъ студентамъ, Ибсенъ замѣтилъ, что на поэтахъ лежитъ „та же обязанность“, какъ и на всѣхъ: „уяснить себѣ и другимъ случайные и вѣчные вопросы“, характеризующіе переживаемое время.. Это и составляетъ „задачу жизни“ Ибсена. Всю жизнь онъ занятъ то постановкой вопросовъ, то рѣшеніемъ ихъ: гдѣ же источникъ необходимой человѣку „гармоніи между собой и міромъ“ и въ частности—съ окружающей его коллективною жизнью?... Роясь полвѣка въ человѣческой душѣ, онъ ищетъ все одного и того же:

чего не хватает современному человеку, чтобы не чувствовать себя искалеченным; что мѣшает ему „стать самимъ собой“; что мѣшает мечтѣ Бранда:

...изъ обрывковъ душъ,
Обломковъ жалкихъ духа—возсоздать
Вновь нѣчто цѣльное...

чтобы Творецъ „мочь узнать“ въ современномъ человѣкѣ „вѣнецъ своего творенія“. — Въ этомъ стремленіи къ цѣльности и гармоніи съ самимъ собой и міромъ—высшее человѣческое благо, но на пути его — и огромная сложность современной жизни, и неустранимыя противорѣчія въ вѣдѣніяхъ собственной души *).

Новый переводъ Ибсена, два тома котораго лежатъ передъ нами, долженъ, несомнѣнно, расширить кругъ читателей, обязанныхъ Ибсену художественнымъ и интеллектуальнымъ—если такъ можно выразиться—наслажденіемъ... Сводно-критическія статьи и литературные комментаріи, о которыхъ выше упоминалось, предпосланная переводчиками каждой отдѣльной пьесѣ, помогутъ читателю безъ особаго труда разобраться, что важно въ данной пьесѣ и мимо чего можно пройти, какъ мимо досадной помѣхи,—сосредоточившись лишь на томъ, что по справедливости сдѣлало Ибсена „властителемъ думъ“, — мировымъ соперникомъ нашего Л. Н. Толстого. Нельзя не пожалѣть, между прочимъ, что гг. переводчики для своихъ литературныхъ сводокъ не воспользовались ничѣмъ, что появлялось объ Ибсенѣ на русскомъ языкѣ: для русскихъ читателей это представляло бы не только существенный интересъ, но и существенную выгоду, позволяя обратиться при желаніи къ первоисточнику.

„Брандъ“ и „Комедія любви“, которыя въ прежнемъ изданіи Юровскаго были даны въ прозаическомъ переводѣ, нынѣ переведены гг. Ганзенъ въ стихотворной формѣ; обѣ пьесы выиграли, не смотря на нѣкоторую тяжеловатость стиха... Впрочемъ, къ специальной оцѣнкѣ перевода гг. Ганзенъ мы еще вернемся, по мѣрѣ выхода слѣдующихъ томовъ „полнаго собранія сочиненій Ибсена“.

К. Скальковский. За годъ. Спб. 1905 г.

Всякій разъ, послѣ появленія новой статьи г. Скальковского, страницы газеты, которую онъ украшаетъ своими произведеніями, въ теченіе нѣсколькихъ дней пестрятъ опроверженіями, поправками, возраженіями. Иногда съ нимъ спорятъ — есть еще такіе, которые берутъ его въ серьезъ,—но чаще его просто поправляютъ: онъ пишетъ воспоминанія, и его поддержанная память измѣняетъ ему; не можетъ же онъ знать, какая изъ выдумокъ, имъ

*) Подробнѣе объ этомъ—см. статью: „Задача жизни у Ибсена“, помѣщенную въ этой же книгѣ „Русскаго Богатства“.

сообщаемыхъ, будетъ опровергнута — надо ужъ писать все, тамъ разберутъ... И онъ пишетъ, печатаетъ и даже собираетъ свои статьи въ книги, потому—сообщилъ онъ недавно,—что газетная бумага недостаточно прочна; а онъ рассчитываетъ пройти въ потомство.

Пусть проходитъ. Давая новымъ гласнымъ шутовскія характеристики, онъ находитъ возможнымъ опредѣлить К. К. Арсеньева слѣдующимъ образомъ: „Почетный академикъ, котораго твореній никто, однако, не видалъ даже на полкахъ книжныхъ магазиновъ“. Охотно вѣримъ, что г. Скальковскому незнакома литературная дѣятельность К. К. Арсеньева: его невѣжество равно его развязности. Охотно вѣримъ, что его книги расходятся быстро, чѣмъ книги К. К. Арсеньева: это мѣра нашей культурности. Но представимъ себѣ, что произведенія г. Скальковского, предусмотрительно перенесенныя авторомъ на прочную бумагу, въ самомъ дѣлѣ, пройдутъ вѣковъ завистливую даль и попадутъ въ руки далекому потомку: какое представленіе онъ вынесетъ объ авторѣ? Книга называется „За годъ“ — и въ ней собраны статьи за тотъ страшный годъ, когда родина автора переживала одну изъ тягостнѣйшихъ эпохъ своей исторіи, когда кровь его согражданъ лилась рѣками. Что интересовало въ это время автора, на что онъ находилъ возможнымъ обращать свое просвѣщенное вниманіе?

„Какая прелесть — восклицаетъ онъ о г-жѣ Преображенской—ея новыя варіаціи въ „Пахитѣ“ по выразительности, граціи и законченности... Конецъ варіаціи изображаетъ родъ маленькаго чрезвычайно граціознаго канканчика на носкахъ. Говорятъ, что балерина сочинила его сама, видѣвъ ранѣе во снѣ! Шаловливые, однако, оны у г-жи Преображенской“. Они, конечно, не болѣе шаловливы, чѣмъ порханія нашего популярнаго „homme d'état de chez Maxime“, какъ великолѣпно прозвалъ его остроумный фельетонистъ. Кому, какъ не ему, судить о граціозности канканчиковъ. Но надо бы избрать для этого болѣе подходящій моментъ. Иначе можно превзойти Гримо-де-ла-Реньера, который—по словамъ г. Скальковского — описывая французскую революцію, говоритъ о террорѣ: „грустное время, когда на рынкѣ нельзя было найти ни одного порядочнаго турбо“.

Конечно, фигура г. Скальковского сложилась достаточно давно, чтобы русскій читатель могъ въ ней найти какую-либо новую черточку. Но все-таки—какая устойчивость духовныхъ интересовъ. Вотъ поистинѣ сохранившійся старецъ. На склонѣ лѣтъ онъ, какъ и слѣдуетъ, охотно, хотя не всегда кстати, обращается къ воспоминаніямъ. Остановившись въ Вѣнѣ „не для одного созерцанія роскошныхъ формъ, которыя, страннымъ образомъ, сочетаются у вѣиокъ съ тонкими и изящными attaches“, онъ вспоминаетъ, что жилъ здѣсь во время всемірной выставки съ по-

койнымъ Н. К. Михайловскимъ. Что значить „жилъ съ Н. К. Михайловскимъ“—въ одномъ городѣ или въ одномъ отелѣ—не видно. Во всякомъ случаѣ въ эти памятные г. Скальковскому дни Н. К. Михайловскій, очевидно, имѣлъ случай хорошо изучить своего знакомаго: не прошло и года, какъ онъ въ „Литературныхъ замѣткахъ“ 1874 г. остановился съ должнымъ вниманіемъ на обликѣ г. Скальковского. Онъ отмѣчалъ его „Путевыя впечатлѣнія“, гдѣ „въ каждой страницѣ звучитъ до комизма назойливая нота: о, я бѣдовый, я флишонъ! я знаю цѣну „нервическаго дрожанія бедеръ“, знаю, что значить пропорціональность частей женскаго тѣла и т. д.“. Онъ спрашивалъ: „почему г. Скальковский, не довольствуясь своей міровой славой въ качествѣ автора „Суэскаго канала“, также стремится казаться флишономъ? Откуда это возрожденіе старыхъ грѣховъ съ приправою серьезности и дѣловитости? Думаю, что соотвѣтственный социально-психологическій анализъ далъ бы въ результатъ: отсутствіе всякаго присутствія“. Какъ видитъ читатель, такъ было тридцать лѣтъ назадъ, такъ оно и теперь. До сихъ поръ впечатлѣнія, выносимыя изъ всякаго произведенія г. Скальковского, въ конечномъ итогѣ укладываются въ заключительное восклицаніе Н. К. Михайловскаго: „Читатель, я хотѣлъ васъ свести въ балаганъ. Но мы попали въ своего рода собачью пещеру, въ которой долго оставаться нельзя,—задохнешься“.

Бруно Эмиль Кенигъ. Черные кабинеты въ Западной Европѣ. Пер. съ нѣм. Я. М. Шабазъ. Изд. М. Н. Прокоповича. Москва. 1905.

Исторія есть великая утѣшительница. Какъ извѣстно, не такъ давно московскій почтамтъ, уличенный въ массовомъ уничтоженіи частныхъ писемъ, выяснилъ, что проходящія чрезъ него письма читаются не всѣ, а только подозрительныя. Если мы обратимся къ исторіи, то увидимъ, что это большой успѣхъ: въ восьмидесятихъ годахъ восемнадцатаго столѣтія предшественникъ нынѣшняго московскаго почтъ-директора Пестель въ донесеніи генералъ-губернатору говорилъ: „совершенно удостовѣрить могу, что ничего замѣчанія достойнаго чрезъ ввѣренный моей дирекціи почтамтъ безъ уваженія пройти не можетъ“. Въ этомъ достойномъ безсмертія афоризмѣ лучше всего, конечно, случайное словечко „уваженіе“. Оно даетъ намъ возможность, пользуясь словаремъ московскаго почтъ-директора, сказать, что и нынѣ частная корреспонденція пользуется надлежащимъ „уваженіемъ“.

Исторію этого „уваженія“ европейскихъ правительствъ къ тайнѣ довѣряемыхъ имъ писемъ попытался изобразить нѣмецкій почтовый чиновникъ Кенигъ. Его книга знакома нашимъ читателямъ; вскорѣ по выходѣ въ свѣтъ ея второго изданія на страницахъ нашего журнала („Русское Богатство“ 1892 г., августъ) было

дано ея изложене, сжатое, но въ извѣстной части болѣе полное, чѣмъ то, что теперь представлено русской читающей публикѣ въ качествѣ перевода. Эти пробѣлы перевода, необъясненные и необъяснимые, тѣмъ болѣе удивительны, что въ пропущенныхъ главахъ заключается если не самая забавная, то несомнѣнно самая поучительная часть книги Кенига, менѣе анекдотическая и болѣе близкая къ современности. Дѣло въ томъ, что создать настоящую исторію изъ тѣхъ обрывковъ разнородныхъ и полудостоувѣрныхъ свѣдѣній, которыми располагалъ авторъ, ему не удалось. Но на ряду съ разрозненными рассказами о почтовыхъ застѣнкахъ добраго стараго времени, о техникахъ тайнаго распечатыванія чужихъ писемъ и приемахъ почтоваго шпионства, на ряду съ анекдотами о прежнихъ европейскихъ Шпекиныхъ—подчасъ весьма высокопоставленныхъ—авторъ привелъ также сухо-дѣловые, но весьма любопытные стенографическіе отчеты о преніяхъ по интересующему насъ предмету въ германскомъ рейхстагѣ начала семидесятихъ годовъ прошлаго вѣка. Именно этихъ главъ—ими занята значительная часть подлинника—мы не находимъ въ русскомъ переводѣ. Между тѣмъ, если книга Кенига издана у насъ не для сообщенія случайныхъ свѣдѣній, а съ воспитательными цѣлями, то именно въ этихъ пропущенныхъ главахъ сосредоточены наиболѣе вѣскіе удары противъ почтоваго шпионства. Какъ было сказано, эти пренія въ молодомъ германскомъ рейхстагѣ показывали съ полной очевидностью, какъ различны воззрѣнія на реальныя—не абстрактно теоретическія—права личности у обывателя, съ трудомъ добывающагося осуществленія правъ, въ теоріи давно безспорныхъ, и у представителей власти, даже изъ весьма либеральныхъ. Но эти пренія показали также, какіе успѣхи достигнуты въ охранѣ этихъ правъ, какъ высоко стоитъ идея неприкосновенности частнаго письма въ правосознаніи современнаго культурнаго человѣка, какъ энергично вступаются за охрану этого права личности даже представители тѣхъ партій, въ политикѣ которыхъ когда-то почтовое шпионство занимало видное мѣсто.

Указаніемъ на этотъ досадный пробѣлъ мы не хотимъ сказать, что все остальное въ книгѣ Кенига лишено интереса. Наоборотъ, даже ея анекдоты поучительны. Но поучительнѣе ея историческихъ предположеній и курьезовъ—духъ, ея проникающій. Припомнимъ, что Кенигъ—только простой, слегка будирующій и незначительный нѣмецкій почтовый чиновникъ. И однако—какъ глубоко проникнута его нехитрая книжка сознаніемъ своихъ правъ, самоуваженіемъ, убѣжденіемъ, что посягательство на малѣйшее проявленіе моей личности есть посягательство на самую личность. Вотъ лучшій плодъ той культуры, блага которой такъ энергично отстаивали великіе предшественники маленькаго Кенига.

Надо, однако, напомнить о томъ его союзникѣ, который явился,—правда, подъ влияніемъ той же культуры, но со стороны. „То чего не могли достигнуть ни юристы, ни различныя конституціи,—разсказываетъ авторъ,—было достигнуто, благодаря огромному почтовому обмѣну, разросшемуся въ миллионы разъ; именно это обстоятельство и ограничило дѣятельность „черныхъ кабинетовъ“.

Такимъ образомъ, если „уваженіе“ московскаго почтамта перешло отъ всей корреспонденціи, проходящей чрезъ это полезное учрежденіе, къ письмамъ немногихъ избранниковъ, то въ этомъ тоже виновать обыватель,—но ужъ виновать не своимъ качествомъ, а только количествомъ. Правда, мы не такъ безпоконимъ начальство, какъ нѣкоторые варвары; у насъ въ 1897 году число почтовыхъ отправленій дошло всего до пяти на человѣка (въ Японіи—12, въ 1903 году—17); но всетаки вѣдь и у насъ за годъ проходитъ черезъ почту до трехъ четвертей миллиарда почтовыхъ отправленій: какъ справиться съ этой необъятной массой неуловимыхъ письменныхъ разговоровъ, изъ коихъ въ каждомъ, быть можетъ, таится злоумышленіе...

Главные дѣятели и предшественники судебной реформы. Поля редакціей К. К. Арсеньева. Изд. Брокгаузъ-Ефронъ. Спб. 1904 г.

По условіямъ нынѣшняго момента нашей общественной жизни, въ дни воспоминанія о минувшемъ сорокалѣтіи судебной реформы общее вниманіе было менѣе всего сосредоточено на заслуженныхъ дѣятеляхъ этого великаго законодательнаго акта. Думали и говорили не столько о прошломъ, сколько о будущемъ. Если и вспоминали прошлое, то останавливались не на первыхъ свѣтлыхъ его страницахъ, а на печальной исторіи послѣдней четверти вѣка, преобразовавшей реформу, чтобы поставить на ея мѣсто судебный строй, недалекий отъ дореформеннаго. Незачѣмъ жалѣть объ этомъ мимолетномъ невниманіи къ дѣятелямъ прошлаго; оно есть лучший даръ вниманія къ дѣлу ихъ жизни; мы забыли на время о нихъ, потому что слишкомъ поглощены были борьбой за живое осуществленіе ихъ завѣтовъ. Но въ этой борьбѣ память о нихъ есть лучшее знамя,—и оттого нельзя безъ глубокаго сочувствія отнѣстись красивое и содержательное изданіе, только что вышедшее въ свѣтъ подъ редакціей и съ предисловіемъ К. К. Арсеньева. Книга даетъ тринадцать отдѣльныхъ очерковъ, посвященныхъ характеристикѣ какъ непосредственныхъ участниковъ судебной реформы, авторовъ этого законодательнаго акта и практическихъ работниковъ, наполнившихъ живымъ содержаніемъ его прогрессивныя нормы, такъ и писателей, обличеніями „неправды черной“ подготовившихъ въ общественномъ сознаніи мысль о необходимости преобразованія.

Съ фигурами шести ближайшихъ дѣятелей реформы—Заруднаго, Ровинскаго, Стояновскаго, Буцковскаго, Замятнина, Ковалевскаго—познакомилъ читателей А. О. Кони, всегда заботившійся объ увѣковѣченіи и популяризаціи этихъ именъ въ нашемъ „лѣнивомъ и не любопытномъ“ обществѣ. Н. В. Давыдовъ въ очеркѣ, посвященномъ императору Александру II, какъ участнику въ судебной реформѣ, указываетъ на уваженіе самого инициатора этого замѣчательнаго законодательнаго акта къ его основнымъ началамъ. Онъ напоминаетъ рассказъ одного изъ первыхъ дѣятелей новаго суда П. Н. Обнинскаго о томъ, какъ въ 1876 году во время слѣдствія по знаменитому Струсберговскому дѣлу, наслѣдникомъ было доложено государю относившееся къ этому процессу ходатайство, а государь отвѣтилъ: „это дѣло суда и не намъ съ тобой въ него вмѣшиваться“. Къ сожалѣнію, въ статьѣ о защитникѣ не рассказана съ должной подробностью исторія отставки этого перваго министра юстиціи при реформированномъ судѣ... Этотъ судъ былъ въ слишкомъ живомъ противорѣчіи съ общей обстановкой, чтобы произвести коренное преобразование въ правосознаніи и остаться неприкосновеннымъ. Но свидѣтелями глубокаго переворота, вызваннаго имъ въ рядѣ правовыхъ отношеній, могутъ служить произведенія писателей, характеристикъ которыхъ посвящены четыре заключительные очерка: Капниста, Гоголя, Ив. Аксакова, Салтыкова. Кратко, но содержательно и выразительно предисловіе редактора, по убѣжденію котораго, „привести къ желанной цѣли новый пересмотръ судебныхъ уставовъ можетъ только при обстановкѣ, напоминающей время ихъ составленія—только какъ часть пѣлаго цикла преобразованій, продолжающихъ и завершающихъ великія реформы императора Александра II“.

Д-ръ Хилевскій.—Патологическій элементъ въ личности и творчествѣ Фридриха Ничше. Киевъ, 1904.

Вѣроятно, нѣтъ другого современнаго писателя, который представлялъ бы такой интересъ для психіатра, какъ Фридрихъ Ничше. И это прежде всего потому, что патологическій элементъ личности Ничше развился не послѣ того, когда основные пункты его міровоззрѣнія были уже выработаны (какъ это случилось, напримеръ, съ Огюстомъ Контомъ), а, наоборотъ, вполнѣ современнѣе выработкѣ этого міровоззрѣнія, ибо почти вся литературная дѣятельность Ничше совпадаетъ съ тѣмъ временемъ, когда онъ несомнѣнно былъ боленъ. Поэтому для психологовъ и психіатровъ возникаетъ трудная, но интересная задача: анализировать ученіе Ничше и опредѣлить, какіе элементы являются въ данномъ случаѣ интегральною частью его особаго, оригинальнаго міровоззрѣнія, особой исключительной точки зрѣнія, съ которой Ничше разсматриваетъ міровыя явленія, и какіе элементы являются слу-

чайными, наносными продуктами болѣзненнаго состоянія мыслителя. Такъ, напримѣръ, такой популярный и характерный пунктъ ученія Ничше, какъ концепція „сверхъ-человѣка“, вполне гармонируя со всѣмъ остальнымъ ученіемъ Ничше, въ то же время, несомнѣнно, заключаетъ въ себѣ и элементы, объясняемые лишь маниакальнымъ возбужденіемъ философа.

Къ сожалѣнію, однако, психіатрія въ настоящее время еще не достигла такого совершенства, при которомъ она могла бы съ полнымъ успѣхомъ выполнить подобную тонкую работу. А сверхъ того, случай Ничше представляетъ еще нѣсколько особенныхъ затрудненій. Во первыхъ, нельзя съ точностью сказать, былъ ли Ничше по своей организаціи „дегенерантомъ высшаго порядка“; во-вторыхъ, не вполне можно опредѣлить значеніе тѣхъ болѣзненныхъ явленій (какъ, напр., продолжительныхъ и тяжелыхъ мигреней), которыя наблюдались у Ничше до возникновенія его главной болѣзни; наконецъ, въ-третьихъ, самая та болѣзань, которая довела Ничше до слабоумія и смерти, т. е. прогрессивный параличъ представляетъ въ клиническомъ отношеніи много неясностей. Существуетъ даже мнѣніе, что самое теченіе этой болѣзни въ послѣднее время начало видоизмѣняться. „Прогрессивный параличъ, говоритъ нашъ авторъ (стр. 33), какъ болѣзань, повидимому, въ послѣднее время подвергся эволюціи. Классическая картина прогрессивнаго паралича съ маниакальнымъ состояніемъ, съ нелѣпымъ бредомъ величія, частыми переминами настроенія—встрѣчаются все рѣже и рѣже“. А случай Ничше былъ, къ тому же, случаемъ *атитического* прогрессивнаго паралича: онъ представлялъ много своеобразностей. Даже самая продолжительность его болѣзни, равная, по Мебіусу, 19 годамъ, является необычною, ибо средняя продолжительность прогрессивнаго паралича равна 3—4 годамъ.

Такимъ образомъ, предъ нашимъ авторомъ была весьма трудная задача. Какъ онъ съ нею справился? Нашъ авторъ, вполне компетентный врачъ, далъ толковую исторію болѣзни Ничше. Но вѣдь задача была не клиническая: предстояло дать не исторію болѣзни Ничше, а анализъ его произведеній, т. е. нужно было открыть, какіе элементы ученія Ничше (и насколько) являются продуктомъ его болѣзненнаго состоянія. Для этого нужно было такое глубокое проникновеніе въ творчество Ничше, котораго нашъ авторъ не обнаружилъ. Онъ ограничился нѣсколькими мелкими замѣчаніями въ родѣ, напримѣръ, того, что, отмѣтивши фактъ злоупотребленія Ничше хлораломъ, прибавилъ: „Возможно, что „чувство ненависти“ (къ людямъ), о которомъ говорятъ Ничше, относится къ индивидуальному дѣйствію хлорала“ (стр. 22). Затѣмъ авторъ, анализируя труды Ничше, приходитъ, напр., къ тому выводу, что книга „Такъ говоритъ Заратустра“ написана „въ

состояній маниакальной экзальтація“ (стр. 26), а книга „Къ генеалогіи морали“ написана „въ періодъ ремиссіи“ (стр. 28).

Мы не ставимъ въ упрекъ автору, что онъ не сдѣлалъ того, чего онъ, очевидно, и не могъ сдѣлать, что онъ не далъ глубокаго анализа творчества Ничше. Мы имѣли въ виду лишь одно—указать читателямъ „Р. Б.“, что они могутъ найти въ брошюрѣ д-ра Хмѣлевскаго: они могутъ найти тамъ лишь толковое изложеніе исторіи болѣзни Ничше и освѣщеніе не столько *нѣкоторыхъ* идей философа, сколько его манеры излагать эти идеи, ничего больше они тамъ не найдутъ.

Гаральдъ Гесфдингъ. Философскія проблемы. Пер. съ нѣмецкаго. Г. А. Котляра. М. 1904.

Новое сочиненіе извѣстнаго датскаго философа должно быть причислено къ типу тѣхъ „введеній въ философію“, которыя въ послѣднее время стали особенно часто появляться.

Авторъ дѣлаетъ общій обзоръ поля философскаго изслѣдованія. Онъ признаетъ существованіе четырехъ основныхъ философскихъ проблемъ: „1) проблема природы явленій сознанія (психологическая проблема); 2) проблема правильности познанія (логическая проблема); 3) проблема природы бытія (космологическая проблема), и 4) проблема оцѣнки (этически-религіозная проблема)“. Затѣмъ авторъ задаетъ вопросъ: „можно ли эти четыре проблемы свести къ одной основной проблемѣ“, и отвѣчаетъ: „что это возможно, доказываетъ, мнѣ кажется, то значеніе, которое имѣетъ при обсужденіи каждой изъ нихъ вопросъ объ отношеніи между непрерывностью и прерывностью явленій. Въ этомъ отношеніи выражается глубочайшій интересъ, какъ личности, такъ и науки. Какъ въ той, такъ и въ другой области наиболѣе характернымъ является... стремленіе къ связи и единству, а съ этой точки зрѣнія все прерывное является препятствіемъ, устранить которое необходимо. Съ другой же стороны, именно прерывность (различіе времени, степени, мѣста, качества, индивидуальности) есть то, что и въ области науки и въ области личной жизни вносятъ новое содержаніе, освобождаетъ скрытыя силы и ставитъ великія задачи“ (стр. 5).

Характерною особенностью разсматриваемаго нами изслѣдованія является то обстоятельство, что авторъ не стремится дать намъ цѣльную, гладкую, законченную систему. Онъ говоритъ: „Идеаль былъ бы достигнутъ, если бы удалось доказать полную гармонію всего нашего опыта, непрерывное цѣлое, около котораго объединились бы, согласно собственнымъ своимъ законамъ, всѣ спеціальныя эмпирическія области. Но... такое законченное міровоззрѣніе невозможно и въ извѣстномъ смыслѣ содержитъ въ себѣ внутреннее противорѣчіе. Ни одна изъ спеціальныхъ эмпи-

рических областей не есть нечто законченное; непрерывно возникают как новый опыт, так и новые загадки; наше стремящееся къ обобщеніямъ мышленіе каждый разъ наталкивается на новыя задачи. Такъ какъ наше познаніе совершается всегда черезъ сопоставленіе и сравненіе, то всякій цѣльный образъ, чтобы стать предметомъ законченнаго познанія, долженъ былъ бы быть сопоставленъ съ чѣмъ-нибудь отличнымъ отъ него: только тогда онъ могъ бы достигъ полной опредѣленности; но если бы было что-либо, отъ него отличное, то онъ не былъ бы *цѣльнымъ* образомъ“ (стр. 68—9).

Поэтому, при изслѣдованіи всѣхъ своихъ проблемъ, авторъ наталкивается на антиноміи, „ирраціональное отношеніе“, которое и считается имъ символическимъ выраженіемъ дѣйствительности. Онъ говоритъ: „Тотъ фактъ, что познаніе не можетъ быть законченнымъ, можетъ стоять въ связи съ тѣмъ, что бытіе само не закончено, не готово, а такъ же находится въ состояніи непрерывнаго возникновенія, какъ отдѣльная личность и познаніе. Оно, быть можетъ, скрываетъ въ себѣ также одновременныя дисгармоніи, которыя и дѣлаютъ невозможнымъ для него образовать гармоническое цѣлое“ (стр. 69).

Вопросъ о классификаціи всегда имѣетъ двойственное значеніе. Если классификацію разсматривать просто, какъ лишь методологическій приѣмъ, тогда она имѣетъ второстепенное значеніе, и каждый изслѣдователь можетъ создавать классификаціи ad hoc, сообразуясь съ удобствомъ изслѣдованія. Но если придавать классификаціи болѣе строгое значеніе, если разсматривать ее, какъ орудіе познанія сущности классифицируемыхъ явленій, тогда о свободѣ созданія системы классификаціи не можетъ быть и рѣчи. Придавая классификаціи это послѣднее, болѣе строгое значеніе мы думаемъ, что сдѣланное нашимъ авторомъ распредѣленіе проблемъ не вполне удачно. Существуютъ лишь двѣ основныя проблемы: проблема бытія и проблема познанія. Выставлять въ первую линію проблему сознанія значитъ дѣлать нѣкоторый предварительный заемъ изъ обѣихъ этихъ основныхъ проблемъ. Выставлять же въ первую линію проблему оцѣнки нельзя потому, что предварительно надлежитъ рѣшить вопросъ о томъ, что такое тѣ нормы, на основаніи которыхъ мы дѣлаемъ оцѣнку. Извѣстно, что однимъ изъ важнѣйшихъ вопросовъ современной философіи является вопросъ объ отношеніи между „существующимъ“ и „должнымъ“: вопросъ объ автономіи нормъ. Кто не признаетъ за нормами того исключительнаго значенія, которое придаютъ имъ, напимѣръ, кантіанцы, тотъ и будетъ разсматривать проблему оцѣнки, какъ вторичную проблему. Но, во всякомъ случаѣ, каково бы ни было мнѣніе изслѣдователя, очевидно, что поднимать вопросъ объ автономіи нормъ можно лишь послѣ уясненія вопросовъ о бытіи и познаніи.

Какъ мы видимъ, нашъ авторъ устанавливаетъ единство четырехъ проблемъ, вводя вопросъ объ отношеніи между непрерывностью и прерывностью. Этимъ онъ косвенно даетъ перевѣсъ проблемы познанія надъ проблемой бытія. Конечно, начинать нужно съ проблемы познанія уже потому одному, что философія есть видъ познанія; однако, если не смотрѣть на вопросъ о познаніи, какъ на самодовлѣющій, замкнутый въ себѣ вопросъ, то сейчасъ же возникаетъ вопросъ о познаніи, какъ одномъ изъ проявленій бытія, и, такимъ образомъ, вопросъ о бытіи выступаетъ на первый планъ. Тутъ снова становится яснымъ неудобство выдѣленія вопроса о сознаніи, какъ основного, независимаго вопроса.

Климатологія въ связи съ климатотерапіей и гігіеной. А. Класовскаго, заслуженнаго профессора Новороссійскаго университета. Одесса 1904.

Брошюра нашего извѣстнаго метеоролога, проф. Класовскаго, затрагиваетъ весьма интересный и мало изученный вопросъ. Человѣческій организмъ погруженъ въ среду атмосферныхъ явленій, явленій свѣтовыхъ, тепловыхъ, электрическихъ, явленій измѣнчивой влажности воздуха и его давленія. Всѣ эти явленія, несомнѣнно, играютъ весьма значительную роль въ вопросѣ о нормальномъ отправленіи нашего организма, но, къ сожалѣнію, мы должны признать, что въ настоящее время медицина еще очень мало можетъ пользоваться указаніями метеорологіи.

Иногда мы даже не знаемъ, въ чемъ, собственно, слѣдуетъ искать причину извѣстныхъ гігіеническихъ явленій. Такъ, напр., южный берегъ Крыма извѣстенъ своимъ цѣлебнымъ вліяніемъ на рахитъ (англійская болѣзнь): онъ и излѣчиваетъ, и предупреждаетъ рахитъ. Казалось бы, это легко объяснить свѣтомъ и тепломъ, присущими климату южнаго берега. Однако, дѣло объясняется не такъ просто. „Если-бы, говоритъ докторъ Бѣлокуръ, одной инсоляціи было достаточно для уничтоженія рахита, то въ Бухарѣ мы бы никогда не наблюдали этой болѣзни. Между тѣмъ, съ достовѣрностью извѣстно, что рахитъ въ Бухарѣ распространенъ эпидемически“ (цитата по Класовскому, стр. 5).

Дѣлались попытки опредѣлить связь между колебаніями климатическихъ условій данной мѣстности и развитіемъ въ ней болѣзней. Но, конечно, это слишкомъ сложный вопросъ, чтобы рѣшить его единичными наблюденіями. Докторъ Ассманъ сдѣлалъ болѣе широкую попытку: онъ пытался „прослѣдить ходъ распространенія инфлюэнцы 1899-го года и господствовавшихъ, въ соответствующій періодъ, метеорологическихъ условій“ (стр. 7).

Однако, для достиженія прочныхъ результатовъ нужна совмѣстная работа очень многихъ лицъ. Поэтому большое значеніе можетъ имѣть приложенный къ брошюрѣ проф. Класовскаго

„проект программы климатических исследований для целей климатологии и бальнеологии“.

Пользуясь указаниями такого компетентного человека, как проф. Класовскій, множество образованных лиц может заняться собираніем данных, которыя, послѣ соотвѣтствующей обработки, могутъ послужить основой для прочныхъ выводовъ.

С. А. Котляревскій. Ламенно и новѣйшій католицизмъ. М. 1904.

Книга г. Котляревскаго представляетъ не только историко-литературный, но и большой современный интересъ. Возрожденіе воинствующаго католицизма въ XIX в., его почти сказочный расцвѣтъ въ эпоху, когда именно, казалось бы, его пѣснь окончательно спѣта, — фактъ не только высоко интересный по своей исторической загадочности, но и огромнаго политическаго значенія, — фактъ, съ каковымъ тѣсно связаны будущія судьбы Европы. Достаточно вспомнить современную протестантскую Германію, гдѣ, не смотря на свое численное меньшинство, католики представляютъ самую сильную партію въ рейхстагѣ; Бельгію, гдѣ всѣ усилія прогрессивныхъ партій разбиваются о могучую коалицію католиковъ, фактически управляющихъ страной и упорно отказывающихъ народу въ самой насущной избирательной реформѣ; наконецъ, Францію, которая на нашихъ глазахъ едва спаслась отъ всеобщаго заговора католическаго *status in statu* и вынуждена была прибѣгнуть къ мѣрамъ, скорѣе напоминающимъ политику конвента, чѣмъ увѣренной въ своей мощи республики...

Двѣ основныя черты особенно характерны для новѣйшаго католицизма. Первая — безповоротное торжество самаго крайняго ультрамонтанства, которое, воскресивъ теократическіе идеалы средневѣковья, поставивъ папство въ положеніе единаго и непогрѣшимаго повелителя церкви и уничтоживъ послѣдніе слѣды церковной самостоятельности отдѣльныхъ странъ, придало необыкновенную силу и единство и безъ того уже достаточно совершенной организаціи универсальной церкви. Другая — примиреніе и тактическій союзъ со свободой и новыми политическими учрежденіями Западной Европы. Римская церковь жаждала воспитывать юношество, захватить въ свои руки печать, организацію массъ, наконецъ, управление обществомъ: все это могла дать свобода, надлежащимъ образомъ использованная. Такимъ-то образомъ во многихъ католическихъ странахъ рядомъ съ лозунгомъ „католицизмъ“ на ультрамонтанскомъ флагѣ явилось и священное слово „свобода“. Въ настоящую минуту, когда мы пишемъ эти строки, католическая Бельгія шумно ликуетъ по поводу 25-ти лѣтія провозглашенія свободы преподаванія, а во Франціи клерикалы во имя свободы протестуютъ противъ закрытія конгрегацій... И, дѣйстви-

тельно, свободѣ, какъ солнцу, которое одинако свѣтитъ надъ праведными и грѣшными, католицизмъ въ XIX в. больше всего обязанъ своими грандіозными завоеваніями. Правда, при первомъ удобномъ случаѣ клерикалы готовы продать свободу первому, кто обѣщаетъ больше выгодъ, какъ это случилось съ католической партіей въ Франціи въ президентство Бонапарта, или воспользоваться ею для разрушенія того самаго строя, которому они всѣмъ обязаны, какъ это мы видимъ въ современной Франціи, но какъ тактическимъ оружіемъ, когда это нужно, ихъ церковь умѣетъ пользоваться свободой съ необыкновеннымъ совершенствомъ.

Каждое новое крупное теченіе обыкновенно имѣетъ своего пророка-энтузіаста, съ именемъ котораго оно связано, какъ бы далеко оно впослѣдствіи ни уклонилось отъ первоначальныхъ идей своего вдохновителя... По странной ироніи исторія, пророкомъ новаго курса католицизма въ XIX в. суждено было стать никому иному, какъ Ламеннѣ. Этотъ человѣкъ, который въ зрѣломъ возрастѣ пришелъ къ убѣжденію, что католицизмъ кореннымъ образомъ противорѣчитъ идеаламъ человѣчества, что католицизмъ и свобода непримиримы, авторъ *Paroles d'un croyant*, потрясавшій Европу своей пламенной проповѣдью свободы и социальной справедливости,—этотъ человѣкъ былъ провозвѣстникомъ тѣхъ самыхъ принциповъ, которые легли въ основаніе догмы и политики обновленнаго католицизма. Это онъ со свойственнымъ ему одному пламеннымъ краснорѣчіемъ и прямолинейной логикой воскресилъ идеалы Григорія VII, провозгласилъ католицизмъ единой истиной рода человѣческаго и папу его непогрѣшимымъ главой, которому одному принадлежитъ верховное управленіе міромъ. Это онъ, послѣ недолгаго увлеченія идеей абсолютной католической монархіи, руководимой церковью, имѣлъ мужество перейти на другую сторону и на знамени церкви рядомъ со словомъ „католицизмъ“ поставилъ слово „свобода“,—лозунгъ, который въ періодъ его принадлежности къ церкви лежалъ въ основаніи всей его публицистической и общественной дѣятельности. Подъ этимъ лозунгомъ онъ объединилъ фалангу даровитыхъ и энергичныхъ людей, создавшихъ могущественную клерикальную партію, которая шагъ за шагомъ отвоєвала для церкви школу, конгрегацию, политическую силу,—все, о чемъ могло только мечтать ультрамонтанство.

Но самъ Ламеннѣ палъ жертвой своего мятежнаго энтузіазма. Католицизмъ, прибѣгая подъ сѣнь свободы, признавалъ право на нее исключительной своей монополіей. Ламеннѣ требовалъ ее для всѣхъ, для всѣхъ мнѣній, для всѣхъ вѣрованій. Церковь отвергла его, но сумѣла по своему использовать его великій публицистическій талантъ. Его апологія католицизма — до сихъ поръ краеугольный камень ея догмы. Его лозунгъ „свобода“—главнѣйшій тактический приемъ, ея могущественное оружіе тамъ, гдѣ она гонима или борется за преобладаніе. Его призывъ къ активной со-

ціальної діяльності вивелъ ее на путь организаціи массъ подъ флагомъ католическаго соціалізма...

Личность Ламенне поэтому тѣснѣйшимъ образомъ связана съ судьбой новѣйшаго католицизма. Съ этой точки зрѣнія авторъ разбираемой монографіи трактуетъ своего героя.

„Жизнь Ламенне для него прежде всего важна, какъ страница изъ исторіи великой релігіозной и общественной организаціи — католической церкви... Она интересна для него прежде всего тѣмъ, что пережитый имъ индивидуальный процессъ отражаетъ эволюцію новѣйшаго католицизма и освѣщаетъ загадочное на первый взглядъ противорѣчіе — торжество въ церкви теократіи и борьба за свободу, консервативный обликъ и движеніе въ сторону социалистическихъ программъ и идеаловъ“.

Уже за одинъ выборъ темы подобнаго рода можно быть благодарнымъ г. Котляревскому. Ни личность Ламенне, ни эволюція католической церкви въ XIX ст. не были у насъ предметомъ изслѣдованія, хотя на европейскихъ языкахъ имѣется не мало превосходныхъ монографій объ этихъ предметахъ. Нужно отдать справедливость автору: онъ внесъ въ свой трудъ и много эрудиціи, и научную добросовѣстность, и любовь къ своей темѣ, и, наконецъ, сумѣлъ сдѣлать свою книгу интересной для широкаго круга читателей. Въ предѣлахъ его спеціальной задачи, г. Котляревскому удалось не только дать достаточно детальную и широко освѣщенную на фонѣ эпохи біографію и характеристику литературной и общественной карьеры Ламенне, но и въ значительной мѣрѣ выяснить эволюцію современнаго католицизма, пониманіе которой столь важно именно въ настоящее время. За всѣмъ тѣмъ во многихъ отношеніяхъ рассматриваемый трудъ автора одинаково не удовлетворитъ ни спеціалиста, ни обыкновеннаго читателя. Прежде всего по отношенію къ Ламенне. Въ такой сложной личности, какъ этотъ послѣдній, нельзя отдѣлять мыслителя и дѣятеля отъ его оригинальной психической индивидуальности, являющейся главнымъ ключемъ къ пониманію его духовнаго облика и эволюціи. Мы не говоримъ тутъ спеціально о такъ называемой душевной драмѣ Ламенне, — хотя и ее обходитъ въ большой монографіи объ отдѣльномъ писателѣ не совсѣмъ бы слѣдовало, — а о тѣхъ коренныхъ особенностяхъ его душевнаго склада, которыя создали то, что насъ больше всего поражаетъ въ этой яркой, столь сложной и выстѣ съ тѣмъ цѣльной фигурѣ великаго энтузіаста. Революціонный темпераментъ Ламенне, одинаково остававшася вѣрнымъ себѣ и тогда, когда онъ пламенно отстаивалъ божественный авторитетъ папы, и когда онъ столь же пламенно отрекся отъ него во имя разума и соціальной справедливости, остался совершенно внѣ анализа автора. Онъ считаетъ психическую загадку Ламенне вполне рѣшенной уже Сентъ-Бевомъ, видѣвшимъ сущность психологіи его въ „единствѣ воли и разума, запечатлѣннаго вѣрой“. Къ этой ничего не объясняющей формулѣ авторъ считаетъ

только необходимымъ подыскать „историческую“ основу, которую онъ счастливо находитъ, если отбросить риторику его фразы, не больше и не меньше, какъ... въ католицизмъ. Но католицизмъ и даже „единство воли и разума, запечатлѣннаго вѣрой“ были не у одного только Ламенна, они были и у Монталамбера, и у Лаламоргера, да и у цѣлой массы католическихъ единомышленниковъ Ламенна. Въ чемъ же тогда психическая индивидуальность именно этого послѣдняго, толекувшая его одного по совершенно особому пути? Въ одномъ только мѣстѣ авторъ пытается самостоятельно искать психическую основу эволюціи Ламенна и находить ее въ томъ, что сначала наивный, мало знакомый съ дѣйствительностью романтикъ католицизма, Ламенна, въ концѣ концовъ, постепенно позналъ глубокую пропасть, отдѣляющую идеалы церкви отъ печальной дѣйствительности, и прозрѣлъ; остальное, молъ, все понятно. Но если дѣло такъ просто, почему опять таки прозрѣлъ только Ламенна, а не Монталамбергъ, Лакордеръ и мн. другіе люди тоже недюжинные, видѣвшіе и знавшіе то же, что и Ламенна, и, однако, въ рѣшительный моментъ предавшіе своего учителя при всемъ ихъ „единствѣ разума и воли“.

Что касается другого героя книги, коллективнаго католицизма, то г. Котляревскій противъ него погрѣшилъ еще болѣе.

Эволюція католицизма въ XIX в. стоитъ у него какъ бы совершенно изолированной отъ прошлыхъ судебъ римской церкви. Совершенно справедливо указавъ на тѣсную связь между эволюціей церкви и социальнымъ и умственнымъ переворотомъ, произведеннымъ французской революціей, авторъ совершенно упустилъ изъ виду еще болѣе тѣсную связь современнаго католицизма съ той великой реакціей, которую испытала церковь послѣ другой великой революціи, чисто духовной, революціи—реформаціи. Развѣ энтузіазмъ ультрамонтанства, эта удивительная политика приспособленія къ внѣшнимъ условіямъ дѣятельности, эта страстная борьба за овладѣніе умами путемъ школы, печати, конгрегацій, комплотовъ и интригъ и, наконецъ, это упорное стремленіе къ политическому господству,—развѣ всѣ эти черты не прямое продолженіе политики, усвоенной римской церковью послѣ реформаціи?

Если бы авторъ вспомнилъ объ этомъ, онъ, быть можетъ, совершенно иначе взглянулъ бы на эволюцію новѣйшаго католицизма. Онъ понялъ бы, во 1-хъ, что вся практика „новаго“ курса церкви съ его либерализмомъ и социализмомъ сводится къ старой испытанной методѣ приспособленія въ борьбѣ за самосохраненіе. и ни къ чему болѣе, и, во 2-хъ,—и это самое важное,—что за нынѣшнимъ духовнымъ подъемомъ церкви можетъ послѣдовать такая же, если не болѣе сильная волна мертваго упадка, какая постигла ее въ XVIII в., потому что и раціонализмъ, или тотъ „псевдо-позитивизмъ“, надъ которымъ иронизируетъ авторъ, еще

не совсѣмъ приказаль долго жить и можетъ еще современемъ сказать кое-что въ свое оправданіе. Не лишнее было бы такъ же хоть мимоходомъ остановиться на „динамикѣ“ либерально-соціальныхъ тенденцій римской церкви, самое поучительное проявленіе которой такъ легко было прослѣдить на исторіи послѣднихъ десятилѣтій во Франціи, Бельгіи и Германіи: для пониманія проблемъ католицизма это очень важно.

Правильному возвращенію автора на роль и будущее католицизма мѣшаетъ какой-то странный не то „идеализмъ“ *sui generis*, не то романтизмъ, лишающій его въ рѣшительную минуту необходимаго мужества и сводящаго его съ пути ученаго на тропу риторизма и безнадежныхъ противорѣчій.

Онъ считаетъ, напримѣръ, католицизмъ по самой природѣ своей неизмѣннымъ; онъ полагаетъ, что „идея прогресса для него недопустима“ и что въ этомъ заключается „величайшій антагонизмъ между нимъ и современнымъ обществомъ“, а вслѣдъ за этими категорическими утвержденіями онъ цитируетъ прогрессивную программу американскихъ католиковъ, которая кореннымъ образомъ противорѣчитъ догмату „неизмѣнности“. Г. Котляревскій выходъ изъ этого противорѣчія находитъ въ томъ, что это уже „почти“ не католицизмъ, а американизмъ, какъ будто дѣло въ названіи, а не въ самомъ фактѣ возможности глубокихъ измѣненій въ основѣ католицизма.

Вынужденный признать, что развитіе свободы кореннымъ образомъ неблагоприятно для католицизма, авторъ грустно задумывается надъ старой дилеммой между вырожденіемъ католическихъ народовъ и гибелью католицизма и въ видѣ исхода изъ нея, спрашиваетъ: „возможно ли для католицизма порвать окончательно съ прошлымъ, сохранивъ лишь вѣчный религіозный порывъ (?), увидѣть въ свободѣ не средство, а цѣль“ и т. д. Подобный вопросъ показываетъ, что такую возможность авторъ допускаетъ. Какъ же примирить это съ его же утвержденіемъ о „вѣчной неизмѣнности“?

Еще болѣе странно отношеніе автора къ вопросу о католическомъ социализмѣ. Ставя вопросъ о томъ, являются ли соціальныя эксперименты католической церкви ея заслугой, или лишь результатомъ простой необходимости, авторъ сначала не считаетъ для себя возможнымъ дать категорическій отвѣтъ. Но это не мѣшаетъ ему сейчасъ же, вслѣдъ за этимъ дать такой глубокомысленный и ясный отвѣтъ: съ одной стороны, соціальная политика являлась необходимостью для церкви, во съ другой — „по пути соціального благосостоянія цѣли католической церкви на нѣкоторомъ протяженіи — короткомъ или далекомъ это другой вопросъ — шли параллельно интересамъ трудящихся массъ“ (довольно ясно и опредѣленно?). Впрочемъ, черезъ нѣсколько строкъ авторъ поправляется и выражается съ большей опредѣленностью: „осущест-

вленіе духовнаго правленія католической церкви заключало бы въ себѣ и измѣненіе самыхъ тяжелыхъ социальныхъ условий современной жизни, правда, съ потерей того, что западно-европейскія общества считаютъ своими неотчужденными культурными благами“.

Интересно, на чемъ основываетъ ученый авторъ это утвержденіе? Не на примѣрѣ ли папской области, миссіонерскихъ колоній въ Парагваѣ или на исторіи Испаніи?

Два слова еще по поводу предисловія, по меньшей мѣрѣ, претенціознаго. Въ одномъ мѣстѣ авторъ съ апломбомъ третируетъ философскія попытки выясненія вопроса объ отношеніи личности къ обществу. Въ другомъ тонко инсинуируетъ по адресу покойныхъ экономическихъ матеріалистовъ. Въ-третьемъ, онъ гордо отрекается отъ „мнимопозитивистовъ, для которыхъ религіозная жизнь общества является предметомъ, недостойнымъ вниманія, и торжественно заявляетъ, что онъ, авторъ, не отказывается отъ мыслей и чаяній о будущей (?) религіозной жизни Россіи...“ Между тѣмъ, не смотря на всѣ претензіи автора, его собственный трудъ, ни въ методологическомъ, ни въ идейномъ отношеніи не представляетъ собою ничего оригинальнаго.

Основная его идея—вліяніе Ламенна на новый курсъ католицизма—впервые высказанная Ренаномъ, давно уже стала общимъ мѣстомъ...

Сборникъ чтеній съ волшебнымъ фонаремъ въ школѣ и дома.—Труды комиссіи по устройству чтеній для учащихся педагогическаго общества, состоящаго при Московскомъ университетѣ. Изданіе т-ва И. Д. Сытина. М. 1904.

Домашнее и школьное чтеніе учащихся, какъ извѣстно, подвержено очень строгому контролю. Главная задача контроля состоитъ въ томъ, чтобы черезъ книгу въ среду учащихся не проникло „вредное направленіе“. Что такое „вредное направленіе“, опредѣлить не совсѣмъ легко. Вреднымъ признается, напр., употребленіе учащимися тетрадокъ съ изображеніемъ Льва Толстого. Вреднымъ признано съ прошлаго года пользованіе Евангеліемъ въ церковно-приходскихъ школахъ, и, вмѣсто него, тамъ читаютъ псалтырь. Вреднымъ оказывается и изображеніе казни Пугачева на свѣтовыхъ картинахъ. Вообще, „вреднаго“ въ книгахъ и въ картинахъ такъ много, что единственнымъ вполнѣ надежнымъ средствомъ противъ этого зла было бы примѣненіе давно рекомендованной Фамусовымъ мѣры: „забрать всѣ книги бы, да сжечь“, прибавивъ къ нимъ заодно ужъ всякія прозрачныя и непрозрачныя картины. Но сей идеалъ недостижимъ. „Сжечь гимназію и упразднить науки“, какъ то сдѣлалъ во время оно глуповскій градоначальникъ Архистратигъ Стратилатовичъ Перехватъ-Залихватскій, въ наше время уже нельзя, и поневолѣ приходится прибѣгать къ полумѣрамъ: изъять изъ школы Евангеліе, запретить

обществу грамотности издать для народа „Шень о купцѣ Калашниковѣ“, которую, однако, не воспрещено издавать всякому желающему, отбирать отъ подписчиковъ по деревнямъ газету („Вятскую“), въ которой цензоръ не все дозволяетъ перепечатывать даже изъ „Правительственного Вѣстника“, не дать хода учрежденію просвѣтительнаго общества, проектъ устава котораго подписанъ извѣстѣйшими академиками, сенаторами, писателями и т. д., и т. д. Вообще средствъ для постепеннаго „упраздненія наукъ“ болѣе, чѣмъ много. Въ числѣ ихъ не послѣднее мѣсто, если не по эффектности, то по вѣрности дѣйствія, занимаетъ ограниченіе чтенія учащихся специальнымъ каталогомъ разрѣшенныхъ для такого чтенія книгъ. Не входя въ оцѣнку достоинствъ этого каталога, можно сказать одно, что цѣли своей онъ достигаетъ отлично: учащіеся не пользуются школьными библіотеками, какъ объ этомъ свидѣлствуетъ само школьное начальство. Само собой разумѣется, что такой фактъ меньше всего говоритъ о томъ, чтобы у учащихся совсѣмъ не было потребности въ чтеніи. Потребность эта существуетъ, убить ее нельзя никакими циркулярами, но потребность эта не удовлетворяется той наличностью книгъ, которыя рекомендуются пресловутыми каталогами.

Лежащій передъ нами „Сборникъ“ педагогическаго Общества, имѣетъ, видимо, цѣлью дать въ руки учащимся въ средней школѣ такую книгу, которая, удовлетворяя ихъ любознательности и способствуя обогащенію ихъ знаній, не могла бы въ то-же время возбудить по отношенію къ себѣ подозрѣнія о „вредномъ направленіи“. Если такое предположеніе вѣрно, то цѣль эта „Сборникомъ“ вполне достигается. Содержаніе сборника очень разнообразно. Здѣсь помѣщены біографіи и характеристики Глинки (Грузинскій), Жуковского (Бѣльскій), Рембранда (Романовъ), первопечатника Ивана Федорова (Кизеветтеръ), нѣмецкихъ гуманистовъ и обскурантовъ XVI вѣка (Моравскій), статьи о землетрясеніяхъ (Павловъ), о горѣніи (Реформатскій) и о растеніяхъ скалъ и песковъ (Барковъ). Какъ видно изъ этого перечня, статьи, помѣщенные въ „Сборникъ“, касаются преимущественно такихъ темъ, о которыхъ въ нашей средней школѣ (въ гимназіяхъ въ особенности) учащимся приходится слышать очень мало, межъ тѣмъ какъ знакомство съ ними является почти обязательнымъ для всякаго образованнаго человѣка. Самое изложеніе статей вполне доступно для пониманія учащихся, читаются онѣ легко, а масса умѣло подобранныхъ и довольно хорошо исполненныхъ иллюстрацій значительно способствуетъ оживленію текста. При самомъ придирчивомъ отношеніи трудно найти въ какой-либо статьѣ какой-нибудь элементъ „вреднаго направленія“, почему надо надѣяться, что ученый комитетъ министерства народнаго просвѣщенія не закроетъ передъ этой книгой дверей своего „дозволительнаго“ каталога. Ручаться, однако, за это нельзя...

Извѣстны примѣры, когда и дозволенные и одобренные книги въ послѣдствіи признавались подлежащими исключенію. Такъ, напр., сказка въ стихахъ Можаровскаго „Лиса Патрикѣевна“ цѣлыхъ двадцать пять лѣтъ допускалась къ чтенію не только „про себя“, но даже вслухъ, была одобрена въ четырехъ изданіяхъ, а какъ вышло пятое изданіе, напечатанное безъ перемѣнъ съ предыдущихъ, тутъ и случился съ ней грѣхъ: открыли въ ней, наконецъ, „вредное направленіе“ и велѣли изъять изъ всѣхъ городскихъ и сельскихъ училищъ.

Новыя книги, поступившія въ редакцію.

(Значащіяся въ этомъ списокѣ книги присылаются авторами и издателями въ редакцію въ одномъ экземплярѣ и въ конторѣ журнала *не продаются*. Равнымъ образомъ контора не принимаетъ на себя комиссіи по приобрѣтенію этихъ книгъ въ книжныхъ магазинахъ.)

Вл. Гиляровскій. Забытая тетрадь. Изд. 3-е. М. 1901. Ц. 1 р.

Стихотворенія **Е. К. Кристи.** Одесса. 1905 г. Ц. 1 р.

Зеленый сборникъ стиховъ и прозы. Книгоизд. „Щелканово“. Спб. 1905. Ц. 1 р. 50 к.

А. О. Радченко. На распутьи. Стихотворенія. Спб. 1905. Ц. 60 к.

Полное собраніе сочиненій **С. Г. Фруга.** Т. III—VI. Изд. журн. „Еврейская жизнь“. Спб. 1904.

А. Крандиевская. То было раннюю весной. Изд. С. Скирмунта. М. 1905. Ц. 1 р.

Ея же. Ничтожные. Изд. С. Скирмунта. М. Ц. 1 р.

Ганя Хмуровъ. Романъ. **Г. Т. Мурова.** Томскъ. 1904.

Муравей. Повѣсть. Т. II. Казань. 1903. Ц. 1 р.

Н. Н. Вильде. Катастрофа. Романъ. М. 1904. Ц. 1 р.

В. Строчевскій. Собраніе сочиненій. Т. I. Изд. 2-е Глаголева. Спб. 1904. Ц. 1 р.

Станиславъ Пшибышевскій. Сыны земли. Ром. въ 3-хъ частяхъ. Единственный, разрѣшенный авторомъ переводъ Е. Троповскаго. Книгоизд. „Скорпионъ“. М. 1905. Ц. 50 к.

Генрихъ Ибсенъ. Полное собр. сочиненій. Переводъ А. и П. Ганзень. Т. III. Изд. С. Скирмунта. М. 1904. Ц. 1 р. 50 к.

Торъ Гедберъ. Гергардъ Гримъ.

Драматич. поэма. Перев. А. Ганзень. Изд. С. Скирмунта. М. 1905. Ц. 50 к.

Гольгеръ Дражманъ. Тысяча одна ночь. Драма-сказка. Перев. А. Ганзень. Изд. С. Скирмунта. М. 1905. Ц. 50 к.

А. И. Фаресовъ. Въ одиночномъ заключеніи. Изд. 3-е. Спб. 1905. Ц. 1 р.

Е. Н. Боженко. На войну. Изд. „Донской Рѣчи“. 1904. Ц. 5 к.

Э. Золя. Штурмъ мельницы. Изд. Л. А. Мукосѣева. Н.-Новгородъ. 1904. Ц. 10 к.

Н. Бернардъ. За маму, за папу. Спб. 1903. Ц. 30 к.

Г. Енинорогъ. Дьячки Софоній и Сасоній. М. 1905. Ц. 25 к.

Евгенія де-Турже-Туржанская. Сапожникъ. Очеркъ. М. 1905. Ц. 7 к.

Изданія Н. Глаголева: **Вацлавъ Строчевскій.** Кули. Ц. 8 к. — **Его же.** Боксеръ. Ц. 4 к. — **Его же.** Чукчи. Ц. 7 к. — **Танъ.** Землепроходъ. Ц. 8 к. Спб. 1904.

Н. Бернардъ. Разсказы и воспоминанія. Изд. 2-е. Спб. 1904. Ц. 1 р.

Елизавета Дьяконова. Дневникъ русской женщины. М. 1905. Ц. 1 р. 50 к.

Дневникъ **Елизаветы Дьяконовой** на высшихъ женскихъ курсахъ. М. 1905. Ц. 1 р. 75 к.

А. М. Оедоровъ. На востокъ. Очерки. Спб. 1904. Ц. 1 р. 20 к.

Черезъ Алай и Памиръ. Очерки пу-

тешествій. **Б. Таттсва-Рустамъ-Бекъ.** Изд. „Дѣтскаго Чтенія“. М. 1905. Ц. 15 к.

Арнольдъ Ариэль. Долой женщинъ (Записки моего друга). М. 1905. Ц. 1 р.

Сборникъ „Родника“. Въ пользу сиротъ воиновъ, павшихъ въ русско-япон. войнѣ. Спб. 1905. Ц. 1 р. 25 к.

А. Е. Воровидинъ. Литературныя характеристики XIX в. Т. II. Вып. I. Изд. М. Пирожкова. Спб. 1905. Ц. 1 р. 75 к.

І. Шерръ. Иллюстрированная всеобщая исторія литературы. Пер. подъ ред. П. Вейнберга. Изд. С. Скирмунта. М. 1905. Т. I—II. Ц. 6 р.

В. О. Саводникъ. Къ вопросу о Пушкинскомъ словарѣ. Спб. 1905. Ц. 1 р. 75 к.

Баронъ **Н. В. Дризенъ.** Матеріалы къ исторіи русскаго театра. Изд. Бахрушина. М. 1905. Ц. 1 р. 50 к.

Н. Вьловерскій. Записки учителя. Изд. М. Пирожкова. Спб. 1905. Ц. 75 к.

А. П. Фаресовъ. Очерки умственныхъ и политическихъ движеній въ Россіи. Спб. 1905. Ц. 2 р.

Ал. Шумахеръ. Императоръ Александръ II. Историческій очеркъ. Изд. 4-е. Спб. 1905. Ц. 1 р.

Ч. Вьтринскій (Вас. Е. Чешинъ). Т. Н. Грановскій и его время. Историч. очеркъ. Изд. 2-е. Книгоизд. О. Н. Поповой. Спб. 1905. Ц. 1 р. 60 к.

Южная Русь. Очерки, изслѣдованія и замѣтки. **Александры Ефименко.** Т. I. Спб. Ц. 2 р.

Е Щепкина. Чтенія по русской исторіи въ XVIII в. Вып. I. Государственный строй. Спб. 1905. Ц. 1 р. 20 к.

Очерки по исторіи Германіи въ XIX в. Т. I. Происхожденіе современной Германіи. Пер. съ нѣмецкаго **В. Базарова** и **Н. Степанова.** Изд. С. Скирмунта. М. 1905. Ц. 2 р.

Иллюстриров. бібліотека „Нивы“. Всеобщая исторія. Соч. проф. **О. Леегера** въ 4-хъ томахъ. Спб. 1905. Вып. I. Ц. 1 р.

Русская печать и цензура въ прошломъ и настоящемъ. Статьи **Вл. Розенберга** и **В. Якушкина.** Изд. М. и С. Сабашниковыхъ. М. 1905. Ц. 1 р.

А. А. Пановъ. Сахалинъ, какъ колонія. Очерки колонизаціи и современнаго положенія Сахалина. М. 1905. Ц. 1 р.

Книгоиздательство Т-ва «Просвѣще-

ніе»: Жизнь природы. Картины физическихъ и химическихъ явленій. Соч. д-ра **Вильгельма Мейера.** Пер. съ нѣмецкаго А. Р. Кулишера, подъ ред. проф. Н. А. Гезехуса. Вып. I—4. Спб. Ц. 50 к. за выпускъ. **Его же.** Земля и жизнь. Сравнительное земледѣліе. Соч. проф. **Ф. Ратцеля.** Т. I. Вып. 11—13. Спб. 1905. Ц. 50 к. за выпускъ.

Изданія подвижнаго музея учебныхъ пособій: **А. Врежъ.** Тундра, ея растительный и животный міръ. Пер. съ нѣмецкаго Е. Елачича. Спб. 1905 г. II. 15 к. **Е.**

Елачичъ. Какъ животныя защищаются отъ своихъ враговъ. Спб. 1905. Ц. 20 к.

Ив. Вл. Богословскій. Вопросы жизни. Спб. 1905. Ц. 2 р. 50 к.

А. Пороховицковъ. Мировая задача нашихъ дней. Спб. 1904. Ц. 10 к.

Вуно Фишеръ. Исторія новой философіи. Лейбницъ, его жизнь, сочиненія и ученіе. Пер. съ нѣмецкаго Н. Н. Полилова. Изд. **Д. Е. Жуковского.** Спб. 1905. Ц. 4 р.

Образовательная бібліотека. — **Гаральдъ Герфдингъ.** Философскія проблемы. Переводъ съ нѣмецкаго О. Н. Поповой. Спб. 1904. Ц. 40 к.

Проблемы женщины. **Георга Гроденъ.** Пер. В. Л-ва, Спб.

Карлъ Родбертусъ Янецовъ. Сочиненія. Вып. I. Къ освѣщенію социального вопроса. Пер. съ нѣмецкаго пр. М. Н. Соболева. Изд. Н. Глаголева. Спб. 1904. Ц. 1 р. 25 к.

Вернеръ Зомбартъ. Современный капитализмъ. II т. Пер. съ нѣмецкаго. Изд. Д. С. Горшкова. М. 1905. Ц. 2 р.

С. М. Житковъ. Формула денежнаго обращенія. Спб. 1905.

Образовательная бібліотека. **П. Лафаргъ.** Американскіе тресты. Пер. И. М. Биллика. Книгоизд. О. Н. Поповой. Спб. 1905. Ц. 40 к.

Ог. де-Виннъ. Среди фламандскихъ рабочихъ. Пер. съ французскаго З. Кочетковой. Изд. ред. „Образованіе“. Спб. 1904. Ц. 50 к.

І. Долгийъ. Экономическое значеніе и будущее мелкаго хозяйства. Рига. 1905. Ц. 1 р. 50 к. — **Его же.** Работа коровъ въ ея историч. развитіи и экономическомъ значеніи. Рига. 1904. Ц. 1 р.

К. П. Янковскій. Правила и порядки государств. сберегательныхъ кассъ. Варшава. 1905. Ц. 50 к.

Промышленность. Пер. съ нѣмец-

каго Е. Н. Каменецкой. Изд. 2-е. М. И. Водовозовой. Спб. 1905. Ц. 1 р. 75 к.

Г. Н. Данинъ. Хозяйственно-экономические очерки и наблюдения. Вып. I и II. Астрахань. 1904. Ц. по 75 к.

Н. Н. Авиновъ. Къ вопросу о взаимныхъ отношеніяхъ губернскихъ и уѣздныхъ земствъ. Изд. „Саратовской Земской недѣли“. 1904. Ц. 50 к.

Дснежный отчетъ комитета по оказанію помощи пострадавшему отъ безпорядковъ еврейскому населенію г. Кишинева. Кишиневъ, 1904.

Промышленность и техника. Книгоиздат. Т-ва „Просвѣщеніе“. Т. VIII. Спб. Ц. вып. 50 к.

Е. Н. Аренъ. Русский флотъ. Историч. очеркъ. Спб. 1904. Ц. 20 к.

Баронъ Ф. М. Косинскій. Состояніе русскаго флота въ 1904 г. Спб. 1904. Ц. 10 к.

Къ вопросу организаціи корпуса флотскихъ офицеровъ. Севастополь. 1904.

Подводныя лодки, ихъ устройство и исторія. Состав. **Н. И. Адамовичъ.** Изд. Базлова. Спб. 1905 г. Ц. 1 р. 25 к.

Конкретная метода преподаванія нумераціи на арифметической машинкѣ. **Г. В. Арапьянъ.** Баку. 1903. Ц. 15 к.

Педагогическій ручной трудъ. Составилъ **И. К. Карелль.** Спб. 1905. Ц. 1 р. 50 к.

В. О. Крижъ. Первая грамота. Изд. И. О. Жиркова. М. 1905. Ц. 30 к.

Е. А. Чебышева - Дмитріева. Вопросы начальной школы и педагогическіе очерки. Спб. 1905. Ц. 1 р.

Труды подкомиссіи по вопросу о введеніи преподаванія статистики въ курсъ среднихъ учебн. заведеній. Спб. 1904. Ц. 30 к.

Педагогическая мысль. Изданіе коллегіи Павла Галагана. Подъ ред. проф. Сикорскаго и пр.-доц. Гливенко. Вып. II. Кіевъ. 1904. Ц. 1 р.

А. Е. Флеровъ. Указатель книгъ для дѣтскаго чтенія. Изд. кн. маг. К. И. Тихомирова. М. Ц. 1 р. 50 к.

В. Корняковъ. Краткій практическій курсъ геометрическаго черченія и землемѣрія. Спб. 1904 г. Ц. 50 к.

Начала геометріи. Сост. **Дж. Ройтманъ.** Спб. 1905. Ц. 40 к.

В. О. Крижъ. О классномъ чтеніи въ сельской школѣ. Изд. И. О. Жиркова. М. 1904. Ц. 10 к.

Е. А. Литвиненко. Систематическій сводъ правилъ русскаго правописанія. М. 1904. Ц. 60 к.

Г. В. Арапьянъ. Для учителей и родителей конкретная метода преподаванія курса ариѳметики. Баку. 1904. Ц. 40 к.

Н. Н. Авиновъ. Опытъ программы систематическаго чтенія. М. 1905. Ц. 20 к.

Г. Лубенецъ. Программы предметовъ, преподаваемыхъ въ одноклассныхъ и двухклассныхъ народныхъ училищахъ. Кіевъ. 1905. Ц. 25 к.

Н. Н. Мещерскій. Какъ устраивать сады при народныхъ школахъ. Изд. 6-е. Спб. 1904. Ц. 30 к.

Курсъ гигиѣны для среднихъ учебныхъ заведеній. Составили врачи **А. А. Черевкова** и **В. Д. Черевковъ.** Спб. 1905. Ц. 1 р.

Современная клиника. Д-ръ **Д. М. Успенскій.** Т. III. Основы органотерапіи. Спб. 1905. Ц. 40 к.

Популярная гигиѣна зубовъ. **Г. И. Чиликинъ.** М. 1904. Ц. 60 к.

Отчеты санитарныхъ врачей С.-Петербургскаго Губерн. Земства за 1903 г. Спб. 1904.

Г. П. Задера. Медицинскіе дѣтели въ произведеніяхъ А. П. Чехова. Ростовъ-на-Дону. 1905. Ц. 50 к.

А. И. Ефимовъ. Сифилисъ въ русской деревнѣ. Казань. 1902.

Руфъ Врѣ. Право на материнство. Пер. съ нѣм. Н. Коршъ. М. 1905. Ц. 40 к.

Водолѣченіе. Составилъ **М. Коньтинъ.** Полтава. 1904. Ц. 10 к.

Отчетъ о дѣятельности педагогическаго общества. Годъ VI. М. 1904.

Нашата конституція. Общедоступно изгълкувана отъ Ив. Ст. Визиревъ. Пловдивъ. 1904. Ц. 1.30 л.

Dott. Giovanni Bergamasco. Biologia delle mesembryanthemaceae. Napoli. 1904.

Хроника внутренней жизни.

9 января въ Петербургъ.

I.

Бываютъ дни и бываютъ событія, въ которыхъ, какъ въ фокусъ, сосредоточивается значеніе самыхъ глубокихъ сторонъ данной исторической минуты. Разгадать ихъ,—значить найти вѣрное направление для самыхъ, быть можетъ, опредѣляющихъ шаговъ ближайшаго будущаго. Не разгадать, отвѣтить слишкомъ спѣшно и неправильно,—значить дать ошибочный отвѣтъ на роковую загадку сфинкса. А вѣдь такой отвѣтъ, если вѣрить мудрости древнихъ,—значить возможность гибели.

Таково, по нашему глубокому убѣжденію, значеніе январскихъ событій въ Петербургѣ.

22 января мы узнали изъ газетъ, что кн. Святополкъ-Мирскій оставилъ постъ министра внутреннихъ дѣлъ. Газеты всѣхъ отѣтчиковъ провожаютъ его болѣе или менѣе сочувственными напутствіями. Русскій человѣкъ со вздохомъ воспоминаетъ первые дни „эпохи довѣрія“... И кажется, что это было уже такъ давно... Тогда же телеграфъ разнесъ по всей Россіи извѣстіе о томъ, что Н. В. Муравьевъ оставляетъ постъ министра юстиціи. Никакихъ словъ довѣрія русское общество отъ Н. В. Муравьева никогда не слыхало, и никакихъ вздоховъ за нимъ на новое мѣсто служенія, въ далекій Римъ, вѣроятно, не понесется... Но все же и эта перемѣна въ другое время вызвала бы много волненія и поставила бы много вопросовъ... Куда должна направиться наша юстиція, исходившая 40 лѣтъ назадъ отъ идеи законности, для всѣхъ обязательной и для всѣхъ равной, и теперь, послѣ сорокалѣтняго странствованія въ пустыняхъ бюрократическихъ извращеній, вынужденная начать „новый исходъ“ изъ гомельскихъ и кишиневскихъ сессій, изъ закрытыхъ помѣщеній павловскихъ и иныхъ сектантскихъ дѣлъ—по направленію... опять все къ тому же желанному равенству всѣхъ и „къ охраненію силы закона“... Наконецъ, въ газетахъ появляются отчеты о засѣданіяхъ и намѣреніяхъ комитета министровъ по осуществленію идей, изложенныхъ въ указѣ 12 декабря... Правда, языкъ этихъ сообщеній далеко нельзя назвать удобопонятнымъ, а его опредѣленія легко уловимыми.. Но все же въ другое время они вызвали бы самые оживленные комментаріи, среди которыхъ, по старой привычкѣ російской прессы и общества „къ надеждамъ славы и добра“,—было бы очень много фиміамовъ и восторговъ...

Теперь все это проходить какъ-то незамѣтно и глухо, безъ привычныхъ отголосковъ... Ни отставка кн. Св. Мирскаго, завершающая программу „довѣрія“, не вызываетъ естественныхъ огорченій, ни отъѣздъ Н. В. Муравьева, ни даже гласныя сообщенія комитета министровъ—не окрыляютъ надеждъ... И это потому, что это вдругъ стало въ глазахъ общества незначительнымъ и неважнымъ...

Въ одномъ разсказѣ нашего гениальнаго писателя, Л. Н. Толстого, („Казаки“) есть образъ, очень идущій къ нашему теперешнему настроенію. Герой его ѣдетъ степными дорогами на почтовыхъ по направленію къ Кавказу. Гдѣ-то вдали его ждутъ кавказскія горы, о которыхъ онъ, житель равнинъ, слышалъ такъ много шаблонныхъ отзывовъ, что ему, скептику, начинаетъ казаться, что никакихъ, въ сущности, горъ, способныхъ вызывать такія впечатлѣнія, совсѣмъ нѣтъ на свѣтѣ... Всюду та же ровная степь, томительная и скучная, съ однообразнымъ и бѣднымъ просторомъ и съ туманною мглою... А если появятся неровности, то... только для подтвержденія старой истины, что ничего въ сущности рѣзко отступающаго отъ этой плоской равнины и быть не можетъ...

Читатель помнитъ, навѣрное, то ощущеніе рѣзкаго нервнаго подъема, можно сказать, пожалуй—удара по нервамъ, который пришлось пережить толстовскому герою, когда, проснувшись на утро, онъ увидѣлъ, что дорога его, еще бѣгущая по степи, уже упирается вдали въ необычно изломанныя очертанія горныхъ громадъ... И дальше все время его впечатлѣнія уже разстилаются у ихъ подножія. Онъ продолжаетъ вспоминать свое прошлое, столицу, знакомыхъ, а въ душѣ все стоитъ одинъ припѣвъ... „А горы!“... Читатель помнитъ, вѣроятно, и впечатлѣніе этого припѣва, шероховатаго, рѣзкаго, не укладывающагося ни въ какой ритмъ остальныхъ ощущеній, которымъ Толстой выразилъ смущенное состояніе духа своего равниннаго жителя... „А горы!“.

Передо мной все время, всѣ эти дни и въ ту минуту, когда я пишу эти строки,—стоитъ неотвязно этотъ образъ гениальнаго художника... И мнѣ кажется, что теперь всѣ впечатлѣнія отъ нашего „общественнаго дня“ такъ же разстилаются у подножія чего-то необычнаго, большого, мрачнаго, встающаго туманной громадой угрюмыхъ диссонансовъ надъ равнинами нашей жизни... И надъ всѣмъ,—надъ отставками и перемѣнами министровъ, надъ извѣстіями съ театра войны, надъ „предначертаніями“ комитета министровъ высится этотъ угрюмый фонъ, залегающій въ душѣ неотвязнымъ припѣвомъ... „А девятое января 1905 года“...

Да, это девятое января поднялось надъ однообразіемъ нашей „равнинной исторіи“, надъ ея буераками и оврагами, надъ холмиками „довѣрія“ и извилинами бюрократической реакціи—какъ первый крутой изломъ нашего горизонта, за которымъ, быть мо-

жетъ, въ загадочномъ туманѣ уже рисуются другіе — и выше, и обрывистѣе, и круче...

И невольно взглядъ приковывается къ этому явленію съ естественнымъ желаніемъ — разглядѣть, опредѣлить очертанія, найти переломы и дороги...

II.

Но разглядѣть нелегко...

Такъ ужъ сложились традиціи и привычки нашей жизни, что, какъ только въ ней появляется что-нибудь значительное, что-нибудь съ необычайнымъ и, быть можетъ, угрожающимъ значеніемъ, — то первымъ и самымъ насущнымъ лозунгомъ дня провозглашается молчаніе, вмѣсто свободнаго обсужденія, освѣщенія и критики. Теперь мы всѣ уже видимъ и даже въ „предначертаніяхъ“ комитета министровъ встрѣчаемъ авторитетное признаніе, — что „осуществленіе полной силы закона“, *для всѣхъ равнаго*, есть насущнѣйшая потребность страны, и его отсутствіе является одной изъ причинъ нашихъ теперешнихъ бѣдствій. Но когда, въ видѣ института земскихъ начальниковъ, въ нашу злополучную жизнь вводилось начало прямо противоположное, начало яко бы отеческой власти одного сословія надъ другимъ, лишившее многомилліонное крестьянское населеніе всякихъ гарантій правосудія, — то первое, что было признано необходимымъ, — это ограниченіе права печати обсуждать и подвергать критикѣ новое учрежденіе... И такъ во всемъ, — начиная съ частнаго злоупотребленія того или другого высокопоставленнаго лица до общаго явленія, какъ „усиленная охрана“, отмѣняющая даже наличную силу существовавшихъ еще признаковъ законности.

Тоже и по отношенію къ „рабочему вопросу“, который вообще признавался выдумкой либеральной печати, пока онъ не всталъ передъ обществомъ во всемъ своемъ великомъ и трудномъ значеніи. То же, въ частности, и по отношенію къ событіямъ 9 января.

Прошло около двухъ недѣль, и мы не имѣемъ еще ни полной картины рокового событія, ни его размѣровъ. Пока у насъ есть лишь официальное сообщеніе первыхъ дней, — уже по своей спѣшности страдающее неполнотой, односторонностью и, конечно, неизбѣжнымъ пристрастіемъ, — и нѣсколько отрывочныхъ дополненій того же происхожденія... Однако, при всѣхъ этихъ свойствахъ, даже и этихъ официально-сухихъ сообщеній достаточно, чтобы рисуемое ими событіе поднялось мрачною тѣнью надъ всѣми другими злобами нашего и безъ того далеко не безъоблачнаго дня...

Изъ этого сообщенія мы узнаемъ прежде всего, что „въ Петербургѣ, въ началѣ 1904 года, по ходатайству нѣсколькихъ ра-

бочихъ фабрикъ и заводовъ былъ утвержденъ уставъ „С.-Петербургскаго Общества фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ“, имѣвшаго цѣлью удовлетвореніе ихъ духовныхъ и умственныхъ интересовъ и *отвлеченіе рабочихъ отъ преступной пропаганды*“.

Въ послѣдней фразѣ курсивъ принадлежитъ намъ, и мы позволимъ себѣ остановиться на ея значеніи. Итакъ, фабричное общество было основано, кромѣ обычныхъ органическихъ потребностей рабочей среды,—еще съ специально-политической цѣлью; другими словами, органическія потребности рабочей среды и естественное стремленіе къ ихъ удовлетворенію,—отдавались подъ особое воздѣйствіе бюрократически-полицейскаго начала и должны были служить также и полицейскимъ цѣлямъ. Этотъ опытъ уже не первый: изъ многихъ другихъ правительственныхъ сообщеній, появлявшихся въ разное время, мы знаемъ о такой же попыткѣ въ Москвѣ и другихъ городахъ. Особенно ярко послѣдствія такого сочетанія проявились, какъ всѣмъ извѣстно, два года назадъ въ Одессѣ, и въ газетахъ, среди арестованныхъ за „безпорядки“ лицъ, значились имена людей, до тѣхъ поръ несомнѣнно пользовавшихся поощреніемъ и покровительствомъ официальныхъ сферъ. Въ этомъ, очевидно, есть нѣчто знаменательное, на что въ то время не было обращено достаточнаго вниманія. Пресса пыталась отмѣтить эту черту и ея значеніе, чреватое многими неожиданностями для обѣихъ сторонъ, но, разумѣется, не она виновата въ скудости и неполнотѣ этого освѣщенія...

Теперь эту любопытную черту мы встрѣчаемъ въ самомъ началѣ официального сообщенія. При этомъ мы вспоминаемъ невольно, какъ еще недавно „Московскія Вѣдомости“, а за ними „Свѣтъ“ и „Гражданинъ“ радостно оповѣщали о возникновеніи благонамѣренныхъ рабочихъ организаций, инициаторы которыхъ встрѣчали радушный пріемъ въ тѣхъ самыхъ сферахъ, которыя незадолго отрицали самое существованіе рабочаго вопроса и возлагали всѣ упованія на добровольное патріархально-отеческое попеченіе гг. фабрикантовъ. Мы помнимъ также, что одинъ изъ московскихъ рабочихъ представителей этого столь своеобразно начинавшагося „истинно-русскаго“ рабочаго движенія—окрылился до такой степени, что со столбцовъ газеты извѣстнаго „московскаго патріота“ г-на Грингмунта сталъ преподавать заблудшему въ либерализмъ русскому обществу уроки благонамѣренности и патріотизма.

Но рабочая среда—не кружокъ этихъ „иниціаторовъ“, которые по недоразумѣнію говорили отъ ея имени и давали радужныя обѣщанія, и „рабочій вопросъ“—не мелкая служебная подробность той или другой полицейской политики. Для рабочей среды, въ первые минуты, быть можетъ, искренно увлеченной заманчивыми перспективами, это—не игра и не праздничная феерія, а самый насущный жизненный вопросъ, къ рѣшенію котораго она стремится съ суровой правдивостью и понятнымъ нетерпѣніемъ. И

вотъ, всякій разъ, когда дѣло отъ эффектныхъ демонстрацій и гарунъ-аль-рашидовскихъ частности переходитъ къ общимъ наиболѣвшимъ вопросамъ рабочей жизни,—тотчасъ же вскрывается внутренній разладъ не естественнаго союза: рабочая масса требуетъ исполненія обѣщаній и замѣтнаго *реального* измѣненія условій своего существованія. Въ этомъ ея главная и единственная цѣль. Но цѣль „союзной“ администраціи совсѣмъ другая. Центръ тяжести „общаго дѣла“ она видитъ лишь въ эффектныхъ оказательствахъ массовой покорности и довѣрчиваго „упованія“... И когда эти оказательства даны, если можно даже съ примѣсью нѣкоторыхъ угрозъ по адресу „либеральной части общества“,—то административный союзникъ склоненъ считать свою задачу исполненной... Бѣда лишь въ томъ, что въ его распоряженія нѣтъ второй формулы, которая могла бы уничтожить разъ вызванныя надежды... И очень скоро феерія переходитъ въ трагедію, и, вмѣсто громовъ бутафорскихъ, надъ сценой начинаютъ раздаваться раскаты настоящей грозы...

III.

Обращаемся къ дальнѣйшему изложенію событій.

Итакъ, одною изъ цѣлей общества являлась „борьба съ крामолой“. Повидимому, дѣло начиналось при хорошихъ предзнаменованіяхъ, такъ какъ во главѣ новой организаціи стало духовное лицо, священникъ о. Георгій Гапонъ съ самыми лучшими рекомендаціями.

Мы позволимъ себѣ нѣсколько остановиться на этой замѣчательной личности, которая теперь выставляется одними, какъ настоящее исчадіе ада, въ другихъ, быть можетъ, вызываетъ мистическое удивленіе. Нѣтъ сомнѣнія, что и то, и другое далеко отъ истины. Священникъ Гапонъ является лишь однимъ изъ тѣхъ „провиденціальныхъ людей“, которые порой въ бурные періоды какъ-то вдругъ обнаруживаются на поверхности общественной жизни. Все ихъ значеніе въ томъ, что и ихъ личныя добродѣтели, и ихъ недостатки, вообще всѣ стороны ихъ личности совпадаютъ по тону съ господствующимъ настроеніемъ среды, усиливая это настроеніе, какъ резонаторы усиливаютъ звуки...

Газеты даютъ о немъ слѣдующія свѣдѣнія. Уроженецъ Полтавской губерніи, мѣстечка Вѣлики, Кобелякского уѣзда, о. Георгій Гапонъ родился въ простой семьѣ украинскаго казака. Поступивъ въ полтавскую семинарію, окончилъ въ ней курсъ не безъ нѣкоторыхъ отклоненій. Страстная, импульсивная натура и склонность къ шероховатой несдержанной правдивости создавали ему много затрудненій, и онъ былъ исключенъ. Но затѣмъ, по-видимому, онъ пережилъ столь же порывистые приступы смире-

нія, которые привлекли къ нему благосклонное покровительство покойнаго полтавскаго епископа Иларіона. Онъ былъ опять принятъ въ семинарію, гдѣ, благодаря незауряднымъ способностямъ, блестяще окончилъ курсъ. Вѣроятно, въ періодъ увольненія, Георгій Гапонъ для заработка участвовалъ въ статистическихъ работахъ земскаго бюро, но это было недолго и, кажется, прочной связи съ такъ называемой „интеллигентной средой“ у этого своеобразнаго человѣка не завязалось. Затѣмъ, благодаря протекціи епископа Иларіона, по окончаніи семинаріи и послѣ женитьбы, о. Гапонъ получилъ мѣсто въ кладбищенской церкви. Смерть любимой жены вызвала новый поворотъ въ его жизни. Онъ рѣшилъ сначала поступить въ монахи, но потомъ опредѣлился въ духовную академію.

Здѣсь, въ столицѣ, онъ опять обратилъ на себя вниманіе въ высшихъ духовныхъ сферахъ, получилъ мѣсто священника въ пересыльной тюрьмѣ и, наконецъ, былъ избранъ и утвержденъ предѣдателемъ новаго общества рабочихъ, съ его двойственной задачей и со всеми вскрывшимися впоследствии противорѣчіями разнородныхъ стремленій его „учредителей“...

Нѣтъ ничего легче, какъ окрашивать человѣка какимъ-нибудь однимъ, простымъ и слишкомъ опредѣленнымъ цвѣтомъ, и мы слишкомъ часто прибѣгаемъ къ такимъ одноцвѣтнымъ квалификаціямъ, какъ „злодѣй, лицемеръ и крамольникъ“. Но, какъ на примѣрѣ внѣшней войны, мы видимъ, что апріорныя патріотическія квалификаціи противника оказались совершенно негодными къ употребленію и къ руководству, такъ и въ осложненіяхъ внутреннихъ полемикъ искать истину, чѣмъ успокаиваться на лубочныхъ шаблонахъ. Несомнѣнно, что фигура священника Гапона, метавшагося въ страстныхъ порывахъ между семинарскими мятезами и покаяніями, изъ статистики переходившая къ алтарю и отъ алтаря на площадь,—представляетъ психологію необыкновенно сложную и не укладывающуюся въ простыя клички.

И именно двойственный характеръ того „рабочаго движенія“, о которомъ мы говорили выше, является наиболѣе подходящей атмосферой для расцвѣта подобныхъ натуръ: здѣсь является просторъ одновременно и для гуманныхъ стремленій, удовлетворяющихъ порывамъ неуравновѣшанной филантропіи бывшаго семинарскаго строптивца, и для его смиренія, ведущаго „къ благополучію массъ“ путями, предначертанными свѣтскимъ начальствомъ съ благословенія начальства духовнаго. Повидимому, здѣсь находятъ примиреніе всѣ стороны неустойчивой натуры, и вдобавокъ она начинаетъ еще дышать атмосферой какихъ-то таинственныхъ стремленій того великаго цѣлаго, которое носитъ названіе человѣческой толпы и живетъ особенною коллективною жизнью.

Нѣтъ необходимости непременно отрицать искренность первоначальныхъ наклоненій, чтобы понять конечныя противорѣчія,

залогъ которыхъ лежалъ уже въ нѣдрахъ самой организаціи... Эти противорѣчія вскрылись, и бурная натура довершила оставшее. Св. Гапонъ сталъ отголоскомъ широкаго массоваго движенія, увлекающій массу и самъ ею увлеченный...

IV.

„По мѣрѣ своего распространенія, — говоритъ далѣе официальное сообщеніе, — на всѣ фабричныя раіоны Петербурга, — общество стало заниматься обсужденіемъ существовавшаго на отдѣльныхъ фабрикахъ и заводахъ отношенія между рабочими и хозяевами, а затѣмъ, въ декабрѣ минувшаго года, побудило рабочихъ Путиловскаго завода вмѣшаться въ вопросъ объ увольненіи съ завода четверыхъ рабочихъ...“ Изъ этого краткаго изложенія мы не можемъ, разумѣется, судить о всей дѣятельности общества и о томъ предварительномъ броженіи въ его средѣ, которое привело къ началу стачекъ. Мы видимъ только, что общество рабочихъ приступаетъ къ обсужденію вопросовъ рабочей жизни, то есть именно тѣхъ вопросовъ, для которыхъ оно и основано. Долгая, трудная и обширная практика такихъ обществъ за границей показываетъ, съ какими сложными запутанностями приходится имѣть дѣло рабочимъ организаціямъ и какія учрежденія способны поставить эти вопросы на нейтральную почву, на которой ведется подсчетъ взаимно перепутавшихся интересовъ. При этомъ бывають случаи, когда уступаютъ рабочіе, и бываетъ, наоборотъ, что уступаютъ фабриканты. И въ процессѣ этой законотворной борьбы въ разныхъ областяхъ жизни, медленно и трудно, но все же рабочій вопросъ подвигается къ рѣшенію, и страсти до извѣстной степени разряжаются нормально. Роль государства, помимо, конечно, общей политики, въ случаяхъ этихъ частныхъ столкновеній противоположныхъ интересовъ, сводится на то, чтобы дать имъ законотворныя формы и поддерживать процессъ въ извѣстномъ, законномъ, такъ сказать, руслѣ... Наша практика, по общимъ причинамъ и по общимъ свойствамъ нашего уклада, — особенно бѣдна такими формами, которыя создавали бы нейтральную почву для разумныхъ соглашеній подъ авторитетной эгидой прочной законности, обязательная сила которой просигиралась бы одинаково надъ данными общественными группами. По самымъ свойствамъ нашей жизни, массы, во-первыхъ, слишкомъ ясно чувствуютъ, что „сила закона“ фактически и на всякомъ шагу давить на чашки вѣсовъ въ пользу ихъ болѣе сильныхъ противниковъ. А съ другой стороны, практика новѣйшей „рабочей политики“, получившей начало въ зубатовскихъ организаціяхъ Москвы, слишкомъ неосторожно и легкомысленно обнадеживала массы, что въ одинъ прекрасный день безконтрольное и несвязанное законами административное

усмотрѣніе можетъ перейти на ихъ сторону, и тогда внезапными благодѣтельными приказами начальства социальный вопросъ, такъ трудно поддающійся даже усовершенствованнымъ формамъ европейскаго строя, — будетъ разрѣшенъ легко, просто, внезапно и безповоротно нашей „патріархальной“ бюрократіей... Но, разумѣется, съ другой стороны, и фабрикантамъ, въ совершенномъ согласіи съ существующимъ значительно обветшалымъ законодательствомъ, — даются обѣщанія, что интересы „священной собственности“ и капитала останутся неприкосновенны и получать твердую, строгую и полную охрану...

И вотъ, надъ взволнованной и безъ того поверхностью русской жизни вьдвигаются эти волны противоположныхъ надеждъ и противоположныхъ стремленій... И въ то время, какъ и тѣ, и другія одинаково ждутъ своего *полнаго* разрѣшенія отъ всецѣльной бюрократіи, — послѣдняя видитъ, что единственная ея собственная цѣль, которую одну только она ищетъ въ этомъ столкновеніи огромныхъ и все болѣе обостряющихся интересовъ, — то есть массовыя оказательства благонамѣренной покорности и упованія, что эта цѣль безнадежно исчезаетъ... И надъ ареной недавняго единенія водворяется не феерія, а трагедія...

IV.

„Требованія рабочихъ, — говоритъ официальное сообщеніе, — постепенно возрастали...“ Правда, это возрастаніе было все еще довольно скромно: помимо требованія о возвращеніи ихъ товарищей, они предъявили еще требованія объ измѣненіи порядка назначенія расцѣнки работъ и увольненія рабочихъ. „Мѣры увѣщанія со стороны фабричной инспекціи оказались безуспѣшными, и къ стачкѣ, подъ вліяніемъ агитаціи, присоединились поголовно рабочіе нѣкоторыхъ другихъ заводовъ Петербурга; затѣмъ стачка стала быстро распространяться, охвативъ почти всѣ фабрично-заводскія предпріятія столицы, при чемъ, по мѣрѣ распространенія стачки, возрастали и требованія рабочихъ“...

Все это совершенно понятно и, можно сказать, даже совершенно обычно въ такомъ явленіи, какъ рабочая стачка, которая всегда предъявляетъ требованія сокращенія рабочаго дня и регулированія расцѣнокъ... Нѣтъ на свѣтѣ ни одного рабочаго общества, открываемаго хотя бы и на законнѣйшихъ основаніяхъ, которое не ставило бы себѣ этихъ цѣлей. Между тѣмъ, уже въ этомъ изложеніи официального документа читатель чувствуетъ, что настроеніе его какъ бы уже измѣнилось и, разъ выступили тѣ или другія „требованія рабочихъ“, то все остальное уже разсматривается, какъ преступленіе. Здѣсь сказалось опять гибельное, къ сожалѣнію, привычное у насъ настроеніе. Мы готовы плато-

нически примириться со всѣмъ, что составляет принадлежность развитой гражданственной жизни. Свобода печати?.. у насъ есть много приверженцевъ свободы печати даже въ высшихъ сферахъ, и князь Мещерскій приводилъ недавно восторженные отзывы объ этомъ прекрасномъ предметѣ нѣсколькихъ покойныхъ министровъ. Мы не сомнѣваемся, что эти отзывы были совершенно искренни, но опасаемся, что „освобожденная печать“ рисовалась при этомъ въ умахъ говорившихъ въ видѣ кроткой овечки, которая, уже изъ благодарности за свое освобожденіе отъ цѣпей, будетъ слѣдовать за освободителями на шелковой ленточкѣ и по временамъ кротко и благодарно лизать освободившую ихъ руку, издавая лишь ласкающее слухъ мелодическое блеяніе...

Разумѣется, безжалостная дѣйствительность всегда разрушаетъ эти прекраснодушные мечтанія. Печать, только почувствовать первые признаки облегченнаго режима, по самому *органическому* свойству гласности — немедленно стремится стать *независимымъ* факторомъ общественной жизни, и нерѣдко благодушному освободителю ея приходится встрѣтить первому все неудобство рѣзкаго, хотя и оздоравливающаго вѣянія... И совершенно такъ же широкая рабочая организація, кѣмъ бы и съ какими бы цѣлями она ни была основана, — немедленно и неизбежно становится орудіемъ для выраженія *настоящихъ жизненныхъ* нуждъ ореды и считается только съ ними; а если отъ нея ждали другого и если ей самой подавались надежды, не вытекавшія изъ жизненныхъ соотношеній и свойствъ дѣйствующихъ въ обществѣ силъ, то совершенно понятно, что для обѣихъ сторонъ наступаетъ разочарованіе. Администрація не находитъ покорной массы, готовой покорно ограничиться однимъ упованіемъ на свѣтлое будущее, рабочая масса страстно требуетъ дѣйствительнаго удовлетворенія своихъ наболѣвшихъ требованій...

На этой почвѣ двухъ разностороннихъ разочарованій и разыгрываются дальнѣйшія событія. „Требованія рабочихъ, — говоритъ правительственное сообщеніе, — въ письменномъ изложеніи, составленномъ въ большинствѣ случаевъ Гапономъ, были распространяемы среди рабочихъ. Первоначально они касались мѣстныхъ для отдѣльныхъ фабрикъ и заводовъ вопросовъ, затѣмъ перешли къ вопросамъ общимъ: о 8-часовомъ рабочемъ днѣ, объ участіи рабочихъ организацій въ разрѣшеніи спора между рабочими и хозяевами. Хозяева охваченныхъ стачкой промышленныхъ заведеній, собравшись на совѣщаніе, признали, что удовлетвореніе нѣкоторыхъ домогательствъ рабочихъ должно повлечь за собой полное паденіе русской промышленности“ (!), другія требованія могли бы быть удовлетворены только при помощи законодательства, которое распространило бы ихъ на всѣ конкурирующія отрасли производства равномерно, наконецъ, третьи „могли бы быть частью удовлетворены въ мѣрѣ посильной для

каждаго отдѣльнаго предпріятія“, но фабриканты отказались „вести объ нихъ переговоры съ организаціей стачечниковъ во всей совокупности“.

Сначала стачка не сопровождалась нарушеніемъ порядка. Но затѣмъ, по словамъ офіціального сообщенія, „къ агитаціи, которое вело Общество фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ, присоединились подстрекательства подпольныхъ революціонныхъ кружковъ, а съ 8 января и само вышеупомянутое общество, со священникомъ Гапономъ во главѣ, перешло къ пропагандѣ явно революціонной. Въ этотъ день священникомъ Гапономъ была составлена и распространена петиція отъ рабочихъ на Высочайшее имя, въ которой уже, на ряду съ пожеланіемъ объ измѣненіи условій труда, были изложены дерзкія требованія политическаго свойства“.

Такъ, самымъ ходомъ вещей, назрѣвали элементы петербургскихъ событій. Весь экспериментъ логически былъ законченъ. На сцену выступили „факты“. Когда-нибудь, быть можетъ даже въ скоромъ времени,—исторія дастъ намъ трагическія черты того настроенія, въ которомъ находился Петербургъ наканунѣ 9-го января, когда всѣмъ было извѣстно, что массы рабочихъ готовятся на завтра представить свою петицію... Къ явленіямъ подобнаго рода уже давно привычны общества, живущія развитою гражданскою жизнью, и тамъ есть формы, въ которыя могло бы отлиться это петиціонное движеніе, безъ экстреннаго нарушенія порядка и безъ трагическихъ событій. Но наша жизнь, только мечтающая о „единеніи власти съ народомъ“ и о формахъ этого единенія, была застигнута врасплохъ огромнымъ, небывалымъ движеніемъ, охватившимъ сотни тысячъ рабочаго населенія.. И весь взволнованный предстоящей драмой Петербургъ сознавалъ, что наша суровая „практика“ не выдвинетъ ничего, кромѣ привычныхъ „воздѣйствій“...

Дальше мы будемъ точно слѣдовать офіціальному изложенію событій, въ надеждѣ, что и оно дастъ читателю, особенно русскому читателю, привычному къ условностямъ офіціального стиля,—достаточно яркую картину петербургской трагедіи.

„Фанатическая пропаганда,—говорить все то же правительственное сообщеніе, — которую въ забвеніи святости своего сана велъ священникъ Гапонъ, и преступная агитація злоумышленныхъ лицъ возбудили рабочихъ настолько, что они 9-го января огромными толпами стали направляться къ центру города. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ между ними и войсками вслѣдствіе упорнаго сопротивленія толпы подчиниться требованію разойтись, а иногда даже нападенія на войска, произошли кровопролитныя столкновенія. Войска вынуждены были произвести залпы: на Шлиссельбургскомъ трактѣ, у Нарвскихъ воротъ, у Троицкаго моста, по 4-й линіи, на Маломъ проспектѣ Васильев-

скаго острова, у Александровскаго сада, на углу Невскаго проспекта, на улицѣ Гоголя, у Полицейскаго моста и на Казанской площади. На 4-й линіи Васильевскаго острова толпа устроила изъ проволоки и досокъ три баррикады, прикрѣпила красный флагъ; изъ оконъ сосѣднихъ домовъ въ войска были брошены камни и произведены выстрѣлы; у городскихъ толпа отнимала пашки и вооружалась ими, разграбила оружейную фабрику Шаффа, похитивъ около 100 стальныхъ клинковъ, которые, однако, были большею частью отобраны. Въ 1-мъ и во 2-мъ участкахъ Васильевской части толпой были порваны телефонные провода, опрокинуты телефонные столбы; на зданіе 2-го полицейскаго участка Васильевской части произведено нападеніе, и помещеніе участка разбито. Вечеромъ на Большомъ и Маломъ проспектахъ Петербургской стороны разграблено 5 лавокъ. Общее количество потерпѣвшихъ отъ выстрѣловъ, по свѣдѣніямъ, доставленнымъ больницами и пріемными покоями, къ 8-ми часамъ вечера, составляетъ убитыхъ 76 человекъ, въ томъ числѣ околоточный надзиратель, раненыхъ 233 человека, въ томъ числѣ тяжело раненъ помощникъ пристава и легко ранены рядовой жандармскаго дивизиона и городской. На 10-е января къ охранѣ города приняты мѣры, которыя были приняты 9-го числа“...

V.

Такъ заканчивается это первоначальное сообщеніе о событіи, еще небываломъ въ новѣйшей русской исторіи по характеру и по размѣрамъ. Всякій, для кого названія петербургскихъ площадей и улицъ не простой отвлеченный терминъ, представитъ себѣ это кольцо, въ которое стягивались огромныя и безоружныя рабочія массы, направлявшіяся отъ окраинъ къ центру. Не трудно также представить въ воображеніи это море людей, двигавшихся нерѣдко съ женщинами и дѣтьми... Мѣстами впереди несли иконы и хоругви. И въ заключеніе по всему этому кольцу въ разныхъ мѣстахъ вспыхнули огни ружейныхъ залповъ, и мостовая обогрилась родною кровью...

Мы не станемъ воспроизводить подробностей ужасающей картины. Она, можетъ быть, скоро будетъ восстановлена „нелицепріятной исторіей“... Не станемъ также устанавливать ея истинные размѣры. Для этого нѣтъ еще полныхъ свѣдѣній, хотя въ официальныхъ „Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначальства“ уже появились именныя списки убитыхъ и умершихъ отъ ранъ, тоже еще не полные, но уже значительно превысившіе первоначальныя цифры... *).

*) См. „Новое Вр.“ отъ 22 января. По иностраннымъ свѣдѣніямъ, даже съ соотвѣтствующими поправками, число убитыхъ простирается отъ 500 до 1000 человекъ.

намѣнить характеръ самой картины... По весьма понятнымъ причинамъ мы воодерживаемся также отъ оцѣнки всего происшедшаго...

Вѣдствіе огромное, тяжелое, непоправимое. Мрачнымъ призракомъ, грознымъ предзнаменованіемъ оно стало на рубежѣ, который долженъ былъ обозначить переломъ застоявшейся русской жизни, начало ея новой эры... Такъ мало прожито съ тѣхъ поръ, когда начались много общавшіе разговоры о единеніи и довѣріи, и такъ много пережито до этихъ выстрѣловъ и кавалерійскихъ атакъ на улицахъ столицы...

Вся русская жизнь представляется намъ какъ бы остановившейся въ раздуміи и ужасѣ, точно сказочный богатырь, передъ которымъ на распутьи всталъ внезапно грозный призракъ. Куда идти дальше?.. И идти ли?.. И можно ли вѣрить въ будущее и можно ли повторять недавнія еще радостныя формулы?..

Неужели все это можетъ стать опять вопросомъ?

Трагедія нашей жизни за послѣднія десятилѣтія состоитъ въ безсиліи всѣхъ попытокъ разорвать волшебный кругъ бюрократической реакціи. Когда въ устающемъ обществѣ водворяется наружное спокойствіе, то его безнадежное молчаніе принимается за признакъ благоденствія и довольства. И тогда мы слышимъ, что никакія реформы не нужны, потому что все обстоитъ благополучно... И даже именно потому все благополучно, что никакихъ „реформъ“ на горизонтѣ не видно. А когда же наружное благополучіе переходитъ въ признаки недовольства и тревоги, то первыя же попытки реформъ немедленно прекращаются, потому что онѣ признаются несвоевременными. Не нужно—потому, что еще все спокойно... Нельзя, потому что уже начинается броженіе,—такова философія нашей новѣйшей исторіи, такова альфа и омега бюрократическаго творчества...

А между тѣмъ — жизнь не ждетъ... Въ ея глубинахъ назрѣваютъ не находящія исхода потребности... Давно уже изъ боязни живой работы у насъ прекращены не только попытки аграрныхъ реформъ, но даже статистика, — необходимая подготовительная стадія всякой серьезной работы. Мы то слышали убаюкивающія сказки о „патріархальности“ русскаго капитализма, устраняющаго необходимость коренныхъ реформъ фабричнаго законодательства, то видѣли попытки запретъ молодое рабочее движеніе въ полицейскую колесницу. И все время мы встрѣчали боязнъ передъ развивающимся сознаніемъ народныхъ массъ и передъ естественнымъ ихъ стремленіемъ къ организаціи для правомѣрнаго отстаиванія своихъ интересовъ... Между тѣмъ какъ это растущее сознаніе является лучшимъ залогомъ спокойнаго общественнаго развитія и общественнаго здоровья, если только отнестись къ нему правдиво и искренно...

И вотъ, наша жизнь стала похожа на гигантскій котелъ, въ

№ 1. Отдѣлъ II.

которомъ закипаетъ сдавленная живая сила, требующая законнаго исхода. Но—лишь только мы пытаемся открыть предохранительный клапанъ, какъ рѣзкій шумъ вырывающагося пара пугаетъ нашихъ машинистовъ, они торопятся опять закрыть и даже замазать всѣ щели... И когда послѣ этого наступаетъ тишина, лишь изрѣдка нарушаемая глухими внутренними толчками, то это принимается за признаки благополучія и безопасности...

И вотъ... еще одинъ опытъ... И неужели клапаны опять будутъ закрыты?

Жизнь не ждетъ. Передъ русскимъ обществомъ и передъ русскимъ народомъ все явственнѣе встаетъ загадка его существованія, и возврата уже нѣтъ и быть не можетъ.

Это ясно, и что касается русскаго общества, то оно сознало это безповоротно!

Вл. Короленко.

ОТЧЕТЪ

Конторы редакціи журнала „Русское Богатство“.

На сооруженіе памятника на могилѣ Николая Константиновича Михайловскаго поступило:

Отъ Л. М. Рейнгольдъ, изъ С.-Петербурга—3 р.

Итого . . . 3 р. — к.

А всего съ прежде поступившими 2.665 р. 04 к.

На стипендію имени Николая Константиновича Михайловскаго:

Отъ NN—1 р., отъ друга и товарища Д. И. Мочальскаго, изъ Москвы—10 р.

Итого . . . 11 р. — к.

А всего съ прежде поступившими 884 р. 65 к.

Въ капиталъ имени Николая Константиновича Михайловскаго при „Литературномъ Фондѣ“:

Отъ Тараниковой, изъ Одессы—3 р.

Итого . . . 3 р. — к.

А всего съ прежде поступившими 193 р. 48 к.

На устройство народной школы имени Николая Константиновича Михайловскаго:

Отъ „Упрянца“, изъ Екатеринослава—2 р., отъ А. Митяшевой, изъ Шадринска—5 р., отъ Е. Долинской, изъ Нальчика—1 р., отъ политическихъ администр.-ссыльныхъ Евгенія и Екатерины Поповыхъ, изъ Среднеколымска—6 р. 50 к., отъ политическаго администр.-ссыльнаго Игоря Будиловича, изъ Среднеколымска—1 р., отъ политическаго администр.-ссыльнаго Вартана Гарагулянца, изъ Среднеколымска—50 к., отъ Г. А. Ротинянца, изъ Тифлиса—2 р., отъ А. М. Сухомлиной, изъ Одессы—3 р.

	Итого . . .	21 р. — к.
А всего съ прежде поступившими		262 р. — к.

На изданіе сборника, посвященнаго памяти Николая Константиновича Михайловскаго:

Отъ В. Буйническаго, изъ Екатеринбурга—1 р. 50 к., отъ доктора М. А. Щеглова, изъ Тулы—2 руб., отъ А. С. Тирпольта, изъ Тулы—1 р., NN, изъ Тулы—2 р.

	Итого . . .	6 р. 50 к.
А всего съ прежде поступившими		10 р. — к.

На изданіе *бесплатнаго* сборника для публичныхъ библиотекъ и народныхъ школъ, посвященнаго „вѣчной памяти великаго заступника народнаго Николая Константиновича Михайловскаго“:

Отъ І. И. Годлевскаго, изъ Челябинска—1 р., А. М. Сухомлиной, изъ Одессы—3 р.

	Итого . . .	4 р. — к.
А всего съ прежде поступившими		5 р. — к.

На устройство школы имени Гл. И. Успенскаго въ д. Сябринцахъ, Новгородской губ.:

Отъ Г. А. Ротинянца, изъ Тифлиса—2 р.

	Итого . . .	2 р. — к.
А всего съ прежде поступившими		3.554 р. 76 к. *)

*) Изъ этой суммы 3.509 р. 26 к. 20 февраля 1904 г. за № 6201 переведены черезъ Государственный Банкъ въ Новгородскую губернскую земскую управу.

На сооруженіе памятника на могилѣ Гл. И. Успенскаго:

Отъ А. Томской, изъ С.-Петербурга—5 р., отъ В. Я. Е. изъ
С.-Петербурга—10 р.

Итого . . . 15 р. — к.

На приобрѣтеніе въ общественную собственность части
усадьбы Некрасовыхъ въ Грешневѣ, Ярославскаго уѣзда, для
устройства тамъ школы и библіотеки въ память 25-лѣтія со
дня смерти Н. А. Некрасова:

Отъ священника І. Егорова, изъ Обдорска—1 р.

Итого . . . 1 р. — к.

А всего съ прежде поступившими 413 р. 35 к.

На изданіе сборника въ память 25-лѣтія со дня смерти „ве-
ликаго пѣвца народа-раба“, Н. А. Некрасова:

Отъ І. И. Годлевскаго, изъ Челябинска—1 р.

Итого . . . 1 р. — к.

На учрежденіе высшей народной школы имени гр. Л. Н.
Толстого:

Отъ К. В. Овчинникова, изъ Тифлиса—1 р., отъ г. Бушуева,
изъ Усть-Гарышской прист.—1 р. 50 к.

Итого . . . 2 р. 50 к.

А всего съ прежде поступившими 160 р. — к.

Открыта подписка на 1905 г. на слѣдующія изданія:

Крымскій Курьеръ

(тринадцатый годъ изданія).

Газета выходитъ ежедневно и даетъ читателямъ разнообраз-
ный матеріалъ для чтенія, имѣя въ виду интересы не только
мѣстныхъ обывателей, но и пріѣзжей курортной публики.

Цѣна: на годъ 7 р., 6 мѣс. 4 р., 3 м. 2 р. 50 к., 1 м. 1 р.

Адресъ: г. Ялта, контора „Крымскаго Курьера“.

Редакторъ-издательница Н. Р. Лупандина.

Восходъ и Книжки Восхода,

периодическія изданія, посвященная еврейской жизни, исторіи и литературѣ.

Содержаніе газеты: руководящія статьи по всѣмъ текущимъ вопросамъ еврейской жизни въ Россіи и за границей, хроника всѣхъ новѣйшихъ извѣстій, корреспонденціи изъ провинціи и за-границы, сенатская и судебная практика по еврейскимъ дѣламъ (сенатскіе указы), юридич. бесплатная консультація (отвѣты на юридическіе вопросы подписчиковъ въ особомъ отдѣлѣ), обзоры еврейской, русской и польской печати, фельетонъ (разказы и проч.), провинціальныи отдѣлъ, критика и библиографія.

Подписная цѣна на „Восходъ“ съ „Книжками Восхода“ 10 р. въ годъ (допускается разсрочка: при подпискѣ—4 р., къ 1-му марта—3 р., и къ 1 июля—3 р.); на газету (безъ „Книжекъ“) 7 р. (въ разсрочку: при подпискѣ—3 р., къ 1 марта—2 р. и къ 1 июля—2 р.).

„Книжки Восхода“ выходятъ ежемѣсячно въ размѣрѣ до 10 печатныхъ листовъ. Повѣсти и разказы изъ еврейской жизни, стихотворенія и популярн. научныя статьи по исторіи, литературѣ, религіи, философіи, критикѣ, вопр. общественной жизни. Цѣна 12 книгъ 3 р.

Подписавшіеся на газету съ „Книжками“ получаютъ при „Книжкахъ Восхода“: С. М. Дубновъ. Всеобщая исторія евреевъ, на основаніи новѣйшихъ научныхъ изслѣдованій. Книга III: новое и новѣйшее время (1498—1900).

Адресъ: *С.-Петербургъ, Лиговская, 36.*

Ежедневная газета (13-й годъ изданія)

Дальній Востокъ,

подъ редакціей *Е. А. Пановой.*

Въ газетѣ „Дальній Востокъ“ имѣются слѣдующіе отдѣлы: 1) общія распоряженія правительства, касающіяся Сибири, мѣро-пріятія областной (примурской) администраціи, 2) телеграммы, 3) статьи по мѣстнымъ вопросамъ, 4) хроника областной жизни, 5) судебная хроника, 6) театр и музыка, 7) корреспонденціи, 8) внутреннія и заграничная хроника, 9) литература азіатскаго востока (Китай, Корея и Японія), 10) фельетонъ, 11) смѣсь, 12) справочный отдѣлъ, 13) объявленія.

Цѣна: на годъ 10 р., 6 мѣс. 6 р., 3 мѣс. 3 р. 50 к., 1 мѣс. 1 р. 50 к.

Адресъ: *г. Владивостокъ, Приморской области.*

Голосъ Юга,

органъ политическій, экономическій и литературный.

Считая возможно широкое развитіе земскаго самоуправленія одной изъ важнѣйшихъ нуждъ народно-хозяйственной жизни нашего отечества, редакция газеты будетъ внимательно слѣдить за жизнью Земской Россіи.

При этомъ особое вниманіе будетъ удѣлено земскимъ интересамъ Юга.

Въ экономической и общественной областяхъ редакция всегда будетъ стоять за интересы труда, за всестороннее и гармоническое развитіе личности и за свободу ея.

Современная идеологія просвѣщеннаго общества носить типическія черты все болѣе и болѣе растущаго вниманія къ вопросамъ философскаго идеализма, поэтому редакция отведетъ на страницахъ своего органа, по возможности, видное мѣсто для обсужденія проблемъ идеализма, преимущественно въ ихъ отношеніи къ общественной жизни.

Желая, по возможности, широко организовать литературно-критическій отдѣлъ, редакция намѣрена оцѣнивать беллетристическія произведенія съ точки зрѣнія полной гармоніи между идейно-этическимъ и эстетическимъ содержаніемъ ихъ.

Цена: на годъ 8 р., 6 мѣс. 4 р. 50 к., 3 мѣс. 2 р. 50 коп. 1 мѣс. 85 коп.

Адресъ: г. *Елисаветградъ*, Б. Перспективная ул., д. 25.
Редакторъ-издатель *А. И. Селевинъ*

Сибирскій Вѣстникъ,

ежедневная газета политики, литературы и общественной жизни.

Въ газетѣ принимаютъ участіе и общали свое сотрудничество слѣдующія лица: М. И. Богодѣловъ, П. В. Вологодскій, Р. Л. Вейсманъ, Д. Д. Вольфонъ, Г. А. Вяткинъ, А. А. Кауфманъ, Д. А. Клеменцъ, В. Г. Короленко, Г. Н. Потанинъ, Г. Реусъ (псевдонимъ), Рефлекторъ (псевдонимъ), В. И. Семеvскій, Николай Степнякъ (псевдонимъ), М. Тумановъ (псевдонимъ), И. И. Тыжновъ, И. А. Фрязиновскій, Е. В. Фуксъ, М. В. Швецова, С. П. Швецовъ, А. Н. Шиницынъ, Власть Ярцевъ (псевдонимъ) и друг.

Цена: на годъ 7 р., 6 м. 3 р. 65 к., 3 м. 1 р. 95 к., 1 м. 65 к.
Адресъ: г. *Томскъ*, Ямской пер., д. Орловой.

Литературная и политическая газета

Амурскій Край

(6-й годъ изданія). Выходитъ три раза въ недѣлю.

Цена: на годъ 9 р., 6 мѣс. 5 р., 1 мѣс. 1 р.

Подписка принимается въ конторѣ редакціи въ г. *Благовѣщенскъ*, по Зейской ул., между Графской и Никольской, д. Мокина.
Редакторъ-Издатель *Г. И. Клитчолу*.

Сибирскій Листокъ

(15-й годъ изданія).

Программа „Сибирскаго Листка“ расширена отдѣлами: 1) Статьи и извѣстія по бытовымъ, общественнымъ и научнымъ вопросамъ. 2) Фельетонъ, беллетристическіе очерки и рассказы. 3) Внутреннія извѣстія, корреспонденціи изъ разныхъ мѣстъ. 4) Разныя извѣстія изъ газетъ.

Выходитъ въ *Тобольскъ* два раза въ недѣлю.

Цена: на 1 годъ—5 руб., на $\frac{1}{2}$ года—2 руб. 75 коп., на 3 мѣс.—1 р. 50 к.

Цена объявленій: за строку петита на первой страницѣ—20 коп., на послѣдней—10 коп.

Подписка и объявленія принимаются въ *Тобольскъ*; въ конторѣ редакціи (на горѣ, Большая ул., д. М. М. Емельяновой).

Редакторъ-издательница *М. Н. Кастюрина*.

Русскій Врачъ,

органъ, основанный въ память *В. А. Манассеина*,
подъ редакцію проф. *В. В. Подвысоцкаго* и д-ра *С. В. Владиславлева*.

Четвертый годъ изданія.

1) Статьи оригинальныя по всемъ отраслямъ теоретической и клинической медицины, а также общественной и частной гигиены, съ рисунками и таблицами. 2) Статьи по вопросамъ врачебнаго быта. 3) Письма изъ Россіи и Западной Европы о текущихъ научныхъ, врачебно-бытовыхъ и общественно-медицинскихъ вопросахъ. 4) Рефераты о заграничныхъ и русскихъ работахъ по всемъ отраслямъ медицины. 5) Отчеты о засѣданіяхъ ученыхъ обществъ, съѣздовъ и конгрессовъ. 6) Рецензіи русскихъ и иностранныхъ книгъ по медицинѣ и гигиенѣ. 7) Корреспонденціи и письма въ редакцію, касающіяся вопросовъ врачебнаго быта. 8) Мелкія извѣстія, новости, слухи и хроника врачебной жизни. 9) Жизнеописанія и некрологи выдающихся лицъ на поприщѣ медицины. 10) Списокъ защищенныхъ диссертаций въ русскихъ медицинскихъ факультетахъ. 11) Служебныя назначенія и перемѣщенія врачей по военному и по гражданскому вѣдомствамъ. 12) Приложение: Краткое содержаніе текущей медицинской литературы русской и иностранной за истекшіе недѣли и мѣсяцы.

Журналъ выходитъ еженедѣльно по субботамъ.

Цена: на годъ 9 р.

Адресъ: *С.-Петербургъ*, Невскій пр., д. 14, книжный магазинъ *О. А. Риккерь*.

Саратовскій Листокъ

(43-й годъ изданія).

Газета выходитъ съ иллюстраціями.

Цена: на годъ 8 р., $\frac{1}{2}$ г. 4 р. 50 к., 3 м. 3 р., 1 м. 1 р. 20 к.

Объявленія: на 1-й страницѣ 20 к. за строку петига на 3-й и 4-й по 70 к.

Адресъ: г. *Саратовъ*, Нѣмецкая ул., д. Онезоре.

Редакторъ-издатель *П. О. Лебедевъ*. Издатель *Ц. П. Горизонтовъ*.

К а с п і й

(25-й годъ изданія).

Въ 1905 году „Каспій“ въ г. *Баку* ежедневно будетъ выходить въ увеличенномъ форматѣ по прежней программѣ газеты литературной, общественной и политической, съ особымъ нефтянымъ отдѣломъ.

Цена: на годъ 8 р. 50 к., $\frac{1}{2}$ года 5 р., 3 мѣс. 3 р., 1 мѣс. 1 р. 50 к. За границу: на годъ 13 р.; 6 мѣс. 7 р.; 1 мѣс. 2 р.

Адресъ: г. *Баку*, Николаевская ул., д. Тагіева.

Редакторъ-издатель *А. М. В. Топчибашевъ*.

Большая ежедневная общественно-литературная и коммерческая газета съ иллюстраціями

Южный Телеграфъ.

Редакція и контора въ *Ростовъ на-Дону*.

Вступая въ четвертый годъ изданія, „Южный Телеграфъ“ значительно расширяетъ свои задачи и, кромѣ широко поставленнаго мѣстнаго отдѣла, преслѣдуетъ цѣли, связанныя съ обслуживаніемъ всѣхъ районовъ юго-востока европейской Россіи съ губерніями и областями Сѣвернаго Кавказа включительно.

Съ этою цѣлью редакціею организованы отдѣленія и агентуры во всѣхъ пунктахъ наибольшаго распространенія „Южнаго Телеграфа“.

Общественно-литературная жизнь, какъ иностранная, такъ и русская—въ фельетонахъ, статьяхъ, корреспонденціяхъ, а равно и въ фактическомъ изложеніи, захватывается „Южнымъ Телеграфомъ“ во всѣхъ обычныхъ газетныхъ отдѣлахъ и по программѣ большихъ повременныхъ изданій.

Значительная часть сообщеній газетой получается по телеграфу.

Въ иллюстрированныхъ приложеніяхъ помѣщается, кромѣ видовъ, рисунковъ и портретовъ общаго и военнаго характера, также и каррикатуры на мѣстныя и краевыя темы.

Ежедневно торгово-промышленный и справочный отдѣлы.

Цена: на годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р., на 3 мѣс. 2 р.

Редакторъ-издатель *И. Я. Александровъ*.

Черноморское Побережье,

ежедневная общественная, экономическая и литературная газета,
издается въ г. Новороссійскѣ.

Какъ и въ предыдущіе годы, „Черноморское Побережье“ будетъ стремиться ко всестороннему освѣщенію жизни того района, имя котораго оно носитъ.

На всѣхъ пунктахъ побережья (Анапѣ, Геленджикѣ, Джанхотѣ, Архипоосиповкѣ, Береговой, Веселой, Туапсе, Сочи, Хостѣ, Адлерѣ, Гаграхъ, Сухумѣ, Гудаутахъ, Поті и др.) и въ Кубанской области (Екатеринодарѣ, Майкопѣ, Армавирѣ и во всѣхъ станицахъ) имѣются постоянные спеціальные корреспонденты.

Цена: на годъ—7 р., на 6 мѣс.—4 р., на 3 мѣс.—2 р. 50 к., на 1 мѣс.—1 р. За границу: на годъ 14 р., на 6 мѣс. 8 руб., на 3 мѣс. 5 р., на 1 мѣс. 2 р. 50 к.

Редакторъ-издатель *Ф. С. Леонтовичъ.*

Ежедневная газета (кроме дней послѣ праздничныхъ)

А с х а б а д ъ,

вѣстникъ литературы, политики, торговли, промышленности и мѣстной общественной жизни.

Цена: на годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р. 50 к., на 3 мѣс. 3 р., на 1 мѣс. 1 р. 25 к., за границу 12 р.

Подписка принимается въ г. *Асхабадъ*, въ конторѣ редакціи газеты „Асхабадъ“.

Единственная въ Ковенской губерніи ежедневная политическая, общественная и литературная газета

Ковенскій Телеграфъ

(второй годъ изданія).

Цена: на годъ 6 р., $\frac{1}{2}$ года 3 р., 3 мѣс. 1 р. 80 коп., 1 мѣс. 60 коп.

Адресъ: г. *Ковна*, Николаевскій пр., д. Левинсона.

Редакторъ-издатель *Ю. Блюменталь.*

Полтавскій Вѣстникъ,

ежедневная общественно-литературная газета.

Цена: на годъ 6 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р. 10 к., на 3 мѣс. 2 р. 40 к., на 1 мѣс. 85 к.

Подписка принимается въ г. *Полтаву*, въ конторѣ „Полтавскаго Вѣстника“, Кобелякская ул. Плата за объявленія: на 4-й страницѣ 10 коп. за строку петита, на 1-й страницѣ—20 коп.

Д О Н Ъ

Со 2-го февраля 1905 года „Донъ“ начнетъ 38-й годъ своего изданія. Просуществовавъ такой долгій срокъ, газета тѣмъ самымъ доказала прочность своихъ связей съ жизнью того провинціального района, отголоскомъ котораго она служила больше трети столѣтія. Поэтому, открывая подписку на 1905 годъ, редакция ограничивается лишь указаніемъ этого факта безъ всякихъ общаній: что можно будетъ сдѣлать для улучшенія газеты—то будетъ сдѣлано.

Цена: на годъ 7 р., на $\frac{1}{2}$ года 4 р., на 3 мѣс. 2 р. 50 к., на 1 мѣс. 1 р.

Адресъ: г. Воронежъ.

Редакторъ-издатель В. Веселовскій.

Орловскій Вѣстникъ,

ежедневная газета общественной жизни, политики, литературы и торговли.

Цена: на годъ 7 р., за границу 14 р. Допускается разорочка съ платой не менѣе 1 рубля въ мѣсяцъ до выплаты всей суммы.

Подписка принимается въ конторѣ „Орловскаго Вѣстника“: Г. Орелъ, Зиновьевская улица, д. 2.

Редакторъ-издатель А. И. Аристовъ.

Большая ежедневная съ полной программой, выходящая въ Баку, газета

Бакинскія Извѣстія

(четвертый годъ изданія).

Въ газетѣ общали участіе: Н. Ф. А—фъ, Н. П. Ашешовъ, Е. З. Барановъ, П. А. Берлинъ, В. Богучарскій (В. Я. Яковлевъ), Мг. Вгошп, Л. К. Бухъ, Х. С. Варданянъ, О. А. Васильевъ, Д. Ведребиссели (Д. К. Маліева), Ю. А. Веселовскій, В. С. Вейншаль, К. Воиновъ, Вѣди-Азъ, Горичъ, М. М. Гутманъ, В. А. Евангулова, Б. И. Ивинскій (Б. Борскій), А. С. Изгоевъ, М. В. Кечеджи-Шаповаловъ, Н. П. Козеренко, А. Н. Котельниковъ, М. Меликъ-Шахназаровъ, Мечтатель (Ө. Ө. Трозинеръ), А. И. Новиковъ, Н. А. Падаринъ, А. В. Петрищевъ, Конст. М. Пономаревъ, Н. С. Семеновъ, С. С. Семеновъ, Орестъ Семинъ, А. С. Скляръ, М. А. Славинскій, М. Ф. Славинская, д-ръ Л. Соколовскій, Ю. Стекловъ, В. Ө. Тотоміанцъ, А. Ю. Финнъ, Б. І. Харитоновъ, Г. И. Шрейдеръ, И. И. Шрейдеръ, Эненъ, Эхо и друг.

Газета имѣетъ собственныхъ корреспондентовъ въ крупныхъ городахъ Кавказскаго края, а также въ С.-Петербургѣ, Москвѣ и за границей.

Цена: на годъ 8 р. 50 к., на 6 мѣс. 5 р., на 3 мѣс. 3 р., на 1 мѣс. 1 р. 50 к.

Редакторъ-издатель Н. А. Гриневъ.

Полтавщина,

ежедневная литературно-политическая, экономическая и общественная газета.

Основная задача газеты—содействовать развитію культурной и экономической жизни Полтавской губерніи путемъ выясненія ея духовныхъ запросовъ и матеріальныхъ нуждъ.

Особое вниманіе газета будетъ удѣлять дѣятельности земства и городского самоуправления, а также работъ учреждений, возникшихъ на почвѣ общественной самостоятельности, такъ какъ самое широкое развитіе этой дѣятельности газета считаетъ необходимымъ условіемъ для культурнаго роста населенія и правового самосознанія личности.

Въ области экономическихъ вопросовъ и явленій первое мѣсто будетъ отведено выясненію условій правильнаго развитія труда и въ частности положенія сельскаго хозяйства, какъ основного промысла губерніи, на успѣхахъ котораго зиждется благополучіе главной массы населенія.

Уясненіе и защита національныхъ особенностей Полтавской губерніи, по скольку послѣднія не противорѣчатъ правильно понимаемымъ началамъ государственности, будутъ являться одной изъ основныхъ задачъ газеты, такъ какъ духовное развитіе и культурное преуспѣяніе народа мыслимы только при свободномъ проявленіи его національныхъ чертъ и особенностей.

Цѣна: на годъ 6 р., 6 мѣс. 3 р. 50 к., 3 м. 2 р., 1 м. 75 к.

Адресъ: г. Полтава, Александровская ул., д. Фишберга.

Редакторъ-издатель В. Я. Головня.

Царицынскій Вѣстникъ

(Восьмой годъ изданія).

Газета „Царицынскій Вѣстникъ“, какъ въ 1904 году, будетъ выходить ежедневно, кромѣ послѣвоскресныхъ и послѣпраздничныхъ дней, по той же программѣ.

Цѣна: на годъ 6 р., $\frac{1}{2}$ года 4 р., 3 мѣс. 2 р. 70 к., 1 мѣсяцъ 1 р.

Адресъ: Царицынъ, въ редакцію „Царицынскаго Вѣстника“, Астраханская ул., д. Жигмановскаго.

Редакторы: Е. Д. Жигмановскій, Е. Г. Жигмановская.

Приволжскій Край,

вечерняя газета, издающаяся въ Саратовъ.

Цѣна: на годъ 5 р., 6 мѣс. 3 р., 3 мѣс. 1 р. 75 к., 1 мѣс. 60 коп.

Объявленія впереди текста 15 коп.; послѣ текста—15 к.

Кронштадтскій Вѣстникъ

Вступивъ въ 44-й годъ своего существованія, морская и городская газета „Кронштадтскій Вѣстникъ“ будетъ по прежнему, прежде всего, служить морскому дѣлу, которому она посвятила свое изданіе, не забывая въ то же время интересовъ и нуждъ Кронштадта — какъ города, военнаго и коммерческаго порта и крѣпости.

Въ газетѣ сотрудничаютъ специалисты по всѣмъ отраслямъ морского дѣла.

Въ теченіе года въ газетѣ помѣщается много разныхъ статей научно-техническаго содержанія.

Газета выходитъ: по воскресеньямъ, средамъ и пятницамъ.

Цѣна: на 1 годъ—7 руб. 50 к., на 6 мѣсяцевъ—4 руб.,—на 3 мѣс.—2 р. 25 к., на 1 мѣс.—85 коп. За границу на годъ 11 р., на 6 мѣс.—6 руб. и на 3 мѣс.—3 руб.

Подписка принимается: *Въ Кронштадтѣ* въ конторѣ редакціи. Редакторъ-издатель *Ф. Тимофѣевскій.*

Астраханскій Листокъ

Газета издается по обширной программѣ, съ иллюстраціями, подъ редакціей *В. И. Склабинскаго.*

Редакція стремится доставить читателямъ: своевременныя и разнообразныя общія и мѣстныя извѣстія; отклики на текущія событія; свѣдѣнія изъ судебныхъ и административныхъ сферъ; постоянный фельетонъ общественной жизни гор. Астрахани, Астраханской губерніи и Волго-Каспійскаго района; библиографію; оригинальную и переводную беллетристику; новости наукъ и искусствъ; новости судоходства; астраханскія свѣдѣнія торгово-промышленнаго характера; смѣсь и пр. Телеграммы.

Въ отдѣлѣ Торговля и Промыселъ даются подробныя описанія и свѣдѣнія по кредиту, рыбному, нефтяному, шерстяному, лѣсному, бондарному и пр. дѣламъ, о персидскихъ товарахъ и о фрахтахъ.

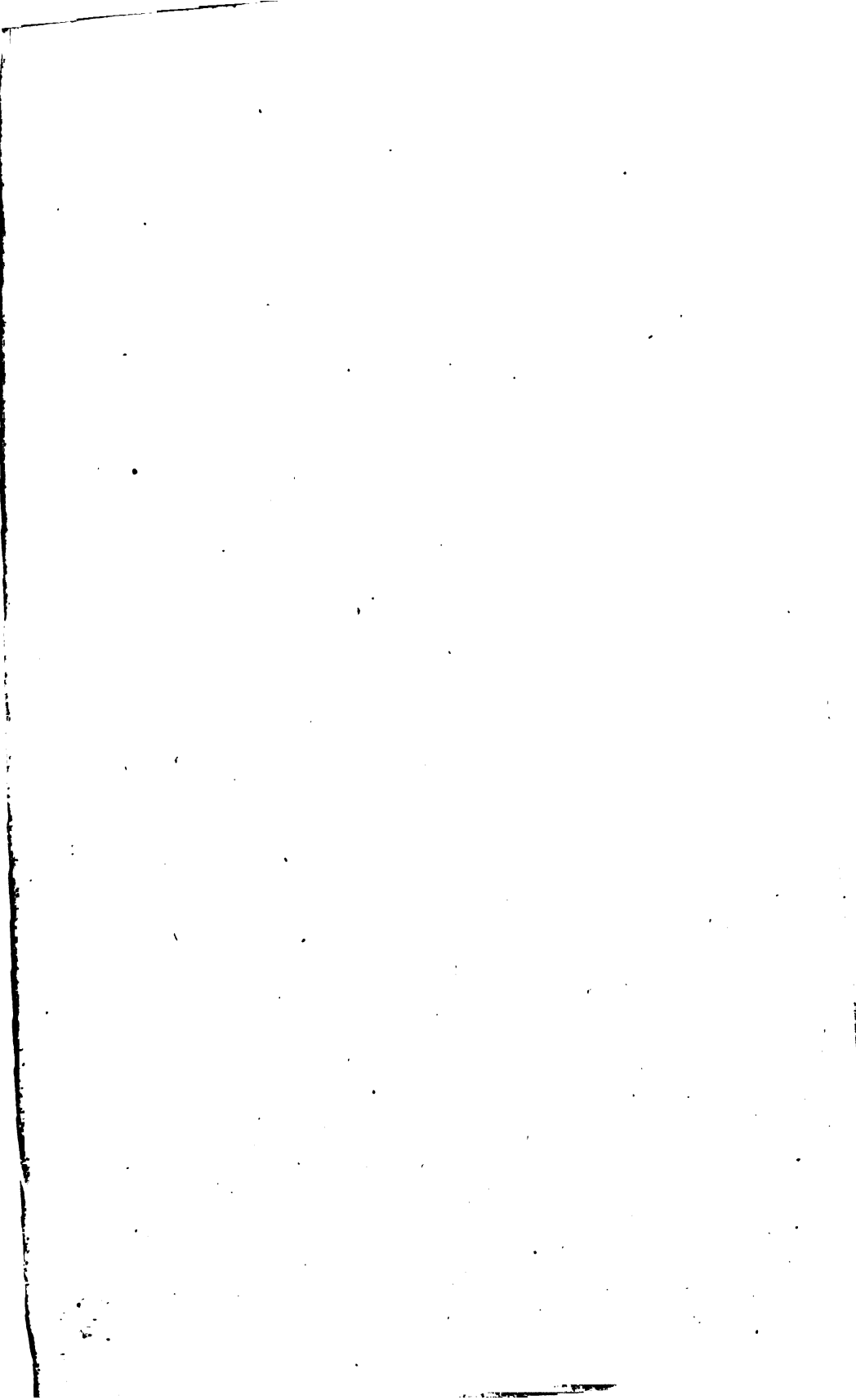
Плата за объявленія со строки петита: передъ текстомъ 20 к., послѣ текста 10 коп.

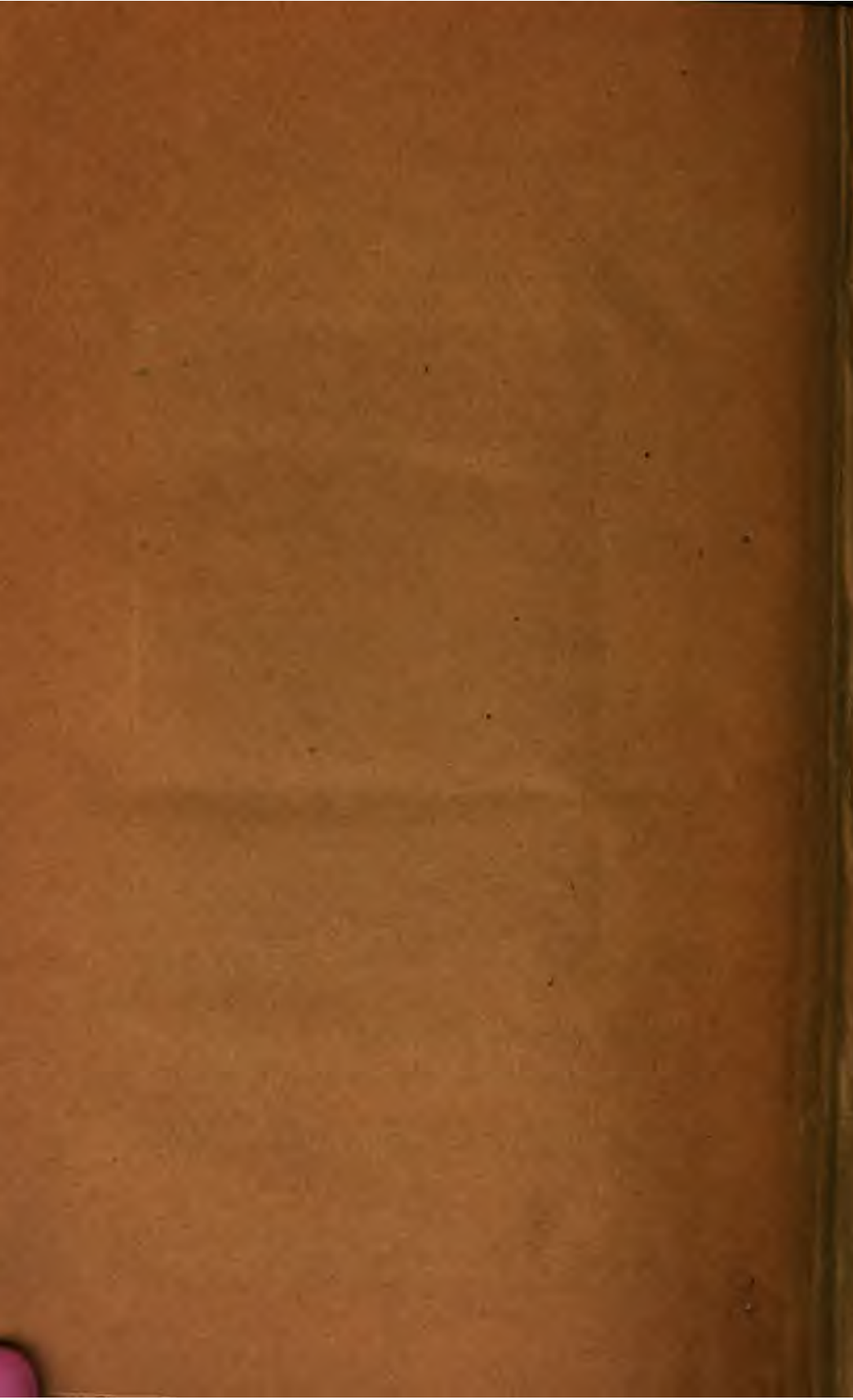
Цѣна: на годъ—7 р. 50 к., на $\frac{1}{2}$ г. 5 р.,—на 3 мѣс. 3 р. 25 коп.—1 мѣс.—1 р. 25 к.

Подписка принимается исключительно въ *Астрахани* въ конторѣ „Астраханск. Листка“, по Ахматовской улицѣ, домъ Агамжанова.

Редакторъ-Издатель: *Вл. Г. Бороленио.*

Долг. ценз. Спб., 28 января 1905 г. Типографія *Н. М. Клубунова*. Лыговская, 84.





This book should be returned to
the Library on or before the last date
stamped below.

A fine is incurred by retaining it
beyond the specified time.

Please return promptly.

WIDENER

MAY 19 1999

CANCELLED

ווי צוויי [2] וואָכען, פאר יעדען איבריגען
מאָנ וועט מען מוזען באצאהלען איין [1]
סענס. ביכער מוזען נעהאלטען ווערען
ריין-